

Вадим Кожевников

4

Scan Kreyder - 20.02.2018 - STERLITAMAK

**Вадим
Кожевников**
Собрание сочинений

К Вадим ОЖЕВНИКОВ

Собрание
сочинений
в девяти
томах



Москва
«Художественная
литература»
1986

К Вадим Ожевников

Собрание
сочинений
Том
четвертый

Повести

1969—1979



Москва
«Художественная
литература»
1986

P2
K58

Оформление художника

Ю. Боярского

К $\frac{4702010200-220}{028(01)-86}$ подписное

© Оформление. Издательство «Художественная литература», 1986 г.

Повести

Гигантская котловина, ниспадая крутыми уступами в недра земные, архитектурными очертаниями своими напоминает древнее римское ристалище.

Она способна вместить в себя горную вершину с усеченным конусом. И если бы снова закупорить ее горой, здесь опять бы лежало ровное пространство пустыни.

Люди вынули из земли гору и куда-то задевали ее.

Миллионы тонн породы, снятые с поверхности драгоценного рудного тела, хитроумно рассыпаны по расселинам, по земным впадинам и вмятинам.

Люди выровняли пустыню.

Если бы эти миллионы тонн каменной массы сгрести в пирамиду террикона, она возвышалась бы горным хребтом и на серых глыбах породы, как на скалах, гнездились орлы.

Эта древняя земля испепелена едким солнцем пустыни. Раскаленным жаром зыбучего песка она умертвляла все живое...

Легенда повествует о том, что некогда рабы добывали тут золото, и, когда наткнулись на богатейшую рудную жилу, властелин их испугался этой находки, страшась, что, узнав о ней, нахлынут на страну свирепые, беспощадные орды под водительством более сильных, чем он, ханов, и он приказал убить рабов, засыпать утлые, узкие шахты.

Песок замел следы. Сухое море пустыни волнами барханов погребло караванные дороги и тропы.

Но легенда жила. Она печально звучала в устах акынов. К ней прислушались археологи, потом сюда пришли геологи, а затем уже горняки, строители. Они воздвигли посредине пустыни горно-металлургический комбинат. Здесь добывают и плавят медь. А золото и прочие редкостные металлы — только попутные отходы от основного производства.

Поэтому рудник называют медным, хотя в рудном теле его густо намешаны сокровища редкостных металлов. Их бережно и тщательно вылавливают в цехах обогачительных фабрик.

Карьер медного рудника подобен гигантскому заводу, только лишенному кровли, — над ним лишь небесный свод. Мощные глыбы руды измалывают в чреве шаровых мельниц в тончайший порошок, но это уже не забота горняков...

Степан Захарович Буков прибыл в пустыню налегке, без значительного имущества.

Тощий, долговязый, с крупным, солидным носом и бурыми, прокуренными усами, серьезным костистым лицом и цепким, прищуренным взглядом, он производил впечатление человека самостоятельного. Одет не по-местному, капитально. Долгополое драповое пальто, велюровая шляпа, тупоносые ботинки на микропорке. В руке новенький фибровый чемодан, для надежности основательно обвязанный толстой веревкой.

Вежливо справившись, где находится монтажная площадка, Буков отправился туда степенной, неловкой поступью, деликатно отклонив предложение оставить пока свой чемодан в конторе.

Жгучий, пламенный зной, зыбкая песчаная почва, сыпучие барханы не вызвали у него вопросов о климате, столь обычных для всех приезжих.

На монтажной площадке было тесно от грузов. Обшитые свежим тесом громоздкие, тяжеловесные части машин томились здесь, словно звери в клетках. Тающая от жары заводская смазка едко пахла и желто сочилась сквозь дощатые щели.

Буков обошел монтажную площадку, прочел на ящиках названия заводов, изготовивших машины. При этом на лице его появилось почтительное выражение, какое бывает у человека, когда он встречается со знаменитостью всемирно известной.

Тут к нему подошел пожилой, сильно бородатый человек с берданкой, одетый по-юношески легко: трусы, красная майка и спортивные тапочки. Буков догадался, что это сторож. Сказал:

— Здрасьте, — и осведомился: — Где можно найти монтажников?

Сторож оказался приветливым.

— А где им быть? Загорают.

— В рабочее время?

— А подъемники вы им доставили? Разве такое железо голыми руками своротишь, без техники? Нынче бредутся и то электричеством. Такая эпоха. Человек без техники — чистый ноль.

— Это правильно, — вежливо согласился Буков. — Есть даже машины, которые в шахматы обучены играть. Самосоображающие.

— А при всем том караульщики еще требуются, — вздохнул сторож. — Нет еще самосовершенствования у людей, чтобы обходиться без охраны.

— Воруют?

— Тут больше пережиток по линии самоуправства. Один участок у другого выхватывает. Недоглядишь — могут упереть целый состав. Хватишься — уже полздания сложили. Приткий народ. И каждый праведника корчит: мол, не для себя, для Родины. Отечество у нас доброе: даст выговор, и все. Он свой план перевыполнит и этим отмоется.

— А ты все-таки бди!

— Я бдю, — сказал сторож. — Но забора нет. Со всех сторон беззащитный.

— У тебя оружие — бердан.

— Одна тяжесть в руках. С передового участка приходят, сверх плана жмут и забирают у тех, кто зашился. Сочувствовать людям тоже надо.

— Значит, ты соучастник...

— А я не возражаю... Я б на суде свое последнее слово сказал про некомплектное снабжение. Приволокли тяжелые механизмы в разобранном виде, а подъемников нет! Вот я бы на своей скамье подсудимых пододвинулся, чтобы снабженцам место сесть нашлось. Такое мое мнение. — Подозрительно взглянул: — Ты, случайно, не из них?

— Не из них, — сказал Буков и, пожав сторожу руку, пошел в указанном направлении.

Слесари-монтажники играли в волейбол.

Потные тела, экономно прикрытые только плавками, сверкали на солнце, как сабельные клинки в руках невидимых фехтовальщиков.

Жаропрочное надо иметь здоровье, чтобы в этом пекле с упоением и азартом гонять мяч, когда даже в тени душно, как в печи.

Буков присел на чемодан и внимательно наблюдал за игрой.

Он сидел в своей капитальной одежде величественно, недвижимо. Костлявое, сухое лицо казалось вырезанным из

камня. Потом игроки собрались возле единственного и столь странно выглядевшего зрителя.

Рыжий парень, с прекрасным телом атлета и прозрачными лукавыми глазами, спросил подчеркнуто уважительно, желая, очевидно, позабавиться:

— Так какие у вас будут критические замечания, уважаемый товарищ?

— Замечания есть, — сухо сказал Буков.

— Разрешите записать?

— Можно, — согласился Буков. — Первое: ты моргун! Нервная система у тебя не отлажена. При подаче жмуришься. В итоге бесприцельный посыл. Сила есть, но мандраж ее губит.

— А вы что, тренер? — смутился парень.

Буков усмехнулся:

— Внимательно живу. Наловчился все угадывать. — Снисходя, добавил: — Игроком я, конечно, был. У немцев даже иногда выигрывали.

— В международных участвовали?

— В дружеских. Служил в войсках в Германии. С немецкой командой сражались. Нормально играют. Распасовка продуманная, четкая, и техника соответственная. Дадут крученный — берешь, аж ладони жжет. Хотя и свои немцы, братья по социализму, а если проиграешь, ротный так и мечтает, к чему придраться, чтобы внеочередной наряд вленишь. Спорт есть спорт. А престиж есть престиж. Потерял — получай наряд. Во всем своя справедливость.

— На работу сюда прибыли?

— Тепло тут у вас, не простудишься, — уклончиво сказал Буков.

— Не угодили климатом?

— Что жара, что холод — это только крайности природы. А я ко всяким неудобствам еще на фронте приучен.

— Значит, почет солдату?

— Моя солдатская служба рабочей была. При танковом корпусе в рембате гайки крутил.

— По-настоящему воевать не пришлось?

— Говорю, ремонтник. Получалось, конечно, и отклонение, а так — как в цеху.

— Выходит, повезло?

— Не без этого.

— А теперь кем будете?

— В дипломе написано: машинист экскаватора.

— Все ясно, — сказал парень. — На нас кидаться при-

шли. А что мы сделаем, если подъемные средства отсутствуют?

— Зачем кидаться? — добродушно сказал Буков. — Что я, пес или непонимающий? Посижу спокойно на тарифной, пока вы мне инструмент не соберете. К зажиточной жизни привык, но ничего, потерпим.

— Добытчик!

— А как же. Это в армии на всем готовом. На гражданке такого нет. Без самостоятельности не проживешь.

— Обедали?

— В столовую еще не ходил.

— И не надо, — горячо сказал парень. — Шашлык будет. Мы барана вчера купили. Угощаем!

Проведя полдня с монтажниками, Буков расположил их к себе дружелюбной манерой, вежливой внимательностью, с которой одобрительно выслушивал каждого, проявляя интерес к тому, что казалось на первый взгляд столь малозначительным и обыденным.

— Приятно, что вы с полным средним и все при специальности, — говорил Буков. — И в палатке живете аккуратно. Книг у вас тут много. Книга — лучшее удостоверение культурности человека. Кино я тоже, как вы, уважаю. Но книги чем лучше? Захотел по настроению — вот она при тебе, лучший приятель, если книга хорошая.

Расхваливая шашлык, Буков заметил:

— Пищу людям надо с талантом готовить, с азартом. Еда — она не только потребность организма, но и удовольствие, радость. Кто на еду только как на питание смотрит — люди унылые, малокровные. От них и дети не получатся.

Заметив, что его соображение о детях вызвало смех, Буков сказал строго:

— А что тут такого? В центральных газетах про гены пишут, у кого сколько их есть в наличии, тем числом они и передаются в наследство поколению. Обращают на это внимание общественности. Особенности своих предков потомство не теряет. Для семейных приятно.

— А холостякам?

— Главное в жизни, ребята, не за удовольствием рыскать, а за счастьем. Сколько я людей знаю, которые себя промотали, потом очухались, спохватились. Пожилые сироты. Инвалиды души.

— Строго осуждаете.

— По закону жизни.

— А просто так — что, нельзя?

- Из лужи тоже напиться можно.
- И всегда вы таким положительным были?
- Это только в электротехнике — либо плюс, либо минус. А в человеке все перемешано. По ходу жизни мусор на ухабах сваливается. Если глубокомысленно вдуматься, не только государство должно себя планировать, но и человек тоже.
- Значит, у вас личный план жизни имеется, на научной основе разработанный?
- А ты зубной комплект не показывай. Смешного тут нет. Человек должен себя наперед продумывать. И все зависит от того, какой диаметр кругозора. Есть граждане, которые сами у себя в ногах спотыкаются, а жалуются — планета наша для них недостаточно благоустроена.
- Выходит, вы сильно идейный товарищ!
- В норме, — усмехнулся Буков.
- Это как же понять?
- А так и понимай — уверенный в людях, и все...

Вечером, поужинав обильно бараниной, сидя с монтажниками в палатке, Буков говорил:

— Вот вы, ребята, молодое поколение в том возрасте, что мы, когда на войну уходили. Все вы целехонькие, неповрежденные, ладные, веселые, озорные. А вот нет у вас такого озорства, чтобы не только начальство ругать, как вы его сейчас правильно ругаете за недостачу монтажного оборудования, а самим выкинуть такое, чтобы начальство удивить самостоятельностью, инициативой.

— Толкаешь, Степан Захарович, чтобы тебе поскорее начать кубики брать!

— В комплексе и это будет, если скоро машину соберете.

— А ты нас не уговаривай. Мы и так сверхсознательные!

— Бессознательные сейчас только жулики и тунеядцы. А вы обыкновенные ребята, но только воображения у вас нет.

— Как нет? Вон Генка воображает, что он тенор!

— Я, ребята, сам веселый, — мрачно сказал Буков. — Но есть веселье от пуза, а есть от сердца. Это когда другому от тебя весело становится. Вот, например, так было. Подъехал я на своем персональном мотоцикле к поврежденному на поле боя танку. Кинулся в люк. Осматриваюсь. Командир танка лежит на казенной части орудия, весь мокрый от

крови. Механик-водитель тоже покалеченный. Сплошной санбат. Но мое дело — ремонтное. Ковыряюсь, устраняю повреждение. А время — уже ночь. Подошли немцы на тягаче, нацепили на нас трос и поволокли к себе. Орудие в башне заклинено, боеприпас к пулеметам израсходован, гранаты я еще раньше покидал, когда немцы на нас трос цепляли. Для инициативы какие возможности? Из личного оружия пострелять или в рукопашной — то же самое от фашистов получить. Прошу полуживых танкистов повременить с окончательным решением до последней крайности. Перспектива одна — ремонт сделать, вернуть машине силу.

Копаюсь, свечу фонариком, а от переживания руки потеют, гайки, как пуговицы, выпадают. Кроме того, плохие условия для ремонта: танк немцы волокут по пересеченной местности, все от тряски ходуном ходит.

Заставил я себя вообразить: никаких таких немцев нет. Устраняю будто неполадку, пока свои буксируют. Даже закурить себе позволил, подчеркнул этим, что ничего такого особенного нет... и справился. Наладил. Включил механик-водитель двигатель, как шарахнул лобовой броней по фрицеву тягачу и еще на развороте их окоп проутюжил. Это пережить такое удовольствие надо...

— А говорили, что не воевали, только работали?!

— А это тебе что? Работа по специальности и есть. Один раз тоже пришлось действовать в связи с обстановкой. Рембат наш и СПАМ в МТС размещались. Что такое МТС, вы еще помните. Не такие старые, чтобы забыть, а вот СПАМ — по фронтовому обозначению: сборный пункт аварийных машин.

Подразделение наше ремонтное из рабочего класса, главным образом старших возрастов. Народ все квалифицированный, солидный, семейный. Дисциплина своя, заводская. Каждый уважительно себя ведет, все друг к другу — по имени-отчеству. Природа вокруг хорошая, полезная: сосны, березки, прудок чистенький. Ну и оборудование подходящее, станочный парк удовлетворительный, электросварка — передвижная кузница. Условия для работы есть. И немец нас с воздуха не беспокоил. Такая нам привилегия выпала.

Буков смолк, тревожно выжидая, как ребята среагируют на небрежно им сказанное слово — «привилегия». Если ухмыльнутся, значит, все, значит, ни к чему про сокровенное, пережитое им тут выкладывать. Испытал молчание. Убедился — притихли, ждут терпеливо продолжения рассказа. И только после этого продолжал:

— Подбитые в бою танки, как раненых в госпиталь, доставляли. Главным образом повреждение ужасное терпели машины старых образцов. Броня на них в рваных клочьях, окалина, как шелуха, сыплется, внутри все оплавилось, спеклось. Приходилось самим хоронить, что в некоторых танках обнаруживали. Хоронили с почестями, какие в наших возможностях. В самый отчаянный момент войны на таких старых машинах даже на таран кидались.

Рабочий класс, я вам сказал, подобрался у нас возрастной. Сильно об железо и жизнью потерянный. Серьезный народ.

Копались мы в металле бессонно и без отдыха. ОТК над нами — совесть. На заводском уровне машины восстанавливали. А это что значит? Каждый на своем месте творец-изобретатель. Потому что на такой уровень мастерская не рассчитана, мы ее самочинно переоборудовали.

Командир рембата — офицер-кадровик. Он вначале расстраивался: нет у нас надлежащей строевой выправки и обращение, как в цеху, — кто мастеровитый, тот и старший.

В первые дни строевые занятия с нами проводил. А потом взял на себя ответственность — отставил.

На ремонтных работах люди сверх сил тянулись, но соображение, расторопность не теряли, а как строевые занятия — так самую простую команду не сразу осмысливали. Вся мысль к рабочему месту привязана и оторваться не может. Подгонка, шлифовка, центровка непостижимой хитрости требовали. Точность ювелирная, детали все тяжеловесные, габаритные; жилы, кости трещат, пока их собственноручно домкратишь, от натуги пузо к хребту прилипает, как пластырь.

А питание какое? Второй эшелон. Сушеный картофель, просяной концентрат. Даже наркомовской нормы — ста граммов — не полагалось, поскольку мы не передний край, а в благополучном тылу, где не убивают. И вид у нас не бравый. Спецовок нет, одно обмундирование. Обсалили его в масле, замурзали копотью, о металл ободрали. В строю взглянуть — срам.

Начальник посмотрит на нас, побледнеет, осунется, а сказать ничего не может, хотя наш вид — оскорбление армии.

Только в рабочее время — а оно у нас почти круглосуточное — он душой отдыхал. Боевито работали, четко, без словесности. Каждый на своем месте — генерал. Народ сановитый, квалифицированный — бог по специальности.

Красиво работали. Смело. На заводе на такое не решались, как мы здесь у себя в мастерской отважничали. Виртуозничали по инженерному делу, за две ночи зуборезный станок наладили и заставили сработать то, на что он по своей бывшей схеме не был способен. Очень, знаете, война рабочего человека к самовластию над машиной приучила. Ну и удобства, конечно, были — согласовывать не надо по инстанциям. Доложишь взводному, а он по специальности электрик, рассердится. «Ты, — говорит, — в строю рядовой солдат, а у станка сам себе главнокомандующий».

Каждую деталь с какой позиции обдумываешь? Подведет она танкиста или выручит.

Веса в нее лишнего допустить нельзя, а запас прочности хочется накинуть. Как лекальщик, ее зализываешь, шлифуешь, колдуешь, притираешь, в такую микронную шкалу укладываешься, какую с завода не требуют. Сознание нам командовало без пощады себя изводить, но чтобы каждая обработанная деталь сызнова полный запас прочности обрела и для машины, что после ремонта, была бесчувственна.

Сроки ремонта определяли не по техническим нормам, а по сводкам с фронта. Чем хуже там, тем больше с нас причитается. Вот какое наше рассуждение было.

Только политбеседы у нас не всегда на высоте получались. Политрук у нас — сильный товарищ, начитанный, знающий политику, а массой овладеть не мог. Скатывались мы в политбеседах на обычное производственное совещание. Нарушали инструкции. А что делать? Свои производственные вопросы обсудить у нас другого времени не было. А тут возможность поговорить.

Приволокли нам подбитый вражеский танк — не для ремонта, на разборку, в переплав в мартен. Ничего тут обидного такого нет — их металл с нашим вместе в одной печи плавить. Даже приятно, что они нам скрап поставлять начали. В первые месяцы войны не так уж много, это потом довелось такой скрап эшелонами в тыл гнать, но против нашей брони их металл оказался маркой ниже, по присадкам беднее.

Так вот, когда мы их танк разбирали внимательно, по косточкам, каждый его узел, каждую детальку дотошно обдумывали, в механизм вникали, в материал, методику его обработки. Желательно было понять: есть у немца по нашему рабочему делу превосходство или нет? И ничего такого особенного для себя не обнаружили. По сварке, например,

они от нас даже сильно отстали, разве с КВ сравнишь или с тридцатьчетверкой?..

И здесь Буков снова сделал выжидательную паузу. Сощурился, пытливо оглядел ребят, готовясь дать отпор, если кто из них в запальчивости заметит, что он недооценивает иностранную технику. Вспомнил, как доводилось наваривать шипы на гусеницы английских танков, которые без этих шипов вязли на мягких грунтах, теряли скорость, и беззащитные их экипажи гибли под огнем врага. А ведь для того, чтобы наварить эти шипы, понадобилась не только смекалка, а и тонкий расчет, с учетом всех конструктивных особенностей машины. И рабочие солдаты произвели доделку безукоризненно, не будучи инженерами, а только мастерами. Но говорить об этом не пришлось: никто не перебил его. Тогда Буков после долгой паузы вновь заговорил спокойно и доверительно:

— Когда в партию принимали, что во мне обсуждали? Какими новыми специальностями на фронте овладел, какая у меня техническая грамотность. Потому что без нее себя политически грамотным не докажешь. Отметили также: когда газовым резаком удалял вмятину вокруг пробойны для наложения на это место заплат, произошла вспышка паров горючего, застоявшихся в танке, я пламя гимнастеркой охлопал, не растерялся. Биография моя была куца, обсуждать нечего. А идеология что ж, как у всех, одинаковая.

Так мы в полной безопасности во втором эшелоне служили и свою рабочую квалификацию сильно повысили. Но звания за это не получали. На передовой в бою человек со всех сторон всем виден, а в мастерской единолично не выделишься: труд — дело коллективное, взаимозависимое.

Но случилось так, что немцы на нашем участке фронта прорвались и выскочили мотомеханизированной частью прямо на наш СПАМ и ремонтные мастерские.

Побросали мы инструмент, схватили винтовки, гранаты — и в окопы. Встретили фашистов из нашего стрелкового оружия дружно. Но в окопе нам воевать не нравилось. Рабочим при металле способней. Отослали ребят растаскать трактором поврежденные танки так, чтобы каждый танк дотом служил, с расчетом на круговую оборону. Выделили для них гарнизоны. Снаряды нашлись, — значит, обзавелись своей артиллерией, засели в жестокой обороне, как говорится.

Распределились на смены, чтобы и войну вести, и производство не оставлять. Война войной, а ремонт — наша

прямая задача. Тем более что подвижный танк нам теперь для личного употребления нужен.

Поставили немцы пушки и начали по нас бить. Потом авиацию вызвали. Значит, такая обстановка. Неприятная. Пятачок мы занимаем маленький, а снарядов и бомб на него обрушилось много. Но если мы столько времени от войны были освобождены, пришлось за эту передышку сразу в полную меру отвоевывать.

Солдатского опыта мы не имели. Просто так, от души дрались, по-рабочему.

Когда немцы на нас в атаку кидались, мы трактором на них танк подремонтированный вытаскивали, он их шрапнелью и пулеметами бил, а трактор за его броней укрывался. Потом трактор у нас подбили, остались мы без тягла.

Пару танков, какие поцелее, мы скоростным методом ремонтировали, чтобы только на ход поставить.

Мастерская — сарай беззащитный. Но там станки. Детали станочной обработки требовали. А тут бомбы, снаряды все рушат. Падали ребята у станков. Один упадет — другой становится дотачивать, пока его третий не сменит. За паршивую втулку жизнями платили, вот во что нам втулка становилась. Узлы надо было ставить, находясь снаружи танка. На такие монтажные работы люди выходили сознательно, как под добровольный расстрел. Да еще на этом расстреле нервничать нельзя, спокойствие нужно, сосредоточенность, чтобы все правильно установить, сцентрировать, замеры делать. Машина небрежности не терпит, откажет, и все.

На монтаже мыслить надо сосредоточенно. На нем труд всех итожится. Неладно что-нибудь пригнал — весь агрегат снова разбирать, доискиваться. В нормальных условиях высшая ответственность. А тут по рукам, по телу осколками бьет. Ударной волной расшибает. Самые мастеровитые, самые знающие, самые лучшие на сборку становились и падали запертво. Я против своих товарищей солдат-рабочих кто был? Суслик. Ушел в армию с чем? Вроде слесаря-водопроводчика со вторым разрядом. А тут мате-рые машиностроители — рабочая интеллигенция. Чертеж, схему запросто с одного прищуря читали, как вы книжки писателей читать наловчились. Любой станок на высокий класс точности настраивали. У них станки на одной высокой ноте работали. Можно не видеть, а по слуху понимать, что за станком стоит мастер выдающийся. И не до трудового героизма им тут было, когда каждую покалеченную машину надо фронту не только быстро вернуть, но и как

новенькую. Работали, себя не помня. Одно имея в виду: должна машина наш труд доказать танкистам так, чтобы они не почувяли, что она после ремонта. Не считали бы себя обиженными, что им БУ вернули, а все равно как бы с завода. Значит, и внешность у нее должна соответствовать.

Танкист — он нам родня. И по обученности, и по уважению к металлу. Металл грубости не терпит, его облакать надо, тогда он тебе товарищ во всем, надежный, услужливый. Всю силу свою отдаст полностью, без утайки. Только ты на него себя тоже не жалеи. Тут дело обоюдное. Ты ему, он тебе. Чем больше ты на него труда потратишь, тем больше его отдача будет. Это не только закон техники, но и человеческого с ней обращения.

Сказал я вам, немцы из орудий по нашему расположению бьют, бомбы с самолетов кидают. Сидим мы в окопах, в танках, в укрытиях, а у всех тревога за станки и техническое оборудование: оно же незащищенное, его в окоп не унесешь, в танке не упрячешь. Некоторые в панике от этого из окопов уходили в мастерскую, чтобы хоть самые ценные станки прикрыть мешками с землей. Конечно, недисциплинированно поступали, бой есть бой, у него свой порядок. Но мы еще не привыкли по правилам воевать, в мастерскую бежали.

А там что! Осколки все колотят, ломают — не увернешься. Не все обратно из мастерской приползали, на смерть там и оставались. Но ведь понимать надо! Солдат оружие свое не бросает, если он даже раненый. А наше рабоче-солдатское оружие — станки. Мы к ним приставлены. Как артиллеристы к своей батарее. Они без пушек — ноль, а мы — без своей техники.

Когда немцы перед своей атакой нас долго бомбили, обстреливали, мы это не всегда психически удовлетворительно выдерживали. Иногда срывались. Не в атаку, а так просто, бежали на фашистов, потому что нестерпимо их ждать, пока они к нам сами ногами подойдут.

Фашист весело на нас шел, самоуверенно. Знал: тыловая рабочая часть, не строевая. В твердом расчете шел на легкое побоище.

Мы кто? Мы металл ворочать привыкли, строгать, обтачивать, твердость его привередливую себе подчинять. А тут против нас кто? Мясо в мундирах. Ну и дали мы им! Напоминаю. Большинство было старших возрастов — рабочие с выслуженным стажем, не физкультурники, но народ жильный.

Кроме всего, если мы на микронной точности работали,

мерный инструмент сами себе делали, так из винтовки, из пулемета точный, прицельный, расчетливый огонь вести нам сама наша техническая культура обеспечивала. И если человек мог кувалдой с двух замахов заклепку впотай сплющить, так прикладом с одного удара фашисту каску в плечи загнать он может свободно.

Собираемся обратно в окоп, кто раны на себе бинтует, а кто, чтобы товарищей не беспокоить, прикрыв лицо шинелью, помирает молча от тяжелой раны.

Фашистов мы пороняли много. Но мы этого не обсуждали. Совестно такое обсуждать, когда свои, родные, либо погибшие, либо поврежденные. И сколько нам самим на дальнейшее прохождение жизни времени отпущено, неизвестно.

На своем деле каждый умнеет. В мастерской мы себя показали с наилучшей рабочей стороны. Танкисты были нами довольны. А вот по солдатской линии пришлось нам умнеть на ходу.

Командир рембата — офицер-кадровик — за нас сильно взялся. Обучал солдатскому делу по уплотненному курсу. Совпала для нас теория с практикой. Но не удалось ему все по военной науке правильно организовать для ведения боя в окружении. Свалила пуля.

Политрук Гуляев на себя командование принял. Но он кто? Бывший инструктор райкома, политически сильно развитый, а по военной линии — в пределах Осоавиахима.

Хорошо, здесь у немцев танков не было. Бронетранспортеры на гусеничном ходу со стальным низким кузовом. Тоже вещь опасная, и скорость у нее больше, чем у танка. Но мы их — зажигательными. Пулемет авиационный был, нам его на ремонт завезли летчики. Мы по-дружески взялись. Оставили они нам и боеприпас, чтобы после ремонта машину испытать. Вот мы его в бою и испытали.

Кроме того, нарезали из броневых листов щиты, поставили на полозья, желающие могли с этими щитами, впереди себя их толкая, к немцам подползать и гранатами их забрасывать. Охраны труда при нас не было. Самим надо было думать, как при такой самостоятельности травм избежать.

И снова Буков смолк, теперь уж от щемящего чувства неловкости, внезапно овладевшего им. Не слишком ли развязно и лихо рассказывает он о людях, свершавших свой подвиг в те дни? Если, допустим, кто-нибудь, не Буков, а другой, рассказывал бы об обороне мастерских, как бы он сам воспринял подобное повествование? Возможно, не раз усмехнулся бы, а может быть, даже обиделся. Фактически

все это так и было, и вместе с тем не так. Все как будто правильно, но ведь переживал эти события каждый посвоему. И сам Буков переживал их иначе, чем сейчас рассказывает. Никто не считал тогда, что делает что-то необыкновенное. Поступать, как все, — вот в чем была высшая душевная задача. И поэтому никто не считал, что это подвиг, просто все действовали согласно обстановке. Но разве это поймут те, кто такого не пережил...

Буков пытливо, с беспокойством смотрел на ребят. Лица их как бы осунулись, затвердели, губы сжаты. Слушают напряженные и притихшие. Значит, ничего. Главное доходит. Можно продолжать.

— Была тут недалеко при нас семидесятишестимиллиметровая батарея ПВО, обслуживал ее женский состав.

Наверное оттого, что батарея женская, ее во втором эшелоне держали, берегли, значит.

У нас народ в мастерских пожилой, семейный, только я тогда один полагал: помру холостяком. Так что от батареи держались на вежливом расстоянии. Я заходил иногда. Спрашивал: может, какой-нибудь пушечке мелкий ремонт требуется? Командовала девчатами — я прямо скажу, беспощадно — с крашеными волосами, уже пожилая лейтенантка. Ну, хуже заведующей интернатом она над ними была. Во все вникала, во всякую интимность. И политрукша ей впору, такая идейная, деваться от нее некуда. Я раз как-то на батарею пришел и цветов по пути машинально собирал. Что она сделала? Поставила по команде «Смирно» — это с букетом в руках. Собрала расчет и говорит:

«Вот, товарищи бойцы, любуйтесь, какое оружие солдат на войне при себе носит».

И носком сапога мой букет толкает, который у меня в опущенной руке висит, уже повядший и обтрепанный. И начала при всех воспитывать, лекцию читать: мол, сейчас главное — любовь к Родине, а не к кому-нибудь персонально. Советская женщина на фронте — это прежде всего боец, а не женщина. А поскольку я не строевой, а они здесь огневики, нечего мне здесь топтаться со своими тыловыми настроениями.

Но вы что думаете, может, она всегда такая принципиальная? Когда танкисты от нас технику отремонтированную забирать прибывали, так их в женской батарее всегда с почетом встречали. И эта политрукша губы себе специально для них мазала. По-граждански себя аттестовала Зоей и слово им предоставляла, чтобы рассказывали о героических подвигах. И все девчата слушали их, млея от

восхищения. На войне тоже, знаете, полной справедливости нет. Ну, да ладно. На батарею я не просто так заходил, а с серьезными мыслями по определенному объекту.

И весь личный состав батареи об этом знал. Как и у нас ремонтники тоже знали, что я от сержанта Люды Густовой зависим. Война войной, а человеческое она бессильна выбить.

Когда фашисты на нас наскочили, очень я был взволнован: как там, на батарее? Немцы ее бомбили за то, что она нас от воздуха спасала.

Отпустил меня отделенный — токарь-фрезеровщик пятого разряда товарищ Павлов — разведать и доложить, какая на женской батарее обстановка после бомбежки.

Что я там увидел?

Когда нас, солдат-мужчин, убивают, это еще куда ни шло. А когда девчат, женщин — тут сверхчеловеческие силы надо, чтобы перенести.

Два орудия вдребезги разбиты, земля изрытая, опаленная. А в капонире лежат в ряд, аккуратно причесанные, прибранные, те, кто был их боевыми расчетами. Оставшиеся живыми молча копают яму. Не захотели в окопчиках схоронить. Специально решили отрыть. И сами они хуже покойниц выглядят. Лица черные, закопченные, кто ранен — на них бинты грязные. Я обращаюсь как положено, докладываю, зачем прибыл. А они, понимаете, оглохли после боя, не слышат, что я говорю. Только щурятся на меня, и все.

Поскольку у кого обмундирование поцелее было — для покойниц с себя уступили, неловко мне смотреть. Жмурюсь. Но они даже не понимают, почему я глаза прикрыл. Копают. А я для них — постороннее, чуждое существо, и все.

Доложил обстановку на женской батарее своим.

Политрук Гуляев спрашивает: «Командир батареи жива?» — «Задетая, но живая». — «Тогда пойдем просить ее, чтобы приняла от меня командование. Она артиллерийское кончила — строевой офицер».

Пошел я снова на батарею вместе с Гуляевым. Пока он с командиршей договаривался, я Люду сыскал. Сидит она на бруствере, уткнув лицо в ладони, и плечами трясет. А над ней стоит политрукша Зоя, такая бледная, какой от пудры не бывают. Гладит одной рукой Люду по голове, другая рука у ней бурым сырым бинтом обкручена. Зоя стоит спокойно, в зубах папироса, сапоги начищены, обмундирование в порядке. Говорит Люде:

«Только задело кость. Нечего нюни разводить».

Заметила меня, спрашивает:

«Орудие осмотрели? Восстановить можно?»

Я гляжу на нее и молчу.

«Допух, — говорит, — марш к орудиям и доложить немедленно».

Ну, пошел я, осмотрел пушки: почти все, кроме одной, повреждены окончательно. Вернулся.

Теперь обстановка такая: лежит на земле Зоя без сознания, а над ней Люда с раскрытой санитарной сумкой хлопочет, шприцем колет. Очнулась Зоя, приподнялась, приказывает:

«Докладывай!»

Сидит с закрытыми глазами и качается. Потом глаза открыла, такие, знаете, мутные, смотрит как бы сквозь меня, говорит сонным таким, усталым голосом:

«Я же ребенка теперь не смогу искупать одной рукой...»

А тут снова команда: «Воздух!»

Девчата к орудию кинулись. На них пикируют, бомбы валят. Стоим мы с Гуляевым, курим, молчим, каждый свое переживает.

И должен я вам, ребята, объявить: хуже животного тот наш брат мужского происхождения, который в женщине не видел и не видит наивысшего человеческого. Они ведь на многое больше нас способны, они ведь какие, эти наши зенитчицы. К примеру, отстрелялись, отработались во время налета, оттерлись от крови, обвязались от ран, а потом спрашивают Гуляева:

«Может, вашим солдатам постирать нужно? Так пожалуйста. У нас всего одно орудие осталось, есть возможность стирку устроить на всех».

Только что пикировщики на них косо падали, бомбы роняли; словно из порванного неба, все на них валилось. Земля опеклась ожогами, осела вмятинами, задранный ствол орудия и тот весь осколками пошкрябан. А они похоронили погибших, заплаканные, ободренные, полуоглохшие, по тревоге снова отстрелялись, отмучились бомбежкой, и вот, пожалуйста, — постирать предлагают по своей женской милосердной доброте, забыв, что они герои, а не мы.

Политрук Зоя на ящике из-под снарядов сидит и пытается спичку зажечь одной рукой, чтобы прикурить.

Чиркнул я ей зажигалку. Кивнула, затянулась. Я ей говорю про зажигалку: «Возьмите!» Спрятала она зажи-

галку в боковой карман гимнастерки. Потом спрашивает: «Не жалко?»

Я говорю: «Это просто сувенир, на память, давно хотел, но стеснялся. Очень уж вы строгая».

Она задумчиво так: «Зажигалки мне на фронте дарили. А вот цветы никто не приносил».

«Будьте уверены, принесут». Неловко я это сказал, потому что она на земляной холмик оглянулась. И еще неловкость допустил. «Сапожки, — говорю, — у вас маленькие, детский размер. Какой же вы номер носите?» Это я хотел отвлечь, чтобы про руку не думала, для женщины, мол, без руки не такая уж инвалидность.

«Дурак ты», — сказала она, отвернулась и стала раскачиваться корпусом от боли.

Вернулись мы к своим, тоже обстановка не наилучшая.

Фашисты пристрелялись из минометов, большие у нас потери в людях.

Лейтенант Карпова наших ребят собрала, стала проводить занятие по обращению с оружием. Народ у нас цепкий, быстро технику освоил. Но боеприпасу мало, на крайний случай берегли. Помпотех Соловьев Евгений Мартынович взялся стреляные оружейные гильзы на новую зарядку восстанавливать. Колдовал — не получилось.

Он с полным инженерным образованием, на производстве не работал, в конструкторском бюро служил. Привык там к обходительности. Здоровье у него не сильное, голос тихий, голова плешивая, руки маленькие — дамские. Но партийный товарищ. В боевой обстановке спокойной деловитостью ободрял. И стрелок оказался замечательный: протрет очки, дыхание задержит — и с первого выстрела свалит.

Всегда он деликатный, внимательный, будто каждый человек для него новость. Есть только к себе чуткие, а он каждого человека угадывал, его настроение.

Сидит в окопе, и вдруг лицо такое счастливое — объявляет:

«Обратите внимание, товарищи, пуля на излете щебечет, ну как молодой щегол». Люди изумленно смотрят: нашел о чем рассуждать. Он поясняет: «К войне, товарищи, надо привыкнуть, не обременять себя трагическими наблюдениями». Кивает на Василия Земина. «Вот вы, — говорит, — для меня образец самообладания. А чем, спрашивается, образец? Тем, что Земина в окоп книги из ротной библиотеки приносит. От бомбежки рядом с собой держит, другие боеприпасы волокут, а он книги. Конечно, книга по-

лезна. Фокус такой получается: начнешь читать, и вдруг ничего нет, ни войны, ни немца, а есть нормальная человеческая жизнь, тоже, конечно, со всякими неприятностями, но ты тут ни при чем. Вроде сочувствующего наблюдателя, и только. Получается передышка, отдых».

Отремонтировали мы два танка старых образцов, но все-таки боевые машины, да еще на ходу.

Политрук на партийное собрание вопрос вынес. И так его поставил: конечно, танки нас сильно выручат, немецкие атаки отбивать. Но артиллерия авиации все равно танки снова расколотит. А у нас тяжелораненые, а также артиллерийский женский расчет, который все боеприпасы расстрелял. Есть возможность на этих двух прорваться к своим. Водители найдутся из числа ремонтников по моторам.

Приняли решение. Стали ребята быстро домой письма писать. Ночью завязали мы с немцами бой наступательный, нахальный, потому что наступать нам почти нечем. Но отвлекли. Танки благополучно прорвались, о чем они нас оповестили через некоторое время ракетой. Повеселели мы от этой ракеты, порадовались. Хотя за ночной бой еще потери понесли.

Потом какое настроение у нас началось? Стало определенно ясно, когда наши на танках уехали, что мы теперь тут насовсем. Остались у нас кучи всяких разбитых машин колесного транспорта, на скрап только годных, и такие же кучи металла от разваленных, тоже на скрап, бывших танков, броневигов. Из этого железа уже ничего путного сделать нельзя. Одна пригодность: на баррикады, ну еще для прикрытия в щелях.

Сидим в земле, молчим, каждый про себя думает. А тут вдруг подходит к политруку солдат — слесарь Фетисов, протягивает бумажку. Становится по команде «Смирно»:

«Прошу принять меня в партию взамен убитого в связи со смертью товарища Павлова Александра Григорьевича».

Ну, казалось бы, хорошо, человек в партию просится. Но его тут же на месте Федор Соловьев одергивает:

«Почему тебя вместо Павлова, когда я с ним с одного завода?»

Ему правильно режет Фетисов:

«Так ты то же самое напиши и подавай заявление».

Он говорит:

«Я-то напишу, но ты у себя Павлова вычеркни».

Другие встряли в разговор. А политрук молчит.

Потом все-таки взял слово.

«Сегодня,— говорит,— когда в атаку бегали, я какую команду отдал? Коммунисты, вперед?! Правильно?» — «Точно». — «Кто-нибудь в окопах оставался?» — «Нет». — «Значит, что получается? Выходит, все бойцы посчитали себя коммунистами». — «Временно, по случаю атаки». — «Временно в партии не состоят». — «Так как быть?» — «Вот вы и решайте».

Ну, какое тут еще решение. Вырвал политрук из своей полевой тетради листы чистые, роздал. Потом исписанные обратно собрал, сложил в планшетку. «Если,— говорит,— обстановка не даст все по уставу оформить, ну что ж, партия мне простит. Объявляю вас коммунистами».

Обошел ребят, пожал руки, каждого обнял.

Торжественно все получилось, красиво. И тут наш старшина расчувствовался.

«Разрешите,— говорит,— по этому случаю досрочно раздать комплекты нового обмундирования. Хотя это с моей стороны нарушение. Но я как раньше думал? Перед боем выдавать, потом измажут, испортят. После боя люди замученные, недооценят. А сейчас самый момент, чтобы отметить».

Хитрый мужик, понимал, что все равно хозсклад пропадет. А как подал?! Сильная оказалась у него психическая механика. Получился праздник. И продпитание тоже с излишком выдал.

Какая конструкция души у нашего человека?

У каждого сердце до этого в кулак было сжато, лица серые, глаза тусклые — одно соображение: изловчиться так помереть, чтобы при этом прихватить больше фашистов, убытка им побольше собой принести.

А тут что началось: распустились ребята, расслабились, стали вслух вспоминать, кто как своей гражданской жизнью пользовался, кому какой план жизни война сорвала, каждый на что-нибудь интересное себя метил.

Земин информирует:

«Лев Толстой при обороне Севастополя на батарее служил. И его могли свободно, запросто, как всякого, убить. И никто — ни он сам, ни другие бойцы — не знал, что Толстой гений, и если б его убили, не было бы у нас ни «Войны и мира», ни «Анны Карениной», ни даже «Севастопольских рассказов».

«Ты это к чему?» — спрашивают.

«А к тому,— говорит Земин,— не исключено, что и среди наших товарищей есть скрытая выдающаяся личность».

Каждый про себя такого не думает, но на другого

поглядывает с надеждой: «А вдруг этот боец действительно человек особенный. И он для потомков будет нужный. Как знать, разве в таких условиях отгадаешь?»

Больше всего ребята на помпотеха Соловьева при этом поглядывали. Недаром же он изобретениями занимался. Вдруг он и есть такая личность! Показал себя с наилучшей стороны на производстве по ремонту и когда самодельные мины конструировал — сильно соображающий товарищ. Может, именно его и надо из всех нас сберечь?

Я обращаюсь к нему, спрашиваю:

«Евгений Мартынович, как вы полагаете, победитовый резец — это самое наипоследнее слово нашей техники?»

Он глаза свои на меня задумчиво поднял, потом стал у себя ногти на пальцах рассматривать.

— Вообще я сторонник керамических резцов: и экономичней, и кристаллическая структура их перспективней, в смысле твердости приближается к алмазу».

Подмигнул я ребятам. Те, конечно, поняли. Значит, наметили, кого сберечь из нас надо.

На рассвете фашисты за нас сызнава взялись. Бомбили, из орудий стреляли, затем в атаку пошли. Пришлось нам из околов выбраться. Бились с автоматчиками уже на площадке СПАМа. Она у нас, конечно, была оборудована для такого боя.

Кое-какие останки танков как доты у нас приспособлены. Помещение мастерских сгорело. Но за станками можно укрываться, за их металлом лежа, отстреливались, гранатами кидались.

Всякое железо мы приспособили для препятствий, укрытий — тут его хватало.

Под руководством Евгения Мартыновича управляемое минное поле в несколько полос соорудили. Сверху каждой минной ячейки навалили кучи отходов от металла.

Ячейки эти рвались почище бомб. Гайки, болты, обрезки шуровали фашистов так, что смотреть на них было после неприятно.

Еще бочки с горючим по наклонным доскам раскатали, из автомата пробили и вслед — бутылку с зажигательной смесью.

Выжили в эту атаку у нас совсем немногие. Сколько числом — сказать не могу, потому что раненые, если были в сознании, норовили заползти в железный хлам. Там лежат и, если не помирают, отстреливаются.

Очень нас в эти тяжелые моменты товарищ Соловьев Евгений Мартынович на бессмертие воодушевил.

Приволок уцелевший газовый баллон и резаком на стальном листе, из которого мы заплаты на танковую броню обычно выкраивали, начал на этом стальном листе всех остающихся пока в живых поименно в порядке алфавита огнем записывать.

Аккуратно писал, нигде лист насквозь не прожег, но каждая букровка выплавлялась четко, глубоко, и, когда весь наличный состав записал, помедлил, задумался и в самом низу вывел: «Погибли за Советскую Родину», — и дату поставил, только завтрашним числом. Значит, не терял оптимизма. Сутки — полагал твердо — выстоим. И то, что на стальном листе мы все были поименно записаны, — это надежно получилось, приятно. Как ни храбрились, а без следа помереть, безадресно, — уныние. Отпишут: пропал без вести.

А тут документ надежный. Фактический. На нем ничего не сотрется. Все точно записано.

Нам, конечно, не до потомков было. Не до вас то есть, вот таких, какие вы сейчас есть распрекрасные.

Нам бы только оформиться. Чтобы, когда свои сюда вернутся, списали бы со стального листа на бумагу фамилии и оформили. Так, значит, думали, по-деловому, по-серьезному.

Целых среди нас уже не было, каждый задет, хоть раненым себя не считает. Один — так совсем зашелся. Зажал в тисках какую-то плашку и напильником ее шурует. А зачем? Ни ему, никому не известно. Но когда в бой позовут, идет послушно, а потом снова к тискам. Надо полагать, этим занятием он себе боль превозмогал.

Но погибнуть нам всем не довелось, согласно надписи на стальном листе. Наши заказчики не допустили — танкисты. Правда, мы с ними не по-хорошему обошлись, потому что обознались.

Пошли фашисты нас добивать на рассвете. Как между нами было обусловлено, тавот, тряпье всякое навалили продольными кучами, залили машинным маслом, подожгли. Нам в дыму маневрировать можно, мы свое расположение на ощупь знали, нам в дымной слепоте легче биться.

Кидаемся гранатами, стреляем, последние минные погребки, накрытые железным хламом, рвем. Хаос! Ничего не поймешь. Каждый для себя фашиста ищет.

А тут слышим — танки.

Но все-таки сознанием загордились, что нас танками добьют, а не просто из автоматов.

И как первый танк начал нашу баррикаду из железа

толкать, тот боец, который до боя у тисков свою боль превозмогал, побежал на танк со связкой гранат, ну и испортил машину.

Мы, знаете, даже сначала не обрадовались, что спасение пришло, выручка. То есть, конечно, жить кому неохота, жить — радость. Но просто нервных сил не было понять эту радость. Бой такой был, что никто себя не экономил. А тут бой кончился, ослабли, оступели от переживаний. Танкисты, которых мы впоныхах подшибли, выползли из танка полуконтуженные. Командир кровь утирает, ругается.

«Ошалели, подбили машину, теперь сами чините». — Он дружески, без обиды, а мы всерьез, не было у нас такого целого нерва, чтобы понять: про ремонт это он так, к слову.

Оглядели повреждение, приволокли инструмент — стали разбираться, кому что делать.

«Да вы что, ребята, обиделись?» — Командир танка начал у нас инструмент из слабых рук вынимать. Потом нас танкисты трясти стали, обнимать, по-солдатски целуют. И лица у них такие, будто не мы перед ними виноватые, а они перед нами.

Налили они в кружку спирту, поднесли каждому.

Как по первой приняли, взбодрились и тут засовестились, вспомнили, что на стальном листе газовым резаком написали. Неловко получится, если танкисты прочтут, увидят, что некоторые из нас незаконно в список записаны, поскольку мы живые, а получается, приписали сами себя к тем, которых уже нет и которых надо увековечить, как они того заслужили.

Хотели мы стальной лист убрать, но сил поднять его не было, прикрыли только брезентом. И на этом совсем спикли — спирт выпитый и переживания, — разбрелись кто куда в беспамятстве спать.

Ну что потом было! Похоронили павших товарищей. Стальной броневой лист с написанными их именами установили вертикально на рельсовых подпорах, а имена живых заплавили. Танк подбитый отремонтировали, затем отправили на переформирование в тыл. Дали нам отдых. Кому причиталось, тех наградили. И снова в рембат.

Оборудование здесь было, может, и не хуже прежнего, но люди не те. Может, обстановка не позволяла им себя так высоко показать. Но тех, кого уже не было, мы считали по всем статьям человеческим наилучшими. Самой надежной советской конструкции. До последнего своего вздоха — рабочий класс. Сделали меня отделенным, с танковой частью по тылам немцев в рейды ходил, при полном отсут-

ствии производственных условий машины ремонтировал; когда ремонта не было, доверяли должность механика-водителя — отводил душу.

Кончив свой длинный рассказ, Буков оглядел притихших монтажников и сказал строго:

— Время позднее, молодым организмам спать положено. — Встал, потянулся. — А у меня сна не будет, растревожился. Пойду похожу по местности...

Отбросил рукой полог палатки.

— А луна глядите какая! На фронте мы ее не уважали. Осветительный прибор. Значит, жди бомбежки...

Не просто было на душе у Букова. С одной стороны, он был доволен, что молодые ребята притихли, посуровели. Видно было — молча переживают услышанное. С другой стороны, Буков опасался, не получилось ли, будто он хвалится собственными подвигами. А ведь эти ребята строят здесь, в пустыне, гигантский медешлавильный комбинат и до этого уже не один завод ставили, а он, вместо того чтобы на разговор вызвать, как бы собственным примером их поучал. И Буков вдруг извиняющимся тоном заявил:

— Это я просто так вас информировал. Вроде представиться, что, мол, за личность, для знакомства.

Встревоженно он ждал, что ответят, и услышал:

— Вы, товарищ Буков, за машину свою не беспокойтесь. Если подъемники к завтрашнему утру не получим, соберем доисторическим способом, без подъемников.

— А мне не к снеху, — смущенно кашлянув, сказал Буков. Отвернулся, чтобы ребята не разглядели выражения его лица, добавил с усилием, строитиво: — Вручную сборку вести — это нарушение. Понятно? — И зашагал прочь от палатки, испытывая блаженное чувство радости: такое доводилось ему испытывать на фронте, когда люди без слов понимали друг друга, совершая то, что теперь называют подвигом. Ему очень хотелось вернуться в палатку, чтобы досказать, чего не успел. Но зачем? Они и так поняли главное. Надежные ребята, в себе уверенные, и это хорошо, что такие самостоятельные. Буков шагал в темноте, жадно вдыхая чистый, прохладный воздух, мягко ступая на сыпучие пески, которые некогда были скалами, постепенно за миллионы столетий рассыпавшимися в прах.

Буков бродил по серому скрипучему песку, местами проросшему кустарником, подобным пучкам оцинкованной проволоки, и вспоминал о том, как еще в самом первом месяце войны его послали на ремонтной летучке к поврежденному на поле боя танку. Машина потеряла левую

гусеницу. Она лежала, плоская, вытянутая, суставчатая, метрах в двадцати от танка.

Буков подъехал на летучке к гусенице и стал прикручивать буксирный трос к тракам гусеницы. Но тут немцы открыли пулеметный огонь по полуторке: сначала он увидел, как из бортов, словно перья, летела щепка, потом зашипели и осели пробитые скаты. Но все-таки ему удалось доволочить гусеницу до танка, когда уже из пробитого бака тек бензин, а потом загорелась полуторка, и он выскочил из нее и бросился к танку, перекинулся в открытый люк и там присел на металлический пол, зажав под мышками пораненные руки.

«Что, попало?» — осведомился из недр машины сиплый и слабый голос.

«Ага», — сказал Буков.

«Сильно?»

«Не очень».

«Обуть машину сможешь?»

«Один — нет».

«А я в напарники не гожусь. Ноги перебиты».

«Почему же вас тут оставили?»

«Не оставили, а остался дежурить у пулемета, чтобы машину не сперли. Значит, не сможешь?»

«Говорю — нет».

«Партийный?»

«А в чем дело?»

«А в том, надо у меня партийный билет взять и сдать в политотдел как положено».

«Ну, комсомолец я».

«Тогда можно, забирай и сыпь обратно».

«Я вас не оставляю в таком положении».

«А на черта ты мне нужен?»

«Ну, все-таки...»

«За невыполнение боевого приказа знаешь что бывает?»

«Говорю — не оставляю».

«Ты вот что, — просительно произнес танкист, — у меня секретный пакет, срочный. Понял? Его доставить нужно».

«Так бы и сказал».

«В планшете. С планшетом и сдай. — Танкист помедлил, произнес наставительно: — И расписку возьми. Без расписки не возвращайся».

Уползая от танка, Буков слышал за спиной звонкие, резонирующие о броню очереди станкового пулемета. Но когда он добрался до штаба и вручил дежурному планшет танкиста, тот вынул из планшета партийный билет в целло-

фановой обертке, карту, две свернутые дивизионные газеты, но никакого секретного пакета там не оказалось. Букова задержали. Но после проверки выяснилось, что за танкистом никаких секретных документов не числилось. И когда Буков вернулся к танку на другой летучке, танк уже горел, расстрелянный немецкой артиллерией. И Буков понял, какой уловкой этот танкист спас ему жизнь. А что он о нем, об этом человеке, знал? Ничего. Даже лица не видел. И танкист его не знал. А вот спас от смерти. И сам погиб в одиночестве. И на всю жизнь Буков остался в долгу перед этим человеком, он привык мысленно отчитываться перед ним, проверять свою совесть. И сейчас он соображал, правильно ли он держался с ребятами, ведь они с такой готовностью решились на трудную ручную сборку машины, без подъемных средств, в чем, собственно, не было уж такой срочной необходимости. Но, решив так, они стали ему близкими, словно однополчане.

2

Как всегда бывает в пустыне, ночью земля остывала, отдыхала от дневного зноя.

Безоблачное небо застыло прозрачным светящимся слитком над монтажной площадкой.

Сторож спал на алюминиевой раскладушке, накрывшись ватыным одеялом.

Рыжая кудрявая дворняжка величиной с детский валенок, лежавшая в ногах у сторожа, соскочила, подошла к Букову, понюхала его ботинки и вдруг встала столбиком, как суслик, выпятив пузо, дружелюбно виляя хвостом.

Сторож, проснувшийся оттого, что собачонка его покинула, поднял с земли пачку сигарет, закурил, стал кашлять.

Буков сказал:

— Пес у тебя подхалим.

— Не то слово бормочешь, — обиделся сторож. — Собачка культурная. Привыкла к тому, чтобы ей восхищались, одобряли. А ты хочешь, чтобы я немецкую овчарку держал и она на людей зверем кидалась? Такие злые животные нам вовсе не требуются. Я тут сначала при геологах служил. Все, как один, с образованием. Высшая интеллигенция. Так они из блюдечка молоком трехразовое питание змее-гадине установили. Приучили вместо кошки им услужать. Ни одной мыши на продуктовом складе от того змея

не было. Полоз его порода, безъядовая, но все равно — пакость. Как кошка, склизкая. Но они им умилялись, хвалили за то, что мышей жрет, по шкуре рукой гладили. Когда я им замечание делал, вот что говорили: в Египте, дескать, в старинное время змею даже памятник был установлен. Полагают, за то, что в старые времена сильный мор от чумы был, а грызуны заразу переносят. А против грызунов змея — первый борец. Научно сильно во всем ориентировались. Наташат мои геологи в палатку битого камня, в кислоту окунают. Я их учу: «Вы бы камень на спирту настаивали — напиток все-таки». А они стекляшку показывают, спрашивают: «Захар Семенович, по-вашему, что из этого эликсира получится?»

Я человек серьезный, не до баловства, вразумляю:

«Зря вы тут в пустыне копаетесь. Человечество, которое здесь до вас сто веков жило, не зря пустыню пустыней обозвало. Пустыня что значит? Пусто! Ничего нет. Значит, нечего здесь шарить, зарилату зря истреблять».

А они мне про всякие войны, нашествия байки вкручивают, будто от войны пустыни заводятся.

Войну я знаю. Почище их. С басмачами тут сколько на кавалерийской службе сражался. И в Отечественную по состоянию возраста в похоронной команде служил. Вредность войны я знаю. Не побей мы фашистов, они бы всю планету захватили. Но мы их укоротили. Не получилось у них из земли пустыни делать.

Выковыривали геологи тут старинные кости человеческие, хотя и говорили, что кости не их специальность: в древние времена народ сильно от войны погибал, от эпидемий, от голода. И это все на костях отпечатано — кто порубанный, кто просто хилый — от болезней и отощания. Так что по-научному о старой жизни надо рассуждать не по гробницам, минаретам и всяким украшениям из металла, а по костям простого народа.

А по линии перспективы в этой самой пустыне они правильно угадали. Пошли по всем инстанциям. И вот наличность. Горно-металлургический комбинат закладывают.

Вот тебе и пустыня! Обманное это слово оказалось. Не пусто, а густо. Здесь в землю много добра напихано. Главное теперь — наружу все вытащить и — в переплав. Держава наша хозяйственная, умеет чего надо себе взять.

— Нахватался ты, даже слушать интересно, — сказал одобрительно Буков.

— Что значит — нахватался? Я и своим умом не мало-

мощный. Живу, соображаю, как все. А ты чего ходишь, чего людям отдыхать не даешь?

— Да вот к машине зашел, провести.

— Экскаватор — это тебе не пистолет, который собрать и разобрать одними пальцами можно. Сооружение громоздкое.

— Это точно.

— Он все равно что танк, только без брони. Да еще стрела, ковш. Словом, танк с грунточерпальным снаряжением. Чем люди больше за технику хватаются, тем они больше от техники зависимы. Не пришли подъемники. Лежит железо железом. И без техники ты его не построишь в машину.

— Это когда как, — сурово сказал Буков. — Припрет, так построишь.

Выбравшись из-под одеяла, сторож сказал:

— Разогнал ты весь мой сон. Если ты сытый, давай чаю попьем. Я его исключительный любитель. Напиток полезный, соль вымывает. Потом поймей в виду, у нас тут ночь — лучшее время рабочее: прохлада. Местный народ понимает. Ты это учти. Просись в почную смену, она наилучшая. Ты чего сам больше обожаешь — жару или холод?

— Приходилось намораживаться до полусмерти, — хмуро сказал Буков. — На ногах четырех пальцев нет, в санбате удалили.

— Это где же тебя угораздило так простудиться?

— В сорок втором году надо было Ленинграду помощь боевую подкинуть. Пришла танковая часть. Машины тяжелые: КВ, тридцатьчетверки, а лед на Ладожском озере плохой, непрочный, в трещинах. На лучших участках выдержит нагрузку до тридцати тонн. А весу в танке значительно больше.

— Это верно, — сказал сторож. — Такое изделие не всякая земля удержит, а тут скорлупа — лед. Да еще ломаный, разве починишь?

— Чинить можно, — возразил Буков. — Мы лед ремонтировали, намораживали, наращивали себе дорогу.

— Значит, на этом деле ты и пострадал?

— Мое дело не дорожное, по линии механики. Надо было вес машин облегчить. А как? Значит, демонтировать. Приспособлений нет. Ни подъемников, ни блокоустановщиков. Исхитрились из шпал клетки укладывать, из телеграфных столбов — ваги, стрелы подъемные вязали. Снимали башни с орудием, стальные крыши надмоторные

и ставили все это на сани-волокуши, из бревен сооруженные.

Мороз за тридцать, да при ветре. Обогреться нечем. Костер не разведешь. Сразу немец обнаружит, из пушек начнет бить или с воздуха бомбами закидает.

Железо — оно холоднее льда. Лед после железа теплым кажется. В рукавицах только грубую работу делать можно. А тонкая — голую руку просит. Это же машина. Она обращение только деликатное признает. Масло в ней в камень застыло. Подвижные части — как сцементировало. Накроют тебя брезентом, водишь паяльной лампой, чтобы масло оттаяло, охота самому себя всего этой лампой осмолить, чтобы хоть тепло почувствовать. Ресницы смерзаются, моргаешь, а глаз при том скребет, как наждаком. Начнешь деталь снимать — тяжесть невыносимая, кости скрипят и пот из тебя выжимается. После он коркой на тебе всю кожу царапает, будто не обмундирование на тебе — жель. В дыры ветер задувает. И спирту много принять нельзя. Пуще здоровья надо соображение сберечь. Охота еще хлебнуть, но отвергаешь. Да он и не действовал, спирт, жег, а тепла внутри нет. Все равно стынешь. Но застывать нельзя: пока немец не накрыл, надо всю работу кончать. Но конца ее не было, а только начало.

Начали марш по льду.

Примостился я на танке, без крыши он, все наружу. Механик-водитель стоя танк ведет. Надел железные трубы на рычаги управления и так действует. Пурга метет. Видимость плохая. Одолесть надо тридцать два километра по прямой. Если, конечно, не заблудишься.

Лед прогибается, трещит. Из дыр, которые бомбы во льду пробили, вода столбиком от нажатия наружу фонтаном лезет. Дыр таких много, на глаз видно, как они трещинами между собой объединяются, вот-вот рухнем, кроме того, сугробы стенами намело, таранить их танку в собранном виде — незаметное дело, а тут все на тебя сыплется снежным обвалом. Как сильный заряд пурги ударит — видимости нет, вылезает из танка, суетишься, ногами впереди его вешки щупаешь. На чистом от снега месте не лучше, ветер снег смел до полной шлифованной ледяной поверхности. Танк — он ничего, не скользит, а сани-волокуши, которые у него на буксире, мотает во все стороны. Вот и оборвало трос таким рывком. А на волокуше — башня с орудием. Надо за ней возвращаться, а как, если мы на своем маршруте лед совсем испортили? Но танк без башни — что? Трактор. С ним без башни не навоюешь. Оста-

вить башню — все равно что солдату на марше оружие потерять. Невозможно.

А лед звучит, как струна порванная, стреляет лед трещинами, из них серая вода прет.

Ну, связал я трос, стоя в воде. Догнал уже на ходу машину. Бежал, стуча ногами, потому что они льдом обмерзли. Руки на бегу снегом тру. Сунул себе под мышки, чтобы пальцы на руках сохранить. Руки для механика — все, а про ноги позабыл, надо было б разуться, тоже снегом их растереть. Но я на руках сосредоточился. У механика-водителя на лице твердая маска из льда, пурга да водяные брызги со снегом всего его залепили. А обе руки заняты рычагами, даже обмахнуться нельзя. Стоит, терпит.

Все-таки достигли мы берега. И там сызнова то же самое. Только в обратном порядке. Танки надо собрать, смонтировать. При тех же условиях отсутствия условий, подъемных средств и прочего. А как собрали, поехали прямо тут же в бой, ничего, смонтировали без дефектов.

Но что интересно! Как я до самых костей не застыл, простуда меня обошла. Нервный подъем — сильнейшая вещь от простуды. А что пальцы на ногах отморозил — мое упущение, некогда было снегом тереть, слегка мыслить.

— Это ты убедительно рассказал, — помолчав, произнес сторож. — С одной стороны, конечно, мучение, а с другой стороны — подвиг правильный.

— Неправильных подвигов не бывает!

— Ты мужчина хитрый, — прищурившись, сказал сторож, — про геройство с подходцем толковал. Сейчас хороших людей завелось много, деваться от них некуда. Каждый на другого жмет, подавай ему сию секунду пространство, чтобы полностью развернуться по специальности. И ты тоже из таких. Мол, на фронте техникой через не могу обеспечивали, а тут, в мирной обстановке, бывшего фронтовика обижают.

— Я на обиды неподатливый.

— А на других жмешь. Не пришли подъемники, так всю тяжесть твоего агрегата надо ребятам с платформ руками своротить и собрать вручную.

— Была бы охота. Можно ворот соорудить, мачту для крана из бревен строительных.

— В самую точку я тебя угадал, — самодовольно сказал сторож. — Сразу подметил, как ты по площадке хозяйским глазом прицельно рыскал. — Произнес одобрительно: — Я самостоятельных обожаю. — Спросил: — Так ты что же, так всю войну по слесарной части и служил?

— С сорок четвертого механиком-водителем. Взяли в бригаду.

— Этот год я на фронте хорошо помню. — мечтательно сказал сторож. — Из похоронной команды в ВАД зачислили. Бесчисленно техника перла. За двое суток любую дорогу раздолбают. Только давай ремонтируй. Дорогу калечили без жалости. А что поделаешь — война. И у каждого свой интерес. Им на фронт скорее, а нам дорогу содержать в порядке надо. Так что я от вашего брата танкиста натерпелся. Высунет башку из своей брони, смотрит, как император, — и никакого внимания. Прокатит, а за ними после ну хоть бы колея, а то прямо траншеи остаются, засыпай, трамбуй, выглаживай, новые наедут — испортят. От колесного транспорта к кому претензия? Не к ним, танкистам, а к нам, вадовцам, а разве мы виноваты?

— Ну что же, извиняюсь, — сказал с улыбкой Буков.

— Догадливый, — ухмыльнулся сторож. — Сразу понял, для чего я так на вас, танкистов, жалуюсь. От удовольствия вспомнить, сколько металла фронту подкинули. Земля не удерживала, по швам разъезжалась от его силы-тяжести. — Спросил озабоченно: — А ты начальство собой беспокоил или сразу на площадку кинулся?

— Завтра на партийный учет пойду становиться, там и выскажусь по поводу своего положения.

— Это адрес правильный. Там от любой глупости лекарство найдут и кому надо рецепт на него пропишут.

— А ты что, партийный?

— Шаронову Герману Устиновичу рекомендацию в двадцать втором году я давал. А кто он теперь? Медицинский генерал-майор. А кем был? При нашем эскадроне фельдшером. Пулю он мне на скорую руку из тела вырезывал ночью при плошках, ничего лишнего не повредил и зашил аккуратно. Но пришлось по обстановке снова в седло садиться, чтобы теперь уже басмачи окончательно не зарезали. И ничего, ни одна нитка на ране не лопнула. Так что состою в партии с восемнадцатого и пенсию имею не какую-нибудь, а партийную. В сторожах временно. Вот развернут строительство, дождусь подходящей себе специальности. Я ведь только снаружи пожилой, а внутри у меня все играет. Прибыл сюда с геологами верхом на верблюде. Чего тут было? Пустыня. Беспольный песок, и все. Жары столько же, сколько на Северном полюсе холода. Но мне что, я местный, от солнца не луплюсь, не потею. Меня знакомые басмачи уважали за устойчивость к климату. С запутанными, из бедняков, я специально дружил, чтобы

не силой, а умом перевоспитывать. На одной из ихних женился. Теперь моя старуха — общественница, бойкая такая. А как познакомились? Кинулась с ножом, полоснула маленько, ну я ее и прижал, всмотрелся: глазки, носик — все на месте. Парнишка я был теплый, уговорил, села позади на коня, и все. Родителям по обычаю все ж таки калым отвез — граммофон. В то время граммофон редкостной машиной считался. Это сейчас народ забаловался: телевизор смотрит без удивления, будто это нормально. Тогда граммофон можно было на двух коней сменять. А сейчас каждый мальчишка с транзистором, как с балалайкой, ходит. Велосипед за вещь не считают, на мотороллере по пустыне гоняют. Скачет время, так что всего бывшего запомнить не успеваем. Мы тут кирками да лопатами шурфы копали совсем недавно. А ты прибыл, и вон — махина экскаватор. Черпачок у него в вагонетку, с одного замаха четыре куба кидает. И ты еще недовольный, что в несобранном виде тебе его представили. Трудностей понимать не желаешь.

— Порядок должен быть.

— Фронтowej анекдот про порядок знаешь?

— Знаю, для утешения придумали. Но я за твердую четкость во всем.

— Тут я согласен. Неувязки — это глупость прикрытая. — Снял с костра чайник, налил в пиалу, подал Букову. Произнес с благоговением: — Пользуюсь для заварки только девяносто пятым номером, лучшего и министры не пьют. Напиток полезный, весь организм улучшает...

Желтая тяжелая луна висела в небе. От песка веяло прохладой, пахло пресно камнем. В колючих зарослях ерзали ящерицы. Над костром порхала летучая мышь с тонким посвистом.

Сторож постелил себе кошму, а раскладушку уступил Букову, но Буков долго не мог уснуть, томительно ощущая гигантское ровное пространство пустыни, бездну неба.

...Перед глазами его вставала с зажатой в белых губах сигаркой политрук Зоя; щурясь, она приказывала начальственно:

«Орудие я не имею права оставить. Давайте его на крюк к танку».

Пожимала левой рукой руки остающимся бойцам, говорила официальным тоном:

«Благодарю вас, товарищи, от лица командования ПВО».

А лицо у Зои было землистым, похудевшим, маленьким, жалким, как у мертвого ребенка...

Люда подошла к Букову и потупилась, протянула пакет с чистыми портянками, шепотом сказала:

«Вот возьми от меня на память».

Мелкие слезы катились по щекам.

Буков, смущенный, растроганный, сказал растерянно: «Чего ревешь? Портянок стало жалко?»

Сказал так для того, чтобы она не мучилась жалостью к нему. Но не выдержал тона, содрал у себя с пилотки звездочку, сунул в ладонь Люде, ласково посоветовал:

«В часть прибудешь, нацепи, а то на твоей потеряна, еще наряд заработаешь».

А потом попросил снайперскую винтовку у Ельченко, долго целился, наблюдал сквозь оптический прицел Люду, сидящую на броне танка...

Ельченко вскоре был ранен в лицо, отдал совсем свою винтовку Букову и сказал:

«Пойду потрепещу перед взводным, выпрошу противотанковую гранату».

С гранатой Ельченко выполз из окопа и подорвал немецкий станковый пулемет, но обратно не вернулся.

Вспомнилось Букову, как во время танкового боя он, уже будучи механиком-водителем, с ходу налетел на пень и машина зависла на пне, беспомощно грохоча впусную гусеницами. И недвижимая машина стала мишенью. Тогда он выполз через аварийный люк, заложил под пень взрывчатку, зажег куцый кусок бикфордова шнура, снова залез в танк и ждал там взрыва. Взрыв получился сильный, не то пень скосынулся, не то танк с него сбросило. Только машина встала на землю. И Буков, оглохший от взрыва, ушибленный, все-таки вел танк. Это было под Варшавой. Но город Буков не помнит, не рассмотрел. Очень у него самого вид был тогда неважный, стеснялся в таком виде показываться населению заграничной столицы. Весь в бинтах, лицо в ожогах. И Берлин мало тогда видел. В триплекс какой обзор? Ограниченный. Для боя достаточный, а чтобы все нормально рассмотреть, видимости не хватает. Это потом, когда в Германии служил, город разглядел, когда в экскурсии водили.

В Германии когда служил, гражданских немцев вначале стеснялся, поговоришь — а человек скажет: вы моего родственника на войне убили. А что ответишь: доводилось.

Но победа не только в том была, чтобы фашистскую Германию одолеть, но и освобождение людям дать, чтоб они могли самостоятельно потом разворачиваться, согласно своим желаниям.

3

В Германии Степапа Захаровича Букова зачислили в Особое подразделение, которому надлежало также охранять подземные коммуникации Берлина на участке, находившемся в ведении районной комендатуры.

Гигантский каменный подземный кишечник города простирался хитросплетенным, таинственным лабиринтом на огромном пространстве, вмещая в своих туннелях все то, без чего не может нормально жить и работать современный город.

Конечно, это не лучшая должность для солдата-победителя — лазить под землю со всеми своими орденами и медалями и там, в грязи и духоте, слесарить, чтобы не только гражданские немцы, но и те, кто лишь недавно скинул мундиры, смогли вдосталь купаться в ваннах, пользоваться всеми благами сантехники. Хотя Буков в душе и понимал, что он совмещает в своем лице воина с представителем рабочего класса, утешать недавнего противника своим трудом он считал не только нежелательным, но и обидным занятием.

— Угождать фрицам коммунальными удобствами — я такой присяги не давал, — твердо заявил Буков капитану Зуеву, своему новому начальнику.

— Значит, пускай гражданское население страдает?

— Наших сколько городов поломано. Дома на любую работу согласный, а здесь пускай сами себе все чинят.

— Выходит, ты всем немецким людям враг?

— Не всем, а которые бывшие фашисты.

— Так ты квартиры фашистов не подключаешь.

— А откуда я буду знать, кто в них жильцы?

— Может, тебе список дать?

— Желательно.

— И ты будешь по этому списку лично карать лишением коммунальных услуг, как победитель. Так, что ли?

Буков смутился, пробормотал:

— Ну недомыслил, ну и что?

— Значит, убедил? — спросил капитан Зуев и самодовольно откинулся в кресле.

— Не убедил,— хмуро произнес Буков.— а разжаловал. Значит, автомат сдать и в получении слесарного инструмента расписаться?

Капитан хитровато усмехнулся:

— Я, товарищ Буков, так полагаю: задание не столько ремонтное, сколько боевое, и подразделение наше посему скомплектовано из людей самых отважных.

— Подсластили пилюлю.

— Я ее сам недавно получил.

— Ну и как?

— Принял как положено.

Буков с неприязнью оглядел капитана. Неказистый, сутулый, с узкими, обвисшими плечами, две глубокие продольные морщины на впалых серых щеках, широкие залысины на висках с раздутыми венами, глаза бесцветные, усталые. Вот только на колодке обозначено восемь боевых орденов, а также орден Трудового Красного Знамени и «Знак Почета» — значит, и на гражданке отличился.

— Ладно.— вздохнул Буков.— Приказ есть приказ.

— Вот именно,— согласился капитан и, протянув руку, объявил: — Величаюсь Павлом Ефимовичем.

— Приятно,— сказал Буков.— Но только мы давно уже знакомые, впопыхах, на ощупь.

— Верно,— согласился Зуев.— Я твои руки на себе помню — клещи. Одну на горле моем держал, а другой обследовал, какой погон на мне — немецкий или наш.— Похвалил: — Осмотрительный товарищ. Другой мог бы и пришить.

— А как же. Сидит в полной темноте в бункере, в их бывшем узле связи, с наушниками на голове, когда я сам из автомата все здесь чистенько подмел. Откуда, думаю, такой фриц? Но почему деликатно обошелся? Махорку вы курили. Захотел проверить, что это за немец такой особенный, который нашу махорку любит.

— Увлёкся, верно,— вздохнул Зуев.— Под контролем их штабные переговоры держал, на башке наушники, значит, фиксировать посторонние звуки лишен возможности. А вдруг — ты. Хорошо, что вежливо — только за горло.

— А вы мне ногой в живот,— напомнил Буков.

— Защитный рефлекс,— объяснил Зуев. Улыбаясь, добавил: — Считаю, побратались.— Посуровев лицом, произнес: — Так вот, информирую, какая обстановка на подземных коммуникациях.

— Одеколоном там не пахнет,— усмехнулся Буков.

— Есть сведения: из союзных секторов по ним недобитые фашисты переходы к нам делают, диверсионный акт совершат — и обратно тем же способом. Садись, садись, чего встрепенулся? Все равно ты мне и как слесарь нужен. Главная задача мирная остается: по линии водопровода и прочего. Диверсанты попутно трубопроводы, коллекторы, кабели рвут. Придется по совместительству и ремонт производить, и в засаде сидеть. А ты — автомат сдать...

— Ошибся, полагал, задача только немцев гражданских обслужить.

— Она и остается. Во-первых, жизнь нормализовать, а во-вторых, на этой основе дружеские контакты установить.

— По коммунальной технике мне кое-что делать приходилось, — счел нужным сообщить теперь Буков.

— Моя довоенная должность — оперуполномоченный уголовного розыска. На фронте — разведбат. А теперь вызвал кадровик, и вот получил назначение, исходящее из мирной моей специальности.

— Не очень-то она у вас мирная, — уважительно сказал Буков.

— А как же не мирная, — возразил Зуев, — на фронте криминалисты не требовались, а теперь пожалуйте.

— Это что же, воров ловить?

— Допустим, только особого сорта. Врываются ночью в квартиры, грабят, убивают, а потом уходят в союзные секторы на отдых.

— Это что же, свои — своих?

— Нападают на тех, кто не с гитлеровцами.

— Вервольф действует?

— Допустим.

— Ясно, — сказал Буков и, уже с признательностью посмотрев капитану в глаза, тревожно осведомился: — Ну, а я буду соответствовать? Мне не доводилось. Только в бою, а там арифметика простая: вот он, вот я, кто кого.

— Правильно, что сомневаешься, — согласился Зуев. — Первый враг в нашем деле — самоуверенность. — Спросил озабоченно: — С языком у тебя как?

— Что, взять надо?

— Знать.

— Нахватался самую малость.

— Напарником у тебя будет товарищ Должиков. Поможет. Но ты ему тоже помогай. Кадровики были против него. А я — «за». Почему? Ну, это под мою персональную ответственность. Взял, и точка.

Зуеву понравился Степан Буков спокойной уравновешенностью, неколебимым самообладанием, чувством внутреннего достоинства, которое присуще людям, никогда ничем не поступавшимся ради того, чтобы им было легче, когда другим трудно.

Зуев уже успел подметить, что Буков равно уважительно разговаривал с хорошим солдатом и старшим офицером, не изменяя при этом ни выражения лица, ни интонации голоса. Он скоро понял, что Буков обладает духовным счастливым талантом — радоваться хорошим людям, угадывать таких людей.

И о своих подчиненных Буков рассуждал бережно, внушая Зуеву, что каждый из них — личность особенная, обнаруживая в своих суждениях глубокую наблюдательность, способность открывать в человеке самое существовавшее и ценное.

Но в общении с подчиненными Буков не обнаруживал своих прозорливых догадок, считая, что он не вправе касаться их сокровенных черт. Эта духовная деликатность вызывала у бойцов особую солдатскую приязнь к Букову, когда старшим человека считают не только по званию, но и по его человеческому достоинству, ничем никогда не занятому.

И с Зуевым Буков держал себя также уважительно, относился к нему как к человеку, для которого профессия не только служба, но и прочное место в жизни.

Буков говорил о себе Зуеву сдержанно:

— По существу я кто? Рабочий человек. Считаю высшим званием в любом человеческом деле — звание мастера. В армии то же самое: мастера огневого расчета, разведки, мастера механики-водители, ну, словом, по всем родам военных профессий — мастера. Но есть мастера, а есть подмастерья — это те, кого еще тянуть надо. Человек-мастер чем одержим? Чтобы получше работу-задание выполнить, хоть гражданское, хоть военное. Такими людьми мы осчастливлены. Таких людей слушаются душой.

Вспоминал с увлечением:

— Был у нас механик-водитель, специалист по эвакуации с поля боя поврежденных танков — Серегин. Почитали бессмертным и бесстрашным за отчаянную его отвагу.

А он вовсе не отчаянно отважный, а просто выдающийся мастер своего дела. Осмотрительный, вдумчивый, расчетливый, понимающий бой не хуже общевойскового среднего командира. Учитывал момент по ходу боя, когда следует на тягаче выскочить. Вел машину с учетом системы огня

противника, особенностей местности. Обычно долго вел наблюдение за полем боя, прикидывал свою тактику. Работал на танке, у которого башню в бою тяжелым снарядом расшибл. Но мы отремонтировали и выпустили без башни, как тягач.

Однажды командующий танковым корпусом генерал Понов увидел этот безбашенный танк-тягач. Рассердился и приказал немедленно восстановить полностью боевую машину и вернуть ее в строй. Обстановка тяжелая, потери в технике большие, а тут из танка сделали тягач для эвакуации поврежденных машин.

Генерал Понов сам ходил обычно в бой на танке. Войну начал командиром взвода. Отличался храбростью и некоторой горячностью, когда дело касалось существенных нарушений.

Так вот Серегин перед этим генералом и показал свое спокойное, выдержанное бесстрашие, когда представил ему рапорт-выкладку, в которой доказывал, какие потери мы несем, когда поврежденные на поле боя танки простаивают лишнее время под расстрелом артиллерии противника, так что их потом невозможно восстановить или восстановление требует слишком много времени. И цифровой расчет Серегин произвел, сколько минус один танк приплюсовал нам возвращенных в строй танков. Изложил доказательно: какая мощность, маневренность, вездеходимость у облегченного безбашенного танка в качестве тягача. И даже сослался на потери эвакуаторов в других частях, пользующихся тракторами-тягачами, в то время как он на своем безбашенном танке отделялся пока только незначительными ранениями, — значит, и экономия в живой силе.

Генерал не был любителем бумаг, тем более когда они подаются младшим командиром, который, став по команде «Смирно», настаивает на прочтении своего рапорта.

Говорили, что Серегин, не моргая выслушав всю брань, в ответ на взбешенный вопрос генерала: «Да кто ты такой? Ты это понимаешь?!» — доложил бодро: «Так точно! Эвакуатор сержант Серегин. На личном счету шестнадцать тяжелых, двадцать восемь средних, доставленных к месту ремонта с момента выхода их из строя без дополнительных повреждений благодаря наличию мощного тягового средства».

Прочитав рапорт, генерал спрятал его в карман кителя. Спросил Серегина:

«Награды имеешь?»

«Имею», — сказал Серегин.

«Так что тебе от меня надо?»

«Разрешите оставить тягач».

«Не могу, — покачал головой генерал. — Нет у меня сейчас такой возможности. Ты прав, но и я прав...»

А спустя некоторое время пригнали к эвакуаторам на своем ходу немецкий тяжелый танк, и он был передан сержанту Серегину от имени генерала Попова, по его особому приказу, для сержанта эвакуатора Серегина. Этот танк был добыт в последнем бою, которым командовал генерал.

Закончив историю с тягачом, Буков пояснил Зуеву:

— Я это к чему? Мастерство не специальность, а особенность человека. Специальностей всяких бесчисленно. Но чем светятся? Человеком! И человеку специальность тоже светит, когда она цель жизни по призванию. — Произнес со вздохом: — Машины я обожаю. — Признался: — Тянет.

И сейчас, говоря о задании, Зуеву не хотелось излагать его Букову только тоном приказа, поэтому он позволил себе отступление, как бы только для того, чтобы еще раз подтвердить Букову, что работа в Особом подразделении для самого Зуева есть продолжение того, что стало его призванием.

4

Особое подразделение разместили в доме рядом с районной комендатурой. Дом был покинут владельцами, бежавшими на запад, и весь он был начинен вещами, свидетельствовавшими о богатстве, избалованности его прежних обитателей.

Но ко всем этим вещам служащие подразделения относились с какой-то брезгливостью. В спальне, где стояли огромные, как платформы, кровати, наставили топчаны. Не притрагиваясь к фарфоровым сервизам, ели из армейских котелков на кухне, которая и стала главным местом сбора подразделения. И когда дневальные получили приказ от Букова прибрать помещение, они сделали то, что подсказывали им их солдатские привычки, — унесли все крупные и мелкие вещи в одну комнату, заполнив ее до потолка, словно складское помещение. И хотя после такой приборки всюду на полу объявился мусор и пыль от снятых ковров, Буков объявил удовлетворительно:

— Вот теперь нормально! — И пожаловался: — А то что получалось? Повернуться негде. Что-нибудь заденешь.

Натолкали имущества. Все время на психику давило. Неловко все-таки: чужим пользоваться не приучены.

— А они?

— Чего они?

— Как они нас грабили!

— Ты что, Должиков, лепечешь, ты соображаешь?

Должиков — тощий, долговязый, испитой, со впалой грудью, в обвисшем обмундировании — стоял, прислонившись спиной к стене, и, в упор глядя на Букова, сказал:

— Они к нам в квартиру вселились. До смерти буду все помнить. До самой своей смерти.

— Ну, теперь ты в их доме...

— Вам хорошо, вы воевали и того не видели, что я видел.

— Конечно, фронт для солдата вроде курорта, все время на природе, — иронически заметил Буков, — питание по норме. И физзарядка в бою, чтобы не полнеть.

— А я за фашистами ночные горшки выносил.

— Ну, это кто на что способен...

Буков почувствовал недоверие к Должикову, когда впервые увидел его. Первые слова, которые сказал ему Должиков, указывая на войлочный самодельный футляр, который он бережно положил на койку, были:

— Пожалуйста, не трогайте, здесь у меня музыкальный инструмент.

— Ну! А я подумал — слесарный. Балалайка, что ли?

— Скрипка.

— Скажи пожалуйста — скрипка. Ее, значит, на койку, как куклу, а автомат, как топор, под лавку? Хорош солдат! — Спросил примирительно: — Может, сыграешь?

— Нет.

— Почему ж так?

— Сказал — нет.

— Ты что же, во всем такой принципиальный?

— Вам поговорить хочется?

— Интересуюсь, что ты за человек.

— Биографию рассказать?

— Смотри, какой ершистый!

Должиков осторожно погладил рукой скрипку в футляре, спросил:

— Вы действительно любите музыку?

— Расстраиваюсь, это верно.

— То есть как расстраиваетесь?

- Очень просто, не в себе становлюсь.
- Зачем же тогда просили, чтобы я играл?
- Да ты что меня допрашиваешь?
- Интересуюсь, что вы за человек...

«Дерзкий парень, нахальный», — решил Буков и неприязненно посоветовал:

— Ты все-таки, когда к старшему по званию обращаешься, держи себя в норме, ясно?..

И сейчас, когда Буков сказал эти обидные слова: «Кто на что способен», видя, как побледнел при этом Должиков, смутился и произнес сипло:

— Ну, погорячился, понятно? — Спросил участливо: — Так ты, выходит, на оккупированной территории жил? Натерпелся. Оттого такой весь издерганный. С какой стороны ни коснись — больно. — Засуетился, протянул пачку немецких сигарет: — Закуривай.

— Нет.

— Ты что, от меня взять не хочешь?

— Нет, просто не курю.

— Правильно, и не кури. Оберегай здоровье.

— А зачем?

— То есть как это? Чтобы жизнь себе на полную ее катушку обеспечить.

— Вы что же, и в бою такие советы давали?

— Войну мы пришибли в самом, как говорится, ее первоисточнике. Тенерь одна забота — благополучие жизни своему народу вернуть. И тебе тоже.

— А почему мне?

— Я солдат, — значит, перед тобой виноват, что до твоих мест немца допустил.

— Напрасно так говорите.

— Почему же? Ты думаешь, передо мной виновный, что не воевал, а я думаю, перед тобой виноватый, что воевал плохо.

— А вы, оказывается, добрый.

— Ну, не ко всякому. Ты, Витя, вот что: если так, сыграй что-нибудь, чего пожелаешь.

— А я не умею.

— Что значит «не умею»?

— Ну просто — не умею, и все.

— Так зачем при себе такую габаритную и ломкую вещь таскаешь?

— Сказать?

— Как пожелаешь.

— Ну, понимаете, гнали людей расстреливать. А мы

бежали рядом. Я и Соня отца искали. А какой-то человек мне крикнул: «Мальчик, держи!» — и бросил скрипку. Женщины детей бросали в толпу, чтобы спасли, а он — скрипку. Так она у меня и осталась.

— А Соня — это кто?

— Сестра.

— Где же она теперь?

— Нигде, убили.

— За что?

— Просто так. Шла домой, а они ее убили.

— Отец где?

— Отца я нашел. Они не зарывали, пока весь ров не заполнится. А потом я в управе у них служил, сначала курьером, потом писарем.

— Зачем же вдруг такое — служить им?

— Попросили.

— Они?

— Нет, наши. Но нас один предал.

— А ты как же?

— Выжил! И очень просто — я весь свой паек маме отдавал. Питался совсем плохо, началось вроде дистрофии. Так что, когда допрашивали, били, я раньше других терял сознание, и тогда совсем не больно. А тех, кто сильнее меня, очень искалечивали, некоторые в камере умерли. А когда на расстрел повели, я идти не мог. Чтобы не задерживать колонну, мне велели в кювет вниз лицом лечь и выстрелили сюда вот, видите, где волос на затылке нет. Ну, я очнулся, уполз. Рана зажила, но вот со зрением стало плохо. Но я с этим дефектом все-таки радистом работал, и очень, знаете, удачно. А потом, когда снова стал видеть, хуже работал, внимание рассеивалось, стал ошибки делать. Но товарищ Зуев меня с этой работы не снимал. С его мнением очень считались.

— Кто считался?

— Ну кто, подпольная группа. Он для связи был заброшен. А потом меня из нее отчислили.

— Почему?

— За нарушение дисциплины.

— Что ж ты так?

— Совершил проступок. Мне было приказано передать ракетницу с патронами одному человеку на железнодорожной станции, чтобы он нашим самолетам сигнализировал ночью, куда бомбить. Я пошел и вдруг предателя встретил. Я в лицо его знал. Он на допросах присутствовал. И прямо ему в рожу из этой ракетницы выстрелил почти в упор.

— Правильно сделал!

— Нет, неправильно. Самолеты прилетели, а договоренных сигналов ракетами нет. На станции полно эшелонов. Только часть бомб в них попала. А те, которые мимо, — по моей вине.

— А я бы на твоём месте тоже в него шархнул! — горячо заявил Буков.

Должиков осмотрел орденские планки на груди Букова и недоверчиво произнес:

— Неправда, вы бы так не поступили.

— Ты что, считаешь, я такой хладнокровный?

— Но ведь вы же меня здесь за отношение к немцам осаждали... Ненавижу я их.

— Твое право, Витя.

— Так вы теперь согласны с тем, что я сказал?

— Нет, не согласен: когда такие ребята, как ты, есть, значит, мы самые надежные для всех людей. Человеческое война из нас не вышибла. И из тебя тоже. Ты вот взял и весь мне раскрылся, а почему...

— Ну, и как вы думаете, почему?

— За меня стыдился, что я тебя по неведению за иного парня принял.

— Какого такого иного?

— Ну, бывают всякие, — неловко пробормотал Буков. — А ты вот какой. — И живо осведомился: — Не возражаешь, меня к себе в напарники взять?

— Ну что вы так...

— Правильно спрашиваю. С такими, как ты, всякий захочет.

Вечером, сидя на койке, Должиков спросил Букова:

— Если хотите, я сыграю.

— Выходит, умеешь.

— Когда слепым был, меня один товарищ в отряде учил.

— А скрипку как же сохранил?

— Не я, товарищи в отряд принесли. Думали, если я ослеп, так должен обязательно стать музыкантом. — Усмехнулся: — Почти по Короленко.

— Читал, знаю... — сказал Буков. — Сильно написано.

— Сентиментальная штука, и все.

— Ну, это ты брось, за самое живое берет.

— Выдумка. Я слепым был — знаю.

— А я хоть и не был, а переживал, словно сам я настоящий слепой. Ну ладно, играй.

— Не буду.

— Почему?

— Не захотел, и все.

— Ох, и орех ты в скорлупе колючей. — Потом, помедлив, Буков сообщил: — Ты учти, я храпун. Буду беспокоить — кидай сапог.

— Я лучше посвищу.

— А я говорю — сапогом, свист на мне пробовали, не действует... — Выждал, спросил: — Спишь? — Встал, бережно подоткнул одеяло вокруг Должикова. Тот вдруг всхлипнул. — Ты что, Витя?

Не дождавшись ответа, Буков снова улегся, закурил, положив руку под голову, и так долго еще лежал, сильно затягиваясь, выдыхая дым в противоположную сторону от койки, на которой спал Должиков.

5

В состав группы Букова кроме Должикова входили: минер Кондратюк, электрик Сапезников, сапер Дзюба, сержант из разведбата Лунников. Все они были, как говорил Лунников, «заслуженные фронтовики республики».

Пантелей Кондратюк — грузный, солидный, упитанный — держал себя с генеральской сановностью из уважения к самому себе за то, что выжил. Все годы войны он извлекал и потрошил всевозможные взрывные ловушки бесчисленных конструкций и систем, снабженные самыми хитроумными комбинациями. Кондратюк мастерил подобные же «сюрпризы» для противника, вкладывая в это дело тонкое лукавство и даже остроумие, упорную жажду переиграть врага в состязании на техническую выдумку.

И когда его минные сооружения срабатывали, нанося существенные потери врагу, Кондратюк становился напыщенно высокомерным.

Заходя на батарею, снисходительно замечал:

— Тыкаетесь своими вилками, тыкаетесь. Навалили гильз целую поленицу. А я им как поддал — и будь здоров.

— Поддал! А где же ты был во время боя?

— Где? В блиндаже отдыхал, чай пил, портянки сушил. Мое дело такое — без суеты. Боеприпас зря не порчу, заложил где надо, а немец сам себя на нем рвет. И дешево и сердито.

Почти то же самое повторялось у петезаровцев, где Кондратюк снисходительно объявлял:

— Ружьишки у вас громкие, а дела тихие. За моими хлопущками не слышать.

Обычно перед вражеской атакой Кондратюк отправлялся к артиллерийским наблюдателям. Если немецкие саперы, выходя для очистки проходов, обнаруживали поставленные им мины, Кондратюк доходил до неистовства и, бывало, срывался с места и с автоматом в руках уползал в ничейную полосу, чтобы там защищать свое минное хозяйство. Эта армейская профессия наложила на Кондратюка заметный отпечаток.

Был он медлителен, вкрадчив в движениях, недоверчив.

— Это ты что мне налил — щи? Ладно, выясним. — Осторожно зачерпывал в сторону от себя ложкой, разглядывал содержимое, произносил мрачно: — Допустим.

— Ты давай хлебай, не томи желудок.

— Хлебать не приучен. Прием пицци — дело существенное.

Ел он торжественно, чинно, не спеша, не склоняясь над котелком. Если кто обращался к нему, не отвечал. И даже не менял при этом сосредоточенного выражения лица.

Что бы ему ни поручили, он отдавался делу целиком, и, помимо этого дела, для него ничего не существовало.

В подразделении держался отчужденно, независимо и только к минеру Акимушкину из группы младшего лейтенанта Захаркина чувствовал душевное расположение. С ним он беседовал подолгу, красноречиво.

— Я, Прокофьич, так считаю: взрывчатка — это сила, еще окончательно недопонятая. Скажем, пресс! Сооружение дорогостоящее, шлепает — тух-тух. Куда лучше агрегат на взрывчатке. Как даст тысячи тонн давления, ему самый твердый холодный металл все равно как бабе тесто. Или, скажем, котлован: ковыряются, копают. А с умом на выброс заложить, и выкинет грунт куда хочешь и сколько хочешь. Можно горы своротить при желании и надобности. За войну мы чего только той взрывчаткой не наворочали, и все на хаос. Демобилизуемся — кто такие? Минеры. Нет надобности. Требуются гражданские специальности. Извиняюсь, врите.

— Я и до войны взрывником в руднике работал, — перебил Акимушкин. — Кто такой, мне не скажут.

— Но квалификацию ты себе поднял.

— Правильно, на чем только не работал — и на своей взрывчатке, и на ихней!

— Вот, значит, можешь с одного прищуря сосчитать, сколько, чего, для чего и как заложить. Выходит, мы с тобой люди первостепенной надобности и по гражданской линии можем не только ломать, но при сообразительности при помощи взрывсредств совсем обратный эффект иметь...

Сапежников — кроткий, голубоглазый, белобрысый с девическими губами конструкции «бантиком» — сказал смущенно:

— А мне вчера, когда я третий квартал на кабель высокого напряжения подключал, кто-то резиновые монтерские сапоги подкинул.

— Подкинул? — живо переспросил Кондратюк. — Значит, заминированные. — Заключил авторитетно: — Обычная их манера взрывные ловушки в бытовые предметы маскировать.

— Сапоги обыкновенные, пустые.

— Зачем обязательно внутрь взрывчатку совать, ее рядом можно ставить с предметом, а предмет с капсулем соединен на тонкой проволоке. Потянул вещь — и в медсанбат доставить нечего.

— Я на кабель без защиты работал, — тихо произнес Сапежников, — под током, и вот понимающий человек сапоги монтерские мне подбросил. А сам не показался.

— Выходит, антифашист какой-нибудь.

— А что ему прятаться? Они теперь тут главные люди, местная власть.

— Ну, значит, кто-то из жильцов соображающий, — стукнуло бы тебя насмерть током, опять сколько время без света обходиться. Не сочувствие — простой расчет.

— Когда свет в домах загорелся, — задумчиво произнес Сапежников, — вышел я из трансформаторной будки, гляжу — что такое? Люди. Раньше прятались, а тут прямо толпа.

— Вот ты бы им на месте митинг устроил, разъяснил нашу политику по отношению к мирному населению.

— А чего объяснять, свет горит, — значит, все им теперь ясно!

— Ясно! А сапоги тайком подбросили.

— Интересно мне: кто?

— Размер мужской, — значит, не дама. Не за голубые твои глаза. Только, спрашивается, почему без снаряжения работал, собой рисковал?

— Так, быстрее хотелось.

— Кокнуло бы током. Тоже нашелся, жизнь за удовольствие фрицам отдать. Были бойцы, которые собой амбразу-

ру затыкали. Высшая сознательность. А это у тебя от безответственности.

— Война кончилась, зачем же людей в затемнении держать, в темноте...

Сапер Дзюба, сильный, широкоплечий, томился здесь в безделье. Всю войну он провел с лопатой, топором на оборонительных полосах, работая так же, как и до войны работал на различных стройках. А теперь вот, когда война кончилась и его зачислили в Особое подразделение, где он пока не получал никаких заданий, томительная тоска овладела им.

Часто его можно было видеть на соседней улице, где мужское население по распоряжению местных властей занималось разборкой развалин.

Дзюба сидел неподвижно на поверженном куске кирпичной кладки у разбитого бомбой здания, пристально и мрачно наблюдал, как работают люди в удушливой пыли, и только его толстые жесткие пальцы непроизвольно шевелились. Он ходил туда каждый день, словно по приказу.

Возвращался еще более мрачный, ел нехотя.

— Ты что не кусаешь? Зубы болят?

— Душа не просит.

— А брюхо?

— Я ему не служащий.

— Про саперов слух ходил: взвод может ротную норму одолеть по приему пищи. Едоки!

— А ты вынь столько грунта, сколько сапер вынимал, да помахай так же топором. Тогда скажи, натошак осилишь или нет.

— Теперь тебе отдых. Можешь маникюр сделать для красоты.

— Дома в строителях дефицит. Кто людям жилье даст? Мы. А меня вот в Берлине содержат на полном казенном иждивении.

— В германской столице проживаем! За такой адрес жизнь клали.

— Кровельный материал у них больше черепица,— задумчиво произнес Дзюба,— стропила пропитанные, безыносные, и раствор крепкий, излом не по шву, а по кирпичу, хотя он тоже основательный, каленый, аж звенит.

— Еще чего скажешь?

— Про них? А вот подпочвенные воды здесь высокие, а подвальные помещения сухие,— значит, изоляцию особую кладут — гидроустойчивую.

— Смотри, какие слова знаешь. — И Лунников рассмеялся. — А я думал, ты их за войну позабыл.

— А кто вам доты строил, где вы отсиживались в сухости и безопасности? Не проложи сапер с умом гидроизоляцию, мокнуть вам в них как в дренажной яме.

— Я в твоих дотах не отсиживался. Комфорта такого разведбату не положено.

Ладный, подвижной, с яркими, живыми, медного цвета глазами, Лунников отличался от всех своим весельем, легким характером, умением общаться с местным населением.

— А что особенного? Нет ничего такого особенного. Я к немцам за войну привык. Берешь «языка», ну, пока доставишь, угадываешь, что за личность. Раз взял, значит, он тебе по закону пленный. Обязан вести себя с ним как представитель державы, чтобы сразу по мозгам ударить: мы — не вы. Попадались иногда ничего, надо думать, из трудящихся. Такому и закурить дашь и даже всю пачку в карман сунешь за послушное поведение. Были и такие, что до отправки в тыл проведывать ходил. Говорю охране: «Мой фриц тут у вас — пришел на свидание, поскольку соскучился. Я ему вроде крестного». Ну, передачу из сухого пайка принесу. Расчувствуется, иногда такое скажет, что при допросе утаил. На «языка» надо ходить без злости. Хладнокровно. Санитарку не вызовешь, чтобы его как на «скорой помощи» в санбат. Надо так его обеспечить, чтобы он при всем том ногами мог действовать, а не на себе его тащить.

— Смотри, какой ты с ними деликатный. А сколько раз тебя самого на волокуше от них вытаскивали, как говорится, в крови и без сил.

— Бывало, конечно, попадет азартный, аккуратно не сладишь, — охотно согласился Лунников. — Но организм у меня повышенной прочности, в санбате все заживало. Питание по повышенной норме, женский персонал душевный.

— Ты, Лунников, смотри, по этой части здесь не споткнись.

— А в чем дело?

— А то, что эта твоя психическая возле комендатуры все околачивается, в окна смотрит.

— Она не психическая — глухонемая.

— Симулирует.

— Ну, это ты брось, я ее в санчасть водил, определили: от нервного потрясения.

— Смотри, какой заботливый!

— Обнаружил я ее, когда еще со штурмовой группой пробивались. В заваленном помещении лежит засыпанная. Поотстал от ребят, чтобы, значит, проверить, живая или мертвая. Стал оказывать помощь, а она, как фашистка, на меня кинулась. Всю шею исцарапала.

— Значит, фолькештурм?

— Да нет, в гражданском. Но тут, понимаешь, фаустников засек, начал по ним из автомата бить, они по мне. Изловчился, гранату кинул. Все нормально. Оглядываюсь — что такое? Она, понимаешь, из электрического шнура петлю сделала, встала на коленки и душится.

— Идейная гитлеровка!

— Ладно там — гитлеровка. Дом жилой, не рейхсканцелярия. Сорвал я с нее петлю, лежит без памяти. Ну я бегом ее на себя — и в санбат. По дороге задело меня маленько. Пришлось самому медициной тоже попользоваться, противостолбнячную вкатили. Завалили на койку. Я — шуметь. Но в санбате дисциплина тоже армейская. Уложили по команде «Смирно». Потом мне санитар докладывает: «Товарищ сержант, ваша немка пищу отказывается принимать».

«Значит, глотать ей больно!»

«Нет, из принципа».

«Зовите переводчика, пусть уговорит».

«Был, уговаривал, бесполезно — глухонемая».

«Ну, а я тут при чем?»

«Может, вас послушает. Вы ее сюда доставили, по-человечески она же должна понять».

Аргумент. Встал, пошел, где она лежала, отгороженная плащ-налаткой. Ну, присел возле койки, гляжу — лежит тощая, бледная. Смотрит и даже не моргает.

Ну, я зачерпнул кашу ложечкой и к губам поднес. Полмиски приняла и только после этого головой покачала. А кофе — всю чашку. Национальный напиток, специально для нее сготовили. Так и ходил: как кормежка — меня вызывают. Поправилась она. Выписали нас вместе. Начальник санбата приказывает, чтобы я ее до дому сопровождал.

Объясняю: «Нет у нее дома — разрушен».

А он: «Поскольку вас в районную комендатуру зачислили — обеспечьте».

Мог я ее в любой дом вселить. Но она не пожелала. Привела к тому разваленному и начала там убираться. Ну мне что? Уговаривать средств нет, немецкий тоже не понимает, раз глухая. Мое дело — сопровождал, и ауфвидерзеен.

Но все-таки потом наведалься, вот с товарищем Дзюбой, он там стенку порушенную из кирпича восстановил, отштукатурил, раму, стекла вставил, душевность проявил.

— Да это я так, со скуки,— сконфуженно сказал Дзюба.— Разве это ремонт? Так, халтура. Времянка.

— Значит, обеспечили. Чего же она тогда каждый день к комендатуре ходит, выслеживает?

— Ничего она не выслеживает,— сердито сказал Дзюба. И, кивнув на Лунникова, пояснил: — Вот его ищет, дожидается. А он к ней как чурка бессмысленная.

— Чего ж так?

— Не хочу голову ей морочить,— сухо произнес Лунников.— И себе — тоже.

— Если б нормальная была, так ты бы не пренебрег.

— Связистки, как он явится, сразу суетятся, губы себе мажут. Видный парень.

— Она к нему не так. Из благодарной душевности,— резко прервал Дзюба.

— Так из каких она все-таки?

— Из каких бы ни была, а раз к советскому солдату тянется, значит, осознала.

— По женской линии!

— Если б чего против нас таила, ушла бы в любой союзный сектор, там гитлеровцам приют обеспеченный. Значит, не из них.

— Также правильно.

— Ты чего, Лунников, молчишь?

— А что он тебе докладывать обязан? Дело личное — переживает. Как и следует по-человечески. Задела она его, видать, тоже.

— Задела! — сказал Лунников гневно.— Ну и что, не отрицаю, задела, прямо перед всеми говорю. Ну и все! Ну и точка...

— А как зовут, хоть знаешь?

— Шарлотта.

— Изъясняешься с ней как?

— Пишу, и она пишет.

— Про родню спрашивал? Одной инвалидке тяжело. Может, есть кто из родни?

— Нету, одна.

— Плохо.

— С питанием у нее как?

— Ношу,— сказал Дзюба.

— А почему ты, а не Лунников?

— От него не берет.

— Гордая!

— Верно, хочет, чтобы просто так заходил.

— А от тебя берет?

— В обмен за вещи.

— И ты. гадюка...

— Тихо, — грозно сказал Дзюба. — Тихо. — Вдохнул, выдохнул, потом объяснил: — А как я с ней препираться буду? Беру. Перед уходом вещь куда-нибудь украдкой сую. Моя задача какая? Чтобы сыта была.

— Правильная твоя тактика. Извиняюсь!

— Все-таки ты, Лунников, ситуацию продумай. Отпихнуть человека просто. Для этого ни ума, ни души не требуется. Если понадобится в наряде тебя подменить, говори — обеспечим увольнительную.

Лунников никогда не испытывал робости в общении с людьми. Даже с высшим начальством он держал себя свободно, с оттенком развязности. Это ему позволялось, слава отважного разведчика сопутствовала ему.

В подразделении он дружил со всеми, не чувствуя ни к кому особой привязанности.

На фронте его знали как беспечного весельчака, ибо, возвращаясь из разведки целым, он предавался шумной радости, располагая бойцов к себе удалством и шутливостью.

С местным немецким населением держал себя с подкупающей простотой, дружелюбием, уверенный в том, что никто из своих не посмеет упрекнуть его, будто он «ластит-ся к фрицам». Чистосердечно откликался на просьбы немцев и радовался, когда их выполнял. Радовался так же, как радовался еще недавно захвату стоящего «языка», удачной операции в тылу.

Лунников доложил Букову, кто эта немка и почему она приходит каждый день к дверям комендатуры.

Буков выслушал внимательно.

— Я в твоё личное вникать не желаю, — сказал он. — Но если эту глухую немецкую гражданку на улице по дороге в комендатуру машина сшибет — твоя ответственность.

— А что я могу сделать?

— Дам тебе наряд, и все.

— За что?

— Будешь сопровождать гражданку до армейского госпиталя и обратно, на лечение, на основании рапорта товарища Дзюбы.

— Настукал!

— Доложил по форме, как положено. — Буков пояс-

нил: — В комендантской инструкции записано: вникать в нужды населения, оказывать по возможности содействие. Вот я по инструкции и действую.

— Душевный вы человек, товарищ младший лейтенант!

Буков рассердился:

— Приказ дан. Почему не по форме реагируете?

— Виноват, товарищ младший лейтенант!

Лунников вытянулся и щеголевато, с особым вывертом поднес ладонь к фуражке.

Глядя пристально на Лунникова, Буков произнес муром:

— Встрепенулся! Кавалер орденов! Ну, кругом арш!

И когда Лунников вышел, Буков расстегнул карман гимнастерки, вынул фотографию Люды из ее комсомольского билета, покоровившуюся, коричневую от засохшей крови.

Эту фотографию он получил от моториста Игумнова, который сообщил в письме, что еще во время прорыва Люда была тяжело ранена и он взял ее документы. Но поскольку сам был ранен, обгорел в танке, кто из зенитчиц погиб, установить в точности не смог. Эту приписку Буков воспринял как соболезнавание солдата солдату.

Когда Дзюба доложил Букову о глухонемой немке, тот сказал сердито:

— Спас ее Лунников, ну и правильно. А то, что она теперь вяжется к нему, это отставить.

— А если она от сердца?

— Бдительность утрачиваешь, товарищ Дзюба.

— Бдительность при мне.

— Что-то не заметил.

— Вот и обратил ваше внимание. Потолковали бы вы с ней, товарищ младший лейтенант.

— С глухонемой?

— А вы с карандашом и с бумажкой.

— Неловко. Вроде допроса получится.

Дзюба рассмеялся, сказал, торжествуя:

— Именно!

В тот же день Зуев дал задание Букову начать разведку подземных коммуникаций. Целую лекцию прочел: минискатель реагировать не будет — металла там до черта. Визуально выявляйте. Своды обстукивайте — могут рух-

путь. Сверху молотили — сам знаешь — и бомбами и снарядами. Если большие завалы, значит, ни нам, ни им не пройти. Противогазы проверить. Не курить: если есть светильный газ, рванет не хуже тринитротолуола. Через каждые примерно двадцать метров ставьте отметки мелом для ориентировки, стрелкой по направлению движения. Если почувствуете опасность, рисуйте сразу на стене знак, какого рода опасность.

Гранаты брать ни к чему. От ударной волны и вас зашибет, щели там не выкопаете. Фонари должны быть у всех, но светить будет только головной. Держаться на дистанции. Даю фонари специальные в амортизационной оболочке. Включишь и бросишь в противника, чтобы бить его с подсветкой. В первую очередь головной кидает, если его, конечно, сразу не наповал. Прорезиненные спецовки на всех. Твое место в центре группы. Есть вопросы? Все ясно? То есть как это ясно, когда мне самому многое не ясно? Схемы расположения подземных коммуникаций нет. А это все равно что без карты на боевую операцию идти. План города не целиком совпадает с подземными сооружениями, но в основном, может, и совпадает. И чтобы сразу потом в комендатуру не являться, а в пропускной пункт всем на дезинфекцию. Документы сдашь, как и положено в разведке.

Покончив с распоряжениями, капитан рассказал Букову историю из своего личного опыта:

— Довелось мне в мирное время в Киеве одного уголовного преследовать в подобных подземных условиях. Бегу по горячим... настиг, обезоружил. А батарейка в фонаре — тью-тью, села. Я в канализационной системе первый раз, а он ее хорошо знал, случалось, прятался там. Он целый, а я с пробоиной. Мое время кровью истекает. А ему что? Сидит на каменном полу с руками, связанными моим же брючным ремнем, и нудит: «Гражданин начальник, закурить арестованному надо или как?»

Командую: «Вперед!» Шагает, и я шагаю. Чувствую, заплутался я с ним, как Том Сойер с Бекки Тэчер в пещерах. А он все нудит: «Гражданин начальник! Вы моих слез не видите, а я о вашей жизни плачу». Я ему: «Давай, давай» — и между лопаток стволом пагана. А он: «Куда вперед? Решетка». Пощупал: верно, железная решетка, а на ней замок. Он мне: «Привели вроде в домзак. Только голодной смертью вы не имеете права меня тут замаривать. Нет подобного в кодексе».

Я молчу, он молчит. Понимаю: ждет, пока я скину от ранения. Он прилег у стенки, я тоже — напротив.

Мне надо его хоть психически обезоружить. И самому не поддаться. А как? У меня плохая привычка была — в отделе ее не выносили, как задумаюсь, свищу на мотив самый глупый. И здесь тоже так получилось. Он взмолился: «Гражданин начальник, может, хватит на нервы действовать?»

Скажи пожалуйста! Сотрудники и те терпели. Свищу. И от сна себя свистом оберегаю, и от пессимистических переживаний.

Через некоторое время он мне:

«Гражданин начальник! Ты же лопух!»

Молчу.

Добавляет:

«И даже идиот. И вообще не легавый, а просто щенок. Тебе не в уголовном розыске служить, а в ночные сторожа надо проситься».

Молчу, на оскорбление не реагирую.

«Над твоим трупом все оперативники после будут смеяться. Погиб, скажут, по собственной личной дурости».

Я опять не реагирую. Тогда он мне вопрос.

«Ты у меня пушку взял, а еще что? Эх ты, — говорит, — фрасер!»

Хорошо, что я в темноте покраснел: ему не видно. Набор отмычек я же у него изъят — вещественное доказательство.

Встал, поковырял в замке отмычкой, одной, другой. Отокнул решетку. Ну, спустя некоторое время вышли наружу. На извозчике доехал я с ним до отделения. Сдал. Передачу я ему потом от себя послал, хотя он меня на первом же допросе следователю выдал — каким я несообразительным сусликом себя показал. Сотрудники в стенгазете мой случай в отделе юмора отметили. Я это к чему рассказал? Какая бы ни сложилась ситуация, надо всеосторонне прикинуть все возможности. И главное, разведывательный поиск так вести, чтобы установить, был ли кто недавно на этой местности, и по возможности выяснить, один человек или несколько. А самым никаких вещественных следов не оставлять.

— А как же отметки на стене?

— На обратном пути стереть. Наметить на схеме возможные пункты для засады. Да, еще вот что: для отмыкания железных решеток набор по моим чертежам в авторембате изготовили. Как бывший слесарь, полагаю, одоб-

ришь. И запомни, поскольку сейчас мирное время — это тебе уже не противник, а преступник, — тут наши законы действуют: применение огнестрельного оружия должно быть обосновано необходимостью самозащиты. Пока судебный орган не вынесет приговора, он только предполагаемый, а не форменный преступник. И ты обязан доставить его следственным органам, памятуя о том, что нарушение правил наложением ареста наказывается.

Зуев потер морщинистый лоб.

— Мой наставник в угрозыске требовал от молодого оперативника в первую очередь юридической грамотности! Сначала ты ему обязан был доложить всю процедуру по линии соблюдения всех деликатных тонкостей законов, а потом уже действия по вариантам обстановки. Иначе на операцию не допускал. И правильно делал, а то что могло получиться: возьмешь преступника с нарушением инструкции, его судят по его статье, а тебе подберут должностную. Так что помни: тут не фронт, без высшего умственного соображения за одно геройство даже к медали не представляют.

Помрачнев, Зуев приказал:

— Собери всю свою группу. На экскурсию я их свожу к месту преступления, которое мне расследовать назначено: зверское убийство с ограблением, взломом и применением техники...

Это был двухэтажный кирпичный домик с зеленой оградой из подстриженного терновника. Просторные, как витрины, окна. Двор, выложенный клинкером. Туи в кадках, на калитке медная плашка — «Отто Шульц». Под ней прорезь почтового ящика. Возле открытых дверей гаража картонный ящик, из него вывалились банки с консервами.

— Обратите внимание, — сказал хмуро Зуев, — местные жители утверждают, что о происшествии им неизвестно, а ведь даже с улицы видно — лежат продукты, и никто ничего не взял.

— Может, такие честные.

— Мы тут одному антифашисту полуторку угля привезли, свалили в сарайчик, а на следующий день — тью-тью, растащили начисто. — Добавил сердито: — Из этого следует, что о происшествии они знают, но уклоняются от разговоров и помогать следствию боятся.

Поднялся по бетонным ступеням, по-хозяйски распахнул дверь:

— Прошу!

В вестибюле почему-то на столике лежала проволочная подстилка для ног. На ней куски ваты.

Зуев пояснил:

— Это я брал грунты для анализа. На всякий случай. Обычно при злоумышленном вторжении о половик ноги не вытирают. Но возможно и отклонение: допустим, кто-то чисто машинально вытер. — Он взял кусочек ваты, поднес к носу, понюхал, положил обратно, потом другой так же взял. снова понюхал, как цветок. Объявил: — Этот самый чуть-чуть отдает аммиаком, и химическим анализом подтверждено — аммиак. — И тут же раздумчиво добавил: — Но могло быть и так: заходил он в место общественного пользования, где обстановка идентичная с подземной коммуникацией. Но пока это лишь домысел... — Предложил: — Следует дальше, вот в эту дверь. Встать у стеночки. Не фиксируйте внимания на трупах. Сейф распорот клешней. Теплоизоляционный материал между стенками — порошковый асбест. Теперь соображайте. Когда преступник из сейфа ценности извлек? До убийства или после? Предполагаю, после совершения злодеяния. Почему? На полу — асбестовая пыль, а под трупом ни одной пылинки асбестовой не обнаружено.

Теперь вот, товарищи, смотрите. Полдня я эти стекляшки собирал, клеил. Кварцевое стекло — изделие для технических нужд. Судя по конфигурации, назначено для производства какого-то сильного вещества, особо едкого.

Эта химическая посуда побита в присутствии хозяина квартиры и даже, возможно, им самим — частицы стекла обнаружены в отворотах брюк, на ворсе халата. Возле входной двери найдены мелкие осколки, — возможно, они просыпались, когда он дверь открывал.

На руке трупа имеются порезы, видно, что нанесены они обломками стекла. Но к медикаментам не прибег, хотя вот аптечка. Выходит, не имел времени или находился в состоянии крайней взволнованности.

— Кем был этот человек? — спросил кто-то из стоявших у стены.

— Инженер-технолог на берлинском заводе по производству кварцевого стекла для предприятий химической промышленности. До войны часть акций принадлежала американской компании «Дюпон», имелись и представительства во многих западных странах. Поставляли свои изделия на заводы, изготавливавшие топливо для Фау-1, Фау-2, в состав которого входят едкие кислоты и щелочи. Что он был за человек? — Зуев сделал несколько шагов,

снял простыню. На полу лежала, скорчившись, женщина, лицо ее залито черной, уже засохшей кровью. В вытянутой руке — каминная кочерга. — Вот кто за него заступился. Домашняя работница. С лагерной наколкой на руке. Можно предположить, что он относился к ней по-человечески и даже с сочувствием. Личные вещи домашней работницы скудные, ничего похожего на подарки нет. Предполагаю, никаких шансов с хозяином не было. На теле ее множество ссадин, ранений, что свидетельствует о длительной борьбе с преступником.

— А хозяин, выходит, наблюдал, как ее калечат?

— Хозяин был подвергнут пытке посредством введения определенной дозы вещества, применяемого при допросах в гестано и СД к личностям, наружное повреждение у которых нежелательно. Вещество вызывает особо сильные болевые ощущения и ослабление мозговой деятельности. Деталь: губы не искусаны, а язык искусан. Можно допустить, что жертва таким способом пыталась не столько переключить болевое ощущение, сколько посредством повреждения органа речи лишить себя возможности выдать что-либо тайное преступнику. — Вытерев руку, Зуев открыл чемодан, вынул из него пять пробирок. — Глядите — здесь собраны из-под ногтей от каждого пальца жертвы остатки, которые могут при анализе еще что-нибудь дать. Вот тут в коробочках — мастичные сленки с зубов работницы, в полости ее рта обнаружена кровь, по составу ей не принадлежащая, и волоски ткани. Допускаю, защищаясь, нанесла укусы преступнику. Улика существенная. Еще отпечатки...

— Пальцев?

— Перчаток. И вязаных и кожаных.

— Значит, тут не один действовал?

— Мы говорим — преступник! Пока других точных доказательств нет, — строго оборвал Зуев, потом негодуя осведомился: — А вы что, товарищ Лунников, такой серо-зеленый стали? Слабонервный, что ли?

— Разрешите выйти, — хрипло пробормотал Лунников.

— Идите, — брезгливо бросил Зуев. — Храбрый разведчик, а тут скис. И вы вот, товарищ Дзюба, я вам демонстрирую, а вы все в окно смотрите.

— Не приходилось мне такое... — робко начал было Дзюба.

— Разъясните своей группе, — прервал его Зуев, обращаясь к Букову, — взять опознанного преступника может любой солдат комендантского патруля. Прикажите, чтобы

поняли — по элементарной технике расследования буду спрашивать с каждого.

— Разъясню,— согласился Буков и предложил: — Покурим.

Вышли во двор. Зуев указал на крышу дома:

— Вон видишь — вытяжная вентиляционная труба. Лаборатория в подвале. Там производились испытания различных сплавов стекла едкими веществами. Но вытяжная труба опущена ниже подвала. Надо обследовать.

— Можно начистоту? — спросил Буков.

Зуев кивнул.

— В городе еще столько гестаповцев, военных преступников попряталось. А мы тут с вами будем уголовников ловить, так, что ли?

— Ответственность за население на нас легла.

— Это конечно,— хмуро согласился Буков.— Только я говорю, кто в душегубках людей морил, заживо в лагерных крематориях жег, те еще на свободе бродят. А мы тут обеспечиваем нормализацию жизни всеми средствами, вплоть до уголовного розыска. Тех, кто наших казнил, не переловили, а тут немец немца убил, ограбил, а мы, будьте любезны, переквалифицируем фронтовиков на гражданских сыщиков. У Виктора Должикова всю семью убили. А как ему, когда он не тех ищет, кто перед нашим народом виновец, а простых грабителей?

— Не считаешь, что надо твоему Должикиву объяснить, что к чему?

Буков произнес уклончиво:

— Ты, конечно, может, и знаменитый и образованный в своем деле сыщик. Но вот небось так по-научному не обследовал во время войны, когда мы их палачество обнаруживали. Некогда было. Обидно ребятам, я так полагаю.

— Следствие мы вели, это ты напрасно. И на судейский стол народов протоколы будут положены — злодеяния не только против нас совершены, против всего человечества, и, значит, против немцев тоже. А за Должикова ты не рассуждай. Он мне кое-что подсказал. На заплатах покойника следы от наручников заметил. Браслеты в гестапо штампованные, с незашлифованными углами, кольцо стандартное, рассчитано на глубокое вжатие в мышечную ткань. Я это сам бы, конечно, засек. Но важно, что именно Должиков подсказал. Мысль у него в каком направлении работает: раз убийца — значит, фашист. Хотя подобной конструкции наручники применяются и у американцев и англичан и еще у германских криминалистов тоже. Для меня это еще не

доказательство. А вот обрадовало, что Должиков зажегся, улики ищет. Это для оперативника чувство наипервейшее — зажечься! Ни одно убийство безнаказанным нигде никогда остаться не должно.

— Ну, это ясно.

— Сказать людям, что мы с большим фашизмом кончили, а теперь с малым кончаем, — это не все сказать. Важно, чтобы поняли, усвоили: мы теперь защитники немецкого народа, его безопасности. И что в нашем деле главная опора — это дружеская помощь населения.

— А оно к нам пока — спиной.

— Что отсюда следует? Чтобы наше Особое комендантское подразделение помимо всего обеспечило снабжение водой, газом, электричеством. Через это — дружеские контакты. Каждому дому в нашем районе надо вернуть нормальную жизнь. Нелегкая задача. Диверсии по порче подземных коммуникаций совершаются, чтобы воспрепятствовать нам оказать помощь населению. Нам надлежит раскрыть не только преступление, но и глаза людям раскрыть. Они должны понять, что гитлеровцы не только во время войны преступления совершали, но и после войны, и против самих же немцев.

Буков заметил, что здесь, на месте совершенного преступления, Зуев один только не удручен, не испытывает щемящего чувства подавленности, какую он подметил у других своих сослуживцев по Особому подразделению. Напротив, Зуев чрезвычайно бодр, оживлен, весь охвачен деловым азартом.

Подвязав резиновый фартук и щегольским движением натянув резиновые перчатки, Зуев уверенно, словно опытный врач, обследовал деревянной плоской палочкой рты у трупов, давая пояснения таким тоном, будто проводил занятие с бойцами по изучению материальной части трофейного оружия.

Пинцетом, какие употребляют коллекционеры марок, он бережным движением прихватывал с пола волосок или раздавленный окурок и помещал каждый в отдельности в стеклянные коробочки. И на стенке коробочки делал отметки восковым синим карандашом. Лицо его при этом выражало такое удовлетворение, будто он нашел какие-то редчайшие музейные ценности. Пыль собирал с разных мест помещения, втягивая ее небольшим, как шприц, насосом, внутри которого имелись бумажки — фильтры.

Вынимая эти фильтры, он, не дыша, укладывал их, тоже каждый в отдельную коробочку. И если фильтр хорошо

покрывался пылью, он любовался им, словно юный натуралист крылом диковинной бабочки.

Фотографировал он трупы так любовно и старательно, как армейский фотокорреспондент — генералов, в надежде потом вручить портрет начальству и заслужить этим его благосклонность.

Разувшись, в одних носках, он бродил по помещению, вытянув шею, скособочившись, держа в руке лупу в черной пластмассовой оправе, и вдруг петушиным, клевательным движением начинал мотать головой над лупой.

И он приказывал другим смотреть через эту лупу на рану, нанесенную, как он уверенно утверждал, после того, как жертва уже была лишена жизни, о чем свидетельствует незначительное количество вытекшей крови. Он приказывал это делать тем, кто немало сам наносил ранений. Но ведь никто никогда не разглядывал, как после этого выглядит противник.

Никому из бойцов Особого подразделения не доводилось так долго смотреть на мертвые тела, как здесь вот, на месте происшествия, да еще с научной, можно сказать, целью.

Поверженными противниками на поле боя занимались похоронные команды. Когда же выносили с поля боя и хоронили своих, то у каждого в сердце настолько прочна была память о них живых, что опровергнуть ее сама смерть была бессильна.

Поэтому бойцам Особого подразделения было здесь не по себе, каждый по-своему страдал от представшего перед его глазами страшного зрелища.

И если раньше они, будучи наслышаны о подвигах Зуева в глубоком тылу врага, испытывали к нему почтительное уважение, то теперь это уважение сменилось чувством снисходительной жалости, когда они воочию увидели, через какую нечистоплотную работу добывают люди его гражданской профессии улики, необходимые для раскрытия преступления.

Так, вытерев губы и подбородок трупа ватой и понюхав ее, Зуев объявил:

— В выделениях явно чувствуется запах желчи, что подтверждает предположение о введении отравляющего вещества. — И, протянув ватку, предложил: — Вот, пожалуйста, убедитесь...

Не понимая или, вернее, не желая понимать, как всех тут с души воротит от этого его открытия, нисколько не заботясь о том, как он выглядит в глазах товарищей, Зуев продолжал свое дело.

Буков с трудом переборол в себе чувство брезгливой снисходительности, то есть то, что испытывали сейчас, глядя на Зуева, бойцы. Переборол, потому что подметил во всех действиях Зуева то, что он выше всего ценил в каждом человеке: увлеченность и преданность своему делу. Наблюдая за Зуевым, помимо всего Буков испытал щемящую тоску по своей работе, которая теперь, по сравнению с занятием Зуева, казалась ему столь прекрасной, чистой и удивительной. И руки его непроизвольно шевелились, тоскуя об увесистой тяжести металла. Ему страстно захотелось сейчас, немедленно заговорить о своем деле, о всех его хитрых и умных тонкостях, которые ничуть не менее важны, чем те тонкости и прозорливые догадки, которые высказывал здесь Зуев. И наблюдательность его не менее остра, чем зуевская. Мог сразу, бросив взгляд на заготовку, сказать, кто из литейщиков ее отлил, кто из формовщиков готовил изложницу, какой обрубщик ее разделал. По допускам определял, по бороздам, оставленным обрубщиком, по шероховатостям от литейной формы.

А про инструмент и говорить нечего, без клейма угадывал, какой инструментальщик готовил, после кого надо резец перезатачивать, а после кого не глядя можно вставлять сразу в оправку.

Или вот обработанная деталь. Настоящий мастер обязательно с нее ветошью эмульсию вытрет, не потому что это надо, а для того, чтобы удовольствие почувствовать, тепленькую в руках поддержать. И как бы домой ни спешил, обязательно в сборочный цех завернет, где труд всех завершается. Вот такие станочники, кто в сборочный заходит по велению души, — это и есть люди, на которых во всем можно положиться. Ширококонтактные. И на собрании он их имена выкрикивал властным голосом при выборах президиума. И не ошибался. Заводские поддерживали почти всегда единогласно. И Буков, откликаясь на эту свою сердечную тоску по любимому делу, заметил Зуеву так, будто между прочим:

— Клешней сейф вспарывали. А можно было б фрезой на распорках обширное отверстие вырезать. И проще, и быстрее. На дрели электрической смонтировать. Немцы, а не додумались. И резак у клешни перезакаленный — крошился. Оттого торец стального листа получился в рванье. Какой бы длины рычаг ни был, одному при таком резаке не одолеть. Полагаю, вдвоем нажимали.

— Как криминалист мыслишь, — обрадовался Зуев.

— Как слесарь,— не согласился Буков и добавил грустно: — Бывший.

— Все мы бывшие. Я вот тоже — с котельного из Таганрога. А вызвали в райком, и пожалуйста — в уголовный розыск.— Зуев усмехнулся: — Из рабочего класса — летун.— И добавил: — Пружина у нас закручена на то, чтобы любому делу всего себя отдавать.

— Крепкий ты,— завистливо сказал Буков.— Закаленный, а меня вот до сих пор воротит. Только на свежем воздухе отошел.

Зуев отвернулся и произнес смущенно:

— Я много лет до войны в угрозыске, а каждый раз после подобного расследования — только хлеб и чай. И вообще силю плохо.

— Ну?! — обрадовался Буков.— Значит, переживаешь?

— К этому привыкнуть нельзя. Но если характер выработал, он во всем при тебе. Он тобой командует и уронить себя не позволит.— Спросил: — В сабат попадал? Хирург в тебе копается инструментом спокойно, без дрожи в руках, когда ты орешь и корчишься. Выдержку не теряет, даже когда ты на него замахнешься. Он работает, чтобы жизнь тебе спасти. И чем он больше работой увлечен, тем, значит, тебе лучше: прочнее после госпиталя будешь. Так во всем должно быть.— Добавил строго: — Этим самым от страха смерти и в бою лечились.

— Точно,— согласился Буков.— На наш рембат фашисты с ходу налетели, из минометов, артиллерии лупят. А у ребят работа срочная — ремонт. Одни охраной нашего труда в окопах занимаются, а другие у станков хлопочут. В окопах обстановка нервная. А в мастерских, где люди тоже каждую минуту могут погибнуть, переживаний нет. Каждый будто прирос к своему рабочему месту, словно нет войны. Предсмертные слова считаются самыми главными, вроде последнего напутствия. А мне что приказал Кусков, когда я над ним склонился?.. «Подачу эмульсии закрой!» Что эмульсия со станка белой пеной стекает, это ему жалко. А то, что сам от крови весь подплыл, об этом мысли нет.

— На войне наш народ полностью себя показал,— сказал Зуев.— Со всех сторон.

— Запомнят на все века!

— Только хлопот нам о людях много после войны прибавилось,— озабоченно заметил Зуев.— Вот хлебом последним своим мы тут с ними делимся, а в эшелон с мукой

термитные зажигалки кто-то подсунул. Прибыл ночью на место происшествия, кругом дым, гарь, копать.

Наши бойцы кули с хлебом из огня вытаскивали, спасали, словно это не мешки, а живые люди, себя не жалели, сильно осмолились. И ничего я там для себя на месте происшествия не обнаружил. Зашел на пункт выдачи населению продуктов питания. Что такое? Совсем мало народу. Выходит, кто-то предупредил — не будет хлеба. Ну, я в штаб тыла: посодействуйте. Завезли. Началась раздача. Спустя некоторое время начали еще люди подходить. Наблюдаю. Смотрю, один буханку берет, нюхает. Потом отошел, разламывает, смотрит. Пожал плечами и хлеб, понимаешь, бросил со зла в кирпичные развалины. Я за ним на дистанции. И куда же он меня за собой привел через весь город? Поднялся он на железнодорожный виадук, перешел на правую сторону и смотрит в том направлении, где в километре от этого виадука ночью хлебный эшелон горел. Налюбовался. И пошел дальше — деловой походкой, хотя километров восемь до этого отмахал. Завернул я его, конечно, в комендатуру.

Прямых улик нет. Как докажешь? Я в свое время ни одно дело не закрывал. Тем и был известен. Год, два, три на себе тащу, а все же раскрою. А тут важно гражданскому населению при данной обстановке фактически доказать — вот, из ваших, а против вас же действует.

Допустим, я его за недостатком улик выпущу. Но под контроль его не возьмешь. Уйдет в союзный сектор, и все. И он это понимает. Сообщил: место проживания в английском секторе. Вот и зацепка, обрадовался я. «Значит, незаконно из советского сектора продукты получали, — говорю, — это равносильно мошенничеству или краже. За это я вас и привлекаю к ответственности».

Вежливо внушаю ему: моя должностная обязанность — только строго контролировать раздачу продуктов питания по месту жительства.

Ну, он ежился. ежился. дал свой адрес в нашем секторе. Проверил я у него там, нашел в кармане куртки перчатки лайковые, в коже их обнаружил мелкие вонзившиеся осколки стекла, остатки ампулы от химического взрывателя. Ну еще кое-что по мелочи, но тоже улики. Спрашиваю: «Акт результатов обыска подпишете?» Соглашается. Вынимает из кармана автоматическую ручку — и щелк. Из нее иглой себе в шею. Засипел и под стол свалился. В госпитале я рядом с ним на стол лег, из меня в него кровь переливали. Хотели консервированную, я не позволил, свежая

надежней. Отошел, ожил. Ну и я тоже доволен, повеселел. Допросил потом, на койке. Раскололся, допрос подписал безопасным карандашом.

— Куда же его теперь?

— Доведу следствие — передам в судебные органы.

— Не кончилась для тебя война. Они, как гадюки, расползаются, а тебе — ловить.

Зуев сказал мрачно:

— Сегодня с утра только стакан чаю перехватил, натошак покурил. Врач велел после донорства четырехразовое питание соблюдать. А мне не до столовой. Сейчас вскрытие трупов будет. Надо присутствовать. После этого ничего в рот не пойдет. Так у меня ситуация складывается. — Бросил окурок и пошел обратно в дом, шаркая сапогами по выложенной клинкером дорожке.

В общежитии Особого подразделения Зуев оборудовал себе лабораторию. Некоторые приборы по его собственным чертежам изготовил Буков.

Беседуя с Зуевым, Буков вспоминал с удовольствием:

— У нас в мартеновском цеху пробы на экспресс-анализ тоже в лабораторию таскали, но, пока они там колдуют, мастер по цвету, по излому свой диагноз не хуже лаборатории ставил без всяких научных приспособлений. Скажем, высшего сорта сталь для особого оборонного назначения — так считалось и у нас, и за границей — можно только в электропечах варить. А у нас в цеху мартенщики ее варили. У самого Круппа не решались, а наши достигли. Чували, что нам с гитлеровцами назначено не сегодня завтра схлестнуться, ну и жили возле печей, домой не уходя, каждый неполучившуюся пробную плавку переживал вроде как бой проигранный. Наш рабочий класс в войну с фашистами вступил по-своему, по-рабочему.

Зуев сказал:

— Я об этой вашей стали знаю.

— Откуда? В газетах не писали. Про приезд Риббентропа — он тогда с официальным визитом приезжал — отметили, а про нас — нет.

— Занимался делом по поводу хищения чемодана у подданного иностранной державы, соотечественника Риббентропа. Нашел чемодан. Начал производить опись имущества и вдруг за бархатной подкладкой футляра для бритвенных принадлежностей обнаружил металлические стружки. Дал на анализ — броневая сталь. Навел справки. Ваш завод такую дает. Я в механический цех. Вывозят стружку на плохо огороженную территорию и там свалива-

ют. Ну, по заводу приказ: собрать до единой, и тут же в цеху под пресс, и потом прямым путем — в мартен.

— Верпо, была такая инструкция. Ну, а с иностранцем ты как?

— Доставил чемодан в его номер в гостиницу «Националь». Сдал все вещи по описи. И даже стружки в футляре были на месте.

— Так ты что же, выходит, оказал содействие шиннону? Зуев лукаво усмехнулся:

— Стружку я вложил, только другого сорта. Получил ее не из нашего ведомства. Так что фашиста не обидели. Дипломатично все обставили. По весу столько же положили, вся разница в составе металла.

— Ну, а на кой тебе здесь вся эта прибористика — на металл? Заводы еще не запущены. А которые воешные — те на демонтаже.

— Мсталай свой адрес имеет. Пломбы я из зубов покойной работницы извлек. Две старые — по анализу из того материала, который немцы применяют. Одна новая — по анализу тоже немецкая. Что из этого следует? Врач-немец сй пломбу положил. Устарелость металла новой пломбы — от шести месяцев до года. Если врач-немец бывшую лагерницу лечил, значит, бежать ему на запад особых мотивов нет. Не исключено, в нашей зоне и проживает. Так? Можно, конечно, по телефонной книге розыск начать. Но можно и проще. В записной книжке Отто Шульца имеется адрес зубного врача. Но дом, где он проживал, разбомблен.

На уцелевшей стенке нашел надпись с адресом врача, для родственников он ее оставил. Я, значит, явился. Поговорили. Старик ничего, лояльный.

— Что-нибудь дельное сказал?

— Пока ничего существенного.

— А ты бы на него нажал.

— Куревом обеспечил. Сходил в немецкую больницу, просил, чтобы старика на работу устроили. Потом снова к нему зайду.

— Значит, ног не жалеешь.

— Я на мотоцикле.

— Ну, а по зубному делу ты откуда натаскался?

— С нашим зубным техником советовался. А потом немецкую книжку достал по зубопротезированию. Разобрался со словарем.

— Сколько же ты в башке должен всего держать! Немыслимо!

— У нас правило: чуть что — иди к специалисту, бери консультацию. В розыске, бывает, сотни людей участвуют и даже не знают, что не мы, а они самую главную улику определяют. Я вот к одному специалисту в Ленинграде заходил. Икону из церкви старинную украли. Сам митрополит заявление в угрозыск подал, молил сыскать святыню. Я с того места, где она висела, кусок штукатурки снял, осторожно, чтобы поверхность с плесенью не повредить. Отнес ее к ученому — специалисту по всякой грибковой пакости. И еще к этому приложил мочалку из дома настоятеля церкви. Через неделю звоню ученому. Он мне сообщил, что плесень на штукатурке и на мочалке тождественна. И латинское имя ее назвал.

Потом этому ученому почетную грамоту начальник уголовного розыска домой принес. А он: «Я, — говорит, — не осодмилец и к вашим милицейским обязанностям не причастен». И митрополита шуганул, который захотел по телефону благодарность высказать — за святыню. А если б не этот ученый, не на что было бы особо молиться в той церкви, раз самой популярной иконы нет. Совсем бы захирело заведение.

— Смешной случай! — снисходительно сказал Буков.

— Для тебя смешной, а для нас, угрозыска, задание идеологическое. Верующим мы доказали, что не с помощью господ бога митрополит им святыню возвратил, а при содействии уголовного розыска, на научном основании...

Под вечер того же дня Зуев брился, как всегда, вслепую, на ощупь, без зеркала, не столько по фронтовому обычаю, сколько, как он объяснял, по привычке, сложившейся еще в гражданской жизни; рабочий день у оперативника ненормированный, а на преследование преступника, бывало, уходило несколько суток с поспешным передвижением на многих видах транспорта или просто на своих двоих по пересеченной местности. Для того чтобы выглядеть культурно, приходилось бриться во всевозможных, не подходящих для этого занятия условиях. Зато, когда ты в самый решающий момент, после тяжелой погони, оказывался с преступником лицом к лицу, аккуратный и прибранный, тот по одному твоему виду понимал, что сопротивление бесполезно.

Задрав голову и пробривая под челюстью, говоря при этом словно в потолок, Зуев рассуждал:

— Тут, в бывшем фашистском логове, каждый прохо-

жий может ввести в заблуждение. Чувство виновности за войну, за все фашистские зверства прежде всего кто переживает из немцев? Те, кто всех менее виноват, те, у кого совесть. Это раз. Далее. Естественно и ощущение страха — после всей фашистской агитации. Геббельс лозунг бросил: «Победа или Сибирь!» Меня один пожилой немец спросил: «От какого до какого возраста вы будете вывозить нас в Сибирь?» Я ему на такую пакость: «Только новорожденных, и то самых свеженьких».

И не сразу до него дошло, а когда дошло, стал руку жать. Значит, жил человек в страхе. И не он один.

Блуждающего, бездомного населения здесь хватает. Те, у кого квартиры, боятся, чтобы не стали бездомных все-лять. И у тех, и у других тревога, тоска, беспокойство.

А есть наглые, нахальные, которые при всех обстоятельствах умеют приспособиться. Приходят в комендатуру с информацией на разных лиц, часто просто лживые доносы. Словом, тут методом наблюдения ничего достоверного по расследованию не добудешь. Допустим, внешний вид. Каждый норовит самое худшее на себя напялить, самое изношенное, чтобы вызвать сострадание. И еще такая манера: под рабочих одеваются те, кто никогда рабочим не был. Ловко сообразили. А рабочий немецкий, напротив, лучшее на себя надевает, доказывает, что он с квалификацией, держит себя с достоинством, ему заискивать перед нами нечего — понимает: мы трудящегося уважаем как главного на любой земле. — Произнес, помолчав: — Все это расследование по делу Отто Шульца с точки зрения техники, анализов по инструкции научно произведено. Но искать здесь преступника так же затруднительно, как, скажем, блоху, которая не тебя укусила, а другого, а он даже не почесался при этом. Вот как соседи Шульца: ничего не знаем, ничего не слышали, не видели. А без помощи населения только в книгах сыщики работают. А я никогда сыщиком не был, я уполномоченным от народа действовал. Отсюда и успех был. А для здешних я пришлый человек, с пистолетом — завоеватель...

Потер щеки, убедился в том, что выбрил гладко, констатировал с удовольствием:

— Порядок. — Произнес озабоченно: — Я, Степан Захарович, на предварительную разведку подземных коммуникаций решил сам с тобой идти. — Пояснил: — Никаких изменений в обстановке нет. Но поскольку там сток всяких нечистот — канализация, словом, — может у товарищей сложиться неправильное впечатление, что командир свой

мундир замарать опасается. — Плеснул одеколон на ладонь, вытер лицо, усмехнулся: — Это я, не думай, чтобы там запах тяжелый отбить, — только для гигиены. — Приказал: — Давай команду: в ружье. Время!

7

Глубокой ночью Берлин черен, безлюден, разбитые здания торчат как скалы, тишина на улицах, словно в ущельях.

Буков поддел коротким ломом чугунную крышку смотрового канализационного колодца, сдвинул ее в сторону. И по железным ржавым скобам опустился на дно, включил фонарь. Туннель эллиптического сечения выложен бурым кирпичом, вдоль стен — служебная бетонная дорожка для обходчиков. Сточные жидкости, двигаясь самотеком по уклону, не достигали сейчас верхнего среза дорожки.

Угарное, едкое зловоние. Казалось, здесь камень и тот гниет, источая слизь плесени, как протухшее мясо. Со свода капало, щелчки капель глухо и отвратительно звучали, словно чья-то дробная мерная поступь.

Лунников сказал, нащупывая ногами дорожку:

— А что? Помещение подходящее — склен на сколько хочешь персон. И ручеек журчит самодельного производства. Красота и удобство — всюду сортир.

Дзюба, осветив стены, произнес разочарованно:

— А я-то думал, на облицовку коллектора они метлахскую плитку употребляют. А это что же? Простой строительный кирпич.

Кондратюк спросил:

— Зачем же такой туннель здоровенный? Хватило бы и обыкновенной трубы.

— А сейчас что у нас, ночь или день? Ты все-таки соображай, — наставительно посоветовал Дзюба. — По ночам люди спят. А утром и днем у них потребности мыться и все прочее, добавь к этому после дождя стоки, воп гляди, отметка уровня. — Он навел свет фонаря на стену подземного канала. — Видал, где намарано? На твой рост по шейку.

— Разговорчики, — упрекнул Буков.

— Мы же только для ориентировки, прикидываем, принимаемся. — И Лунников объявил: — Пожалуй, ландышем здесь не пахнет.

Дзюба солидно изрек:

— По-научному это называется фекальная жидкость. У нас прораб был, техникум коммунального хозяйства окончил. Так он нас информировал: начало цивилизации человечества надо отсчитывать с тех времен, когда начали канализацию строить. Так что смешки ни к чему. Рабочие люди ее строили, рабочие люди здесь ее обслуживали по линии ремонта, надзора. И под городами у нас тоже такое же подземное коммунальное хозяйство, приходится им заниматься.

— Правильно, товарищ Дзюба,— одобрил Буков.— А что воздух здесь тяжелый, то ведь и в танке, когда огонь ведешь, от пороховых газов угораешь так, что бывает — всего вывернет.

— То бой, в бою все стерпишь!

— Ну, хватит, товарищи! — приказал Зуев.— Обменялись впечатлениями. С интервалом по одному.

Служебная дорожка была склизкая, Зуев пошел в голове группы, тщательно осматривая поверхность дорожки, свисающие со сводов серые, липкие нити, стену, покрытую маслянистыми потеками. Когда он светил в даль тупея, свет фонаря расплывался во мраке как сальное пятно. Воздух был влажный, сырой, протухший, насыщенный прокисшим туманом. Густота мрака была такой, что каждому казалось, будто он как бы замурован в черноте и она мягко, но сильно сдавливает, все туже сжимая в своем черном студенистом теле, как гигантский слизняк.

И пучок тусклого света от фонаря только беспомощно корчился в этом мраке, не в силах пробить его.

Прошло уже немало времени. Но ничего подозрительного не обнаружили. Ответвления от магистрального подземного канала Зуев обследовать пока не разрешил. Когда служебная дорожка кончилась, пришлось идти вброд, согнувшись, так как туннель коллектора теперь был значительно уже, но потом вышли на другую магистраль, туннель тут был обширный, квадратного сечения, в стены вделаны металлические держатели для кабелей и трубопроводов.

— Ага,— сказал Зуев,— под Унтер-ден-Линден вышли. Здесь до войны новый коллектор проложили.

Дзюба заметил одобрительно:

— Железобетон — солидное произведение.— Обратился к Зуеву: — А вообще следопытничать тут ни к чему: днем уровень стока почти по трем четвертям сечения идет, чего хочешь смочет. Но вот интересно, боковые секторы обрешечены и на замках. И хотя кладка стен на боковых

коллекторах старинная, решетки на них поставлены не так уж давно, ржавчина не поела.

Буков осветил фонарем скважину в замке, сунул в нее отмычку, потом вытер отмычку чистой бумажкой, рассмотрел, заявил:

— Не грязь, а вроде тавот, по цвету свежий. Значит, кто-то замки смазывал, заботился.

— Подожди открывать! — попросил Зуев. — Сначала петли дверные осмотри.

Обследовав петли, Буков отметил:

— На стыках ржавчина обсыпана. Выходит, кто-то побывал тут.

Вошли в боковой туннель. Поднявшись по скобам смотрового колодца, Дзюба долго пытался поднять его чугунную крышку. Ничего не получалось. Возможно, прижата обломками здания. Дальше ход был совсем узкий.

Поколебавшись, Зуев все-таки решил разведать его. Пробирались на корточках, опасливо освещая низкий свод. Выбрались на другой магистральный канал, он шел под уклон. Течение здесь было сильнее, отводыливневой канализации стали чаще. Но и туннель был шире, просторнее, и, судя по стволам смотровых колодцев, он залегал на большей глубине, чем другие магистральные каналы. Натолкнулись на каменной кладки стену, которая перегораживала канал. Сток жидкости уходил в боковые отводы.

— Если на случай ремонта, так уж больно заслонка капитальная, — задумчиво произнес Дзюба.

Кондратюк постучал по стене коротким ломом, спросил:

— Желаете? Тол прихватил на всякий пожарный случай, могу рвануть аккуратно. В боковом ходу подождать — ударная волна мимо проскочит. Дунет слегка, и все.

— И так дышать нечем, а ты еще своей взрывчаткой навоняешь.

— От взрывчатки не вонь, а только запах, — обиделся Кондратюк.

Дзюба продолжал обследовать кладку стены.

— Верхние ряды кирпича без раствора положены. На халтуру, для вида только. — Попросил Кондратюка: — А ну, подопри!

Поднятый на плечах Кондратюка, он быстро раскидал у свода кирпич, крикнул, влез в образовавшуюся брешь в стене и скрылся за ней.

За ним последовал Лунников, без помощи товарища. Затем Буков.

Подсаженный Сапежниковым, Должиков скреб стену

сапогами, не в силах подтянуться на руках. И потом тяжело спрыгнул не на носки, а на пятки.

Свет фонарей выхватывал из темноты сложенные в штабеля стальные цилиндрические сосуды, выкрашенные ярко-оранжевой краской. Буков приказал:

— Стоять всем на месте!

Кондратюк успокоил:

— Та это же не бомбы. Глядите, вентиля медные торчат. Возможно, автогенные баллоны. Просто склад. И банки наставлены, видать с тушенкой. На суточный рацион саперному батальону хватит.

— Я эти банки знаю, — сказал Должиков. — Имн в лагерях травили. Газ «циклон-Б».

— А ну, освободите все помещение, — вдруг начальственно приказал Кондратюк. — Все назад и скорым обратным ходом наружу, в первый же попавшийся люк. — Сел на пол, пошешно разулся, снял обмундирование, остался в одних трусах. Объяснил деловито: — Это я, чтобы чувствовать, за что цепляюсь.

— Товарищ Кондратюк, отставить.

— Нельзя оставить, товарищ Зуев, — сердито сказал Кондратюк, посветил фонарем между штабелей. — Видите, шнуром напутано, и провода тонкие, а это вот не прокладка, а взрыв-пакеты.

— Ничего не трогайте!

— Я, допустим, не трону, — хмуро сказал Кондратюк, — а крысы вас тоже послушают? Шастают, заденут, допустим, проволоку, взрыватель натяжного действия и сработает.

Убеждал:

— Я хоть не все, а кое-что обезврежу. — Поколебавшись, добавил: — Конечно, если желающий светить останется, с обеих рук действовать мне ловчее. Потом такое мое пока временное соображение. Они, видать, только у баллонов головки сшибать желали, взрыв-пакеты мелкие и все под головками уложены, а банки что? Жесть! Их чуть поддашь — и лопнут. Значит, если рванет, не очень основательно. Главное — газ. Так мы же противогазами оборудованы. Мне, конечно, ни к чему, только мешает. Да и не поможет, если хлопок. А вы все обождите в безопасном боковом ходу за стенкой. Я тут сначала, ни к чему не прикасаясь, так только ориентируюсь. Доложу. Тогда и будет окончательное ваше решение.

Буков остался светить двумя фонарями Кондратюку.

Кондратюк с кошачьей грацией продвигался между

штабелями баллонов и банок, белея своим грузным нагим телом, отрывисто давая указания, куда светить. Иногда он бормотал, как бы поясняя самому себе:

— Это фокус на дурака. Штука плевая. Ишь ты, терочный поставили! Отсырел, не сработает. Ага, химическим перестраховались. Думали, я с кусачками, чтобы раздавил, да?

Вернулся, надел на шею брезентовую сумку с инструментом. Продолжал возиться, приговаривая:

— Еще один зуб дернул, теперь не укусит.

Обрадованно объявил:

— А вот она, самая главная гадючка в броневой шкурке. Ну пока, кажется, все.

Подошел к Букову, доложил:

— Взрывоопасность в основном ликвидирована.— Помедлил, переступая босыми ногами, просительно произнес: — Мне бы еще минуток столько же покопаться для гарантии! Разрешите? Душа неспокойна.

— Одевайтесь,— приказал Буков.

— Тогда разрешите обратиться к капитану.

Зуев сказал:

— Обожди, Кондратюк. Тут надо нам другое обсудить. Всем уходить нельзя. Надо на охране объекта остаться. Мало ли что.— Поглядел на Букова: — Вы! И еще кто?

— Товарищ капитан! — перебил Кондратюк. — Мне же тут делов до черта.

— Хорошо, Кондратюк, Лунников, Должиков...

И когда Зуев, Дзюба и Сапежников скрылись во мраке туннеля, оставшимся стало невольно сиротливо. Кондратюк, облачившись в обмундирование, сказал:

— Отогреюсь малость — и снова полезу шарить.— Предложил: — Пойдем в боковушке покурим, там ничего, там можно.

Усевшись на корточки вдоль влажной стены, погасили фонарь, чтобы экономить батарею. Мерцали только огоньки сигарок.

Лунников сказал:

— Это что же, фашисты-вервольфы собирались свое же население газом потравить?

— Такая у них затея зверская, чтобы по подземным ходам газ в дома проник, душегубку соорудили.

Кондратюк прервал сердито:

— Ну чего, охота словами трясти над тем, что и так ясно.

— Поговорить нельзя?

— Отчего нельзя, можно, только ты для удовольствия чего-нибудь расскажи.

— Про что разговоры любишь?

— Обыкновенно, про жизнь.

— У меня детство очень хорошее было,— сказал Должиков,— просто замечательное...

— Я своим тоже доволен,— сказал Лунников.— Только на фронте не повезло: хотел в авиацию, взяли в пехоту.

— В пехоте хорошо,— заметил Кондратюк.— Всегда на земле, при людях, ума прибавляется. Всего навидаешься.

— Армейский народ ходкий,— сказал Лунников.— У любого своя высотка намечена.— Спросил Должикова: — Ты, Витя, на что нацеливаешься?

— Как отец, учителем. Только школу фашисты сожгли.

— Отстроим.

— Отец преподавателем немецкого языка был,— тихо произнес Должиков.— Очень любил немецких классиков, а они его убили.

— Фашисты! — уточнил Кондратюк.

— Все равно — немцы.

— Ты, Витя, вот что прикинь,— ласково посоветовал Буков.— В районном магистрате видел тех, кто из лагерей вышел, пытаные, замученные,— тоже немцы.

— Так это антифашисты, ну сколько их?

— А большевиков сколько до революции было? Считанное число.

— Спасибо за политинформацию! — задорно сказал Лунников.— Только помещение для занятий неподходящее — вроде санузда.

— Ты шуточками тут не балуй,— строго одернул Кондратюк.— Фашистов пришибли, факт налицо. Дошли до Берлина и точку войне поставили, а дальше что с ними будет, с немцами?

— Наведем порядок, будьте уверены,— усмехнулся Лунников.

— Так ты, выходит, завоеватель народа,— иронически заметил Кондратюк,— а вовсе не его освободитель.

— Заклеймил,— обиделся Лунников.— Что, я не понимаю, какая сейчас ситуация: комендантский наш час — дело временное. Немцы должны сами себе самостоятельно установить режим жизни: либо свобода и власть трудящихся, либо опять на шею им капиталисты вскочат, которых в западных секторах союзники обожают, как родственников.

— Правильно отрапортовал, — сказал Кондратюк, — а то я думал тебя на свое идеологическое иждивение взять как отстающего.

— Ну вот что, перекур кончаем, надо посты занимать, — вставая, объявил Буков. — У Кондратюка свое дело. Мы боевое охранение. Ты, Лунников, становишься в первом боковом отводе, наблюдение ведешь по магистральному каналу. Ты, Должиков, в обратном направлении, тоже у бокового отвода. Я ваш резерв. Вызывать, в случае чего, световым сигналом, самой короткой вспышкой, ладонью фонарь прикрыть и чуточку щелку между пальцев оставить.

Сопроводив, как разводящий, на пост Лунникова и Должикова, Буков встал по другую сторону стены, за которой работал Кондратюк, продолжая свой тщательный поиск, прикрепив брючным ремнем к голове фонарь, подобно шахтеру-забойщику.

Дзюба правильно предсказал, что утром уровень сточных вод повысится.

Буков тревожно прислушивался к сопению сточной воды, ползущей под землей, как гигантское мягкое пресмыкающееся, и чувствовал сквозь прорезиненную спецовку ее отвратительное, ошущивающее прикосновение.

И дышать становилось все труднее от зловония и оттого, что вода вытесняла воздух из туннеля.

Вспоминая о том, о чем рассуждали его люди во время перекура, Буков отметил, что каждый деликатно избегал говорить об обстановке, в которой они оказались, будто здесь ничего такого нет особенного, что бы могло взволновать, обеспокоить.

Это было проявлением солдатской воспитанности — делать вид, будто «все в норме», чтобы не трепать ни себе, ни товарищу нервы предположениями о грозящей опасности, не обнаруживать своих опасений, а уж если высказывать их, то только иронически, насмешливо, будто подсмеиваясь над самим собой.

Поэтому и было сказано Кондратюку:

— Нашел работенку себе по специальности. Обрадовался. Любитель взрывные шарады разгадывать.

— Ну и что? — притворно сердито ответил Кондратюк. — Да, любитель, вам такого моего удовольствия не понять.

Лунников заметил:

— На байдарке тут можно патрулировать — и спорт, и служба.

И даже Должиков произнес в тон ему:

— Подземный патруль, на петлицах — летучая мышь.

Буков перебрался за стенку к Кондратюку. Сказал:

— Вода прибывает!

Кондратюк, медленно и осторожно выпрямившись, спросил недовольным тоном:

— Ну и что?

— Наши могут не дойти.

— А чего им понизу топать? Вылезут из первого же люка, и все.

— Район сильно разрушенный — завалы, крышки люков не поднять.

— Ну, это их забота, — хмуро сказал Кондратюк, — а у меня тут свое. Смотри, вот провод к кольчужке далеко ведет, ходил я вдоль, конца нет, — значит, где-то с дальней точки подрывная машинка. А это вот шнур, тоже конца не обнаружил, тянется в боковой ход, страховались, значит. Но еще одну штуку обнаружил — в полметра от пола поставлены взрыватели на предохранителях из кусков пилевого сахара. Если вода на этот уровень подойдет, сахар в воде растает, взрыватель сработает. Это у флотских манера на сахаре взрыватели ставить. Просто и надежно. Значит, со всех сторон, на все случаи тут продумано. А вот еще с часовым механизмом нашел, но он незаведенный, просто так стоял. — Воскликнул гневно: — Это же все-таки надо такую бесчеловечность учинить! Ну, заложил бы взрывчатку под объектами, чтобы выборочно только наших побить, а то всех начисто потравить — и своих, и наших — изуверство окончательное. Сколько я всяких подлостей их только не обезвреживал: наших погибших на поле боя они минировали! Под подходящие для госпиталя помещения фашисты мины закладывали замедленного действия. Все было, но такого не попадалось.

— А теперь ничего здесь не осталось, что бы сработало? — онасливо осведомился Буков.

Кондратюк сказал высокомерно:

— Стал бы я на рассуждение время тратить, если б все не зачистил. — Добавил сердито: — Сейчас по линии бы пройти и на обоих концах в засаду засесть.

— Теперь нельзя, — покачал головой Буков. — Вода подперла. Надо выждать. Пойду проверю, как там Должиков в охранении.

Должиков стоял в боковом откосе уже по грудь в воде.

— Ну как? — спросил Буков. — Не утоп еще окончательно?

— Ну что вы! — сказал Должиков. — Я на стене смотрел отметки уровня, выше плеч не поднимается.

— А вдруг?

— Я же на посту! — сказал Должиков.

— Это верно! — согласился Буков. — Пост — служба такая: умри, но не сойди. — Помолчал, подумал и заявил решительно: — Пока я тебя с этого поста снимаю. Поскольку по высокой воде никто сюда, надо полагать, не сунется. А вот где Лунников, там склон сильнее, там и уровень ниже. Я тебя к нему напарником назначаю.

Лунников откликнулся во мраке плаксиво и не по форме:

— Ага, пришли — ну все! Хватил меня псих, хоть беги или об стену...

— Что-нибудь засек?

— Ничего! И вообще — ничего. Стоишь и думаешь: ни тебя и вообще ничего нет, — бормотал Лунников.

— Может, ты просто в помоях потонуть опасался? — осведомился Буков. — Так это напрасно, выше нормы уровень стока не поднимется, все равно голова будет наружу.

— Время я не понимал, время, — раздраженно твердил Лунников.

— Если сток высокий пошел, значит, утро, за ним день. Спадет вода — ночь, — пояснил Буков.

— Вы побудьте здесь, — жалобно попросил Лунников. — Ну хоть по одной скурим.

Он жался плечом к Букову и пытался объяснить свои переживания:

— Я ко всему на людях привык. Бой — он тоже на людях и в разведке, немец — тоже человек. А тут — один. А я один не могу, особенно когда думаешь, что ты окончательно один.

Буков согласился:

— Это верно, привычка у нас за войну отработалась — с кем-нибудь, но вместе, при другом и помереть, думаешь, не так уж страшно. — Добавил утешающе: — Должиков с тобой побудет, временно, пока с той стороны вода спадет. У тебя тут обстановка посуше. По боковому ходу вода идет, а там перемычка поднимает.

— Спасибо, — сказал Лунников.

— Это я не для твоего удовольствия принял решение, а чтобы Должикова не утопить. Стоял в стоке по самые плечи и не жаловался.

— Я, Степан Захарович, подолгу один привык быть, — поспешил заверить Виктор. — В погребке долго один при

немцах жил, питался соленой капустой из кадки и сырую картошку ел, в капусте витаминов нет, а в сырой картошке их много.

— Значит, настоящий подпольщик, — уважительно определил Лунников.

— Нет, вначале я просто так, чтобы в Германию не угнали.

— А теперь добровольно, сам в Берлин пришел, — заметил Лунников.

— Я же в боях не участвовал, назначили переводчиком. А пленные, они совсем другие, будто никогда и не воевали против нас.

— Я сам немало их лично перевоспитывал, — сказал Лунников. — Как дойдет до его ума, что ты его вроде как выручил тем, что прихватил, от войны избавил, сразу — геноссе. Ну, конечно, осаживаю. Нам геноссе те, кто рот-фронт, а он, если и не фашист, для меня все равно темная личность.

— Они считали, что мы низшие существа, а они высшие.

— До начала сорок второго, а потом мы их от этой мысли отучать стали.

— Это их идеология.

— Знаю, дешевка. Все равно что пьяному в бой идти, от страха труса это лекарство бодрит до первого ушиба. В бою на чем держишься — не на том, что ты будто самый храбрый, а на том, чтобы свое подразделение не подвести, чтобы не хуже своих товарищей быть, которые в смерть, не замутившись, кидаются. От этого в тебе сила.

— Ну ладно, — сказал Буков. — Вы тут беседуйте, но чтобы тихо.

Хлюпая по вязкой, незримой, одноцветной с мраком воде, он побрел обратно к перемычке, довольный тем, что сразу Лунников отошел от тоски одиночества, и тем, что Должиков так быстро освоился здесь и держится стойко.

Буков, как и многие его однополчане, полагал, что, едва только наступит победа, с ней вместе придет приказ — по домам. Всю войну у людей была одна томящая мечта, она представлялась им самой высшей наградой: мечтали о возвращении к той жизни, какую они оставили, прервали, став солдатами. Быть на фронте им повелевал долг воина, ненависть к врагу, но теперь они были просто военнослужащими, задержанными в армии. Для охраны порядка на немецкой земле.

Это была обыкновенная служба, но служба на чужбине.

Чем дальше, тем чаще надо было согласовывать свои действия с местными немецкими властями, которые обрели постепенно самостоятельность, и чем быстрее они проявляли свою самостоятельность, тем более успешной считалась работа комендатуры. Ведь успехи ее в первую очередь оценивались полезными контактами с населением и сработанностью с местными властями.

По мере того как армейские части передавали свою власть немцам, все явственнее выступали черты новой, демократической Германии, которая уже сейчас отличалась от той, что находилась на западе страны, на территории, занятой союзными оккупационными войсками.

Букову вначале это было незаметно, но, когда ему довелось несколько раз сопровождать Зуева в союзные зоны оккупации, он сразу почувствовал это глубокое различие.

И дело не только в том, что многие представители союзных войск вели себя развязно, грубо, по-хамски с населением, хулиганили, безобразничали. Они даже в отношении друг друга не проявляли должной армейской уважительности.

Ходят толпами, орут, задевают прохожих, торгуют на улицах сигаретами, тушенкой, заходят в квартиры и выходят оттуда с разными вещами.

Свистят и гогочут при виде немцев, согнанных на разборку развалин. Военные патрули, в белых касках, в белых ремнях и гетрах, как будто ничего этого не замечают, как будто так и должно быть.

И вот еще что подметил Буков: как бы ни надрался союзный солдат, он хорошо, богато одетого немца не задевает, а вот к тем, кто одет попроще, — к тем пристаёт, унижает их.

И когда Буков поделился этим своим наблюдением с Зуевым, тот сказал:

— А что ты от них хочешь? Задержали мы двоих военнослужащих. На грабеже поймали. Доставили в союзную комендатуру. А там смеются: «Парни сувениры собирали». Но ведь со взломом. «Кого грабили? Немцев». А они что — не люди?

Буков вернулся на свое место.

«А где сейчас Зуев, — думал он, — добрался ли он по высокой воде? Хорошо, что с ним Дзюба, все-таки бывший строитель, разбирается в подземных коммуникациях: может, они сразу через ближайший смотровой люк выбрались

на поверхность. И Зуев, наверно, уже начал расследование, поиск. А что, если таких складов газовых баллонов несколько и не тот, что они обнаружили, главный?»

Сколько уже прошло? Почти сутки. Конечно, в такой обстановке никто из них не замечает, что без еды. Про еду здесь даже подумать противно. Но слабость не только от духоты, сырости. Все они тут бывшие раненые, и в сырости все кости болят, ноют. Один только Кондратюк как ни в чем не бывало трудится, вкручивает теперь предохранительные колпаки на газовые баллоны, взрывчатку собрал в одну кучу подальше, вынес за каменную перемычку и затопил в воде. Значит, чего-то опасается.

— Ну что? Кондратюк, как самочувствие?

— Нормальное!

— Жалобы есть? — пробует пошутить Буков.

— Имеются. — Кондратюк вытирает руку, подходит. — На себя имею претензию. Проводок я тут, пожалуй, один зря перерезал, пробовал на язык, чуть щиплет, ток слабый. Соображаю: возможно, была сигнализация, а теперь, значит, она не работает?

— А зачем ей работать?

— Ну, чтобы знать... — Поспешно добавил: — Но это так, как капитан Зуев всегда говорит, одно только предварительное предположение. — Он оперся о стену спиной. — Тут все время гляди, чтоб собой чего не задеть. От каждой паутинки потеешь: а вдруг проводок. По-настоящему если судить, так минерская работа — самая настоящая сыскная, хоть одну улику упустишь — и прошумишь пятками в небо. А тут не себя жалко. За столько людей трепещешь, но обязан быть, как змея, хладнокровным и ловким, своим самостоятельным умом действовать. — Спросил озабоченно: — Как ребята, ничего, терпят?

— Несут службу, — сказал Буков. — Под землей, как и на земле.

В недрах туннеля, с той стороны, где находились Лунников и Должиков, появились серые, блуждающие во мраке пятна, словно комки фосфорической плесени. Но потом они стали обретать плотность и двигались ритмично.

— Наши, что ли, идут? — спросил Кондратюк. — Ушли в одном направлении, а приходят с другого.

Но вдруг свет исчез.

— В боковой проход вошли. Нет, по воде хлопают. Почему же без света?

— Тихо, — шепотом приказал Буков. — Тихо. — И сжал рукой плечо Кондратюка. Но тот присел, стал шарить

в темноте, очевидно в поисках оружия, положенного поверх резиновой спецовки.

Буков шел, держа автомат вертикально, чтобы не задеть за стену и скрежещающим звуком о камень не выдать себя. Шел медленно, чтобы не хлюпала вода под ногами и чтобы не поскользнуться на скользком днище стока.

Но вот светящейся дугой сверкнул фонарь, брошенный в глубь магистрального туннеля, и почти мгновенно после падения фонаря звонко, словно из крупнокалиберного пулемета, прозвучали пистолетные выстрелы.

Буков бил из автомата, оглушаемый мощными звуками, такими, какие издает только противотанковое ружье. И вдруг увидел, как на середину канала в рост выскочил Лунников, широко простирая руки, будто ловя в воздухе что-то, и тут же — мгновенная вспышка ослепительно взорвавшегося пламени, так же мгновенно погасшая.

Толчком взрыва фаустпатрона Букова свалило, но он поднялся, продолжая бить из автомата.

Темноту снова прочертил брошенный фонарь, и Буков уже прицельно ударил по тем, кто убегал. Рядом четко звучал автомат Должикова. И после того как и вторая обойма была израсходована, заложив новую, Буков оттолкнул Должикова в боковой проход, а сам, светя фонарем и держа автомат, пошел по туннелю. Двое лежали лицом вниз. Он ногой поворачивал им головы, чтобы убедиться в том, что они мертвы.

Других не трогал, только фонарем осветил.

Потом он вернулся к Должикову, спросил:

— Ну, что у вас тут было?

Должиков сказал:

— Мы их осветили, они стали стрелять, мы по ним, тогда один из них присел и нацелился фаустпатроном, но не в нас, а туда, где газовые баллоны. Тогда Лунников выскочил на середину туннеля и даже руки раскинул, чтоб места больше собой занять. Он догадался, а я не догадался. Он всех спас, а я только стрелял...

Буков направил свет фонаря на Лунникова и тут же погасил фонарь.

Буков видел тела танкистов в сгоревших танках. Так вот так же выглядел Лунников, как эти танкисты.

— Отнесем, — сказал Буков.

Тело Лунникова было горячее, и они несли его. Кондрачук стоял посередине туннеля, потерянно озираясь по сторонам.

— Ты что? — спросил его Буков.

Кондратюк вздрогнул, кивнул на баллоны:

— Да вот, испугался.

Буков хотел ответить Кондратюку, что Лунников тоже вот испугался, как бы баллоны не взорвались, только за других испугался, не за себя, а это не всякому дано. И вдруг почувствовал, что произносить слова ему трудно, не почему-нибудь, а из-за внезапно охватившей слабости. Что-то теплое текло по животу, ногам. Ему казалось: он растворяется, тает и мрак туннеля всасывает его. Сопrotивляясь этому, он засунул ладонь под гимнастерку и, прижимая ее к мягкому углублению в ране, сказал... Нет, он только хотел сказать что-то ободряющее, начальственное. И не смог. Лег, скорчился и пробормотал совсем не то, что хотел:

— Лунникову... увольнительную на весь день. Пусть... ничего. Под мою ответственность... — И жалобно, беспомытно повторил: — Под мою... понятно!

8

Теперь в госпитале военнослужащий с нормальным боевым ранением считался редкостью. Букова оперировал хирург, который среди военврачей почитался маршалом. Плечистый, почти квадратный, с сивой лохматой шевелюрой и простецким носом картошкой на мясистом багровом лице, хирург сказал, ощупывая нагое тело Букова, еще спеленатое бинтами:

— Жировая прокладка почти отсутствует, но, полагаю, не от истощения, а от чрезмерной нервной возбудимости. — Провел по голому животу Букова пальцем: — Полюбуйтесь, явно выраженный белый дермографизм. — Приказал сестре: — Поите его чаем из валерьянового корня — лучший студенческий напиток.

Сообщил Букову как бы с оттенком зависти:

— А ты ведь в покойниках побывал, полная клиническая смерть, ведь надо же суметь так изловчиться, чтобы обратно эвакуироваться.

— Спасибо вам — выручили, — промямлил Буков.

— Это не я тебя, а ты меня выручил, — сказал хирург. — Помер бы на столе — испортил бы мне репутацию. — Спросил: — Ну как там, на том свете, есть что-нибудь заслуживающее внимания?

— Не помню.

— Такая интересная научная командировка — и «не помню»? —

— Как в темную яму свалился. Ничего особенного, все падал, все проваливался.

— Ну вот что, — сказал хирург. — Теперь у тебя расчет только на саморемонтное действие организма. Постарайся думать о чем-нибудь приятном. Из всех медикаментов самый надежный — радость.

— Я всем тут довольный.

Хирург сказал:

— Я вот читал: у армии-победительницы при относительно равном количестве раненых с противником большее количество выздоравливающих. Объясняется психоморальным фактором.

Буков возразил:

— А почему же тогда в самые для нас тяжелые годы войны дезертирство из санбатов было? Приплетутся на передовую в сырых бинтах и симулируют, будто почти уже все зажило. И ничего. Если в новом бою не убивали, выздоравливали.

— М-да, — произнес хирург. — Замечание вразумительное. У меня даже один генерал сбежал сразу после ампутации кисти руки. Но через две недели я ему уже до плечевого сустава отнял. Прохожу мимо палаты в тот же день после операции, слышу крик, ругань отчаянную. Открываю дверь, орет в трубку полевого телефона, почти с теми же выражениями, которые он при наркозе допускал. Объясняет: «С начальником боепитания беседовал».

Приказываю сестре произвести инъекцию. А он ни в какую — с детства, мол, уколов не переносит.

Пожилой, здоровье на исходе. А вел себя, как мальчишка. В анамнезе соврал. Почки одной нет, сердечная недостаточность. А он: никогда ничем не болел, здоров как бык — и возраст себе сбавил.

Объявил:

— И ты тоже хорош! Вставать нельзя, а ты к окну полез.

— Липы зацвели. Красиво!

— Ты бы лучше за санитарками наблюдал, вон они у нас какие фигуристые.

— Внимательные, — вяло сказал Буков.

— Жалуются на тебя, — строго сказал хирург, — подсовдают, а ты на нем работать стесняешься. Персонал, значит, не уважаешь. С них же требуют, чтобы у тебя нормальный стул был. — Заметил строго: — Для медицинского работника нормальное функционирование организма у выздоравливающего — показатель. А ты нам эти показатели снижа-

ешь. — Погладил Букова по плечу: — В общем и целом я тобой доволен, оперировать — одно удовольствие, сердце сильное, кровь хорошей сворачиваемости, ткани упругие, словом, материал замечательный, жизнестойкий.

Первыми навестили Букова Дзюба и Кондратюк. Увидев отощавшего, бледного, без усов, с коротко остриженными волосами Букова, Дзюба жалостливо осведомился:

— Это что же, выходит, ты совсем еще молодой? Скажи пожалуйста, на вид совсем парнишка. И усов нет — это что же, теперь в обязательном порядке срезают? Во время войны в госпиталях не трогали, — и бережно погладил свои усы, густые, черные, основательные.

Кондратюк, подхватывая этот разговор, заявил решительно:

— Я бы не позволил. Усы — личная собственность солдата. На казенный образец только башку стричь положено. Усы — это армейская мода со смыслом, без горячей воды губу не протреешь, самое нежное место.

Кондратюк рассказывал:

— Хлопушку под крышку смотрового люка я заложил аккуратно на выброс. Шугануло вместе с камнем, которым была завалена, эффектно сработал. — Добавил сдержанно: — Предоставил таким способом тебе скорую помощь, вынес наружу, на свежий воздух. А знаешь, Зуев хоть нам всем благодарность объявил, но замечание сделал, недовольство высказал за то, что из тех, этих самых, ни один ему для допроса не пригодился: испортили наповал.

Нескольких он для себя все-таки прихватил — изловил в боковых ходах, теперь с ними канителится, беседует. Судить будут по всей форме закона. А нас зачислил в свидетели. Смешно. Какие же мы свидетели? Свидетели — это же кто со стороны чего-нибудь видел.

Немцев гражданских на экскурсию Зуев водил, подземную коммуникацию показывал, разъяснял, какую пакость фашисты напоследок учинить собрались. Теперь он среди местного населения — фигура.

Дзюба, опустив глаза, сказал тихо:

— Когда Лунникова хоронили всем гарнизоном, глухонемая тоже за гробом шла. Стали опускать в землю. Она кинулась и вдруг закричала. Ну, нам не до нее. Потом Зуев первым спохватился: как же так, считали глухонемой, а на деле что? Маскировка?

В санчасти разъяснили: на нервной почве от повторного потрясения голос снова появился.

Должиков подтвердил: она сама вначале не заметила,

что нормальной стала. А когда заметила, даже не сильно обрадовалась. Выходит, прилепилась она к Лунникову сердцем основательно. Считала, раз он ее спас, на себе вынес и при этом еще ранение получил, значит, ближе ей человека нет. Правильно рассуждала. Возможно, и Лунников против такого ее понимания не возражал, ее фотокарточку в его солдатском медальоне нашли — запекся медальон, но не сгорел.

Открыли — она...

...Зуев явился в госпиталь рано утром, почти на рассвете, терпеливо сидел возле койки Букова, ждал, пока тот проснется. Дождался, сказал вскользь:

— А я тут рядышком на расследовании. Ну и завернул по пути.

Он еще больше отошал, залысины на висках, морщины углубились. Признался горестно:

— По делу Отто Шульца помнишь мои первоначальные предположения? Так все это в дальнейшем было опровергнуто.

Во-первых, речь идет не об Отто Шульце, а о Вильгельме Битнере.

Инженер Отто Шульц был казнен в 1943 году. Донос на него в гестапо сфабриковала английская разведка, чтобы убрать его как специалиста, принимавшего участие в производстве ракетных снарядов. Через своих агентов гестапо установило, что попалось на провокацию. Дабы это не дошло до высшего начальства, привезли из Дрездена инженера Вильгельма Битнера, приказали ему называться Отто Шульцем, якобы для конспирации в связи с секретной работой, и вселили в дом Отто Шульца. Как я это установил? День рождения Шульца — седьмое марта. Открытку нашел с поздравлением, дата на ней — июль. Стал дальше копать. Шульц получил диплом в Берлине в 1920 году. А у этого хранился картонный кружок, который ставится под пивные кружки, весь в подписях, дата — 1922 год. На кружке — название дрезденской пивной. Поехал в Дрезден, оказалось: подписались на картонке известные профессора. По обычаю это делается в день выпуска. Нашел фотографа, который снимал их в этот день. Поднял и его архив. И нашел я этого своего Отто Шульца, но только с фамилией Битнера. Переписал заголовок в деле. Стал сверять номер лагерный, наколотый на руке домашней работницы. Заключение с этим номером была умерщвлена еще в 1944 году.

Пломбы в зубах этой самой якобы домработницы по

анализу совпадали с тем материалом, который применяют немецкие врачи. И изношенность у них была многолетняя. Значит, гестапо приставило свою агентку наблюдать за инженером Битнером, и, чтобы выяснить его взгляды, агентке сделали лагерную наколку. Если он ей будет сочувствовать, значит, попадется. Навожу справки о ней у жителей. Оказалось, что двух женщин, которые ей выказали сочувствие, забрали в гестапо, а потом и их семьи. Значит, все мои первоначальные гипотезы насмарку.

А дальше уже просто: организовал наблюдение за домом в Дрездене, где супруга и родители Битнера проживали. Убили его после вскрытия сейфа, — значит, то, что искали, не нашли. Будут еще искать. Ясно? Ну, потом накрыли, взяли преступников. Предъявил им все улики с неопровержимыми доказательствами. Те сознались, дали показания. Один из них, брат жены Битнера, бывший офицер СС, сдался англичанам. Чтоб устроиться получше, сообщил английской контрразведке, что может оказать Великобритании услугу. Сестра ему доверительно выболтала, кем ее муж стал и над чем работает.

Сначала он только познакомил английского контрразведчика с зятем. Но, выходит, Битнер отказался отдать документацию. Тогда они все это над ним и совершили. Гестаповская агентка почему бросилась на них? Дюпоновская фирма беспокоилась, чтобы документация не попала в руки другой страны. Поэтому за патентную охрану предприятие платило гестапо.

Вообще-то Битнер нацеливался сам продать американцам документацию, поэтому и переправил ее к себе домой, в Дрезден, уже давно. Но после того как американцы совершили гнусный, коварный налет на город, передумал. Жена его рассказывала: приехал ночью, разжег камин и все свои бумаги в нем сжег. Наверное, если б не сжег, то под пыткой, которой его подвергли, отдал. А так что же? Разве они ему поверили б, что он сжег? Все равно только мучили бы снова. Ну, а зачем я вам говорил, будто эти преступники пользовались подземной коммуникацией? По психологическим мотивам. Жертвы вы видели, — значит, загорелись. А так просто патрулировать в помоях под землей, без азарта, — унылое занятие. Но патрулировать надо. Имел сведения: под землей рыщут. Вы это подтвердили своими энергичными действиями. — Поежился, опустил голову. — Лунников посмертно награжден. Тут моя вина. За то, что посмертно. — Развел руками: — А что я мог? Пришлось захватом самому руководить. Часть группы

осталась с Дзюбой и начхимом, а я с другими по боковым ходам преследовал.

Зув сидел ссутулившись, зажав между колен ладони, и медленно раскачивался, не то в ритм словам, не то сонно поклеывая; лицо его было изможденным, серым, губы сухие, тоже серые.

Сказал, помолчав:

— Ну, такие за пределами всего человеческого, мразь. Допрашиваешь по существу дела — а они как все равно торгуют своими показаниями. Сообщат и тут же осведомляются: «Теперь я могу рассчитывать хотя бы на улучшение питания?» — или: «Прикажите принести коньяк» — и добавляют: «В награду за откровенность».

А один заявил: «Вы должны нас понять. Население Берлина заслуживает возмездия. В ваших городах люди сопротивлялись нам и убивали нас, я уже не говорю об упорном саботаже. И мы вправе требовать от своего населения того же в отношении вас. Мы готовили народ к чему-то подобному, но в еще более грандиозных масштабах. И что же? Ничего не получилось. Мы называем это предательством, а оно заслуживает кары».

«Значит,— говорю,— подтверждаете свое участие в диверсии с применением ОВ?»

А он: «Поскольку военнослужащие Советской Армии снабжены противогазами, жертв среди них не могло быть, отсюда следует, что вы не можете предъявить обвинение в покушении на представителей вашей армии?»

«Ну,— говорю,— допустим».

«Тогда я подлежу суду не военному».

«Возможно».

«Но в Германии нет сейчас органов юстиции...»

«Насчет этого,— говорю,— могу вас обрадовать. Следствие по вашему делу после его окончания мне надлежит передать народному суду Берлина, где вы будете иметь возможность изложить своим соотечественникам только что высказанные вами взгляды, внесенные мной в протокол вашего допроса».

— Ну, а сам он кто, фашистский фанатик? — спросил Буков.

— Владелец мастерской по производству перчаток, работали у него пленные французы. Дали ему восемь человек из лагерей, после того как стал служить в районном гестапо. Получал постоянные военные заказы для летчиков. Купил ферму. Женился на шведке, совместно с ней держал магазин. Если б диверсия удалась, обещали пере-

править в Аргентину. Там у него в банке счет. Он среди взятых не главный. Но и другие тоже вроде него: обижаются, когда выясняешь, сколько нажили на войне. Вы, говорят, как налоговый чиновник, допрос ведете. Не нравится, когда их классовую принадлежность устанавливаешь. Мы, говорят, пережили национальную трагедию и погибали вместе с Германской империей.

Соглашаюсь. Империя, конечно, рухнула при нашем активном содействии, а вот для немецкого трудового народа это не трагедия, а лишь освобождение от таких, как вы.

— Ты что, их там просвещаешь на допросах? — спросил Буков.

— Они для меня подследственные, и я обязан не только представить неопровержимые улики по их преступным деяниям, но выявить всевозможные мотивы, которыми они руководствовались, совершая преступление. Допрос по существу дела может быть коротким, а вот выявление личности преступника — работа длительная. Сидим с глазу на глаз и беседуем, даже нарочно протокол допроса в сторону отодвинешь, чтобы он спокойней себя чувствовал. Уголовник кто такой? Случается, где-то в какой-то момент жизни человек выпал из нашего общества по причине часто и от нас всех зависимой. Ищешь эту причину. Как коммунист, ищешь, беспокоишься, в чем была наша промашка. Может, его из школы выгнали, допустим, за неуспеваемость или хулиганство, — значит, надо в органы просвещения идти советоваться. В райком партии. Словом, наша работа не только изловить, но и предотвратить возможность преступления. А тут продукт системы, и не только бывшей фашистской Германии. Такую публику в союзных секторах по-родственному оберегают, там у них взаимопонимание. На основе самой простой. Там крупную частную собственность не трогают, а в восточной зоне ее тронули. Вон уже, пожалуйста, вывеску повесили: «Завод имени Эрнста Тельмана — народное предприятие». Вот и надо выяснить на все будущие времена, как и кто на западе будет реагировать на такое название. На что и на кого собираются рассчитывать в своем желании, чтобы такого названия у завода не было. Понятно?

— А что это у тебя на лбу? Ушибся?

Зуев досадливо поморщился:

— В одном месте стукнулся впотьмах, ничего холодного под руками не было. Приложил пистолет вместо пятка. Но долго держать так не пришлось. Ну и вздулась гуля.

— Значит, по-прежнему, как на фронте?

— А те, кем я занимаюсь, те капитуляцию не подписывали. — Сказал одобрительно: — Доктор тебя хвалит, говорит, скоростным способом на поправку ведет, так ты старайся, лечись. — Сообщил с улыбкой: — Шарлотта тебе кланялась, в мэрии теперь служит, рекомендовал я ее туда сам лично.

— А Должиков как?

— Работает. Недавно обнаружил крупную шайку. Получали продукты по фальшивым карточкам и вывозили на запад.

Ты, наверное, не знаешь, англичане во время войны изготавливали фальшивые продуктовые карточки и забрасывали их в Германию, чтобы дезорганизовать снабжение населения.

Анализ типографской краски и бумаги показал, что карточки сработаны без учета изменения в обстановке. Пришлось дать одной из союзных комендатур разъяснение, что наши краски иного химического состава и бумага также. Ну, там еще кое-что они не учли, что объяснять потребовалось...

Словом, дел хватает. — Сказал завистливо: — А у тебя здесь хорошо, спокойно. Я, когда в госпиталь попадал, всегда сильно в весе прибавлял. А что? Отдых...

9

После госпиталя Букова зачислили дизелистом на передвижную электростанцию. Но обслуживала она не армейские хозяйства, а кочевала по Германии, питая своим током населенные пункты, где городские электростанции были повреждены.

Эта была спокойная, приятная должность — даровать людям свет. И когда электростанция разместилась в заводском дворе и подключила свой кабель и станки обрели жизнь, Буков затосковал. Его томительно тянуло в цеха, где все было таким же, как и на его заводе, и рабочие были такими же степенными, озабоченными, как на его заводе.

На почве совместной работы по текущему ремонту дизелей электростанции Буков познакомился с Гансом Шмидтом.

Толстый, румяный, добродушный, с солидным брюшком, Шмидт совсем не походил на бывшего подпольщика. Он объяснил, показав мизинец, что он сначала был таким, а затем, показав большой палец, объявил, что он теперь такой, потому что война кончилась.

Букову правилось, как во время работы Шмидт ведет себя, не отвлекается на разговоры, на перекуры. И они без слов понимали друг друга, потому что обладали равным знанием дизеля, оба трудились молча, все больше проникаясь взаимным уважением.

После работы беседовали.

— То, что у вас в ноябре тысяча девятьсот восемнадцатого года была провозглашена Баварская советская республика, это я еще в школе проходил. И про спартаковцев, и про рот-фронт. И то, что ваши в интербригадах в Испании против фашистов сражались, и то, что Гитлер немецким коммунистам топором головы рубил, даже детям у нас известно было. Я сам в пионерском отряде имени Тельмана состоял. А потом в комсомоле в юнгштурмовке ходил. И мы по-ротфронтовски сжатым кулаком приветствовали на митингах резолюции за вас. Но где же он потом, этот ваш кулак, оказался?

Шмидт, посасывая трубку, спросил:

— А если б буржуазное правительство расстреляло большевиков в тысяча девятьсот семнадцатом году, вы бы пришли к власти?

— Весь народ не постреляли б, а он у нас за большевиками, за Лениным пошел.

— Но вы потерпели поражение в революции тысяча девятьсот пятого года. Мы тоже потерпели такое поражение.

— То же, да не то, — обидчиво возразил Буков. — Для нас это было вроде разведки боем. Если по-военному рассуждать.

— Твой отец кто?

— Рабочий-кочегар, большевик.

— А у нас очень много было рабочих социал-демократов, и я тоже.

— Ну, значит, ясно, — сказал Буков.

— Тебе — да, а мне — нет. Я считал, что большевики и их революция — это хорошо для России. Но у нас должно быть иначе.

— Как это иначе?

— Без насильственного захвата власти.

— Сильно, значит, ошибались! — констатировал Буков.

— Да, я был такой. Но потом стал понимать.

Однажды Буков сказал со вздохом:

— А на фронте я бы мог тебя убить.

— Я тоже, — сказал Шмидт.

— Вполне, — согласился Буков. — А теперь мы вместе одним делом заняты. Смешно. — Но произнес он это слово без улыбки. Добавил задумчиво: — Раз у вас теперь тут народная власть, значит, черед и вашей победы.

— Да, но есть западная зона. И там плохо, и это очень опасно.

— Ничего, — сказал Буков. — Где заря, а где закат, мы знаем... Оттуда, с заката, все неприятности. Так мы пофронтовому считаем...

Ночью на заводских путях загорелись цистерны с горячим.

Буков на мощном тягаче передвижной электростанции выехал на железнодорожный путь и, прицепив трос к вагону-цистерне, повел тягач по рельсам, чтобы увести состав с заводской территории. Это ему удалось сделать перед самым мостом, перекинутым через мелкую речушку, уже тогда, когда цистерны стали рваться, разбрасывая липкое жгучее пламя. Букову доводилось сидеть в горящем танке, и теперь он, привычно натянув на голову противогаз, чтобы сберечь глаза и лицо — одежда его уже дымилась, — выскочил из кабины тягача, пробежал вперед и кинулся с железнодорожного моста в реку. Он ушибся и чуть было не задохнулся, потому что скользкую маску противогаза не мог сразу стащить в воде, выполз с трудом на берег и побрел обратно, стараясь вернуться незаметно на электростанцию, стесняясь своего вида.

Но это ему не удалось.

Рабочие завода подняли его на руки и понесли к четырехскатному фургону, служившему жильем для команды электростанции. И хотя уже прибыла машина «Скорой помощи» и рядом с Буковым поставили носилки, начался стихийный митинг. Буков чувствовал себя плохо. Он отстранил рукой санитаря, подошедшего к нему, остался стоять, как стоят по команде «Смирно», и слушал ораторов.

Потом ему предоставили слово. Буков сказал сконфуженно, с гримасой боли на ушибленном лице.

— Извините, что я в таком виде, но сами понимаете, какая обстановка сложилась. Конечно, это большой ущерб народному предприятию — столько пропало нефти, емкости повреждены значительно. Но то, что вы все прибежали на пожар и бесстрашно его гасили, о чем это говорит? Это говорит о том, что вы — товарищи. Вам народная ответственность стала дороже своего здоровья, которое вы подвергали опасности. Да здравствует рабочий класс!

За этот подвиг Буков был награжден внеочередным

отпуском, но воспользоваться им полностью не довелось. Пришел приказ о демобилизации.

Буков заехал в Берлин, чтобы повидаться со своими сослуживцами по Особому подразделению. Но никого из знакомых он там не нашел. Все были новые люди. Это несколько омрачило его праздничное настроение.

Но как бы там ни было, для Букова начиналась новая жизнь. Когда-то, еще в рембате, Буков мечтал о том, что эту новую жизнь, если она ему суждена, он начнет вместе с Людой Густовой. Но Люду он считал погибшей, и боль этой утраты казалась ему ничем не восполнимой. Вся радость возвращения была омрачена ею.

Однако надо было жить и трудиться, и Буков деловито и озабоченно советовался с другими, как и он, демобилизованными военнослужащими, где и какие специальности дома нужнее всего. Он считал себя не вправе раздумывать над тем, как бы получше устроиться по возвращении на Родину. Он знал: ему по-прежнему предстояла служба, правда не в армии, — такая, на которой уже не подлежишь демобилизации. Она на всю жизнь. Поэтому Буков выспрашивал, где идут большие стройки, памятуя, что при нулевом цикле все трудно, — значит, привычней. Он хотел быть постоянно на людях, как это было на фронте, — он привык к фронтовому товариществу, и ему казалось, что жить без него не сможет.

Как-то Буков показал фотокарточку Люды знакомому майору авиации после того, как тот показал ему портрет жены.

— Невеста? — спросил майор.

— Нет, так, на память, — сказал Буков.

— Подходящая! Ты не теряйся, — посоветовал майор.

Буков спрятал фотографию и ничего не ответил. И только испытал мгновенное чувство неприязни к майору — обиделся за эти слова: «Не теряйся». Но майор ведь не знал того, что знал Буков, и Буков, мысленно прощая его, о чем тот и не догадывался, похвалил из вежливости:

— У вас жена тоже ничего.

— Я ее последний раз в сорок первом видел, и с тех пор — никаких известий. Буду искать, — твердо сказал майор. — Пешком всю землю исхожу, а найду.

Буков посмотрел майору в глаза и сказал обнадеживающе:

— И найдете. Честное слово, найдете! Это же сколько раз такое бывало, и находили.

Но о себе Буков так не думал, не надеялся, что найдет

Люду. Ведь у него документ — полученное письмо. В нем он и носит при себе карточку Люды. Это все, что осталось у него в память о ней на дальнейшую его жизнь.

Когда старый двухбашенный танк Т-26, имеющий только пулеметное вооружение, прорывался из окруженного СПАМа, сержант Люда Густова получила ранение. Она попала в госпиталь вместе с политруком Зоей Карониной. Выписали их почти одновременно и демобилизовали.

Люда была родом из старинного приморского города, стоявшего на берегу Азовского моря.

И хотя Люда видела на фронте, в какие развалины обращали фашисты наши города отступая, — представить себе, что то же случилось с ее родным городом, она не могла, не хотела.

Малорослая, но широкоплечая, с округлым лицом и чуть вздернутым подбородком, сверкая серыми в золотистую крапинку глазами, она убеждала Каронину, обращаясь, как положено в армии.

— Товарищ политрук, — говорила Люда, — вы просто вообразить себе не можете, какая у нас красота. У всех сады. Весной город — сплошной букет. А море? Все Черное хвалят, а наше недооценивают. Но оно самое лучшее, тепленькое, и рыбы столько!.. Пойдем на водную станцию — ребята все спортивные, у многих лодки, вежливо приглашают. И хулиганов совсем немного. Население у нас какое? Одни на металлургическом заводе работают, другие — на машиностроительном. Это главные жители. Объявится негодный — прижмут почище милиции. Парк культуры у нас особенный. Вечером все жители там. И между заводами дружба. Металлургический завод машиностроительный обслуживает — взаимодействуют. Приезжих у нас мало, все свои. Идешь по улице, словно по коридору коммунальной квартиры: «Здрасьте! Здрасьте!» — сплошные знакомые. Вот увидите, ничего не вру. И папа будет рад, квартира у нас замечательная, в новом доме, с балконом. Он и спит на балконе летом на раскладушке. Но если вам захочется с видом на море, он во всем добрый, уступит.

Каронина слушала молча. Люда несколько выставила вперед свой задорно вздернутый подбородок и твердо объявила:

— Не хотите, тогда я к вам поеду, но от себя никуда не отпущу, пока не буду уверена, что вы нормально благо-

устроились. — Напомнила: — Теперь мы гражданские, и я вам вовсе не подчиненная, запретить не можете.

Каронина сказала:

— Хорошо, я довезу тебя до твоего дома, а там посмотрим. — И попросила: — Больше по званию ко мне не обращай, и вообще, сколько тебе лет?

— Двадцатый пошел! — сказала со вздохом Люда.

— А мне двадцать два.

— Ой, — удивилась Люда, — а я думала, вы уже пожилая.

— Значит, говорить мне «вы» надо отставить.

— Есть, отставить! — радостно согласилась Люда. Спросила деловито: — Ты когда-нибудь перманент делала? Говорят, можно на целых полгода завиться. Давай попросим. Приедем красивыми фронтовичками, в кудрях.

— Ты — пожалуйста.

— Одна я не согласна. Если нафасониться, то вместе...

Люда немного хитрила с Карониной, притворяясь беспечной простушкой, на самом деле она вовсе не была такой. Ее беспокоило, что Зоя Каронина в госпитале как-то размякла, опустилась, стала даже одеваться неряшливо, хотя после ампутации одной руки могла вполне свободно управляться так, чтобы выглядеть прибранной, аккуратной. И рассуждения ее не нравились Люде.

— Ноги у меня целые, — с усмешкой говорила Зоя. — Значит, нет существенных препятствий для замужества, но на черта мне замуж? — Кивнула на култышку: — Вот с такой вывеской на жалость?

— Во-первых, — перебила ее Люда, — ты можешь протез нацепить. Посторонним совсем незаметно, а для главного человека вовсе не имеет значения, одна рука у тебя или две. По быту мужчина может всему наловчиться. Мы в своей семье, например, давно без матери живем, и папа все умеет лучше всякой женщины. И авторитет его от этого не страдал, хотя на заводе все знали, что он стирает, и гладит, и сам всю квартиру в чистоте содержит. Тебя общественность высоко поставит; кроме того, ты сама по себе красивая, и все неженатые будут только в серьезных целях за тобой ухаживать. Вот увидишь, как паилучшие мужчины начнут с полным уважением в тебя влюбляться.

— Не нужно все это мне, не нужно. Сдохла во мне женщина, поняла?

— Живой человек, а так ненормально рассуждаешь, — упрекнула Люда. — Сколько наших товарищей погибших считали бы за счастье хоть без рук или без ног, но остат-

ся живыми. Зайди в палату тяжелораненых, сильно изувеченных: тренируются с протезами, готовятся к гражданской жизни. Профессии себе подбирают по возможностям. — Потупившись, шепотом произнесла: — У меня ранение невидное, а что врач сказал: «Хочешь иметь ребенка — отдохнешь полгода, ложись снова на операцию». Вот я и нацеливаюсь: поправлюсь как следует дома, и пускай режут на всякий случай. Действительно, вдруг замуж выскочу, а тут такое препятствие, надо резаться. Без ребенка мне замуж выходить неинтересно. После больницы подберу себе подходящего и выйду за него.

— А Буков?

— Можно и за него, — согласилась Люда. — Но твердо не обещаю. Вдруг получше человек встретится, планировать всего нельзя.

— Говоришь так, будто все в жизни тебе просто и ясно!

— Я, Зочка, так считаю: когда кругом у людей столько горя, добавлять его от себя ни к чему.

— Ну хорошо, — покорно согласилась Каронина, согласилась только для того, чтобы больше не говорить об этом...

Каронина — ленинградка, отец ее — художник-реставратор. Он возвращал жизнь творениям старых мастеров, не находя в современной живописи ничего равного их искусству. Зоя училась рисованию не по влечению: так хотел отец. Сам он, воинственно восхваляя великое искусство прошлого, стыдливо робел, когда брался за кисть. Ни одна из картин, задуманных им, не была закончена. Сотни эскизов — только следы отчаянного недоверия к себе. Внешность его была привлекательна: рослый, с правильными чертами крупного, мужественного лица, освещенного добрыми, женственными глазами.

Женился он рано, не по любви, а скорее из деликатности, на некрасивой, но пламенно в него влюбленной дочери учителя живописи, которого он почитал.

Женившись, послушно подчинился супруге и был предан ей, испытывая благодарность за то, что она смирилась с тем, что он не гений, а всего только скромный реставратор.

Зое с детства отец пытался внушить преклонение перед великими произведениями искусства, учил понимать их.

Он хотел, чтобы город, где она родилась, стал в глазах девочки музеем зодчества. При ней почтительно снимал шляпу, проходя мимо здания, построенного великим архитектором прошлого.

Его взгляды на искусство считались отсталыми и даже

«реакционными». Но Каронина не «прорабатывали». Дело в том, что, будучи еще студентом, он добровольно пошел в отряд красногвардейцев, сражался против Юденича и на фронте был ранен. В Петрограде после госпиталя он выступил на собрании левых художников, где сказал:

— Революция отдает народу все достояние человеческого гения, а вы хотите подсунуть людям поспешные изделия воспаленного самолюбия, пользуетесь бурей революции, чтобы ваши шатания приняли как изображение самой революции.

Каронина привлекли к работе в комиссии, назначение которой было отбирать в Государственный музейный фонд ценнейшие произведения искусства.

Кто-то пустил слух, что он служит в Чека. Одни художники перестали с ним здороваться, другие стали искательны, разговаривали подобострастно. Жена потребовала, чтобы он ушел из комиссии. Он отказался.

Иностранные дипломаты скупали по дешевке драгоценные картины, нанимали подлецов, которые поверх старинных полотен что-нибудь малевали, а затем эти загримированные полотна вывозились за рубеж.

Чекисты обратились к Каронину с просьбой помочь им обнаруживать подлинные художественные ценности. Теперь уже всем знакомым Карониных стало известно, что он работает в Чека. Каронин и не скрывал этого. Он даже соглашался присутствовать на обысках. И когда обнаружил приклеенное к днищу чемодана, наскоро подмалеванное полотно Ватто, был так возмущен этим кощунством, что яростно потребовал:

— За такое варварство нужно сажать в тюрьму!

Это восклицание многие его коллеги запомнили.

И когда он снова начал писать, каждая его работа встречалась молчанием. Нашлись такие, кто предупреждал: хвалить Каронина означает лакейски услужить властям, а порицать — большой риск.

Каронин воспринял этот заговор молчания как деликатный приговор его дарованию.

В работе реставратора он находил наслаждение и скорбное самоуничижение.

Урицкий несколько раз приезжал к нему на квартиру и, словно производя бесцеремонный обыск, выволакивал на свет его незавершенные полотна.

— Вас надо отдать под суд, Каронин, — говорил он сердито, — за пренебрежение к дарованию, которое не является вашей личной собственностью. Мы найдем масте-

ров, которые займются восстановлением старых картин. Вам надо писать самому! Великая французская революция породила великих художников — берите пример с них. Поедем на Путиловский — пишите рабочих, красногвардейцев. Пишите храбро, революция — это мужество, держание во всем. Какого черта вы робеете!

— Я только самонадеянный маляр, — нервно потирая руки и ежась, бормотал Каронин. — Маляр со вкусом, но без искры божьей.

— А это что? — негодуяще протянул руку Урицкий. — Это же лицо человека, о котором скажут: «Да, они были как тени, но дела их были как скалы». Глаза, глаза человеческие.

— Над глазами я поработал. Глаза приблизительно у меня получились, — шурился Каронин.

— Мы сделаем выставку ваших работ!

— Прошу. — Каронин прижал ладони к груди. — Умоляю, только не это.

— Почему?

— Люди, которых я чту, будут справедливо ругать мои работы.

— И отлично! Если с профессиональных позиций. Нам нужен серьезный разговор об искусстве.

— Но почему я должен стать жертвой?

— Вы для кого же писали?

— Для себя, — с достоинством сказал Каронин. — Только для себя.

— Искусство мертво, если оно обращено только к одному или даже к немногим.

— Возьмите себе этот портрет, — предложил Каронин. — И уверяю вас, когда вы внимательно его рассмотрите, вы обнаружите все слабости рисунка.

— И возьму, — сказал Урицкий. — Уверен, мое мнение останется неизменным. Я позвоню вам и одновременно договорюсь с Петросоветом о выставке ваших полотен.

Урицкий не позвонил...

Каронин написал портрет этого большевика. Только лицо его — гневное, страдающее, полное муки и борения, освещенное надеждой. Даже те, кто враждебно относился к Каронину, признавали, что это «очень сильное полотно».

Но тесть, старый художник, сказал:

— Ты вот что, мой милый, эта твоя работа великолепна, ошеломительна. И скажу еще: она яростная. Взывает к мести. Иначе говоря, к поддержке красного террора. А искусство должно призывать к доброте, к гуманизму. Но

не к месту. Я понимаю, убийство Урицкого — подлость. Но мы, живописцы, можем истолковать этот твой портрет не только как благородный, с твоей стороны, политический жест в сторону большевиков, но и как авторское самораскрытие, — мол, вы меня не признаете, а я вот какой...

Тесть кивнул на портрет:

— Программно, но нескромно, вызывающе.

Тесть хитрил. Он искренне восхищался картиной, но понимал: если она будет выставлена, этот откровенный политический шаг зытя в сторону большевиков может повредить ему самому, его репутации патриарха — академика, стоящего вне политики. Он извлекал из этого своего положения немалые выгоды, ибо власти относились к нему с бережной почтительностью, а в зарубежных журналах имя его упоминалось, как и до революции, уважительно.

Упрек в нескромности подействовал угнетающе на Каронина. Он убрал картину и больше никому ее не показывал.

Зоя любила отца, но чем больше понимала, тем сильнее росло в ней чувство протеста против его слабодушия, робости, неуверенности в себе.

Это чувство протеста привело к тому, что она бросила школу живописи. Поступила на завод, стала секретарем цеховой комсомольской организации. Дома она вела себя вызывающе, курила.

Она не могла простить отцу того, что он, бывший красногвардеец, превратился, как она говорила ему, в обывателя. По настоянию матери отец пошел служить экспертом в антикварный магазин. Было тут и уязвленное самолюбие, — теперь приходилось писать в анкетах: дочь служащего в антиквариате. Отец, бросив работу живописца, подал заявление о выходе из объединения художников. И протестовал, когда его называли художником. Здесь он проявил твердость.

Когда Зоя пришла домой и объявила, что уезжает на фронт, хотя пока ее еще только зачислили в учебную зенитно-артиллерийскую часть, мать зарыдала, ей стало плохо, начался сердечный приступ.

Отец сказал Зое виновато:

— Это естественно, она же мать. — Потом робко дотронулся до руки дочери: — Я, конечно, не имею права давать тебе советы, у меня такой ничтожный военный опыт... Но на фронте полагаются специальные лопатки с короткой удобной ручкой... Пожалуйста, прошу, это, кажется, даже рекомендуется инструкцией, прикрывать себя лопатой вот

так. — Отец показал рукой. — Вот все, о чем я тебя прошу. Ты не забудешь?

Дочь прижалась к дряблой щеке отца и заплакала, задыхаясь от нежности и жалости.

Каронин предложил свои услуги в качестве художника для маскировки исторических зданий Ленинграда. Он принес в Ленсовет ветхий мандат чекиста, подписанный Урицким, хотя в этом не было необходимости. Он создавал эскизы маскировки и осуществлял их вместе с малярами, работая на лесах или в люльке, подвешенной на тросах. В начале блокады жена эвакуировалась. Он стал донором, паек донора отдавал тестю. Вскоре истощенный организм уже не мог соответствовать требованиям, предъявляемым к донорам.

Он писал дочери веселые письма, юмористически описывая, как он в мамином фартуке стряпает себе еду.

Каронин помог соседке отвезти на Пискаревское кладбище труп ее мужа. И там сказал, слабо усмехаясь: «Извините, я вас обратно проводить не смогу». Сел на снежный бугор и устало махнул рукой...

Извещение о смерти отца Каронина получила, находясь в госпитале. Тяжело было слушать Зое восторженные рассказы Люды Густовой об отце, которого она ласково называла Егорычем, так любовно звали Густова все старые рабочие на заводе, подчеркивая этим свою почтительность к его мастерству.

11

Платон Егорович Густов работал на прокатном стане. Работал изящно и грациозно. Как бы обвивая самого себя раскаленными до прозрачности стальными полосами. В его руках они казались нежно-гибкими, легкими лентами, не страшными, не жгучими, а послушными, как у фокусника на цирковой арене.

Он был коренаст, тяжел в плечах.

Увсисстые, грубо кованые клещи обретали в его руках невесомость, и, когда полосы не было, ожидая ее, он пощелкивал клещами, как парикмахер ножницами. Потом хватал полосу как бы за шиворот, оборачивал ее в воздухе полунетлей и небрежно, будто снисходительно, направлял обратно в вальцы, словно балуясь, играя с ней, дрессируя ее, изнуряя ее в этой игре так, что она на глазах тощала, вытягиваясь, угасала, пропитываясь мраком увядания сво-

его убойного жара, и шелуха окалин осыпалась с нее, как серая чешуя.

Он мягко и беззвучно ступал по металлическому полу в своих войлочных бахилах. Спецовка плотно, спортивно обтягивала его фигуру — обдуманное щегольство прокатчика, — чтобы ни одной складкой не зацепиться о полосу. Лицо его по-курортному смугло от жара раскаленной стали.

Когда он работал, на лице его всегда было самоуглубленное выражение упоенного увлечения. Оно было добрым, озабоченным, счастливым, если стан тянул нормально. Полосы хорошо разогреты и поступали ритмично. И, повинаясь этому ритму, он наращивал темп, своими плавными, грациозными движениями усиливая ложное впечатление от, казалось бы, беспечной легкости труда, завораживающего тех, кто смотрел, как он работает.

Когда смена кончалась, он как бы пробуждался неохотно от сна, в котором человек обретает забвение от всех тягот, и брел уже тяжелой шаркающей, усталой походкой в раздевалку.

Принимал душ. Под дробной струей душа мускулы его шевелились, как живые, сильные существа. Приглаживал волосы у тусклого от пара зеркала и выходил из цеха одетый так, как одевались в ту пору ответственные работники, ибо прокатчик Платон Егорович Густов был членом бюро райкома, членом городского Совета и многих других общественных организаций.

Ночью, возвращаясь с работы, он разувался в прихожей и в одних носках, чтобы не будить дочь, пробирался к столу, где еще немалое время работал, разбирая разные заявления и просьбы.

С детства Люда привыкла к тому, что отец разговаривает с ней, как с равной.

Однажды он сказал ей как бы вскользь и нерешительно:

— Тут одна гражданка с нами вместе жить не возражала бы, приличная женщина, в возрасте и вдова. — Помолчал, добавил тихо: — Говорит, детей любит, — и вопросительно покосился на дочь.

— А чего же она тогда себе ребенка не завела?

— Не довелось...

— А тебя она любит?

— Мне главное — ты.

— Мне она не нужна, тебе она нужна. Так, пожалуйста...

— Ну что ж, значит, обойдемся, — сказал отец. Поло-

жил руку на голову Люды, сказал твердо: — Значит, этот весь наш разговор ни к чему. Не было нашего разговора и больше не будет.

Люда заплакала и стала просить:

— Папа, женись.

— Ты меня не сватай, — рассердился отец. — Растешь без матери. Моя ответственность. Вот и думал: может, пожелаешь. А мне она на черта, я старый. И твоей матери все равно бы портрет со стенки не снял, он у меня вон где. — И отец положил руку на грудной карман кителя. Добавил глухо: — На всю жизнь.

Жили Густовы в так называемом «новом доме».

Серый дощатый заводской забор, булыжная мостовая, бурые бревенчатые хибары, и среди них кирпичный четырехэтажный дом — первая жилая постройка первого года пятилетки.

Дом поставили напротив мартеновского цеха, и трубы его быстро закоптили едким ржавым дымом стены «нового дома». Через несколько месяцев он уже не выглядел новым.

Но когда въезжали, был митинг. Играл духовой оркестр. Ключи вручал жильцам секретарь горкома партии. Вручал торжественно, словно это были не ключи, а ордена.

Каждый кандидат на получение площади придирчиво и страстно обсуждался в течение многих месяцев на всех ступенях партийных, профсоюзных и общественных организаций. Получить жилье в «новом доме» считалось не только высокой пожизненной наградой; само собой разумелось, что каждый жилец «нового дома», ошастливленный жилплощадью, будет являть образец «нового человека», и это особо подчеркивалось на митинге всеми выступавшими.

Квартирки были крохотные, с дощатыми полами, двери и рамы на окнах окрашены темной коричневой краской. Дом имел водопровод, канализацию и, что по тем временам считалось роскошью, ванны с колонками.

Правда, некоторые жильцы высказывали пожелание расширить кухню за счет ванной комнаты, но таких упрекали в оппортунизме, в тяготении к пережиткам прошлого, хотя и соглашались с тем, что ванна — роскошь не по времени. Но поскольку ванна утверждает сегодня приметы нового быта, не исключено, что она, эта примета, возможно, в будущем станет достоянием многих трудящихся. Но вместе с тем многие тогда думали, что такие фантастические посулы — типичное пустозвонство.

Большинство семей получили не квартиры в «новом доме», а только по комнате на семью.

Поскольку сюда вселялись лучшие люди завода, еще долгие годы за обитателями сохранилось уважительное звание жильцов «нового дома».

И даже после того, как построили уже с десятков заводских домов, много лучше, их не называли почтительно — «новыми», сохраняя этот высокий титул только за старым «новым домом», первым жилым домом первой пятилетки.

Когда Густовы въехали в «новый дом», отец печально сказал дочери:

— Нет с нами матери, никогда она хозяйкой никакого жилья не была. То в бараке жили, то угол снимали, то в землянке. А смотри, чего нам правительство отвалило — со всеми мыслимыми удобствами. Будь с нами мать, как бы она тут царствовала! На фронте я ее руками обстиранный, обштопанный был. За справный вид командиром эскадрона назначили. Она же мне розетку под орден смастерила собственноручно. Ордена мы тогда не очень понимали, даже критически некоторые относились, вроде как возвращение к старорежимному обычаю. Кто предпочитал в награду маузер получить, или шашку с именной бляшкой, или комплект кожаного обмундирования — по желанию можно было выбрать. А розеточку ее под орден я особо в бою чувствовал, вроде талисмана. Считал, раз Анюта ее над сердцем пришила, должен я ей себя доказывать. — Потупившись, произнес скорбно: — Очень она перед всеми бойцами извинялась, что понесла, забеременела то есть. Время ответственное, а мы себе позволили, когда каждый боец на счету. Я, конечно, в бою оправдался как мог, за двоих. Наверное, мне орден из-за нее и дали. Я счастливый с Анютой был, война совсем незаметной казалась. Очухаюсь после боя — и все. При ней мое счастье выше бровей было. Все ж таки задело Анюту пулей залетной, ну и того. Возможно, сын бы получился. Потеряли мы сына. Ну потом уж ты... девчонка.

— Я же не виновата, — сказала Люда, — что я, просилась?

— Я просто так, только констатирую, — неловко поправился отец. — Это до революции было обидно, а теперь ничего, берут девок на производство куда хочешь. Только вашу сестру в горячие цеха не пускают. Тут вам предел, ничего не попишешь. И при дальнейшем, я полагаю, тоже не пустят.

— А я вот захочу, — твердо заявила дочь.

— Ты меня не перебивай, ты слушай, расчувствовался на жилплощади, хочу, чтоб ты эту жилплощадь как следует оценила, поняла, как к ней добираться было. Вернулись мы с гражданской войны. Разруха, всем всего недостает, бедность, скудность. Завод не завод, а просто мастерская, четыре десятка в ней слесарничают, а у ворот сотни стоят с рассвета до сумерек, все равно как в стране капиталистической. Советская власть, а на хлеб людям не может дать заработать.

А на мне орден Боевого Красного Знамени, партиец, — значит, за все перед всеми людьми ответственный и виноватый. Мне льгота — с биржи труда на завод путевку сразу выдали, а другие, которые многосемейные, не воевали, месяцами ждут и никакой работы не получают. Идти, думаю, на завод с путевкой от биржи или не идти? Выходит, я за такую привилегию перед людьми воевал. Вернул путевку. Но в райкоме меня на место тогда поставили.

Восемь часов, как законное завоевание Советской власти, я согласно своей профессии в цеху отработывал. А остальное время, насколько хватало сил, на ремонте, на восстановлении. Спали в горячем цеху, поскольку там теплее. Талоны в столовую семьям отдавали, а сами что придется, главным образом картошку в шлаке пекли. Пофронтовому жили, равноправно. Поправился я душой. Вот, думаю, как коммунизм уже в людях отпечатался, а все ж щемит — гражданская жизнь, а, как на фронте, та же человеческая самоотверженность, только больше нехватки, чем на фронте, в продпитании и работа тяжелее, чем окопы рыть.

А тут вдруг нэп. Не понял я его вгорячах, огорчился. Как же, думаю, можно отступать при таком нашем народе?

— Ты что ж, Ленину не поверил? — враждебно спросила дочь.

Отец заморгал виновато, потом сказал укоризненно:

— Вот нашелся тогда один, пришел я к нему выложить смущение свое. А он ладонью по столу хлоп: «Клади партбилет, и все...»

— И правильно, — сказала дочь.

— Нет, неправильно, — сказал отец. — Товарищ Потопов, секретарь нашего райкома, самолично пришел ко мне, порылся в ящике, нашел именной мой браунинг, разобрал его на части, вынул боек, завернул в бумажку, спрятал себе в карман, потом браунинг собрал, уже без бойка, отдал, спросил: «Верно я тебя угадал?»

И стал воспитывать так, как никому я не позволял себя обзывать.

«Ты, — говорит, — буржуазии испугался, как последний цуцик. Ее временно допустили в нашей советской упряжке, пока у нас своего трактора нет. Когда на фронте коней не было, не стыдились пушки волочь на коровах. Это что, по-твоему, означало: Красная Армия на коровью тягу решила на все времена перейти? Да хоть верблюда запряги, лишь бы орудие к бою подвезть».

Вот, значит, как Потапов меня жучил. Спустя некоторое время боек от браунинга отдал, а потом погнал учиться в партийную школу.

В тот день, когда Владимира Ильича не стало, ходил я по улицам как чумной, нараспашку, шапку в руках держал, не смел на башку надеть.

Но партия не слезой о Ленине спаялась, а его твердостью.

Время было встревоженное. Ленина нет. Пытались партию шатать. Мы на собрании большинством голосов принимаем резолюцию. По обычаю партии воля большинства — закон. А они против. Против чего? Против партии! Выходит, своя фракция им партии дороже. Взбесившиеся леваки требуют, чтобы наш народ с еще не засохшей кровью в мировую революцию кидали. Так и орали: либо мировая, либо смерть. А революция для хорошей жизни людей делается, а вовсе не для их гибели. А правые рахитики желали, чтобы мы все свои завоевания уступили и своей, и мировой буржуазии, лишь бы выжить.

— Ну, это как в политграмоте, — сказала небрежно дочь.

Кто бы ни был человек — чернорабочий или сам заместитель наркома, Платон Егорович Густов держался со всеми людьми одинаково, словно не желая утруждать себя особым подходом к каждому, — мол, все равны, только с одного спросу меньше, а с другого больше.

На завод пришло пополнение из деревни, были тут всякие.

Наблюдая за ними, Густов, вспоминая, рассказывал товарищам:

— Во время гражданской мы мужиков на ходу мобилизовывали. А они вот как себя повели: поснимали со своих винтовок плоские австрийские штыки, прятали, чтобы после на хозяйственные ножи переделать, из патронов

порох себе в рукавицы отсыпали, те, кто бывшие охотники, хоть под трибунал гони. Выдали им новое обмундирование. По боевой обстановке надо заболоченную речушку форсировать. Командую. Не идут! Жмутся! Голос потерял, с наганом на них кидаясь. Гляжу, что такое? Раздеваются, и каждый свою обмундировку в аккуратную кучку складывает. Разделись, в одном исподнем реку форсировали и беляков из траншей выбили. Одержали победу. Прибыл командир полка из бывших прапорщиков, приказывает: собирай свою гвардию, оглашу приказ от командарма с благодарностью. Кинулся я, а гвардии моей нет, траншеи пустые.

Это что же? Массовое дезертирство! Мне за такое упущение — вышка. Сдаю личное оружие комполка, опасаясь — стукнет, а приговор после оформит. Озираюсь в последний раз на природу взглянуть. Что такое? Мои топают, вброд обратно обмундирование свернутое на вытянутых руках несут. Перешли, стали наряжаться. Комполка мне: «Вот, — говорит, — какой народ у нас еще темный». А мне они, как солнце, светятся, идут, заправочку делают, обмундировка чистая, незамазанная.

Вот тебе и мужик-собственник. Да такой народ за свою собственную, Советскую державу, за каждую ее былинку какую хочешь силу своротит. Надо только, чтобы окончательно осознал: он державы собственник. А были, конечно, такие, кто по своей непреодолимой злой тупости считал: раз в кулаке зажато, значит, свое, оно ему выше всего на свете. Эти хлеб в ямах гноили. Желали республику голодом сморить. Но я сейчас не о них, а вот про мою деревенскую гвардию. И что ты думаешь? Его на смерть в бою ранят, а он из последних сил ползет, чтобы винтовку враг не взял. Волочит винтовку, сдает санитару.

Были и такие: выпрашивали у санитаров побольше медикаментов, будто для себя, а на самом деле коню или у легкораненых на табак бинты выменивали тоже для коня, поврежденного в бою. Безлошадный — это уже не кавалерия, а пехота. Для нас кавалерия в гражданской считалась как теперь мотомеханизированная часть — пробивная сила. Когда фуража не было, хлебную пайку коню скормливали. И в обозе с собой тащили всякий металл после боя. Деревня обезжелезела. А комиссар им обещал после победы. «Сохи, — говорил, — сожжем в кострах, как наследие прошлого. Будут плуги. Плуг, он даже эмблемой был как мечта социализма. Чтобы человек из тяжелого прошлого на

свет вылутился, его надо мечтой обогреть надежной, безобманной. Тогда он фигура».

И наши эти, деревенские, — может, кто от коллективизации по своей отсталости на завод сбежал, так наша забота ему сознание осветить по-родственному. Рабочий класс от мужицкого корня пошел, это и в истории человечества записано. Родня!

Когда обтирщик Дрыгин попался на хищении проволоки, которую он наматывал себе под рубаху на голое тело, чтобы незаметно вынести с завода, Густов спросил его ровным, без всякого гнева голосом:

— Это ты зачем? На толкучке продать?

— Не, домой. Проволока-то гвоздевая.

— Выходит, в деревне гвоздей нет?

— Ты что, не знаешь?

— Думал, теперь гвозди будут.

— Откуда это будут?

— Правильно, не будут. Тут один тоже вроде тебя нашелся — спер с гвоздильного станка зубила. Получился простой. Сорок пудов гвоздей в деревню недодали.

— Сорок пудов? — изумился Дрыгин. — Так за такое башку проломить.

— Зубила не дороже твоего мотка проволоки.

— А что, мне на ней теперь повеситься?

Густов сказал миролюбиво:

— Сядем, покурим, я тебе расскажу. Был совестливый мужик, доверила ему барыня-помещица деньги сдать по адресу. А он деньги потерял. Пошел в конюшню и на вожжах повесился.

— Ну и дурак! Деньги-то все равно грабленные. Сбежал бы куда от тюрьмы и все.

— А свои деревенские его вором посчитали б.

— Ну и что?

— Как что? Пахаря — вором, трудящегося. Вот он, чтобы опровергнуть такое, и повесился.

Обтирщик вздрогнул:

— На что толкаешь?..

— Ты-то вешаться не захочешь!

— Да ты что?

— Ничего, так только, на себя прикидываю. Молодым был, знаешь, тоже того... Весь эскадрон на седлах. А подомной подушка, пером набитая, на веревочной подпруге. Как в бой, так смех — перья летят, срам. По слабодушию запасное седло у артиллеристов маханул. Сижу на нем, а заду нехорошо, совестно, как на горячей печке. Решил,

подкину обратно. Понес и на хозяина седла напоролся. Он так порешил: «Калечить тебя не буду собственноручно. Но при всем эскадроне ты это седло к ногам моего коня положи. Пусть эскадрон тебя судит».

Тут беляки полезли, хозяин седла меня в этом бою своим конем оттеснял — оберегал, чтобы я от эскадронного суда не ушел по причине гибели в схватке с противником.

Обсуждали меня со всех сторон. Все вытерпел. Помилывали — и в шорники. Конское снаряжение чинить, латать.

Платон Егорович вздохнул:

— Никому не рассказывал, а тебе себя выдал. — Заключение решительно: — Вот тебе мой совет, парень. Будет собрание цеха, положи ты эту проволоку перед людьми, пусть обсудят.

— Лучше домзак, чем такое.

— Значит, душонка у тебя хилая, как у мыши, людей боишься.

— Сам пойду в милицию.

— А там кто? В милиции бывшие заводские, только что в шинелях.

На цеховом собрании Густов сказал:

— Ну все! Повинился. Ладно. Но на этом не точка. А мы кому повинимся? Проволочно-тянульные станки брак гонят, а бракодел — тот же вор. И надо брак не в вагранку сразу тащить, а как улику против бракодела выставить в цеху.

Сотруднику наркомата Гаврилову, который посетил завод с целой свитой сопровождающих лиц, Густов сказал хмуро:

— Футеровку для печей из-за границы завозим, дорогие деньги платим, а она плывет. Руку вы Ефимову жали за то, что он в неостывшей печи аварийный свод залатал. А зря он вам ее подал. Сырья, говорите, подходящего нет для огнеупора. А вы к кустарям-гончарам ходили, глядели, из чего они посуду стряпают? Ведь не плывет на самом сильном огне, не лопается. Значит, надо на местном материале цех огнеупоров ставить.

— Вы все-таки, товарищ, из рамок не выходите, — посоветовал Густову один из сопровождающих.

— А ты мои рамки знаешь? Вон они — весь завод и за забором тоже, со всеми окрестностями. — Обращаясь к работнику наркомата, добавил: — В силовой котельной мы кирпичи огнеупорные пекли на пробу, не корежались, не

текут. Я их две штуки в посылке отправил товарищу Орджоникидзе. — Спросил укоризненно: — Что ж ты, Геннадий, когда туго было, догадался на пушечное сало протухшую свинину перетопить, обеспечил артиллеристов. А теперь шарики в голове не вертятся, заржавели.

— Позвольте, — порозовел лицом Гаврилов, — так вы из сто шестнадцатого?

— Хорошо, что номер полка еще помнишь.

— Я вечером к вам обязательно зайду.

— Куда?

— Домой, если пригласите.

— В котельную, а потом что ж, можно и ко мне...

И хотя никакой особой такой властью Платон Егорович не обладал, любое должностное лицо, как бы оно высоко поставлено ни было, чувствовало себя зависимым перед этим твердым, основательным рабочим человеком. Дать указание такому мастеру, постигшему все тонкости своего дела, мог только тот, кто сам, собственноручно познал все эти тонкости. А он, Платон Егорович, мог независимо указывать должностному лицу по линии тех сокровенных знаний, которых он достиг. Над каждым должностным лицом есть еще другие лица, еще более высокие. А среди прокатчиков Густов почитался лучшим. Бог в своем деле. Выше и мастеровитей его пока не было.

На каждом производстве есть свои знаменитые, выдающиеся личности. В мартеновском цехе такой знаменитостью был Ефимов. А кто Ефимов по должности? Ремонтник-каменщик. Но когда он из огнеупорного кирпича возводил свод, по сравнению с этим сводом картинная мозаика могла показаться грубой работой, его кладка огнеупоров выглядела так, будто свод литой либо вырезанный из монолита, гладкий, словно чаша фаянсового купола изнутри.

Должность директора на заводе — самая высокая должность. Но когда Ефимов работал в каменной глубине пещеры мартеновской печи, директор, понимая свою полную зависимость от Ефимова, утром шел сначала не к себе в кабинет, а в мартеновский цех и там, присев у печи, говорил бодро:

— Привет Мартыну Флегонтовичу.

— Здорово! — гулко отвечала печь.

Директор знал: эта душевная зарядка нужна Ефимову, знал, что это человек мнительный, нервный и, когда рас-

страивался, даже из-за пустяка, требовал дать ему наряд на самую простую работу. А от ответственной отказывался до тех пор, пока не приходил в норму.

Были на заводе токари высшего разряда, они брезговали брать заготовки из тех, что могли обрабатывать станочники низкого разряда. И хоть это отзывалось на их кармане, выжидали, пока попадут поковки или литье сложных конфигураций, требующих для обработки ума, опыта, выдумки.

Люди эти привередливо и даже иногда кичливо и капризно оберегали свое высокое звание, но понимающий заводской народ считал такое их поведение вполне обоснованным: настоящий мастер должен соблюдать этикет, должен высоко держать свою личную рабочую марку.

Среди подобных сановитых умельцев Платон Егорович Густов пользовался особым уважением. Каждый раз, когда администрация предприятия в жажде шумной славы назначала день рекорда производительности по прокату и обеспечивала все условия Густову, чтобы он этот рекорд побил, тот, убедившись, что все подготовлено для него наилучшим образом, ставил к стану подручного, а сам занимал его место. Говорил, ухмыляясь, начальнику цеха:

— Если б не такое полное обеспечение, ставить Леньку еще погодил бы. А теперь ему в самый раз. — Шурился насмешливо: — Правильная инициатива нашего руководства, умная. Возможно, теперь Ленька норму и даст.

Директору завода он сказал:

— Кто славу не любит? Я первый обожаю. Но не скороспелую, с одного дня добытую. — Потом заметил иронически: — Подкинули швеллер катать простого профиля, чтобы только больше пудов металла дать.

— По весу показатели.

— Тогда Леньку после смены на склад свожу: если он больше меня на весах тянет, пусть останется прокатчиком, а я при нем подручным останусь...

На старом стане Густов изо дня в день давал полторы нормы проката сложных профилей — не больше и не меньше. И ни одной штуки, прожеванной вальцами, скрученной, сваленной на брак у стены цеха.

Уходя после смены, Густов всегда искоса бросал тревожный взгляд туда, куда сваливали брак, хотя твердо помнил счет прокатным штукам. Как все истинные мастера, он был мнителен. И окончательное душевное спокойствие обретал только тогда, когда видел, что вагонетка под скрап укатывала от его стана пустой.

Среди пассажиров вагона, в котором оказались сержант Люда Густова и политрук Зоя Каронина, военных было мало.

Точнее, были военные, но демобилизованные после госпиталя или вызванные с фронта на работу по гражданским специальностям.

Демобилизованные по инвалидности тщательно сохраняли свое армейское обличье, держались своей компании. Проводницы относились к ним с подчеркнутым вниманием. Помощник военного коменданта пришел самолично проверить, чтобы все они были обеспечены нижними полками, сказал:

— Сухие пайки на дорогу по аттестатам доставят прямо в вагон.

Что касается вызванных с фронта на работу, то одеты они были уже не по форме — у кого гражданское пальто вместо шинели, поверх гимнастерки пиджак, вместо пилотки кепка. Чувствовали они себя здесь как-то неловко, хотя на некоторых наборы орденов и медалей были весьма внушительные. Эти заняли либо вторые, либо третьи полки, хотя еще несколько нижних оставались свободными.

Привилегированные госпитальные радушно и приветливо встретили политрука Каронину, предложили ей место на выбор, помогли снять заплечный вещмешок. И даже хотели дать команду, чтобы вагон стал некурящим. Зоя была для них своя.

Худенькая, с суровыми, чуть ли не в пол-лица серо-синими глазами и вздернутым плечом, с пустым рукавом гимнастерки, Каронина вызывала у них не только чувство законного уважения. Они ухаживали за ней не просто как за своим товарищем по беде, но при этом еще подвергали себя тайной проверке, могут ли они понравиться женщине или не могут. Что касается Люды, то, поскольку все у нее было на месте, в наличии, и цвет лица не по-госпитальному цветущий, к ней отнеслись сдержанней, как к человеку хоть и приятному для компании, но все-таки несколько постороннему.

Каждый из этих людей старался доказать Каронинной, что его увечье не столь существенно. Однорукий, зажав в коленях банку с консервами, ловко вспарывал ее ножом, другой ускакал без костылей за чайником к проводницам, третий, с черной повязкой на глазах, повернув к окну лицо, говорил уверенно:

— Эти места, где мы сейчас проезжаем, наилучшие в России, славятся своими лесами...

А широкоплечий, с могучей шеей и обритой головой, еле доставая на своих обрубках подбородком до откидного столика, сказал благодушно о том солдате, который ушел за чайником:

— Видали, какой фокстрот без костыля отплясывает, ухажер. Осиротели без него связистки.

Заявил вызывающе:

— То, что я перед вами как лилипут сейчас стою, это не моя фигура, во мне метр девяносто был, но уполовинился; как сяду напротив вас, убедитесь: мужчина я видный, солидный, внушительный, выучусь, допустим, на бухгалтера, грозой буду. Характер у меня твердый, зря своей подписи никому, даже самому высокому начальству, не дам выпросить. У меня финансовая дисциплина будет не хуже, чем во взводе. Старшиной на противотанковой батарее служил, все передо мной трепетали. Командир, юноша с кубарями, и тот иначе как по имени-отчеству ко мне не обращался. — Приподнялся на руках, уселся на лавку и оказался действительно грузным, величественного сложения человеком, с тяжелым, прочным, властным лицом. Сообщил строго: — Жену я о своем положении письменно не информировал. Она у меня ко всему послушная. Мы, шахтеры, народ твердый, подземный, а я еще в спасателях служил. Бывали моменты, по несколько суток на-гора не вылазишь. У ствола все семейства топчутся. А я своей не велел показываться. Жди дома. Или сам приду, или люди скажут. Тогда убивайся, как положено, а зря не смей, не имеешь такого права, раз жена шахтера. Приучил — отвыкла. И тут скажу: цыц, главное, что живой, руки и башка при себе. Могу и в диспетчеры попроситься. Шахту я свою наизусть знаю. Буду по всем каналам связи, сидя в кресле, командовать. Народ меня помнит, уважает мой голос. На критику я силен был. Я самому Орджоникидзе в Кремле сказал: «За орден спасибо, а вот крепежного леса дают недостаточно, и нестандартный он, в отходы много древесины уходит. Мы, конечно, ими дома отапливаем по дешевке, но за свое народное хозяйство обидно».

Произнес печально:

— Конечно, фашист шахты покалечил, затопил, стволы порушил. Но те, кто на фронте остался, они его проучат, накажут. Мне за конечности свои не обидно. Мне за себя обидно, что я его еще собственноручно недостаточно приложил. Полез он танками на батарею, я засуетился, забеспо-

коился. кинулся за противотанковыми минами, четыре штуки прихватил, швыряю их поштучно под ходовую часть. А он по мне из пулемета. Ну и срезал обе ноги. А мне бы из щели кидать, — правда, для замаха пространство сужено, зато безопасность. Не обеспечил себе позицию, вот и выбыл из строя досрочно...

Сержант Люда Густова уже привыкла в госпитале к нарочитой мужественной бодрости тяжелораненых, к нетерпеливому беспокойству тех, кто рассчитывал вернуться к прежнему мирному своему труду. «С виду как будто все зажило, — тревожно говорил кто-нибудь из них. — Нигде не ноет, но чувствительность будто не та, сила есть, но ловкости еще незаметно. — И с надеждой спрашивал каждого: — Как ты думаешь, еще разомнется, не откажет?» Спрашивал так, будто ему возвращали вещь после ремонта, некогда испорченную не по его вине.

И так как перед хирургами стояла задача не просто спасти жизнь, а по возможности вернуть трудоспособность, раненые после того, как убеждались, что выживут, советовались с хирургами, просились частенько снова на стол, лишь бы получилось в конце концов все как следует, хотя бы с третьего раза, но чтоб уже надежно.

Один из госпитальных демобилизованных все время мял в руке черный тугой резиновый мяч, приучая пальцы к труду; другой уходил в тамбур, будто покурить, и там, воровато оглянувшись, опираясь о трясущуюся стенку вагона, начинал поспешно приседать, бледнея и соня от боли.

Отозванные с фронта держались своей компании, и в поспешности, с какой они нашли нужным сочетать штатскую одежду с военным обмундированием, была как бы демонстрация покорности приказу, по которому их отчислили, и одновременно недовольство.

— Генерал предлагает: «Садитесь», — говорил соседу по полке чернявый, со злым суховатым лицом, в офицерском кителе и широких в полоску брюках, вправленных в разношенные брезентовые сапоги. — А я стою перед ним как истукан по команде «Смирно» и не желаю. Он мне тогда вопрос врезывает: «Как вы подкалиберный, а также кумулятивный снаряд оцениваете?» Я напрямую: «Если бы таким боеприпасом с начала войны по танкам фашистским били, поломали бы им технику. Сильный снаряд, много в него инженерного ума вложено».

«Правильно. К войне надо готовиться заблаговременно. А к послевоенной обстановке?»

Понимаю: ловит. Докладываю:

«Если я как командир батареи был на уровне, зачем же обратно переквалифицировать?»

Он:

«Вы огневик?»

«Точно».

«Вот вас в горячий цех к мартену и возвращают».

«Я своих орудий в бою не терял. Нету за мной такой задолженности».

«Ваш завод немцы при отступлении взорвали».

«Знаю. Поэтому и намерен в Берлине им из своих орудий высказать свое недовольство».

«А завод взорванный так и будет кучей лежать?»

«Пусть его из личного состава той дивизии восстанавливают, которая фронта там не удержала».

«Вы что ж, полагаете, победа — это только фашистскую армию разбить? Победа может быть только тогда полная, если из войны мы выйдем не слабее, чем были, а сильнее. И это будет от вас зависеть, от таких, как вы».

Я свое ломлю:

«Разрешите довоевать».

«А я-то полагал, что у вас рабочая сознательность на высоте».

Прижал он меня. Свис я, отбыл из части. Ребятам из своего расчета в глаза не мог смотреть, когда прощался. А тут меня уполномоченный совсем огорчил: профиль завода намечают не оборонный, на сельхозмашиностроение нацеливают, по-довоенному. Списали меня, как говорится, вчистую, на полную гражданку. А дистанция до Берлина еще какая — пулять и пулять.

— Значит, есть чем и кому, если отчислили, — сказал сосед. — Без угля и металла жизни людям не построить.

— Больно ты сознательный, — огрызнулся чернявый.

— Такой, как и ты, только про свою личную обиду не рассуждаю на людях. Про себя переживаю.

— Ага, переживаешь!

— Без этого нельзя, человек не чурка.

Когда сталевар узнал у Люды, откуда она родом и ее фамилию, лицо его приняло выражение почтительности.

— Я вашего папашу знаю, Платона Егоровича. Мне мой горновой о нем даже на фронт в письме писал. Платон Егорович со своими ребятами вальцы от стана и электромоторы в земле зарыл, уберег от немцев, а себя выдал за чернорабочего, а когда донесли, что он знатный да еще

прокатчик, в тюрьму забрали. Потом, когда немцы полцеха восстановили, вышел все ж на работу и сильно им вредил.

В этом деле ему консультацию давал Евгений Порфирьевич Rogozin. Он по делу о вредителях еще в начале тридцатых годов привлекался, за недостаточей улики был отпущен, но просидел по следствию порядочно. На Советскую власть сильно сердит был. Немцы его уважали. А он их не признавал. Вел себя с ними дерзко. Но они его терпели.

Вот ваш папаша вечером к нему как-то зашел, будто по делу, и попросил, чтобы он весь свой опыт по линии вредительства выложил. Тот ему клянется, божится, что идейным, правильно, врагом был, но сам ничего по линии производства не портил, только когда люди по неопытности, по незнанию инженерному не так делали, он им не препятствовал, не поправлял, не отсоветовал, — мол, вы хозяева, ну и зашивайтесь. Папаша ваш, понятно, ему не верит. Спорили, пока Rogozin по всем пунктам возможным технологию вредительства не разработал. И чтобы он после не выдал, Платон Егорович под всеми его расчетами убедительно попросил автограф оставить. В случае чего — прямая улика.

Значит, сначала на этот крючок подцепил, а потом вовлек. И когда немцы, а там у них спецы были крупновские, разгадали всю их механику, на порчу продукции рассчитанную, хотели схватить, не получилось. Папаша ваш в партизаны ушел и Rogozina с собой увел. Их обоих наши на самолете сначала в Москву вывезли, а потом на поезде в Челябинск. И теперь их обратно эвакуировали, на восстановление. От завода ничего не осталось, немцы на завод эшелон взрывчатки истратили, развалили вчистую. Завод, где я работал, поцелее вашего будет. Воздушный десант на него наши бросили, в цехах до подхода главных сил бились, сильно поломать не допустили. — Сказал просительно: — Вы бы своему папаше, может, намекнули бы, у нас прокатный стан мощнее и поновее и вентиляция в цеху лучше, можем жилплощадью обеспечить. Ежели предпочитает индивидуальное строение, соберу бывших фронтовиков, из уважения, на выбор капитально отремонтируем.

— Вы что, — возмутилась Люда, — хотите папу переманить с его завода?

— Так у него же сейчас завода нет!

— А у вас он что, есть?

— Сегодня нет, а скоро будет работать на полную

мощность. Думаешь, зря с фронта лучших людей на него послали? Командование знает, какой завод важнее. На вас не шлют, а на мой шлют и, заметь, самых геройских.

— Это вроде вас, что ли? — сощурилась Люда.

— А что, вот погляди. — Сталевар распахнул китель, с изнанки которого была приколотая Золотая Звезда Героя.

— Чего же вы прячете?

— Наружу мне ее носить по штатному теперешнему моему положению преждевременно. Вот выдам первую плавку полновесную, тогда вот он я весь, в наличии.

— Принципиальный!

— А как же!

Люда, приветливо улыбаясь, посоветовала:

— А может, вы бы к папе заехали погостить.

— Это чтобы уговорить?

— Если понравится, у нас на заводе останетесь.

— Вербуешь?

— Нет, это я просто так, — смутилась Люда.

— Может, приглянулся гвардеец! А что? Холостой, пригодный.

— Очень вы мне нужны, — возмутилась Люда, — я нахальных презираю.

— Это я в бою только нахальный, а так смирный.

— Привыкли там со связистками, а я вам не связистка. В артиллерии служила.

— Извиняюсь, какой же у вас калибр?

— Сначала тридцать семь, а потом семьдесят шесть.

— Это уже ничего, хотя против моих гаубиц — игрушки.

— Ну да, — заносчиво сказала Люда. — Орудие у вас тяжелое, зато вам воевать легче было: от переднего края подальше.

— Ты вот что, — зловеще произнес сталевар, — ты хоть и сержантша, но по мне ракеты не пускай. Обижусь, скоманую «Кругом арш», и весь наш разговор окончен, с офицером разговариваешь.

Люда машинально вытянулась, лицо обрело привычно послушное выражение, сказала тихо:

— Виновата, товарищ старший лейтенант.

— Какой я тебе лейтенант! — сокрушенно махнул рукой сталевар. — Был лейтенант, да весь вышел. — Помолчал, добавил: — Ты прости, забылся, допустил невежливость. — Вдохнул: — А глаза у тебя, знаешь, запоминающиеся, с искрой, может, адресок мой запишешь?

Люда сказала рассудительно:

— Это только незнакомым бойцам на фронт девушки письма пишут, я сама от одной получила. «Товарищ незнакомый, но дорогой мне боец». Гражданским девушки просто так не пишут.

— От вас действительно теперь не дожدهшься, — печально сказал сталевар. — Героям тыла такого почета нет. Придется мне самому тебе чего-нибудь написать.

— Вы бы лучше с моим отцом переписку наладили, — посоветовала Люда. — Вам он чего-нибудь полезное подскажет. Мартеновский цех у нас свой есть.

— Был.

— Нет, есть, — твердо сказала Люда и добавила не столь уже уверенно: — И не хуже вашего.

Отозванные с фронта на работу в тылу разговаривали между собой так, будто никогда военными не были.

— Насчет скрапа обеспечение полное. Металлолому навалено всюду до черта. Хорошо бы у армейских хотя бы трофейный транспорт выпросить. Им — все. А на заводе — конские дворы. Шихту на грабарках завозят.

— С блиндажных накатов кругляк извлекли на крепеж, но коротковат он, саперы без ума резали, только на перекрытие. Если б стандарт соблюдали, получилось бы и для обороны и потом для труда шахтерского. По-рабочему воевать надо было, с соображением.

— Фашисты хотели доменный цех восстановить. За-везли фурмы своего производства, но поставить не успели. Наши этим фурмам обрадовались — заграничные! Вмонтировали, печь задули, а фурмы плывут. В чем дело? Металл — дерьмо. А вот огнеупор у них подходящий, на каждом кирпиче, как на шоколаде, клеймо, не эрзац какой-нибудь.

Слушать такие рассуждения Густовой было неинтересно, хотя она и понимала, что люди толкуют сейчас о том, что стало сейчас главным в их новой, неармейской жизни. Она больше прислушивалась к тому, о чем разговаривают одноногий майор с Карониной.

Майор — человек лет тридцати, — по суждению Люды, значит, уже пожилой. Он смотрел на Каронину нежно, но, пожалуй, со слишком откровенным восхищением, говорил ничего, красиво, и на бледном госпитальном лице его выступили красные нервные пятна.

— Взять хотя бы слепок с вашей руки, отлить из белого металла и на грубом куске гранита положить, как скорбный

символ беззаветной жертвенности, необратимости того, что отдано. Просто, величественно и душевно.

«А что, действительно. Здорово получилось бы, — думала Люда. — Темный, корявый камень, и на нем серебряная женская рука. Только надо, чтобы не как в парикмахерской на витрине дамская восковая лежит, будто дохлая, а с зажатым ТТ...»

Майор продолжал одушевленно:

— У Пьера Ампа читали. Художник снял на прощание с груди любимой слепок. Потом обратил его в форму для флакона драгоценных духов. И они всегда напоминали ему об утрате.

— Ну и хам этот ваш художник, — вмешалась Люда, возмущенная тем, что Каронина, опустив глаза, машинально трогает пуговицы у себя на гимнастерке и молчит, вместо того чтобы одернуть майора. — Даже, может, этот художник фашист, который в лагерях на кожгалантерею с людей кожу спускал.

Майор сказал снисходительно:

— Молодец, сержант! Боевой товарищ. — Встал и, опираясь на костыль, предложил Карониной: — Пойдемте в тамбур, здесь так накурено, хоть противогаз надевай.

Ночью Каронина разбудила Люду:

— Я на следующей станции сойду. — И, целуя в висок, торопливо, шепотом объяснила: — У него никого нет, у меня тоже. В конце концов, что ж. Поможем друг другу.

— То есть как это, а я? — с негодованием спросила Люда. — Это он тебе такое внушил?

— Тихо, пожалуйста, не шуми.

— Эй, майор, — позвала Люда, слезая с полки, и крикнула на весь вагон: — Товарищи, кто этого майора знает?

— Ну чего орешь? — спросил боец с повязкой на глазах, бессонно сидящий у окна. — Я с ним с одного артдивизиона.

— Женатый?

— Не. Чистенький. С денежным аттестатом неувязка получилась, не жене своей послал, а по другому женскому адресу. Собственная кинулась в развод. Он не возражал — пожалуйста. Теперь сирота.

— Так я за него замуж пойду, — звонко заявила Люда. Спросила, глядя в глаза майора: — Ну, берете с ходу?

— Что за балаган вы здесь устраиваете? — холодно осведомился майор.

— А что? Не нравлюсь? А она нравится? — кивнула на

Зою. — С одного взгляда — и на всю жизнь. Так у ней, может, муж есть.

— Странно! — пожал плечами майор. — Зачем же было обманывать?

— Ага! — торжествующе воскликнула Люда. — Значит, мне поверили, а ей уже нет. Вот как у вас «с одного взгляда» получается!

Поезд замедлял ход, скрипя тормозами.

Майор спросил вежливо Карошину:

— Вы, кажется, хотели... на этой станции?

Майор вышел с вещевым мешком за спиной, плечи его были высоко задраны костылями.

— М-да,— сказал кто-то. — Такие дела. С миноискателем по всей жизни не пройти. Он только на фронте обесценивает.

— Закуривайте! Табак оттягивает.

Карошина затянулась и произнесла вызывающе:

— Ушел жених, а?

— Ушел! Выдержанный, воспитание проявил. Слов лишних себе не позволил. Очень почтительно вам поклонился. Вроде как ничего особенного, а губы трясутся, как у контуженого.

Поезд медленно уходил от перрона, постепенно набирая скорость.

Вдруг закричала истонно проводница. И потом в вагон приковылял майор. Голова в крови, бриджи на колене разорваны, так же как и китель. Весь бок в сыром песке, в пятнах мазута. Култышка трепыхается в подвернутой штанине, словно кошка в мешке. Но на лице улыбка.

Медленно произнес, преодолевая судорожное дыхание:

— Представьте! Чуть было не отстал от поезда.

— Он на костылях догонял вприпрыжку, костыль сломался. Так он за подножку уцепился. Волочился, вот-вот под самые колеса. Я кричу: «Отцепись! Зарежет!» А он ну как сумасшедший, лямки на вещмешке лопнули, имущество сыплется, а он все держится. А потом все-таки влез,— причитала проводница. — Ну что ж это такое за безобразие! Нужно же с нервами других считаться!

— Я хочу о своем аттестате объяснить, внести ясность,— твердо сказал майор. — Я его послал действительно не жене, а другой женщине. — Обернувшись к слепому бойцу, спросил: — Ты Сухова помнишь?

— А как же, это который на себя огонь вашей батареи вызвал?

— Вот, его жене.

Людя, отвернувшись, заплакала.

— Ну, чего ревешь? Чего переживаешь? Не под колесами он, в целости.

— Подружка-то теперь уйдет с майором. Факт!

— А ты как думал! Доказал свое.

— Смотри, как при нем засветилась.

— Пошли, ребята, в тамбур, покурим. Печего тут, не театр.

На следующей остановке Каронина и майор сошли с поезда. Майор говорил, прощаясь:

— Счастливого пути, товарищи. А вам я особенно признателен, — сказал майор Люде. — Если б не ваша решительность...

— Только вы имейте в виду, — пригрозила Люда. — Она все равно лучше вас раз в тысячу.

— Я убежден в этом, — с улыбкой проговорил майор.

Каронина рассеянно поцеловала Люду, оглядываясь на майора, беспокоясь, как он удерживается на одной ноге без ее помощи.

Когда поезд тронулся, Люда уселась у окна, будто ей так уж интересно было смотреть на темные полустанки, бомбовые воронки, заполненные черной водой, обвалившиеся траншеи, подобные длинным могилам.

В вагоне пассажиры говорили раздумчиво, вполголоса, под грохот колес.

— В бою до потери всего человеческого сатанеешь, а после боя любой свой тебе как родня. Закурить — пожалуйста. Из кисета последний табачок в бумажку вытрясешь и не жалеешь для другого, хоть он даже и не из твоей части.

— Обратался народ в войне, это точно.

— Правильно! Как было? Человек в соседнем доме живет, а тебе он незнакомый. А тут тысячи со всех концов и республик на фронте сдружились. И от каждого, каждого жизнь может вся зависеть. Понимать надо!

— Вон видал как? Он один, она одна. А вдвоем они сила. В одиночку человеку оставаться нигде нельзя, ни в тылу, ни на фронте. Он ничего, этот майор, и она тоже. Решительные товарищи. Такие и в бою не капитулируют, чтобы лишнее время в прикрытии отсидеться.

— Смелость и на гражданскую жизнь нужна, трусил бы кто из них, заколебался в доверии, ну и все. Он в одну сторону, она — в другую.

— Все ж рискованно поступила, можно и жизнь себе поломать, мало ли что случается, если промахнешься. Могли бы и присмотреться подольше.

— Ничего, втянутся, в нашем огневом расчете народ попадал со всячинкой, а как обвоевались — одна семья. А тут чего? Всего двое — приживутся на всю свою жизнь с хвостиком, дети пойдут, они главная спайка.

У Люды было тоскливо на сердце. Обидно ей было, что вот так вроде бездушно Зоя Каронина покинула ее и ушла с первым встречным. Может, это просто из гордости, оттого что Люда так навязчиво заботилась о ней. А Зоя сама хотела заботиться о ком-нибудь, как всегда заботилась о девчатах-зенитчицах, и от этого все считали Каронину старшей не только по званию. Но про любовь Каронина говорила с девушками, как о дисциплинарном проступке, так, словно любовь — нарушение воинского устава. И Степу Букова она перед женским строем батареи срамила, будто он дезертир какой, и все оттого, что на батарею часто ходит. Конечно, Степа не умел так разговаривать, как этот майор. Придет, попросит лопату, окоп на полный профиль углубит и ступеньки в окоп досками обложит. Объясняет: чтобы не ушиблись, ногу не свихнули — просто так в окоп прыгать опасно. И на каблучки ее сапог сделал подковки с шипами. Чтобы в слякоть не скользко было.

И когда женский расчет после стирки белье свое вывешивал сушить, он в ту сторону, где белье висело, глаза повести стеснялся, не то что этот майор хвалил Карониной художника, который модель для флаконов так бесстыже придумал. А Каронина его слушала и хоть бы что. Но про руку он ничего говорил, красиво.

Степа на памятник погибшим зенитчицам прикатил лафет от стопятидесятимиллиметрового миномета и на нем медную звезду напаял — вырезал из снарядной гильзы. Его просили цветок из этой же меди вырезать и тоже припаять хотя бы с краю. Отказался. Верно, оттого, что Каронина, когда он букет принес, носком сапога в этот букет толкала, отчитывая за то, что он как тыловик себя ведет. И он ей поверил, что цветы ни к чему. Как политруку поверил.

И прощался он с Людой совсем вяло, даже инициативы не проявил, чтобы поцеловать на прощание. Говорили, все оставшиеся в СПАМе погибли. Должно быть, он тоже погиб. Хорошо, что она сама его в щеку чмокнула. А он от нее шарахнулся, будто укусила. И все смеялись. Конечно, майор тоже ничего. Он на Каронину смотрел так, словно когда прожектор светит в лицо и ты будто падаешь в его свет, как в небо. И говорил он с ней радостно, словно

опьянел... И ни разу в вагоне лекарство против боли в култышке не принимал, позабыл про лекарство.

Возможно, бывает, что любовь человека сразу осветит. Ну и пусть, если так случилось с Карониной. Пойдут вместе до самого конца жизни. А вот ей самой не с кем. Да она и не нуждается, самостоятельно проживет. Отец после смерти мамы не женился. И она может считать себя верной Степе Букову и поэтому будет держаться гордо, независимо. И отец будет доволен: он из-за нее не женился, а она из-за него замуж не пойдет. И даже к нему в цех на прокатку попросится. И никто не откажет фронтовичке. Что же это, воевать — так пожалуйста, а в горячий цех — нет?

От этих мыслей тайное чувство зависти к Зое Карониной, столь быстро обретшей свое счастье, гасло так же, как и обида на нее: ведь Каронина, забывшись в своей радости, не оставила адреса, по которому ей могла бы написать Люда.

13

Отец сказал Люде:

— Здорово, сержант! — и протянул руку так, будто она ему не родная дочь и не с фронта вернулась, а вроде встретил свою, заводскую, и снисходительно с ней здоровается.

Отца сопровождали комендант вокзала и милиционер.

— Вот, значит, прибыла! — только и сказал отец. И когда комендант хотел любезно взять у Люды из рук чемодан, отстранил его: — Не требуется, сами справимся. — Потом тем же неприязненным тоном стал выговаривать: — И вы это бросьте словами отпираться: «Вокзал не ночлежка». Людям деваться некуда. Значит, что следует? Поставьте топчаны, оформите под общежитие — и каждому талон. При выдаче талона пусть заполняют справку, кто в чем нуждается. Сводку — в исполком. Разберем по силам-возможностям. Административный порядок в заботе о людях придуман, а не для их притеснения. Каждый человек — фигура. Значит, обставьте его полным уважением личности. Колесный транспорт, чей бы ни был, если порожний, обязан людей в город доставлять. Идут по шоссе с вещами, мимо них водители, как фрицы, катят.

— Ясно, Платон Егорович! — произнес комендант. — Примем меры.

— Ну, все. Пошли, — сказал Густов дочери. И когда они вышли на вокзальную площадь, отец вдруг ослаб,

опустил прямо в лужу чемодан, притянул жадно дочь к себе и силно произнес: — Девулечка моя, Людок. Живая, а?

Лицо отца, только что сердитое, жесткое и даже высокомерное, обмякло. Фуражка с матерчатым козырьком сползла набок, глаза приняли жалкое, робкое выражение, и он лепетал, нутаясь в словах:

— Смотрю — фронтовик на костылях, а вдруг ты? Мне что? Все равно какая. А ей, думаю, как дальше жить? На-страиваюсь браво встретить, сразу с маху вида не показать, не расстроить...

— Ну, а у тебя как? Все хорошо?

— Что я? Партизанил маленько. На Урале металл давал, сколько фронту требовалось. Вернулся, думал, обратно к себе на завод, а его нету, завода, развалины. Все равно как после гражданской, и даже хуже. Стали восс-та-навливать. Там бы мне и место по старой памяти. Но избрали в исполком. На должность за все ответчиком. Людям к кому идти со всем своим горем, бедами? К Советской власти. Днем по городу мотаемся, ночью заседа-ем. — Произнес вдруг растерянно: — А жилья-то у меня нет, одна раскладушка в исполкоме. — И тут же хлопнул себя по лбу обрадованно. — Мы вот что сделаем... Попро-симся в общежитие номер семь. Я там из кладовки одну семью выселил, поскольку в незаконном складском помеще-нии людей держать нельзя. Достал им ордер в отре-монтированный дом. А кладовка ничего, сухая, теплая. Устрою временно, а там видно будет.

Отец странно лебезил перед кособокой старухой ко-мендантшей, обещая сегодня же вселение дочери оформить документом, и сам расстелил постельный комплект. Стару-ха сердито говорила звонким, молодым голосом:

— Ты, Платон Егорович, водопровод обещал. А где он? Люди после работы с ведрами к колонке ходят.

— Так ведь заминка получилась, — оправдывался отец. — Стали копать траншею для укладки труб, а там авиабомба, зарывшись как свинья, лежит. Звали минеров, а они не идут, пока территорию котельного до конца не очистят.

— Минеров! — презрительно сказала старуха. — В от-ряде сами справлялись, и не то что занал вывинтить, тол в кадушках из бомб вытапливали, справлялись. И ничего. Где лежит? — грозно осведомилась комендантша. — Сама схожу.

— Не выйдет, — начальственно пробасил Густов. — Гражданских запрещено допускать.

— Это кем еще запрещено?

— Постановлением горисполкома. И на том точка.

Командантша, хлопнув дверью, ушла.

Отец сказал уважительно:

— Фрося у нас специалист по взрывчатке была, фашистские эшелоны валила под откос ловко. А теперь вот командантша.

Произнес опечаленно:

— Фросе тридцати нет. В гестано разделади. Живого места не оставили. Нарочно в общежитие определил, чтобы все время на людях была. Она лаборантка, химик. Но, полагаю, подальше ей нужно от своих специй... Лицо-то ее паяльной лампой фашисты сожгли. А было как у тебя. — Помолчал и добавил: — Приучать к жизни надо, да разве только ее...

Сел на койку, закурил и вдруг заявил с воодушевлением:

— На днях прокатный будем пускать. Сортамент какой? Думаешь, оборонный? Самый гражданский. Швеллер для строительства, трубы для коммунального хозяйства. Валки с прокатных станов мы увезти не успели, в землю зарыли. Теперь выкопали, все в сохранности. А почему? А потому, когда фашисты людей терзали, казнили, они не выдали, где валки, смолчали. — Вдохнул: — И кто теперь на таком стане будет работать, понимать душой должен: каждый валок жизнь человеческую в себе обессмертил. Мы портреты замученных в прокатном цеху поместим, чтобы под их надзором люди работали. — Спросил, посветлев: — Ты Егудова помнишь? Ко всем всегда с шуточками. Так он и перед смертью фашистов обшутил, обманул. Привел их на очистное поле, куда стоки поступают, водил, водил, потом указывает: «Тут электромоторы со станов захоронены. Ваш верх. Ищите». А сам хорошо, гордо помер. Ребром лопаты, как топором на длинной ручке, рубил их по чем придется. Сразили его из автоматов, сразу, без мук, насмерть... — Произнес озабоченно: — Производство, оно как фронт — туда все в первую очередь. А на мне баня сколько висела, как укор людской. Котлы достать никак не мог для парового отопления. Убедил танкистов, приволокли они мне паровоз, который мы с путей свалили, когда партизанили. Отремонтировал. Поставил во дворе бани, трубы подключил. Не то что отопление, сухой пар для парной исключительный. Кастрюль для столовых не было. Со сбитых самолетов фашистских металл собрал — наштамповали. Со стеклом беда. Окна фанерой заделаны. Ну, велел со всех

теплиц стекло снять и в дома вставить. Все отходы в столовых на учет взял — свинарники, крольчатники чтобы при каждой.

С моряками-тральщиками у меня договор. Мы им на базе кино обеспечиваем, самодеятельность, а они нас рыбой, с каждой подорванной мины — сто килограммов, такая норма. — Усмехнулся: — Так они стали выявленные мины теперь на рыбные места буксировать, там рвут, где добычливее. И все чайки морские теперь дрессированные, умные, как собаки: завидят мину на плаву, над ней кружат, орут. Вроде как тральщику сигналият. И потом за ним летят. Рванут мину — тут им пир.

Мыловаренный завод наладил. Фашисты целый эшелон цистерн с растительным маслом не смогли вывезти. Масло испортилось. Но на мыло — вполне. Частично на олифу пустил, ржавые кровли на домах спасать надо.

Интернатских одели. В хорошее, суконное. БУ у моряков забрал. Они заводских попросили содействие оказать по линии ремонта катеров. Ну, я тут как Советская власть потребовал — оплата натурой. Их интендант возражал: армейское имущество.

Ну, я разъяснил, напомнил, почему у ребят матерей, отцов нет, стукнул по совести. Договорились. А потом интендант ко мне в исполком заходит, говорит: «Транспортное немецкое затонувшее судно подняли, идет очистка помещений. Рекомендую, чтобы вы своим городским транспортом мусор с него на свалку сами вывезли. Мы, конечно, вам за это заплатим по акту». Думаю, чего это он так многозначительно просит. Пошел к причалу. А там кучи мокрых тюфяков, одеял, постельного белья навалом лежат. Все понятно. Забрал, высушил. Укомплектовал интернаты, рабочие общежития и даже кое-что дополнительно по промтоварным карточкам населению выдал. За войну народ обносился — имущество растерял; с одного централизованного снабжения полностью не обеспечишь.

Люде странно было слушать эти рассуждения отца, словно навсегда запомнявшего, что когда-то он с такой гордостью любил повторять:

— Мое жизненное назначение — металл катать. Тут я ответчик, тут я при своем уме нахожусь, а за все другое пускай каждый на своем месте суетится.

И пока Густов сидел, разговаривал с дочерью, несколько раз заходили в общежитие люди, вызвав местонахождение

ние Платона Егоровича. Просили кому-то там дать указание, подписать бумаги, требовали, чтобы он тут же ответил, где достать тес на решетовку. Спрашивали, можно ли окрасить школьные парты охрой, которую отпустили для покраски полов.

Платон Егорович на мгновение задумывался, отвечал:

— Тес пойдет с заборов. Он хоть и старый, но свезите на шпалопропиточный, там обработают, будет надежней нового. Парты красить надо в веселый цвет, зеленый. В ремонтно-механическом есть, им военное ведомство отпустило на окраску техники: сейчас дело к зиме, зеленое только демаскирует. Столярку, которая остается после разборки зданий, сортировать и пустить по дешевым ценам в продажу населению, чтобы умелые руки могли себе домашний ремонт произвести, так же со всей арматурой поступить: петли, дверные ручки, шпингалеты и прочее...

Когда Люда заявила, что завтра же пойдет на завод, отец только спросил:

— Здоровье после госпиталя позволяет? — И тут же произнес горестно: — Я туда теперь хожу только как вымогатель. Чуть что — товарищи, подсобите. Куда кинешься? Завод, он все может. У людей выпрашиваю, так кое-что займы без отдачи. Прихожу, скажем, в литейный: выручайте для сантехники. Чугунные сифоны требуются, раковины. Люди желают умыться по-культурному, а не во дворе из рукомойников. Поддержите городскую власть, сами же выбирали. Остаются после смены. А раковины не снаряды, чтобы без отдыха для них собой жертвовать. — Вздохнул. — В прокатный заходишь — одно расстройство. Каждый при себе, при своем деле...

Отец посидел, отошел, от былой его сановитости знатного мастера ничего не осталось.

— Выше бровей суматохой завален, — жаловался он дочери. — Город прибрать, хозяйство его наладить, нет семейства, чтобы без горя. Молчат, терпят.

Горсовет, конечно, власть. А суть ее в том, чтобы никаким обстоятельствам не подчиняться. Крутись, вертись — обеспечить людей обязан.

Скажем, в магазинах мяса много испорченного списывают. В чем дело? Холодильников нет. Туда-сюда — нету. Я на бойню. Выяснил, поставляют мясо сначала на базу. Неправильно, говорю, давайте, чтобы сразу в магазин. А на чем? Транспорта нет! Как нет? Вон быки, не всех забивайте. На них возите, чтобы парное мясо сразу на прилавок.

Идешь по улице и, как сыщик, по сторонам смотришь. Освещение еще недостаточное, а жители ставнями закрываются. Обошел квартиры, убедил: из окон дополнительный свет — проходим удобство. И веселее улицы стали. Смотришь на ноги людям, галоши хлопают, износились. Договорился с вулканизаторами в автобазе — повесили дополнительно вывеску: «Заливка галош».

Картошку нам завезли, теперь без карточек можно.

Наладили на улице торговлю котлетами картофельными горячими. Керогазы на заводе сделали. Ателье открыл починки, чистки одежды. Город у нас районного масштаба и сильно фашистами порушен. Не один он такой, тысячи. Автобусы мы первыми в области пустили. Обшили восемь грузовиков фанерой, скамьи поставили, маршрутные таблицы на борта повесили — ездят.

Когда Люда спросила отца, за какой подвиг ему дали Героя Советского Союза, отец сказал нехотя:

— Я же личный оныт войны имел еще с гражданской... Беспокоили фашистов в тылу, по старой манере. На аэродром к ним прямо на конях заскочили. За это двоих посмертно наградили. — Произнес застенчиво: — Звезда Героя меня теперь, конечно, сильно выручает. Людям бывает охота меня за всякие недостатки правильно обругать. Сдерживаются. А на ком душу отвести, спрашивается, если не на мне?

Вот ванны я из дома помер шесть по улице Чехова временно забрал и в больницу отправил. А там в двух квартирах инвалиды Отечественной войны. Дали мне духу законно. На полную катушку высказались. Потом стали извиняться. Нет, говорю, зачем же? Все правильно. Надо было мне сначала лично разведку произвести. И только после этого решение принимать. Не по-фронтовому поступил. Надо было вам душ наладить и только тогда ванны забрать. Когда обругали, тогда сообразил, что душевую арматуру брать не следовало. Подмахнул бумажку, а в существо не вдумался.

Отец потер ладонями лицо, теперь уже не такое смуглое, как прежде от горячего металла. Произнес задумчиво:

— Я как раньше считал? Власть — так давай команды. А выходит, все тобой командуют, каждой человеческой заботе ты подчиненный и перед каждым за нее ответчик. Исполком, — значит, исполняй все, что Советская власть для людей задумала... Руководитель! — Он произнес это слово медленно. Сощурился, сказал протяжно: — Первона-

чальный смысл, я полагаю, в том, что это был титул мастера — рабочего человека, который мог сам вещь производить и других обучать. Как, скажем, я в прокатном. А потом это слово обросло сильным весом в соответствии тому, как Маркс обещал, что у каждого из народов будет один и тот же властелин — труд. — И тут же, смутившись, извиняющимся тоном пояснил: — Эти слова я не из книги взял, из брошюры запомнил. Читать по всяким необходимым специальностям приходится. Допустим, складское дело. Я и не знал, что оно, такое дело, существует. А оказалось, целая наука, со своей технологией, правилами, системами. Да мало ли что приходится осмысливать! Металл катать — это же удовольствие. Ушел после смены, полная душе свобода, а здесь все население на тебе, не бригада какая-нибудь, в которой каждого все равно как родственника знаешь, все его повадки, манеры, мелкие нуждишки.

Тут другое: население, сильно нуждающееся, и во всем по-крупному. Дом культуры восстановили. В парке деревья фашисты вырубили — сажай новые. Не подвезти знакомого на своем мотоцикле, а всех надо городским транспортом обеспечить. Жилища давай — из ниоткуда, а стройматериалы добудь. Пригородные хозяйства — людей подкормить, помимо централизованного снабжения, — организуй так, чтобы и навоз был, когда скота нет. На полив пожарную машину гонял, а если бы что загорелось? Охотничью артель организовал, кабанов в плавнях били. Я их мясо на премии пустил тем, кто на заводе развалины разбирает. В мирное время таких норм не было, сколько в наряде выписывать человеку, который завалы разбирает; была статья — за уборку строительного мусора. А это не мусор, это хоть все взрывом разбито, покорежено, но при хозяйском, совестливом взгляде может частично снова в дело пойти. И главная наша наука — человекопонимание. Все люди разные, и у каждого своя боль, свои неприятности, свои беды, и каждый по своему характеру либо на тебя орет и нажимает, либо молчит, про себя терпит. И самые трудные такие вот молчаливо удрученные. Ты обязан таких разговорить с подходом особым и ничего никому не сулить зря, не утешать словесностью, а уж если сказал «да», то твердо выполни. И дело не в том, что ты человека ублажил, как он того заслуживает. По заслугам народа мы ему дать все положенное пока еще маломощны, да он и не жмет. Скажи «Нет!». Но сразу. Уйдет, конечно, сердитый, но необиженный. А вот когда только чтобы потянуть, отделаться,

только бы обещать, тут, если по-настоящему назвать, — эрзац, а не руководитель, подделка. Самая фальшивая и обманная. — Сказал с достоинством: — Меня почему пока на этом посту терпят? Слова «да» и «нет» твердо знаю. И держусь этих слов изо всех сил. Обещал полное снабжение молоком всех детских учреждений. По наличному количеству коров вроде получалось, а кормов не хватало, удои низкие. А к тому еще засуха. Беда! Голову ломаю, а тут как раз попросили меня перед бойцами выступить с воспоминаниями о гражданской войне. Пошел я в парткабинет, чтобы солидно, с цитатами речь получилась. Решил у Ленина выписывать, так, несколько для внушительности, а получилось — зачитался, и чего я там нашел! Владимир Ильич, между прочим, советовал ученым на сапропель внимание обратить — осадочный ил в водоемах. Оказывается, в нем полезные органические вещества, соли всякие, белки и прочее. Голод был тогда, приходилось выкручиваться. Ну я туда-сюда, водоемов у нас, лиманов, плавней предостаточно. Нашел людей с подходящими специальностями, начали добывать, перерабатывать, и что? Не только удои подняли, но и жирность, и сами коровы от этой добавки в корма стали бодрыми. Шкуры блестят, как все равно после летнего выпаса. А вот хотел бутылочный завод на производство оконного стекла толкнуть. Тут не получилось, и люди зря измучились. На самодельном оборудовании дело не пошло, как я ни жал. Так на исполкоме и доложил: не получилось. Расхитил рабочее время, материалы. Не вышло. Просил записать на меня как персонального ответчика...

Вздыхнул.

— Выходит, чем выше должность, тем ошибка у тебя по масштабам больше. — Усмехнулся: — У меня завсектором есть, так он всегда чем оправдывается? Я человек маленький, больших ошибок не делаю. Хитрячок! А у меня когда грех повиснет, думаешь, никакой работой его не списать, вот как с бутылочным заводом вышло. Конечно, с сапропелем получилось, тут я должен чуть, а вернул.

В каморку заглянул сотрудник исполкома, сказал:

— Платон Егорович, прораб говорит, если в дом по Пролетарской, шестнадцать, подвести на перекрытие первого этажа железные балки, то он еще простоит и даже надстройку можно произвести, а это дополнительных триста пятьдесят метров жилой площади. В порту лежат шпунты, занесенные песком, нельзя ли их взять на перекрытие?

— Я сейчас, я мигом! — засуетился Платон Егорович, велел дочери: — Ты тут разбирайся пока, а я через минут сорок обратно.

Но ни вечером, ни на следующий день Густов не зашел к дочери. В конторе Люде сказали:

— Пожалуйста, в любой цех, куда хочешь. Пройдись, сама выбери.

— Да что я, завода не знаю?

— Нет, ты все-таки пойди прикинь.

И когда Люда вышла из старого кирпичного здания конторы на заводской двор, она сразу поняла, почему ей так настойчиво советовали «пройтись» по заводу. Потому что завода не было. Не было завода, который она так же хорошо знала, как свой дом.

На тех местах, где раньше возвышались цехи, — нечто вроде скопища огромных шалашей. Там под самодельными кровлями работали люди в пещерных сумерках. А вокруг этих шалашей шло строительство, возводились несущие колонны, шла кладка стен, будто строители торопились спрятать все это, такое, какое оно сейчас есть, под сводами будущих цехов. Всюду лежали груды поверженных старых стен с торчащими прутами арматуры. И на этих кучах рабочие в спецовках металлистов били ломami, кувалдами камень, резали арматуру, выбирали кирпичи поцелее и складывали в сторонку в штабеля.

По заводскому двору пробирались тропинками среди завалов, как в ущельях. Литье и поковку из цеха в цех возили на тачках. Запорошенные известкой и кирпичной пылью, все тут были одинаковые, одного от другого не отличишь.

И когда один такой, со словно замураванным в кирпичной пыли лицом, спросил: «Ты в какой цех?» — Люда сказала:

— Хотелось бы в инструментальный.

— Так вот, перед тобой. — И он указал на возвышающуюся грудку развалин. Пояснил: — Все ваши после смены во втором механическом вкалывают. — Усмехнулся: — Каждый желает обеспечить себе побыстрее рабочее место в соответствии с разрядом и специальностью. Ну и жмут. — Крикнул: — Пташкин!

Пташкин оказался подростком.

— Ага, — сказал он, бегло взглянув на Люду. — Фронтотвичка? Становись тогда прямо на конвейер. — И указал

рукой туда, где люди, выстроившись цепью, передавали друг другу обломки и последний бросал их в грабарку.

Странно, но Люда не заметила ни у кого здесь ни угроженности, ни подавленности, а ведь это был тяжелый, грубый труд, и люди занимались им, уже отработав смену на производстве. И когда в том или ином месте, среди развалин, по их предположениям, должно было находиться какое-нибудь оборудование или станок, движения рабочих становились особенно осторожными, и всегда находился какой-нибудь прежний хозяин этого заводского имущества, который начинал главенствовать, командовать, чтобы как-нибудь ненароком здесь чего не повредить. Если все проходило удачно, люди радовались, словно обнаружили бесценный клад, который должен их обогатить на всю жизнь, а персональный владелец этого клада, забравшись на дно раскопок, вещал оттуда, сообщая либо веселым голосом, либо с некоторой скорбью, в каком состоянии находится его агрегат. Случалось, он потом по нескольку суток не покидал этого места, трудился, приводя в порядок свое сокровище, призвав иногда на помощь семейство из дому.

Люда работала здесь с таким рвением, с каким работают спасательные команды горняков, когда происходит завал в шахте и от каждого часа зависит жизнь тех, кто погребен под землей завалом. Вся разница была только в том, что спасали не людей, а заводское имущество, и, если оно оказывалось в целости, радовались так, словно спасли живое существо. Если же оборудование оказывалось безнадежно искалеченным, на лицах появлялось выражение жалости, и они высказывали соболезнование тем, кто на этом оборудовании прежде работал.

У извлеченного из-под обломков станка собирался обычно консилиум из самых опытных рабочих. А тот, кто прежде стоял у этого станка, бережно вытирал детали ветошью, словно врачую его раны, тревожно осведомлялся: ну как, пойдет? Он же не старый, 1938 года выпуска, он еще сколько дать может...

Это был всеобщий труд, азартная жажда вернуть заводу его прежний облик, сделать его таким, каким он был до своей гибели. Поэтому радовались даже найденному старому, помятому питьевому бачку и тут же во дворе завода выпрямляли, припаивали свернутый кран, чтобы этот старый бачок потом поставить на его старое место в цехе, где он стоял до войны.

В цехах, освобожденных от развалин и покрытых пока, как гигантские шалаши, низкими кровлями из досок, люди работали в сумерках. Слабосильные лампы висели почти над самыми лицами станочников. Электростанция работала на половинной мощности, и электроэнергии не хватало. Тяжелые отливки перекачивали на деревянных кругляках, словно на рольгангах, но только вручную, волокли отливки, обвязав толстым канатом, сами впрягались в канат, словно бурлаки.

Бесквартирные холостяки жили тут же, в цехе, установив топчаны у стены под косо уходящим сводом.

Там, где был бункер для всевозможного металлического скрапа, можно было видеть мастеров, бригадиров, которые копались в скрапе, как мусорщики, выискивая в металлоломе что-нибудь такое, что можно использовать для ремонта оборудования без особо сложных доделок, или просто подходящий металл.

Завалочная машина в мартеновском цехе была сильно повреждена. Бригада ремонтников еще возилась с ней. Мартеновщики заваливали печь вручную при помощи приспособления, подобного древнему тарану, который использовался в давние века воинами для пролома крепостных стен.

Но завод уже жил, работал, давал продукцию, и на Доске почета были вывешены нарисованные карандашом портреты тех, кто удостоился звания ударников: фотография еще в городе не работала.

И тут же висели обычные объявления о собраниях, о занятии музыкального кружка на щипковых инструментах. Стенгазета. Приказы с благодарностями и выговорами. Список новых книг, полученных заводской библиотекой.

Люда спустя несколько дней втянулась в эту столь обычную и вместе с тем совсем необычную заводскую жизнь. Ребята, которых она знала пионерами и к которым относилась свысока, теперь оказались над ней старшими, потому что имели разряды, специальности и были уже кадровыми рабочими с солидными манерами и повадками взрослых людей. А те, кого она считала пожилыми из-за разницы в несколько лет, приняли ее, как свою сверстницу. Те, кто знал ее девчонкой, говорили с ней, как с женщиной уже в возрасте. Вера Кузюрина, ее подруга по школе, ходила как-то странно скособочившись и, когда ее окликали, поворачивалась всем корпусом, шея ее всегда была замата-на шерстяным платком.

— Это чего ты так — голос бережешь? — спросила Люда, памятуя о том, что Кузюрина была солисткой в заводском хоре.

— Да, берегу, — сухо сказала Кузюрина.

А потом Люда узнала, что Кузюрину фашисты вешали, но она сорвалась с петли и, когда лежала на земле, в нее выстрелили. Но она из ямы выбралась и долго пряталась в грядирне, в туннеле пустого водостока.

Но Кузюрина по-прежнему выступала в хоре, и, хотя голос у нее был уже не тот, что до войны, каждый раз, когда она выходила из строя хора вперед, к рампе, чтобы солировать, весь зал вставал и аплодировал.

Мастер второго механического Геннадий Ананьевич Пухов партизанил с рыбаками — до войны он был большой любитель рыбной ловли, и рыбаки его хорошо знали. И то, что он партизанил с рыбаками, а не пошел с заводскими в подпольную организацию, ему до сих пор не могли простить. Придирались излишне на собраниях, говорили, что он «с подмоченным авторитетом», язвили.

Эшелон, в котором эвакуировались заводские, был разбомблен. Многие погибли; кому удалось добраться до Урала, работали на заводе-близнеце, цехи которого сами возвели на пустыре, когда прибыли на место. И это было гораздо тяжелее, чем сейчас восстанавливать свой завод, потому что жили в землянках, станки стояли прикрытые соломенными матами, а стужа была за тридцать, и металл лип к рукам, масло и эмульсия смерзались, и приходилось отогревать их.

Словом, заводские перенесли и испытали такое, после чего Люда уже не могла рассказывать про фронт, как она хотела, как она мечтала.

Но заводские оказывали фронтовичке особо внимательную уважительность, комсомольцы избрали Люду в бюро, и, хотя инструментальный цех, где она должна была работать, еще не был восстановлен, ее поставили к гвоздильному станку, в то время как многие станочники работали подсобниками. И когда она стала отказываться, парторг цеха Криночкин сказал ей строго:

— Ты вот что, Густова, засеки себе окончательно: собрание постановило, — значит, все. Здесь тебе не армия. Высшее начальство — коллектив. Даже директор решение общего собрания отменить не вправе. А у нас решено: бывших фронтовиков — к станку. И для них даже скоростные курсы открыли. Тыл фронту должен и этим свою благодарность оказывать.

Платон Егорович Густов часто появлялся на заводе, но не с целью проведать дочь, а, как он выражался, «провентилировать с общественностью кое-какие пункты».

Если ему нужно было нажать на высшие областные инстанции, то он ставил вопрос на заводском собрании, а уже потом принятое решение, как выраженную волю рабочего коллектива, доводил до инстанций.

— Ты ж к демагогическим приемам прибегаешь, — упрекали его вышестоящие товарищи. — Почему не от имени исполкома действуешь? Как надлежит поступать лицу, облеченному властью?

— А кем облечен? — ехидно осведомлялся Платон Егорович и, кладя на заводскую резолюцию ладонь, пояснял: — Народом же и облечен. Он и есть мне высшая инстанция. Он же меня выбирал. Теперь советуюсь.

Увещевал:

— Вы же поймите, кто я для них? Платон Густов, только и всего, прокатчик. Только и заслуг, что давал продукцию без брака. Весь мой авторитет в этом. Не поддержали же они меня, когда я просил их поддержки насчет того, чтобы субботник на стадионе провести. Отказали. Чего ответили? «Все футболисты теперь на заводе делом заняты, не наступило еще время, чтобы на публике мяч гонять». А вы мне в плане указали: стадион восстановить силами молодежи. А молодежь вон какая оказалась, сильно спортивная, на строительных работах после смены вколачивают. Дом, где прежде, до войны, исполком размещался — при немцах там была комендатура, — мы для исполкома отремонтировали. А отдадим под интернат ребятам. Немцы в этом доме родителей их насмерть замучивали. А вы будьте так любезны, отпустите средства и материалы для нового здания исполкома. Потому что советская городская власть ютится сейчас в самых невозможных условиях. Вывеска у нас солидная, мы ее с довоенных времен сохранили, сберегли. А прилепили теперь к совсем никудышному зданию — просто халупа.

— Научились вы, Платон Егорович, мотивировочки выдавать, ну как штык все равно.

— Продумываю...

Однажды поздно ночью Платон Егорович пришел к дочери и сказал:

— Ты вот что, Людок. Если у тебя парня какого нет на примете и вскорости еще не будет, давай или я к тебе все-

люсь, или ты в общежитие исполкомовское, где мне комнату все же подкинули. Я человек пожилой, хоть и всегда на людях, а бывает такой момент, один сам с собой остаюсь. Ну и начинает ломиться в голову всякая глупая мысль. Невмоготу одному.

А тут, понимаешь, приболудился к одной врачихе из больницы. Сначала лечиться ходил. Мотивировал себе тем, что она уколы мне делает из доброты в нерабочее время. Привык, посещал, беседовал.

— Если хороший человек! Ну что ты, папа...

— Хороших людей сейчас много, — рассердился Платон Егорович. — Куда ни сунься, а попадетесь такой, что хоть без головного убора стой. Перед многими тут надо шапку снимать и с непокрытой головой разговаривать. Я тебе что толкую. Если у тебя свой личный план имеется, не возражаю. Приткнуться куда на семейную жизнь я хоть завтра могу, без призора не останусь, не бойся. Но если у тебя нет ничего такого пока подходящего, потерпи отца при себе еще некоторое время. Я ведь человек старого прошлого, мне надо родственного человека при себе иметь. Ну, чтоб и покричать когда, и позаботиться, и о таком поговорить, чего с другим не получится. Отдохнуть душой, что ли. В тебе моя кровь и материна, которая мне до самого конца жизни светит. Я уже пожилой, можно сказать старый. А если выдам тебя замуж, буду в дом к вам ходить. Дети у тебя пойдут, совсем приятно. Все выходные у тебя, а так же-нюсь, она может и на себя выходные потребовать.

— Я очень рада, папа. Мне тоже плохо одной, только я тебе не говорила. — И тут же строптиво упрекнула: — Ну что ж, раз она хорошая, женись. В конце концов, я могу и у вас поселиться.

Отец опустил голову, пробормотал виновато:

— Я, конечно, допустил слабодушие, факт. Тем более что она совсем против меня молодая, сорока еще нет, а мне за полсотни перевалило. — Поспешно добавил: — Но на вид она вполне солидная, и даже волосы седые есть. Поменьше, чем у меня, но есть.

— Папа, женись. — И Люда погладила руки отца, отмеченные прежними ожогами от металла. Пообещала: — Я с ней обязательно подружусь. И хорошо, что она доктор, мне, знаешь, все равно лечиться надо.

— Это как такое лечиться? — забеспокоился отец. — Выходит, в госпитале не долечили?

— Да нет, так, пустяки. Но надо.

— Так она от чего хочешь вылечит, — воодушевился

отец. — У нее всегда в кабинете очередь, как все равно в магазине, когда дефицитный промтовар поступает. У других докторов записи нет, постучись и войди. А к ней люди прут со всеми жалобами на здоровье — как в исполком по жилищным вопросам, так же и к ней по линии здоровья.

Платон Егорович привел дочь в больницу, робко постучав в дверь кабинета, приоткрыл, но, не входя, произнес шепотом:

— Евгения Петровна, я тут к вам от себя клиентку привел. Может, примете?

Маленькая, худенькая, гладко причесанная, с бледным, бескровным лицом, скуластая, с печально-серьезными глазами, Евгения Петровна показала рукой на белую табуретку и сказала так, как она говорила, очевидно, всем сюда входящим:

— Здравствуйте, пожалуйста, садитесь.

И стала мыть руки после того, как пожала руку Люды. Спросила, оглядываясь через плечо:

— На что жалуетесь? — И, помедлив, произнесла робко и перешительно: — Люда? — И чуть заметно при этом улыбнулась уголками губ, а может, это только Люде показалось.

Люда проговорила сквозь зубы:

— Была ранена в бою, ну хотелось бы выяснить последствия.

— Раздевайтесь, — приказала доктор.

— Я только хочу посоветоваться...

— Раздевайтесь, — повторила доктор.

Люда вначале испытывала чувство неприязни оттого, что ей показалось: врачиха смотрит на нее с любопытством, не как доктор, а как женщина на женщину, оценивающе.

Евгения Петровна обследовала Люду быстро, ловко, с какой-то механической привычной решительностью. Приказала:

— Одевайтесь. — И снова мыла руки, сказала, оглядываясь через плечо: — Попробуем пока лечиться, не прибегая к хирургическому вмешательству. Но предупреждаю вас, ничего не обещаю пока.

— Но мне ничего сейчас не надо, — ответила Люда. — Обойдусь. Мне не к спеху.

— Нет, вы будете лечиться, — сказала врач. — Это необходимо. — И добавила строго: — Женщина должна быть матерью...

— Ну почему вы утверждаете, что непременно должна? По собственному опыту, что ли?

— У меня были дети, двое.

— Где же они?

Евгения Петровна отвернулась и, глядя в окно, закрашенное наполовину белой краской, произнесла глухо:

— Их нет...

Резко повернулась и, посмотрев твердо в глаза Люды, спросила:

— Ну вы сами, наверное, видели? Видели, да, как немцы расстреливали с бредущего эшелоны? Ну вот, при таких вот обстоятельствах...

— Простите меня, пожалуйста.

— Ну что вы! — сказала доктор. — Я вас понимаю. — Смешалась, смолкла, потом, видимо делая усилие над собой, заговорила громко, отчетливо: — Платон Егорович вам уже рассказал. Но я вам тоже хочу сказать. Словом, он мне никаких таких обещаний не давал, и, хотя он мне сейчас близкий человек, я уже потеряла самых близких и привыкла быть одна. Я могу быть одна, а он нет. Поверьте. — Опустила голову, перебирая на столе бумаги. — И я ему нужна.

— А он вам?

— Я бы не хотела, чтобы у меня была еще одна утрата в жизни. Я просто не предполагала, что могу кого-нибудь полюбить. А вот полюбила.

Встряхнула головой, произнесла с насильственной улыбкой:

— Очевидно, рецидив чисто женский. Пройдет. А может, и нет. Не знаю.

Люда сказала твердо:

— Нет, не надо. Не надо, чтобы проходил. — Добавила наставительно: — Имейте в виду, он очень хороший. Даже самый лучший...

— Я знаю, — согласилась Евгения Петровна. Потом снова докторским тоном объявила: — Значит, так, Люда, будем лечиться. Еще встретимся не раз, и, может, я не только как медик вам понадобится...

Когда Люда вышла из врачебного кабинета, отец бросился встревоженно к дочери:

— Ну как?

— Она, знаешь, она, пожалуй, хорошая.

— Знаю, — сердито прервал отец. — А здоровье? Ну чего она у тебя там нашла? — Резко открыл дверь, спросил, шагнув в кабинет: — Доктор, я могу официально спросить,

как отец, чего у ней? — Жалобно добавил: — Может, что серьезное? — Упрекнул совсем по-домашнему: — Ты, пожалуйста, со мной не темни. Не надо.

— Папа! Я пошла, — сказала Люда и посоветовала заговорщически докторше: — А вы ему укол сделайте для спокойствия. — Дружески помахала рукой обоим: — Ну, пока.

Но, спускаясь по ступенькам больничной лестницы, Люда чувствовала себя так, будто оставила здесь отца навсегда. И ей хотелось плакать от острого, внезапно охватившего ее чувства одиночества.

15

В город прибыл новый начальник милиции. Прежний был внушительный: полковник атлетической внешности. Он всегда лично участвовал в операциях по захвату преступника, проявляя при этом храбрость и бесстрашие. Когда докладывал ход расследования по крупному делу, слушать его было необычайно интересно. Мелкими происшествиями не занимался, относился к ним с брезгливым равнодушием. Разъяснял подчиненным — устранили словесно, а письменную канитель не разводите. Пояснял — каждый незначительный привод как отражается в статистике? Рост преступности! А это противоречит существу нашей объективной действительности. Главное, товарищи, качество работы. Оно в чем выражается? В борьбе с опытным уголовным элементом, с форменным преступником. С присуждением его по серьезной статье уголовного кодекса. Ни к чему усиленно заниматься мелкими там происшествиями на почве быта, нарушением норм — сейчас не такое время. Могут приписать нам излишества по линии бдительности как носителям чего?.. Ну, сами пишете.

Поймав уголовника, он испытывал большое, но беззлобное удовольствие. Посещал место предварительного заключения и там добродушно беседовал с заключенным, как благородный победитель с вполне достойным побежденным противником.

— Чего тебе дадут — это суда забота. Наше дело — факты и их доказательства. — Заботливо осведомлялся: — Нет ли жалоб на содержание под стражей или на грубость сотрудников? — И если уголовник не высказывал претензий, был очень доволен. Говорил: — Гуманность у нас на высоте. Это точно.

Персональной машиной он не пользовался. Горисполком помог ему обзавестись конем. В Отечественную войну, как и в гражданскую, он служил в кавалерии. Отлично ездил верхом. Просто приятно было глядеть.

И во всем остальном он был человеком хорошим. Сам занимался строевой подготовкой с милиционерами, обучая щегольской выправке и четкому армейскому шагу. Платон Егорович Густов симпатизировал начальнику милиции, хотя тот на заседаниях горисполкома не проявлял никакой активности. Сидел молча, в задумчивой позе терпеливого рыболова, когда обсуждаемые вопросы не касались непосредственной работы милиции. Густову нравилась уравновешенность и спокойствие начальника милиции и то, что он не лез в дела, его не касающиеся.

Новый же оказался по званию ниже — подполковник.

В этом можно было даже усмотреть какое-то невнимание областных властей к городу. Но шесть рядов орденских планок и на каждой по четыре ленточки — фактор существенный. Малорослый, тощеватый, с впалыми щеками и значительной плешью, выглядел он не импозантно. Но глаза живые, бойкие, с опасной усмешечкой.

Несколько раз Платон Егорович встречал нового начальника милиции, переодетого в штатское. Рубашка фасона апаш, вправленная в бумажные брюки, на ногах сандалеты. То, что он переодет, Платона Егоровича не удивляло, — очевидно, полагалось по ходу дела переодеваться, чтобы вести за кем-нибудь подозрительным наблюдение. Не случайно же он встречался с начальником милиции то в продуктовом магазине, где тот смиренно стоял в очереди, беседуя с гражданскими, то видел его на кухне заводской столовой, то в общежитии, где новый начальник пил чай с комендантом.

Каждый раз Платон Егорович делал вид, что не узнает его, дабы не нарушить конспирации.

Но сильно разочаровало Платона Егоровича и, больше того, вызвало неудовольствие, когда новый начальник милиции стал являться на заседание горисполкома в штатском.

Обычно прежний начальник милиции до начала заседания рассказывал членам горисполкома о всяких интересных происшествиях, об отваге, проявленной его сотрудниками на их поприще за истекший период. Поэтому, наговорившись до заседания, на самом заседании он молчал, отдыхая.

А этот новый только прислушивался к разговорам

других, а сам молчал. А если спрашивали: «Ну, как там у вас?» — отвечал сухо: «Нормально».

На одном из заседаний исполкома новый начальник милиции вдруг выдвинул неожиданное предложение:

— Немедленно не только приступить к восстановлению городского стадиона, но даже значительно его расширить.

И когда Платон Егорович с неудовольствием заметил: «Этот вопрос мы еще подработаем, а затем ставить его должны физкультурные организации совместно с профсоюзными, но никак не органы милиции» — новый начальник заявил:

— Полагаю, что это именно непосредственно касается сферы нашей деятельности, потому что слабость работы спортивных организаций в какой-то степени отражается на возрастном составе нарушителей: в процентном отношении тут преобладает молодежь. — И, раскрыв папку, стал знакомить членов исполкома с делами, заведенными на различных лиц из числа молодежи, где ничего такого уголовно наказуемого не было, а напоминало скорее школьные педагогические характеристики, составленные на неуспевающих учеников. Но говорил он об этом так горячо, взволнованно, убедительно, что большинство членов горисполкома проголосовало за его предложение.

Директор завода просил у городских властей выделить ему земельную площадь для строительства новых цехов.

Вопрос ясный. Завод, по существу, являлся главой города, он был и лицом города, и его гордостью.

Но опять взял слово начальник милиции и сказал:

— Я возражаю.

Все, конечно, удивились. А некоторые даже возмутились и стали сердито, громко шептаться.

Директор завода, улыбаясь, бросил снисходительно:

— Любопытно, по каким мотивам?

Начальник милиции вынул из портфеля другую папку и, листая ее, не глядя на членов исполкома, стал говорить:

— Последнее время я тщательно изучал материалы загса. Обнаружил существенную, весьма печальную и нетерпимую в дальнейшем для нас закономерность. Наибольшее количество в процентном отношении разводов падает на семьи людей, проживающих длительное время в заводских общежитиях — бараках. Расторгаются браки при наличии в этих семьях детей младших возрастов.

Всякое разрушение семьи — факт отрицательный во всех отношениях. Жертвами являются в первую очередь дети. По нашим исследованиям, наибольшее число наруши-

телей — из числа лиц, семьи которых были разрушены разводами, что отражается самым пагубным образом на психике детей, на их моральных воззрениях и нравственном уровне. Они утрачивают уважение к родителям, уходят из-под их контроля со всеми вытекающими отсюда дурными последствиями. Я, как представитель органа народной милиции, заявляю здесь: пока администрация завода не переселит из бараков в новые дома семейных рабочих, я буду против предоставления городской земли для расширения предприятия. И, как член исполкома, буду отстаивать свою точку зрения перед высшими инстанциями.

Директор завода побагровел:

— Вам, товарищ Зуев, следовало бы доложить, почему вы до сих пор не раскрыли дела по хищению со складов завода. Это относится непосредственно к вашим функциям.

— И к вашим, — парировал Зуев. Произнес почтительно: — Вы, Федор Аверьянович, когда появляется новый человек на производстве, обязательно находите время, чтобы побеседовать, лично познакомиться и даже зайти потом в цех, чтобы взглянуть, как он работает. Это у вас замечательная черта, настоящего руководителя. А вот когда берут кого на работу в заводские хозяйственные тылы, тут вы даже не то что познакомиться, на личное дело пренебрегаете взглянуть. И эту же вашу манеру заводские кадровики усвоили. Я очень тщательно допрашивал задержанных преступников, бывших хозяйственников, о процедуре их приема на работу. Показания оказались не в вашу пользу.

— Вы что же, меня хотите приобщить к делу? — зловеще осведомился директор.

— Всем было бы полезно, если б суд принял также частное определение, касающееся оформления на работу хозяйственников, — кротко сказал Зуев, — а то ваши кадровики не принимают людей с изъянами в биографии, желающих пойти на производство, а именно на производстве, в рабочем коллективе, они могли бы исправиться и стать полезными членами общества.

— Мой завод не исправительная колония.

— Вернуть человеку звание человека — это общая для нас всех обязанность.

— Может, и ловить преступников тоже нам самим прикажете? А вы будете только на перекрестках жестикулировать, красиво управлять движением транспорта?

— Нет, такое время еще не скоро придет. Кстати, ваши заводские сейчас изъявили желание работать в дружинах в помощь милиции. И в операции по задержанию расхити-

телей со складов участвовали ваши же заводские ребята. Сержант милиции Синицын только ими руководил.— Усмехнувшись, Зуев напомнил: — Но мы отвлеклись от вопроса по повестке.

И тут вдруг Платон Егорович Густов сказал, хмуро покосившись на директора, которого он всегда почитал и которому обычно всегда шел навстречу:

— Вопрос о дополнительной территории с повестки надо снять как неподготовленный. Будем обсуждать его на следующем заседании. Одновременно с постановкой вопроса о семейных бараках-общежитиях.— Спохватился: — Но, конечно, независимо один от другого. Площадь дать заводу — это одно, а ликвидировать бараки — это само собой разумеется.— Повернулся к директору: — Тут уж нашей власти хватит, чтобы даже потребовать.

Спустя некоторое время, привыкнув несколько к ершистости Зуева, Платон Егорович стал даже испытывать к нему дружеское расположение. И однажды сказал:

— У меня от супруги директива — приходи ко мне вечером в выходной, просто так, в гости.

Зуев произвел на семейство Густовых самое наилучшее впечатление. Он оказался несколько застенчивым и милым в этой застенчивости человеком. Сидя рядом с Людой, стеснялся ее оттого, что она хорошенькая, говорил с ней, опуская глаза. Евгении Петровне обещал обязательно явиться к ней на медицинский допрос и показать полную коллекцию своих боевых ранений. Не все их он получил на фронте, частично — при исполнении служебных обязанностей.

Когда же Люда проявила живой интерес к его работе, он сказал неохотно и сухо:

— В сущности, чем серьезнее совершенное преступление, тем легче его раскрыть, потому что такой преступник — исключение в нашем обществе. И, как всякое исключение, путем исключения его проще обнаружить. А вот мелкие требуют особой проницательности, и главная опасность их в чем заключается — можно человека потерять, не останови его вовремя. Не сумел — вина на тебе висит.

— Вы что же, считаете милицию чем-то вроде спасательной команды?

— Именно. Очень точно выразились. Самое увлекательное — это человека спасти, восстановить. Человековедение в нашей работе — главное направление. А ловить преступников — это техника отработанная, поставленная на высоконаучной основе.

Вот, скажем, крупный расхититель социалистической собственности. Обычно кто? Общественное подозрение падает на него зачастую раньше, чем обнаруживается преступление. Беседую, когда все улики налицо и следствие уже закончено. Он себя уже под контролем не держит, откровенничает, говорит о том, что прямого касательства к делу не имеет. Выясняется, что он многого в нашей жизни вообще не приемлет, мировоззрение у него на уровне животного: жить, жрать, пу и прочее скотство. Спрашивает, как же все-таки мы его уличили, когда он тонко, через подставных действовал — предали его они, что ли? А ведь он сам себя предавал — с людьми общался, а люди не слепые: видят, чувствуют, что он нашей жизни посторонний. Ну, и обращали на это внимание.

Сказал хмуро:

— Вообще надо иметь большую выносливость, чтобы с такими субъектами нормы служебного поведения соблюдать как положено. Войну на себе наш народ вынес, столько горя и бед перенес, а тут находятся личности, которые народное для себя тянут.

Лицо Зуева приняло жесткое выражение, глаза блеснули холодно, непримиримо. Помолчав, несколько успокоился, произнес, словно оправдываясь:

— Сейчас людей хороших предостаточно, а количество подлых тварей пошло сильно на убыль, чему мы и содействуем.

Павел Ефимович Зуев питал слабость к бывшим фронтовикам. И личный состав городской милиции блистал многими боевыми орденами. Но он ценил не так военную выправку и бравый, внушительный вид у своих подчиненных, как их знание жизни города и тех, кто в нем обитает. Кроме того, он добился, чтобы его люди участвовали в различных мероприятиях не только как представители органа милиции, а как граждане, которые могут выступить и на митинге, и с докладом на собрании трудящихся, не обязательно только на милицейские темы.

Каждый раз он подчеркивал на оперативках: «Мы — милиция. На нас соответствующая форма представителей, уполномоченных народной властью, — значит, каждый гражданин нам доверил эту власть, и мы по его доверенности ею пользуемся. Мы не начальство, а только доверенные лица. Тактичность и воспитанность привлекает, а всякое ретивое начальствование отталкивает. Помните, что Ленин говорил о человеке с ружьем? Вот нам, людям с пистолетами, это на все времена руководство».

Вызывая свидетеля по делу, Зуев держал себя примерно так:

— Я вас побеспокоил, извините. Но хотелось посоветоваться — заходил к вам домой, но не застал. Так вот, понимаете, какая история, улики все налицо. А вот личность подследственного до конца нами не прояснена, с точки зрения человеческой. Две машины кирпича свез налево. До этого за ним ничего такого не наблюдалось. Вы в своих показаниях указали, что он продал этот кирпич вашему соседу. Номер машины записали. Это с какой же целью?

— Чтобы сообщить вам.

— Однако сделали это не спеша, через неделю. Кстати, сколько он с вас за машину запрашивал? Что же он такую непомерную цену заломил?

— Хищник.

— Вы бы ему разъяснили: нельзя так.

— Говорил. Не захотел сбавить.

— А вот что левачить нехорошо, говорили?

— Грозил, не послушался...

— Так, значит, ясно, — сказал Зуев, вставая. Спросил рассеянно: — А с отцом его вы знакомы? Давно? И не захотели сказать ему. Чего же так сразу в милицию?

— Пусть порадует, какой у него сыночек.

— А сосед у вас инвалид войны?

— Жирует на пенсии.

— А самого этого парня, шофера, вы хорошо знаете?

— Как облупленного. Хулиган. Полез ко мне на крышу и антенну срезал. Видите ли, инвалид жаловался, что у меня радио сильно орет.

— Нехорошо!

— Куда же дальше.

— Значит, он к этому инвалиду заботу проявлял?

— Не он, а папаша толкал. Служил с тем в одной роте, так и сына свихнул — казенным бензином сынок инвалидную машину заправлял. Тоже хищение.

— А отец у него что за тип?

— Правильно, что тип. Обсажал всю улицу лесопосадками, а мой участок обошел. Это за то, что я, видите ли, высказывался — нельзя фруктовые деревья на улице сажать, честные люди и те могут свихнуться, еще зелеными плоды сопрут. А он говорит, народ сейчас сознательный. Вот теперь сынок и будет ему доказательство — вор.

— Ну, хватит, все, — сказал Зуев.

— Это почему же все? — забеспокоился свидетель. —

Я ведь на ваши вопросы ответил в точности. Могу подпись поставить. И на суде как должно выступить.

Зуев сказал:

— Юридически вас привлечь не могу, хотя бы и стоило...

Приказав привести подследственного, он долго и огорченно беседовал с ним, потом вызвал его отца. Шумел, спрашивал гневно:

— Ты же за Советскую власть воевал, а теперь, выходит, ей не доверяешь? Не мог по форме в инстанции обратиться? Надо было ремонт сделать? Так ты потребуй. Грамотный, — значит, пиши всюду. Ну, прекращу дело, а прокурорский надзор вдруг признает неосновательным решение. Влепит выговор.

— Может, дадите нам принудилровку? — робко посоветовал отец шофера.

— Нету теперь принудилровки. А потом ты тут при чем?

— А я же сообщник сына, по моему указанию он действовал.

— Ну и тип ты действительно, — сердито сказал Зуев.

— Все мы типы, только каждый на свой образец.

— Ну как все было гладко, — почти весело и вместе с тем возмущенно говорил Зуев, — шофер кирпич привез частнику, есть свидетель. Факт хищения доказан, обвиняемый признание подписал. Следствие кончено. — Отец и сын согласно при этом кивали головами. — А что бы получилось, если б не этот гад, свидетель обвинения? Дело мы бы в суд передали.

— В суде тоже люди, — заметил отец.

— Ну, вот что! Идите-ка вы домой, а ты, — обратился Зуев к отцу, — завтра зайди с утра.

— С вещами?

— По линии озеленения расскажешь.

— Это я могу, это же мое удовольствие — деревья сажать, — заулыбался родитель, кивнул на сына: — Значит, отпускаете? Сердечный вам...

— Ладно уж... — И Зуев устало махнул рукой, хотя чувствовал он себя душевно бодро.

Степан Захарович Буков спал в купе вагона, положив себе под щеку тяжелый сжатый кулак.

После работы на стройке Куйбышевской гидростанции, где он сначала был помощником машиниста экскаватора,

а потом машинистом, его направили в Египет, на Асуан, вместе с многими другими куйбышевцами, в числе которых был и Дзюба, достигший инженерной должности прораба участка.

На Асуане Букову все нравилось. Во-первых, климат сухой, жаркий, во-вторых, грунты твердые, гранит. На Куйбышевской стройке он сильно намучился, когда забой плыл от грунтовых вод. Под машину приходилось настилать бревна, на таком хлипком основании работать все равно как на плоту: развернешь стрелу с полным ковшом, машина кренится, выскакивай, подбивай кувалдой бревно под гусеницы, теряешь кубометры.

Ну, потом еще чисто моральное удовольствие: значит, мы можем не только для себя сооружать величайшие в мире гидростанции сразу после войны, но и другой стране оказать в том же дружескую любезность. Все шло ладно, и коллектив хороший — много в нем было выдающихся мастеров.

Но получилось так, что Букова и его помощника «одожили» с Асуанской стройки в Судан, чтобы помочь там при прокладке ирригационных каналов, необходимых для того, чтобы иссохшие за века земли стали плодородными.

Буков вместе со своим помощником Куртыниным прокладывал оросительный канал в безводной пустыне, чтобы она перестала быть пустыней. На верблюдах и ишаках им доставляли на трассу горючее. Жаркий климат, нищета — люди здесь ходили едва прикрытые одеждой. Деревни — шалаши из пальмовых листьев.

Крестьяне возделывали поля такими первобытными орудиями, какие Буков видел только в музеях, где с помощью различных предметов, найденных археологами, доказывалось, из каких трудных условий начального существования люди выбрались на линию современной жизни.

Но народ был славный, добродушный, даже веселый, несмотря на ужасающую бедность. И когда трасса ирригационного канала прокладывалась недалеко от селения, жители сопровождали продвижение экскаватора местной самодеятельностью. Били в барабаны, свистели в дудки и неумоимо плясали даже тогда, когда невыносимо жгло солнце. Вечером приносили зажаренных на шесте кабана или антилопу и местный, слабой крепости самогон из пальмового сока в сосуде из сушеной тыквы. Разговаривали с помощью жестикуляции, мимики, но получалось все-таки понятно. Часто экскаватор походил на самоходную, праз-

днично украшенную беседку — столько на него навешали гирлянд из цветов.

Оросительный малогабаритный канал — это, конечно, не гидрострой. Сооружение не капитальное, вроде арыка. Но вода в пустыне — это жизнь. Она не только возвращает природе ее испепеленное в солнечном жаре плодородие, но и смягчает суровые законы жизни.

В тяжкие периоды засухи у запыленных, обезвоженных колодцев в пустыне между умирающими от жажды кочевниками происходили кровавые побоища из-за бурдюка гнилой воды. Путь к таким колодцам обозначился костями людей и животных, павших от жажды.

Поделиться водой означало для кочевника то же, что отдать последний кусок хлеба, обрекая себя самого на смерть.

И те, кто делился, и тот, с кем делились, становились после этого связанными как бы узами священного родства. Поэтому здесь был обычай: человеку достойному при встрече поднести чашу чистой воды. Это считалось выражением самой высокой почести и приязни.

Прокладывая оросительный канал, Степан Буков волок за собой из Нила, словно на прицепе к машине, тонкую нить живительной воды.

Металлическая глыба экскаватора, раскаленная солнцем, только к ночи слабо остывала. Буков работал с Куртыниным круглосуточно.

И пока один отдыхал, лежа на кошме, под защитой брезентового зонта, другой проходил свои километры. И затем, свернув кошму, держа зонт, отдохнувший спешил вдогонку за машиной.

Часто по ночам к только что проложенному каналу, привлеченное запахом воды, приходило на водопой всяческое зверье из пустыни, слетались неведомые птицы.

Были периоды, когда неделями вели проходку, не встречая на своем пути человека. Сухая беспредельная пустыня жгла, обдувала песчаными бурями, то и дело приходилось чистить, перебирать заново, смазывать все механизмы машины. Люди испытывали щемящую тоску, вызываемую безлюдным гигантским мертвым пространством, усыпанным черным щебнем, вздымающимися волнами песчаных сыпучих увалов.

Куртынину было двадцать лет. Буков ободрял его рассуждениями о том, что на фронте приходилось людям труднее, хотя самое трудное и тяжелое тут было одиноче-

ство, чего на фронте Букову никогда не приходилось испытывать так длительно и томительно, как здесь. Но для Куртынина достаточно было этих слов Букова: «На фронте тяжелее», чтобы взбодриться и снова ворочать рычагами экскаватора, о котором Буков говорил: «Тот же танк, только вместо орудия на нем землеройное средство», — и хвалил Куртынина:

— Тебя, Петя, теперь можно в танковый взвод зачислить механиком-водителем. Умно, красиво работаешь. В бою это главное.

Когда оба, обессиленные полуденным жаром, лежали на кошке под зонтом, отплевывая мелкий сухой песок, которым до крови, как наждаком, стиралась кожа на шее, в подмышках, в паху, — «Мы кто? — спрашивал Буков и почтительно напоминал: — Международники, интернационалисты, высшая историческая обязанность советского человека: не только для себя, но и для других. — Говорил задумчиво: — Я мальчишкой Африку в школе по географии проходил. А теперь вот, пожалуйста, не просто какой-нибудь путешественник: воду за собой тянем. В географию данной местности она будет вписана как дружеский дар советского народа. Стоит из-за одного этого обгорать, как мы с тобой обгораем. А хочешь, считай, что на пляже лежим и просто так загораем, для здоровья».

Но у самого Букова со здоровьем стало плохо: прихватил малярию. Отоцал, пожелтел, высох.

Но когда трясло в ознобе в самый зной, стуча зубами, пытался пошучивать:

— Это мой персональный кондиционер работает. Тебе от жары деваться некуда, а мне от холода.

Но сообщать о своей болезни не хотел, скрывал, работал...

Когда кочевники случайно выходили на трассу канала, они вначале недоверчиво, как на мираж, смотрели на воду, и только верблюды с висящими набекрень дряблыми, отоцавшими горбами бросались к воде и припадали к ней пыльными губами.

Буков испытывал радостное, порой щемящее душу чувство, когда кочевники разбивали у канала шатры, наполняли водой бурдюки, боясь пролить на песок хоть каплю, подставляя под эту каплю ладонь, как голодный сгребает крошки хлеба.

Он говорил Куртынину:

— Это же у нас не работа, по существу, почетное удовольствие — в пустыне зеленые массивы создавать. Что

самому господу богу оказалось не под силу, то нам с тобой нипочем.

Когда болезнь окончательно свалила Букова, и белки его глаз обрели цвет меди, и он уже не мог управляться с машиной, племя кочевников отвезло его в плетенке, подвешенной к верблюду, в медицинский пункт, находившийся от трассы более чем в двухстах километрах.

Вождь кочевников привесил к койке, на которую уложили Букова, два больших бурдюка с водой, хотя при медпункте находился колодец. Кочевники до тех пор не покидали расположения медпункта, пока Буков не встал на ноги.

За лечение Букова кочевники принесли в дар врачу коня, тисненные золотом кожаные подушки и два старинных кривых кинжала с рукоятями из слоновой кости.

Пока Буков болел, каждый день при заходе солнца вождь кочевников, расстелив коврик во дворе медпункта, молил аллаха об его исцелении, называя Букова светлым открывателем вод, победителем пустыни, повелителем железного верблюда.

Здоровье не позволило Букову дольше оставаться в Африке.

Поэтому Буков, упаковав в чемодан поднесенные ему вождем племени головной убор, жезл и леопардовую шкуру, вылетел домой на дальнейшее лечение. И теперь он, получив назначение на новую стройку, ехал туда после пребывания на курорте несколько огорченный.

Когда поезд остановился на станции, Буков проснулся и вышел на перрон, чтобы подышать свежим, своим, таким прохладным и приятным воздухом, от которого он отвык в Африке. И здесь он лицом к лицу столкнулся с милицеем подполковником, который сначала обнял его, а потом с оперативной решительностью устремился в купе за чемоданом, сказав:

— Считаю себя арестованным по подозрению в том, что не желаешь знаться с дружкой по фронту.

На милицеемском газике Зуев доставил Букова к себе домой, по пути расхваливал город, в котором он теперь живет и служит, расхваливал так, будто это лучшее место на планете.

Городишко был действительно ничего, славный, в зелени, аккуратный.

Вечером Зуев повел Букова показывать город.

Букову было приятно, что с Зуевым, хоть он и милицкий чин, столько людей здороваются приветливо, с улыбкой.

Зуев останавливался перед каким-нибудь самым обыкновенным зданием, восторгаясь:

— Здесь вот ничего не было, а теперь дом!

Садись в автобус:

— Обрати внимание, без кондуктора, на честность.

Ехали дальше:

— А вот наш парк знаменитый. Фашисты его вырубили. А люди снова насадили. Главная аллея подшефна заводу, видел, как богато оформили? Здесь у них и кадровик дежурит, желающим на завод поступить дают консультацию. На этой площадке демонстрируют модели костюмов, обучают красиво одеваться. Теперь по одежде не определишь, кто кто, не то артист, не то слесарь.

— А что ты такой всем довольный? — спросил Буков. — Теперь сам себе начальник?

— Удовольствие в нашей работе — понятие относительное. Подлости во всяких ее вариациях еще хватает. Но за человека, если он не совсем пропащий, надо бороться. Главная потеря — человек.

— Ты что, жуликов жалеешь?

— Должность у меня тесноватая, — задумчиво сказал Зуев. — Есть у нас типы, которые не горят, а чадят на работе. Им главное, чтобы балансовая отчетность в порядке была. А вот убывает человек, став нарушителем, — списывают этот факт вроде как усушку или утруску. А почему свихнулся с пути? Пусть этим милиция занимается. Вызываешь такого хозяйственника на беседу или сам его посетишь, вразумляешь. Обижается: не ваша обязанность меня воспитывать.

А почему человек был честным, а потом стал жуликом, его не интересует. А это и есть самый худший брак в любом деле. И надо ему придавать самую широкую общественную огласку. Мы еще не в коммунизме живем, и притворяться нечего — есть еще у нас разные уродства. Самое неверное — это скрывать плохие явления. Я вот с докладом отчетным на заводе выступил, говорил об этом, приводил примеры, взволновал людей. В областном управлении сначала сомневались, надо ли так, а потом в третьем и четвертом кварталах резкое снижение преступности.

Сказал хмуро:

— Вначале мне тут, конечно, в несколько суженном направлении пришлось действовать: выявлял преступных лиц, работавших в полиции и гестапо, изуверов, палачей. За одним долго таскался. При взятии он меня задел все-таки из пистолета. Вместо меня молодой товарищ следствие

вел. Вернулся я из больницы, ознакомился с материалом. Отправил на новое исследование. Этот гад пытался в своих показаниях людей оклеветать, чтобы с собой в тюрьму прихватить. Не получилось. Способ старый, нам давно известный. Пришлось лекцию новым сотрудникам прочесть. Преступник — враг опасный не всегда только тем, что он совершил, а и тем, что он мстит. Вот такими диверсионными приемчиками — клеветет в показаниях на честных людей, хочет их с собой в тюрьму прихватить.

Посмотрел на часы, спохватился:

— Мне же в больницу надо.

— Хвораешь чем?

— Да нет! Дочку предисполкома проведать.

— Из уважения к начальству?

— Ладно там поддевать! — Объяснил все-таки: — Бывшая фронтовичка, в артиллерии служила, сержант.

Зуев долго шепотом беседовал с дежурным врачом, прежде чем его пустили в палату.

Буков остался ждать в коридоре, скучая, читая медицинские плакаты, в которых излагалось, как наилучшим способом можно сохранить здоровье, и были изображены различные микробы и вредные насекомые.

Но вот приоткрылась дверь палаты, и Зуев поманил его пальцем. Буков завязал аккуратно тесемки на халате и вошел, придав лицу, как и надлежит в таких случаях, умильно-жалостливое, но с оттенком бодрости выражение, чтобы, с одной стороны, выразить сочувствие, а с другой — внушить соответственно уверенность в скором выздоровлении.

Вошел и замер.

Люда лежала на койке с закрытыми глазами и плачущим, но вместе с тем каким-то странно счастливым голосом повторяла, словно в забытьи:

— Теперь у меня, Павел Ефимович, ребеночек обязательно будет, все доктора обещали и даже профессор.

Почувствовав, как прикосновение, взгляд Букова, она хотела пошевелиться, повернуть голову, но Зуев вдруг сердито повел глазами на дверь, и Буков покорно вышел, ступая на носках, хотя ноги его ослабели и на носки становиться было трудно.

И он снова ждал в коридоре, ждал неизвестно чего, хотя он понимал, что теперь ему, вообще-то говоря, ждать нечего, все ясно. И хотя это необыкновенно радостно, что Люда Густова жива и, надо полагать, поправится, он, Бу-

ков, выходит, ее потерял снова, окончательно. Конечно, лучше так ее потерять, чем думать, что она погибла, сгорела в танке. И все-таки он ее потерял.

Буков вышел во двор больницы покурить, а потом, покурив, решил, что он сейчас для дальнейшего общения с Зуевым не годится. Кроме того, он опасался, что не сможет хорошо соврать, почему такая произошла перемена в его настроении. Зуев хорошо понимает людей и может свободно разгадать, что с ним случилось, и, возможно, сам Буков не сдержится, расскажет. А зачем? Чтобы Зуев напомнил Люде, какой такой фронтовой товарищ к нему приезжал транзитом, а зачем? И даже если Зуев и не скажет, все равно ни к чему здесь дальнейшее пребывание. Скрываться от Люды он не имеет особого права так же, как и напоминать о себе.

Главное, хорошо, что он все-таки увидел Люду, которая скоро станет матерью, и, значит, она очень счастливая.

Буков решительно направился на квартиру Зуева, прихватил чемодан. Оттуда на вокзал, сел в поезд и уехал в назначенном ему направлении.

А спустя почти год Людмила Платоновна Густова торжественно посетила новое здание городского загса вместе с Всеволодом Андреевичем Тюхтяевым, фамилию которого она собиралась носить, как полагала, всю дальнейшую жизнь. Тюхтяев был мастером мартеновского цеха, профессия, как известно, требующая мужества, силы и высоких знаний. Но в загсе он держался очень робко и неуверенно, шепотом осведомлялся у невесты виновато:

— Я ведь, Людочка, выбирал самые лучшие, а теперь у тебя ножки страдают. Сильно, да?

И лицо его болезненно морщилось.

Речь шла о модных туфлях серебряного цвета, которые он ей преподнес и которые оказались тесноватыми. И он все не мог успокоиться и все переживал, что причинил неудачной покупкой боль своей любимой, и даже при этом забывал, где они находились. А для Люды это и было лучше всего, что Всеволод так переживал за нее.

И она была, в сущности, рада, что мучение, причиненное узкими туфлями, было только полезным мучением, иначе, возможно, она даже визжала бы и хохотала от счастья, потому что Всеволод такой хороший. Боль же, причиненная туфлями, внушала ей осторожность в движениях, а страдание делало ее лицо особо гордым, красивым...

Что касается Степана Букова, то его достижения по линии производственной значительно опережали успехи в личной жизни.

Он охотно кочевал по самым тяжелым стройкам, не обеспеченным ни хорошим климатом, ни сколько-нибудь сносными жилищными условиями, извлекал наиболее трудные первоначальные тысячи кубометров и, когда появлялся наконец населенный пункт, уезжал туда, где населенного пункта еще не было, а он только намечался вбитыми в землю колышками.

На новом месте пребывания его обычно вскоре вызывали в милицию, где вручали любезно и уважительно очередное письмо от Зуева, отправленное тем для надежности, что ли, по собственным каналам связи. И местный начальник милиции считал долгом по просьбе коллеги предложить Букову свою заботу о его благоустройстве.

В пустыню в Среднюю Азию Букова сманил Кондратюк. Кондратюк писал восторженно о том, что в триста шурфов заложил более четырех тысяч тонн взрывчатки и одновременно массовым взрывом выбросил около миллиона кубометров твердого грунта, после чего образовалась траншея ирригационного канала почти проектного сечения. Он звал к себе Букова, соблазняя красотами здешней природы, чистым воздухом, полезным для здоровья.

Но когда Буков прибыл на место, он не нашел там Кондратюка. Выяснилось, что Кондратюк, не дождавшись фронтового друга, отправился в горы. Там производились взрывные работы. Требовалось завалить ущелье обломками скал, чтобы обезопасить долину от бурных местных потоков, вызываемых сильным таянием ледников.

Буков обиделся на Кондратюка, не стал дожидаться, когда тот вернется, и поступил на строительство медного рудника, где еще пока не велась добыча, а только снимали крышу с рудного месторождения.

Поскольку Букову выпала доля работать только на больших стройках, как говорится, всесоюзного значения, он привык к крупным их масштабам. Сила и могущество Отчизны определялись ими. Должность машиниста экскаватора не самая главная на земле, но это ведущая специальность домонтажного периода. Поэтому Буков знал себе цену. Он самолично столько уж переместил грунта в самых разных районах страны, что, если этот грунт собрать воедино, получилась бы гора, ничуть не меньше тех, которые

были сработаны самой природой. Мысленно он высоту этой своей горы представлял себе довольно точно, но никогда ни с кем на эту тему не разговаривал, предпочитая на новом месте показать окружающим, на что он способен, не словами, а делом.

На следующий день по прибытии на медный рудник Буков обошел все инстанции, какие полагается посетить человеку при оформлении на работу.

Все эти инстанции располагались в палатках, в вагонах и даже в на скорую руку сколоченных из тарных досок будках.

Вел он себя при этом степенно, вопросов не задавал, сам же на вопросы отвечал кратко, четко.

С начальником мехколонны Зыковым, который с первых же слов сообщил, что подготовительный период обычно характеризуется всякими трудностями и неполадками, Буков согласился и даже посоветовал курить сигареты строго по счету, поскольку должность у Зыкова нервная, а никотин — яд. На вопрос: «Пока поработаешь на бульдозере?» — Буков ответил: «Можно!»

Зыков сказал:

— Нужно дорожникам помочь!

Буков заметил:

— Без обеспеченных коммуникаций на фронте не навоюешь и в гражданском деле много не настроишь.

Прораб Филиппов, ознакомившись с документами Букова, сказал убежденно:

— Самая подходящая кандидатура на то, чтобы доверить вам взять первый ковш с рудного тела. Момент будет исключительно торжественный.

Буков сказал:

— Это правильно, что вы каждого машиниста так обнадеживаете, на воодушевление толкаете. Соревнование будет обязательно. Самым лучшим каждому быть охота.

— С бытом у вас улажено?

— Быт я себе добуду.

— В перспективе жилищное строительство грандиозное. Но пока что придется подождать.

— Я подожду, — согласился Буков.

Замсекретаря парткома Гуров спросил:

— В армии тебя на политработе не пробовали?

— Нет, — сказал Буков.

— Почему так?

— А потому, — сурово сказал Буков, — что на фронте я еще весь в пуху был, серенький. Политработники у нас орлы были. Потому-то я там в человека оформился.

— Ну хоть агитатором можешь?

— Что сказать людям, всегда найдется.

— Значит, договорились. Материал мы тебе подберем, — обрадовался Гуров.

— Важно не только, что сказать, важно, кто говорит, а у меня пока для этого личности нет.

— Как нет? Вот же твоя партийная характеристика.

— Она на бумаге. Людям неизвестная. Докажу себя на работе, тогда, пожалуйста, хоть на митинге.

— Обижаешься, что машиной тебя сразу не обеспечили?

— Машина у меня будет, мне ее организуют.

— Оборудование для монтажа не пришло еще.

— А тут один местный товарищ чутко подсказал, как можно из подручного материала подъемные средства соорудить по известному ему способу, как во фронтовых условиях.

— Это кто же такой?

— Так, местный.

— Если у тебя по производственной линии порядок, почему про себя говоришь, будто у тебя личности нет?

— Правильно, пока нет. Но в ближайшее время обзаведусь обязательно. Тогда и давай нагрузку по силам.

— Ну что ж, и дам.

Гуров задумался, потом сказал:

— Я ведь, понимаешь, сам из танкистов. Так что мы с тобой почти родственники.

— Приятно, — сказал Буков.

Гуров обхватил руками свою ногу, твердо постучал ею об пол. Спросил:

— Понятно?

Буков кивнул.

— Под Белградом, — сказал Гуров. — Но, как видишь, живой и веселый, МАЗ водил до самого последнего времени.

— На партийную работу плохие люди не требуются, — сказал Буков. — Нужны такие, которые сами себя умеют выпрямить при любом положении.

Ни как общественник, ни как производственник в первые дни Буков себя ничем примечательным не проявил. Возможно, его не увлекали верхние слои рассыпчатого, рыхлого грунта на вскрышных работах. Хотя расценка на

мягких грунтах была не такая высокая, как на твердых, при усердии и на них можно было перекрывать нормы, а за сверхнормативные кубики платили вполне удовлетворительно.

С машиной он обращался вежливо, без особого любопытства к ее возможностям. Присматривался, прислушивался. Не то себя к ней приспосабливал, не то ее к себе.

Со сменщиками держался приветливо, но уклончиво, не проявляя инициативы для дружеского сближения. Не спрашивал, кто и откуда, и о себе тоже не докладывал. Но к рассуждениям об особенностях машины прислушивался внимательно. Сам лично высказывался только в одном смысле: если машина новая, то все ее данные в техническом паспорте записаны. Но вот когда она обрабатается и части ее притрутся, тут уже не по техническому паспорту о ней судить, а по тем людям, которые ею командуют. Машинисты понимали этот многозначительный намек. И когда Буков добавлял, что на твердых грунтах тяжелее работать, чем на мягких, соглашались с ним, хотя это и без него всем было известно. Соглашались в расчете на то, что Буков заговорит конкретно о себе, о своем опыте на твердых грунтах.

А Буков, со своей стороны, ожидал от них того же самого.

Машинисты — парод тактичный. Хорошо зная, что на мягких грунтах нельзя показать себя с лучшей стороны, они пока что помалкивали. Человек выявляется в трудном деле. Пока они только присматривались друг к другу, прицеливались со сдержанным достоинством людей, знающих себе цену.

С водителями самосвалов, обслуживающих экскаваторы, рабочими-дорожниками, электриками, буровиками и взрывниками Буков знакомился охотно, с готовностью выкладывая о себе все, располагая тем самым человека к откровенности.

Общаясь с людьми не своей профессии, Буков не проявлял особой заботы, чтобы создать о себе впечатление как о человеке солидном, выдержанном, с собственным мнением о жизни. Живо интересовался подробностями их труда, и так, словно собирался сменить свою профессию и только выбирает, какая поинтереснее, получше, выгоднее.

После смены он охотно садился в кабину самосвала и, сопровождая шофера в его поездках, присматривался к маршрутам, к тому, как водитель ставит машину в забое,

вел разговоры с бывшими фронтовиками о войне, а с молодыми ребятами тоже находил темы подходящие. Он коротал свободное время с железнодорожниками, наблюдая, как они кладут путь, проявляя интерес к устойчивости вагонов-думпкаров. Беседовал с машинистами электровозов. Зате-вал с ними дискуссию о том, какой транспорт в открытых выработках надежнее — автомобильный или железнодорожный.

Взрывники, которые пока еще были без дела, делились с Буковым своими соображениями. Первая их забота — расчетливо экономить взрывчатку, — когда после взрыва получаются крупные, нетранспортабельные скальные куски, их приходится штучно подрывать.

Канительно, требует расхода дополнительной взрывчат-ки, хотя и доходно: наряды на такие дополнительные работы неплохо оплачиваются.

Конечно, взрыв на мелкое дробление облегчает работу экскаваторщиков, транспорта, шаровых мельниц, но для подготовки таких работ нужно бурить больше скважин, быстрее снашиваются буровые станки, долота коронки, и получается перерасход взрывчатки. Поэтому ко всему этому надо подходить с умом, с расчетом: с одной стороны, зря не крошить породу, с другой — не давить габаритные куски излишне.

В кернохранилище Буков подолгу внимательно разгля-дывал колонки кернов, бережно уложенные в ящики.

Добытые из глубины недр, эти каменные колонки кернов как бы раскрывали будущее разреза, все пласты его, каждый из которых обладал своими особенностями проч-ности, твердости, колкости.

Буков почтительно слушал молодого парнишку, геоло-га-практиканта, который сановитым лекторским голосом стал давать ему пояснения, начав издалека: что пришлось пережить нашей планете, пока она не приобрела совре-менного и достойного вида.

Медная руда оказалась самым обычным камнем, мало отличимым от пустой породы, в которой она была зажата, только по весу тяжелее и оттенком чуть погуще. Услышав это, Буков с беспокойством спросил геолога, может ли тот сам, на глаз, безошибочно определять, где руда и где пустая порода.

— Могу, — сказал геолог.

— А как? — спросил Буков. — Какими приметам ру-ководствоваться?

— Чутье надо иметь!

— А если его нет?

— Надо развить практикой.

— То есть?

— Геологические структуры — это летопись планеты. Каждый пласт — страница миллионолетия.

— Как на пне дерева, годы кольцами обозначаются? Так, что ли?

— Допустим. Но геологические пласты запечатлевают чудовищные катаклизмы.

— Значит, пласт может быть крученный, вроде сучка?

— Не исключено.

— Так как же угадывать?

— Надо учитывать все данные геологоразведки и ее прогнозы.

— И на каждый забой имеются точные данные?

— В масштабе одного забоя разведка не ведется.

— Значит, надо самому соображать?

— Если в общих чертах познакомитесь с геологической структурой, вам легче будет ориентироваться во всех ее частностях.

— Уступы я понимаю, — задумчиво сказал Буков, — я их в кубометрах мыслю, но вот что планета переживала, как ее всякие силы тут перемешивали, знать полезно и интересно. И то, что миллионы лет от нас утаивалось, обнаружить сознательно, с толком — совсем другое дело, чем просто так кубики на-гора выдавать. — Сказал раздумчиво: — На котлованах под гидростанцию мне доводилось работать. Но там не добыча велась, а просто выемка грунта. А тут получается: после вскрышных работ главное — ни килограмма руды с пустой породой ковшом не вышвырнуть в отвал. Маханешь зря ковшом, выходит, вроде километр электропровода выбросишь на свалку или штук пять снарядных гильз орудия крупного калибра. А мы стреляные гильзы даже в отступательных боях собирали и с собой волокли, поскольку цветной металл — ценность.

Желание знакомиться с представителями разных профессий было у Букова не просто результатом общительности, а обретенной еще на фронте расчетливой необходимостью.

Букову доводилось служить механиком-водителем в танковой роте НПП, что на армейском языке обозначает: непосредственная поддержка пехоты. В последние годы войны стрелковый батальон кроме штатных боевых средств, увеличивших многократно его огневую мощь, рас-

полагал приданными ему могучими средствами усиления для свершения ударно-штурмовых пробивных действий.

Танковые взводы НШЗ закреплялись за определенными стрелковыми ротами. Стрелковому взводу указывался танк, за которым он должен наступать. Танки шли на штурм, сопровождаемые самоходными установками, которые вели огонь прямой наводкой и по орудиям врага, и по его танкам при поддержке своих батарей орудий разных систем. В стрелковом подразделении обязательно имелось инженерно-саперное отделение или даже взвод, на обязанности которого было зачистить от мин пространство, удалить противотанковые препятствия, оказать машинам помощь при плохом грунте или при одолении глубоких противотанковых рвов.

Кроме того, танкам содействовала и авиация. На броню порой сажали пехотинцев, откуда они вели огонь из автоматов и из ранцевых огнеметов.

Полосы для прорыва обороны врага на всю тактическую глубину нарезались теперь узкими, время для их преодоления давалось короткое, потому что насыщенность огневых средств стрелкового подразделения со всеми приданными ему средствами усиления даровала ему могущественную пробивную силу, что и называлось высокой тактической плотностью.

Но главным и решающим во всем этом было отлаженное взаимодействие всех сил и средств, действующих как единый боевой агрегат.

Штурмовой бой по прорыву вражеской обороны проводился обычно ночью.

Он был ошеломляющим для врага, требовал от воина высокой психологической устойчивости, безошибочной ориентации и четкого понимания маневра во взаимодействии.

Организация такого боя в сложном и слаженном взаимодействии всех средств усиления — это уже не просто выучка, а искусство высокого дальновидного командирского расчета всех ступеней — способность героического сосредоточенного мышления складывать воедино действующий механизм, состоящий из, казалось бы, несоединимых по своим свойствам и особенностям боевых средств. Скорость танка и скорость самолета, подвижность колесной артиллерии и подвижность самоходных установок, различная дальноточность калибров орудий и минометов — все это надо слить в едином, непрерывном наступательном огневом потоке, каждому средству отводя на каждом

новом этапе соответствующую возможностям и назначению цель для подавления.

Но бой — дело обоюдное. Бой, как указывают научные источники, двусторонний акт, в котором выступают две противоположные силы, неизбежно влияющие друг на друга в процессе борьбы. Значит, надо обладать в ходе боя героической способностью изменять тактические его приемы, если враг приспособился к ним, и поражать врага новым, неожиданным приемом боя. А это возможно только при гибкой слаженности взаимодействия, четко отработанных новых приемах боя.

Новое качество — не только высокая насыщенность боевых средств, но и армейская образованность всего личного состава, высокое понимание им всех возможностей каждого рода войск.

Для экипажей танковой роты НПП, где служил Буков, стало обычаем задолго до боевой операции сводить деловое знакомство с экипажами самоходных установок, с расчетами артиллерийских и минометных батарей, с инженерно-санитарными подразделениями, с бойцами стрелковых подразделений. И не только на совместных учениях, где отрабатывалась тактика боя в сложном взаимодействии всех родов войск.

Если прикинуть, таких учений в последний год войны проводилось войсками больше, чем даже в мирное время. И по своей трудности они отличались от обычного боя только тем, что в живой силе потерь не было, а только в живом весе, несмотря на усиленное питание по нормам переднего края. И если в бою старший командир не всегда мог заметить какую-нибудь твою промашку, печеткость, то на учениях все засекалось без всякой скидки на героизм в минувших боях. Этот чистый счет на мастерство, умелость, воинскую культуру вызывал жажду проявить себя с лучшей стороны не меньшую, чем жажда подвига в бою.

Поэтому в условиях проводимых учений было не до знакомств, не до сердечных разговоров между представителями дружественных родов войск. Тем более что на учениях каждый род войск желал показать свое превосходство над другим родом войск, так как чувство патриотизма имеет способность расширяться и сужаться в зависимости от обстоятельств. Поражая цели, огневики ревностно следили за тем, чтобы самоходники не приписали себе то, что сделали позиционные артиллеристы. Авиаторы свои бомбовые воронки подсчитывали столь же тщательно, как счита-

ют отверстия в мишенях бойцы стрелковых подразделений.

Артиллеристы противотанковых орудий, выведенных на прямую наводку, запальчиво утверждали, что они чаще попадают в служившие мишенями трофейные танки, чем танкисты, которые вели огонь с ходу по этим же трофейным танкам.

Обломки дотов исследовали и диагностировали дотошно, дабы выяснить, что послужило причиной их окончательного разрушения: авиабомбы, снаряды орудий больших калибров или взрывчатка, дерзко подложенная под эти доты бойцами инженерно-саперного подразделения.

Подвергались анализу скорость продвижения родов войск, количество средств поражения, выпущенных ими по целям в единицу времени, система и маневр огня во всех подвижных моментах боя.

Каждый представитель своего рода войск испытывал при этом ревность к другому роду войск, высказываемую подчас в недружелюбной форме. Армия есть армия — старший критикует младшего, командир — подчиненного. Но всегда можно найти равного себе по званию, по должности и, не нарушая уставного положения, выложить ему все, как понимаешь. В разговорах выражали недовольство, утверждали, что и сами могли бы справиться при наличии одних лишь своих боевых средств, без излишней поддержки со стороны приданных сил.

Но существует привилегия для тех, кто участвует на разборах учений, — здесь знание может спорить со званием.

Когда же бойцы-коммунисты обсуждают на своем собрании ход учений, каждый из них — добровольная мишень для обстрела товарища: вызывай огонь на себя — это и есть самокритика по-солдатски, из нее потом рождается ратный подвиг самоотверженности в бою.

В силу всех этих обстоятельств для дружественного общения различных родов войск выбиралось время или перед учениями, или после, в канун подготовки боевой операции, в час отдыха перед ней, чем Буков и пользовался, как и другие члены экипажа его машины.

Бой есть бой — дело коллективное, мудреное, и после каждого боя ума прибавляется для ведения нового боя. Поговорить о минувшем, обсудить будущий — солдатская необходимость. Но как? Торжественно, словно на митинге? Не пойдет. Зачем же со своими своему величаться? Лучше всего между собой по-солдатски, начистоту, но с подходцем, чтобы не коснуться, не задеть сокровенного,

пережитого, и вместе с тем для обоюдной пользы. И чтобы всем было приятно слушать, чтобы ни у кого не гасла охота свое соображение высказать, не быть хуже других. И тут по натуре, свойственной нашему человеку, отдавалось предпочтение тем, кто обладал способностью говорить так, чтобы при этом не себя над другими ставить, а другого раздразнить, вызвать на рассуждения.

Эту фронтовую манеру усвоил и Буков, и владел он ею не хуже других.

Поэтому, появляясь во взводе, которому назначалось в бою следовать за его танком, Буков прежде всего советовал, лукаво усмехаясь:

— Вы, ребята, главное, наизусть номер моей машины запомните. Он счастливый. Если от брони отстанете, повторите мой номер, не подведет.

— Понятно, значит, сам рванешь, а нас с одним только названием номера оставишь?

— Потерять мне вас жалко, — задумчиво произносил Буков, — уж больно вы симпатичные. Только не знаю, как вам за мной поспешать, разувшись, что ли. Начальство из жалости к вам наметило рубежи для передышки. Но у меня своих делов в машине до черта, могу и позабыть, где для вас остановку делать.

— А мы тебе сами укажем. Танки нам приданы, а не мы им.

— Допустим! Ну, а как же скомандуете, если вы такие полновластные?

— Постучим прикладом в броню, напомним.

— По мне немцы снарядами стучать будут. Шуму всякого хватит.

— Для наружного наблюдения мы тебе на танке своего человека посадим, он по крышке башенного люка колотить будет...

— Ну мало что он вдруг заколотит, может, ему просто до ветру захочется.

— Причина уважительная.

— Вот именно, хорошо бы заранее установить, чтобы стучал с толком, по сигнальной договоренности, — мол, пешка отстала, огневую опасную точку просим подавить, или даже допустим, по личной нужде ему желательно. Если башковитый боец, так может угодить во всем.

— Какой добренький! Думаешь, если со всех сторон железом прикрыт, так немец через него не достигнет? Нам-то со всех сторон виднее, как он казенную твою машину пожелает испортить!

— Вот правильно,— согласился Буков.— Имущество у меня ценное. Желательно его зря не повредить. Сунет какой-нибудь отчаянный фриц гранату под гусеницу — испортит на ней обувь. У вас снайперы, пусть окажут любезность — за такими хулиганами присмотрят.

— Снайперов мы имеем. Присмотрят за твоей коляской.

— Коляска у меня ничего, пока исправная,— сухо сказал Буков.— На ходу.

— С полным удобством воюешь, как в самоходном доте. А мы одной гимнастеркой от пуль прикрытые.

— Зато у вас ноги; правда, у некоторых даже головы при них. Вот ежели она имеется в наличии и ежели ею правильно пользоваться, большое удобство для боя.

— А ты этим удобством сам пользуешься?

— Мы кто — простые механики. Жми на рычаги — всего делов. Это вам прозвание дали: пехота — царица полей,— произнес с усмешкой Буков.— А сунешься машиной на эти ваши поля царственные, от мип деваться некуда, проходы, если саперы нечисто приберут, дочистить не вашего ума возможность.

— А ты, видать, минами пуганный!

— Правильно, любитель, чтобы снарядами молотили, а когда мина подо мной рвется, сильно вздрагиваю, могу от этого ушибиться, блямбу на лбу набить.

— Значит, хочешь свою личную красоту сохранить?

— Желательно, по возможности.

— Ладно, есть у нас ребята сообразительные, выскочат, поконаются щупом, обеспечат тебе пожизненное пространство.

— Вот это приятно,— расплывался в улыбке Буков,— а я им за это в одолжение из пулемета местность буду прочесывать, чтобы обстановка была приятная для работы. А если будет от них особое желание, можем из орудия. Как закажут, так и будет.

— Скажи какой щедрый, снаряда не пожалел!

— Вы всего меня еще не знаете. Как первые траншеи их минуем, подвезу на резвом на всю тактическую глубину. Пуляйте на ходу с брони сколько вашей душе угодно, отдыхайте от пешего вашего хождения со всеми удобствами. Транспорт мной обеспечен.

— А через противотанковый ров тебя как, вместе с машиной на руках перенести? Или толкнуть, словно полуторку? Только весу в твоём агрегате, как в каменном доме, не меньше.

— Если с ходу не возьму. Бывает, закиснешь.

— Ни туды и ни сюды?..

— Именно.

— Мы от себя тебе сюрприз имеем. Бревна с пакатов пачку связали. К корме привяжем. Вид, конечно, у боевой машины получится некрасивый, зато на самообеспечении.

— Вот за это спасибо, ребята!

— Спасибо тогда скажешь, когда мы тебя, как борова, из ямы вытащим.

— Я это из вежливости, на всякий случай.

— Фамилия твоя как? Запомнить желательно, если машина у тебя заглохнет, чтобы после войны ты случайно ко мне в колхоз трактористом не зачислился. Мы механиков только знающих будем брать. Из гвардейских частей, с набором всех регалий.

— Они у меня воп на виду!

— Ладно, но мы тебя еще лично проверим. Если подходящий, значит, считай себя зачисленным на высшую должность. Землю пахать — это тебе не танки фрицевские сшибать, большая аккуратность требуется.

— А ты что, взводный, из председателей?

— Угадал.

— Ну что ж, значит, снова народ тебя выберет.

— Это почему ж так обязательно?

— Толковый ты мужик.

— Ты тоже ничего. В трактористы, пожалуй, ко мне годишься.

— Ну, значит, поладили!

Буков пожал взводному руку, а тот ему.

Но это последнее вовсе не обозначало, что они договорились насчет их будущей мирной жизни, а то, что совместные действия их в бою полностью согласованы и обусловлены.

Хотя положено было обсуждать это несколько иначе, вроде бы шутейное обсуждение было им больше по душе, теснее по-человечески сближало, что для боя имело часто решающее значение.

В этом же духе Буков беседовал с самоходчиками, с артиллеристами, бойцами инженерно-саперного подразделения. Бойцы разного рода войск запоминали танкистов, каждого из них в отдельности, и запоминали те особые условия будущего боя, в котором им предстоит взаимодействовать, оказывая друг другу обоюдные боевые услуги.

Так очеловечивался план боевой операции, очеловечивалась взаимозависимость всех родов войск, ибо главная повелительная сила в бою — человек, со всеми его особенностями.

Как бой, так и труд — дело коллективное. После совершенного Степаном Захаровичем Буковым тщательного и досконального обозрения горнорудного хозяйства карьера в сознании его четко отпечаталась картина взаимодействия всех технических мощностей карьера и людей, ими управляющих.

В комплексной бригаде объединяются представители различных профессий, интересы которых не всегда и не во всем гармонически совпадают. Существуют противоречия. И если их с умом не преодолеть, возникает антагонизм. Так, например, для обрушения блока буровики намечают в зависимости от горной массы частую или редкую сеть скважин. Из таких же соотношений взрывники определяют мощность зарядов: при норме не свыше двух процентов негабарита.

Хорошо, грамотно произведенное обрушение — залог успеха работы машиниста экскаватора. Но если в забое обнаруживается большое количество негабаритных глыб или даже, допустим, две-три скального объема, машинист оказывается в положении спортсмена, которому на штангу по небрежности надели вес, который не под силу даже абсолютному чемпиону мира.

Спортсмен что ж, посонит, посонит, подергается, убедится, что тяжесть не соответствует его возможностям, и потребует, чтобы судьи исправили ошибку.

Машинисту хуже. Он должен во что бы то ни стало освободить от негабарита фронт добычи и долго, терпеливо, настойчиво возиться с такой глыбой, ощущая перенагрузку машиной, испытывая чисто психическую, нестерпимую боль в мышцах, до тех «белых пятен» в глазах, которые появляются у тяжелоатлета в момент поднятия рекордного веса.

Но если после подвига спортсмен испытывает счастливое чувство удовлетворения, то машиниста, напротив, охватывает ярость. И после смены он высказывает горному мастеру свое мнение о нем в таких выражениях, которые наша общественность считает недопустимыми.

Помимо прочего, негабарит бьет по добыче и, значит, по заработку машиниста. Если, скажем, от неравномерной глубины скважин в подошве забоя остаются гребни, то на них не поставишь строго горизонтально экскаватор, возможен перекос, и машина от этого страдает.

Интерес буровиков: дать побольше скважин на не-сверхтвердых грунтах и поменьше на сверхтвердых — нормы у них в метрах. А интересы взрывников: экономить при всех обстоятельствах взрывчатку, но побольше произвести взрывов.

Подобные противоречия существуют и у других представителей горняцких профессий, в том числе у транспортников, которые предпочитают длинные маршруты коротким. Премияльные получают с тонно-километра.

Бригада, в которую зачислился Буков, не считалась передовой. И странным прозвучало предложение Букова проводить летучки не до начала рабочего дня, а после, с целью выяснить, кто лучше всех работал в истекшую смену.

Буков пояснил миролюбиво:

— Мы спорим, ругаемся, кто из нас хуже работал. А почему же не выяснить, кто лучше? И ему удовольствие, и нам приятно — стоящему человеку хоть руку пожать. Вроде как перед строем вынести благодарность.

Произнес задумчиво:

— Самое скверное — это когда человек к плохому привыкает. Легче всего к плохому привыкнуть...

Первая такая летучка затянулась. Но после бурных споров большинством в один голос было признано, что лучше всех в смене работал нынешний день бульдозерист Васильев. И после того как не все охотно пожали ему руку, Васильев, багровый, сконфуженный, вдруг взволнованно сказал:

— Вот, когда свои же признали, мог бы даже, не уходя, на вторую смену остаться. Такое, значит, хорошее получается настроение.

— Открылся?

— Сами же вознесли.

— Так, на один день.

— Понравится — еще захочет.

— Желающие найдутся.

— Не ты ли?

— Все может быть...

С ходом времени тщательный разбор рабочей смены, почему тот или другой заслужил первенство, обрел ха-

раक्टर интимного и глубокого проникновения в сущность трудового дара каждого. И хотя премиальной надбавки все это не сулило, люди дорожили высоким мнением коллектива, гордились им. Чувствовали себя счастливленными.

Однажды Буков пришел в контору рудника и попросил бухгалтера не без робости:

— Аполлон Григорьевич, не могли бы вы изобразить в цифрах, сколько на небрежностях во всяком виде работ каждый из нас в получку теряет. И второе: что получится, если вообразить — нет никаких потерь. Сколько тогда на руки каждый получит...

Через неделю бухгалтер передал цифровые выкладки Букову. Буков переписал их крупно на листе ватмана и повесил на доску рядом с различными приказами. Потом на собрании сказал:

— Вот два наших цифровых портрета. Один неказистый, на текущее время. А другой — мечта! Один обидный, а другой исключительно красивый.

Степан Захарович ходил на курсы по вводной части общей характеристики геологии, слушал лекции по визуальному определению сортов руд, регулярно посещал семинар для механиков. Кроме того, он записался в конструкторское бюро на общественных началах машинистом-испытателем, поскольку такой штатной должности не было.

И если к этому приплюсовать различного рода партийные поручения, бытовые хлопоты о членах бригады и даже регулирование их домашних конфликтов, на одного человека нагрузка порядочная.

Для того чтобы сохранять при всех обстоятельствах душевную и физическую бодрость и быть всегда «на высоте», Буков вынужден был вести строго расчетливую жизнь, — как он говорил, «по армейскому расписанию».

Даже в приятной компании, с хорошей закуской, Буков, взглянув вдруг на ручные часы, объявлял категорически:

— У меня, ребята, отбой.

И уходил на твердых ногах, неумолимо отказываясь посидеть еще минут двадцать. Подвиг для умеющего и любящего принять в норму немалый.

Вставал засветло, шел в карьер пешком. Для моциона и продумывания работы на сегодня.

Возвращаясь с рудника, расслабленно дремал в автобусе, но разом просыпался, когда автобус подходил к поселку, там, где его ждало какое-нибудь дело или учеба.

В боковом карманчике у Букова всегда лежала аккуратно свернутая бумажка, куда он с вечера записывал себе

задание, что ему надлежит сделать, о чем и с кем поговорить.

Эту манеру он себе завел после того, как прослушал лекцию «О гигиене умственного труда».

Однажды у него появилась записка: «Совесть совестью. Но определение оптимального варианта режима по сортной добыче на счетной машинке — вещь!»

— Я не таксист, — сказал Буков на совещании дирекции рудника, — чтобы гонять экскаватор по территории карьера, а вдруг кто внезапно закажет! Конечно, приказ есть приказ. На все времена — закон. И обсуждать его во время работы не следует. Но понять его я должен: как понять, спрашивается? Вовсе не требуется, чтобы диспетчер приказ объяснял мне по радио. Нужна строго плановая перспектива. А ее оперативно вычислить по запасам на текущую неделю может быстро только счетная машина — штатной инструмент, тогда я к маневру заранее готов.

— На каком руднике вы видели счетные машины?

— Читал, с людьми разговаривал, стоящее обзаведение, — уклонился Буков от прямого ответа.

— И дорогостоящее!

— Самое дорого обходящееся в любом деле — это суeta в конце месяца по выполнению плана добычи.

— Машина людей не заменит.

— Но мозги вправит тем, кто со штурмовщиной сжился. И цифрой, без дискуссии докажет наши ошибки.

— Конкретно, что вы предлагаете?

— На средства, сэкономленные по ремонту техники, заключить договор с республиканским институтом кибернетики.

При этом Буков лукаво усмехнулся и хохотнул добродушно:

— Будет тогда над всеми еще одно высшее начальство — счетная машина. Вот я за то, чтобы ей штатную должность предоставить.

И где бы, на каком уровне ни шло совещание, Буков упорно сводил разговор к управлению производством посредством техники, в чем его поддерживали многие специалисты.

На совещании в областном комитете партии по вопросам партийной учебы Буков попросил слова и заявил:

— Вот в плане у нас лекции на тему «О научной организации труда». А зачем?

По залу прошел насмешливый гул. Буков выждал, переступил с ноги на ногу, выпил воды.

— Думаю, не только для чистого просвещения, но и для того, чтобы коммунисты за это дело боролись. Вот, например, счетная машина! Может она разработать определение оптимального режима по сортной добыче. Вот мы и не будем таскаться по территории всего карьера — клады искать. Скажете, дорогая вещь, с обслугой и прочим. Пересортица-то дороже обходится. Вот я коммунист. За такую машину подаю голос.

Буков поднял руку и, не опуская ее, глядя в зал, ждал. Попросил жалобно:

— Может, поддержите, а?

Стал считать, кивая. Оглянувшись на президиум, объявил, сияя:

— Большинство — «за»!

К залу:

— Спасибо, товарищи. — Снова к президиуму: — Скажете, пробивной, да? Но я у себя с коммунистами советовался. Дали наказ — жми! Партия как дело нынче по всей линии жизни ведет? Научно обоснованно. Вот! Все! — Посмотрел на часы. — И в регламент уложился. Ну как? — спросил шепотом Буков соседа. — У меня на бумаге убедительнее, с выкладками. Но читать постеснялся.

— И правильно. Нечего жевать по написанному.

Буков досадливо поежился:

— Вот забыл сказать. Можно и подержанную купить.

— Давно этим болеешь?

— Инженер из нашего общественного конструкторского бюро на мой экскаватор свой экспериментальный автомат поставил. Как машина в простое — сразу радиосигнал автоматически. Хочу или не хочу, сигналист. Сразу диспетчер из динамика на весь рудник: «В чем дело?» Никто из машинистов не хотел такого у себя автомата. А я согласился. Совесть совестью, а контроль посредством автомата тоже гарантия. Техника! Разве на нее обидишься, если даже она на тебя кричит? Ну и зажегся. Инженер объяснил дальнейшие возможности. Можно с человека большие нервные нагрузки снять, чтобы не только человек человеком командовал, но и автоматика автоматикой.

— Культурно! — сказал сосед.

— А как же! Скинем с человека излишнюю нервную нагрузку по оперативному руководству и контролю. Жизнь?

— А ты там, в карьере, на руководящей работе?

— Когда план с присыпкой даю, — усмехнулся Буков.

— Какая же у тебя все-таки должность? — допытывался сосед.

— Главная, — сказал Буков, — руду брать...

Обычно, дожидаясь порожняка, Буков не сидел без дела: выравнивал подошву забоя ковшом, производил перевалку глыб, перелопачивал по сортам руды. Так что насыщенность труда у него была всегда высокая. После смены, отдохнув, он уходил в другой забой, где работал еще час, уже в качестве машиниста-испытателя. Программа испытаний была сложная, включала задачи обнаружения слабостей машины путем ее перенагрузки и даже излома. Здесь требовались виртуозное мастерство, пытливая наблюдательность, смелость, бесконечное терпение, спокойное самообладание и выдержка.

Буков считал эту работу не только почетной, но и приятной. Объяснял конструкторам:

— Человеку надо обязательно время от времени себя тоже на чем-нибудь испытывать. Ну и, кроме того, вот так собственноручно разберешься и поймешь: новая техника не сразу дается. А то мы привыкли: давай новую. Но прежде чем ее на производство выпустить, она обязана на перегрузках бесчисленно раз надрываться. Но уж если выстоит — вещь. — Сказал задумчиво: — Мы вот так тоже новой конструкции танк испытывали в бою. Сгубили боевую машину, когда их в излишке не было. А нам за это в госпитале награды генерал повесил. Сказал: за то, что всю программу испытаний выполнили! А мы как ввязались в бой — зашлись, забыли, что мы танковые испытатели, сражение — это не пехотой в атаку бегать. Снаряды израсходовали, сунулись на таран, вне программы. Но оказалось все полезным для конструктора, как и то, что в нас попадания имелись. Просили танк нам оставить. Обещали —отремонтируем. Не разрешили. Погрузили в вагон и уволокли в тыл.

А мы уже к некоторым недостаткам этого танка привыкли и приспособились. Потом я читал: если испытатель к недостаткам машины привыкает, то он вовсе не испытатель. Но тогда мы такого не знали. Воевали на нем, и все. Обрадовались, что новый, а не после ремонта.

Пронзнес печально:

— Командира экипажа посмертно наградили, но не за испытание, а просто за геройство в бою.

— А вы кем были?

— Так, слесарем-механиком, на случай текущего ре-

монта. Ну и механика-водителя место занимал, временно, конечно.

Сказал пылко:

— В человека я по-настоящему только на фронте выдушился... И не сразу. За то, что живой, несчетно раз другим обязан. За каждый свой теперешний день. — Смутившись, поспешно пояснил: — Я это так, к тому, что жизнь — дело ответственное, а не просто существование для своего удовольствия...

19

В начале Буков строго придерживался рамок интересов своей специальности, выделяясь среди прочих только числом кубиков грунта, вынутых за смену и за квартал в целом.

Но именно это стало показателем, по которому его стали выбирать в президиум собраний, где он до времени сидел, помалкивал. А затем даже выбрали в члены строительного партийного комитета, главным образом руководствуясь его хорошей биографией и производственными достижениями.

Буков сдружился с молодыми инженерами, увлек их рассказами о войне, о которой говорил по-своему, не столько о фактах героизма, сколько о мудрейшей организации боя в соответствии с местностью, состоянием инженерных укреплений противника и его огневых средств, о том, как с ходом войны при растущей мощи в подвижных средствах менялась тактика. Отсюда он совершал хитрый рывок, переходил к рассуждениям о подвижных транспортных средствах, делился своими наблюдениями.

— Я понимаю, — говорил Буков. — Самосвал — машина мощная. Но возьмите: ресурс мотора, горючее, резина, текущий ремонт, дорожные для него покрытия, гаражное хозяйство, на каждую машину опять же водитель, который поровит больше ездки сделать и от этого не всегда с полным кузовом.

Для хозяйственника чем самосвал хорош? При нужде можно на любые нужды использовать. Один в ремонте, другой ходит. Дороги нет, не достроили, — так, значит, в объезд. Машина до срока из строя выйдет — из двух одну собрать можно.

На фронте как? У каждого калибра своя функция. Тяжелый танк против пехоты не ходит — бронетранспортер идет против пехоты! — а с рудника самосвалы берут на стройку, будто простые грузовики. Это раз. Второе — на

самосвале с прицепом не поедешь. Электровоз — он сколько вагонов тянет? На самосвалы пересчитать — целую колонну. А водитель один. Скорость на всем пути обеспечена, ни вправо, ни влево сворачивать не надо. Горючее тоже — по дешевке электроток. Вагон — сто тонн!

— Так что же вы предлагаете?

— Я ничего не предлагаю, — спокойно поправлял Буков. — Я рассуждаю. С пониманием того, что сейчас без самосвалов на вскрыше нельзя. Но на что курс окончательный держать, особо на нижних горизонтах? Машины нам подкидывают в соответствии с планом проекта — работать в основном на автотранспорте, а железнодорожный вроде только вспомогательный. А если наоборот?

На фронте, бывало, назначают приказом удар на главном направлении, а другой, послабее, на вспомогательном, но если на вспомогательном обозначится успех, оно становится главным, и тогда туда все. Я вот и беспокоюсь: железной дорогой сейчас вывозят не меньше породы, чем на самосвалах, а она у нас все еще считается только вспомогательным направлением. А может, она основное, выгодное? Тогда как?

Говорил ободряюще:

— Вы, ребята, из-за состояния возраста не воевали, учились. Но инженер кто? Командный состав. Вот и соображайте, какими основными средствами дело вести.

Немец по линии артиллерии полагал — пушки устарели. Очень на танки надеялся. А мы их орудиями били, и до самого конца били. Так же и по линии железной дороги — не устарелое это средство! Не паровоз же теперь, а электровоз. И для скорой прокладки путей машина изобретена — железнодорожный комбайн, — кладет рельсы, уже на шпалах собранные. Насыпь бульдозер навалит, самоходный каток обомнет, и кладки железную плетъ — скоростное дело. И прочное. Вот говорили: танки — все, я сам танкист, я их обожаю. Но самоходное орудие — тоже вещь. А в чем смысл? Та же пушка, только не на колесах, на гусеницах. Проходимость исключительная, боекомплект при себе. Дал залп, сменил позицию без суматохи.

Проломные средства — крупный калибр. Танку такой таскать невмочь и ни к чему. У него своя задача — на всю тактическую глубину проскочить и там дров наломать противнику огнем и гусеницами, а потом и в стратегический прорыв уйти.

Вот я и думаю — конечно, как машинист экскаватора, в своем масштабе: мне какое транспортное обеспечение

нужно? Солидное, емкое. Нагрузил эшелон полностью, и фронт забоя мне подготовят соответствующий, и я его выгребая без мелкого частого простоя в ожидании, пока самосвал подкатит да пока он под ковш правильно пристроится. Мне от больших, просторных емкостей прямая выгода, но надо на карандаш взять, как тут у меня с государственным расчетом, совпадает или не совпадает? — Пояснил: — Почему я так на вас кидаюсь? Допустим, фактически мы потом на железнодорожный транспорт и переключимся почти полностью. Но линия сейчас — на самосвалы. На них большие средства потратят. Администрация должна будет оправдаться в затратах, ну и придется ей за самосвалы цепляться, тем более они предусмотрены как основное средство. — Опять пояснил: — Сейчас не возражаю, я за будущее сомневаюсь. А за него надо браться сейчас, за будущее, если оно не за самосвал держится.

Сказал инженеру Струнникову с улыбкой, доброй и благодарной:

— Ты вот, Сережа, сколько ночей недоспал, все на бумаге рисовал, подсчитывал. У тебя какая цифра получилась в итоге? Тонно-километр автотранспортом обходится в одиннадцать копеек, а железнодорожным — всего полторы копейки. Помножить на всю выработку да на все года, большие миллионы получатся. Вот вы про транспортер задумали — красивая вещь. Пока несосчитанная. Я их видел, транспортеры. Даже в километр-два. Но чтобы в девять! Это же как лавина, только высокоорганизованная.

Говорил ребятам:

— Вы на войне не были, без вас обошлись. Но за это с вас причитается. Воевать вам надо тут, на этой местности. И с умом. Без ума боя нет — драка. — Усмехнулся хитро: — Вы вот кино, книжки и другое всякое при мне здорово драчливо критиковали, то не так, это не по-вашему. Возможно, это уму вроде физкультуры, полезно. Хотя и не во всем мне ваша такая гимнастика нравится. Очень вы фасонитесь. Но ничего, сойдет по мелочи. А вот на крупном так нельзя — только на словесности. Тут надо обстоятельно все средства проверить и на полевые условия выходить, на передний край то есть. Мирное существование тем нравится, кто не горит, а только теплится. Ум на ум — самый полезный бой. Чтобы большую высоту взять. Вот как Сережа корпел: считал и интерес всеобщий высчитал.

Прихватив черновые расчеты молодых инженеров, Буков и выступил на заседании партийного комитета твердо,

непреклонно, да еще по такому крупному вопросу. И показал себя при этом спокойным, выдержанным. Когда ему бросили реплику с вопросом об образовании, Буков спросил иронически:

— У кого? У меня? Не самое высшее. Но расчеты, которые я вам представил, товарищами произведены по моему заказу. У них образование у всех самое что ни на есть лучшее.

— Столько людей успели допросить, да еще с пристрастием, диспетчеров, водителей, дорожников — просто обвинительный акт!

— А у меня опыт, — сказал притворно-добродушно Буков. — Служил в Особом подразделении, доводилось всякий розыск вести.

— А теперь против кого же ведете?

— Зачем против? За! — удивился Буков. Добавил твердо: — Я же слышал, на автобазе выступали люди: пятьдесят процентов порожний прогон. А сейчас за что автотранспорт борется? За то, чтобы порожних рейсов не было. Под погрузкой стоят с невыключенным мотором, жгут зря горючее. Простой экскаваторов тоже. У прикрепленной машины баллон, допустим, спустит, жди, томись в бездействии. Водители сами толкали на то, чтобы задуматься.

— А теперь вы толкаете?

— Не я, — улыбнулся Буков. — Дело!

Приняли решение создать комиссию.

Буков попросил жалобно:

— Только меня вводить не надо. Сергея Струнникова, пожалуйста. Сильно смышленный товарищ. А я только так, на подхвате. — Произнес извиняющимся тоном: — Я знаете как волновался! Боялся, собьюсь или кто собьет. А вот слушали. — Признался, потупившись: — Трусил, конечно. Поэтому, может, излишне на голос нажимал. Заметили?

Секретарь парткома Лебедев попросил Букова задержаться, спросил, когда остались наедине:

— Ты что же, без разведки — и сразу в бой? Мы к бюро этот вопрос готовили, занимались. Ну ладно, обошлось. А мог бы и сорваться.

Буков сказал:

— Самосвал, он где себя показывает? На выемках грунта под большое сооружение. А тут добыча на года рассчитана. Транспорт не временный, а постоянный нужен. Чтоб он, как конвейер, действовал от завода, и заводу только служил, и на стоимости продукции не сильно отражался.

— Смотри, какой знающий!

— Это не от себя, от людей,— сказал Буков. Пояснил: — У меня память на хороших людей. От каждого чего-нибудь прихвачу.— Сообщил радостно: — Вот молодые ребята, инженеры, приняли меня в свою компанию. Набираюсь полезного.— Попросил: — Надо бы их транспортер тоже обсудить. Со свинцового рудника предлагают тянуть. Руду, полагаю, выгода, а насчет породы — это лишнее хватили: в отвал тянуть — себе дорожке получится.

— А свою жизнь как обустроил? Почему бессемеиный? — спросил Лебедев.

— Не довелось.

— Подходящую не нашел?

— Нашел, да тут же и потерял окончательно.

— Война?

— Нет, в мирной обстановке.

— А моя при мне сохранилась, санбатская. Зашел бы!

— Чего же, зайду,— согласился Буков. Помедлил, помолчал, потом произнес увещательным тоном: — Только ты завышенно обо мне не думай. Я, по существу, с чужими мыслями только выскочил. В одиночку не додумался бы.

Вышли они из парткома вместе.

Небо было просторное, звездное, светящееся, далеко в пространстве зазубренная горная гряда с застывшими потоками ледников на вершинах. Ветер с гор был прохладный, с запахом родниковой воды. Лебедев кивнул на горы:

— Вот она — холодильник и фабрика рек, на все века. Солидное сооружение природы.

— Подходящее,— согласился Буков.— Но мы тоже кое-что от себя можем выдать заметное.

— Для того и живем,— улыбнулся Лебедев щекой, глубоко внавшей, с бурными следами шва.

— Откуда отметина? — осведомился Буков.

— Из воздушного пространства,— сказал Лебедев.— Я фрица подбил, он меня тоже. Сыпались оба на парашютах. Он в меня из парабеллума, а я его из ТТ приветствую. На земле продолжили. Фрицы на машинах к месту приземления спешат. Ну, думаю, все. Но ведомый сначала прошелся штурмовкой, потом сел, открыл обтекатель за кабиной, я туда — взлетели. Спасибо сказать долго не мог. Ничего не получалось, пока щеку не зашили. Жена скобки накладывала. Боли не чувствовал, тревожился только: она у меня красивая, а я после такой штопки, думал, получусь не очень. А все же до сих пор любит!

— По этой линии я только ушибленный. Не организовалось у меня счастье,— мрачно сказал Буков.— Взошла

на горизонт подходящая, на бензозаправщике работала. В кино вместе ходили, и так просто. Я ее все время нудил: «Учись!» И уговорил. Поступила в автодорожный техникум в другом городе. Написала, будто из-за сильной любви ко мне только послушалась. Конечно, спасибо за это. Но разве так только любовь выражают? Ответил: «Значит, учись». И на этом писать кончил. Она, конечно, обиделась.

Спросил обеспокоенно:

— Может, я чудной?

— Душевный. Вот ты кто, — твердо сказал Лебедев.

— Хватил через край, — застеснялся Буков. Поспешно пробормотал: — Ну, пока. — Свернул к стандартному дому — общежитию для холостяков.

20

Как в тяжелые первые военные годы, так и в спокойное послевоенное время Степан Буков в общем сохранял свой живой вес в норме с плюсом или минусом в три-четыре килограмма. Терял он обычно от переживаний. Расстраивался для посторонних незаметно. После смены походка становилась тяжелая, сердитая, если во время работы от глупости других случались неполадки и от этого он простаивал.

Он просто на глазах мог отощать, сидя в кабине экскаватора и беспокойно поглядывая в дверцу с опущенным стеклом, когда случался простой. Если же все обстояло нормально, он сидел в кабине экскаватора с выражением блаженного отдыха на лице, какое бывает у летчика, доверившего машину автопилоту. Только вся разница: Буков с этим выражением на лице ворочал рукоятями контроллеров, то беря их на себя, то отдавая вперед, работал ногами на педалях, вертя головой то вправо, то влево, поскольку не было у него такого прибора — автомашиниста, на который можно положиться почти как на человека. Это летчик может лететь по прибору, на землю не глядя, по тысяче километров в час отхватывать запросто. А у Букова каждый метр забоя — серьезное, ответственное пространство. Тут, как Зуев любил наставлять, надо все время аналитически мыслить и оперативно оценивать каждый факт. Вот крупногабаритный кусок, можно его ковшом подцепить на зубьях и свалить в думпкар, но ведь так и повредить емкость недолго. Приходится сначала наваливать подушку из мелочи, а потом сверху положить крупный габарит. Вот куски руды обнаружились, надо их подлопатить в сто-

ронку, пока идет выборка породы. Потом, когда руда пойдет, прихватить и эти куски. Клад не клад, а все же ценность. Вскреб жилку на полковша — ювелирная работа. А ковш не совок, емкость — вагонетка на восемь кубов. Он сумеет и коробку спичек с земли поднять так же, как глыбу камня многотонную.

Буков работает на дне карьера, на самом нижнем его горизонте, у восточного борта, куда еще железнодорожную ветку не протянули, но будут тянуть, это точно.

Котлован налит тяжелым, жгучим зноем, синевато-сизым от едкой загазованности свыше нормы. Буков договорился с директором карьера, чтобы вызвали вертолет, вот он сейчас висит в котловане, как гигантский вентилятор, махает лопастями, проветривает помещение.

В кабине экскаватора поставлен кондиционер, но Буков не считает справедливым, что у него может быть персональная, относительная с пеклом котлована прохлада, и поэтому включает свой кондиционер редко. Главное, надо, чтобы скорее железнодорожную ветку наладили: электровоз дизельным топливом не чадит, выхлопных труб не имеет. Самый гигиенический вид транспорта, помимо всего прочего!

Ребята шутили: по случаю запыленности надо требовать к спецовкам паранджу.

Буков с механиком карьера помозговал — пустили дождевальные установки собственной конструкции. Под сильным напором они не брызжут, а только водяной пылью взвешенные частицы обволакивают, освежают, ну и воздух, конечно, увлажненный, прохладный.

Перед работой Буков всегда просматривает у буровиков взрывной паспорт, который дает геологическую характеристику фронта забоя, чтобы заранее точно знать, с какими пластами придется иметь дело. В зависимости от этого и настраивается. Если сплошная порода, давай темп. С выходом руды бди, чтобы не свалить ценный материал в отвал. Пойдет рудное тело, сразу появляется хорошее настроение — к самому себе уважение прибавляется.

Если руда бедная, то ее вывозят в специальный складировующий отвал. Сейчас наука и техника еще не обеспечивают выгоду переработки бедных руд. Но, надо полагать, придумают дешевую методику, и тогда все в дело пойдет — выцедят медь и из никудышной пока, нищей руды.

В среднем как получается? На тонну руды три куба вскрыши, в год по вскрышным работам — пятьдесят миллионов кубов, поделим на три — цифра хорошая получается.

Когда забой обеспечен транспортом, а взрывники раскрошили уступ по всему фронту по оптимальным параметрам и габаритов по норме не больше двух процентов, тогда работа идет без особых о ней мыслей — нервы отдыхают, и ты можешь размышлять о чем угодно. Как бы полутотсутствуешь на рабочем месте.

Утвердили проект транспортера ребятам — будет он шуршать лавиной, поднятой над пустыней, над ущельями на стальных мачтах. В горном теле для него будет специальный туннель пробит. Говорят, что подобного транспортера на планете пока еще не заводили. И тут Букова грызет зависть — у него всегда слабость по этой линии: присматриваться к специальностям других. Так и тянет себя на новом деле испытать, ну просто какая-то хищническая жадность. Привезли для прокладки туннеля горнопроходческий комбайн со щитом и к нему целый букет буровых приспособлений со всяческими, даже алмазными коронками. Могучий агрегат! Ходил вокруг него Буков и даже холодел при мысли, что не он, а кто-то другой будет на этой машине работать. Щемило сердце так, будто чем-то на всю жизнь обидели, обошли, недооценили. Страдал молча. И до сих пор страдает. Подобное с ним было и тогда, когда в карьере рудника появились первые самоходные буровые установки, — тоже тосковал, завидовал, томился.

Восьмикубовый экскаватор — инструмент серьезный. Но есть и шагающие, и роторные. Конечно, Степан Буков на людях подавлял в себе чувство неукротимой зависти, не высказывал сожаления, что его обходят высшей новой техникой, но наедине с собой страдал, томился.

И вот даже сейчас подымет глаза, поглядит на вертолет — и тоже тянет туда, на высоту. Что он, не мог бы у штурвала сидеть, как тот пилот в гражданском костюмчике, при галстукe, в берете? Он, этот пилот, взялся стальные, смонтированные опорные мачты по воздуху доставлять на трассы транспортера. Вот какая штука получается: воздушный подъемный кран и одновременно транспортное средство. Перспективная вещь! Есть люди, которые стареют, а есть, которые устаревают. Это когда от новой техники отстают...

Буков включил рацию. Вызвал горного инспектора, предупредил:

— У меня тут выход руды намечается. Пришлите геолога. — Затем транспортному диспетчеру доложил: — Готовьте порожняк для руды через две ездки с породой.

Делал это он машинально, продолжая думать о своем, постороннем для работы.

Вот Сережа Струнников и другие ребята-инженеры занялись автоматическими устройствами. Как они выражались, с целью блокировать отрицательную психологию, чтобы человек на машине по рассеянности не совершал глупость и автомат его одергивал бы сигналом. Вещь нужная! Но только техникой с отрицательной психологией не сладить. Надо человеческими, надежными способами.

Вот недавно у Букова тяжелый разговор был с бывшим помощником машиниста Курочкиным.

— Ты для меня, Курочкин, — спокойно сказал Буков, — теперь бесперспективный. И на одних кубиках тебе в бригаде не ужиться. Добыча у нас всех сверх плана. За нее деньги хорошие платят. Но за подлость вычетов в бухгалтерии не делают. Так что рекомендую: выкидывайся отсюда по собственному желанию. Это я тебе не сердито говорю, душевно. Значит, правильно.

— Пользуетесь своими званиями! — огрызнулся Курочкин.

— Главное мое звание — человек, — сухо сказал Буков. — По-человечески тебя и осуждаю.

— А у другого человеческие чувства давите

— У тебя не чувство, а хищничество, жепу у товарища крадешь.

— Так не я к ней, она ко мне привязалась.

— А почему?

— Значит, приглянулся.

— Чем? Физиономией?

— Ну и что?

— С Мартыном она вместе много горя перенесла, в больших бедах намучилась. Ее понимаем, а тебе не простим. Отчего у Мартына лицо поврежденное? Работал взрывником, запалили шнур, а какой-то охламон из укрытия вылез. Мартын к шнурам кинулся — поздно. Обоих покалечило. Его же и осудили за нарушение правил безопасности. Он тогда за ней только ухаживал, а она его отвергала. А как засудили, решила, что он допустил из-за нее, от огорчения, рассеянность по линии предупредительной сигнализации. Ну и вроде чтобы искупить свою вину, взяла и вышла за него замуж. На взрывные работы его не берут, а лучше его взрывника не было. Сначала пошел в разнорабочие, потом уж я его в обучение взял. А ученический

заработок для семейного среднего возраста обидный. Так он одну смену у меня, а другую у транспортников подрабатывал. Почернел, подсох. Наша бригада кубики брала, на него наряды выписывала. А она окончила курсы клубных работников, вернулась и, не дожидаясь того, как он сдаст на машиниста, стала с тобой разгуливать, с мародером человеческой неудачи. Так что вот,— сказал Буков.— Бригада мне поручила, чтоб ты сгинул полностью и окончательно со всех наших горизонтов.— Пояснил:— Мы бы могли еще тебя в человека воспитать, но не позволяет обстановка. Мартыну должны плацдарм обеспечить, чтобы он мог машинистом себя показать. Так что будь здоров и катись...

Буков укрепил каждый узел экскаватора — по уходу, смазке, текущему ремонту — персонально между членами бригады. Осматривая перед сменой машину, он как бы получал коллективный портрет своих людей, запечатленный в узлах машины. И если у кого дома было неладно и это отражалось на уходе, он не делал сразу резких замечаний по технике. Начинал ходить в дом к этому человеку, исподволь, осторожно выяснял, что там по ходу жизни случилось.

Мартыну он сказал так, будто между прочим:

— Вот интересный факт заметил: убьют змею, бросят на обочину, а змей к убитой приползает, положит на нее свою голову и так лежит по нескольку суток, переживает. Змея. Существо хладнокровное, а мы люди...

Мартын помолчал, подумал.

— Ладно, стерплю, как-нибудь уладится.

Буков не считал нужным рассказывать Курочкину, что у Мартына погиб ребенок, укушенный каракуртом, еще когда Мартын работал в геологической экспедиции. Сыворотки не было. Мартын повез ребенка в район на грузовике. От сильного таяния ледников река разлилась, снесла pontонный мост. Мартын на автомобильной шине переправился с ребенком через реку, а потом бежал до больницы шестнадцать километров, но ребенок умер у него на руках. И Мартын не мог простить жене того, что, когда она увидела в коляске ребенка ядовитого паука, испугалась, обомлела, закричала и только после схватила рукой каракурта, хотя уже было поздно. От этого они и жили отчужденно.

Буков заходил к Мартыну в гости, вовлекал его жену в деловой разговор о том, сколько будет получать Мартын, став машинистом, обсуждал, что им в первую очередь надлежит тогда приобрести.

— А ей,— говорил Буков, внимательно оглядывая су-

пругу Мартына, — ты сразу же на все шубу из цигейки построй в ателье на заказ. Шуба вещь капитальная, на года!

Жена тревожно оглянулась на Мартына. Тот сказал, потомившись, но твердо:

— Сделаем.

Когда Мартын получил диплом машиниста, а свободного экскаватора не было, Буков после трудного и резкого разговора с механиком карьера отдал свою машину Мартыну, а сам до получения новой работал почти три месяца на отвале, сгребал бульдозером пустую породу в откос.

Но чувствовал он себя при этом вполне удовлетворительно, не испытывал отрицательных эмоций от того, что работа на отвале не считалась почетной.

21

Вздымающаяся ввысь хрустальными кристаллами ледовых вершин горная гряда обросла за минувшую холодную, богатую снегопадами зиму многомиллионотонной ледяной толщей, что предвещало хорошее полноводье и, значит, обильные урожаи.

Весна выпала жаркая, и с каждым днем солнце палило все неистощимее, обдавало огненным зноем. И плодородные долины неувядаемо зеленели, напоенные досыта из бесчисленных оросительных каналов, сверкающих на земле, как огромная, кованная из серебра решетка.

Но то, что сулило изобилие долинам, стало угрожать им бедствием.

Горные ледники — эти окаменевшие гигантские реки, протершие себе русла по склонам и ущельям, медлительные, как тысячелетия, — пришли в движение; и от силы нажима их вдребезги рушились скалы, из трещин в горах образовались новые ущелья. Талые воды низвергались, словно сотни рек, падающих с высоты в бездну, выбрасывая высоко водяную пыль, окрашенную немеркнувшей злоеющей радугой. Горное безмолвие сменилось гулом и грохотом полигона, на котором одновременно испытываются все существующие могущественные средства разрушения...

В карьере медного рудника, в этом самодельном ступенчатом ущелье, было душно и жарко, словно в чреве гигантской печи, предназначенной для обжига колоссальных керамических плит.

Дождевальные установки дымились паром — вода их почти мгновенно испарялась. Даже сквозь брезентовые

рукавицы нагретый металл воспалял кожу. Воздух был сух, палящ и не утолял дыхание человека.

Разбитая взрывами порода и руда пахли едко, источали жар, словно шихта, выброшенная из домны. Казалось, люди дышали пламенем. Почти всех перевели работать в ночную смену.

На дневной остались добровольцы-смельчаки. Или, как сказал ласково и уважительно Буков, огнеупорные, подходящие на все трудные случаи жизни ребята.

Он присоединился к ним, сославшись на свой африканский опыт. Заявил, что в Асуане, например, дождь — такая же редкость, как в Сибири пальмы. И в сущности, жара и холод — это только крайности природы, которые со временем можно и урегулировать посредством науки и техники.

Со своей дневной бригадой Буков повел себя строго и наставительно. Высыпал в питьевой бачок горсть соли, объявив, что это давний обычай мартенщиков, рабочих горячих цехов, которому и надлежит следовать, чтобы не утруждать зря почки и не перерабатывать лишнюю воду в излишний пот.

Запретил работать в одних трусах и без головных уборов. Пояснил:

— Пускай будет лучше тепло, чем жарко. Зато не опечешься, не нахватаешься лишних калорий, отчего может получиться солнечный удар по башке или корпусу. — И тут же заметил: — Были у нас на фронте неженки. В теплую погоду брезговали в атаку бегать в стальной каске, и что же? Не то что пулей, комком твердой земли зашибало зря.

Сам Буков для примера отважно облачился в комбинезон и войлочную чабанью шапку и даже не сменил кирзовых сапог на сандалеты. Сказал твердо:

— В этом обмундировании можно безопасно лезть даже на ремонт неостывшего мартена. Конечно, тепловато, но зато, когда скину, сразу приятная прохлада. Полная гарантия: ни инфракрасными, ни ультрафиолетовыми, ни тепловыми лучами меня не прошибет. Потомлюсь в собственном тепле, и только.

Чтобы взбодрить людей, отвлечь мысли и чувства от тяжелых условий работы, воодушевить их, он призывал их к тому, чтобы возвыситься над «ночниками». И не только тем, что добровольно пошли на изнурительный труд, но и превзойти «ночников» по линии производительности. Буков ознакомил товарищей с новым методом, к которому

он исподволь себя готовил и испытывал, намереваясь применить этот новый метод только тогда, когда доберутся до мощного рудного пласта, дабы сразу «рвануть» добычу. На основе новых приемов «брать стружку».

Буков разработал способ управляемого обрушения: сочетание приемов разработки забоя в шахматном порядке с приемами разрушения. Это давало резкое увеличение производительности труда при условии сравнительной однородности взорванной массы, без значительных включений в ней каких-либо других промышленных типов руд, подлежащих раздельной выемке.

После того как Буков разъяснил сначала теоретически, а потом продемонстрировал практически, в чем заключается его метод, якобы придуманный им только для того, чтобы «утереть нос «ночникам», яростный рабочий азарт овладел его бригадой. Они стали давать по полторы-две нормы.

Применил этот новый способ Буков, руководствуясь не столько жаждой славы, сколько беспокойством. Раздельная выработка, перелопачивание горной массы требуют от машиниста экскаватора большого нервного напряжения, неустойчивой зоркости. И хотя Буков снабдил своих товарищей темными защитными, «курортными» очками, он знал, что очки не спасут глаза от ослепительного светового сверкания. Наступит зрительное утомление, а с ним промахи, небрежность в разборке горной массы. Поэтому Буков выбрал забои для дневной смены со сравнительно однородной горной массой, где способ управляемого обрушения эффективен и не ведет к разубоживанию руды и, значит, к потерям. Поэтому, прежде чем вызваться руководить бригадой дневной смены, он долго тщательно продумывал, прицеливался ко всем горизонтам, выбирая наиболее выгодные геологические условия забоев для их выработки по новому способу.

Буков хотел, чтобы подвиг людей, добровольно согласившихся на тяжкие условия работы, был вознагражден достойно и справедливо, как они того заслуживали: высокими результатами их труда.

Буков знал по опыту войны, когда люди добровольно вызывались идти на подвиг, и совершали подвиг, и даже получали за него награды: если этот подвиг не оказывал влияния на изменение общей обстановки, они чувствовали себя перед товарищами так, будто только и стремились к тому, чтобы «схлопотать» награду, а не улучшить, допустим, позиции для всех. А если так, то это скорее личная

отвага, а не то, что солдаты называют героизмом, то есть свершение смелого деяния ради всех.

По горняцким понятиям то же самое. Уж если добровольно идти на тяжелые условия, то не ради того, чтобы «выставиться» перед другими, а во имя того, чтобы поднять общую добычу, не скидывая с нее кубики на трудности.

И когда дневная бригада начала обставлять «ночников», Буков сумел добиться того, чтобы экскаваторы оборудовали кондиционерами за счет внеплановых прибылей. И вскоре в кабине экскаватора был создан микроклимат, вполне приемлемый, не хуже, чем в кабинете самого директора рудника. И бригада Букова разрабатывала уже забои со сложной геологической структурой, пользуясь отличным солнечным освещением, для того чтобы зорко и бережливо отлопачивать руду по сортам, что являлось, по существу, высшим классом виртуозного владения машиной.

Производительная работа металлургических печей достигается наличием сырья однородного состава.

Поэтому можно смело назвать работу машиниста экскаватора ювелирной, когда он не допускает попадания богатых руд в бедные или окисленных руд в сернистые.

Но только эти ювелиры работают инструментом, способным перемещать горы. И в опытных руках стальная полая глыба ковша обретает чувствительность человеческой горсти, конаясь и выбирая в забое сортные куски руды, безгласно отгребая пустую породу.

Но дело тут не только в умении, а в совести добытчика.

В бригаде Букова был машинист Игнатий Фырин. Опытный знатный экскаваторщик, обретший себе славу на разных стройках, на выемке грунтов. Но в руднике он работал недавно. На вскрышных работах первенствовал, но, когда пошло рудное тело, здесь прежних навыков его оказалось недостаточно. И когда Буков заметил, что Фырин погрузил в самосвал неотсортированную рудную массу, он приказал шоферу опрокинуть кузов здесь же, в забое.

Раздельная сортовая добыча руды в забое со сложной геологической структурой требует от машиниста экскаватора такого же искусства, как, скажем, от пилота бомбардировщика умения проделывать фигуры высшего пилотажа, назначенные истребителю.

И когда Фырин в ярости выскочил из кабины экскаватора, Буков, благодушно улыбаясь, объявил:

— На пол-литра! Разберу и свалю за пять с половиной минут. Засакай время.

Фырин ошеломленно сказал:

— Часов нет.

— На, держи мои!

Буков не справился за обещанное время. Сказал опечаленно:

— Значит, с меня причитается.

— Осрамился на людях, — осуждающе произнес Фырин. Посоветовал: — Больше не заносись.

— Не буду, — пообещал Буков.

И когда зрители разбрелись по местам, подсмеиваясь над неудачей Букова, Буков, помрачнев, сказал Фырину:

— Ты понимаешь, почему я зашился?

— Не сдюжил, и все.

— Не думал, что такая каша в самосвал повалена, на перелопачивание главное время ушло.

— Хорошо, — сказал Фырин. — Значит, ты всего-навсего хотел меня обличить? Так я понимаю?

— Так, — согласился Буков.

— А пока что себя перед людьми осрамил!

— Лучше себя, чем тебя.

— Это почему же?

— Для своей пользы.

— Хочешь, чтобы я из бригады ушел?

— Отнюдь.

— Но ты меня все ж таки унизил. Хоть с глазу на глаз, а унизил.

— Правильно, — сказал Буков. — Унизил.

— Все равно что по морде дал.

— Значит, дошло, — обрадовался Буков.

— Так как же я после этого могу с тобой ладить?

— А просто! Дай сдачи!

— То есть как это? — ошеломленно осведомился Фырин. — На хулиганство толкаешь?

— Зачем? Перекрой по сортности, только и делов.

— Вот ты какой политик!

— А ты думал...

— Хитрый!

— В обнимку со всяким не привык жить.

— А со мной не собираешься?

— С первого дня, как обставишь. При всех шапку сниму. И братский поцелуй в щечку.

— Шутишь!

— Зачем! Кто кого. По обоюдному сговору.

— Ладно, — сказал Фырин, — но чтобы без официальной. Между собой.

— На одном самолюбии? И без всякой гласности.

Эта не известная никому борьба двух машинистов длилась почти три недели. И все-таки Фырин не смог превзойти выработки Букова. И однажды он признался Букову огорченно:

— Не дотянуться мне до тебя, Степан. Извелся весь. Все тянуло без перелопачивания пару лишних ковшей свалить в машину, но рука немела. От совести.

Буков протянул руку Фырину, сказал, осипнув от волнения:

— Ну, Игнат, сильный же ты оказался, самого себя пересилил! По-человечески ты меня обставил. Факт! Себя же в кулаке зажал, не дрогнул.

— Мучался, — сказал Фырин. — Думал в ночную смену уйти. Но не от тебя, от себя сбежал бы. Ну вот, решил на-чистоту. Для ясности.

— А я ведь тоже душой болел, — сказал Буков. — Осуждал себя. Вгорячах велел тогда шоферу из самосвала рудную массу вывалить. А может быть, пересортица получилась оттого, что у тебя, допустим, дома какая-нибудь беда, неприятность, и от этого рассеянно выемку вел. А я сразу накинулся, не по-товарищески. Ну, извернулся, когда твое обиженное лицо увидел. Словчил. Чтобы поправиться, что ли.

Фырин произнес задумчиво:

— Помню случай. Перебежку делал первый раз под огнем и второпях задницу горбом задира. Так отделенный каску с себя снял и зад мне ею накрыл. Тоже был правильный человек. Не сказал, что я от страха корчусь, обшутил для бодрости.

— Я тоже правильными людьми обученный, — сказал Буков. — Ночью надо было к поврежденному на поле боя танку добраться для его ремонта. А немцы трассирующими снарядами по нему лупят. Говорю старшине: «Давай обождем, пока огонь прекратят». А он мне: «Немцы дураки, нам направление, где танк стоит, подсвечивают. Удобство создают. А ты: «Обождем». Надо случаем пользоваться». Ну и доползли. А он чего, старшина, опасался? Чтобы немцы окончательно танк не разбили. Поэтому и торопил. А про подсветку для бодрости тоже выдумал.

— Душевный, значит, человек.

— А как же. Человек человеку не фигурой на всю жизнь запоминается, а тем, чем он людям светит.

— Это точно, — кивнул Фырин. Помолчав, объявил: — Но все-таки я тебя через пару месяцев снова вызову.

— Можно, — согласился Буков. — Только оформим на бумаге по всем статьям. — Усмехнулся: — Я лично большой любитель на людях чествоваться.

Но Букову не довелось выполнить свое обещание Игнатию Фырину...

Миллионотонная ледовая лавина ползла с нарастающей силой, сокрушая на своем пути все. Тугоплавкий древний лед с вмерзшими в него валунами мог вторгнуться в русло горной реки, перегороженной бетонной плотиной водохранилища, питавшего всю ирригационную систему долины.

Чтобы предотвратить бедствие, надо остановить лавину, выворачивающую каменные утесы скал, словно ветхие пни. Но это невозможно. Оставалось одно: изменить направление ее движения, расчистить путь для лавины, отвести ее в глубокое ущелье, куда она бы низвергалась, разбиваясь вдребезги.

Военно-инженерное подразделение, подрывники-буровики, горняки, механики, водители были направлены на горный плацдарм, где должно было свершиться сражение с лавиной. И Буков тоже получил назначение туда. Явился он обратно на рудник, отощавший, только через месяц. Как-то смущенно, неохотно рассказывал о себе:

— Ну, погорячился излишне, может, оттого, что увидел армейских молодых ребят, хотел доказать: бывший фронтовик особо себя показать может. Подрывники раскрошили горную массу, так что только разгребай бульдозером на обе стороны. Работа все равно как на дорожной стройке, ничего особенного. Но когда лавина выползла и вроде остановилась в задумчивости: по нашей, специально для нее проложенной трассе ползти или по своему маршруту, — тут ее бомбить с воздуха крепко начали. Ну, я зашелся. Кинулся на бульдозер и начал перед ней последнюю зачистку пути производить. Потом, гляжу, напирает она своим боком на фундамент ретрансляционной телевизионной мачты, сооружение дорогое, и пошел вроде как на таран. Головная часть у лавины — так вроде самоходной крутой сопки. Крупногабаритный камень, битые льдины, деревья вывороченные, всякое там намешано. На машину весь этот хлам сыплется, кабину замело, завалило, видимости никакой. Не понять — не то я на нее жму бульдозером, не то она машину волочит. Вспороли потолок кабины и через верх меня вынули. Почти к самому краю пропасти приволокло. Смотрел потом вниз — душа замирала. Хоть, конечно, ребятам чистосердечно руки жал, благодарил за спасение, но уж

полностью, как гражданский, совестился. Хорошо, что орденские планки не нацепил. Сошел благополучно за штатского. А лавину что ж, свергли. Натаскали на гору техники. Больше, чем у нас на руднике.

— Почему сразу не вернулся?

— Задержался. Ученые велели после обрушения лавины пролом, для нее проложенный, заделать, железобетонную стенку построили, чтобы ледниковый режим восстановить. Мол, этот год исключительный. А в нормальные нечего зря лавину в ущелье сбрасывать. Вода — ценность государственная. Значит, надо ее беречь. А если в случае чего снова опасность нарастет, в железобетонной стене камеры для взрывчатки имеются. Рвануть, и все в порядке. Снова в ущелье лавина свалится. Не обижают зря природу. Считаются с ее привычками, ну и с хозяйственной выгодой. — Вдохнул, произнес мечтательно: — А вообще там в горах красота выше всякого воображения. Видимость простым глазом, как сквозь стереотрубу с НП. Ну и прохлада приятная. Не то что здесь — пекло. Отдохнул, как на курорте...

То, что Буков в первые же дни в снежных горах простыл, заболел и, скрывая заболевание, работал, самостоятельно лечась только таблетками кодеина, об этом он не считал нужным рассказывать, как и не сказал о том, что вовсе не вгорячах бросился с бульдозером на лавину, а нес на машине дежурство в самом опасном месте, у телевизионной вышки. Погребенный обвалом, он находился больше десяти часов почти бездыханный, сдавленный смятым кузовом бульдозера, пока его выкапывали солдаты инженерного подразделения. Выкапывали из ползущей лавины и освободили лишь тогда, когда головная сонка ее уже приблизилась к обрыву ущелья.

И смущен Буков был вовсе не тем, что его, бывшего фронтовика, выручили молодые солдаты. Его смутило то, как они отнеслись к своему подвигу. Они радовались открывшейся возможности отважного риска, и каждый подробно, но спокойно говорил о своих переживаниях, словно ученик после экзамена по не столько трудному, сколько интересному предмету. А один из них, долговязый, с челочкой, заметил Букову, добродушно улыбаясь:

— Вообще целесообразней было бы использовать инерционную силу лавины. Отгребая ее борт, нужно было следовать ее движению, а не идти навстречу ей. Тогда масса лавины, оказывая давление на бульдозер, усиливала бы его мощность. Только и всего.

— Это ты сейчас придумал? — угрюмо осведомился Буков.

— Нет, почему же. Простейший закон механики.

Эти молодые солдаты не испытывали благоговейного восхищения, не удивлялись тому, как за кратчайшее время удалось доставить сюда, в неприступные горы, столько сложной, могущественной техники, проложившей путь лавине в ущелье, чтобы сбросить ее туда.

И когда Буков с похвалой отозвался о работе взрывников, те ответили ему с загадочной ухмылкой, что вообще на крайний случай любое подразделение стратегического назначения могло создать специальный проход для лавины, послав особо сильное средство разрушения с любого дежурного, очень отдаленного боевого поста с точностью попадания плюс-минус три метра.

— Уж очень вы, ребята, какие-то самоуверенные, — огорченно сказал Буков.

— Мы же перед выходом в полевые условия проводили занятия на макете с рельефом данной горной местности, с учетом возможных вариантов применения многих соответствующих технических и боевых средств.

— А если б лед такую силу и скорость набрал, что всех нас тут вдруг завалило б обвалом?

— С самолетов были выброшены на лавину в разных точках передатчики в особо прочных контейнерах. Движение ее на всех этапах под контролем. Внезапность исключена. И бомбардировочная авиация могла провести предварительное обрушение снежной массы до подхода лавины.

— А если б погода не позволила авиации действовать?

— Обрушили бы ракетчики. Для них погодные условия не имеют абсолютно никакого значения.

— Значит, так выходит, — задумчиво произнес Буков. — Все вы считаете себя шибко высокоорганизованной материей, все вам ясно.

— В общих чертах по тактической разработке операции, — пожал плечами солдат.

— А отец у тебя кто? — осведомился Буков.

— Работает в районной ремонтной мастерской сельхозтехники слесарем.

— Фронтовик?

— Конечно.

— Приятно, — сказал Буков.

— Что именно?

— Ну то, что отец у тебя живой, здоровый.

— А вы служили в армии?

— Довелось, — признался Буков. Стал рассказывать с фальшивой живостью: — В нашей роте, понимаешь, знаменитый кот жил. Шерсть рыжая. Отважный, ну просто герой. Артиллерийский бомбовый налет. А он с полным душевным равновесием ходит, о сапоги трется, хвост трубой. А трупных этих крыс, по габаритам больше его, от которых деваться нам некуда, наповал драл. Он только и спасал. Без него пропали б, заели. В генеральский блиндаж кота одалживали. И имя коту дали со званием — Сержант. Но до старшины не дослужился. Немцы атаквали в наших же траншеях — рукопашная, и вот кот-сержант в морду фрицу кинулся, а фашист его с себя сорвал и об землю. Не уберегли кота, такая обстановка, значит, сложилась... и себя многие тоже не уберегли.

Молодой солдат сказал твердо, глядя в глаза Букову:

— Я понимаю вас. Боевые учения — это не то что война. Так?

— Я же только дразнюсь, — взволнованно сказал Буков. — Нам бы тогда хоть половину того, что у вас теперь по боевой технике, даже осьмушки хватило б. Из зависти весь разговор... — Пояснил: — Я хоть и бывший солдат-механик, ходил вокруг вашей армейской техники, которой вы свободно управляете. Получилось, вроде как однопольчанина после многих лет разлуки встретил, — я его хлоп развязно по плечу: «Здорово, Ванька!» А он, бывший подначальный мне рядовой, теперь профессор. Понятно? Что я в данной ситуации переживаю... Думал, в армии я и сейчас — вполне, а оказался вроде пожилого родственника. Даже вон пошел таранить борт лавины, а надо было по закону механики ее инерционную силу использовать.

— Героически действовали!

— Героически?! — усмехнулся Буков. — А из башки выпало: всесторонне мгновенно всю обстановку прикинуть. Односторонность допустил. Так считаю! Геройство люди на фронте совершали именно культурно, по-военному грамотно. А я на одном нерве. Значит, позабыть успел, в чем его настоящая суть. — Произнес осуждающе: — Все отчего? От беспокойства. Хотел вам, молодым, доказать, какие мы, старшее поколение. А получилось не то.

— Мы боевой листок выпустили с описанием вашего подвига.

— Ну и зря, — поморщился Буков. — Любой инспектор по охране труда разъяснит: не подвиг, а нарушение. — Но сам бережно запрятал этот боевой листок в бумажник.

И потом перечитывал, испытывал благоговейное волнение от возвышенных слов, которые столь торжественно звучали в годы войны, прославляя тех, кто бесстрашно жертвовал собой ради других.

22

Счастливы те люди, которых работа радует. Те, кому она только в тягость, несчастливы.

Легкое, нежное, еще только теплое пламя восхода окрашивало край неба над бывшей пустыней, но Буков прямо с аэродрома поехал на такси в рудник, томясь жадным нетерпением.

Помощник машиниста экскаватора Коля Чуркин спал на кошме возле машины, намотав на голову одеяло и зябко поджав к животу загорелые голые ноги.

Буков на время командировки в горы впервые допустил Чуркина к длительному самостоятельному управлению экскаватором. И чтобы убедиться, оправдал Чуркин доверие или нет, Буков с озабоченным, как у спайпера на боевом дежурстве, выражением лица осматривал машину. Ковш выскоблен, потертые зубья блестят, но нигде не побиты, не выщерблены. Все узлы смазаны. В кабине аккуратно прибрано.

Потом Буков осмотрел забой. Угол откоса соблюден правильно, состояние подошвы приемлемое, без гребней. Экскаватор стоит без перекоса, прочно опираясь всей поверхностью гусениц на грунт, надежно, устойчиво.

И только после всего этого Буков благодарно и ласково улыбнулся своему помощнику, хотя тот не мог увидеть этой ценной улыбки своего наставника и продолжал спать, не ведая о такой награде.

Буков влез в кабину машины и расположился на сиденье, мечтательно прикидывая, как он начнет брать стружку с откоса, где он приметил выход крупногабаритного валуна. Извлечение многотонного валуна — дело хитрое, кропотливое и не всегда безопасное, если монолит на значительной высоте. Объем и конфигурация валуна обнаруживаются только по мере зачистки. И чем больше валун теряет упор, тем скорее может внезапно низвергнуться. А надо в точно уловленное мгновение подхватить его ковшом и плавно, бережно сдвинуть на подошву забоя. Опустить туда, где бы валун не мешал дальнейшей выемке горной массы, и, кроме того, суметь освободить от него ковш.

Хотя канитель с большим валуном — дело убыточное

и отражается на зарплате, Букову всегда было приятно вступать в сложное единоборство с огромной округлой глыбой. В памяти он хранил все свои негласные рекорды по извлечению таких тяжестей.

Так же увлекательно было разрабатывать забой в сложных геологических условиях, когда горная масса обретала тенденцию к оползанию и он, как бы чувствуя нависающее движение пластов, вел выемку, хитро, прозорливо угадывая опасность, укрощая ее, управляя ею, вынуждая ее работать как разумную силу разрушения.

Машина для Букова означала большее, чем сказано казенно в ее паспорте: «Одноковшовый полноповоротный экскаватор типа прямая лопата на гусеничном ходу».

Он чувствовал машину как продолжение самого себя. И поэтому, иногда мнительно прислушиваясь к ней, сотовал, как на собственное здоровье:

— Что-то у меня сегодня при перепуске в зубчатых передачах шумок какой-то подозрительный объявился. — Говорил встревоженно, как иной товарищ, потребитель валидола, говорит о своем давлении, о пульсе.

Если комната Букова в общежитии свидетельствовала, что тут живет холостяк, не заботящийся о своем быте, то кабина экскаватора Букова, напротив, выглядела весьма уютно. Нарядный полосатый чехол на сиденье. В железных держалках горшки с цветами. Термос. На стене зеркало и щетinsel для электробритвы. Под ногами коврик.

Уборка, смазка машины — обязанность помощника. И когда Буков взял себе в напарники Николая Чуркина, ярко желтоволосого, плечистого парня с мягким широким носом и всегда сердито поджатыми губами, он сказал ему лаконично:

— Чтобы как персональная «Чайка» у министра, все блестело, сверкало. Понятно?

Буков привередливо придирался к Чуркину только по этой линии. Но когда убедился, что Чуркин теоретически машину знает, он стал смело сажать его на свое место и сурово ободрял:

— Покалечить ты мне что-нибудь обязательно должен. Но без этого не научишься. Без неприятностей ни техники не постигнешь, ни правильной линии в жизни. Валяй! Порть мне машину. Но пусть из тебя смелый машинист получится, а не подручный при механической лопате.

Сам Буков уходил дальше от машины, чтобы не слышать скрежета ее ходовых частей, глухих ударов ковша о грунт, отчего у Букова начинала болеть голова, словно

стукнул ее теменем о железо. И только после того, как Коля Чуркин наловчился самостоятельно управлять экскаватором, Буков решился передать помощнику свое интимное, сокровенное знание машины, переведя его как бы на высшую ступень, где уже требуется постижение всех тонкостей мастерства. И наряду с этим Буков высказывал ему свои суждения о жизни, так как полагал: подлинный мастер — это человек, который не только на машину, но и на все прочее обязан иметь определенный, твердый взгляд, присущий передовой личности.

Буков говорил Чуркину после чувствительной кинокартины на тему о том, что все со всеми должны быть добрыми:

— Ты, Коля, имей в виду: слово гуманизм для коммунистов не сезонное. Оно — наша сущность и цель историческая. Всем нам желательно, чтобы каждый стал лучше во всем. Но вот, допустим, ты зуб у ковша сломал. В чем дело? Техническая беспечность? Не только. Нет уважения к людям. Геологи руду искали? Шахтеры ее добывали? Мартенщики сталь варили? В механическом ее обрабатывали? Каждый на это дело свою жизнь тратил, и никто этой доли своей жизни обратно получить не может. Отдали ее в изделие кому? Тебе! А ты ее испортил! Ну, я, допустим, попрошу, кладовщик выдаст новый зуб, и все. А сознание твое, если оно есть у тебя, прощать тебе не должно! И если оно не прощает, значит, ты гуманист. А ежели списывает, то ты, значит, еще в человека не оформился. И гуманизм для тебя вроде как только скидка, чтобы меньше с тебя спрашивали.

Вот, скажем, война и гуманизм — несовместимо? А в чем он у нас жил? В героизме. Что это значит? Самому кинуться в смерть, когда это дает возможность облегчить товарищам положение в бою. С таким, значит, расчетом, наивысшим, человеческим.

При всем этом, конечно, ненависть к врагу. Но откуда в нас эта ненависть? Опять же от гуманизма. Фашизм — бесчеловечное зло. И вся наша злость нацелена на него беспощадно. Но вот расколошматили мы их. И скажу тебе прямо. Самое трудное было в Германии солдату себя превозмочь. Стать там нужным человеком среди чужих людей, когда дома в тебе невосполнимая нужда.

И когда наши солдаты помогали трудящимся немцам во всем, я тебе прямо заявляю: бессмертие в нашем человеке в чем состоит — в моральной силе коммунизма.

Лучшие люди в Германии, как и везде, — коммунисты,

антифашисты. Они нам светили. Но я тебе про один факт расскажу.

Дежурю по комендатуре. Приходит пожилой немец с продолговатой собакой на кривых лапах, вся в рыжих кудрях, ошейник со значками. Немец говорит: «Я антифашист и желаю от вас получать дополнительный паек». Мы от себя их давали бывшим узникам концлагерей.

«Антифашист? А чем докажете?»

Просит кусок сахара, кидает псу. Тот, конечно, на лету хап. А пожилой немец командует:

«Фон... Гитлер!»

Собака сахар тут же выплюнула. «Фон» — значит «от». Выходит, от Гитлера. Ну, смех, конечно.

Немец спрашивает:

«Ну, убедились, что я вот даже животное в антифашистском духе воспитал?»

Что скажешь? Не то нахал, не то жулик. Гнать в шею? А вот мы ему бумагу выписали, чтобы он с этим номером выступал на народе. За каждую чуточку мы тогда хватались, чтобы население от себя могло антифашистскую пропаганду вести. Немцев на немецкий патриотизм вызывали, чтобы они ради своей родины помогали нам восстанавливать хозяйство в городе.

Вот зубного врача-частника надо было уговорить, чтобы он прием больных начал вести. Так мы к нему обратились в высшей степени уважительно: «Сейчас, когда в трудный час Германия смотрит на вас с надеждой, вы не пройдете мимо нужд своего народа, как истинный патриот своей родины». Расчувствовался. Заплакал. Согласился. Собственные медикаменты и инструмент в больницу принес. Стал лечить народ.

Вдумчиво, терпеливо людей искали. Чтобы немцы на немцев же работали вместе с нами. А откуда у нашего солдата этот опыт людей на доверие вызывать, переубеждать? Да из нашей же собственной истории. После революции пришлось многих, не признающих Советскую власть, но не ее лютых врагов, переуговаривать просто народу служить, Родине. И соглашались сначала на этом основании, а потом многие из таких стали выдающимися советскими гражданами.

И Буков снова повторил:

— Отсюда для коммунистов гуманизм дело не сезонное, а вечное, на все времена. Так что ты, Николай, это себе замечь. А то я засек, ты это слово понимаешь как приложение, а не как сущность всех наших дел...

Подобные беседы Буков вел со своим помощником, полагая, что они важнее технических рекомендаций, усваивать которые полно, глубоко может только тот, у кого развито понятие главного назначения труда человеческого, его исторической нацеленности.

И как сам Буков по прибытии на рудник старался познакомиться с особенностями труда всех профессий рабочих рудника, так он и Колю Чуркина понуждал понять особость труда всех других горняцких профессий, утверждая:

— Человек сам к себе добренький. Бывает, без всякого смущения себе промашку простит, спишет. Сам себя кто же обижает? Но труд — это занятие коллективное, совестьливое. Допустим, ты свалил на думпкар крупногабаритный обломок к борту. Нарушил центровку. С тебя какой спрос? Дать кубики? Ты их и дал. А вагон идет с перекосом. Шейки осей от перегрузки преждевременно стираются, изнашиваются. Машинист электровоза чувствует... Один думпкар с опасным креном. Ведет состав замедленно... Так от одного личного небрежения по всем звеньям потери.

Самые лучшие — это те, у кого зоркости хватает при своем труде обо всем пространстве страны думать. Это и есть высшая человеческая квалификация при любой профессии.

Просту называется — по-коммунистически работать. И за себя, и за всех — тогда эффект! Тогда ты личность!

Не потому, что на фронте мужчин было много, а женщин мало, — всю жизнь Буков сохранял застенчивое, благоговейное чувство к женщине.

Шагая по освобожденным пространствам разоренной фашистами земли, он видел безмолвный героизм женщин, ютящихся с детьми у печных остовов в шалашах из всякого хлама.

Буков был убежден, что, воюя «на всем готовом», солдаты невосполнимо задолжались перед нашими матерями и женами. Он не терпел развязных разговоров о женщинах. Говорил Коле Чуркину:

— Насчет равенства мужчин с женщиной... Ну, это еще как сказать... Поначалу следовало историческую подлость подправить. А с ходом нашего времени надо женщинам особые привилегии выдать, как им и положено, за то, что

они даруют жизнь новым людям. Их, значит, в себе вынашивают. И чем лучше им жизнь обставить, тем в дальнейшем получатся люди будут получаться...

Вот, к примеру, мой отец всего три класса приходского прошел, кочегар, а как рассуждал? «Плохое о женщинах эксплуататоры специально придумывали, чтобы им за равный с мужиком труд платить меньше». До того как я на свет родился, он мою мать Нюркой звал. Или Морковкой за румянец. А как на свет я объявился, стал до конца своей жизни обращаться к матери на «вы» и по имени-отчеству. Из благодарности за потомство.

Учти, мы, мужики, по одной смене вкалываем, а все трудящиеся женщины — по две. Одна смена на производстве, а вторая смена по быту — дома. И еще не известно, какая тяжелее.

Когда электрик Шумилов, ремонтируя кабель экскаватора, подмигивая Чуркину, стал нести похабщину про укладчицу пути Марфу Ичелкину, Буков подошел к Шумилову и, зачерпнув горстью песок, приказал:

— А ну, раскрой свою помойку.

Произнес гневно:

— Скотина ты!

Электрик выплюнул песок себе под ноги, вытер лицо, но больше ни на что не решался. Он не раз видел, как Буков после работы становится под дождевальную установку. Видел его нагую статную фигуру, оплетенную, словно сыромятными ремнями, тугой, резко выпуклой мускулатурой, синеватые морщинистые углубления на груди и боках — следы ранений. Связываться с таким Шумилов не решился.

...Когда Николай Чуркин скинул с головы одеяло и увидел Букова, лицо его расплылось в блаженной детской улыбке.

Буков, притворно хмурясь, осведомился:

— Ну, как дела?

— В соответствии, — сказал Коля. — А у вас как, ничего? — Признался: — Все думал, как бы вас там лавиной не зашибло. На радиостанцию бегал, спрашивал, как вы.

— Сознательные люди за плотину тревожились, чтобы ее не свалило, — упрекнул Буков, — а ты пустяками людям головы морочил.

— Раз вы целые, значит, плотина тоже, — пояснил Коля. — Я так считал.

Буков погладил лицо ладонями, чтобы помешать лицу улыбаться, сообщил деловито:

— Расположение сортов руд по горизонтам засек. Ты делай выемку, а я ее погляжу со стороны.

И хотя Букову томительно хотелось самому начать немедленно разработку забоя, он вылез из кабины, присел на габаритный кусок породы. И долго, внимательно наблюдал за работой своего помощника. Мысленно дублируя каждое его движение, испытывал такое же утомление, будто сам работал. Уставал от этого больше, чем когда работал сам. Но на душе у него было хорошо, и не только потому, что он остался доволен Чуркиным, но и потому, что вспоминалась ему недавняя сонная блаженная улыбка, с какой Чуркин его встретил.

Тяжелый зной густел и жег все сильнее. Осыпались с откосов со звоном куски твердой породы. Но казалось, что этот звон исходит от солнечных лучей, раскаленных, жгучих, как нагретый металл.

Наблюдая уверенные, неторопливые движения Чуркина, по своей сноровке подобные его собственным, Степан Захарович Буков все больше убеждался, что молодой рабочий стал настоящим мастером. Событие, которое он считал самым важным и, увы, не всегда у нас еще должно высоко отмечаемым, хоть и равно оно рождению нового человека.

По вопросу о роли личности в истории написано и сказано много научно всесторонне обоснованного. В большом производственном коллективе роль личности тоже очень велика, даже если она, эта личность, не водружена на высокий должностной пьедестал.

Самое прочное, незыблемое положение занимают те люди, которые почитаются мастерами своего дела. Это их персональная вышка, откуда все много виднее.

Хотя рабочее пространство Букова — всего лишь забой — территориально как будто не великое, но на высоте своих личных производственных достижений он выглядел как фигура значительная. И молодые ребята-инженеры тянулись к Букову, зная, что он со своим титулом передовика может обсудить тот или иной серьезный вопрос с начальством на любом уровне.

Но не только это привлекало их к Букову. Буков относился к людям с неутоимым любопытством, что свидетельствовало о его неистощимой душевной молодости. Часто Буков зазывал молодежь к себе в «чертог для холостяков», где он был обеспечен отдельной комнатой. Самостоятельно изготовлял закуску. Даже наловчился готовить плов не хуже местных прославленных кулинаров.

Буков снисходительно, но вместе с тем несколько иронически относился к их резкой, насмешливой манере разговаривать о чем бы то ни было. Эти молодые люди словно щеголяли ею.

Технолог Леня Кудряшев рассказывал, иронически усмехаясь:

— Вхожу в кабинет его величества. По рассеянности забыл придать лицу торжественное, почтительное выражение. И вдруг сварливый голос, словно из унитаза: «Ваше предложение возвращено как неприемлемое...»

Катаклизм. Мир гибнет.

Смотрю мечтательно в потолок, будто в звездное бездонное небо, спрашиваю сладким голосом: «Кем возвращено?»

Он мне: «Вы не волнуйтесь».

Я ему: «На конкурсе неврастеников у меня шансов нет».

Он мне с упрёком: «Нескромно себя ведете, товарищ Кудряшев».

Я ему: «Интеллектуальная скромность не лучший показатель!»

Он словно вату жует: «Надо еще подработать, посоветоваться».

Я ему: «У меня под штанами уже кровавые мозоли. Но питаться чужими мыслями не привык».

Он: «Жаль».

Я ему: «Не истязайте своих слезных желез».

Пленительно улыбнулся, вышел. На душе мрак и туман.

Посмотрел на Тосю, его секретаршу. Предмет неодушевленный, но круглые коленные чашечки впечатляют. Спрашиваю: «Могу рассчитывать хотя бы на улыбку?»

Она мне: «Опять вы, Леня, Кузьму Авдеевича раздражили?»

Я ей научно обоснованно: «Раздражители стимулируют умственную деятельность».

Предложил самоотверженно щедро от себя в дар сувенир — гадюку в формалине. Редчайший экземпляр. Поймал, рискуя собственной жизнью. Отвергла. Ушел на прямых, гордых ногах. В скорби и отчаянии. Но на лице исторический оптимизм.

Буков выслушал без улыбки, сказал хмуро:

— Смешно. У тебя талант! На вечерах самодеятельности мог бы выступать.

— Непризнанный гений, — вздохнул Кудряшев. — Брызжу юмором!

— Но твой проект — дело серьезное. Не для эстрады.

— Я же знал, откажут! Так что же? Должен в печальной позе кладбищенского мопумента отказ выслушивать?

— Не убедительно ты себя Кузьме Авдеевичу показывал, — упрекнул Буков, — как чижик себя вел.

— А каким ему ни покажись, у него всегда недоверчивое, вопросительное выражение. Мол, кто ты такой? Сам плешивый, зябкий. Говорит с тобой и все время на телефон косится. Вдруг высшее начальство позвонит?! Пуганный...

Буков откашлялся, сказал негромко:

— Вот надо было железнодорожную ветку спрямить. Для этого ущелье засыпать. Тридцать семь миллионов кубометров грунта. Доложил начальству. Московские товарищи против. Кузьма Авдеевич попросил принести школьную доску и начал на ней мелком цифры писать. Молча, скромно так. Потом подвел черту. Итог написал. Руки платочком вытер, глазами на доску повел, улыбнулся.

А что на доске получилось? Одна выгода. Ущелье одновременно для отвала породы используется, а не только для спрямления ветки. Твой проект он уже два месяца изучает после работы, по почам, дома. Высчитывает экономически.

Вы что любите? Вы идею любите. А ему еще важно, во что она обойдется.

— Я не знал, — смутился Кудряшев.

— Ну, допустим, не знал. Но Кузьму Авдеевича как личность ты обязан знать. — Произнес досадливо: — До черта всяких книг читаете, а для чего? Для удовольствия? Книга хорошая для того пишется, чтобы вроде как заочно научиться разных людей понимать. Их жизнь. Вот возьмем — Кузьма Авдеевич! Сейчас он, верно, сутулый, плешивый, нос сизый, лицо пегое. Самокрутки курит, на руке браслет магнитный против давления. Но он в первую пятилетку, когда тебя самого еще в проекте не было, на грабарке работал. С одного гребка беру столько грунта, сколько он за весь свой рабочий день брал. Лопату в барак уносил, на койку клал и с ней спал в обнимку. Боялся, чтобы не слерли инструмента. Цемент тогда все равно как мукú берегли, которой на хлеб не хватало. А приходит к нему вроде меня самого тип, жалуется: «Посуда думикара мала, в сто тонн емкости!» Требуется, как и вы, только вежливо, уважительно. Жизнь Кузьмы Авдеевича вся в Средней Азии. Верил, что пустыня когда-нибудь людям свое богатство отдаст. Он смело и дерзко за свою веру боролся. И сейчас он такой же смелый. Но у каждого своя манера на смелость. Один,

бывало, в атаку без оглядки идет. Орет, бодрит себя и других, и это тоже полезно в бою. А другой молча, чтобы дыхание сберечь, — тоже правильно. — Помолчал, задумался. — Вот ты, Леня, задорно себя с Кузьмой Авдеевичем вел, точнее, нахально, ну, скажем, только вызывающе. А на что вызывающе? Мол, ты не такой, как он? Верно, еще не такой! Присадок твердых в тебе маловато. Ты на него обиделся, а он на тебя нет. Говорил мне: «Кудряшев — перспективный паренек. Другой бы скис, увял. А он распустился. Значит, можно на него рассчитывать. Дотянет проект!» Худое в тебе мимо себя пропустил, как мусор, а стоящее засек.

— Ну и что теперь будет? — удрученно спросил Кудряшев.

— Если ты в проекте не все обсчитал, знающие помогут. А вот то, что ты в Кузьме Авдеевиче такой грубый просчет человеческий допустил, такую ошибку резинкой не сотрешь. Это я по себе знаю: проскочишь вгорячах мимо хорошего человека, вначале будто ничего, а потом чем дальше, тем больше чувствуешь в себе самом — чего-то не хватает, и не поймешь чего, а все же не хватает. Человек среди людей живет и ради людей, какие они есть. Не выдуманные, а самые настоящие... И все разные и в основном на всеобщее главное нацеленные...

В одиночестве Буков любил бродить вдоль борта котлована рудника, наблюдая, как в обширном небе многоцветно, бесшумно прогорает закат, окрашивая пространство в тончайшие оттенки солнечного увядания, и небо, когда исчезнет солнце, долго еще пронитанное его свечением, прозрачно светится бездонной глубиной. Он предавался размышлениям, медленным, неторопливым.

Вспоминал, как и почему остался жив, когда рядом погибали лучше, чем он, люди, которые могли бы жить с большей пользой для других, потому что та часть их жизни, когда он был с ними вместе, сделала его самого лучше, чем он был.

Вспоминал, как здесь, на вскрышных работах, когда начались песчаные бури и дышали пылью, будто раскаленным пеплом, и днем в желтых гудящих песчаных сумерках работали с прожекторами, и машинное масло, забиваемое песком, твердело, — как, накрывшись брезентом, в горячей духоте приходилось разбирать узлы машины, удаляя из них вредную, засоренную песком смазку. Глаза, натертые песком, воспалялись, веки набухали. Кожа зудела, сохла. Песчаная буря заваливала выработки. И ду-

малось, что преодолеть ее невозможно. Но Буков говорил с усмешкой:

— На фронте, вот где доставалось после артналета. Завалит людей заживо, выкапывали. А здесь что! Обмахнулся веничком, и все.

Потом, когда началась разработка рудного тела, но еще не было дождевальных установок, кондиционеров в кабинках экскаваторов, Буков с гордостью отмечал:

— Вот те, кто на вскрышье были, те себя показали, а теперь все равно как в помещении работаем, не дует.

«Значит, что? — думал Буков. — Значит, так всю жизнь получается. Ободряешь себя людьми, теми, которых знал, и теми, которых знаешь теперь. Человек, он не сам по себе вперед тянет, а со всеобщим людским течением. На главном русле жизни, которое народ себе сам прокладывает...»

Неоглядно простиралась сухая пустыня, проросшая жестким, как металлическая стружка, кустарником. Возвышались надменно силуэты гор, залитые сверкающими ледниками.

У ног Букова пустыня круто обрывалась, подобно гигантскому кратеру, который собственноручно, аккуратно сделали люди, извлекая из земных недр богатство.

Стоя у края котлована, Буков смотрел на ниспадающие уступы рудника каждый раз недоверчиво и изумленно, будто не он сам вместе со своими товарищами-горняками проложил их, а другие — дерзкие, сильные, могущественные — свершили это.

Вершины гор еще были в солнце и блистали розовой ледяной эмалью, когда уже вся пустыня погрузилась в сумрак. Но с уступов котлована, со дна его исходило электрическое сияние — так люди, летящие в самолете, ночью видят во мраке огни большого города.

23

По выходным Буков старался полностью предаться отдыху. Утром заходил в парикмахерскую. Терпеливо дождался своей очереди.

Сев в кресло, говорил мастеру:

— Давай весь комплекс.

Закрывал глаза, спрашивал:

— Ну скоро?

Не взглянув в зеркало, шел к кассе расплачиваться.

В широко остекленном кафе «Спутник» завтракал,

испытывая некоторое стеснение оттого, что из-за прозрачных стен рождалось ощущение, будто он принимает пищу вроде как артист на сцене и все на него смотрят.

Обходил четыре этажа универмага «Мир», разглядывал товары, обсуждал их качество с покупателями. Но сам ограничивался только покупкой пары носков, которых у Букова имелась значительная коллекция.

— Ноги, — рассуждал обычно Буков, — для рабочего первейшая забота и для солдата тоже. Подпреют или потертость появится — и ты не только хромаешь, но уже настрой души не тот. Бодрости нет, выправки.

Отправлялся в кино на дневной сеанс.

Обедал в кафе «Молодежное», поскольку там всегда имелось свежее пиво.

И уже после этого шел на стадион, где терял всю свою солидность, переживая несдержанно и шумно, как он выражался, «на полную железку», любое спортивное состязание. В спортивной терминологии Буков не был достаточно осведомлен. Но, обсуждая с соседями все тонкости борьбы, проявлял исключительную проницательность психолога и знатока. Буков увлеченно и страстно следил за состязаниями, за поведением игроков. Он воспринимал все это как красивую, азартную, бескорыстную работу ради собственной радости и радости других людей, любующихся грациозной сноровкой спортсменов, соучаствующих с ними в борьбе, восхищающихся их удачами и огорчающихся промахами.

Кроме всех этих бурных переживаний, «полирующих кровь», как признавался Буков, ему доставляло особое удовольствие узнавать в спортсменах тех рабочих, с которыми он был знаком, и делать для себя как бы особое полезное открытие, подтверждающее его собственные, еще недостаточно четко определившиеся их характеристики.

Когда помощник машиниста Колесникова Алексей Пташкин в барьерном беге, зашибив о препятствие ногу, преодолевая боль, все ж таки хоть и третьим, но достиг финиша и потом, сильно хромая, припадая на поврежденную ногу, ковылял в раздевалку, Буков про себя отметил, что пора выпускать этого волевого парня на самостоятельную работу.

Но когда на пятисотке, обгоняя у финиша, водитель самосвала Тимохин толкнул плечом другого бегуна, оттеснив его за бровку, Буков, вздохнув, произнес вслух:

— Вот во всем он так. Нагрузили рудой машину, а он мчит, и вся дорога кусками потом усеяна.

Вскочив, Буков заложил в рот два пальца, негодуя зашвисел, и весь стадион разделил его негодование, не ведая главных корней этого негодования, известных только Букову.

И то, что лучший машинист экскаватора Серезжников легко обыграл в таком изящном и тонко расчетливом виде спорта, как теннис, инженера Безуглова, Буков не видел ничего такого особенного. Пояснил рядом сидящим:

— Этот Серезжников хоть и машинист и работа у нас тяжелая, но он без полгода инженер. В общественном конструкторском бюро — фигура. Видали, как четко по мячу лупит? Баллистика! А она на чем? На одном расчете держится. У нас на батарее студент бывший служил, так он на орудийном щите сначала мелом все предварительные выкладки запишет, а потом только, поглядывая на них, огонь ведет, что ни залп — попадание. В панораму глядел для удовольствия, полюбоваться на результат.

Говорил мечтательно:

— Красиво рабочий народ у нас в спортивном снаряжении выглядит. Ну прямо живые статуи. Значит, сейчас, при механизмах, труд фигуру не портит. А при дальнейшей автоматизации без физкультуры не обойтись.

Но сам Буков спортом пренебрегал. Объяснял:

— Я уже старый.

На улицах поселка вдоль тротуаров всюду посадки роз. Буков, гуляя, рассуждал:

— У всякого времени свои возможности. Для прохожих сейчас эти розы нормальные насаждения местной растительности, а вот мы, бывало, на фронте брустверы на траншеях овсом засевали для маскировки и для красоты тоже. И очень жалели, когда снарядами зелень портило. А тут вот днем в жару поливочной машиной обрызгали кусты. Капельки воды, остающиеся на листьях после такого полива, собирают солнечные лучи, как все равно махонькие увеличительные стекла, и обжигают растение. Значит, допущена глупость.

В нашем подразделении солдат, бывший лесник, служил. Так он, как начнут деревья валить для блиндажных накатов, на своих с винтовкой наперевес со слезами кидался, если не спелое дерево валили, а такое, которому еще жить и жить следует. Так ротный, вместо того чтобы этого солдата как следует прижучить, старшим его назначил при заготовке накатов. Вот что значит уважать природу во всех случаях, даже тогда, когда неизвестно, сколько тебе самому отпущено дней, а может, часов жизни!

Вечером Буков шел в клуб и там играл на пиво в шахматы, ради умственной гимнастики.

Постоянным партнером у него был Кудряшев.

Буков говорил, задумчиво глядя на доску:

— Ты меня с моим ходом не торопи. Глубокомысленно привык все обдумывать, не как ты! Тебе на что следовало бы курс держать? Надо мощности горнодобывающей техники усиливать, а численность людей этим сократить. Вот где выгода. А ты только с одной стороны на дело смотришь. Правильно, но не окончательно.

Ты докажи счетной машиной: мощная техника добычливей выходит, доходней. Она оптимальная. А когда ты свою кибернетику на старую технику ориентируешь, это все равно что на тачку спидометр ставить. Ты только по профилю своего института борешься. Думаешь, плохие люди, сопротивляются, не принимают дельных предложений. Вовсе нет. Старая техника сопротивляется. Вот твой главный противник, по нему и бей. Доказывай.

— Так вы что, против?

— Зачем? За! Но надо во всем комплексе вопрос ставить. Вашему одному проектному бюро это невмочь. Выходите на головной институт совместно, во взаимодействии всех наших подразделений производственных. Тогда это будет сила.

Ты вот и в шахматах на два хода вперед мыслишь. Туру конем свалить. А я пешечками, пешечками твоего коня, между прочим, могу скушать, но побрезгую, ради стратегического превосходства.

Вздыхнул, отхлебнул пива, сообщил:

— На парткоме вчера решение приняли — поддержать применение математических методов и вычислительной техники для оптимального планирования транспортных работ и горных при добыче различных сортов руды. Но с одним моим критическим замечанием: чтобы мощность добывающей техники и транспортных емкостей тоже была оптимальной.

Прикрикнул строго:

— Первый ты тип, вот кто! Садись обратно. Терпи. Через пять ходов унижу. — Заметил сердито: — Ты меня своими вспотевшими руками за руку не хватай. Это Кузьма Авдеевич предложил. А я что, сидел в сторонке у окна, курил втихаря в форточку. Только слушал.

Перед тем как лечь спать, Степан Захарович Буков самолично выгладил брюки выходного костюма, вычистил ботинки, постирал носки, завел будильник, повесил на

спинку стула спецовку, рядом поставил брезентовые сапоги, погасил свет и некоторое время посидел у открытого окна с грустным, меланхолическим выражением на лице, какое бывает у человека, когда он остается наедине с самим собой.

С определенного момента горняки заметили, что Буков вдруг повадился в свободное время кататься на электровозе. Вначале предположили, что в основе тут лежит чисто производственный, деловой интерес к железнодорожному рудничному транспорту, от четкости работы которого все машинисты экскаваторов зависят.

Но потом обнаружилось: почти всю сырую, дождливую зиму Буков сопровождал машиниста электровоза до дому на некотором почтительном отдалении. Летом ходил с машинистом электровоза рядом. Но уже к осени стал робко брать девушку под руку.

На работу он приходил уже не в спецовке, а в костюме, переодевался в забое, а костюм укладывал бережно в ящик под сиденье.

Однажды директор рудника и главный горняк комбината явились в забой, вызвали из машины Букова и стали жать руку:

— Поздравляем, товарищ Буков, сердечно, от всего коллектива комбината!

Буков смутился, покраснел, зашаркал ногой, произнес, осипнув от волнения:

— Мы, конечно, еще официально не объявлялись, но день уже назначили. Так что приглашаю от своего лица и от Мусиного тоже.

— Ты о чем? — обиделся механик карьера. — Мы тебя с указом, с высшей наградой! Женишься, что ли? Ну и пожалуйста. Также приветствуем. В комплексе, значит...

Ученые утверждают: психика человека — это совокупность воли, настроений, чувств, эмоций, привычек, черт характера, мировоззренческих взглядов.

По моему личному убеждению, Степана Захаровича Букова можно, не сомневаясь, причислить, на основании его поведения во многих критических моментах жизни, к личностям психически выносливым, стойким.

Но тут он, хотя пламя зноя даже в тени было нестерпимым, зябко поежился, поспешно застегнул пуговицы на воротнике спецовки и вдруг вытянулся, замер, держа руки по швам, вздернув подбородок и устремив взор на обрыви-

стый трехсотметровый борт родного карьера, зашевелил беззвучно губами. Хрящеватый, острый кадык его судорожно задергался, но что он хотел сказать, так никто и не услышал. Коля Чуркин принес в кружке воды. Буковпил ее как лекарство, морщась, проливая на грудь. Потом утерся, произнес, запинаясь, взволнованно:

— Сразу меня как бы на третью скорость переключило, тут и того... — Растер шею, откашлялся. — Вы уж простите.

От радости всем по очереди пожал руки, заторопился, полез в экскаватор, объяснил:

— Порожняк подходит, я извиняюсь.

И пока Буков загружал думпкары, машинист электроваза выглядывала в окно и улыбалась экскаватору Букова. Закончив погрузку последнего вагона, Буков дал сигнал, с электроваза ответили сигналом. Состав покатился, нагруженный, как всегда, тщательно и аккуратно, на полные емкости. И только теперь Буков получил возможность помахать свободной рукой будущей своей супруге... Произнес опечаленно:

— Информировать-то я ее не успел.

— Сейчас по всему руднику и по комбинату динамики оповестят! Вот, слышишь?

Буков, опустив голову, слушал, как торжественно гулко произносят слова указа, звучавшие в котловане карьера по-особенному мощно. Потом он поднял голову, оглядел уступы, подобные гигантским ступеням, ведущим в величественное здание. Вспоминал ли в этот момент Буков огненное пространство войны, которое он прошел вместе со своими товарищами, думал ли он о том, что именно в нем самом прижилось от них и продолжает жить в нем и будет жить, хотя их самих уже нет? Не знаю. Скорей всего, да, думал...

Страну нашу вызвездило хорошими людьми на всем долгом и трудном пути ее истории. Они нам и светят при всех — и хороших, и плохих — обстоятельствах жизни, при любой, так сказать, погоде. Светят неугасимо.

[1969]

Сыплет мелкий серый дождик.

В сыром брезентовом балахоне, в пластмассовой каске, надетой поверх бобриковой кепки, сидит верхом на мощном мотоцикле марки «Иж» Сергей Павлович Никитин, многоопытный председатель колхоза «Красногвардеец». Утомленное лицо его озабоченно и сурово.

Стоящий рядом под пестрым шелковым зонтом колхозный пастух Егор Мишин осведомляется:

— Что это ты, Серега, сегодня такой серьезный? Может, закурим? Табачок от забот оттягивает.

— Бросил! — хмуро отвечает Никитин.

— Раку боишься? Так он от сидячей жизни. Застаивается кровь, болотится — рак и заводится.

— Давай ври дальше.

— Я врать не любитель. И по медпунктам не хожу, как некоторые. Там только население плакатами пугают. Курю полезные, с фильтром.

— С фильтром! — иронически произносит Никитин. — Курил бы уж лучше сигары.

— На фронте трофейными пользовался — навоз.

— Чего это ты с дамским зонтиком разгуливаешь?

— Почему же с дамским? — Мишин обиделся. — Складной, пружинный. Заграничный, между прочим.

— Гришка прислал?

— Он.

— Как ему там, в Африке, не жарко?

— Это в смысле климата или политики? Если насчет политики, так у них там — вроде как у нас семнадцатый год. Одни негры красные, другие белые, интервенты грабят. Но если трудящийся народ цепи порвал, он своего достигнет.

— Тут ты соображаешь, а вот на правлении выступил несообразно — против всех, — сухо заметил Никитин.

— Я не против всех, — протестующе затряс головой Мишин. — Я с позиции деревенских коров рассуждал.

— Вот именно — смех в зале.

— Я чего людям внушал? Молодняк, он сразу к новому механизированному комплексу привыкнет, а пожилой скотине трудно. Она по вольным лугам затоскует.

— Которые не приучатся, сдадим на мясопостав.

— Тебя, значит, тоже надо было сразу на пенсию, когда ты против кирпичного завода возражал, — разозлился Мишин. — Не в момент уразумел, что село нынче должно по-городскому выглядеть, что молодое поколение теперь в избе не удержишь. А потом застеснялся критики, даже широко-экранное кино отгрохал. И к животным пужно относиться тоже не как к скотине бессловесной, а чутко, по-человечески, терпеливо. А ты — на мясопостав...

— Твоя функция — коровами командовать, — сердито сказал Никитин, — а ты в общие вопросы руководства лезешь.

— Так ведь я как команду — обрати внимание: без кнута, приучил буренок голоса моего слушаться. В сложившейся обстановке имею спокойную возможность обо всем размышлять. Вот, к примеру, если б получили мы возможность у себя на земле порхать в воздухе, как наши космонавты, без веса. Кто были б люди — силовы ангелы!

Никитин нехотя улынулся и снисходительно произнес:

— Значит, и все твое коровье стадо бултыхалось бы в пространстве недоеное, некормленое. И сеять надо было бы так, чтобы каждое зернышко на привязи держать. И дождя не будет, полива не произведешь, поскольку вся вода остается висеть в воздухе. Ерунда одна получится. Тут природа за нас все правильно сообразила, земным притяжением обеспечила. Мечтать на лоне природы обо всем допустимо, но чтоб было по делу, целесообразно.

— Да это я так, — сконфузился Мишин, — чтобы только тебя от насмурного настроения облегчить. Жалею человека, когда он весь в заботах выше ушей.

— Такая моя председательская участь: себя не помнить. — Никитин опять нахмурился. — В делах как в репьях.

— А ты, Серега, задумывайся иногда таким манером. Прикинь-ка, что тут было, когда мы с тобой с фронта пришли. Беда на беде. В землянках жили, на коровах пахали. Но хоть на карачках, да выбрались на сегодняшнюю высоту

положения. Сравни прошлое с нынешним, сразу станет тебе во всем приятно.

— Это с какой позиции на текущий момент смотреть. Мы теперь даем продукции больше, чем раньше весь наш район. Техники больше, чем в мотополку. Земля теперь не просто почва, а производственная площадь, все равно как цех под открытым небом. Значит, соответственно с нас причитаются продукция и жизнеустройство, как у производителей.

— Факт, — одобрительно сказал Мишин.

— А по району мы вовсе не самые передовые, — мрачно продолжал Никитин. — Выходит, то, что для нас сегодняшней день, для других вчерашний. — Он поморщился, грубовато попросил: — А ну, дай закурить. — Жадно затягиваясь, пожаловался: — Не хватает мне на себя волюнтаризма, чтобы окончательно бросить: нервы требуют.

— Нервы у тебя не от слабости здоровья, а от умственного перегруза, — польстил председателю Мишин. — Всю зиму с электростанции шлак на поле вывозил. Я думал: глупость, свалка получится. А чего вышло? Эффект! Стало быть, его земля требовала.

Никитин усмехнулся:

— За уборку шлака с чужой территории я еще кое-что получил.

— Вот! Говорю — голова с мозгами. И быка-производителя с выставки ты на эти самые средства купил. Чистый зверь. И страшный, как носорог. Коровы его вначале пугались. Но он их покориł. Фасонный бык. Ходят теперь за ним мои барышни, как за гармонистом. Окружат и ноздрями в ноздри ему дышат. После такой картины яловых нет. Какая при таком кавалере может быть яловость! Сверх плана даем молодняк... — Помедлив, Мишин добавил: — Я тебя знаю, ты жмот. И науку поначалу хвалил, чтобы быка племенного не покупать, с пробирками, мол, дешевле получается. Но корова — живое существо. Зачем же ее радости лишать?

— Бык — медалист, — отозвался Никитин. — А мы вот с ВДНХ ни одной медали не получили. Не за что.

— Получим! — бодро сказал Мишин. — Ко всем нашим фронтовым обязательно гражданскую получим — на зеленой ленте.

— Зеленыя у нас подходящие, — задумчиво произнес Никитин. — Но меня все изжога гложет.

— Принимай соду, она против изжоги действует.

— Мне не сода нужна, а известь, — с досадой отмахнул-

ся от пастуха Никитин. — Осушили торфяные болота, засеяли многолетними, а почва кислая. Была бы известь — другое дело... Вот меня какая изжога гложет, понял?

— Тебе в районе разъяснили: социализм — это план. А ты сверх плана болота осушил. На тебя химию и не выписали.

— Я на паспортный карьер министерский нацелился, тот, где для завода известняка добывают.

— Правильно высмотрел!

— Попал в точку, но до конца не продумал. Глыб-то они нам навалом отпускали. А что с глыбами делать? В ступках толочь?

— Выходит, промахнулся?

— Одному мне размол известняка произвести не по зубам, а вот если межколхозную деньгу собрать, можно и осилить агрегат для помола.

— Ну и как?

— Несколько колхозов на мою идею уже клюнули.

Оглядывая своих коров, Мишин проговорил:

— Были мы с тобой рядовыми бойцами, отвоевали оба удовлетворительно, смерти не боялись. А как подумаю — твоя жизнь и нынче фронтовая, беспокойная.

— За землю воевали, теперь обязаны все силы свои ей отдавать.

— Овраги — и те ты плотинами оформил.

— Год на год не приходится. Пришлось водным балансом колхоз обеспечить.

— Все это так, — вздохнул Мишин, — да только свою личную жизнь ты не выстроил. Как председателя тебя народ уважает. А вот что ты бобылем мыкаешься, это в твои годы уже не солидно.

— Тебя это, Егор, не касается!

— Нет, касается. Раз в доме у тебя тепла нет, так и от тебя к людям теплота не идет.

— А я что, на себя работаю? На людей! — с гневом воскликнул Никитин.

— Ты, Серега, на меня не скалься, — построжал Мишин. — Я тебе душевно говорю. Ломай свою гордость. Если чистосердечного разговора стесняешься, валяй без разговора. Бери грузовик, забирай все ее имущество к себе в дом. Она за ним явится, а ты ничего не отдавай. Она при нем у тебя и останется. Женщины на активное действие podatливы, с ними это лучше всяких рассуждений. Да и зачем вам рассуждать? Она гордая, ты гордый, ни к чему вам в словах путаться. Чего жизнь напутала, то надо враз кон-

чать — смелым, решительным действием. По-фронтовому. Раз — и на всем точка. Я свою Маню как одолел? Вернулся с войны инвалидом второй группы — и прямо к ней в хату: «А ну, живо одевайся. В загс поедem. После разберемься, что к чему». Вернулись. Ни я ей, ни она мне никаких намеков. А тоже могли бы начать считаться, почему, да как, да с кем... Подвели под войной черту — и все. Может, Гришка мой, а может, и не мой. Но я его вырастил, значит, по всем статьям мой. Дипломат! Нашу страну представляет, и не где-нибудь, а в самой Африке.

Никитин лягающим движением ноги завел мотоцикл и под прерывистый рев мотора негромко и силно проговорил:

— Как пень водой ни поливай, деревья из него снова не вырастишь.

Он дал полный газ и по свежескошенной стерне выкатил на черную, размякшую от дождей проселочную дорогу.

Погода нынешним летом выдалась — не в пример прошлогодней — засушливой: все льет и льет. Верховой ветер натягивает облака с темной ливневой подкладкой, и течет из них, как из прорвы. Хорошо, что посеяли новосортную безостую пшеницу с крепким стеблем. Стоят хлеба пока стойко, не полегли даже под градом среднего калибра — выдержали стрельбу.

И травостой нынче выдающийся. Выше пояса трава, а на поймах — прямо как в тропических джунглях. Войдешь — до бровей растительность. Зеленые корма вполне можно собрать с расчетом на будущий год.

Все подразделения колхоза на сенокосе — действуют сводным отрядом.

Конечно, люди мокрые с головы до ног. Но лица довольные, раскрасневшиеся. Скошенные поля, точно волны желтеющие, колышутся, нетронутые — простираются ровной гладью и сладко, одуряюще пахнут. Этакое богатство привалило...

Сергей Павлович Никитин взял себе за правило в пору страды сохранять величественное спокойствие и невозмутимость, чтобы такое же спокойствие и невозмутимость внушать людям. Погоду не закажешь, а настроение людей от нее зависит: погода может урожаем испортить, и колхозники, конечно, нервничают. Но руководитель обязан против любой погоды иметь свой маневр. На сей раз Никитин решил использовать рулоны полимерной пленки, предназначенной для покрытия парников, и спрятать под ней стога сена, если дожди и дальше будут затяжными. Но эта

мера не гарантировала ему полного спокойствия. На самом деле он вообще никогда не был спокоен. Его всегда терзало какое-нибудь беспокойство. И чтобы скрывать его от окружающих, он первые годы усиленно курил. Это был спасительный ритуал. Прежде чем принять решение, Никитин неторопливо сворачивал самокрутку, облизывал края бумажки, уминал табак. Потом он продувал мундштучок, вставлял в него самокрутку, зажигал спичку, ждал, пока она догорит почти до самого конца, прикуривал и лишь после нескольких затяжек, как говорится, размыкал уста. С годами, однако, стало пошаливать сердце. Врачи запретили курение, и тогда он изобрел иной способ.

Купил в сельмаге бусы из многоцветных стеклянных шариков, носил их при себе, как четки, и задумчиво перебирал пальцами: в зависимости от остроты складывающейся ситуации то замедлял темп, то усиливал; это давало возможность сохранять хладнокровие хотя бы внешне. Вернее, только внешне, ибо Никитин был человек впечатлительный, нервный и постоянно озабоченный своей ответственной должностью.

Кроме того, как всякий председатель колхоза, он был обуреваем разного рода хозяйственными мечтами. Например, размышлял он о том, что если удастся собрать и сохранить весь богатый урожай травы, то можно будет сильно увеличить поголовье рогатого скота. А тогда, значит, удастся поставить на правлении вопрос о строительстве большого механизированного комплекса. Этакое цеха из сборных конструкций, где с помощью пульта управления осуществляется производство кормов в бункерах-кухнях, подача их к стойлам, механический вывоз навоза в бетонную траншею. Стеклянные трубы молокопровода можно протянуть в отделение с агрегатами для переработки молока в разнообразные продукты, и они пойдут в продажу с фирменной маркой колхоза «Красногвардеец» на пакетах. А это сулит колхозу основательное увеличение дохода. На вырученные деньги, конечно, следует в первую очередь застроить главную улицу зданиями, не уступающими городским, а может, даже получше, поуютнее, потому что каждая семья будет заказывать дом по собственному вкусу. Хотя, само собой разумеется, проекты эти будут согласованы с правлением, которое все-таки должно следить за тем, чтобы дома выглядели красиво и вместе составляли ансамбль. Ну, а поскольку хлеба выстаивают, дождь вот-вот выполнит свою сверхнорму, к уборке, наверное, распогодится, значит, тогда... Тут Никитин даже прикрывал глаза,

боясь продолжать, страхась зайти в своих мечтаниях слишком далеко и оторваться от реальной действительности, от нынешнего дня.

А день стоял пасмурный, дождливый, с редкими и короткими просветами солнца.

Поэтому Никитин старался удерживать свои мысли в деловых рамках сенокосных задач.

Нынешней ночью он спал плохо, мучимый очередной хозяйской заботой. Хотя травы уродились богато и были убраны почти со всех лугов, его начала одолевать жадность. Дело в том, что посередине реки имелись намывные острова: в половодье их ежегодно заливало водой, а в сушь они зарастали густой травой, и тогда колхозники переправлялись на острова и скашивали то, что недобрали на лугах. И вот неумейный Никитин прикидывал: не следует ли обкосить вдобавок ко всему острова? Это, однако, было рискованно. Дождь не кончался, вода прибывала. Скосишь, а сено смочет. Пропадет труд. Да и стоит ли затягивать косовицу, когда вот-вот погода установится и начнется уборка хлеба?.. Именно об этом напряженно думал председатель, стоя на берегу реки, глядя, как неумоимо она мчит вперед, как шевелятся в воде, точно огромные зеленые водоросли, ветви затопленного прибрежного тальника.

Вот как в жизни случается.

Была такая девчущечка — Настя, с незабудковыми глазами, прыткая, юркая, на язык такая бойкая, что многие парни от ее насмешек сразу скисали.

Сергею Никитину после возвращения с войны пришлось взять на себя семью старшего брата, погибшего на фронте. Хворую его жену и четверых ребятишек. Было Сергею тогда всего двадцать три года, но при таком повороте дела получалось, что он уже вроде как пожилой человек, обремененный семейством.

Вначале Никитин не замечал, что стоило ему появиться там, где была Настя, как девушка сразу стихала, опускала глаза. Куда только весь задор девался! Потом стал замечать.

Не надо большого ума, чтобы сообразить, отчего оно так происходило.

Конечно, Никитину это было лестно. Но, понимая свое положение, он помышлял вовсе не о такой пичужке. Уж если приводить в дом женщину, так с житейским опытом, умелую в хозяйстве; на собственную радость, он считал,

у него и права нет, пока племянники и племянницы не подрастут, не начнут самостоятельную жизнь.

Так это он все соображал головой, а сердце его Настя стала тревожить все больше и больше. И главное — чем? Да ничем особенным, только тем разве, что взглянет на него, потом глаза опустит и стоит молча, покорная, и ждет.

Ну, и получилось. В ночном он коней пас. Пришла и вымолвила только:

— Сережа, спаси меня от себя, или я в реку кинусь.

Утром он ей сказал, стесняясь:

— Ты ступай, а то люди придут, увидят.

Она выпрямилась, голову вскинула:

— Эх, ты! — И ушла не оглядываясь.

Спустя некоторое время уехала в город.

При распределении после окончания института Настя попросила послать ее на работу в родной колхоз, повинуюсь, пожалуй, больше чувству долга, чем искреннему желанию вернуться в прежнюю свою жизнь — в деревню, обессиленную войной, малолюдную, с избами, заколоченными досками, с тощими урожаями, с заболоченными, заросшими кустарником лугами. Даже на приусадебных участках в ту пору сеяли хлеб, не зная, хватит ли на семью того зерна, что выдавали на трудодни.

И Настя порой думала о том, что все, чему ее учили в институте, она не сумеет применить на деле, — так же, как астроном не может указать по звездам кратчайший путь к дому людям, блуждающим в ночном лесу. Но деревню свою она знала, и это хоть как-то успокаивало.

Она вспоминала Сергея Никитина. Достоинство, с каким он нес свое тяжкое бремя, скрывая его от людей. Слабую, хворую жену брата он мыл в корыте, завесив окна избы рядом. Сам стирал, готовил, нянчил племянников и племянниц и в колхозе работал больше других.

На улице, однако, он всегда появлялся в своей белесой, вылинявшей, но аккуратно выглаженной гимнастерке, ладный, бодрый, туго перепоясанный в талии, с нашивками за ранение и с планками, бережно обернутыми целлофаном, на груди. Весело улыбаясь Насте, спрашивал:

— Ну что, пташка-пичужка, живем? Песни поем?

Светлые глаза его искрились задором. Но лицо было худое, бледное, вдоль щек пролегли две глубокие складки.

Фуражку танкиста с черным околышем он носил слегка набекрень, а когда снимал ее, открывалась вкривь и вкось постриженная шевелюра — это невестка умудрялась так обкорнать его овечьими ножницами.

Выступая однажды на правлении, он начал торжественным тоном:

— Прежде всего, товарищи, разрешите вас приветствовать от лица нашей бывшей действующей армии и от сердца поблагодарить. Прокормили вы нас — вот! — И он провел ребром ладони по шее. — Сытый солдат — сила. Значит, наша сила от вас шла, от вашего хлеба сытного. — Помедлив, продолжал: — А теперь конкретно. Кто мы сейчас? Бойцы хлебного фронта. Но наш плацдарм, надо прямо сказать, вроде как ничейная полоса выглядит. Не одолели мы его. Хлеб сорняком пророс. Позволили сорняку, врагу злейшему, завладеть нашим трудом. А все почему? Из-за мелкой пахоты, да и посев без ухода оставили. Пожалели себя, руки свои пощадили, за это нам теперь земля без жалости отомстила. Опять с недобором будем. Мы землю портим, а она нам жизнь портит...

— Ты давай без демагогии, — прервал его председатель.

Никитин повернулся к председателю, сощурился:

— Вот ты на рассвете по деревне ходишь и палкой в окна стучишь — на работу вызываешь. Это и есть демагогия. Развел натуральное хозяйство — всего понемногу. А главный авторитет — хлеб. Ты лучшие земли под огороды пустил, под выпасы. Лоскутное наше хозяйство. А почему? На рене да на брюкве с тыквою энтузиазм людей не поднять. Хлеб — вот какой лозунг выдвигать надо.

Председатель вздохнул и произнес тихо, но внятно, так, что все услышали:

— Пропитание наше только и было, что репа да брюква, кормовая свекла не скоту — людям в пищу шла. А хлеб мы государству для армии сдавали.

Никитин смутился, но все-таки упрямо заявил:

— Это так. Но зачем военное время на послевоенное натягивать? Если победа, так она на всех и во всем общая.

И вышел в молчании, как бы затем, чтобы покурить на вольном воздухе. За ним вслед вышла Настя. Она встала рядом и, тронув его за руку, кротко проговорила:

— Ты, Сергей, здорово, красиво говорил.

— Значит, в точку! — самоуверенно отозвался Никитин.

— Нет, — тихо сказала Настя, — совсем не в точку.

— Это почему же?

— Наш председатель Виктор Николаевич спокоен веку печник. На него женщины накричат — он и сдался. А по существу, кто колхозом командовал? Вдовы и жены фрон-

товиков. Это они на работу всех сгоняли, а не он стучал на рассвете в окна своим костылем. И если на трудовень зерно выдавали, так потом они же его для семенного фонда отбирали, а сами брюквой со свеклой кормились. Зачем же ты так Виктора Николаевича пригвоздил? Теперь он обратно в печники попросится. Он и так в других колхозах немало инвентаря и скотины для нас добыл — уходил туда печи складывать. А печник он, может, на всю область лучший.

Никитин поглядел в потемневшие от волнения голубые Настины глаза и вдруг спросил изумленно:

— С неба тебе, что ли, такие глазки капнули?

Настя сердито отмахнулась от него:

— Мне один парень к лицу васильки прислонял, для сравнения, а ты уж совсем хватил — с неба! — Потом осведомилась строгим тоном: — А у невестки твоей какие глаза? — И, не выдержав, усмехнулась задорно: — Наверное, золотые, с искрой!

Трактору, на котором работал Никитин, давно уже пора было на покой. Поэтому Сергей дважды проходил плугом по пашне, чтобы пропахать поле на должную глубину. И пока остывал перегретый двигатель, дремал в кабине, положив руки на руль, склонившись на них головой. Смены ему не было. Чтобы одолеть сон и усталость, он то и дело окунался в родниковый бочаг, зазябнув в студеной воде, забирался в душную кабину трактора: от нагретого двигателя тепло шло, как от печи.

Однажды на закате, когда он, утомленный, невыспавшийся, копался в моторе, к нему подошла Настя и сказала задумчиво:

— А вот когда первую нахоту здесь вели, так Виктор Николаевич коню копыта мешковиной обмотал, к плугу каменную глыбу привязал и на длинных постромках волок плуг без пахаря.

— Это зачем так? — рассеянно спросил Никитин.

— Наверное, чтобы людей от мин обезопасить. Снаряд он все же один выковырял — с четвертную бутыль величиной.

— И куда снаряд дели?

— Никуда. Обложили хворостом, зажгли кострище, ждали-ждали, надоело. Домой ушли, а он как ахнет, даже в деревне ветром дунуло... — Она помолчала. — Дверью теперь у нас в избе кто хлопнет, я все вздрагиваю, пугаюсь — вдруг на пашне тебя рвануло. — Потупилась, спросила шепотом: — Как ты думаешь, отчего я стала такая нервная?

Никитин повернулся к ней.

— А на фронте все наоборот: если противник огня не ведет, значит, жди атаки. Тишина на фронте всего хуже.

— А мне всего хуже, что ты молчун, — обиженно сказала девушка, и глаза ее сердито блеснули.

— Да ты что? — смутился Никитин.

— Ничего. Слепому хоть в самые глаза свети, он даже моргать не станет. — Настя вдруг строптиво заявила: — А ты больше в моем бочаге не мойся, я сама в нем купаюсь, после тебя он весь мазутом провонял.

— Ну, не буду, — покорно согласился Никитин.

— Нет, будь. — Настя вдруг заговорила совсем другим тоном: — Я нарочно так сказала. Мне даже приятно, что бочаг тобой пахнет. Ну, мазутом то есть. Понял? Не понял? — Она повела плечом. — А это верно говорят, что ты в корыте свою невестку моешь?

Никитин вытер ветошью руки, сказал глухо:

— Ты, сорока в юбке, чего несешь? Марфа больная женщина, инвалидка. А ты про нее плетешь.

Настя побледнела, глаза ее погасли.

— Прости, прости, если сможешь, — произнесла она подавленно, шепотом. — Я это со зла.

— На кого? На меня, что ли?

Настя рыдала, уткнув лицо в снятую с головы косынку.

Никитин, протянув ей ветошь, мрачно посоветовал:

— На, утрись. Косынка-то новая, а ты в нее сморкаешься.

— Я в нее не сморкаюсь, я в нее плачу... — Настя протянула руку к ветоши и как бы машинально сунула Никитину свою косынку.

Никитин молча разгладил на ладони скомканную ткань, аккуратно сложил ее конвертиком, но когда поднял глаза, Настя уже уходила.

— А косынка? — крикнул он.

Она улыбнулась и сделала руками движение, какое делают, когда повязывают платок на шею.

Это было в моде тогда у парней — носить до свадьбы косынку невесты.

Никитин об этой моде ничего не знал. Он свернул платок и положил его в карман гимнастерки.

Все это было. Было и то утро в поле, когда он растерянно просил прощения у Насти. А она, счастливая, не понимая его смятаения, чувства вины, охватившего его, смеялась, радовалась, потому что одарила его тем, чем можно одарить только однажды в жизни, и, гордая, думала,

что нет ничего на свете выше этого дара любви, доверия, преданности.

На другой день, вернувшись домой, Никитин застал Марфу за уборкой. Она прибрала хату, потом переоделась во все новое, села на постель, желтая, костлявая, с глубоко запавшими глазами, попросила хрипло:

— Не зови ребят. Не надо, чтобы они видели. — Встала, оперлась о плечо Никитина. — Не хочу помирать лежа. Хочу, как Вася, стоя смерть принять.

Она выпрямилась и замерла, чего-то ожидая. Затем вдруг обмякла в руках у Сергея.

После похорон Никитин не расставался с осиротевшими ребятами. Брал их с собой в поле, там они спали в сене, там их кормил. Он рассказывал им о том, как их отец, а его брат Василий Павлович воевал на своем истребителе, как фашисты боялись его, словно воробьи ястреба. Стоило Василию вылететь на бой, и в небе зажигались костры из фашистских самолетов. Но однажды Василий не вернулся на землю... Навсегда остался в небе. Следя за падающей звездой, Сергей говорил:

— Так вот и Васин ястребок прочеркнул небо звездой падающей. Чтобы людям теперь всегда светить, напоминать им, что они всегда должны быть смелыми, сильными, даже когда у них горе... Примерно как вы теперь себя ведете.

Однажды он увидел, как Настя угощала его ребятшек земляникой.

Он пошел проводить ее, угрюмо молчал, потом сказал, глядя куда-то в сторону:

— Ожерелье из моих ребят тебе на шею напяливать я права не имею. Не по тебе ноша, в такой хомут тебе запрягаться вовсе ни к чему... — И словно поперхнулся: — Если можешь, прости. Не можешь — не надо. Вина моя перед тобой большая. Но чтобы она еще больше была, не хочу.

Настя остановилась, спросила как бы с удивлением:

— Это ты все к чему? Да очень ты мне нужен со своей оравой! Тоже — жених!

— Спасибо, Настя, — сипло произнес Никитин. — Спасибо тебе за все. И за то, что ты силу нашла так сказать.

— Не стоит благодарности, — сказала Настя, — так что с приветиком.

Но лицо ее было таким, что лучше не смотреть, — как у раненого, когда он видит в ведре отсеченную санбатским хирургом окровавленную свою ногу.

Промелькнули дни годами, приходит Никитин к себе в правление, а там она его дожидается.

Но уже не Настенька, а Анастасия Андреевна Коренкова, главный агроном его колхоза.

Совсем другая. Фигура статная, глаза отголубели, стали серыми в крапинку, от ресниц тени, голос грудной, сильный, смотрит пристально, не моргая, разговор только деловой.

Так дальше и пошло. Знающей она оказалась, с инициативой. Правильно все подсказывала, а сама тушевалась. Мол, это председатель предложил.

С одной стороны, выходит, авторитет его поднимала, а с другой — вроде как незаметно унижала, — не перед людьми, перед ней самой унижала.

Что тут поделаешь: для общего дела польза получалась, а Никитину мука. От личных разговоров она уклонялась. Но по глазам ее он понимал — вроде как мстила. Ты, дескать, толковый, а я еще сообразительнее, да к тому же образованная.

Вот тебе и Настя с незабудковыми глазами.

«Спаси меня от себя». Теперь она его выручает по всей линии. И за все время ни разу ему не улыбнулась, не спросила про жизнь. Смотрит прямо в глаза и ровным голосом объясняет, за что колхозу лучше братья, доходнее. И при этом на счетах щелкает. Чтобы в пудах и рублях ему понятней было.

Это она со своим нивелиром и теодолитом мелиораторов обличила, доказала, что самостока должного нет на осушенных торфяниках. Заставила их переделывать сделанное. В резиновых сапогах выше колен, в куртке и панамке с накомарником все болото излазила, а своего добила.

Никитин увидел ее однажды такой — вся в тине, лицо бледное, потное, осунувшееся от усталости. Обмер, спросил:

— Зачем же это вы? Мне бы...

Она ехидно прищурилась:

— А с инструментом вы умеете обращаться?

Никитин понурился, сокрушенно развел руками.

Но она тут же пожалела его:

— Да вам и не нужно. Мне это по должности полагается.

Никитин, волнуясь, заговорил:

— Ты же вся вымокшая, болотная тина студеная, заболеешь... — И хотел снять с себя брезентовый балахон, чтобы на нее накинуть.

Но она отошла в сторону и, сверкнув глазами, сказала: — Ступайте, ступайте, нечего, а то мелиораторы про нас что-нибудь подумают. — И криво усмехнулась опухшими от комариных укусов губами.

Никитин не обиделся, даже обрадовался: значит...

Но она, словно поняв все по его лицу, снова пренебрежительно улыбнулась:

— Подумают, что я вам на них жалуюсь.

Никитин жил один. Ребятишки давно уже выросли, оперились. Мог он, конечно, притулиться к какой-нибудь одинокой женщине. Но положение обязывало быть осмотрительным. И себя мог запятнать, и женщину тоже, если не капитально с ней получится, не на всю жизнь. Просто так — перед людьми совестно.

И бессемейный Никитин целиком отдавался колхозным заботам, почевал в бригадах, всегда был на ходу, при деле, в хлопотах, всегда на людях.

Он не нуждался ни в справках, ни в сводках — все дела колхоза сохранялись в его памяти как нечто им самим пережитое, пережитое.

Он умел прикинуть, как будут выглядеть поля при любой погоде и на разных стадиях созревания хлеба. При хорошей погоде он думал о худшей, соображая, каким манером ее одолеть. Землю колхоза он знал как бы на вкус, знал, где солоноватая, а где кислая, где земля бедная, а где богатая питательными для растений веществами. Он научился с первого взгляда замечать, как работали на поле люди. Скрыть от него небрежный труд стало невозможно. Настигнув на своем «Иже», бодро бегущем по стерне или пахоте, нерадивого механизатора, он ставил мотоцикл поперек колес, влезал в кабину, кротко спрашивал провинившегося:

— Ты воевал? Нет? Это хорошо, что не воевал, а то гляжу я на твою работу и понимаю, что на фронте ты бы в первый день накрылся. Почему? А вот почему. Велят тебе копать окоп в полный профиль, а ты его выкопаешь в полштыка. И не будет тебе в земле защиты и спасения, как и зерну в твоей мелкой борозде. Ясно?

Внушал механизаторам:

— Машина уход любит. А земля — та еще больше: она живая — на ласки и заботу отзывчивая, хлебом большим отвечает. Машину можно на ходу исправить, а порченное поле не отремонтируешь. Если из машины одну деталь

вынуть, она с места не тронется. Это и дураку ясно! Если во время полевых работ где-то за посевами недосмотреть — урожай не жди, не пойдут хлеба во всю силу. Землю понимать надо — так же точно, как машину механику. Земля кормит, но и ее кормить надо. От тощей земли приплод тоже тощий получается. Удобрение — оно как пороховой заряд в снаряде, от него сила земли. А ежели удобрения у нас непокрытой кучей валяются под дождем, так это все равно что взрывчатку сбросить в грязь, а потом удивляться, что она не сработала.

Каждое зерно — патрон. Поврежденное не взойдет, как и патрон испорченный не выстрелит.

Мы бой за хлеб ведем всеми наличными средствами. На фронте бой на бой не похож. Так и у нас со страдой. Обстановка и условия всякий раз особенные. Опыт опытом, но соображать по обстановке и условиям приходится. Инициатива, ловкость, мастерство, взаимодействие и у нас, как на войне, главные показатели. На фронте боеспособность важна, а у нас трудоспособность человека. Затяжной бой что всегда означал? Что недостаточно подготовились к решающим действиям. Затяжные сев или уборка то же самое означают: успеха, стало быть, не жди, а потери будут.

Но когда Анастасия Андреевна приносила Никитину графики полевых работ, составленные ею в нескольких вариантах, в зависимости от погодных условий, Сергей Павлович терял свойственную ему живость реакции, уныло осведомлялся:

— Так какой мне подписывать, когда они все разные?

— Тот, который окажется целесообразным.

— Я погоду не угадываю.

— Мы обязаны заранее знать, как организовать работу в разных условиях. Район срочно требует представить график.

— Посылайте любой. А задействуем тот, который будет отвечать конкретным условиям.

— График — это документ, — напоминала Анастасия Андреевна.

— График — это план работ; в нем должно быть предусмотрено и изменение плана в интересах производства...

Покорно подписав один из графиков, Никитин как-то сказал:

— Ну да ладно. Зерном сосчитаемся, кто прав, а кто не прав... Народ вас как, слушается?

Анастасия Андреевна гордо подняла голову с тяжелым

узлом пышных волос, заколотых на затылке полукруглой гребенкой:

— А мне и не нужно, чтобы меня слушались. Мне важно, чтобы понимали.

— Это в каком смысле?

— А в том, чтобы люди, работая, думали о конечном результате своего труда.

— Цыплят по осени считают, это точно, — одобрительно произнес Никитин.

— Не только это. Главное — чтобы понимали выгоду качественного, квалифицированного труда и для себя и для всех, а для этого надо повышать агрономические знания.

— Агроликбез проводить, что ли? — усмехнулся Никитин. — Так народ у нас грамотный.

— А я вот что решила, — заявила Анастасия Андреевна. — Возьму участок в гектар величиной, на одной половине проведу полевые работы с выполнением всех агротехнических мероприятий, на другой — с различными их нарушениями. Все получится наглядно. Буду собирать людей побригадно, обсудим, проанализируем результаты.

— Дело! — обрадованно воскликнул Никитин, глядя на Анастасию Андреевну, и вдруг неожиданно для самого себя произнес: — Личико у вас очень осунулось. Может, что надо, вы скажите...

— Физиономия моя меньше всего вас должна интересовать, товарищ Никитин, — со злобой ответила Анастасия Андреевна. Уложила бумаги в папку, аккуратно завязала ее бантиком, спросила: — Вопросы по работе ко мне есть? Нет? Будьте здоровы! — И удалилась так, будто он смертельно оскорбил ее.

Вот так почти всегда... Встречаясь с Анастасией Андреевной, Никитин испытывал душевное смятение, хотя в ней вроде бы ничего не осталось от прежней голубоглазой Настеньки, отчаянно, самозабвенно влюбившейся в него когда-то девушки. Конечно, он виноват перед той Настенькой — тем, что вынужден был отказаться от ее любви, отказаться из чувства ответственности за семью брата, из страха взвалить на худенькие плечи Насти тяжкую обузу. Но разве она это понимала? И теперь, видно, не понимает этого Анастасия Андреевна, главный агроном его колхоза. Умная, красивая, энергичная женщина, оскорбленная им в юности, но нашедшая в себе силы вычеркнуть прошлое из памяти, вернуться в колхоз и стать в нем ведущим специалистом. Ее благотворное влияние на дела колхоза Никитин ощущал все больше.

Изо дня в день теперь Никитин встречался со своим главным агрономом, видел, какая она статная, интересная, видел тоненькие морщинки, прорезавшиеся в уголках ее чуть поблекших серых глаз, слушал уверенно звучащий грудной голос.

Она умно, по достоинству, оценивала все, чего достиг в своей хозяйственной деятельности Сергей Павлович, и так же умно и обоснованно объясняла, чего он не достиг и чего достигнуть необходимо. Знала, как этого можно достичь.

Никитин соглашался, кивал, тем более что то, о чем она говорила, для него новостью не было; все она говорила правильно, неправильным было одно — то, как это она говорила. Казалось, будто перед ней чужой человек, с которым она познакомилась, лишь приехав в колхоз после института, а до того ничего между ними не было. Ничего. Или, может, все-таки было, но настолько давно и, главное, ушло так безвозвратно, что теперь как бы совсем и не существовало. Промелькнуло — и все. Много в жизни проходит мимо.

И Никитин старался держаться точно так же. Держаться, как и она с ним, — дружески, уважительно.

Но председателем-то все-таки был он и потому мог позволить себе кое-что.

Например, когда Анастасия Андреевна однажды доказывала ему необходимость постройки крытых токов, он пророчал:

— Это для чего? Вроде как танцплощадку оборудовать для увеселения народа. А средства где?

Она сердито стала объяснять ему всю целесообразность строительства. Он послушал, послушал и сказал:

— Да ладно вам горячиться! Договорился уже со строительной бригадой. Асфальт нам давно выписан.

— Зачем же вы так шутите? — с упреком произнесла Анастасия Андреевна; лицо ее и высокая шея покраснели.

— Дела налажены, почему бы и не пошутить?

— Тогда позвольте и мне. Ваша затея с помолком известняка без механических разбрасывателей на почве — это все равно что покупка коляски без мотоцикла.

— Что касается мотоцикла, — прикинулся непонимающим Никитин, — то имею личный. Но коляска мне ни к чему, возить в ней некого. — И тут же сконфузился, испугался, как бы сказанное не прозвучало намеком.

— Найдутся желающие, — дерзко глядя ему в глаза,

сказала Анастасия Андреевна. — По этой линии я вам не советщица.

Так получалось почти каждый раз, когда Никитин, расслабившись, отступал от правила, которое решил соблюдать так же неотступно, как его соблюдала Анастасия Андреевна.

В поселке были выстроены новые дома, в том числе и кирпичные, но Никитин продолжал жить в своей прежней избе. Впрочем, как уже говорилось, пользовался он ею довольно редко, а по большей части обитал в конторе, где у него имелась специальная комнатуха с койкой, столом и шкафом. Дверь из комнатухи вела в приемную председателя, уставленную новой мебелью, не уступающей по цене райисполкомовской.

Для колхозных специалистов Никитин выстроил коттеджи; в одном из них и жила Анастасия Андреевна, занимая половину дома; в другой половине поселился главный инженер колхоза Валентин Степанович Боков, холостяк в годах.

Зимой и летом он ходил без шапки, но непременно в нарядном комбинезоне со множеством застёжек и «молний». У зимнего комбинезона была меховая подкладка. В распоряжении главного инженера находился «пикап», в котором он возил собственный инструмент, аккуратно уложенный в пластмассовые чехольчики, и рыболовную снасть.

Механизаторы величали его не Боковым, а Боговым, имея в виду его технические знания. И говорили между собой: «В технике Боков бог, а на людей кидается, как овчарка. Имен не запоминает, только по машинам узнает, кто — кто. От состояния машины у него к человеку уважение или презрение. Разговор ведет, не в лицо глядит, а на машину. Будто ты при ней прицепной агрегат». Передразнивали: «У вас свеча не работает в правом третьем. Чувствуете? Почему плохо загерметизировались? Из вас зерно сыплется. Вы меня слышите, эй, вы, новенький «КамАЗ» с прицепом!..»

Но при всем том Боков пользовался у механизаторов непререкаемым авторитетом.

Он уговорил их своими силами отремонтировать списанные навозоразбрасыватели. По существу, с его помощью их реконструировали так, что теперь их можно было применять и для минеральных удобрений. Он же придумал выволочь тракторами на берег ржавеющую на отмели бесхозную баржу, перевернул ее вверх дном, автогенном

вырезал в бортах проемы для ворот и дверей и использовал баржу для хранения техники в зимние месяцы.

Не дожидаясь, пока решится проблема размола, он срезал с палубы баржи стальные листы и на них давил в порошок куски известняка слабосильным, но тяжеловесным гусеничным трактором, давно уже подлежащим сдаче на металлолом.

Поскольку в оборудовании механизированного животноводческого комплекса не были предусмотрены запчасти, он изготовил их в своей ремонтной мастерской силами стройотряда студентов с факультета холодной обработки металлов инженерного института.

Когда Никитин благодарил Бокова, тот рассеянно отвечал:

— Все это ерунда. До этого любой слесарь-водопроводчик додумается. А вот то, что несколько основных видов сельскохозяйственных работ еще не обеспечены специальными агрегатами, это прежде всего, извините, вопиющая дыра в мышлении наших конструкторов. Засели в термах НИИ, как бояре. Я бы их на практику посылал вилами навоз убирать. Уверен, после этого они бы нас мгновенно какими-нибудь чудодейственными навозоуборщиками одарили, да еще с автоматически действующими химико-биологическими анализаторами.

— А вы сами, товарищ Боков, с вашей сообразительностью — и не в конструкторском бюро. Что так? — осторожно поинтересовался Никитин.

— Гены, гены не те, — спокойно ответил Боков. — Изобретательство — дар. Это как музыка: одни умеют ее сочинять, другие могут лишь подпевать. Так вот я — подпевала.

— По-моему, напрасно вы себя так аттестуете, — горячо возразил Никитин. — Вы человек большой инициативы. Личность.

Боков пожал плечами, вздохнул:

— Все мы личности в своем роде... — Он оживился. — Но вот рыбак я действительно исключительный. В лужу, представьте, закину — клюнет; подсеку — карась.

— Не скучаете без семьи? — не без задней мысли спросил Никитин, которого иногда мучительно тревожило близкое соседство Бокова с Анастасией Андреевной.

— К первой своей жене я не мог привыкнуть в течение многих лет. А вторая надоела через полгода. Развелся с первой потому, что любил ее безмерно и, значит, ревновал. А это ей было гадко, унижительно. Впрочем, я ее, пожалуй,

больше ревновал не как женщину, а как талантливого инженера. Мы вместе учились. Окончили, потом работали в КБ... — Потрогав ладонью внезапно задержавшуюся щеку, Боков с усмешкой произнес: — Эта вот главная агрономша наша тоже, знаете ли, экзотический фрукт. Ей бы детей рожать, а она плодоносит пшеницей. В ящике на подоконнике что у себя выращивает, как вы думаете? Нормальная женщина цветы бы сажала, а эта — элитные твердые сорта и, как уверяет, с большим содержанием белка.

— Ну, это вы зря так! — сухо сказал Никитин.

— Только из зависти. — И Боков опять криво усмехнулся. — Все неудачники завистливы.

Смягчаясь, испытывая к Бокову уже сострадание, Никитин проговорил:

— Если человеку большая любовь в жизни выпала, значит, он чем-то был ее достоин.

— Так не она, я ее любил. И ушел потому, что любил.

— Это, конечно, бывает, — задумчиво произнес Никитин. — Как яркий встречный свет ослепляет водителя, так и человек слепнет от сильного чувства.

— И, как говорят в милиции, возникает предпосылка для аварийной ситуации, — невесело рассмеялся Боков.

Анастасия Андреевна ценила Бокова за его редкостную сообразительность, когда дело касалось переоборудования или усовершенствования сельскохозяйственной техники. Но развязность, или, как называл это сам Боков, «раскованность» его не относящихся к делу разговоров ей не нравилась.

Придя как-то к Анастасии Андреевне в лабораторию, расположенную рядом с опытным участком, Боков, не спросив разрешения, выключил транзистор, объяснив:

— Такая музыка полезна только для пищеварения, а у меня кишечник работает нормально.

— Поздравляю, — спокойно взглянула на него Анастасия Андреевна. — Что дальше?

— А дальше, уважаемая Флора Андреевна, докладываю: смеситель скотского дерьма с торфом и всякими химикалиями испытан, действует. Приходите смотреть в работе — можете насладиться. — Боков сел на табурет, закинул ногу на ногу. — Вот вы, мадам Флора, пестуете ваши зародыши, словно новорожденных в роддоме. Полагаете, что из них взойдут гениальные растения, которые обогатят наши организмы белками. Но уход-то за ними требуется бесконечный. А смотрите, сорняк — закаленный богатырь,

любую погоду выносит, и без всякого присмотра. Выходит, творения самой природы сильнее науки вашей.

— Если бы вы были первобытным человекоподобным существом, ваше тело покрывала бы шерсть, а не одежда, челюстями вы спокойно пережевывали бы огромные кости и в случае надобности бегали на четвереньках. Но такое существо отличается от современного человека не меньше, чем сорняк от культурного растения.

— Сдаюсь,— Боков поднял руки,— отступаю, но не перед вашей аргументацией, а перед той убежденностью, с какой вы излагаете свою точку зрения.— Он блаженно улыбнулся, затягиваясь сигаретой.— Вот мои механизаторы — типичная помесь мужичка с рабочим. Как вы полагаете, что в них сильнее — сознание мужика или сознание рабочего?

— А зачем вообще нужно задаваться таким вопросом?

— Лично я, будучи инженером, предпочитаю тех, кто по-рабочему мастеровит, сроднился со своим агрегатом или машиной и на поле чувствует себя, словно в цеху.

— А я бы отдала предпочтение тем, кто хорошо владеет машиной, но не утрачивает при этом крестьянской любви, крестьянской преданности земле как основе всего сущего.

— Ну да, вы же землепоклонница.

— Именно. Считаю землю благодетельницей рода человеческого. Отдельные представители его, к сожалению, об этом не всегда помнят.

— Ну, а если, предположим, благодаря НТР и мощному развитию химии взамен ваших зерен можно будет получить питательные вещества, да еще с меньшими затратами труда? Что тогда? Ваши поля спокойноенько зарастут бурьяном...

— А вместо вас инженерией будут заниматься всякого рода кибернетические устройства, и вы от бессмысленности жизни превратитесь в человекоподобное животное.

— Обиделись? — улыбнулся Боков.— Напрасно. И через тысячу лет без хлеба человечество за стол не сядет. И хлеб, и столы сохранятся как вечные пережитки. А вот если наша наука и техника позволят, то, уверяю вас, уже не в столь отдаленные времена почти все сельскохозяйственные работы можно будет производить безлюдно, с помощью дистанционно управляемых машин и одного-единственного оператора у пульта.

— Что-то я не заметила, чтобы наш кормораздаточный агрегат с пультом управления обходился одним оператором,— ваши слесари-ремонтники столько времени около

него проводят, что успели запомнить имена всех коров-рекордисток. А девушкам и женщинам приходится частенько развозить корма на тачках.

— Уели! — улыбнулся Боков, но сразу нахмурился. — Моя самоделка. Каюсь и сам маюсь. Купили старье. Начал совершенствоваться — то одно летит, то другое. — Глаза его сузились. — Но если недели через две не заработает нормально, перехожу на питание силосом; выходит, я не инженер, а скотина.

— Ну-ну, — сказала с упреком Анастасия Андреевна, — в таком случае и я должна считать себя коровой, поскольку последние опыты с ветвистой у меня неудачны.

Боков пристально поглядел на Анастасию Андреевну и с торжеством воскликнул:

— А знаете, многие древние поэты, восхваляя красоту женщины, утверждали при этом, что у нее очи как у коровы! Про ваши глаза, когда они обретают грустное выражение, я бы сказал то же самое.

Анастасия Андреевна беспечно рассмеялась.

— Вы очень наблюдательны. Теперь я верю, что в животноводческом комплексе вы действительно проводите значительную часть своего рабочего времени. Значит, есть надежда, что кормораздатчик будет работать.

— А ведь вы действительно преданы деревне, — развел руками Боков. — Даже в мыслях не хотите выйти за ее околицу.

— Ну, это как сегодня понимать деревенскую околицу. Сейчас в деревню пришли и промышленность, и наука.

— Просвещаете, — уныло констатировал Боков. Пожаловался: — Шел поболтать с интересной женщиной, а у нее весь интерес — вот... — Боков кивнул на лабораторную утварь. — Превратить нужную растительность в полевые злаки и засеять ими всю пахотную площадь.

— Земли, — сказала Анастасия Андреевна.

— Это в смысле планеты? — прищурился Боков.

— Хотя бы некоторой ее части.

— Ну что же, это еще весьма скромно, — иронически улыбнулся Боков. — Мои слесарно-монтажные масштабы ограничиваются кормораздатчиком. — Вздохнул: — Мечта с расчетом на две недели исторического времени.

Плотные темные тучи сочились дождем; вот-вот они могли обрушиться ливнем. Тучи закрыли солнце, и день был тусклый, серый. Вздвухшаяся река мчалась со скоростью горного потока.

На островке, обильно поросшем разнотравьем, лежал рыхлый туман, бесчувственный к дождю.

Лицо Никитина было мокро, он то и дело стряхивал капли с ресниц, бровей, с носа.

Подошел Боков в плаще-болонье, с продолговатым чехлом в руках, где бережно покоился его спиннинг, весело воскликнул:

— Погода для клева — лучше желать нельзя!

— Кому что, — угрюмо ответил Никитин. — Дождина по хлебам бьет, могут полечь.

— Анастасия Андреевна как маг и волшебник растительного мира утверждает, что стебли у ее новосортки обладают и стойкостью, и упругостью.

— Обладают, — сердито произнес Никитин. — Металл и тот устает, если его сверх меры утруждать. А это живое естество, не железо.

— А я на островок, поробинзонить, — сказал Боков. — Роскошное обиталище для одинокого человека — влезаешь словно в гигантский цветочный букет. Запах как в парфюмерном магазине.

— Травы в этом году отменные, да как их взять — вот в чем вопрос.

— Гамлетизм, стало быть, одолел?

— Жадность меня обуяла, это верно. Добра сколько пропадает...

— А почему не косите?

— А чем? Литовками? Так на это людей много надо. Все при деле. Да и риск. Скосим, а река еще выше поднимется. Все сено снесет, и за людей страшно.

— Ваша зона, кажется, считается зоной рискованного земледелия?

— Не кажется, а так оно и есть.

— Так чего же вы тогда рискнуть стесняетесь, если риск вам официально положен?

— Сеном еще можно рисковать, а людьми — никак.

— Но я же вот — пожалуйста — отправляюсь на остров.

— На надувной?

— Зачем мне лодка? Вплавь, для удовольствия и закалки организма.

— Утонете — останусь без главного инженера, да и кормораздатчик еще не полностью палажен.

— Коровы будут огорчены.

— Я не с коровьей точки зрения. Вам-то зачем собой рисковать?

— Учитывая специфику зоны, имею право.

— Ладно,— сказал Никитин,— я с вами на пару поплыву, тоже освежусь и кстати осматрюсь, как там и что. Боков пожал плечами.

Они разделись на пристани, одежду затолкали под скамью.

Боков, оглядывая мощный торс Никитина, заметил одобительно:

— Вы точно гладиатор,— и прикоснулся к выпуклым сизым рубцам на груди и бедрах Никитина.

— Родимые пятна войны,— сказал Никитин.— Шваркнуло осколками, а от них всегда, зараза, плохо заживает.— И в свою очередь заметил: — Видать, спортом занимались — жилистый мужичок.

Боков двигался в воде красиво, уверенно. Рядом, далеко выбрасывая руки, мощными саженками плыл Никитин.

Вначале оба вежливо не пытались обгонять друг друга, но затем увлеклись и, выкладываясь до конца, рванулись вперед: каждый хотел первым ступить на берег острова.

Выбрались, увязая в тине, одновременно. И, забыв про соперничество, вдруг почувствовали взаимную, почти мальчишескую симпатию друг к другу.

Никитин бесцеремонно шлепнул Бокова по спине:

— Пловец, ничего не скажешь.

— По-моему, в вашем лице советский спорт потерял рекордсмена,— откликнулся Боков.

— На реке живем,— сказал Никитин,— к воде привычные.

Вдвоем, облепленные пылью, цветочными лепестками, они вдоль и поперек исходили остров.

— Ну, вы оставайтесь,— решил Никитин,— а я двинусь обратно.— Вздохнул: — Добра, добра сколько! Тысячи кормовых единиц пропадают.— Поднял голову, горестно покачал ею: — Все небо тучами завалило, где-то ведь дождя нет, сухо, а тут льет и льет... Хоть бы ветер поднялся, уволок их куда надо, где небо чисто и ждут дождя.

— За других тревожитесь?

— За себя тоже.

Обратно Никитин плыл медленно, тяжело поднимая руки; его сносило течением. Невдалеке от берега председателя нагнал Боков. Никитин, поворачиваясь на спину и выплевывая воду, удивился:

— Ты чего? Рыбачить же хотел. Или смерз?

— Да я так, компанию вам составить,— нехотя ответил

Боков. — Вижу, река вас сносит. Подумал: а как вы потом будете в естественном виде по суше к мосткам добираться?

— Ладно уж, — сказал Никитин, — все ясно: подумал, что я выдохся. Я в порядке. Но за беспокойство твое спасибо.

Теперь они плыли рядом, с той же яростью пытались опередить друг друга.

Одеваясь, Никитин дружелюбно заявил:

— Ну вот, теперь, после того, как мы с тобой сплавали, я тебя раскусил как человека. Больше с моей стороны к тебе насчет кормораздатчика вопросов нет. Сладишь!

— А с сеном как?

— С острова? Да вот, пока плыл, думал. Все прикидывал, как взять, и так и сяк вертел — не получается. С огорчения и отяжелел. Тебе вот показалось, что тону. Это, знаешь, отчего? Вода огорченного человека всегда затягивает. Когда он в себе неуверенность чувствует, она его и накрывает. На фронте тоже, помню, форсировали мы водную переправу, на самодельном понтоне орудие перевозили. Из бочек понтон, на нем брусья. А снарядам как даст! Ну и все. Орудие утонуло. Бочки во все стороны, как и людей, разбросало. Ну, меня тоже откинуло. Плыву, значит, и думаю: кто ж мы теперь без орудия — все равно как обезоруженные. От огорчения чуть было тогда не утон.

Боков, щурясь, слушал, потом закурил, произнес:

— Тары из-под горючего и смазочных у меня накопились для сдачи довольно много. Нефтебаза ждет, чтобы мы сами им тару доставили, а я полагаю, пусть своим транспортом забирают.

— Ишь ты, каким хозяйственником стал, — одобрительно отозвался Никитин. — А с чего ты вдруг о таре заговорил?

— На мысль о ней, — внушительно промолвил Боков, — меня навели ваши фронтовые воспоминания.

— А что — дело! Ну и башка! — восторженно воскликнул Никитин. — Если, значит, мы орудие на бочках переправляли, то сенокосилки и трактор тоже вполне можно! Ведь так сообразил?

— Я не соображал. Я просто так вас понял, — сухо проговорил Боков.

— Пошли! — заторопился Никитин.

— Куда?

— Ну, к тебе, бочки глядеть.

— Извините, но я сначала должен прикинуть, сколько и как крепить, сделать технический расчет. Объем бочек

стандартный. Мне лично осматривать их нет необходимости.

— Ну, валяй, — сказал Никитин, — выручай колхоз.

— Выручать? — усмехнулся Боков. — Так вы сами говорили, что зеленых кормов у вас до следующего года хватит и без островных угодий.

— А я мысленно их тоже прихватил, — солгал Никитин и тут же смутился: — Я ведь не от жадности, я от жалости, что добро может пропасть.

Боков кивнул, вежливо пожал Никитину руку и снова снисходительно похвалил его:

— А пловец вы вполне. Благодарю за доставленное удовольствие посостязаться с вами.

Анастасия Андреевна, лежа в постели, читала, придвинув к кровати торшер. Абажур она сняла, чтоб было светлее. Рядом на табуретке стояли будильник, крынка с молоком, телефонный аппарат.

Из распахнутых окон доносился шорох листьев, шумел невидимый в темноте дождь.

Было тихо, уютно, сонно.

Внезапно дверь распахнулась, и в комнату шагнул Боков в мокром комбинезоне, в резиновых сапогах.

— Почему дверь не закрываете? — спросил он резко. — Ждете кого-нибудь? Женщины народ человеколюбивый.

— Что еще скажете? — Анастасия Андреевна неторопливо приподнялась на кровати, прижимая к груди одеяло. Лицо ее оставалось невозмутимым.

— Я пришел, чтобы напомнить вам на сон грядущий, — раздраженно произнес Боков, — что в мастерских распоряжаюсь я. Я ответственное лицо за инженерное обеспечение, а не вы, мисс Флора.

— Я не распоряжалась, я просила, — сказала Анастасия Андреевна и продолжала спокойным тоном: — Но, очевидно, вы сами давно должны были позаботиться об изготовлении приспособлений для уборки полеглих хлебов, поскольку в ваши функции входит инженерное обеспечение сельскохозяйственных работ. Я хотела обратиться непосредственно к вам, но вы отправились на рыбалку.

— Вы, даже лежа в кровати, и то ораторствуете, будто на трибуне.

— Если вас смущает мой вид, выйдите, я оденусь.

— Не трудитесь, я человек не впечатлительный.

— Кое-где полегли хлеба, и если б ваше возбуждение

было вызвано этим обстоятельством, а не уязвленным административным самолюбием, я вовсе не сочла бы ваш визит бесцеремонным. Напротив, он вызвал бы у меня уважение.

— Да что вы мне нотации, как по книжке, читаете? Демонстрируете свое самообладание? Ваши новосортные хлеба полегли, а не мои. А вы изволите возлежать с беллетристкой для личного развлечения.

— У меня и в самом деле была бы бессонница, если бы я не увидела в мастерских новое приспособление для уборки полеглих хлебов.

— Видали? Ну и что?..— Боков поспешно добавил: — Только пока конструкция еще сырая, нуждается в доработке.

— Но я советовалась с механизаторами, говорят — вполне готова. Поэтому следует, не теряя времени, немедленно запустить эту вашу конструкцию в дело.

— Так... Распорядились, не считаясь со мной. А кто построил агрегат?

— Да не я, Никитин дал указание.

— То есть как это Никитин? Мы с ним тут недавно плавали наперегонки, он мне чуть не в воде велел соорудить понтон для доставки техники и людей на остров, чтобы скосить там траву. Сообщил, что для получения одного килограмма мяса от рогатого скота требуется двадцать пять килограммов растительной массы. На острове же, он подсчитал, ее тысячи. А готовить одновременно и понтон, и приспособление для уборки хлебов у нас рук не хватит. Он что, не знает?

— Я убедила его в том, что приспособление — первоочередная забота.

— Убедили! — усмехнулся Боков. — Да он на вас всегда этак скорбно и виновато взирает, будто он вам что-то должен, а возвратить не то не желает, не то не может. Разве не так?

Сделав над собой усилие, Анастасия Андреевна улыбнулась и шутливо поинтересовалась:

— Что это вы затеяли состязание по плаванию?

— А мы с ним мужики. Только не в социальном смысле, а в биологическом. Обуянные мужским самолюбием совершили заплыв.

— Ну, и кто кого?

— Пришли к финишу ноздря в ноздю.

— Но Сергей Павлович старше вас.

— По чину, а не возрасту.

— А выглядите вы моложе.

— Я, уважаемая, уже в первый год войны инженерный факультет по хлебопечению окончил.

— Значит, по специальности вы пекарь?

— Пекарь! Между прочим, по автоматизации и механизации хлебопечения наша страна занимала первое место в мире. Это даже Сергей Миронович Киров отмечал.

— Никитин всю войну был на фронте,— заметила с упреком Анастасия Андреевна.

— А я на оборонном заводе работал,— сердито сказал Боков.— В военкомате оказались люди, более осведомленные, чем вы, в важности хлебопечения.

— Значит, хлеб — ваша судьба. И сами вы не просто технарь, а человек с призванием. И вполне понятно, почему сушильные ваши установки на токах не уступают тем, что стоят на элеваторах.

— Ну вот,— сокрушенно развел руками Боков,— пришел к вам ругаться, хамить, а весь растаял от ваших комплиментов.

— Я вам комплименты делаю как инженеру,— возразила Анастасия Андреевна.— А по-человечески вы грубы, бестактны, чем-то, по-видимому, обижены и поэтому стремитесь обижать всех, кого только можно.

— Желаете казаться прозорливой... Ну-ну... Я вот свою прозорливость в отношении вас на цепи держу.

— Поэтому и бросаюсь на меня с непонятной яростью.

— Позвольте, как же непонятной? Получаю указание сооружать понтон и одновременно команду «отставить»! А понтончик я замыслил весьма любопытный, самоходный, заметьте! Рассказать?

— В судостроении я некомпетентна.

— Так как это наш колхозный босс от своей же инициативы отрекся?

— Сказал он мне так,— объяснила Анастасия Андреевна.— Вы оба были тогда охвачены азартом. Но косяба на острове, когда уровень воды делается все выше,— необоснованный риск. Никитин при мне запрашивал сводку погоды по телефону. Во многих районах дождь — стало быть, воды еще прибудет.

— Значит, струсил!

— Ну, знаете! — возмутилась Анастасия Андреевна.— Не вам так говорить о Никитине.

— Потому что на фронте не был? — вспыхнул Боков.— А я был. В условиях боя испытывал наши установки. Даже

офицерское звание имею, любезнейшая: инженер-майор, в отставке, разумеется.

— Мне кажется,— задумчиво произнесла Анастасия Андреевна,— вы и сейчас пытаетесь состязаться с Никитиным, как тогда, на реке. Зачем?

— Ну, уж, во всяком случае, не затем, чтобы выглядеть в ваших прекрасных глазах лучше, чем я есть,— буркнул сердито Боков.— Вы для меня не объект...— И спросил с ехидной улыбкой:— Сколько должно насчитываться в колесе зерен при урожае, допустим, в сорок центнеров?

— Не меньше шестидесяти,— не раздумывая ответила Анастасия Андреевна.

— Ну вот! Вся вы в этом! — торжествующе объявил Боков.— Вы в постели, перед вами, можно сказать, мужчина. А в уме у вас одна агроарифметика.

— А вы что, явились ко мне с чем-то высшим, неземным? — обиделась Анастасия Андреевна.— Ваша административная амбиция к другому не располагала.

— А что вы, собственно, подразумеваете под другим? — коварно прищурился Боков.

— Ну, хотя бы предложить чаю, что ли,— сказала Анастасия Андреевна, покраснев от нелепости случайно произнесенных слов.

Зазвонил телефон. Она обрадованно схватила трубку.

— Да, сообщила. Только что... Он здесь. Вас! — Она протянула трубку инженеру.

Боков бесцеремонно уселся на постель, мрачно произнес в трубку:

— Боков слушает! — Последовала длительная пауза.— Почему не реагирую? Реагирую. Анастасия Андреевна может подтвердить — нахожусь в состоянии неопишуемого восторга... А что тут такого? Насосы применял для поливных агрегатов по причине отсутствия осадков, а теперь, в силу их изобилия, хватило ума понять, что поднимутся грунтовые воды и силосным траншеям это грозит затоплением. Насосы есть насосы. Им все равно, что качать, что откачивать. А вы что не спите?.. Рыбачить я могу и не с острова, для рыбалки мне понтон не нужен... Что значит разрешить ручной покос тем, у кого есть скот для единоличного пользования? Нет уж, извините, в таком доморощенном гуманизме мои механизаторы не нуждаются. Колхозная техника — общая собственность. Буду возражать, если без техники. Да и не соответствует это установкам партии и правительства... Да, именно, что не продумали... А что она? Вегетарианка. Хлебом единым существует...

Можно и после изготовления приспособлений. Понтон пригодится как переправочное средство — в гости к правобережным наведываться. А я не для вас — для скота. Ну, наш животновод ходячая урна с прахом. Соломополовод. Он с серпом готов за зелеными кормами ходить. Наверное, это он вас надоумил с литовками на остров отправиться... Сами? Сожалею... Ну, зачем такие слова на ночь произносить? Мозг человека — это высший итог эволюции живой материи за три миллиарда лет. Но у меня его хватает только на то, чтобы справляться с текущими нуждами колхозной техники. По линии психологии слабак... Мы не ссоримся, мы дружим... А что она? Я ж говорю — ничего. — Боков посмотрел на встревоженную Анастасию Андреевну. — Выглядит прекрасно... Скажу! — Он прикрыл ладонью трубку. — Никитин сообщает, что поле в порядке, посевы полегли только частично, на периферии. Можете радоваться. — Снял ладонь с трубки. — Счастливо! Просит поцеловать. Привет, пока!.. — Ну, — сказал он, закончив разговор, — как это вам нравится? Вот сквалыга! Хотел использовать частновладельческие инстинкты, когда исчезла возможность использовать технику. Ну и хват! И объяснил это тем, что у него шок с тех пор, как они там, на переправе, с самодельного понтона орудие в воду уронили.

Бледная, с блестящими глазами, Анастасия Андреевна с презрением произнесла:

— А ну, убирайтесь с кровати!

— Виноват, — криво усмехнулся Боков.

— И Никитин еще перед вами извинялся! И от смущения глупость предложил. А вы возликовали, что он сглупил. Отчитали!

— Помог исправить ошибку.

— И вам не стыдно?

— Не учел, что дело происходило в присутствии, так сказать, поборницы его престижа.

— А про мозг как вы отвратительно, высокомерно ему говорили! У Никитина диплом. Закончил заочно. Он от скромности из себя простака строит. Этакого традиционно-го колхозного вожака, которого люди избрали, а он их только воле повинуется.

— Ну, насчет повиновения вы, конечно, сильно преувеличиваете. И напрасно так горячитесь, а то можно за всем этим предположить некие субъективные причины.

— Эх, вы, автомат на двух ногах! — со злостью бросила Бокову Анастасия Андреевна. — И про животновода, про Шилова, вы говорили недопустимо. У него трое сыновей на

фронте погибли. Очень остроумно это у вас получилось, — сказала она брезгливо. — Урна с прахом!

Боков смутился, растерянно пробормотал:

— Да, действительно, высказался...

— И не только о нем! — Анастасия Андреевна не собиралась жалеть инженера.

Боков машинально снова опустился на постель, прозвизгнул подавленно:

— Да, действительно наколбасил... — Обернувшись к Анастасии Андреевне, он вдруг воскликнул с обидой: — А все почему? Вы! Вы виновница того, что я так распетушился! — Потом понурился, проговорил кротко и виновато: — Эмоции, они, как бурьян, живучие. Гербицидов против них нет.

— Выпейте вот молочка! — ироническим тоном посоветовала Бокову Анастасия Андреевна. — И ступайте домой. Молочко умиротворяет. Кстати, оно от тех самых коров, из-за которых вы и испытываете эти волнующие переживания.

— С молока меня несет. — Боков выжидательно уставился на Анастасию Андреевну.

— А меня, представьте, никогда, — ответила она невозмутимо.

— Считайте, получил прямой удар в солнечное сплетение.

— Какое у вас может быть солнечное сплетение? — небрежно усмехнулась Анастасия Андреевна. — У вас вместо него кишечник.

— А это все равно что бить лежащего.

— Ну-ну, ступайте, а то мне уже становится совестно...

На следующий день Никитин заехал за Анастасией Андреевной на своем вездеходном «газике» и предложил вместе осмотреть поля.

Сидя за рулем и потому не глядя на Анастасию Андреевну, Никитин говорил оживленно, но при этом лицо его было серым, изможденным, какое бывает у человека, прошедшего ночь без сна.

— Помните, Анастасия Андреевна, наше село в минувшие годы? Могли бы вы вообразить, что в колхозе будет собственный инженер-механик? Да никакой человеческой фантазии на такое не хватило бы. На отдых, верно, приезжал один инженер-железнодорожник — порыбачить, парного молочка попить для укрепления здоровья.

При упоминании о молоке Анастасия Андреевна улыбнулась.

Никитин покосился на нее:

— Правильно реагируете. Смешно даже подумать. А теперь у нас не просто инженер-механик, но личность творчески одаренная. Человек принципиальный. Считает, если сельское хозяйство — производство, то нужно внедрять в него все передовое, что присуще и промышленности.

— Ну, это, положим, вы зря ему приписываете.

— Конечно, сейчас такая общая линия, но он содействует, и активно.

— Вы что, думаете, я не знаю его обязанностей?

— Кроме обязанностей есть еще и личность.

— Обычный технарь.

— Это вы напрасно.

— Нет, это вы напрасно со мной такой разговор о Боккове затеяли. И если он оказался вчера у меня в неурочное время, то только потому, что не церемонится, когда задевают его самолюбие.

— Что же произошло?

— В его отсутствие я была в мастерских и настояла на немедленном изготовлении приспособлений для уборки полегших хлебов. Удовлетворены?

Никитин кивнул, вздохнул с облегчением и, отрывая одну руку от баранки, показал на поле:

— Вот — была низина с переувлажненной почвой, промелиорировали, посеяли клевера. Чуете? Даже воздух медом пахнет.

— А сюда, я помню, коней в ночное выгоняли, — мечтательно проговорила Анастасия Андреевна.

Никитин ссутулился над рулем, сказал сипло:

— Коней мы не держим, сами знаете. В соседнем колхозе для спортивного общества держат, а мы — нет. Надо бы, конечно, и нам для привлечения молодежи к конному спорту, да все руки не доходят... — Он перевел дыхание. — Крытую танцплощадку организовал, поскольку ее дешевле, чем конюшню, содержать.

— А спортивные гребные лодки вам что, дешево обошлись?

— Мы по гребному спорту областное первенство держим. Кубков штук пять набрали. — Он задумался. — А вообще молодежи угождать приходится, чтобы от нас в город беглых не было.

— Таких, как я, например?

— Вы — на учебу, а с учебы — в колхоз. Кругооборот

правильный совершили. — Никитин затормозил, распахнул дверцу.

Он вошел в хлеба, сорвал колос, вышелушил зерна себе на ладонь, склонился, пересчитал их, потом озабоченно поглядел на Анастасию Андреевну.

— Ну-ка, вы! Может, обсчитался?

Анастасия Андреевна повторила все то, что сделал Никитин, потом, отряхивая ладони, объявила:

— Почти за пятьдесят.

— Что значит — почти? — грубо возразил Никитин. — Надо считать точно!

Анастасия Андреевна послушно исполнила его приказание.

— В одном сорок восемь, в другом — пятьдесят одно. — Она протянула ему ладони с двумя кучками зерен.

Никитин сам пересчитал зерна, потом сгреб их, забросил себе в рот, пожевал и сказал с блаженным выражением лица:

— Еще дней пяток, и вполне можно скашивать. Ну, вначале будем косить выборочно, на возвышенностях.

Они снова сели в машину и через несколько минут остановились возле другого поля. Здесь хлеб, особенно в низинах, лежал поверженный.

На лице Никитина появилось страдание, он сказал, морщась, словно от боли:

— Лег, как убитый, а ведь каждое зернышко еще живое.

— Подыдем! — заверила его Анастасия Андреевна. — Вы не переживайте.

— Да ведь как не переживать, страшно. — Никитин непроизвольно поежился. — Все равно, как на фронте, страшно, когда не знаешь, что будет. Валялся я, знаете, тоже раненый. Все думал: поднимусь или нет? Тоже в сырости, в грязи. И дождь шел, как сейчас, мелкий. Я и так от своей крови отсырел, а на меня еще льет. Но выполз. И вот живу.

— Ну, и хлеб выживет.

Никитин испытующе поглядел на Анастасию Андреевну.

— Подбадриваете? — Глаза у него были тусклые, погасшие.

Дальше ехали молча. Когда Анастасия Андреевна показывала ему в окно на прочно стоящие хлеба, председатель только косился на поле, но останавливаться не хотел.

На площадке, где находилось хозяйство Бокова, вся уборочная техника была составлена рядами.

Бокова они застали в конторе; расхаживая по комнате, инженер что-то диктовал секретарше. Она жаловалась.

— Да вы не частите! Чо я вам, стенографистка?

Тем же тоном, каким только что диктовал, Боков размеренно произнес:

— Зимой непременно пошлю вас на курсы стенографии для совершенствования.

— Вот это я в точности записала, — объявила с торжеством девушка. — Теперь вы не отвертитесь. — И нежно улыбнулась своему начальнику.

— Прервали? — осведомился Никитин.

— Почти на финише, — сказал Боков. — Сочинял — по образцу боевого приказа — план дислокации, взаимодействия и тактических приемов использования приспособлений, навесных средств, расположения транспортных коммуникаций и т. д. и т. п. — Внезапно он смутился: — Но это, конечно, для себя лично, наметки... Комплексная бригада сформирована. Бригады в курсе. — Боков кивнул на записи, по которым диктовал секретарше. — Они командиры подразделений, и я считаю неправильным действовать через их головы. — Он покосился в сторону Анастасии Андреевны. — Нужно уважать ответственных за свои участки товарищей, не так ли?

Анастасия Андреевна ободряюще ему улыбнулась. Но тут же строптиво заметила:

— Однако с главным агрономом если не согласовать, то хотя бы посоветоваться предварительно следовало.

— Что, съели? — ухмыльнулся Никитин.

— Съел, — без улыбки ответил Боков. — Могу угостить кофе, — радушно предложил он тут же и перевел выжидательный взор на секретаршу. Та враждебно глянула на Анастасию Андреевну и сказала не Бокову, а ей:

— Квасу хотите?

— Тося! — с упреком произнес Боков.

— Что «Тося»? Без курева и кофе вам не работается, а для посторонних мы квас держим.

Боков смущенно пожал плечами.

— Тащи квасу! — согласился Никитин. — Кофе — напиток интеллектуалов. А мы люди деревенские.

— С дипломом! — заметил сухо Боков.

— Диплом нам для вывески, — усмехнулся Никитин. — Начинали с учебников, а выучиваемся — вот! — И показал глазами на развешанные по стенкам плакаты.

Боков молча проследил за его взглядом.

От предложения сесть в машину Никитина Боков отказался:

— Нет уж, я на «пикапе».

— Бензин не бережешь.

— Свои нервы дороже.

— Может, для согласования производственных вопросов к тебе главного агронома пересадить?

— Когда за баранкой, я глух и нем.

— Ну, как знаешь.

Боков ехал вслед за машиной Никитина; ветровое стекло его машины забрасывало грязью: хотя «дворники» и расчищали грязь, в кабине было сумрачно, тускло — так же, как на дороге.

Он вел машину легко, свободно откинувшись на спинку сиденья, и размышлял о том, что, в сущности, никогда не чувствовал себя столь кровно связанным с делом, как здесь, в колхозном хозяйстве. Вопреки его ожиданиям, «Красногвардеец» раскрыл перед ним множество увлекательных возможностей для творчества, изобретательства. И хотя задачи, которые ему приходилось решать, с точки зрения инженерно-технической, да и на фоне современной техники, все более сложной, казались не слишком значительными, — простые усовершенствования, которые он предлагал и которые незамедлительно приносили результаты, рождали в его душе чувство глубокого внутреннего удовлетворения, прежде не испытанного. Плоды своего труда он ощущал повседневно. Его радовало благородное и даже восторженное отношение людей, чей труд ему удавалось облегчить, сделать производительнее. Долгое время он полагал, правда, что его дело — только техника. Но все больше и больше его захватывала борьба за хлеб, в атмосфере которой жили люди, атмосфере неустанного напряжения, поиска, самопожертвования. Оказалось, что сельскохозяйственное производство — это бесконечные, многообразные сложности, уникальные условия труда, с которыми приходится сообразовываться технике, тирания погоды. Все это неожиданно увлекло Бокова. Нигде и никогда не работал он с таким пылом, никогда и нигде не испытывал своей нужности людям в такой мере. Годами мучившее его профессиональное тщеславие наконец-то было утолено.

Конечно, ему, уже нахлебавшемуся горя в личной жизни, вчерашний визит к Анастасии Андреевне радости, мягко выражаясь, не принес. На тот прием, что был ему оказан, он все-таки не рассчитывал. Но, к удивлению свое-

му, сильной душевной боли при этом не испытал, хотя самолюбие его еще раз подверглось нелегкому испытанию. Неожиданно для самого себя он проникся особым почтением к Анастасии Андреевне. Он понял, что женщина она далеко не ординарная, сильная духом. А силу он уважал.

Что касается Никитина, то, конечно, за внешней его простотой, естественностью, сдержанностью Боков видел человека страстного, эмоционального и даже властного. Он на себе ощутил, как умеет «простака» председатель с истинно мужицкой хитростью вовлечь человека в то, чем захвачен сам.

В отношениях Никитина и Анастасии Андреевны Боков чувствовал нечто тайное, тщательно скрываемое, но вместе с тем очевидное; это заставляло его испытывать беспокойство и стеснение, как бывает с человеком, случайно прочитавшим письмо, адресованное не ему, а другому, и теперь не знающим, как с этим другим держаться.

Никитин совершал объезд по всем бригадам колхоза, но в каждом отделении как бы между прочим сообщал, что остановился просто так, по пути. Ни о чем сам не спрашивал. Звали посмотреть — шел. Затевали хозяйственный разговор — участвовал, задавали вопросы — отвечал. Так же точно он вел себя и на токах, при встрече с механизаторами, с бригадами, со звеньевыми на всех объектах, подготовленных к жатве.

Бокову он объяснил:

— Собраний, совещаний была уйма. Партийные группы провели, народные контролеры проверку завершили. Планы, графики уборочной утверждены. Обязательства — вот они, на щитах, цифры и сроки издали всем видны. Теперь не та эпоха, чтобы людей уговаривать. Кто работает, тот и заработает. Это фактически каждый труженик знает. Раньше как бывало? Уборочная — значит, агитируй. Уговариваешь, да еще от имени самой Родины. И сам должен при всем и при всех находиться, глаз не спускать. А теперь иначе. Ты организатор в полном масштабе, командир над всеми средствами и личным составом. И в каждом подразделении — такой же командир-организатор. Разработали общий план, тактику его осуществления. В каждом подразделении — то же самое. Проверил готовность — значит, выходи на исходные. Чтобы затем всем фронтом развернуться. С каждым подразделением телефонная связь. Что оперативно надо решить — пожалуйста.

Конечно, учитывая скоротечность кампании и перемены погоды, всего умом заранее не охватишь. Ну вот,

например, думали три смены установить. А люди не советуют. Предлагают в две, чтобы, значит, только в светлое время работать. Качество лучше, потеря меньше, и бригадам виднее, кто как трудится. В ночную вяло работают, да и видимость ограниченная. Кроме того, за ночь ремонтники каждой машине подтяжку сделают, профилактику проведут. Значит, что? Значит, график надо пересчитать: время на гектары, гектары на центнеры. А срок завершения останется нерушимым.

Потом — это уже по линии главного агронома — еще одно присоветовали: старшекласников привлечь, пусть, мол, предварительный анализ зерна производят. А то на элеваторах в спешке качество зерна занижают, а влажность завывают.

Ну, и насчет загрузки «КамАЗов» есть сомнения. Тут у нас вообще слабина. Транспортеры на них малопроизводительны, зернопульта нет. Обогнала нас техника. «Кировцы» взойдут на ток, и настил не по ним, ломается под их тяжестью... Ну, еще много чего есть недосмотренного.

— Почему же из бригад своевременно не заявили?

Никитин улыбнулся:

— А это хорошо, что люди не считают, будто все заранее до них обдумано и теперь уж как будет, так и будет, а продолжают мыслить, соображать, как выкрутиться. Живое дело, им и живут.

— Кем же мы теперь в их глазах будем выглядеть?

— Отпираться не приходится. Сказал: спасибо, учту.

Когда обе машины выехали с проселка на шоссе, Никитин притормозил и, открывая дверцу, предложил:

— А ну, давай до Калашникова наперегонки!

Боков знал, что Калашников директор элеватора. Знал, что председатель просто хочет поглядеть дорогу. И сухо ответил:

— Сергей Павлович, дорогу я осматривал, покрытие в нормальном состоянии. Мостки усилили в связи с тяжелогрузными «КамАЗами», «МАЗами» и «Кировцами».

— Ну? Тогда до дому, до хаты.

Никитин развернул было машину, но вдруг снова остановился, подождал, пока подъедет Боков. Когда тот вопросительно уставился на председателя, Никитин задорно сообщил:

— А с острова сено я все-таки решил взять. Подрядился с паромом, заарендовал самоходную баржу.

Содрали сильно. Доходу теперь с сена так на так придется. Но зато добро не пропало, это людям приятно будет, хоть кормов у нас и предостаточно.

Захлопнул дверцу, покатыл.

Боков при этом заметил, как Анастасия Андреевна торжествующе улыбнулась...

А с неба все текло и текло, за краткими перерывами снова следовал дождь. Набухшие серые облака, словно выждав немного, торопились опять излиться на и без того уже мокрую землю.

Никитин решил начать косовицу с полегших хлебов, поставив на это самых опытных, знающих механизаторов — гвардейцев, как он выразился.

— Ну вот что, витязи, — сказал он им. — Вы мастера высшего класса, главные хлебодобытчики. Вам и честь — начинайте с трудного поля. Я в вас уверен — поднимем хлеб. И морально на людей воздействуйте. А то глядят на полегшие хлеба как на кладбище. А унылые-то нынче совсем не в моде.

Засоренные сорняками поля он тоже решил скосить, прикинув, что успеет это сделать, пока сорняки еще не вымахали в рост с зерновыми.

На это дело он определил молодежь, не без хитрости объявив:

— Принимайте вызов выдающихся мастеров. Покажите им свою полную выучку. Одолеете — вымпел на каждую машину получите.

Осмотрев низину, где хлеба, залитые водой, походили на рисовое поле, принял решение: на скорую руку мелиорировать, спустить воду в канавы. Распорядился оборудовать колесные тракторы уширителями и косить хлеб так, чтобы сваливать валки на высокую стерню — на ней он подсохнет. Комбайны же решил поставить на полозья: с них они и будут обмолачивать хлеб.

Чем больше обнаруживалось бед и сложностей, тем бодрее, неутомимее выглядел Никитин.

И решения возникали у него, казалось, мгновенно, на ходу.

На самом же деле он, как всегда, мучился, не надеясь на хорошее, давно уже настроив себя на самое плохое, и думы его были лишь о том, как бы все-таки предотвратить это плохое. Он «проигрывал» мысленно всю косовицу, ее коварные опасные «ходы», держа в уме все поле, подобно

шахматисту, проводящему турнир на множестве досок одновременно.

Беспокоило его и состояние дорог, ведущих к шоссе, по которым транспортным колоннам предстояло вывозить хлеб на элеватор. Пришлось пожертвовать щебнем, припасенным для дорожного строительства в поселке.

Правда, с острова он сено вывез. Успел до затопления. Но это не снимало жгучей тревоги, не приносило успокоения.

Комбайны он давно вывел в загоны, где они пережидали дожди, чтобы при малейшей перемене погоды выйти на поле.

Приходилось все время маневрировать техникой, перебрасывая ее на тот участок, над которым на короткое время светлело небо.

Боков дневал и ночевал в мастерских. Надо было срочно ввести в действие на всех комбайнах приспособления для подбора валков, спешно изготовить, пользуясь старыми, списанными, некоторые необходимые детали.

Хлеб уродился богато; атакуя его плотную стену, все агрегаты работали с перегрузкой. Чтобы машины не оставались в поле, Боков приспособил к ним для заправки бочки горючего — наподобие дополнительных бензобаков.

На вопрос Никитина: «Поспеваешь?» — сказал уклончиво:

— Время есть движение, измеряющее другие движения. — И добавил: — Я не гений, чтобы однозначно ответить на такой вопрос в данной обстановке.

— Так ступай в обгон времени! — воскликнул Никитин. — Обстановка именно этого и требует.

— Нервы у меня сейчас не внутри, а снаружи, — раздраженно объявил Боков. — И я свирепею, когда обнаруживаю собственные промахи.

— Если на себя свирепеешь, тогда правильно, — одобрил Никитин и заметил с напускным безразличием: — А люди на тебя не нахвалятся. Заскочил вот сообщить об этом.

— Для воодушевления?

— В прошлом году комбайн свободно управлялся со сдвоенным валком, а теперь одинарный еле одолевает. На средний урожай машины рассчитаны, а не на большой, как теперь. Значит, что? Дел тебе прибавится.

— Я хлеб не убираю!

— Без машины хлеб не взять. А на большом хлебе слабые узлы летят. От твоей скорой помощи все зависит.

— Мастерские не машиностроительный завод.

— Однако справляешься. Вот зашел пожать руку.

— Я вам объятия в ответ не распахну, Сергей Павлович, — с досадой проговорил Боков. — Просил ведь новые станки!

— Так не я же «Сельхозтехника», — уныло ответил Никитин.

— Именно, — с презрением сказал Боков. — Не соответствует уровню современного сельскохозяйственного производства. Подчеркиваю, — он гневно повысил голос, — производства! — И кинулся к сварщикам. Оттуда немедленно послышалось его расстроенное: — Зачем же с таким толстым наплывом? Я ведь просил чуть-чуть, у нас наждачных дисков не хватает, это же не запас прочности получается...

Новые дисковые жатки были объединены в большое сводное подразделение, ему Никитин предназначил уборку самого широкого поля, распростершегося до горизонта, засеянного пшеницей высшей кондиции. С этого поля Никитин решил начать массовую уборку, уборку широким фронтом. Сюда он и направил роторный погрузчик, который выпросил в области, там его использовали для уборки улиц и доставили в колхоз на заарендованной Никитиным барже. После мастерских председатель отправился к транспортникам и самолично проверил герметизацию кузовов грузовых машин, наличие брезентов для покрытия зерна во время транспортировки. Шоферы были не местные, их прислал город с различных ведомственных автобаз. Они и составляли сводную колонну.

Начальник мехколонны посматривал вокруг равнодушно и даже слегка пренебрежительно, но грудь его украшала орденская планка, и Никитин нашел к нему свой подход.

Осведомившись, где воевал шофер, и узнав, что тот сражался на Орловско-Курской дуге, Никитин просиял:

— Значит, побратимы. — Спросил: — Под Прохоровкой бывать не приходилось? — Услышал сдержанное: «Был» — и, сияя еще больше, объявил: — Ну, тогда совсем родня.

— Пехота? — спросил начальник мехколонны.

— Она самая! — радостно подтвердил Никитин.

— А я в танке, как в сейфе, до самого Кенигсберга в целости сохранялся, только там подшибли, горел, но, как видишь, не до пепла. Теперь бородой маскирую, что на лице прожгло.

Закурили. Никитин сказал задушевно:

— А я вот нынче на хлебном фронте воюю. Хлеб на

корню, он точно солдат в строю. А уборка — она всегда как бой. Мало хлеб скосить, убрать — его на элеватор, на хлебоприемный пункт доставить без потерь надо. А если потери неоправданные, сам знаешь, бой без победы получится.

— Да ты не темни!

— Чего тут темнить, все ясно. До элеватора километров сорок. Но ведь, понимаешь, это часть мирового пространства. Помнишь, как мы в войну все в масштабе всемирно-исторической победы рассчитывали? Вот и внуши своим: хлеб — это победа. Наша и всеобщая. А то некоторые считают себя тут только командированными. На фронт-то мы шли не как в командировку, а по долгу перед народом. Где бы ни воевали, всюду земля своя была, родная, кровная. Пусть прочувствуют.

— Ты что, агитатором на фронте был?

— Нет, отделенным командиром.

— А я политруком!

— Ну, значит, тогда знаешь, как партийным словом до сердца бойца пронять.

— У меня прослойка партийных и комсомола — восемьдесят два процента.

— Сила!

— А ты как думал? Отбирали.

— Значит, могу быть уверенным?

— Как все равно на Курской дуге, где мы немцам прикурить дали. — Начальник мехколонны доверительно склонился к Никитину: — Какие машины ездки перевыполняют, тем на борт звезду, все равно как на борт танку.

— Ну, тогда желаю побольше вызвездить машин, нам на полное счастье. — И Никитин поднес руку к кепке, на которой возвышался пластмассовый шлем. Начальник колонны в свою очередь отдал честь председателю...

Хуже всего бывало, когда посреди просветлевшего, уже почти ясного дня небо внезапно сжимали плотные тучи цвета грязи, все кругом меркло и тяжело рушился на хлебные поля ливень.

И тогда, метнувшись к мотоциклу, Никитин снова мчался по расквашенным проселкам, и машина его расхлестывала темно-серую жижу, и вода выплескивалась по обе стороны, как взмахи больших серых крыльев.

Оглядываясь вокруг, он видел, как гнутся хлебные чащи под напором дождя, как текут с хлебного поля бурные потоки, вымывая живительные удобрения из ухоженной почвы. А ведь каждый центнер удобрений — это дополни-

тельный центнер хлеба, и не потоки грязи видел перед собой председатель, а погибельно уносимое зерно. Пшеничное поле трепетало под мощным ливнем, как огромное живое тело. Поле жизни, для жизни созданное, где драгоценно каждое крохотное зерно, каждый зародыш в нем жизни. И сердце Никитина больно билось в груди, как бешеное, и такие же удары той же силы, он знал, испытывал теперь каждый колос на его поле...

Спина его немела от боли, словно на нее навалилась немыслимая тяжесть черных, низко нависших туч, набухших водой.

Если и выпадал день без дождя, то к вечеру снова сползались тучи, и ночь, словно в отмщение светлому дню, победно шумела дождем, и до рассвета плясали во тьме по лужам тяжелые струи, такие же черные и невидимые, как она сама, ночь.

На людях председатель держался бодро. Осунулся, лицо избороздили новые морщины, но людям он весело говорил:

— Теперь даже под водой — и не в озерах, а в морях — водоросли косят на корм скоту. А нам что? На суше работаем, без скафандров. Хлеб не под водой, а над водой стоит — возьмем сухопутными средствами.

И только однажды, когда Анастасия Андреевна словно в утешение сказала: «По моим расчетам, даже если потери будут значительные, при таком урожае план перевыполним», — лицо Никитина потемнело, губы сжались.

— Вы что, — спросил он гневно, — заживо собрались хоронить хлеб? Так вам в похоронном бюро работать, а не в колхозе. — И с презрением отвернулся, произнес, зло усмехаясь: — Перевыполним? Ишь ты, какая арифметичка. А прошлогодний дождик государству кто гасить будет? Дождем его с нас не смоет. На природу нечего сваливать. У нас здесь не тепличное хозяйство. Может, вас обучали в оранжерее работать, тогда вы адресом ошиблись.

Анастасия Андреевна стояла бледная, волосы мокрыми прядями прилипали к впалым щекам.

Никитин опустил глаза. Увидел подол ее юбки, намочший от сырой грязи, голые колени, испачканные землей, кирзовые сапоги, большие, не по ноге, концы портянок, торчащие из-за голенищ.

Пробормотал пристыженно:

— Извиняюсь! — Пояснил глухо: — Я отчего сорвался? Были на фронте фертты, рассуждали: какие потери в наступлении, какие в обороне. Так они кто? Из похо-

ронной команды, необученные, необстрелянные. — Никитин снова взглянул в лицо Анастасии Андреевне. Было оно изможденное, как у старой-престарой крестьянки, вымощанной неимоверно тяжким трудом... Сказал, запинаясь: — Смотрел ваши злаки высшей кондиции... стоят пока... навывтяжку, как гвардейцы под огнем.

— Не надо! — грустно попросила Анастасия Андреевна. — Не надо. Я слукавила. Получила! А вам зачем?..

...А тут еще река вышла из берегов, затопила дороги, поднялась под самые настилы мостов. Пришлось досыпать дороги грунтом.

Никитин с Боковым на надувной лодке осматривали состояние мостовых опор. Боков сказал:

— Я не мостовик, но, пожалуй, большой опасности нет.

— А большегрузные «КамАЗы» с полуприцепами, они как? Пройдут?

— На «КамАЗы» у меня такая точка зрения. Это — будущее, которое стремительно вторглось в не подготовленное для него пространство. Сила на стороне «КамАЗов», нужно им подчиняться и строить соответствующие дороги. «К-700» — это тоже могущественное изделие, но навесных средств для него в достаточном количестве не изготовили. Представляете, что такое — впрячь битюга в детскую коляску? — Боков усмехнулся. — Я полагаю, что космонавты, вернувшись на землю, в своих докладах, среди прочего, делают и критические замечания в адрес тех, кто готовил их к полету... Это я к тому, что вы не слишком обожаете людей, которые критикуют все, что находится вне сферы их непосредственной деятельности.

— Бить нужно по своей цели, — уклончиво ответил Никитин, — а с заведомым недолетом — ни к чему. Вот насчет дорог — это прямое ваше попадание. В меня. Я весь шлак на поле ссыпал, а можно было дороги укрепить. Проявил недалёковидность.

Надувная лодка с подвесным мотором не одолевала встречное течение реки; лодку сносило.

— На перекатах нас может тряхнуть и вытряхнуть, — хладнокровно заметил Боков.

Никитин подгрел в помощь мотору. Вдруг его запрокинутое в гребке лицо озарилось блаженной улыбкой.

— Вы что? — удивился Боков. — Решили попарить в мечтах, прежде чем мы погрузимся в воду.

— Да какие там мечты, факт, — сказал восторженно Никитин. — Луна полная, а при ней ни облачка — значит, ведро, значит, к погоде. Это уж, извините, точно.

Только к рассвету они вернулись берегом — оба мокрые, озябшие да еще и босые; сапоги сбросили в реку. Но Никитин все приговаривал, поглядывая на восход:

— Вот вам и светило, которое так долго не светило. Пожаловало в полной форме, и река спадет, и ветерок продувает, и воздух не парной, а совсем прозрачный, светленький.

Боков осипшим голосом произнес:

— Человеку необходимо около двадцати килограммов чистого воздуха в день, что я имел и на даче.

— На даче? — изумился Никитин. — Разве среди замученной природы может быть отдых? Это все равно что здоровому человеку в больнице находиться.

...Боков уже укладывался в постель после бессонной ночи, когда за окном послышалась пальба никитинского мотоцикла. Он мгновение поколебался, но все-таки лег.

Вопреки предсказанию Сергея Павловича дожди еще продолжались, но теперь уже какие-то робкие, слабые, кратковременные.

Жатва развернулась в полную силу.

На току, под высокой шиферной кровлей с открытыми, без перекрытий, стропилами, с голубиными гнездами в углах, журчат нагнетаемые воздухом сушилки и монотонно сопят под конусообразными бункерами зерноочистительные машины.

На мягких, нышущих жаром кучах половы отдыхают женщины, отработавшие ночь. Здесь же, под навесом, стоят столы с лабораторным оборудованием, и старшеклассницы в белых халатах и косынках учатся на практике делать предварительные анализы зерна на влажность и кондиционность.

Умаявшись после поездки по отделениям, Анастасия Андреевна в изнеможении лежит на куче половы, подложив руку под голову, и дремлет, боясь при этом забыться глубоким и долгим сном. Сомкнутые веки ее вздрагивают.

Жена пастуха Егора Мишина, еще миловидная, в поре бабьего лета находящаяся женщина, капризно жалуется Анастасии Андреевне:

— Мой-то, повелитель коров, своего бычка-атлетанта обхаживает, на ошейник ему медных блях для красоты наклепал. Я жакет себе в сельпо импортный заказала, деньги полностью ему дала, а что он мне принес? Кофту ситцевую до пунка. Я его этой кофтой как хлестну! Он

руками заслонился, хохочет, будто ненормальный. «По индийской моде, говорит, полагается, чтобы пузо наружу было». Насмотрелся заграничных картин, совсем стал бессовестным. И вышла-то я за него так, из снисхождения. Думала, фронтовику-инвалиду отказать неудобно. А в нем сила как у коня, приволок на себе каменную колоду водопойную, поставил в сених, — мол, сойдет как корыто для стирки.

— То-то что ни год, у тебя все прибавление семейства, — сказала пожилая женщина и обернулась к Анастасии Андреевне: — А что же ты, Настя, не обзавелась?

— Помер у меня младенчик.

— Сама скинула по безмужеству?

— Нет, просто умер.

— Недосмотрела, значит. Я своего первородного больше года от сиськи не отнимала, баловала: материнское молоко-то самое сытное. Парень получился видный. Девки от него, как ты, видать, от своего незаконного, немало плакали. Легко жил. А вот с фронта не вернулся... А кто твой-то был?

— Так, человек один хороший.

— Хорошо, да не для жизни ответственной, я бы таких в исправительную колонию. Нашкодят, а потом алиментами откупаются. Сергей Павлович вот яслей настроил, детских садиков с дармовым полным содержанием, а зачем, спрашивается? Чтоб безмужним девкам было повадно и льготно? Я так считаю: пока в загс не приволокешь, держи на строгой дистанции. — Она кивнула на старшеклассниц: — Тоже вот в халатах, а под халатами что? Портки с клешем. На уборке в купальниках, парни в трусах. Им на поле как все равно городским отдыхающим на песке у речки.

Анастасия Андреевна лежала расслабленная, удрученная после разговора с Никитиным.

Знал бы он все... А зачем, с другой стороны? Было горе — пережила. Ведь ей кесарево сечение сделали. Думала, сама умрет, но жизнь ребенку даст, а он мертвый оказался, задушенный, захлестнутый пуповиной. Задушенный! Она зажмурилась, чтоб не текли слезы.

Занятия в институте она продолжала почти до самых родов. Отколовшись от всех, ожесточась от навязчивых забот и острого стыда, она держалась с людьми вызывающе, словно они были виноваты перед ней.

И только доцент Алексей Иванович Темишов, большеглазый, с крупным белым лицом, с плечами, которые костыли подняли почти до самых ушей, с безвольно по-

висшими, словно тряпичными, ногами, парализованными после энцефалита, не замечал ее состояния, говорил восторженно и убежденно:

— Настя, вы человек волевой, настойчивый. Возьмите для диплома проблемы генетики. Это молодая наука, она связана с будущим человечества, благодаря ей мы получим возможность управлять наследственностью растительного и животного мира. Генная инженерия на молекулярном уровне — это вторжение в код управления наследственностью. Пусть пока это мечта неосуществленная, но ведь стремление постичь непостижимое — высшее в человеке.

— С пузом? — резко спросила Настя.

Алексей Иванович опустил глаза.

Она давно заметила, как он исподтишка восхищенно и моляще смотрит на нее, и это вызывало у нее отвращение.

Темишов, проглотив комок в горле, наконец справился с собой и произнес сокрушенно:

— Настя, я, как видите, калека. Но когда я понял, что можно сделать для человечества, если думать не о себе, а о людях, всех людях, если жить для них, отдать им то, что ты еще в силах отдать, я, поверите ли, в лаборатории почувствовал себя богатырем. — Он застенчиво улыбнулся. — Мог сутками работать, не испытывая усталости. И знаете, чтобы сконструировать молекулы по заданной формуле, нужно столько же чисто физического упорства, сколько каменщику, чтобы сложить дом.

Настя согласилась помогать Темишову в его лабораторных опытах, испытывая к нему ту же жалость, что в институте испытывали к ней. Но однажды он взял ее руку в свои потные от волнения ладони и сбивчиво заговорил.

— Ради вашего ребенка... не отказывайте мне. Мне дали кафедру. А то, что я такой, так к этому, уверяю вас, вы сможете привыкнуть...

— А пошел ты! — Настя с силой вырвала руку.

Думала ли она тогда о Никитине? Нет. Она выбросила его из памяти. И, пережив все, как будто забыла. И просьба направить ее в родной колхоз, как уже говорилось, вовсе не была вызвана желанием увидеть Никитина.

И теперь, видя, как Никитин мучится при каждой встрече с ней, Анастасия Андреевна убеждала себя, что не испытывает при этом ровно ничего: просто удовлетворено ее самолюбие. Но тогда что же ее угнетало? То, что этим встречам она невольно придавала слишком большое значение. Иногда она просто теряла способность думать о чем-

нибудь ином, кроме Никитина, и уже почти не владела собой...

Боков, вместе с ремонтниками устранявший неполадки в зерноочистительном агрегате, спустился по стремянке вниз и, вытирая руки, подошел, остановился перед Анастасией Андреевной.

— Зрелище для живописца. Но, я полагаю, только гениальные художники вправе запечатлевать женщин в таком виде.

Анастасия Андреевна поспешно оправила юбку и, перебирая пуговички на кофте с короткими рукавами, сердито заметила:

— Ну, вы-то подавно не гений.

— Не гений! — с гордостью признал Боков. — И даже не мыслитель — так, кое-что лишь маракую по части техники, весьма, увы, далекой от совершенства. — Он присел рядом, пробурчав ехидно: — Полова, надо полагать, колхозная собственность. Имею право... — Вздохнул. — Никогда не думал, что моя курносенькая секретарша воспылает ко мне, человеку, прямо скажем, предзакатного возраста, серьезными и пылкими чувствами.

— Сочиняете!

— Отнюдь. Вынужден был весьма строго разъяснить полную несостоятельность ее поползновений.

— Почему?

— Не хочу терять отличного помощника. — Боков потянулся, зевнул. — Без нее зарос бы бумагами, как леший шерстью... Тут на Никитина из района нажимали — требуют скосить всю пшеницу на свал, для сводки. Он отказался, чтобы не было большого разрыва между косовицей и обмолотом. Ну, и, конечно, чтобы, пока колосья на корню, ему лишние тонны набрали. Азартный мужчина. Четыре-пять дней жаркого солнца — и хлеба начнут осыпаться. Выражаясь языком картежников, весь банк Никитин хочет сорвать, все взять, до последнего зернышка. И возьмет. Мотовила у жаток снабдили стеблеподъемниками, — значит, лежащие хлеба скосят. Комбайны переоборудовали на подбор валков, чтобы быстрее обмолот произвести, а в районе Никитин об этом не докладывал. Дорожит нынешним хлебом — и прав: сорта твердые, сильные, доработаем — примут по высшей кондиции. Вот председатель и обогатится. Мечтатель он. А в сущности, без мечты нет смысла в существовании человека. — Инженер встал, отряхнулся, поглядел вверх. — Капает, но, полагаю, это последние наши слезы.

Кивнул и ушел, озабоченный.

Никитин все эти дни либо совсем не спал, либо, как он сам говорил, спал «вприлёжку» — не раздеваясь — или «вприсядку» — за столом у телефона, положив голову на руки.

Возбуждение, охватившее его в начале уборочных работ, приглушало усталость, азарт — взять больше, выйти по хлебодаче на первое место в районе — не утихал.

Но все тревожнее приходили сигналы с элеватора. На приемном пункте машины простаивали в очереди к весам. Разгрузочные устройства оказались не приспособленными для большегрузных машин с прицепами так же, как и платформы для того, чтобы опораживать машины в наклонном состоянии. Шли бесконечные конфликты, связанные с оценкой качества зерна, его влажности. На препирательства уходило два-три часа. Словом, сдача и приемка зерна оказались «узким местом».

Больше всего неистовствовали шоферы мощных большегрузных машин. Здесь острый конфликт возник между новейшей транспортной техникой и отсталой «обслужкой» для нее.

Никитин решил самолично проверить ход дела, и если не помочь, то хотя бы успокоить водителей машин, взявших высокие обязательства.

Ночь слабо сочилась дождем. Обложные облака словно погасили небо. Никитин включил все фары на мотоцикле — две желтые, противотуманные, одну белую, — выскочил с проселка на шоссе, глянцево блестящее от черной грязи, и повел машину на ровном ходу, не набирая лишней скорости, чтобы не занесло в кювет. Как всегда за рулем, ему спокойно и четко думалось.

Зайдя на ток, он увидел спящую на куче половы Анастасию Андреевну; лицо ее было закрыто косынкой. Она, словно почувствовав его присутствие, рывком привсталала, сонно, радостно и испуганно воскликнула:

— Это ты?

И смутилась, покраснелась, стала поправлять густые блестящие волосы, упавшие ей на открытые плечи. На Никитина она смотрела исподлобья, как бы пристыженная этим «ты».

Никитина тоже словно обдало жаром, он растерялся, съежился и, кося по сторонам глазами, спросил:

— Боков здесь? — хотя знал, что Бокова тут нет. И поспешил уйти.

Потом он долго испытывал какое-то счастливое томле-

ние, взволнованный, впервые обнадеженный после сегодняшнего.

Конечно, он был слабак, где ему, как советовал Егор Мишин, забрать к себе вещи Анастасии Андреевны и оставить вместо них короткую записку: «Жду. Сергей». Но все-таки надо на что-то решиться, хотя бы на то, чтобы подойти и, глядя в глаза, сказать: «Не могу списать из своей жизни то, что на всю жизнь». И если она не усмехнется, как это она умеет, с прищуром, тогда — все. Скажет: «Настя! Прошу у тебя обе руки сразу». А тут — пожалуйста, пусть хохочет. Значит, все. Значит, поймал он ее «ты», как жар-птицу или другую, забыл название, которая горит-горит, а потом из пепла опять рождается...

Никитин катил на мотоцикле, словно в бесконечном туннеле из света, проложенном фарами; с боков «туннель» как бы сжимали могучие темные своды.

Поврежденный участок дороги был перегорожен по случаю ремонта, и Никитину пришлось сворачивать в объезд, на грунтовку. Выйдя на подъем, он вдруг увидел, что осклизлая глина густо засыпана зерном, как песком; на россыпи зерна виднелись свежие следы колес, только что, видно, кем-то оставленные.

Первой мыслью Никитина было сгрести, спасти зерно, может быть просыпанное случайно; для этой цели сгодился бы вместо ведра пластмассовый шлем. Но он тут же понял, что зерно глубоко втерто в землю скатами, а то, что не втерто, втоптанно в грязь, чтобы было не так заметно.

Обычно человек от ярости впадает в неистовство. Никитин же, словно пришибленный, сидел на мотоцикле не верхом, а свесив ноги на одну сторону и чувствовал такое опустошение, такую слабость, будто вся кровь из него вытекла и ему теперь белый свет безразличен, как тому, кого безвозвратно обманула жизнь. Тому, кто враз потерял веру в людей. Он-то ведь считал, что на земле нет человека, который был бы способен на такую подлость.

Машинально он уселся на сиденье верхом, завел мотор, на полном газу выскочил на шоссе и там, на повороте, резко накренив мотоцикл к земле, помчался в мокрую тьму.

Весь запал, вся злость, из-за которых он решился ехать на элеватор, исчезли из его сознания; он только чувствовал себя бесконечно униженным от того, что увидел сию минуту, потому что как бы утратил доверие к людям, которые его ждали, томясь в очереди у весов хлебоприемки.

Вскоре впереди показался маленький движущийся лучик света. Приблизившись, Никитин разглядел грузовик,

над которым хлопал, вздуваясь, не закрепленный с бортов и сзади брезент — тот брезент, каким прикрывают в пути зерно.

Никитин выжал газ до отказа, засигналил, чтобы остановить машину, еще не вполне осознав пришедшее ему в голову подозрение, но грузовик, словно почуяв погоню, прибавил ходу и даже стал вилять, чтобы его нельзя было обойти.

Никитина обрадовало не то, что он сейчас уличит водителя, совершившего гнусность. Его обрадовало другое. Теперь он сможет опять спокойно смотреть в глаза шоферам. И ему от этого стало даже легко на душе; он избавился от тяжкого испытания — глядеть на человека и думать: а вдруг это ты совершил такое?..

Он еще ниже склонился к рулю, чтобы бешено мчащемуся мотоциклу легче было разрезать тугой воздух, и оказался от грузовика так близко, что вся жидкая грязь, вздымаемая огромными сдвоенными задними скатами, обдавала его, словно из трубы землесосного рефулёрра. Внезапно грузовик резко затормозил, и Никитин не успел увидеть — ему только почудилось, что он увидел перед собой стену, заслонившую всю его жизнь...

А потом стена исчезла...

Ребята из его взвода положили его на носилки и понесли, шагая в ногу, но почему-то несли они носилки не на опущенных руках, а на поднятых, и он не видел их лиц оттого, что был наверху. Однако он знал, что это они, знал, потому что воевал вместе с ними, и был доволен, что именно они его несут: значит, живые, а не убитые, как тогда решили после боя. Значит, из госпиталя вернулись в строй.

А его, выходит, задело, может, той миной, пущенной из фашистского миномета, которая вошла в болотную хлябь с ним рядом, и он мгновенно пал ниц, вжимаясь в тину, ожидая разрыва. Но разрыва не было... Когда же она рванулась? А может, не от мины? Может, его долбануло броней танка, когда он выбежал ему наперерез со связкой гранат, а танк приближался, катя по трупам, давя, сплющивая тела и при каждом орудийном выстреле как бы запинаясь на ходу. Борт танка прошел мимо него совсем рядом, а потом он увидел, как загорелась корма машины. Руке, в которой он держал связку гранат, стало совсем легко...

Нет, если б танк долбанул, его бы сплющило насмерть. Значит, его задело что-то другое.

А потом как в тумане он увидел знакомых водителей из прикрепленной к его колхозу транспортной автоколонны.

Но почему-то все они были в танкистских шлемах. На Никитина не обратили внимания; так его и пронесли мимо, никем не замеченного. Потом его носилки затолкали в небольшой самолет. «Вроде как «Р-5», — подумал Никитин. На таком его уже один раз вывозили. Из вражеского тыла, где они подрывали мост и где его угораздило получить самое вредное ранение — в полость живота. И такую же боль, как тогда, он чувствовал сейчас и впал в забытие.

А когда очнулся, самолет уже работал винтом, взбираясь на высоту. Никитин покосился на иллюминатор, и сначала ему показалось, что машина парит, запрокинувшись, потому что то, чему полагалось быть землей, выглядело как звездное небо, только звезды бежали, и их было больше, чем обычно на небе даже в самую звездную ночь; выходит, это была земля. А раз огни — значит, войны нет. Значит, победа. И ему стало свободно и легко, боль в нем гасла, и вместе с исчезающей болью он чувствовал, как сам исчезает, проваливается куда-то, и он попытался пошевелиться, чтобы движением вызвать боль и вместе с ней вернуться назад, прервать это пугающее исчезновение.

Одна сторона неба прозрачно светлела, оттуда начало подниматься солнце, большое, грузное, такое нужное, и самолет уже бесшумно шел на посадку, выпустив шасси, и колеса раскачивались в воздухе перед соприкосновением с землей, сильно и душисто пахнувшей травами, согретой утренним солнцем.

[1978]

После трудной ночной смены начальник мехколонны, прокладывающей ирригационный канал напрямик сквозь жгучую безлюдную пустыню, Сергей Иванович Фонарев отдыхал в жарко нагретой палатке на прорезиненном надувном матрасе, словно в парной на полке, без бремени одежды.

Экскаваторщик Кононыкин приподнял завесу над входом в палатку, согбенно приблизился к Фонареву, сообщил скорбно:

— Чепе, товарищ прораб!

— Ну?! — сказал Фонарев, натянул трусы, майку и строго предупредил: — Только без паники. — Потом осведомился: — Скала, что ли?

— Хуже!

— Плывун, пухляки?

— На древнюю цивилизацию напоролись!

Фонарев оглядел Кононыкина:

— Опять без панамы! Сказано — головные уборы, как на фронте каски, носить обязательно!

— Я фактически говорю, — твердо заявил Кононыкин. — Точно, цивилизация!

— Может, у тебя опять коренной подшипник полетел? Смотри, Кононыкин! — угрожающе изрек Фонарев.

Сунул ноги в обширные кирзовые сапоги, выключил транзистор, стоявший в изголовье матраса, прихватил брезентовые рукавицы и вышел, щурясь, на солнечное пекло.

— Панамку позабыли! — напомнил Кононыкин. — А вы, извиняюсь, плешиный, можно до волдырей прижечься.

Фонарев послушно слезил в палатку и вылез из нее в бараньей чабанской лохматой папахе. Заявил хвастливо:

— В ней голова как в термосе.

Нестерпимо блистали песчаные россыпи пустыни, и песок жег, как окалина.

Фонарев шагал вдоль траншеи будущего канала и косился на сухое дно его, где корчились, пытаясь выбраться по крутому склону, свалившиеся туда разного рода пресмыкающиеся.

С отвращением отворачиваясь, Фонарев деловито напомнил:

— Кобров, гюрзу, щитомордников велено особо оберегать для медицинских целей, в смысле яда. Так что обходись с ними без повреждений. Если в ковш попадут, изгони аккуратно.

— Да я за кирпич золота к ним касаться не стану, — с содроганием произнес Кононыкин, плюнул в траншею, с негодованием объявил: — Танков на фронте не боялся, как их здесь.

— По фашистским гадам бить твой долг был, а по этим не положено, — степенно сказал Фонарев и, подумав, добавил: — Хотя, если цапнут, хуже слепого пулевого ранения.

— Ну вот, а трогать нельзя!

— Кроме всего от них валюта. Надо обращаться как с полезными живыми существами...

Дошли до экскаватора, стоящего в забое с уныло упертым в грунт ковшом.

В песчаном забое толпились рабочие мехколонны.

Фонарев спустился вниз, спросил нарочито небрежно:

— Ну что? Клад нашли? Всякую хурду-мурду. Значит, по такому поводу шабашить, а план побоку?!

— Да вы поглядите на красоту! — восторженно воскликнул бульдозерист Василий Сорокин с женскими блестящими локонами до плеч и бурыми, взъерошенными, как у рыси, бачками. — Глядите! Кирпичная стена, а на ней картина и вот еще амфоры!

— Штукатурку облезлую вижу, амфоров не вижу, черепки от горшков имеются. Так в чем дело? — сухо осведомился Фонарев.

— Но ведь чистая древность! А всякая древность охраняется законом, как общенародная ценность, — живо произнес Сорокин. Затем гордо объявил: — Возможно, даже до нашей эпохи!

Фонарев хитро сощурился:

— Дореволюционной, что ли?! Так мало ли тогда всякого барахла было!

— А если доисторического летосчисления, явный памятник культуры? — упорствовал Сорокин.

— Какая тут может быть культура в пустой пустыне, где даже бурьян не произрастает, один песок? — сказал Фонарев. — Даже самый старинный дурак не стал бы здесь обустраиваться без наличия оазиса.

— Однако вот факт налицо, — сказал Сорокин. — Все улики цивилизации: посуда, которую можно склеить, стена с росписью.

— Стенка еще ничего не значит. Может, ее какой-нибудь чужак класть начал, материалу не хватило, он недостроенную бросил. Вот тебе и получились форменные развалины, — хмуро сказал Фонарев.

— Но стена на растворе сложена.

— Ну, на растворе.

— Значит, имелся водный источник!

— Возможно, был колодец и усох, а без воды какое тут может быть жизне существование. Одна погибель.

— Даже целые цивилизации погибали, когда исчезал источник воды, — с достоинством пояснил Сорокин.

— Допустим, тут кто-то пытался обустраиваться. А разве это грамотно — выбирать непригодную для строительства площадку? Неграмотно! Значит, и цивилизации не было!

— Вы, Сергей Иванович, примите во внимание стихийные бедствия, войны, которые все варварски разрушают.

— Это точно! — вдруг решительно заявил Кононыкин. — Навидался на фронте, чего фашисты выделявали. Был населенный пункт, нет населенного пункта — одни печные трубы. А старые, крепкие здания они подрывали... — Произнес с гордостью: — Это только мы с их старинной считались. Засели фашисты в капитальном здании и бьют по нас со всех стволов. А наш комбат запретил орудиями отвечать. Говорит — семнадцатый век. И пришлось нам из-за этого века штурмом брать, без орудийной и авиационной поддержки, с одной сознательностью и героизмом. Так что я лично считаю, мне тут своим экскаватором трогать древности никак не дозволено. — И Кононыкин сурово поджал губы.

— Так! Спасибо тебе, Кононыкин, за твои фронтовые воспоминания. Использовал ты их в самую точку, против графика проходки, — зловеще произнес Фонарев. — Выходит, ты за прошлый век себя считаешь ответственным, а за наш, нынешний, я один должен отвечать перед руководством!

— На нашей стороне закон! — сказал Сорокин. — Закон по охране ценностей культуры.

— А план вам не закон?! Ну, ладно, — сипло произнес Фонарев, — раз так, доложусь в райцентр по рации. Пусть наверху сами решают. Но предупреждаю! За простой ваши премиальные — вот! — Склонился, зачерпнул горсть песка, дунул в него, показал пустую ладонь. — Могло быть. А нету! Сами профукали. — Фонарев обидчиво натянул на уши папаху и побрел обратно к той палатке, которая величалась конторой мехколонны.

Фонарев шел и с жалостью оглядывался на неподвижно замершую разнообразную строительную технику, сочащуюся от зноя смазкой. Металл, разогретый солнцем пустыни, источал из себя жар, как мартеновская печь.

Тени не было нигде. Она словно сгорела от пламени полуденного солнца. В этой знойной пустыне люди работали как в горячем цехе. И пустыня была вся словно неостывающая плавка, разлитая по всему пространству.

Но во время работы, как бы она ни была изнурительна, люди не чувствовали себя в этом горящем и несгорающем пожаре песка и неба удушливо объатыми незримым пламенем.

Они почувствовали себя объатыми пламенем лишь теперь, лишь во время внезапно наступившего безделья. И даже самые бывалые, закаленные, огнеупорные, прожженные давно до тусклой черноты защитно, потерянно, изможденно искали себе убежища от жары пустыни и не находили прохлады, и все стали вдруг испытывать неутолимую жажду, пили жадно, помногу теплую воду из канистры, закопанной в песок, покрывались потом, мгновенно высыхающим и вызывающим зуд.

И все-таки все это не отвратило людей от бульдозериста Сорокина. Лицо его, скуластое, с чуть сплюснутым носом, в женских локонах до плеч и в бурых, жестких, как у рыси, бачках, было вдохновенным, и он торжествующе вещал:

— Кто первым на этом самом историческом месте первый пласт бульдозером содрал? Я! Кто первый увидел, а как увидел древность, обомлел и замер? Я! А почему замер? От удивления? Нет! От уважения, чтобы не повредить!

Чувствуя себя героем момента, Сорокин говорил о себе с уважением:

— Я почему к вам сюда, в жару, в пустыню, подался? В Заполярье полярную надбавку получал. И, представьте себе, круглый год зима, всегда прохладно. Снабжение во всем выдающееся. Телевизор работает через «Орбиту». Сядешь на вездеход марки «Урал» — в выходные на базу.

А база — культурный населенный пункт со всеми удобствами, даже такси ходят. А вот решил испытаться на горячем производстве...

— Ты чего все себя подаешь! — упрекнул Кононыкин. — Мы здесь не как ты в Заполярье за длинным рублем, а по собственному разумению.

— Молчу, — коротко произнес Сорокин. — Давай сам высказывайся.

— А что язык чесать! Дело ясное, — нехотя произнес Кононыкин. — Дадим воду, и не будет вовсе пустыни. Если скажут цивилизацию раскопать — раскопаем.

— Но ты все-таки вдумайся, — настаивал Сорокин. — Тысячи лет до нас здесь люди жили?.. Жили! Чего-то делали. Старались себе доказать. То, что в музеях как драгоценность хранится, у них на базаре запросто, как ширпотреб, шло. И вдруг все сгнуло, песок все захлестнул намертво. Надо полагать, нашествие орд погубило.

Кононыкин хмуро заметил:

— Конечно, если б фашистов мы не пришибли, тоже, может, на земле только развалины остались. Догадывайся потом, как люди до войны жили. — Он задумался, произнес осуждающе: — Но я так считаю, если ученые могут по всякому черепку установить, как до нас в далекие времена люди проживали, то они обязаны также установить, кто тут грабил, учинял убийства, чтобы заклеить, а не только разные выставки предметов устраивать.

— Так ведь ради красоты изделий, — горячо заявил Сорокин.

— Без смысла красоты не бывает. Красота должна всегда со смыслом быть. Ты мне погубителей красоты укажи, чтобы таких паразитов и подобных им народы и теперь опасались, — гневно говорил Кононыкин. — Вот про что соображать надо!

— Фронтовик, по-фронтовому и рассуждаешь, — уважительно сказал Сорокин.

— У меня на фашистов память не засохнет. Мне для этого музея не надо, — сказал Кононыкин. — Это я о вас, молодежи, думаю. Надо, чтобы не забывали, учитывали!..

К забою вернулся Фонарев, объявил:

— Приказано до прибытия компетентных лиц работы здесь временно прекратить. Если действительно цивилизация, перебросимся через ее местоположение на следующий участок по намеченной трассе. Но обязаны наверстать ударным трудом по объективной причине случившийся простой. — Выждал, спросил: — Вопросы есть?.. Нету!

Тогда информация. Прибыли две цистерны с водой. Желющие могут аккуратно и бережливо принять душ с головы до ног. — И добавил проницательно: — Чтобы нервы успокоить. И в первую очередь товарищу Сорокину советую. А то уж очень сильно распалился на древностях. Видать, хочет сменить свой бульдозер на совок да метелку археолога. И горшки, кем-то побитые, склеивать. Даже обидно: механик, а старым кирпичным развалинам обрадовался.

Действительно, как бульдозерист Василий Сорокин пользовался в колонне уважением. Он властно владел машиной и ощущал ее, как самого себя.

Если грунт оказывался твердым, каменно спекшейся глиной, Сорокин вылезал после работы из кабины в полном изнеможении, и не потому, что работа на таком грунте тяжелее, чем на обычном, а потому, что переживал за машину, за все ее механические усилия.

На сыпучих грунтах бульдозеристу работать, несомненно, тяжелее, особенно когда ветер задувает горячую, жесткую, колкую песчаную пыль, засыпает ею, душит, слепит, но зато бульдозер легко, как пух, передвигает огромные рыхлые, рассыпчатые барханы.

Весь рыжий с головы до ног от песчаной мельчайшей едкой пыли, Сорокин, спустившись на землю, отряхивался и заодно объявлял:

— Думал, гору надо своротить, а чуть пихнул — она вся в прах рассыпается: труха.

И тут же приступал к энергичному уходу за машиной. Сменял воздушные и масляные фильтры, протирал ходовые части, менял смазку и в заключение полагающиеся ему по норме два ведра воды для личного омовения использовал для мытья машины.

Сорокин принадлежал к тому поколению молодых рабочих, которые свободно, грамотно и увлеченно владеют разного рода техникой, но, может, отсюда проистекает их нарочитая, вызывающая независимость в нерабочее время, строптивость к житейским полезным советам со стороны людей старшего поколения. Прибыв сюда из Заполярья, как он сообщил беспечно, малость погреться, Сорокин быстро приспособился к жару пустыни. Ходил в плавках и кедах, сменил утреннюю зарядку на гимнастику йогов, подолгу стоял на голове, зажмурившись. Приручил полоза. Носил его на шее. Когда прибывала автолавка, вся очередь покупателей шаракалась от Сорокина. Впрочем,

полоза он приручил по особо дальновидным соображениям.

Дело в том, что отловом змей, падавших в траншею канала, как в огромную ловушку, занималась Бернара Саидова. Тоненькая, сухонькая, плотно укутанная до самых глаз цветастым большим платком. Она ходила озабоченно по дну будущего канала в резиновых сапогах, с длинным мешком в одной руке и с раздвоенной на конце палкой в другой и собирала обессилевших в безуспешных попытках выбраться пресмыкающихся в этот длинный, предварительно увлажненный мешок. И когда она выбиралась из траншеи канала с этим наполненным живностью мешком, самые мужественные мужчины так поспешно освобождали ей путь, что это совсем не походило на то, когда мужчина из вежливости уступает дорогу женщине.

Бернара жила в отдельной палатке, вдалеке от других палаток мехколонны. Раз в неделю к ее палатке подъезжал на мотоцикле с коляской зоолог из райцентра и увозил в фанерных ящиках с мелкими круглыми отверстиями отсортированный улов Бернары.

Она была худенькая, даже, пожалуй, тощая, смуглая, но с такими непомерно большими для ее маленького округлого лица ярко-черными глазами, что от их черного жгучего блеска лицо Бернары выглядело не смуглым, а нежно-бледным.

Однажды Сорокин развязно осведомился:

— Это что у тебя, профессия такая — змееловкой быть?

Бернара надменно посмотрела на него своими пронзительно, черно сверкающими глазами и глухо, таинственным шепотом, произнесла:

— Я родилась в год змеи. Змеи — мое призвание. Змеи любят меня, а я люблю змей. И сама я из древнего племени кочевников, почитателей змей.

— В таком случае, — нашелся Сорокин, — считай меня хоть за гадюку.

Бернара усмехнулась:

— Может, за мохнатую гусеницу?

— Значит, не нравлюсь, — обиделся Сорокин.

— Так спрашивать может только женщина, а не мужчина.

— Я для ясности!

— Если мужчина правится девушке, — наставительно сказала Бернара, — то она не говорит ему об этом, а он старается стать самым лучшим из всех, во всем, и тогда девушка, возможно, ему улыбнется.

— А производственные показатели при этом во внимание принимаются? — спросил Сорокин.

Бернара сжала губы, но не смогла удержать улыбки.

— Все! — победоносно заявил Сорокин. — Комментарии не требуются. Ловлю вашу улыбку и храню в сердце.

Но после этого Бернара избегала встреч и разговоров с Сорокиным.

Как-то после работы Кононыкин сказал сурово Сорокину:

— Ты что это, парень, с машиной хамишь? Скорости терзаешь? Не в себе, так ступай в слесари-ремонтники. Для слабонервных занятие подходящее. — И усмехнулся: — А то вот чего лучше тоже, заведи себе мешок и собирай гадов. — Он сощурился: — Все видят, в какую сторону глазами косишь. От этого у тебя и машина буксует. Да ты на меня не скалься, — мягче произнес Кононыкин. — У нас во взводе санинструкторша имелаась, так мы тоже надеялись обратить на себя лично ее внимание. А она принципиальная была, пока тебя не ранит, не подкалечат — ноль внимания. И после за одиорукого замуж вышла, может, из жалости, а может, по привычке внимание оказывать только тем, кто повреждение получил. Женщины — это не мы, у них своя фантазия, и не всегда отгадаешь, как ее фантазии соответствовать...

Преодолев самолюбие, Сорокин повадился ходить по вечерам к палатке Бернары. Сидя снаружи, он разговаривал с нею, находящейся внутри палатки.

— Я так думаю, — уныло говорил Сорокин. — Человек может для себя теперь благодаря технике любой климат для жительства приспособить.

— Чтобы все всюду стало однообразным, — отзывалась Бернара.

— Зачем? Разнообразие сохраняется, но с удобствами для пребывания.

— А без удобств ты не можешь?

— Я-то могу, но зачем остальным людям терпеть?

— А ты что, особенный?

— Каждый человек чем-нибудь да особенный, — уклончиво сказал Сорокин.

— А ты чем?

— О себе не высказываюсь, — степенно произнес Сорокин.

— Из скромности?

— Не выяснил себя окончательно. Не сложилось окончательное мнение.

— Общественности?

— Нет, самого себя о себе.— Спросил обидчиво: — А ты что там смеешься, выйди и в глаза мне посмейся.

Бернара, отбросив полы палатки, вышла, лицо ее было строго и мрачно.

— Когда ты на машине,— сказала она гордо,— ты умный, когда без машины, становишься как верблюд.

— Значит, надо было мне к тебе на бульдозере подъезжать.

— Но все равно ты рыжий, и волосы у тебя растрепанные, как у старухи.

— Это для фасона,— объяснил Сорокин. И деловито осведомился: — Тебе только брюнеты нравятся?

— Ты хочешь мне нравиться?

— А полоза я для чего на голой шее носил? Чтобы ты внимание обратила.

— Полоз — червяк. Вот гюрза опасная, злая, но гордая, однолюбивая, если самка погибнет, самец ее мертвую не покидает.

— А она?

— Она мать, у нее дети.

— Да что, они как люди?

— Если хочешь понять живое существо, думай о нем как о самом себе.

— Ясно,— сказал Сорокин.— А про меня что думаешь?

— Как про полоза,— сказала Бернара,— хотя ты похож,— Бернара прикоснулась рукой к рысьим бачкам Сорокина,— на щитомордника.

— Ладно,— сказал Сорокин примирительно.— Раз за своего змеевидного признала, значит, буду теперь за тобой в открытую ползать.

— Ну что ж,— согласилась Бернара,— ползай!

— Я ведь всерьез.

— Я тоже.— И Бернара, впервые смутившись, поднесла согнутую в локте руку к своему лицу и, звездно сверкнув глазами, сказала вдруг покорно, уныло и тихо: — Знаешь, я устала перед тобой и всеми притворяться.— И горячо произнесла: — Я не люблю змей и боюсь их. Но такое у меня задание по летней практике. Вообще мой профиль в педагогическом — общая зоология. Хотела на физмат — недобрала очков.

Лицо Сорокина вытянулось, и он произнес разочарованно:

— Говорила, кочевница, из древнего племени, в год змеи родилась, змеепоклонница. Значит, студентка?!

— А ты разве не учишься?

— Подал в автодорожный, — грустно сказал Сорокин.

— А про тебя говорили: ты с Северного полюса.

— Ну, не с самого, почти рядом, с материка.

— И видел белых медведей?

— В бинокль, — признался Сорокин. — И вообще в Заполярье у нас голой пустыни не много осталось, и даже вечную мерзлоту приказано теперь охранять, чтобы не оттаивала. Тут у вас можно по вашей пустыне на тракторе напропалую, где хочешь, катать, а у нас на севере не раскаешься. Содрал гусеницами трактора верхний покров почвы — получится болото. Значит, навредительствовал.

Хотя в ночной смене работать легче, Сорокин перешел на дневную, чтобы получить возможность прогуливаться с Бернарой в окрестностях пустыни, озаренных ярко-звездным небом, когда песок стеклянно блестит под небом и шелестит от шорохов разных ползучих тварей, которых они в равной степени остерегались.

Они ходили по барханам, как по поверхности внезапно застывших волн морских. И Сорокин, преисполняясь восторженным чувством, завороченно глядел на Бернару, и она казалась ему необычайным чудом, и он хотел говорить с ней только о них самих.

Но Бернара говорила с ним здесь так, словно нет ни сверкающего неба, ни сухой, блещущей скрипучими песками пустыни, а так, словно они бродят по улице города и обсуждают читаное.

— У вас в Заполярье, — говорила Бернара, — возможно, когда-то был такой, как у нас, жаркий климат и, может, еще более жаркий, даже тропический, и поэтому там обитали такие гиганты, как мамонты. Но в результате катаклизма все погибло и наступило обледенение.

— Ну и что? — хмурился Сорокин. — На вечной мерзлоте жизнь сейчас на полный ход разворачивается, обратный катаклизм делаем. Сейчас там техники больше, чем в доисторические времена мамонтов.

— А ты удрал?

— То есть как это — удрал? — ошеломленно переспросил Сорокин.

— Ну, приехал сюда. Если от холодной пустыни уехал, то ты так же из горячей уедешь, — тихо произнесла Бернара.

— Вас понял! — сказал Сорокин. — Считаешь меня тут человеком временным. Но вечного теперь ничего не бывает, мерзлоты тоже.

— А привязанность к человеку?

— Это любовь, что ли? — спросил Сорокин. — Так она всякая водится — временная и настоящая.

— Временно не любят!

— Бывает!

— А одна на всю жизнь?

— Женятся — привыкают.

— Когда я притворялась, ты так со мной не говорил.

— А я тоже притворялся.

— Зачем?

— Чтобы тоже необыкновенным тебе показаться. Какие не бывают, — пылко заявил Сорокин.

— Если не бывают, так их нет.

— Я думал, что ты и есть необыкновенная.

— А я такая, как все?

— Не знаю, — уныло сказал Сорокин. — Только когда я о тебе думаю, мне тогда хочется быть не таким, как все.

— Ради меня?

— Ну вот еще, — смятенно произнес Сорокин. — Внешность твоя, — помедлив, заявил обрадованно, — стимулирует — вот.

— На что?

— Ну, чтобы получше других стать, что ли, — поспешно добавил: — Естественная психологическая реакция.

— Эх, ты! — обидчиво произнесла Бернара. — Транзистор. Разве так о своих чувствах говорят?

— А я необученный! — сухо произнес Сорокин. Заявил вызывающе: — И вообще считаю, мало ли что человек в самом себе переживает, но трепаться об этом — либо слабодушество, либо он себе чего-то выпрашивает, на бедность, что ли.

— Значит, ты скрытный!

— Нет, — гордо произнес Сорокин. — Я человек прямой, без задержек: сначала ляпну, потом мучаюсь.

— Если мучаешься, ты хороший, перестанешь мучиться — станешь плохим.

— Общественность не позволит, — кривя губы, усмехнулся Сорокин.

Бернара отомстила ему за эти слова упорным молчанием.

И они молча бродили по песчаной, освещенной ярким ночным небом пустыне. Так, будто нет никого, кроме них, на этом гигантском пространстве, умерщвленном сыпучими, сухими песками за миллионолетие рассыпавшихся прахом горных хребтов.

Сергей Иванович Фонарев вжился в Среднюю Азию, в горячие ее степи и пустыни, где вначале проходил службу на пограничной заставе, затем уехал на фронт, вернулся и поступил на «Водоканал», свyksя со скитальческим бытом мехколонны.

Грузный, с бронзовой плешью и величественным мясистым лицом, отягощенный выпуклым брюхом, он производил внушительное впечатление своей начальнической осанкой, зычным, командирским голосом человека властного, самостоятельного.

В колонне он пользовался авторитетом за крепкую хозяйскую хватку, умение самолично владеть любой строительной техникой и не утрачивать добродушной самоуверенности при самых сложных ситуациях.

— Мой лозунг, — говорил Фонарев, — руководитель обязан на людях всегда быть бодрым.

Но никогда никто, кроме его однополчанина Кононыкина, не слышал грустного признания Фонарева о том, что кое-какое счастье ему в жизни все-таки перепало.

Произносил он обычно эти слова, когда залезал к себе в палатку, обессиленный, изнуренный духотой, зноем, после проходки трудного участка трассы канала, и простирался на своем прорезиненном надувном матраце в полном изнеможении.

Когда началась война, Советской власти было всего двадцать четыре года. Фонареву двадцать. С фронта он вернулся после госпиталя тощим, поджарым, гордился орденами и тем, что может показать себя героем и на трудовом фронте. Его послали обследовать одно из бесчисленных старых русел Амударьи.

Эта бешеная река в период полноводья начинала метаться по суше, пожирая, расшвыривая, сметая берега и сокрушая все на пути могучей водяной лавиной.

В пути Фонарев был настигнут этим полноводьем реки, и он мчался на «газике», стараясь опередить ее рычащий, kloкочущий вал, чтобы предупредить о бедствии чабанов, которые пользовались колодцами, вырытыми на месте старого русла для водопоя скота.

И он увидел впереди небольшую отару овец и среди них мечущуюся фигурку в ярком цветном платье.

Фонарев знал — чабан никогда не бросит отару. Поэтому он, сигналив, стал гнать машиной овец к барханам.

Приоткрыв дверцу, он взывал по-волчьи, и овцы мчались, задирая курдюки и роняя орешки помета.

И вот, когда отара была уже в безопасности и девушка-

чабанка тоже, раздался сиплый лай овчарки, и пес погнал отару обратно на водоной, потому что было время водоной.

Фонарев развернул машину, чтобы пресечь путь отаре, дал полный газ, и на крутом урезе склона машина накренилась, забуксовала на оползающем склоне и, кувыркаясь с борта на борт, свалилась на дно еще сухого в эти мгновения старого русла реки...

Фонарев очнулся и увидел над собой небо в ярких звездах. Пахло тиной, грязью, сыростью. Он лежал на влажном твердом песке и ничего не соображал, потому что боль была сильнее его сознания, ослабевшего от долгого беспомощства.

Потом он снова очнулся, теперь от солнечного пекла, испытывая жажду.

Имея опыт ранений на фронте, он медленно, осторожно дышал, чтобы снова не впасть в забытие. Перевалялся на бок, ожидая боль. Но боль возникла терпимая. Дотронулся до головы, она была обвязана, словно чалмой, женской шалью, сырой от его крови. Фонарев попытался сесть и сел неожиданно легко, потому что чьи-то руки приподняли его. Над ним склонилась чабанка, вся в грязи, в царапинах, одно ухо у нее кровоточило, разорванное потерянкой серьгой.

— Овцы целы? — спросил Фонарев.

— Нет отары. Ничего нет: и юрты нет, и моих нет в ней. Только я и собака.

— Собака у тебя дура, — сказал Фонарев. — Собака должна беду предчувствовать.

— Старый пес, очень старый, почти столько лет, как мне, — сказала девушка, — не надо собаку ругать.

— Машина где? — спросил Фонарев.

— Там, далеко, река унесла, — махнула рукой чабанка. Спросила сокрушенно: — Тебя будут ругать за машину?

— Да уж, не похвалят, — сказал Фонарев.

— Я буду работать, я заплачу, — сказала девушка.

— Тебя как звать? — осведомился Фонарев.

— Галима.

— Так вот, Галима, за отару ты не ответственна — стихийное бедствие.

— А машина тоже стихийное бедствие?

— За машину моя вина, нарушил правила вождения.

— В милицию заберут?

— А где она тут, милиция? — усмехнулся Фонарев. — Желал бы, да нет.

— Тебе в больницу надо, — сказала девушка, — а потом в милицию.

— А кто доставит?

— Я, и все время с тобой буду.

— Это зачем?

— Так надо, — решительно объявила девушка. — Деньги тебе буду платить за машину.

— Она не моя, государственная.

— Буду платить, куда скажешь. Работать буду и платить буду. Собаку мою только не прогоняй, она одна от нашей семьи осталась, Аму всех утопила. — И девушка заплакала.

Пока Фонарев лежал в больнице, девушка устроилась там на работу в прачечную.

Однажды Галима пришла к нему в палату и деловито, озабоченно сообщила:

— Совсем мало в прачечной платят. Но мне старика на базаре показали, говорят, может сразу калым дать большой, деньгами.

— Кому калым? За кого?

— Тебе за меня на машину.

— Ты что, сдурела! — возмутился Фонарев.

Галима кивнула, заплакала и прижалась к грубошерстному одеялу своим накрашенным лицом.

Фонарев растерянно вытирал ладонью ее лицо с размазанными по щекам потеками сурьмы и румян и бестолково спрашивал:

— Ты для этого старика так намазалась?

— Нет, для тебя, — сказала, глотая слезы, Галима, — для него я только навозом буду мазаться.

— Нет, такое я тебе над собой не позволю, — вдруг решительно ответил Фонарев. Спросил сипло: — Ясно?

Галима потупилась, произнесла кротко:

— Я тебя буду всю жизнь слушаться, — подумала и пояснила, — чтобы больше не краситься. — Еще подумала: — Только для тебя дома.

Из больницы в мехколонну Фонарев вернулся вместе с Галимой.

— Вот, — сказал он, показав глазами на Галиму. — На днях расписались по всей форме. — Пожевал губами. — Она и есть моя спасительница. — Добавил с усмешкой: — От холостой жизни тоже.

Но Фонарев не ожидал, что, в сущности, именно тогда пришло к нему счастье. Счастье любви, женской кроткой

преданности, самоотверженной заботы о нем, гордости им, чуткой, осторожной и бесконечной к нему нежности.

И именно тогда Фонарев брался дерзко и смело за исполнение самых сложных работ в самых недоступных районах пустыни; отощавший, почерневший, исполненный неукротимой жизненной силы, он уходил на разведку трассы в жарко жгучие песчаные метели, слепящие своей колкой, как стеклянные опилки, пылью, и возвращался в палатку к Галиме пылкий, радостный, с обожженной в лохмотья кожей на лице.

Но вот зимой, когда Фонарев уехал получать новую технику, разразились в горах мощные снегопады. Отары овец остались без корма.

Из кишлака попросили работников мехколонны о помощи. Тракторы нагрузили кормами, и, продавливая себе в снежной толще путь, тракторная колонна взбиралась в белом буране по горной дороге. Одну из машин вела Галима, обучившаяся втайне от мужа на трактористку. Втайне, чтобы обрадовать его, когда он вернется.

Но вернулся Фонарев, а не Галима. Жестокая простуда свалила ее в чабанской юрте. И, лежа на кошме, завернутая в кошму, никому ни на что не жалуясь, она скончалась от душившего ее отека легких.

Но, к удивлению всей колонны, Фонарев выслушал горестное известие с тупым спокойствием.

На рассвете он ушел на охоту, и через несколько дней его нашли полуживым, с развороченной жаканом грудью.

Кононыкин, посетив его в больнице, сказал угрюмо:

— Чего тут людям думать: охотничье происшествие, неаккуратное обращение с централкой. Не фронт, трибунала не будет.

— Осуждаешь? — спросил Фонарев.

— Порвал ты себе сердце!

— Нет, пуля рядом прошла.

— А я говорю — порвал, — уныло повторил Кононыкин. — Значит, сильное чувство, оно не каждому в жизни доводится. — Оглядел тщательно свои новые ботинки, пожаловался: — Жмут. — И добавил удрученно: — А мне вот не повезло. Были, конечно, у меня бабы, а вспомнить из них некого.

Лицо у Кононыкина было тусклое, серое, цвета золы.

— А ты что такой снулый? Болел?

— Да нет, так вот, от мыслей. Она ведь не только за овец в гору, буран, по снегу, в непривычную стужу, а чтобы

тебе себя доказать, — мол, может, как ты, чтобы, значит, ты ею тоже гордился, а не она только тобой. И всегда такая воспитанная, тихая, в наши разговоры не лезла.

— Еще что скажешь? — бледнея и болезненно морщась, спросил Фонарев.

— Что-что! — рассердился Кононыкин. — Смелая она была. Когда человеку плохо, он людей зовет. А она, спросишь? «Спать, говорит, хочу, уходи». Глаза закрыла, а веки дрожат. Не желала никого собой беспокоить. Говорю, смелая, как не всякий на фронте при смерти...

Вернувшись, Фонарев работал яростно, отрешенно, но по ночам пил в одиночку. Обрюзг, полысел. Срывался, озлобленно ругался, когда работа не ладилась.

— Ты вот что, — сказал ему Кононыкин, — не горлом командуй, а головой. Не на людей нажимай, а на технику. Либо человеком будь, либо мы тебя обсудим. Горе у всех бывает, но ты свое на цепи держи.

— Ладно, — сказал Фонарев, — учту.

Он не смел иначе сказать Кононыкину, у которого вся его родня была сожжена в риге фашистами.

А у Кононыкина хватало душевной силы, когда ходил в разведку боем, приводить захваченных в плен.

Возможно, какие-то сокровенные чувства встревожили Фонарева, когда он, по его словам, «усек» то, что Сорокин «вяжется» за Бернарой.

То, что Сорокин покинул Заполярье и так же легко приспособился к совсем иному, жаркому климату пустыни, вызывало у Фонарева тайное беспокойство. Какое-то смутное недоверие к Сорокину волновало и тревожило его, словно своим снисходительным ухаживанием за Бернарой Сорокин беспечно задевал самое чистое, светлое, что оставалось у Фонарева как ощущение безвозвратно утраченного своего собственного счастья жизни.

Не случайно же Сорокин всем вещал о своей работе в Заполярье с иронической бравадой. Мол, там холодно, а тут жарко. Там бураны, здесь песчаные бури. Там каменно прочные льды, здесь песчаная рухлядь. Там техника, здесь техника, владеешь — значит, порядок!

Вообще-то Сорокин мог говорить о чем угодно, поражая своей множественной осведомленностью.

Так, например, он всегда обходил бульдозером сооружение термитов. Говорил одобрительно:

— Умные насекомые.

— Так они же хищники, все могут начисто сничтожить в порошок!

— Теперь ученые даже микробов обучают пользу приносить, а термит башковитей микроба.

Заявлял вызывающе:

— Во всем мире водяной дефицит. Айсберги стали таскать на буксире с обоих полюсов в те страны, где пресной воды недостача. А наш канал с открытой поверхностью, — на жаре сколько сотен тысяч кубов будет испаряться, улетучиваться в атмосферу? За такие неоправданные отходы в любом производстве башку бы оторвали.

Произносил насмешливо:

— Посадили, называется, карагач, акации, саксаул, лох, а почему не пальмы, раз здесь как в Африке?

Предупреждал угрожающе:

— Скоро дизелям на жидком топливе финиш. Будем на твердом топливе работать.

— На угле, что ли?

— На брусках водорода!

Глядя на солнце, надменно щурясь, пояснял:

— Если попросту про это светило сказать, так оно всего только мощный термоядерный реактор.

Фонарев как-то осторожно сказал Бернаре:

— Вот Василий Сорокин уверяет, что женщины дольше мужчин живут. Это что же получается, — значит, за это о них меньше заботиться надо?

— Ну что вы, — запротестовала Бернара. — А мне он сказал, что существует сто десять тысяч запахов и женщины способны различать их больше, чем мужчины.

— А он откуда знает?

— Так у него транзистор. Даже на бульдозере во время работы всегда включает.

— Значит, он всего из транзистора нахватался? Хорош гусь...

— Но он и журналы читает, — заступилась Бернара.

— Журналы — они недельные или месячные, — хмуро произнес Фонарев, — а книга навсегда служит. Вот я в госпитале хоть урывками классика Толстого читал. Там у него сильно описано, как офицер после Бородина от ранения страдал. У меня тоже, как у него, газовая гангрена была. Все, думал, концы отдаю, и, мол, если не отдам, по-хорошему ко всем людям буду, а не получается...

Фонарев спросил Кононыкина:

— Ты чего мне про Сорокина сказать можешь?

Кононыкин пожал плечами.

— Я к нынешней молодежи человек вообще равнодушный, не беспокоюсь за них. Им привилегия досталась,

у кого своего ума не хватает, от техники наберутся. Она у нас умная. У Сорокина бульдозер ухоженный? Ухоженный. Как все равно у другого личный «жигуль» или на худой конец мотоцикл. Показатель? Показатель! Значит, парень на работе со знаком качества. — Задумался, пожевал губами. — Но вообще-то он человек неудобный и беспокойный. — И тут же неожиданно заявил: — А кому они нужны, удобные да спокойные? Разве что в торговую сеть, а мы строители, нам хладнокровие ни к чему. — Произнес строго: — Главное, молодым ни в коем разе нельзя внушать, что все для них наперед полностью учтено, продумано, обеспечено, проверено на опыте. Такого не бывает и не должно быть. Им по возрастающей мерке жить. Это только машину новую обхаживают с ограничителем, чтобы в ней все спокойно притерлось. А молодые с полного хода должны активно действовать на всю свою железку.

— Сорокин говорит, солнцем надо здесь отапливать котельные.

— Ну и что, есть такая научная установка, действует, парень с крылышками.

— Может, с воробьиными? — хмуро осведомился Фонарев.

— Так ведь отрасти могут.

На севере, при низких температурах, смазка в машине застывала, как бетон, и даже сам металл вдруг крошился, как черепица.

А здесь, на юге, смазка обретала неудержимую текучесть, раскаленный двигатель заклинивало, жесткий, как абразивный порошок, песок быстро стачивал режущую кромку лезвия щита бульдозера, клыкастые зубья ковша экскаватора.

Поэтому как на севере, так и на юге существовал негласный обычай — стоило одному механику поднять капот над двигателем или залезть под машину, как сейчас же подходил другой механик, чтобы оказывать ассистентские услуги товарищу.

И чтобы между людьми равной квалификации подобное не выглядело как помощь, механики, без слов понимая друг друга, отлично зная при этом, что надо делать, вели разговоры, не касаясь технической стороны дела, которым они занимались.

Так, лежа на радиаторе с поднятой крышкой капота и как бы под кровлей крышки, Кононыкин копался в дизе-

ле, а Сорокин стоял рядом с ним, подавал ему ключи нужных размеров и другой потребный в определенные моменты инструмент.

И Кононыкин, истекая потом от жары, источаемой двигателем, в духоте под крышкой капота говорил глухо, сдавленным от натуги голосом:

— До войны для меня, Вася, «Интернационал» был только гимн партийный. А на фронте он в нашем подразделении без музыки объявился, налицо фактически, на все времена — в людях. Все мы с разных мест, разных наций, а все друг за друга насмерть стоим. Все на масть разные, каждый считает — лучше его родных мест нет. А за любой плацдарм дрались так, словно все мы на нем родились, вся наша родня на нем живет и будто другой родины ни у кого нет, кроме той местности, которую либо в жестокой обороне защищать, либо штурмом брать надлежит. И все на этом деле, в спайке своей кровью, так сроднились, будто все мы не разные, а все с одной местности.

Поэтому я и подался сюда, в Среднюю Азию, все равно как домой или как к родне, которая будто и тут проживает. Котел у нас все равно советский, общий. Значит, разницы нет, где на него работать. Чем навар в нем гуще, тем, значит, и всем жить будет получше. Потом еще соображение имел. Я сам сибирский, у нас реки, каких нигде нет, а у них в воде недостача; думаю — как же это так, живут в безводии, — ну, и подал заявление в «Водоканал», для справедливости. Чего природа недодала, поправить.

Меня, знаешь, война сильно в понимании жизни возвысила. Тут вот в каждом кишлаке мемориалы имеются со списком на фронте погибших. Так я каждый раз эти списки в каждом кишлаке читаю. Может, кого из нашего подразделения найду. Двоих нашел. Из разных кишлаков люди, а оба наши однополчане... Вроде встретился со своими. Решил, как по каналу вода пойдет, я им по поллитровке ее наберу и в землю там зарюю. В память того, что на всю жизнь о них память имею. Вода — она жизнь. Воевали-то ради жизни. Значит, жить надо как следует. Живой-то я почему? Потому, что другие своим огнем сохранили меня в целости. Им я обязан.

— Значит, ты здесь по обету, что ли?

— Зачем по обету — по совести! Работать везде можно, говорю, котел у нас наш, общий.

— Ну, а чем тебя война возвысила? Орденами?

— Это только знаки. Уважение высокое к человеку

испытываю! Были на фронте всякие — и хитрые, и скряжистые, и мандражистые. А вот в бою выпрямлялись! Бой — это такое состояние души человеческой, любого наизнанку выворачивает, ничего от бойцов не скроешь, какой ты есть. Выживешь нечестно — значит, все. Никто тебя за человека не считает. Хотя ты живой, а все равно, что тебя нет. Люди на тебя глядят и не видят. Это такое невыносимое переживание, хуже, чем на тебя танк прет. С танком есть шанс в смотровую щель пульей попасть, а при таком положении только в новом бою можешь лишь кровью оправдаться, и то не сразу. Ну, и оправдывались. Значит, слабодушный не пропащий, а тоже себя может показать, если у него совесть сильно растревожат.

Выходит, человек все может, даже те, которые не смогли сразу с собой справиться, а вот, озираясь на товарищей, все же могут через самих себя вроде как переступить. Человек — он не столько в бою мучается, сколько до боя. Одни могут скрыть, не показать, что мучаются, а другие не умеют себя одолеть, но все же выучиваются сами себя одолевать.

Не победи человек сам себя и страх своей смерти, человеком не станешь. В бою победы не будет. Сначала с собой справься, а уж с противником справиться, считаю, легче.

— По-твоему выходит, кто не воевал, те вроде как без надежной проверки!

— Зачем? Война не мерка навсегда человеку. Мерка у нас на все случаи жизни одна. Показал себя человеком или не показал.

— Люди-то все разные!

— Правильно, разные. Но все мы прилажены к одному общему делу. И хорошо, что все мы разные. Машина состоит из множества самого разного рода частей, и у каждой свое назначение, а все мы вместе назначены к одной цели — главной.

Одна деталь окажется с дефектом — вся машина станет. Вот и должен каждый человек, на каком бы деле ни состоял, обязан себя считать главным, ответственным, хоть он по званию и не главный, а по существу в своем деле главный, в силу понимания взаимозависимости всех и каждого. Вот такая мерка человеку на все времена и на все случаи жизни правильная. — И вдруг Кононыкин сердито упрекнул: — Ты мне какой ключ суешь? Не разговоры разговариваем, делом занимаемся.

И вот при подобных обстоятельствах, помогая Сорокину

сменить щит на бульдозере с почти начисто сточенной о грунт нижней режущей кромкой, Кононыкин сказал:

— Ты, Василий, все-таки с ориентировкой на длинную жизнь живи. Конечно, молодому каждый день новым кажется. И сам ты человек нового выпуска, послевоенного. А жизнь из дней складывается, как дом из блоков. Один испортишь — другой набекрень получился. А человек не для себя живет. Это каждому кажется, пока он есть, что все вокруг него — его. А на самом деле человек от человека не только умом, но памятью своей жизни зависим, самочувствием, словом. В машине порченную деталь всегда сменить можно. А плохой поступок к человеку навсегда в тебе останется, и будешь ты на нем даже пробуксовывать, не зная почему, а забуксуешь на ровном месте даже удобной во всем жизни.

— Это вы к чему?

— Так, для разговора, — ты мне инструмент подаешь, а я тебе советы. Не как солдат стреляный, а как человек, жизнью потертый... на всякий возможный в жизни случай.

Фонарев сказал заведующему автолавкой Юсупову:

— Ахмет-ака, у меня к тебе заказ. На базе мыши имеются?

— Ежей на них держим, котов, кошек. — И Юсупов обидчиво упрекнул: — Все шутки шутишь!

— Мне мыши вот как требуются, — и Фонарев провел ребром ладони себе по горлу.

— Сколько надо?

— Ну, кило два — четыре.

— Мышь не крыса, мало весит. Скажи на шутики.

— Сколько сможешь, по дружбе.

— Ладно, сделаю.

— Почему не спрашиваешь, на какую надобность?

— Приходит пожилой мужчина, говорит: «Колготки есть? Лодочки тридцать шестой на высоком прямом каблуке есть? Голубые комбинации, желательно с кружевом, есть?» Что ему скажу? Зачем? Товар имеется — отпускаю. Ты — начальник. Тебе мыши надо. Я твой друг. Надо так надо.

— А если слона попрошу?

— Можно! Держим из плюша, пластмассы. Есть у тебя внуки — бери. Возьми хоть десять!

Юсупов хитро сощурился.

— Но теперь наши дети в кишлаках совсем испорчен-

ные. Машины заводные просят, а промкооперация не выпускает. Обижает потребителя...

Спустя некоторое время Фонарев получил от Юсупова шуршащую внутри коробку из-под обуви, обвязанную веревочкой. Держа эту коробку на весу, Фонарев отправился к палатке Бернары Саидовой, заранее милостиво улыбаясь.

Столь неожиданный подарок он объяснил с деловой озабоченностью:

— Сытый гад зря не цапнет, у него тоже свое соображение имеется. — Затем, разглядывая приколотый булавками к парусине палатки портрет Маяковского, заметил: — А вот он у нас на фронте не пользовался. «Синий платочек», «Катюша» — это всегда. Ну, еще про вареники. На отдыхе, во время передышки. А его не пели.

— Маяковский не для отдыха, не для песен писал, а чтобы люди никогда ни на чем в жизни не останавливались, не успокаивались, не становились самодовольными, — пылко произнесла Бернара.

— Собой довольными мы только в Берлине стали. А до этого ни совесть не позволяла, ни обстановка, — внушительно сказал Фонарев. — Я в инженерных войсках служил, попросту говоря, в саперах. Фашист по нас из всех стволов лупит, а нам не до смерти, приказано в столько-то ноль-ноль работу завершить, вот на это все нервы, силы и мысли. А после, если командир дозволит, свалишься тут же, как мешок без костей, и довольный, что ты еще живой, выражаешь себя песней.

— Он во весь свой голос в коммунизм звал!

— А у нас для этого приказ! Коммунисты, вперед! Бросишь топор, лопату, кувалду, ключи гаечные при команде «в ружье»! Не зажмурились под огонь, в атаку. Ближний бой! — Поежился, лицо исказилось. — Страшное дело! Убитым быть плохо, а убивать, думаешь, легко? Отходишь потом, все равно как после окаменения души, а потеплеешь — и затанешь что-нибудь, что словами согревает. — Нахмурился. — Вообще-то правильно его портрет перед собой имеешь. Равнение жизни держать надо на самое главное.

Насильственно добродушно улыбнулся.

— Но я к тебе не только с гостинцем твоим змеям. — Лицо Фонарева приняло озабоченное и неуверенное выражение. — Потолковать надо. — Поспешно закурил, уселся на ящик с пресмыкающимися. Потом вскочил, предложил сконфуженно: — Давай лучше снаружи побеседуем. К табачному дыму, видать, твоя живность не привыкла.

Вышли из палатки. Шаркая ногой по песку, Фонарев объяснил:

— Хочу спросить напрадую. Сорокин тебе каким кажется?

— Он хороший, — блеснула глазами Бернара.

— Бульдозерист — точно, а вообще?

— По линии морально-нравственного кодекса? — вызывающе спросила Бернара.

— Ты обожди, обожди глазищами меня пепелить. Ишь ты, сразу, как гюрза, кидаешься. Я что при тебе и с тобой продумать хочу. На Севере он работал. Нужен он был там? Нужен! А уехал. Здесь теперь, у нас он. Нужен он нам? Нужен!

На Севере Сорокин с начальником автоколонны подрался. Колонна шла по старой, хлипкой лежневой дороге. Начальник приказал свернуть на целину, а там мох-ягель, корм олений. Василий встал впереди его машины, руки распростер и не пускает сворачивать, природу портить.

Сначала ругались, а потом начальник его ушиб. Василий обиделся, тоже его ударил сильно. Потом затащил в глубокую колею, где грязь, вода, сунул головой, чтобы тот этим маневром запомнил: когда мох сдирают, вечная мерзлота тает и на месте ее илистое болото образуется.

— Это что, правда?

— Про болото?

— Нет, что он там дрался.

— Сорокин о себе правду не скрывает. Парень он, конечно, нелегкий, трудный, — задумчиво сказал Фонарев, но тут же, бодрясь, сообщил: — Но на производстве не легкую, а трудную работу себе тянет. Со рвением, азартом, за это я его и люблю и о нем беспокоюсь.

— Но я его не люблю, — самоуверенно заявила Бернара и вполголоса добавила: — Он мне только немного нравится за то, что не такой, как все.

— Это чем же?

— Не пожаловался на начальника мехколонны за то, что тот его первым ударил, говорил, что заснул на ходу машины и лицом о приборный щиток расшибся.

— Такое у водителей бывает, если без отдыха на длинном перегоне засыпают, — оживился Фонарев. Сказал одобрительно: — Ты, видать, девушка умная, выдержанная, вдумчивая. И характеристика твоя точная. Сорокин горячий, без выдержки, с излишним о себе воображением. Вот допустим такое: он в тебя врезался. А ты в него — нет. Тогда он сразу взбрыкнет и кинется, скажем, на Сахалин,

в океане рыбу ловить, там дизелисты всегда требуются. Его всякие неудобства природы тянут. А я потеряю хорошего бульдозериста.

— Так что вы от меня хотите? — сухо осведомилась Бернара.

— Не хочу, советуюсь, по кадровому вопросу, — сказал Фонарев, — так сказать, в порядке административного предвидения. Если у тебя чего к нему есть, могу подыскать по штатному расписанию тебе должность по линии «Водоканала». Нет — значит, буду искать себе бульдозериста. — Произнес уныло: — Охомутать Сорокина мне своими силами не удастся.

— Так вы хотите, чтобы я его охомутала? — с негодованием сказала Бернара. — Я же его не люблю, вы это понять можете?!

— Такого парня не любить нельзя, — убежденно сказал Фонарев.

— Но он меня тоже не любит!

— Такого не может быть, — решительно заявил Фонарев. — Ты вся как картинка, — лстиво добавил он и рассердился: — Да что я, по-твоему, в красоте ничего не понимаю? Все показатели на твоей стороне. — Произнес доверительно: — Как тебя заметил, сразу определил: с этим объектом кто-нибудь да обязательно завязнет.

— Учтите, у меня кончается практика, и я уезжаю, — сухо сказала Бернара.

— Одна?

— Нет, вместе со своим уловом, — усмехнулась невесело Бернара.

— А Сорокин переживет?

— Ему переживать нечего. Сначала он выдумал, будто я какая-то необыкновенная. Потом понял: такая, как все. Стал советоваться только о работе на канале. Говорил, надо вдоль берегов делать сразу посадки, как защитные полосы от песчаных заносов. Критиковал вас, почему не делаете ступенчатые спуски в канал для пристаней и купален. Вообще мечтал, как здесь все будет, словно он тут останется на постоянное жительство.

— Ну, значит, все! — радостно объявил Фонарев. — Значит, прилип!

— Но не ко мне же.

— А что ты? Ты педагог, у тебя школа. Стационарная жизнь...

— А если я его полюбила? — сухо произнесла Бернара. — Тогда как?

— Да ты всмотришься, какой он и какая ты, — возмутился Фонарев. — Его рожа как все равно в комнате смеха в парке культуры и отдыха, только что в натуре, а не в зеркале. А у тебя лик как в музее, где самых лучших старинных показывают, чтобы всех наших живущих унижить. — Помолчал, заявил решительно и солидно: — Конечно, если фигурально выражаться, чувствами не командуют, хоть, бывает, они ум перешибают. — Фонарев вздохнул. — Поэтому официально заявляю. Я человек здесь за все ответственный, даже по мелочам беспокойный — вот провиант твоим змеям лично доставил, хоть прямого служебного касательства к ним не имею. Но забота о людях мне положена теперь, как и всем руководящим должностным лицам. Так что ты на меня, Бернара, не обижайся. Я человек мнительный, душой беспокойный, и хоть обременен брюхом и опечален плешью, но кое-что в душевных делах еще смыслю и за каждый объект здесь болею не только по производственной линии, но и вообще. Вот, скажем, есть у нас инструкция по технике безопасности, пунктов в ней на всевозможные случаи без числа. Но всегда может возникнуть ситуация, которая никаким умом еще не предугадана. Я это к чему, — вздохнул Фонарев. — Счастье не ищут. Оно вроде как в самом человеке. А как его из себя добывать, научат ли когда? Тут загадка.

По себе знаю. Одному в себе не сыскать, второй товарищ требуется, надежный, чтоб не обдул. Одно счастье чтобы на двоих поровну доставалось. Тогда на всю жизнь спайка. — Фонарев вытер папачкой потное, багровое лицо, огляделся внимательно. Сообщил встревоженно: — Уж больно сильно нынче печет, прямо заживо жарит, и, слышь, тишина — песчинка на бархане не шелохнется, не скрипнет, словно сплошной вакуум. Дышать нечем. Значит, вполне возможно, откуда-нибудь да задует. Природа в таком покое долго находиться не может. Тихнет-тихнет, да потом как зашевелится, забунтует, начнет катать барханы, по всему пространству, рыжие тучи поднимет, песком начнет сыпать, день в бурю ночь перевернет. Значит, отсиживайся в палатке, хлебай кок-чай с песком на зубах, одна тебе радость — транзистор, он как ни в чем не бывало оркеструет, орет, вещает.

— Вот видите, и у вас транзистор.

— Так Сорокин из него только ума набирается. А я только тогда его пользую, когда отдыхаю от всех, когда от меня никому пользы — ни людям, ни делу — нет.

Действительно, воздух жег, как неслышно сыплющиеся раскаленные стеклянные опилки. И было видно, как из разогретых нор беспокойно ползут, корчась, змеи к черным, жестким, как пуки жженой проволоки, кустам саксаула.

Загнутые набекрень гривы барханов, словно оплавленная глазурь, покрывались трещинами.

Пустыня лежала желтая, воспаленная, перекаленная.

А люди мехколонны, как всегда в особо сильную жару, работали в меховых шапках, в рукавицах, в брезентовых сапогах и лоснящихся мазутом трусах и майках.

И хотя они испытывали здесь то же самое, что испытывают рабочие-ремонтники, исправляя огнеупорную кладку в еще полностью не остывшем зеве мартеновской печи, источающем испепеляющий жар, водоканальцы были поглощены своим делом, и если тревожились, то только тем, чтобы от нагрева не заклинивало двигатели машин, когда пробки радиаторов вышибало обжигающим паром. И, заправляя выкипающие радиаторы, они жадно отхлебывали воду, пахнущую солидолом и отвратную на вкус. И чем сильнее жгло пламя зноя, тем острее люди мехколонны проникались сознанием значительности своего труда, побеждающего злобу пустыни для того, чтобы сотворить здесь жизнь, прокладывая сюда путь животворящей воде.

Бернара испытывала смутное смятение после разговора с Фонаревым.

Конечно, вначале у нее и Сорокина возникло чувство, волновавшее их обоих, но чувство, сдерживаемое застенчивостью и гордостью и несколько, пожалуй, притворным, вызывающим пренебрежением к тому, что они испытывали друг к другу, из опасения показаться обыденными, такими, как все, из боязни проявить охватывающую их нежность как признак слабости и готовой на все, безоглядной уступчивости. И оба они страдали от неумения подчиниться тому, что испытывали друг к другу. И от этого стала возникать раздраженная строптивость.

Бернара сказала как-то, когда они бродили ночью в степи:

— У всех народов одинаково изображается сердце как символ любви.

Сорокин сказал:

— Как все равно на тузе червей. А в сущности, сердце что? Всего-навсего четырехкамерный насос.

— При таком полнолунии люди мечтают о чем-нибудь несбыточном, красивом, — произнесла Бернара.

— Луна у вас поддельная, даже ночью горячая. Эрзац

солнца. И вообще, может, с точки зрения вселенной все звезды — они как пыль, хотя и производят большое впечатление.

— А что тогда главное?

— Ты! — небрежно произнес Сорокин. — В данный момент вечности.

— Почему я?

— Потому что таких, как ты, нет. А ты, выходит, есть.

— Убери руки! — вздрагивая, сурово приказала Бернара.

— Я только убедиться, что ты есть на самом деле, — сипло оправдался Сорокин.

— Только слепые или немые все передоверяют своим рукам.

— Значит, нельзя до тебя дотронуться!

— Только слова, идущие от сердца, входят в сердце...

— Красивых слов всяких много, но они все потрепаны, а у меня к тебе настоящие.

— Только в данный момент вечности, — усмехнулась Бернара. — И потому, что ночь и я рядом.

— На меня ни ночь, ни луна не действуют. Я и днем о тебе думаю и врать от обстановки не собираюсь.

— Когда ты меня обнял, у тебя выражение лица стало как у рыси.

— Из-за бачков?

— Нет, животное.

— Это от испуга, боялся, что ты так потом и скажешь.

— Такими способами ничего не достигают, только отталкивают, а не сближают.

— Значит, в моих первых клетках тарантулы сидят, — сердито изрек Сорокин.

— У тебя воображение есть? — спросила Бернара.

— Ну, найдется!

— Вот если записать, о чем и как мы говорим, и другие, такие, как мы, прочтут, ведь смеяться будут.

— Дураки! А умные, может, засострадают.

— Ну уж!

— А как же: внутри одно, а наружу высказываем совсем другое.

— От недостаточной культуры?

— Оттого, что занизить боимся то самое лучшее, что, может, человек раз в жизни переживает.

— Хочешь, я тебя поцелую? — растерянно, шепотом произнесла Бернара и добавила, жалобно улыбаясь: — Даже в самые губы.

— Нет уж! — сказал Сорокин. — На жалость не побираюсь. — И при этом лицо его посерело, скулы обтянулись оттого, что он с силой сжал челюсти, и глаза тоскующе сузились.

Но когда они возвратились и Бернара сказала ему высокомерно: «Пока!» — Сорокин вдруг схватил ее руку, рывком поднес ко рту, жадно подышал, не прикасаясь губами, и, отпуская, объявил:

— Это на память себе, она у тебя, знаешь, абрикосом пахнет... — Конфузясь, объяснил: — Будут компот давать, получится, будто ты рядом.

И еще до этого был разговор, тоже когда они по степи блуждали.

Сорокин сказал беспечно:

— Если по-честному, не могу, да и не хочу к одному месту навсегда привязываться. — И, насильственно улыбаясь, добавил: — Хотя такой, как ты, больше нигде нет и быть не может.

— Нашел феномен?

— Если б хоть поменьше красивая была, — уныло произнес Сорокин, — тогда бы хоть рискнул.

— На что?

— Ну, на загс, что ли.

— Да я не пойду за тебя замуж, — сердито заявила Бернара.

— И правильно, — неожиданно одобрил Сорокин. — Красота — это высшее преимущество. А я бы всегда чувствовал над собой твое превосходство, вроде как всю жизнь перед тобой в долгу.

— Ты слишком преувеличиваешь значение внешности человека, — учительским тоном сказала Бернара.

— А я все преувеличиваю, и хорошее, и плохое, — сокрушенно признался Сорокин, вздохнул, — такой уж имею характер. Значит, умственно ограниченно годен. Не получается из меня человека-рейсфедера, который себе на всю жизнь прямую линию прочеркивает и топает по ней в ботинках начищенных.

Возбужденная и взволнованная после этих ночных прогулок в пустыне вдвоем, вспоминая не слова, а то, как их произносил Сорокин, — томясь нежностью, теряясь и вдруг говоря грубости, то высокомерный, то жалкий, то пылкий, то кроткий, то глупый, то умный, сдержанный и несдержанный, то искренний и тонко чувствующий, то тупой, непопулярный, то близкий, то чужой совсем, — Бернара не страдала, не мучилась, ей было скорей досадно,

что у нее не хватило воли, упорства, уверенной проницательности для того, чтобы разобраться решительно и окончательно в своих чувствах, вызываемых этим парнем, совсем непривлекательным своей внешностью, но привлекающим ее своей какой-то непохожестью на всех.

В эти дни зной достиг предельного накала. Он выжег, казалось, и сам воздух, и нечем было дышать — только этим пламенем пустыни.

И, как это бывает в период всеиссушающего огненного жара, начал дуть сухой, сильный, обжигающий ветер афганец. И пустыня зашевелилась песками, как желтое море желтыми волнами. И желтая пыль, сдуваемая с гребней этих волн-барханов, заволокла все пространство, погасила солнце. И желтый шелестящий воздух жег своими прикосновениями, как пламя. И в желтых сумерках люди бродили, как в горячем, иссушающем, жгучем тумане. Пустыня пылала в желтом дыму песчаной пыли.

Фонарев вызвал к себе в палатку, заметенную песчаными сугробами, Сорокина и спросил:

— Ну что, Вася? Присыхаем в простое?! Говорят, на всю неделю будет песком нас засыпать и снизу, и сверху. Вертолет в такую погоду не летун. А нам пужна ясность. На цивилизацию напоролись или так, на мусор. Что скажешь? Может, свезти кое-какие доказательства-улики в райцентр? Там разберутся. Трактор у тебя как вездеход.

— В такую песчаную пургу дорогу помнить надо, — сказал Сорокин. — Небось все приметы замело.

— Товарищ Саидова у меня была, — задумчиво произнес Фонарев. — Там у них старик ученый есть в райцентре, он в древностях разбирается, советовала к нему с найденными предметами смотаться, чтобы время зря не терять. Сообщила — может в этой суматохе природы сама дорогу указывать, визуально и на память. Ну?

— Правильно, — оживился Сорокин. — А то действительно вдруг не цивилизация, а какое-нибудь недоразумение, а мы простаиваем!

— Точно! — согласился Фонарев. — Простаиваем! По твоей, можно сказать, инициативе простаиваем! Ты самостоятельно и выясни. И перед колонной не так уж неловко тебе отвечать будет за простой, поскольку инициативу проявил все без дальнейшей задержки выяснить.

— А вы на меня не валите! — насторожился Сорокин. — Я только сказал — цивилизация! А указание вы дали работы прекратить.

— Я не валю на тебя, а хочу с тебя свалить, чего люди

после в случае чего про тебя скажут. Ответственность все равно за все моя, поскольку я тут главный.

— Тогда ладно. — И Сорокин поспешно кинулся к лазу из палатки.

— Ты погоди, не суетись. — посоветовал Фонарев, — машину твою и без тебя на маршрут готовят. И Бернара в ящики свой улов еще не уложила — сама доставить в зоопункт желает. На мотоцикле к ней зоологу не добраться. Метет песчаная пурга, говорят, надолго. Все равно как у вас там, в Арктике. Ну, сам знаешь. Разница только в том, что там холод и снег, а тут песок да жара. Значит, один черт. А ты человек опытный, только не в таких, но все равно в обратных условиях действовал. Такое мое мнение. — Помедлил. — И товарища Саидовой тоже.

— Так я пойду припарадуюсь, — оживился Сорокин.

— Это зачем еще? — подозрительно осведомился Фонарев.

— Не буду же в райцентре в затрапезе появляться.

— Ну, как знаешь, — согласился Фонарев и добавил озабоченно: — Только это вам не прогулка. А в интересах безостановочного производства — ответственная командировка.

— Да ладно там. — И Сорокин, отдернув завесу палатки, выскочил в шершавый, дерущий, гудящий, жгучий, слепящий бурый сумрак песчаной бури.

Не так уж был прост прораб Сергей Иванович Фонарев, тучный, коричневый от въевшегося в него загара, любитель, как все местные, самолично варить плов, готовить шурпу, лагман и устраивать в праздничные дни коллективные тои всех участников мехколонны; человек, привычно и равнодушно относящийся ко всем трудным и необычным условиям работы в пустыне.

В первые годы, когда не было ни техники, ни достаточных средств для финансирования работ в большом объеме, занимались больше очисткой или, точнее, раскопками старинных оросительных систем, погребенных неведь когда песками пустыни. Местоположение бывших каналов указывали либо древние старцы-аксакалы, никогда сами не видевшие в натуре, а только слышавшие об их существовании от своих отцов, дедов, либо поступали не всегда ясные сведения от археологов о возможном существовании оросительных систем, где они производили раскопки в поисках материальных улик древних цивилизаций; логически полагается, что если в определенном месте обнаружены следы былой цивилизации, то, естественно,

должны быть и следы оросительных систем, свидетельствующих о существовании цивилизации и, естественно, служивших на данной территории необходимым условием жизни.

Вот такие соображения и возникли у Сергея Ивановича Фонарева почти сразу же, когда он узнал о ЧП и вынужден был остановить работы по настоянию коллектива, столь скептически относясь к рассуждениям Сорокина о якобы обнаруженных материальных ценностях древней цивилизации, достойных украсить любой музей. Хотя Фонарев отозвался о находках как о мусоре, черепках, а роспись на стене назвал облезлой штукатуркой, но, произнося эти слова, он мысленно озабоченно прикинул, что если это не так, то тут главное для самого Фонарева не в исполнении закона об охране памятников древней культуры, а открывалась соблазнительная возможность сэкономить силы и средства, если удастся действительно, обнаружив древнюю культуру, найти следы древней оросительной системы; тогда можно зачистить ее и использовать в дело, пустить по ней воду, вместо того чтобы прокладывать новый канал, устлая его ложе полиэтиленовой пленкой для сохранности воды от фильтрации, утрамбовывать завозимую сюда изда-лека глину и облицовывать борта канала бетонными плитками.

Ложа старых каналов обычно строились древними так, что поверхность их покрывалась обмазкой, не пропускающей воду, или вода канала сама по себе образовывала защитное покрытие из осадочных частиц, то есть вода сама себе сооружала из взвешенных частиц водонепроницаемый защитный слой по всему параметру канала.

И Фонарев мысленно, в воображении, прикинул, сколько новых совхозов здесь можно будет быстреем образом развернуть, если без особых капитальных затрат полностью восстановить древнюю оросительную систему, и, очевидно, весьма значительную, если на ней находилась некогда целая древняя цивилизация, как яростно и восторженно утверждал Сорокин.

Поэтому Фонарев самолично столь бережно и с такой трепетной надеждой упаковывал в ящики кирпичи от древней кладки, черепки древней посуды, отвалившиеся куски окрашенной штукатурки и принял нетерпеливое решение отправить своим транспортом в райцентр на экспертизу, с тем чтобы потом уже с вертолета обследовать здесь всю местность, не столько для нанесения на карту контуров исчезнувшего с лица земли поселения, сколько

для обнаружения с высоты с трудом опознаваемых на плоскости пустыни следов оросительной системы, возможно, перед закатом солнца обозначаемых еле видимыми глазу геометрическими начертаниями, подобными серым ровным теням на желтой морщинистой равнине пустыни.

Поэтому Фонарев принял решение отправить своим транспортом вещественные улики древней цивилизации и водителем машины назначил Сорокина не только потому, что тот был опытным трактористом, знал путь в райцентр, но и, будучи энтузиастом открытия, мог там, в райцентре, создать своей горячей убежденностью полезную, положительную нервную атмосферу вокруг открытия древней цивилизации.

Что касается ветра, яростно испепеляющего и иссушающего афганца, то сам Фонарев считал, что если парень водил вездеходы в зимнюю слепящую пургу, не сбиваясь с пути, то он с таким же успехом одолеет и горячую желтую бурю в пустыне. А если во время подобных знойных песчаных бурь местность и меняет свой облик, то Бернара Саидова убедила Фонарева, что она помнит наизусть местность при всех ее состояниях и есть там приметы на путь, которые при всех обстоятельствах остаются всегда неизменными; и, мол, если она не сдаст своих пресмыкающихся в зоопункт, то они, живые существа, в такую погоду обычно зарываются глубоко в норы, уберегая в себе влагу, а иначе могут погибнуть. Значит, либо их выпустить на волю, либо увезти в райцентр.

— Выпускать — ни в коем случае, — хмуро заявил Фонарев. — В змеях я тоже кое-что понимаю. К тебе они уже привыкли. Ты их оттащишь подальше в пустыню, а они все равно по наметке обратно к тебе сползутся. А коллектив у нас и так нервничает из-за простоя, а тут еще ко всему твои гады. Нет, уж лучше увози. — И добавил чуть игриво: — Вместе с Сорокиным, он ведь тоже любитель ползунов. Видел, как на голой шее полоза носил, хотя у него от отвращения вся кожа становилась в пупырышках. А фасонит, носит, как горжетку, и на тебя глазами при этом косится.

— Из Сорокина зоолог не получится, — строго сказала Бернара.

— Это почему же? — возразил Фонарев. — Не согласен. Парень он ко всему способный, машина у него зверь, силица как у мамонта ископаемого, а он ею может с земли спичечный коробок поднять и подать человеку экскаваторным ковшом все равно как рукой. — Подумал, пожевал

губами. — Так что рекомендую тебе его на всякий случай, по случаю...

— Это что значит? — вскинула голову Бернара.

— А ничего, только то, что случай бывает и на всю жизнь самым главным случаем.

Бульдозер стоял с поднятым вогнутым щитом, о который дробно стучались крупные песчинки, гонимые вихрем. Песчаный протяжный горячий ветер наждачно терся о машину.

Стены просторной кабины были обклеены изображениями самолетов. Сорокин кивнул на картинки, объяснил Бернаре:

— Люблю скорость, — вздохнул, — но бульдозер скорости не позволяет.

Сорокин был одет парадно, рубашка немислимо яркой расцветки. Оглянувшись на Бернару, недовольно осведомился:

— А ты чего в затрапезном виде? В райцентр едем, а ты в лыжном костюме. Простудиться боишься? Видел тебя как-то в радужном, как хвост павлина, платье — чистого шелка атлас.

— Меня там никто на танцплощадке не ждет, — строптиво заявила Бернара.

Сорокин включил кондиционер, похвастал:

— Технический прогресс. В Арктике отопитель, здесь охладитель.

Ветровое стекло было тускло, желто, матово; песчинки бились на нем, как летучая мелкая тварь.

— Ну, поехали, — сказал Сорокин, подмигнув Бернаре. — Если на барханах сильно бросать будет, за меня хватайся хоть в обнимку, вполне можно тут и легально.

— Еще чего! — И Бернара отодвинулась ближе к дверце машины.

Лицо Сорокина было сосредоточенным, отрешенным, он вел машину в желтых шуршащих сумерках. Гусеницы высоко выбрасывали позади себя, словно ковшом роторного экскаватора, два плоских песчаных потока.

Сорокин властно и, казалось, небрежно вел трактор, и постепенно лицо его обрело выражение беспечности и удовольствия. Обернувшись к Бернаре, он сказал:

— Я вот на верблюде верхом пробовал. Высоко, тряско, жестко. Свалишься — сам себе, как у него, горб набьешь. Совсем неудобная скотина.

— Верблюд благородное, умное животное, — сказала Бернара.

— Но некрасивое, — сказал Сорокин. — Даже не один горб, а два. Хотя, говорят, он в них для себя, как в бурдюках, содержит водяной НЗ.

— Для тебя красиво — самое главное, — сухо заметила Бернара.

— Красота украшает жизнь и человека, — сказал Сорокин. — Вот как тебя, к примеру. Я тебя как первый раз увидел, ну, думаю, все.

— А теперь что думаешь?

— Да я уж к тебе привык, — чистосердечно признался Сорокин. — Выходит, пригляделся, такая, как все.

— А ты некрасивый, рыжий, волосатый, нос лепешкой, — гневно объявила Бернара, затем потупилась, помедлила. — И я тоже привыкла не замечать, какой ты такой, каким тебя все видят.

— Значит, начисто зачислила без переживаний в разряд человекообразных млекопитающих.

— Нет, не так.

— А как?

— Ну, как ты, привыкла — и все!

— А я вовсе не привык, — резко повернулся к Бернаре Сорокин и страдальческим тоном объявил: — Сначала ты мне показалась такой, каких не бывает, а потом оказалась как все, а еще потом — снова необыкновенной. Поняла?

Бернара пожала плечами.

— Просто это у вас, у водителей, манера, чтобы не скучать, в пути болтать о чем вздумается, а пассажир обязан вежливо слушать.

— Помолчу, — сказал Сорокин. — Может, я сам из вежливости так беседую, чтобы тебе не скучно со мной было. с рыжим и плосконосым. Но что касается носа, он нормальный был, но я им в щиток вмазался, валилась машина с откоса, а я уже дверцу открыл, чтобы выскочить, а потом машину пожалел, рванул полный газ, чтобы удержать машину, ну, когда приземлился на дно оврага, башкой в щиток, нос — вдребезги, рожа в порезах. Обрел портрет в рубцах. Волосами замаскировался. Хорошо, такая мода пошла на волосатиков. Выходит, мне повезло на моде.

— Я не знала.

— Про моду?

— Нет, про тебя такое, что ты врун.

— Это все ерунда, мелкие подробности из малозначительных фактов жизни, — бодро произнес Сорокин, — в порядке дезинформации.

Бернара коснулась своей рукой его руки, лежащей на рычаге трактора. Сорокин покосился на ее руку и, не желая менять положение своей руки, сильно работал только педалями. Раскаленный ветер мощно перемещал раскаленные пески барханов, как волны в море, сдувая с них, словно пену, мелкую песчаную пыль. Там, где раньше недвижимо возвышались песчаные возвышенности барханов, образовывались впадины, обнажая ветвистые корни карагача. А такыры, обдуваемые ветром, блестели, как черное стекло.

Воздушные фильтры кондиционера забило мелкой песчаной пылью. Пришлось кондиционер выключить. В кабине стало душно, жарко. Сквозь незримые щели в дверцах кабины стала проникать пухлая тончайшая пыль.

Сорокин сказал:

— Извиняюсь. — Снял и бережно свернул костюм, уложил его за спинку сиденья, остался в трусах и майке, посоветовал Бернаре: — Ты бы тоже лишнее сбросила. Я все равно глядеть не буду. — Пояснил: — Дорога не позволит. А пылица здесь желтая и едкая, как горчица сухая. Но, по существу, она что? Бывший камень тысячами истолокся и стал порошком.

Глаза его были красными, воспаленными, потное лицо с прилипшей желтой пылью как изваянное из глины. Через некоторое время он объявил, что надо в радиатор воды подлить и фильтры сменить, а то мотор заклинит. Он вылез из кабины, песок хлестал его, словно проволочными прутьями, обсыпая, запорашивая. Сорокин накрылся с головой плащом, копаясь в двигателе и оберегая двигатель. Вернувшись в кабину, встряхнул канистру с водой и спросил Бернару:

— Пить хочешь?

Она отрицательно мотнула головой. Сорокин подумал и решительно объявил:

— Тогда я тоже нет.

Бернара сидела уже в трусах и в лифчике, съежившись, скрестив на груди руки при его взгляде.

— Ну чего ты? — упрекнул ее Сорокин. — Мы же с тобой здесь как на пляже, только разница — купаться негде, а так вполне пляж на сто тысяч человек сразу, для загара. — Произнес твердо: — Полагаю, курс выдерживаем правильный. Телефонный столб видел, выдуло из-под него весь грунт, висит, как висельник, на проводах — будет теперь канитель связистам.

Поднял канистру, полил из нее воду на полотенце

и быстро, заботливо вытер влажным полотенцем лицо, шею, плечи Бернары.

Бернара отшатнулась, произнесла возмущенно:

— Это еще что такое?

— Для красоты твоего лица, — сказал Сорокин, — для удовольствия, чтобы было на что поглядывать для воодушевления.

Бульдозер карабкался через увалы, иногда приходилось опускать щит, чтобы сваливать крутые валы загнутых гребней барханов.

От Сорокина остро пахло потом, в подмышках и на шее возникли кровоточащие потертости от наждачной, колючей песчаной пыли.

Они двигались в коричневых шуршащих сумерках наступившей ночи, и горячая луна выглядела незакатно тусклым солнцем, совсем не просвечивая этих коричневых, мчащихся с сухим шуршанием сумерек.

И вдруг на пути бульдозера выросли силуэты людей. Один из них размахивал палкой, обмотанной ветошью, смоченной соляжкой и горящей, как факел.

Сорокин остановил машину и вышел в песчаный, не остывающий даже в ночь, жесткий и колючий, стремительно несущийся поток все иссушающего мельчайшего каленого крошева.

Он вернулся к Бернаре и произнес потерянно, скорбно, просительно:

— Понимаешь, какая тут петрушка получилась, опоры линии высокого напряжения до самого их фундамента ветром выдуло. Есть которые перекосило, могут запросто свалиться. У аварийной бригады трактор из строя выбыл, просят помочь. Даже не просят, а велят в силу особых обстоятельств. Нынче без тока наша цивилизация ни на что не способна, хуже, чем без воды древние. Я им для убедительности говорю: «У меня дама». А они: «Что ж она, не советская?!»

Несколько суток Сорокин с аварийной бригадой электриков устанавливал опоры, поднимая на тросах пропущенные сквозь гроздья блоков стальные опоры, придавая им строго вертикальное положение.

Опаленное лицо его, ободранное жгучим ветром афганцем, иссеченное стеклянно колкими песчаными вихрями, в клоках кожи вспухло и покрылось коростой, пышная шевелюра, войлочной бурой, плотно свалаялась, и только рысьи его бачки воинственно топорщились, глаза, воспа-

ленные, слезились, нижние веки отвисли, и оток слез оставлял на его щеках полосы, подобные шрамам.

— Люблю аврал, — возбужденно говорил Сорокин Бернару. — Крутеж, вертеж. Каждый человек как на ладони. Сразу со всех сторон его видно, что он за личность.

— Ты зачем им сказал, что я твоя жена? — гневно спросила Бернара.

— То есть как это зачем? — удивился Сорокин. — Затем, чтобы сильно о тебе заботились, уважали. Они бы тут без меня и без моего бульдозера пропали. А я им говорю: я и мой бульдозер, пожалуйста, вас выручим. Но жену не могу без комфорта содержать в такой суматошной обстановке, обеспечьте ей условия, тогда согласен.

— Я спрашиваю: как ты смел назвать меня своей женой?!

— Ну и что? Сначала была мысль сказать, что ты вроде как принцесса. Ну, вроде дальняя родственница той царичи, которая на древней штукатурке на развалинах нарисована. Мол, приезжала для опознания родни. Потом подумал: длинно получается, а всем тут некогда слушать, ну, и сказал для краткости — жена. Вот они к тебе с полным заботливым вниманием, больше, чем даже к принцессе. Палатку индивидуальную дали. Воду безоговорочно поставляют. Для змеехранилища полуколодец вырыли, чтобы прохлаждались, а то бы сдохли, стали как ремни сыромятные.

— И сказал, что я укротительница змей?

— Зачем? Солидно информировал — работаешь для науки, главный ассистент по пресмыкающимся.

— Деятель науки — жена простого тракториста, очень правдоподобно, — насмешливо заметила Бернара.

— Почему это простого тракториста? — возразил Сорокин. — Они сразу во мне все поняли: крупный специалист. У нас на Севере снежные бури тоже опоры высокого напряжения наповал валили, приходилось налаживать, имею опыт электрика. На Севере с одной специальностью — такая роскошь никому не позволена. Все умей по линии взаимозаменяемости, когда аврал. Так что я тебя женой назвал им по существенным соображениям и даже транспорт вытребовал, чтобы в район срочно доставили. Ради жены вполне можно таким ультимативно настойчивым быть. А если бы сказал, что ты просто, вообще... сказали б: пусть, как все, считается мобилизованной. Ну, и пришлось бы тебе на жаре горячие провода распутывать или, об землю ударяя, их выравнивать. Еще чего не хватало! Когда

я тут со своим бульдозером больше значу, чем вся их бригада обезмашиненная.

— Врать людям стыдно.

— Я не врал, а подал факты в целесообразном освещении, исходя из обстановки и ситуации.

— Факт — это я?

— Ты, конечно.

— А какое мнение об этом у самого факта, тебе безразлично?

— Мне главное — им доказать, что я человек несвободный, с семьей-обузой. Обеспечь. И тогда пожалуйста, эксплуатируйте на полную железку, без пощады.

— И больше ничего? — сощурилась насмешливо Бернара.

— Ну, а что еще может быть? — вздохнул Сорокин. — Если бы сказал — просто ситуация, стали бы допускать всякие фальшивые домыслы, — произнес скорбно, — как я вот сам тоже тебе, я ведь не в аварии себе нос о щиток расшиб, а в драке перешибли. Человек я невоздержанный.

— А кто та девушка, из-за которой ты подрался?

— Кто? Флора по-научному ее имя. Один про нее выразился. Ну, я его. Он меня. Сшиблись. Нас обоих лишили права вождения. Добирались потом на собачьей упряжке неделю до базы, а могли бы минут за двадцать прибыть. Оба в пути простыли...

— Ты пойдешь и сейчас всем про меня скажешь, что соврал, — требовательно заявила Бернара.

— Пожалуйста! — согласился Сорокин. — Теперь это можно.

— Почему теперь?

— Для тебя «газик» вызвали! А мне тут еще канителься, навалило мачт порядочно.

— И все узнают, что ты лгун.

— Значения не имеет. Они меня в работе узнали, спишут! Главное — показал, что дело умею делать.

— А я тебя презираю, — гневно объявила Бернара.

— Ну и презирай, — сердито сказал Сорокин. Спросил обидчиво: — По-твоему, было бы лучше, если б я тебя за принцессу выдал, или за заклинательницу, или просто так, мол, попутная мне девица?

— А ничего другого сказать обо мне ты не мог?

— Не мог, — нехотя произнес Сорокин, затем сердито объявил: — Появляешься внезапно в пустыне ты, на которую глядеть можно только сквозь черные очки, только сощурившись, вся в ресницах, как конский волос, с ножка-

ми, ручками и еще с мешком змей. Ну, люди должны сначала обомлеть, даже засуетиться. Вот я их и осадил. Мол, стоп, она на финише, при человеке.

— И больше ничего ты не думал, когда врал?

— Я же рационально, для конкретной задачи, — хмуро произнес Сорокин. — Да и что они мне, электрики! Люди посторонние. У себя в мехколонне разве б я такую глупость позволил? Да меня там за такую брехню заживо засмеяли.

— Почему засмеяли?

— Почему, почему, — уныло сказал Сорокин. — У нас там народ умный, сметливый. Что я, себя в зеркало никогда не видел? Видел. Даже на Доску почета портрет после ретуши выставляли. А ты! — махнул горестно рукой. — Тебя даже если на карточку снять, всегда хуже получишься, чем ты есть в натуре.

— Значит, ты считаешь, о человеке можно только судить по его лицу?

— Для отдела кадров физиономия значения не имеет, а в жизни имеет, и даже очень.

— Но ты мне нравишься!

— А почему я бы тебе не нравился? Не приставал, сильно с руками не лез. Слова всякие для тебя придумывал и мысли тоже. Но не только потому, чтобы тебе понравиться. А просто потому, что от этого я себя придумывал лучше, чем я есть, а это, если хочешь знать, каждому человеку полезно. Получше стараешься быть, чем ты есть на самом деле. Вот жука навозного называли скарабеем, с тех пор стали считать его из всех жуков священным, самым умным жуком, — лукаво сообщил Сорокин.

— А мне ты стал казаться совсем другим, чем я тебя сначала увидела, — лохматым, белоглазым, с широким носом и опасным, как чабанская овчарка, для постороннего человека. Но потом стала думать: ты просто добрый, хороший, простодушный, ласковый, восторженный, любопытный, как рыжий козел. А вот теперь отгадала: ты такой, как Фонарев, у него ничего нет, ничего, ничего за душой, кроме того, чему служит по своей специальности. И он предлагал, если понадобится по деловым соображениям тебя на «Водоканале» насовсем удержать, то он может мне постоянную должность предложить.

— Какую?

— Я не спросила.

— Фонарева я уважаю, — уклончиво сказал Сорокин. — Он не из тех, кто любит социализм строить только в областном центре. Но при этом хитрый, как суслик. А вот

Кононыкин — сила, прошел через огонь и воду, но медные фанфары для себя не желает. Механики все его обожают. Из чего только не пробовали его фашисты убить на фронте! Видел, как он рубашку переодевал, — весь заживо кусками сшитый.

— Так за мной уже машину прислали, — напомнила Бернара. — Пора ехать.

— Я провожу до машины, — сухо сказал Сорокин.

И вот, когда Бернара уже взялась за дверцу машины, лицо Сорокина исказилось, он бросился к ней, рванул ее к себе, стиснул, губами сухими, жесткими вдавился в ее дрожащие, ослабевающие, мягкие. Задохнулись, обмерли.

Потом он ее, ослабевшую, на руках внес в кабину, почти положив, обессиленную, на сиденье. Вышел. Помедлил. Сказал хрипло:

— Извиняюсь!

И побрел к трактору, шаркая ногами по песку, понурый, опустошенный, с кроваво воспаленными глазами и с отвисшими от измождения нижними веками.

Как поток расплавленного стекла и меди был воздух пустыни.

Приоткрыв дверцу трактора, Сорокин натягивал стальной трос, пропущенный сквозь гроздь блоков, поднимая на торец накренившуюся стальную опору с поникшими проводами. Лицо Сорокина было надменно-сосредоточенным, отрешенным от всего.

Аварийная бригада, столпившись, благоговейно следила за тем, как опора повелительно становится на положенное ей основание бетонного фундамента.

Потрепанная песчаной бурей, теперь мягко усыпанная стеклянисто блистающими песками, пустыня залегла в неподвижности волнистых барханов. Смугло-телесная желтизна ее источала жар, как мерное дыхание самого солнца.

И тонкие, полупрозрачные листья на железно-жестких ветвях кустарника бессмертно зеленели цветом непереборимой жизненной силы и стойкости. Она была красива, эта пустыня, как море, и обширна, как море, своей необъятностью. И у нее был свой запах, чистый, еле уловимый, какой издает мрамор, нагретый утренним солнцем.

Вздывая тысячелетнюю пыль, катит по этой притихшей пустыне на мотороллере, одолженном линейными монтерами, Василий Сорокин, отощавший, с пятнистым до розовости лицом — следы солнечных ожогов, облезшей кожи.

На багажнике мотороллера сидит, подоткнув полы халата, старик чабан, которого Сорокин взялся попутно подвезти до отары, склонив седую густоволосую бороду к уху Сорокина, чабан говорит наставительно:

— Я старше Советской власти. Я пятнадцать лет без нее жил — мучился. А что ты в Советской власти понимаешь? Ничего ты не понимаешь. Ты падаль кушал? Нет! Тебя за бурдюк краденной из байского арыка воды над костром коптили? Не коптили! Ты всеми болезнями болел, какими в старое время мы болели? Не болел! Тебе песок во вспоротое брюхо басмачи не сыпали, а мне сыпали, за то, что я комсомол был.

Теперь ты думаешь: машина — все, овца — ничего! Ты в Самарканде был? Не был? Там музей есть. Со всего света приезжают шкурками с моих овец любоваться. Дороже золота каждая шкурка. Руно, как цветок засушенный, нет, как роза засушенная, каждый завиток — орнамент! Знаешь, что такое орнамент? Не знаешь! На камне такой рисунок могли только древние мастера вырезать. Всю свою жизнь на это тратили. А у меня он на каракульче получается! Потому что я каждую овцу понимаю лучше, чем ты машину сейчас понимаешь. Знаю все, когда овце что надо и когда не надо. У меня два глаза, но хватает, чтобы моих четыреста голов всегда всюду видеть, что кушают, как кушают, где ходят, как ходят, когда им отдохнуть, когда им не отдыхать. От всего этого смущка зависит, цвет, шелковистость, плотность завитка, красота рисунка завитка, как живая картина, лучше лучшего ковра.

— Я мехами не интересуюсь, — небрежно покосившись через плечо, заметил Сорокин. — И без них у вас тут жара.

— Я учу тебя, как надо с машиной обращаться! — обидчиво сказал чабан. — Шибко гонишь, не жалеешь... Машина железная, но ее тоже по-человечески понимать надо, как вот я овцу понимаю... Все они мои, а ни одной моей собственной нет. А ты машину не бережешь, значит, и овцу понять тебе ума не хватит, как на машину тебе сейчас ума не хватает.

— Я тороплюсь, папаша! Не бойся, не расколотимся! — ободрил старика Сорокин.

— Мне бояться нечего, — сурово сказал чабан. — Я уже сверх срока своей жизни живу. Но до Советской власти таких, как я, крепких стариков не водилось, поэтому еще жить желаю. — И потребовал: — Останови машину! Ногами пойду. — И в дополнение заявил гневно: — Воняет твоя машина, как вонючий козел воняет. — Произнес насмешли-

во: — Выхлоп из глушителя грязный, едкий оттого, что нет полного сгорания. Тебе только на велосипеде ездить.

Перекинув ногу через багажник, старик слез с мотоллера и легко, широким шагом пошел в пустыню, с птичьей штурманской зоркостью мгновенно сориентировавшись, в каком направлении находится его отара...

Так спустя почти две недели Василий Сорокин прибыл обратно в свою строительную мехколонну.

— Ну, как вы тут без меня ковырялись? — вызывающе осведомился Сорокин у Кононыкина.

— Ты обожди фигурять! — строго осадил его Кононыкин. — Знаем про твое геройство.

— А что?! Оказал помощь линейщикам своим тяглом. Только и всего, — развязно заявил Сорокин. Спросил: — Фонарев где? Имею справку и благодарность, а то он небось в прогульщики зачислил.

— Нет Фонарева, отбывает.

— Куда?

— Не куда, а где. Может, в тюрьме. Может, в исправительной трудовой колонии.

— За что?!

— Наезд совершил.

— Пьяный был!

— Я его дыхание не нюхал.

— Как же его угораздило?

— Как! Как! Сообщили из райцентра, Бернара в больнице, змеей укушенная, он — в легковушку и рванул на полном газу и там, на дороге, и совершил наезд. Вылез из разбитой машины и удрал от милиции прямо в больницу.

— Что значит — удрал? Если человек ранение при аварии получил, — обиделся за Фонарева Сорокин.

— Задело его не очень. Но он не из-за себя, из-за Бернары в больницу убег. — Отстраняя сильной рукой от себя Сорокина, Кононыкин предупредил: — Ты меня за спецовку не хватай! Уймись! А ну, шаг назад. Ну вот! Теперь порядок. Теперь вникай. Фонарев когда-то змеями тоже был укушенный. Но выжил, оттого выжил, что ему тоже от когда-то покусанного змеями кровь в вену вливали. Вот он и кинулся теперь собой Бернару выручать. А сам в аварию влип. Теперь надо его на поруки брать, потому что заслуживает снисхождения.

— А Бернара?

— Чего Бернара? Она никаких нарушений не допускала. Нам за нее хлопотать не о чем. Выздоровела.

— А где ее змея укусила?

— В какое место, не знаю, — сухо произнес Кононыкин, — но только шофера, который ее вез, заметил по шевелению в мешке, что там змеи, — испугался, потребовал, чтобы она мешок со змеями выкинула. Иначе, мол, не повезу: вдруг хоть одна вылезет. Понять человека можно! Ну, Бернаре деваться некуда. Вылезла из машины с мешком и стала выпускать из него змей на волю, одна из них, видать, рассердилась и цапнула.

Сорокин хрипло спросил:

— А шофер такой белобрысый, с челочкой, знаю! Все ясно! — И кинулся к мотороллеру.

Кононыкин схватил Сорокина за плечо, повернул к себе лицом, глядя пристально в почерневшие глаза Сорокина, осведомился:

— Может, тебе ножик дать! Рожа у тебя сейчас для ножа самая подходящая.

Наклонился над мотороллером, вырвал провода от зажигания.

— Ты зачем машину ломаешь?

— Исключил временно возможность ей пользоваться, пока не очухаешься, — сказал Кононыкин, выпрямился, потом усмехнулся. — А насчет цивилизации выяснил? За этим тебя посылали!

— Я же опоры высоковольтной восстанавливал, почти по всей линии мотался, — виновато произнес Сорокин. — Не успел. Да и не отпускали.

— Так, ясно! — вздохнул Кононыкин. — Тогда докладываю. Исторической ценности наши развалины не представляют! В них была база научной экспедиции по изучению пустыни. Народ культурный. Обустраиваясь, они и разукрасили свое жилье под старинный стиль для своего воодушевления. Штукатурку разрисовали по старинному образцу, горшки лепили, саманные, завезенные на верблюдах кирпичи куполом сложили. А мы на все это напоролись и, согласно закону об охране, чуть было график проходки не сорвали. Так что, Сорокин, не получился из тебя знаменитый открыватель, каким ты нам тогда сам себя рисовал.

— А вот если вы тут будете теперь насмешки строить, я в гляциологи подамся, — строптиво заявил Сорокин.

— Куда? Куда? А ну, повтори! — потребовал Кононыкин.

— В гляциологи, — сухо произнес Сорокин, — есть такая специальность, по горным ледникам лазить. Горы, по существу, фабрики рек: ледники тают, из них истоки рек. В ущельях плотины гидростанций ставят, ими регулируют

сток для поливов. А я на Севере работал, мне на ледниках низкие температуры подходят.

— Это от кого же ты нахватался? От электромонтеров? — иронически осведомился Кононыкин. И мрачно объявил: — Никуда ты от нас не денешься. И скажу прямо, почему. Я в милиции Фонарева проводывал, так он сказал, что Бернара велела тебе передать ее слова. Что, мол, все равно щитомордник ей самый симпатичный из всех гадин.

— Прямо так — гадина — и сказала? — уныло произнес Сорокин.

— Ну, может, как-нибудь и иначе. Но то, что она тебя здесь щитомордником называла, все помнят. А теперь давай всерьез. Я тут и. о. Фонарева. На днях он выйдет, как условный. Так чтобы к его приходу у нас все в ажуре было. Фонарев человек невыдержанный, привык на голос чуть чего брать. Так вот, я не желаю поводов иметь, чтобы он тут свою глотку на нас драл. Осмотри бульдозер, заправь и с ночи в забой. Ясно?! А мотороллер мы на полуторке вернем линейщикам, чтоб не думали, что ты его увел вроде как насовсем. И насчет древней цивилизации не беспокойся. Я с народом беседовал, разъяснил, за самолюбие тебя трогать не будут... Но свою цивилизацию мы обязаны здесь точно по плану и согласно графику в положенный срок обустроить и сдать...

Ночь была яркая. Самосветящееся небо кишело звездами. Разнокалиберные планеты гроздьями освещали землю.

Это о них некогда высказался пренебрежительно Сорокин:

— Интересно, что это за вселенная, если ей мощности не хватает с помощью радиотехники с нами связаться...

Сидя в кабине бульдозера, Сорокин ворочал на обе стороны песчаные сопки. На руках его, лежащих на рычаге управления, под ногтями черно засохла кровь от лопнувшей от усилий кожи, когда он вязал порванные тросы, поднимая на упоры стальные мачты электромагистралей. Сорокин считал: он только отдыхает после той тяжелой и трудной работы в горячих потемках песчаной бури, изнемогая в беспламенном огне жгучего зноя, задыхаясь в песчаной метели.

Сейчас Сорокин думал о Бернаре.

Он сказал ей вызывающе, когда она садилась в машину:

— Все равно ты теперь из моей памяти никуда не денешься, всегда будешь при мне, и что захочу, и как захочу буду о тебе думать. Поняла?

— А я буду смеяться над тобой, — сказала Бернара со

слезами на глазах. И мокрые ресницы были как черные лучи ее гневно сверкающих глаз. И добавила: — И я убью навсегда тебя в своей памяти.

— Не убьешь, — сказал Сорокин. — Я очень живучий. Все равно останусь в запоминающем устройстве твоего сознания как фактическое явление в твоей жизни. — И добавил: — И ты в моей тоже, конечно.

— Зачем ты так витиевато всегда со мной разговариваешь! — скорбно упрекнула Бернара.

— От трусости, — сказал Сорокин. — Чтобы по-другому, просто сказать, силы дыхания не хватает.

В бурой, шуршащей, движущейся тьме жгучий летучий песок осыпал их.

А сейчас пустыня лежала смирная, притихшая, кротко поблескивая кристаллическими песчинками, ровно и прозрачно освещенная небом. И Сорокину, разворачивавшему щитом бульдозера тысячелетиями слежавшиеся песчаные пласты в будущее русло канала, казалось, что само небо стекает в распадок, который он прокладывал своей машиной, и течет ему вслед прохладной, животворящей водой; а из насыпи, которую он воздвигал, с шорохом вылезают кусты и деревья, осыпая со своих листьев песок, как труху, и ему казалось, что он уже самозабвенно слышит журчание воды, запах зелени и свистящие вопли белокрылых чаек. И машина его послушно умирала, ворочала песчаные сопки, казалось, без усилия его рук и ног, а кем-то иным дистанционно управляемая.

На гребне насыпи стояли Кононыкин и рядом с ним Фонарев, похудевший, с опавшим брюхом, но, как всегда, сановитый. Они наблюдали за работой бульдозериста.

— Красиво работает! — сказал Кононыкин.

— Нормально, — нехотя сказал Фонарев.

— Тебя что? Помиловали? — осведомился Кононыкин. — Или по амнистии?

— Дали условно, — мрачно произнес Фонарев.

— Учли Бернару? — спросил Кононыкин.

— При чем здесь Бернара?! — яростно возмутился Фонарев. — Приняли во внимание все обстоятельства.

— Все? — ехидно осведомился Кононыкин. — Главное обстоятельство — она. Сдурел на старости. Мышами за ней стал ухаживать, кровь свою кинулся из себя жертвовать, в грузовик от сердечного волнения вмазался. Думаешь, я не понимаю, откуда в тебе такая прыть и резвость объявилась?!

— А что? Я человек еще живой, — с достоинством сказал Фонарев.

— Живой! Но не из той эпохи. Ты для них древность. Уважаемая, но древность.

— Считаешь, я уже совсем старый? — уныло спросил Фонарев. — И все во мне уже померло?

— Что ни к чему, то померло, а что при тебе, то при тебе и осталось, как у начальника мехколонны, — уклончиво сказал Кононыкин.

— Желчный ты человек! — вздохнул Фонарев. — О машинах ты мыслишь правильно, а о людях неправильно.

— А я только механик, — строптиво произнес Кононыкин. — Ты руководитель, тебе в людях разбираться по должности положено, не превышая, конечно, своих служебных обязанностей. — И, усмехнувшись, добавил: — Как вот с Бернаррой — превысил!

— Давай, давай щипай дальше за нервы, — удрученно сказал Фонарев.

Кононыкин помолчал, потом произнес задушевно:

— Думаешь, мне легко было переживать за тебя, как тебя в милицию за наезд забрали? Хорошо, что непокалеченного. На фронте уцелел, а тут вдруг в мирных условиях — покалечиться. Выходит, я бы тогда один остался. Это ты такое соображать про меня ведь должен!

— Ну, тогда закурим! — примирительно произнес Фонарев. — Как всегда, после бомбежки полезно бывало закурить для успокоения нервов. Теперь тоже этому содействует.

Оглядев сияющее небо, Кононыкин сообщил:

— Вот Сорокин считает: вселенная только количество, а человек ее качество. — не худо сказано!

— Да не им же, из транзистора, — ревниво произнес Фонарев.

Кононыкин насмешливо сощурился, пожевал губами, но, пересилив себя, смолчал.

Небо изливалось на них своим сильным светом, и оба они на гребне насыпи возвышались как изваяния. И не потому — изваяниями, что они достойны были стать такими изваяниями, а просто потому, что заметно выделялись сейчас на насыпи в обширной равнинной местности пустыни, где прокладывалась трасса оросительного канала, должного преобразить эту пустыню, и куда велед за водой прилетят наверняка и чайки.



Внезапно наступившая оттепель в Заполярье вызвала обильные мокрые снегопады.

Крупные, махровые, липучие снежные хлопья низвергались в безветрии отвесно, словно гигантские неиссякающие потоки рыхлой белой пены. Затем наступили дожди, перемешанные с крупным градом.

Все каменистое побережье обледенело и сомкнулось с береговым припаем в сплошное ледовое пространство. Там, где кончался припай, на воде лежали серые, тусклые, пухлые груды густого, влажного тумана, подобного отяжелевшим грозovým тучам.

Команда сухогруза, опасаясь подвижки ледяных полей, которые могли перекрыть выход из бухты, спешно, в течение двух суток, выгрузила занаряженные грузы на лед берегового припая. В этих авральных работах принимала участие транспортная бригада с материка, хотя ей назначено было только вывезти грузы.

И вот сухогруз, сверкая огнями, как небесное созвездие, отошел от ледовой стенки припая, мощно прорычал прощальными гудками и, растворившись в гуще тумана, исчез. Наступила тишина, словно в шахте.

Когда огромное, вытянутое многоэтажное стальное здание судна стояло в бухте, было ощущение, что сюда вторглась жизнь большого, благоустроенного города, и обледеневшая пустыня тундры воспринималась как его необитаемая окраина. С уходом судна ледяная пустыня заволоклась белесо-сизым непроглядным мраком.

Было зябко, сыро, серо, промозгло, сивая мгла зыбилась в воздухе. Береговой припай горбатился торосами, и под скорлупой его неслышно шевелилась студеная вода цвета базальта.

Земля материка, тоже в ледяном панцире, ничем не отличалась от прибрежной поверхности бухты, и от этого

возникало щемящее чувство одиночества, грозной силы пространства, необъятно распростертого, пустынного и мертво-беззвучного.

Двое суток без отдыха люди работали на выгрузке судна, наскоро растаскивая грузы по припая, чтобы равномерно распределить их тяжесть по его кровле. И сейчас изнуренные, отупевшие от усталости водители-механики понуро плелись к балкам, хмуро озираясь на груды грузов, которые им придется теперь со льда без помощи судовых кранов поднимать на свои машины. И щемящее ощущение покинутости в ледяной пустыне после ухода судна усугублялось мрачными размышлениями о том, как поднять эти грузы на машины и прицепы, когда для этого нет приспособлений, а грузы должны быть убраны с припая без промедления.

Старшим здесь был Егор Ефимович Ползунков, как он себя шутливо рекомендовал — сухопутный моряк. В годы войны Ползунков служил в пехоте, командовал артиллерийским расчетом, затем в Находке работал докером, достиг звания стивидора и вдруг бросил порт, прельстившись размахом строительных работ на Дальнем Севере.

Низкорослый, но широкий в плечах, в толстом водолазном свитере и коротком черном флотском бушлате, в брезентовых шароварах, заправленных в унты, и вязаной шапочке, с подвешенными на тесемках, болтающимися по бокам варежками, Ползунков сразу производил впечатление человека крепкого, выносливого, дерзко приспособленного ко всяким невзгодам и трудностям избранной им должности — начальника транспортной мехколонны. Глаза у него коричневые, с прищуром, в углах белые морщинки, голос сиплый, надорванный, но зычный, скуластое, бурое от полярного загара лицо обильно покрыто плотной рыжеватой растительностью, как он объяснял, для тепла.

О себе Ползунков говорил так:

— Сам я туляк. В школе не доучился, как фашист к городу подошел, где уж тут заниматься — некогда. Я на батарею ходил, интересовался, как воюют. Не прогоняли. Подшибли подносчика. Я снаряды подтаскивать. Так на батарею и втерся. Оформили. Порядок на батарее строгий, как в цехе на заводе, у каждого своя квалификация. Все прошел. Назначили на пост — орудийным расчетом командовать. Бой есть бой, все их не помнишь, а вот как пупки на маршах по пересеченной местности и еще на переправах надрывали — это нечеловеческую выносливость и силу надо было иметь. Кони не выдерживали,

падали, дохли. А нам не положено, мы люди. На себе орудия вытаскивали. На огневую позицию выйти бывало гораздо труднее, чем с нее по фашистам огонь вести.

В бою легче, в бою порядок. Действуй по уставу и выполняй команду старшего, каждому в расчете своя функция положена. А на марше все в кучу, кто на что способен, орудие, которое в грунт по колесную ступицу вязнет, вытаскивай, волокни на себе, продвигайся в темне.

Наша батарея на чем наспециализировалась — из орудий по их танкам прямой наводкой бить. Когда с длинной дистанции по ним огонь ведешь, большой перерасход снарядов получается. С короткой — экономней и надежней. Нашу батарею за что уважали? За то, что с малой затратой снарядов много их техники расколачивали. Орудийный снаряд больших денег стоит, соображать надо, как безубыточно их тратить.

После того, как в Берлине их дошибли, — на Дальний Восток с приподнятым настроением. И прямо с ходу снарядами закидали самураев. Снарядов здесь не жалели, куда их девать после войны? Ну, они «хенде хох», — как это японски, выучить не успел. Быстро все кончили.

Домой обратно ехать далеко и долго, родни дома не осталось. На какое-то время на море перекинулся, в рыболовную флотилию. Мясопродуктов не хватало, рыба пужна была. Но я к земле привык, на ней все прочнее, основательней. Конечно, и на море под ногами не вода, палуба, но кругом-то сплошная жидкость колыхается.

Подался на Север. Понравилось. Места обширные, а людей мало. Значит, каждый человек человеку рад, если он, конечно, подходящий. И мерка простая — если не временный, можешь полагаться. Все равно как фронтовик на стреляного фронтовика. Обвык. А климат, он что? Он очень удобный, чтобы о человеке судить, пригодный он или не пригодный — не к климату, конечно, но вообще... может ли он соображать не столько о том, что и как тут сейчас, а что потом здесь будет. Такие и есть надежные, не по комплекции, конечно, а по заряду своей души. Они-то и есть самые стойкие, выносливые и, значит, веселые. Унылые тут не удерживаются. Это точно.

Ползунков был холост. Объяснял уклончиво, с усмешкой:

— Я человек занятой, а женщины сами по себе ко мне инициативы не проявляют, а первому приставать гордость не позволяет.

Но при всем этом Ползунков отличался заразной

живостью характера, общительностью, неутомимым любопытством к людям. Утверждал:

— К себе я привык аж до того, что когда один, сам с собой, скучаю, себя знаю как облупленного. А что ни новый человек, то каждый для тебя новость самая интересная.

В свое время он робко и ненастойчиво ухаживал за молоденькой работницей с рыбозавода. Но она вышла замуж за тралмейстера, толково и убедительно объяснив Ползункову свое решение тем, что заработок тралмейстера превышает его заработок втрое: любовь — это состояние временное, а семейная жизнь требует надежной, солидной обеспеченности. На что Ползунков сказал невозмутимо: правильное решение приняла. Хотя ты по виду русалка и даже рыбой всегда пахнешь, но ум у тебя вполне земной, а земле навоз требуется для полного, роскошного процветания.

Новичков обычно Ползунков расспрашивал так:

— Сюда один за длинным рублем, другие за романтической. А ты за чем?

— Работать.

— Тут у нас одни только медведи безработные, и те от скуки поседели. Чего умеешь?

— На тракториста сдал.

— А в высшем почему не выучился? Стипендия, что ли, была неудовлетворительная? Или ума не хватило баллов набрать?

— Вам только с дипломом требуются?..

— Не нам, а тебе, для дальнейшего прохождения жизни. Простуды не боишься?

— Я не из зябких.

— Тогда правильно. У нас здесь на морозе не протухнешь, климат для здоровья полезный, любые бактерии на холоду дохнут.

— Знаю, не Африка.

— Зима еще только в пуху. Бывает, жмет крепко. А ты в лыжном костюме. Трактор свой видел, опробовал? Сила! Самопёр у нас называется. Машина надежная, с отоплением — забота о водителе. Нам бы такие да на фронте!

— Воевали?

— А кто не воевал — все. И все мы, кто уцелел, считай, дважды рожденные. Первое рождение в паспорте записано. Второе — одно для всех: год одна тысяча девятьсот сорок пятый. Я лично в артиллерии служил. Стану у орудия и команду: «Огонь!» Вернулся совсем не изувеченным.

— Значит, повезло!

— Война такое дело — пот напополам с кровью. Научила всему выучиться.

— А чего вы меня допрашиваете?

— Я только спрашиваю, чего ты сам про себя думаешь. Я к людям доверчивый. Был у меня в бригаде Сергей Мымрин, срок он отбыл за то, что проявил пережитки капитализма. К нам явился. Желает, говорит, отмыться. Ну что ж, говорю, отмывайся — зачислил. Способный парень и песни петь, и на гитаре играть, а к труду способностей нет — филонит. Ну, я ему и объясняю — вот в чем ты, выходит, жулик, а вовсе не в том, что ты когда-то там спер. Уклоняться от дела, когда все работают, то же самое воровство, только без официального нарушения уголовного кодекса. Ну, и вынес ему свой собственный приговор по договоренности с бригадой. Уволить не уволили, а работу не давали. Все вкалывают, а ему занятие придумали — со стороны только глядеть.

— Ну что, и перевоспитали?

— Его — нет. Но на коллектив такая ему мера наказания хорошее впечатление произвела. Учили. Чем больше человека уважаешь, тем ему работа тяжелей, ответственней доверяется.

— А куда этот Мымрин потом девался?

— В райцентр. Парикмахером. По этой линии у него особый дар обнаружился. К нему всегда очередь, даже по предварительной записи. Но кто из экспедиции прибывает в райцентр, тех он стрижет по бывшему знакомству вне очереди из уважения. Выходит, кое-что, а дошло, — пояснил Ползунков, добродушно улыбаясь. — Весны и осени в Заполярье, по существу, нет. Так, дунуло-плюнуло — и все. Лето куцее. Но вот зима — это даже не сезон, не время года, а в общем и целом климат. Так ты все-таки почему к нам приехал?

— По путевке!

— Ясно, — одобрил Ползунков. — На разговор, я вижу, ты парень тяжелый, — тряхнул головой, — значит, на работу должен быть легкий. Наше дело простое. Грузооборот обеспечивать — пока в одну сторону, поскольку предприятия еще нет, но оно будет. Обеспечивать продвижение груза на дистанции. Длина ее бывает всякая, но морока на ней всегда великая. Местность сильно пересеченная. Грузы тяжеловесные. И не стандартные. Волокут сюда оборудование по всем трем сферам: по земле, по воздуху, по воде — со всех сторон.

Местность, на которой точка для предприятия выбрана, в наличии все имеет: болота, сопки, валуны, вечную мерзлоту, за миллион лет не подтаявшую. Наше занятие здесь — коммуникацию обслуживать при любой погоде, которая такие наворотит препятствия, что приходится иногда, как на фронте, пробиваться. За такое потом можно даже и монументик соорудить.

Вот однажды эпопея получилась с котлом. Поставили его на полозья из двутавровых балок, запрягли в тягло шесть тракторов. Не тянут. А тут пурга клокочет, видимости никакой, со всех сторон продувает. Собрались мы у зажженной запаски погреться, подумать. Рассказываю я ребятам для подъема веселости духа про нашего одного слесаря-механика, женатого тут на поварихе. Про то, какой он хитроумный. Если жена вечером уходит, он ее сначала чеснок есть заставляет, не для витаминов, а для гарантии, на всякий случай, как Отелло все равно. Слушают серьезно. Понимаю, выдохлись, изнемогли, не до нормального смеха. Морозец небольшой — градусов двадцать пять, но при ветре все равно как из брандспойта насквозь проникает. Но я бригадир, мне вождить надо. Время терять нельзя, балки-полозья в грунт вмерзают, их взрывчаткой с места потом не сдвинешь. А подъем почему одолеть не можем — тракторы гусеницами всю шкуру с грунта соскребли до вечного льда, на нем и буксуем. Ну, я и прикинул. Отпряг тракторы, они поодиночке на вершину сопки долезли, затем трос удлинил, запасные все счалил. Снова тракторы в одну упряжку сценил, и как по склону вниз они понерли, так одной, можно сказать, своей тяжестью котел на подъем вздернули.

Это я к чему информирую. В трудную минуту можно организм обогреть и у горячей запаски, но чтобы мозги на морозе работали, веселость помогает.

Я почему разговорчивый. Бывает, людей рядом нет, а в коробке передач, допустим, шестеренка полетела. Надо на холоду все голыми руками разобрать и снова собрать, а металл, он льда холоднее, рук своих не чувствую, так вот я даже могу со своими руками разговаривать для бодрости. Хуже нет, когда человек один, от людей соображение возникает. А говоришь, и получается, хоть ты один, а, выходит, не один. Хоть металл предмет неодушевленный, но все равно воодушевляешься, говоришь шестеренке: какой же сукин сын тебя обрабатывал, если в тебе оказалась трещина?.. Ну, думаешь про этого сукина сына, который неведомого ему человека подвел. На него сердишься, а злость, она тоже полезной бывает, чтобы не скинуть, когда ты один

в тундре и в машине смазка застывает, намертво ее как бы бетонирует. Человек должен при всех случаях жизни активно на все реагировать.

Вот помню, на фронте тоже был случай, кидали фашисты в нас перед своей атакой с воздуха бомбы. Одна, двухсотпятидесятикилограммовая, прямо возле нас свалилась, и ничего — не то у ней взрыватель испорчен, не то замедленного действия. Приказал свое орудие несколько назад откатить. Пошли в атаку фашисты, мы свои снаряды по ним израсходовали. А тут на огневую их танк вылез, нас запросто давить. Так я дал команду не по танку гранаты противотанковые бросать, а по их бомбе неразорвавшейся. Ну, и садануло танк. Даже нас самих малость контузило. Вот что значит соображение не терять, даже когда соображать перед смертью совсем некогда.

Обо всем этом Ползунков говорил с наслаждением от удовольствия, что его слушают.

Хитро сощурился, сообщал:

— Если без ума человека выругать, обидится. Вот, к примеру, обзови его просто — дурак. Все, оскорбление личности. А скажи — дурак выдающийся, — задумается. Даже спросит, почему выдающийся. Угону закурить, не второпях объясняю. Горячиться, выходить из себя от допущенной другим глупости никогда не следует. Один раз выйдешь, потом не взойдешь в себя обратно, всегда будешь горячиться — значит, сам допускаешь себя на дурость.

Доброта — это вовсе не уступчивость. Доброта в том, чтобы в каждом человеке самого себя в чем-то видеть, люди хоть и все разные, но по существу, по переживаниям одинаковые. Что тебе в радость, то и другому; что тебе в обиду, то и другому. На такое и ориентируйся, на каждого как на себя смотри. Тут у нас был один, который сменял все свои духовные ценности на материальные. Словом, рвач. Если наряд выгодный, берет, невыгодный — отказывается. Его машину нагружают, сидит в кабине сутулый, ждет, мерзнет, а подсобить людям не желает, если не будет дополнительной оплаты за погрузку. Так мы что придумали: как получка, с каждого из бригады по гривеннику соберем и ему в шапке подносим, — мол, собрали тебе на твою бедность. Слова до него не доходили. Слушает как все равно глухонемой. Так мы его этим спектаклем воспитывали. Вот такими нашими гривенниками мы его и отучали от жадности к длинному рублю.

Заработки у нас, конечно, здесь высокие, но низким

путем их не добудешь. Тут мы сейчас в балке на нарах, как в пещере, живем. А на этом самом месте вскорости будет завод и город при нем. И, может, наш балок на постамент в городе водрузят, как танки водружали в городах в честь тех, кто их отстоял. А мы в самом изначале города работаем, большую нам честь оказали быть тут на пустом месте первыми...

Нулевой цикл — это, конечно, не первый день сотворения мира. Там все на самотеке было. Без утверждения сроков и плана. А для нас они закон неукоснительный. Природа здесь в своих недрах такие богатства вечными льдами запаяла, что, если их наружу извлечь, запустить полностью в производство, получится на этих самых необжитых и неудобных местах если не главный центр мировой цивилизации, то, во всяком случае, все для того, чтобы его мощностями обеспечивать, энергетическими ресурсами и многим прочим на длинные времена на соответствующем уровне. Сама природа тут умная, строгая, очень свирепо сторожит свои ценности. Для кого, спрашивается, сторожит? Для нас, для Советской власти. Пока достигнет таких возможностей, чтобы все тут аккуратно к рукам прибрать. Как мы против беспощадной эксплуатации трудового человека, то же самое и природа. Пользуйся ею с уважением, тогда — пожалуйста.

И мы пришли не как временные, а на работу, на прочное жительство. На обустройство со всеми удобствами, какие положены теперь каждому культурному населенному пункту. Сегодня здесь только база, завтра — поселок, послезавтра — районный центр, затем — это еще мы посмотрим — может, и областной центр с разветвленными дорожными коммуникациями, с твердым покрытием до точек добычи.

Дохода от тутошней промышленности страна будет получать, может, не менее в объеме, как все равно от какой-нибудь союзной республики. Вот это и есть наш размах, масштабы, дела, ясное намерение, коротко сказать, перспектива, уже задействованная.

А что касается нашей бригады, то у нас задача простая, как все равно у разведбата: прорваться за передний край, укрепиться на указанном рубеже. А попросту говоря, проехаться через несколько высоких широт и на указанной точке оборудовать с возможными удобствами теплую обитель для строителей.

Может, там буровые вышки будут ставить. Может, котлован под завод рыть или ствол для шахты, либо карьер

копать для добычи открытым способом. Все надо и все может быть.

Наша задача, повторяю, создать только первоудобства тем, кто первым прибудет по своему капитальному делу, чтобы они время свое рабочее на сооружение времянок не тратили! Все! Вопросы есть?

Так обычно Ползунков излагал перед новоприбывшими общую обстановку и конкретную задачу. Но при всей его благодушной и витиеватой манере высказываться коричневые зоркие глаза его с белыми морщинами в углах строго, пристально, бесцеремонно и не очень-то доверчиво следили за выражением лиц присутствующих, вызвавшихся работать под его началом. Возможно, многие из них были привлечены только увлекательным именованием — десант?..

Вообще-то Ползунков про себя, мысленно, рассуждал так:

«Человек умным или глупым не рождается. Храбрым или трусом, жадным или великодушным, добрым или злым, сообразительным или хитрым — тем или другим он по обстоятельствам жизни становится. Это правильно. Но на обстоятельства тоже все сваливать нечего. С какими людьми он поведется, от таких и наберется. Эта формулировка точная, хотя считается только ходячей поговоркой. Человек при помощи людей выстраивается. Плохих у нас становится все меньше, а хороших больше, — значит, на их стороне сила.

Ребята здесь собрались разные. Но одинаковых людей не бывает. Главное что? Человек к человеку в работе прилагивается. И чем она тяжелее, тем скорее становится очевидно, какой он на самом деле по всем своим параметрам. На собеседовании не выяснишь, какая у кого натура. А вот на маршруте сразу его душевная и сознательная личность обнаруживается. Маршрут всегда тяжелый. Кое-кого, может, и придется на вертолете обратно вернуть.

А про героизм и всякие трудности вещать — вроде как аванс выдавать или приписки за незаработанное.

Север есть Север, работа есть работа — в данном климате вполне обычная, нормальная, веди себя только правильно, по правилам коллектива. А без соблюдения правил и улицу поперек переходить жизнеопасно».

Все эти мысли Ползунков высказывал в разное время, в разной обстановке. Но никогда он при этом не утрачивал ни хорошего настроения, ни уверенности в том, что непреодолимое преодолеть можно.

То, что сейчас стоял долгий, негаснущий полярный день и солнце, дойдя до горизонта, беззакатно совершало обратный свой путь, в густом тумане, в бесконечном снегопаде, смешанном с дождем и градом, было скрыто от людей сырой непроглядной пеленой, и в ней они выглядели как тени.

В мокрой вате тумана голоса доносились глухо, словно из подземелья. Но Ползунков знал: ничего приятного для себя он и не мог услышать. Он проникательно понимал: все недовольны его решением принять грузы на лед.

Основной заработок транспортной колонны исчислялся из тонно-километров. То есть чем больше вес доставленных грузов и километраж пути, тем больше получка. Команда судна должна была выгрузить грузы с судна на машины, а они — доставить в несколько ездов на объект, на что требовалось не меньше недели. Но судно не могло задерживаться в бухте больше двух суток.

Решающее слово было за Ползунковым. Он получатель. И Ползунков принял на себя ответственность, хотя мог ее и не принимать.

Тогда с судна на машины успели бы погрузить только часть грузов, а остальное отгрузили бы в ближайшем порту.

Часть грузов?! Значит, некомплект. А кому нужно на стройке некомплектное оборудование? Никому не нужно: мертвый металл.

Ближайший порт за сотни километров. И еще под вопросом, позволит ли ледовая обстановка выгрузить там, если нет, тогда потянут дальше, за тысячу километров. Помножим их на рубли, получится колоссальная сумма. А на Севере время не просто деньги, а поступь страны, шагающей через высокие параллели по вечной мерзлоте буровыми вышками, опорными мачтами электромагистралей, несущими колоннами новостроек...

Конечно, Егор Ефимович не занимал министерской должности. Но здесь, в обледеневшей тундре, он принял решение, которое, пожалуй, должно и можно было принять и министру. Если б министру доложили об обстоятельствах, в которых оказались судно и приемщики грузов. На то и министр, чтобы мыслить, исходя из общегосударственных интересов.

Егор Ефимович принял свое решение, исходя из государственных интересов, и, в отличие от министра, должен был сам выполнить это решение, противоречащее материальным интересам его бригады и его собственным, выполнить самолично и воодушевить людей на его исполнение,

не имея еще ясного представления, как удастся со льда поднять тяжелые грузы на платформы и прицепы машин. Но убрать их с припая надо без промедления, ибо ледяная крыша, на которой грузы стоят, ненадежна. Это вам не портовые причалы, не инженерное надежное сооружение, а всего только продукт низких температур, находящийся в зависимости от всяких погодных условий, которые на Севере меняются по прихоти циклонов и антициклонов с внезапной и ошеломляющей быстротой.

Возможно, Егор Ефимович Ползунков и превысил свои полномочия, чего не позволяют себе делать министры. Во всяком случае, не посовествовавшись с «верхом».

Но в данной обстановке Ползункову не с кем и некогда было советоваться. Был у него здесь только один авторитетный советчик — его жизненный опыт. И он ему помог.

Ползунков ходил, озабоченный, по береговому припаю, скорбно размышляя, дать или не дать согласие принять грузы на лед и что ему будет от начальства в случае чего. И вид у него при этом был такой, словно одновременно у него болели как верхняя челюсть, так и нижняя. Он страдальчески ежился, вздыхал. И уже определенным местом ощущал под собой жесткую скамью подсудимых. И как бы слышал грозное предложение судьи — сказать свое последнее слово. И мучительно искал, что может заявить в последнем слове в свое оправдание, но, кроме общих фраз о заботе о государственных интересах, ничего придумать конкретно в свое оправдание не мог. Факты были против него... Так и произойдет, если ему не удастся совершить погрузку. Ведь наступила оттепель, и лед под тяжестью грузов может начать рассекаться трещинами, и тогда грузы поплывут из бухты на льдинах, как на плотках, в море или просто провалятся на дно бухты. Вот ведь какими ужасами терзал свое воображение Ползунков.

И, может, оттого, что человеку в трагические минуты приходят воспоминания о еще более трагических минутах жизни, видя унылое ледяное пространство, вдыхая пресный студеной запах льда, Ползунков вдруг вспомнил то, что пережил на фронте, находясь на самой короткой дистанции между жизнью и смертью. Как он полз, прижимаясь ко льду реки, с привязанным к ноге концом веревки, и по нему, одинокому, фашисты били поспешно и экономно из ротного миномета, и осколки льда и стали шуршали рядом с ним. Промокнув, он застывал на ветру, обмундирование на нем обледенело, но он полз и полз по льду. Когда он с головой рухнул в полынью почти у самого берега, его

выволокли из полыньи и протащили метров двадцать, словно утопленника, а потом он поднялся и пошел уже в рост, волоча веревку, привязанную к ноге, в лохмотьях обмундирования, и когда он шел, с него осыпались ледяные обломки, и он уже не ощущал себя, а шел беспамятно, словно раненый из последних сил в атаку.

Было это в начале зимы сорок первого года. Река, которую они обороняли, покрылась ненадежным ледяным покровом, и стал вопрос, как получить боепитание с левобережья.

И тогда батарейцы, которыми командовал Ползунков, придумали. Пригнали к береговому урезу артиллерийский гусеничный тягач, подняли его домкратами на бревенчатую платформу так, что гусеницы тягача свободно повисли, не соприкасаясь с землей, вкопали впереди тягача связку бревен для упора. С длинной веревкой, к другому концу которой был привязан трос, Егор Ефимович Ползунков дополз до противоположного берега, там трос за веревку вытянули, конец закрепили за передки саней-розвальней, загрузили сани снарядами. В это время другой конец троса на правом берегу намотали на гусеницу тягача, как на барабан лебедки, включили скорости на тягаче, трос стал наматываться за гусеницу, и сани со снарядами поволоклись на правый берег.

Конечно, фашисты скоро обнаружили это транспортное средство и стали бить по нему из орудий и даже вызвали авиацию. Но батарейцы прятались в укрытие, и если несли потери, то не в живой силе, а когда сани с боеприпасом уходили под разбитый лед. Тогда они в другом месте налаживали этот самодельный агрегат для транспортировки боепитания. И затем из стволов орудий их батареи снаряды летели на врага.

И вот, осененный этим видением, Ползунков уже бодрой поступью подошел к встревоженному первому помощнику капитана сухогруза. И объявил покровительственно и снисходительно:

— Ладно, валите, выгружайтесь на лед. — И добавил иронически: — Видать, вам тоже исчисляется оплата с тонно-километра. Поэтому и предлагаете наши грузы вам оставить, чтобы вы их до самой Чукотки доволокли. Не выйдет.

И хотя люди Ползункова знали, во что им обойдется такое решение бригадира, они не могли не одобрить того, с каким достоинством принял решение их начальник.

— Во! Подает себя, — заметил бульдозерист Фенькин в импортном, на меху, комбинезоне, который он надевал

только для внешних сношений, обычно же ходил в лоснящейся мазутом стеганке, из прорех которой торчала вата. И за это заслужил прозвище «Барон», на которое откликался без всякой обиды, зная, что в кабине его бульдозера в целлофановом мешке висит на крючке этот великолепный комбинезон со множеством «молний» и карманов, расположенных даже под коленями, а один, обширный, — на спине.

Отоспавшись после двух суток аврального труда, собрались на ужин в вагончике.

Этот вагончик на полозьях Ползунков величал каюткомпанией. Здесь были кухня, столовая, стоял телевизор, размещались рация и даже душ в загородке величиной с будку телефона-автомата. Двухэтажные откидные полки использовались как спальные места.

Сам Ползунков по соображениям демократии обитал в балке, по существу, в ящике с двойными дощатыми стенами, внутри которых проложена теплоизоляция из шлаковаты. Внутри балка стояла цилиндрическая чугунная печь, отапливаемая брикетами, пропитанными мазутом. По стенам нары, с низкого потолка свисает лампа «летучая мышь». По обеим сторонам под потолком натянута толстая проволока с крюками для одежды. Вокруг печи большой железный обруч, на него вывешивают сушить портянки, меховые и шерстяные чулки. В балке имелось два окна с двойными рамами. Туалет и умывальник отсутствовали. В помещении только брились и чистили зубы. Что касается всего остального, то, как утверждал Ползунков, для закалки организма полезнее на лоне природы — освежает.

Вагончиком Ползунков очень гордился. Когда, набившись в вагончик, смотрели по телевизору передачу из космоса, Ползунков восклицал самодовольно:

— И у нас здесь все то же самое вполне. Аккуратно и тоже культурно.

Прием пицци в вагончике обставлялся обычно торжественно.

У торца стола восседал Ползунков, умытый, расчесанный, в свежевystиранном полосатом рябчике, и с гирляндой лука на шее. Он самолично разливал по мискам из большой кастрюли первое блюдо, затем со снайперской точностью делил каждому второе по порциям. Что касается лука, то с него начинался ритуал обеда, ужина и даже завтрака. Каждому Ползунков отрывал из гирлянды по луковичке и властно произносил:

— Витамины! — Пояснял: — Действуют уничтожающе против простуды и всех болезней.

Пока все, обливаясь слезами, не съедали по луковице, Ползунков не приступал к раздаче пищи.

Обязанности поварихи исполняла Алена Ивановна, вдова стропальщика Фомичева, погибшего от удара лопнувшего троса. Утром Алене Ивановне можно было дать не больше тридцати, а к вечеру — за пятьдесят. Это все оттого, что она взяла на себя заботу о личном составе бригады — стирать, чинить их рабочее снаряжение, прибирать спальные места. И успевала за ночь высушить и выгладить все, что брала в стирку. На конфузливые протесты отвечала сурово:

— Я женщина брезгливая, не желаю, чтобы вы тут завшивели. Мой всегда уж до чего на работе азартный, а содержала я его чистенько, как младенчика, — и при этом подносила концы платка к глазам, небесно-голубым и кукольно выпуклым.

Егор Ефимович Ползунков весьма неохотно дал согласие включить в свою бригаду женский персонал в лице Алены Ивановны. Но не мог отказать, зная, как героически погиб Фомичев, зачаливая тросами башенный кран, сорванный с тормозов внезапно разразившейся снежной бурей.

И каждый раз Ползунков мрачно и негодующе наблюдал: как только появлялась у стола с кастрюлей в руках Алена Ивановна, взоры всех членов его бригады внимательно, изучающе устремлялись на Алену Ивановну, а не на кастрюлю, которую она держала.

И когда Алена Ивановна удалялась, зарозовев, Ползунков говорил:

— На боевой корабль обычно женщин не допускают. Почему, спрашивается? Вовсе не потому, что это дурная примета, а потому, что расслабляет внимание к службе. Они существа сухопутные. Значит, что? Для моряка тогда корабль не дом, а временное помещение. На домашнюю, на суше, жизнь женщина его заманивает — вот что от них получается.

Но, сам того не замечая, Ползунков произносил такие слова столь восторженно, что сидящие за столом осторожно ухмылялись и лицемерно-ехидно соглашались:

— Это точно, производительность труда у холостого выше, чем у семейного. Холостой о чем думает? Только как план перевыполнить, все силы на это, а женатый обременен — должен супруге угодить.

— А ну, отставить, — багровея, прерывал подобные высказывания Егор Ефимович и, грозно постучав ложкой, требовал: — Хлебайте и жуйте молча. Продукты, которые вам отпущены, должны нашими организмами полностью усваиваться. При большом сгорании на работе еда не только удовольствие, а серьезное, полезное дело.

И тогда из-за занавески раздавался приятный грудной голос Алены Ивановны:

— Вы это напрасно, Егор Ефимович, так рассуждаете. За столом да чтобы без беседы — аппетита не будет. Тогда это не еда, а тоже работа.

Ползунков конфузился и лепетал для всех неожиданно:

— Я это из уважения к вашей стряпне в таком роде высказывался, чтобы кушали и прочувствовали.

И тогда, откинув занавеску, высывалась Алена Ивановна и, сияя улыбкой, говорила Ползункову:

— Спасибо, Егор Ефимович, очень вами тронута. Я ведь от всей души готовлю. Чтобы вам всем, всем угодить и своей готовкой людям нравиться.

И лицо Алены Ивановны, разгоряченное возле печи, сияло такой победоносной, лукавой, обольстительной женственностью, что Ползунков вынужден был отрывать от гирлянды лука еще одну головку и с омерзением жевать ее, морщась и вытирая тыльной стороной ладони увлажнившиеся слезами глаза.

Сравнивая свою нынешнюю жизнь с минувшей, фронтовой, Егор Ефимович Ползунков испытывал щемящую зависть к тому, что мощной всевозможной техникой теперь запросто распоряжаются обыкновенные гражданские люди. Могучие трехосные грузовые многосильные, всюду проходящие машины, тракторы, равные по своей тягловой силе танкам, вездеходы, подобные бронетранспортерам. И все это дано не ради свершения великого священного подвига, как это было в годы войны, а для самого обычного и хорошо оплачиваемого труда.

Но, мысля по-военному, Ползунков соображал так: где происходит сосредоточение огромных масс техники, там и главное направление атакующего массированного удара — на прорыв. Значит, здесь, в северных широтах, что обозначено? Скопление сил на прорыв. Куда? В очень хорошее будущее этого огромного пространства планеты. На великую пользу всей страны.

Поэтому Ползунков, будучи преисполнен таким сознанием, впадал неизменно в торжественный тон, рассуждая

о задачах, которые поставлены перед его транспортной бригадой.

— На фронте мы без вагончиков и балков и коммунальных услуг обходились, — сообщал Ползунков высокомерно. — В окопах и траншеях обживались, — словом, в земле жили. И воевали без выходных и при всякой погоде, когда надо, круглосуточно, и вполне нормальным считали, что противник воздействует на нас из всех своих стволов разнокалиберными убийными средствами, с соответствующими для нас последствиями.

Но свою боевую технику — орудия и тягачи к ним — оберегали пуще своих жизней. В земле солдату спасение, чем глубже зароешься, тем тебе надежней. Но у нас такой порядок: сначала капониры для орудий и тягачей отрыть, и только после этого себе щели копаем. Артиллерист как мыслит? Вся сила его в орудии. Это вам не из винтовки пулять, не из автомата брызгать. Снаряд при попадании такое наворотит, что целой роте пехоты невмочь. Наш прицельный огонь для пехоты прикрытие, огнем и путь ей проламываем, сокрушаем оборонительные сооружения. Так мы свои орудия обожали, словно они высшие существа, от которых мы все зависимые. У нас пушка имелась — с шестнадцатью звездами, столько танков из нее разбили. Ей срок вышел, положенный по числу посланных из нее снарядов, забрали эту пушку от нас в ремонт. А мы словно комбата потеряли, такое самочувствие у всех унылое, любили эту пушку за всю ее на нас службу. — Потупившись, Ползунков пояснил: — Я это к чему вспоминаю. Машиномощностей у нашей транспортной бригады, пожалуй, больше, чем у артиллерийского дивизиона во время войны было. А артдивизион крупного калибра силой считался. Знамя свое имел, и именование по сражениям ему присваивалось. После войны мы с гордостью писали полное именование артдивизиона, в котором служили, себе в характеристику. Вот мне и желательно, чтобы вы свою нынешнюю технику тоже уважали, хоть и не по-бойцовски, но хотя бы вроде службы мирного фронта. Ведь говорят же про нас строители, что мы им фронт работ обеспечиваем своевременной доставкой грузов. Фронт! Очень значительное это слово. Ко многому человеческую сознательность обязывает.

Фенькин, отличный механик с надменными карими глазами, прервав Ползункова, вызывающе осведомился:

— По-вашему выходит, с меня теперь причитается за то, что на войне не был, теперь, как оглашенному, нужно вкалывать?

— Зачем? Я не к такому пониманию вовсе высказался, — с достоинством произнес Ползунков. — Ни воевать, ни работать так, как ты налегке, неумно выразился, не в нашем это обычае. Как на фронте, так и теперь на работе человеку что светит — то, чего сейчас еще нет, но что будет. Нам, фронтовикам, фашистский рейхстаг со знаменем нашей победы стал рубежом, а вам, свежему поколению, которое здесь, на высоких широтах, работает, тут полный разворот — преобразование большого куска планеты в огромную промышленную страну, можно сказать, в новое государство со всеми удобствами жизни. Вот за это я и считаю тебя фронтовиком строительства. Только мы освобождали от фашистов разные государства, а ты здесь строишь свое государство на пустом месте. Если такое до тебя доходит, пружинка рабочая в тебе будет туго закручена. И отдача от тебя будет соответствовать делу.

Но как бы авторитетно, убедительно и душевно ни рассуждал Ползунков, водители транспортной колонны уважали его не за эту риторику, а за его личное рабочее усердие, которое он проявлял при любых работах, будь то ремонт машины, погрузка, разгрузка. Он всегда вел головную машину и сам отправлялся на разведку новой трассы. И если какая-нибудь машина в пути выходила из строя, Ползунков, облекшись в доху, оставался в одиночестве сторожить ее, пока не придет ремонтная летучка. Утверждал, что побыть одному даже полезно для всяких мыслей про свою собственную жизнь, более чем наполовину уже прожитую.

То, что Алена Ивановна каждый раз как бы светилась, завидя Ползункова, он относил к ее чувствительности и благодарности за то, что он дал согласие зачислить Алену Ивановну в свою колонну, но не более.

Труд водителя в Заполярье тяжелый, нервный, вести машину по зимнику — все равно как в штормовую погоду выходить моряку в море, кротким, смирным и слабосильным не по духу. Так что народ в его колонне был дерзкий, самолюбивый, строптивый, самоуверенный, дефицитный по своим специальностям, командовать им было очень не просто.

Но вот если обстановка на маршруте складывалась особенно трудной, обычно благодушный к людям Ползунков обретал такую железную властность и так повелительно отдавал приказания, что не нужно было обладать особым воображением, чтобы представить себе, как он вел себя в бою на огневой позиции, и что бойцы побаивались его так же,

как теперь водители. Лицо у Ползункова в эти моменты приобретало неподвижность каменного изваяния, взгляд становился нелюдимым, слова он произносил отрывисто и, будто не узнавая своих водителей, обращался к ним строго и отчужденно, на «вы».

И даже самые задиристые, такие, как Феликс Фенькин, покорялись безропотно всевластной воле, исходящей от Ползункова, становившегося как бы на голову выше оттого, что он ходил вдоль машин строевым шагом и, отдавая приказание, принимал стойку «смирно», держа руки по швам, и весь вытягивался.

Но когда потом Егору Ефимовичу водители рассказывали, как он их по-фронтовому приструнивал, Ползунков недоверчиво улыбался и говорил извиняющимся тоном:

— Да ну! Это почему же по-генеральски? Генералы к рядовым всегда у нас вежливыми были. И на огневой я людей уважал и на них не раздражался, чтобы на «вы» обзывать. Да и вообще на гражданской службе командовать не положено. Указывать надо, это точно. А еще лучше — советовать. Вот я, выходит, и советовал. А между командой и советом разница. Команда — исполняй безоговорочно. А когда старший советует, можно и от себя чего-нибудь сообразить по ходу дела. — И добавлял: — Но, конечно, без промедления соображать надо. А если не получается с собственным соображением, без команды не обойтись и на гражданке тоже.

На сей раз ужин в вагончике проходил в мрачном молчании. Водители молчали, потому что не хотели выдавать своего беспокойства о том, как удастся поднять грузы со льда на машины. Они считали решение Ползункова — принять грузы на лед — правильным для стройки, но неправильным для колонны: она не только потеряет на этом в зарплатке, но водители вынуждены заниматься не положенным им делом, за двое суток они измаялись на разгрузке, а погрузка со льда потребует большего и неимоверно тяжелого труда.

Ползунков молчал, охваченный размышлениями, как удастся ему здесь применить фронтовой метод его батарейцев. Одно дело — волочить по льду на тросе сани с боеприпасом, другое — поднять грузы на машины. Для этого нужна эстакада. А из чего ее соорудить? Может, приспособить для этого бревенчатые полозья балков? Но будут ли они устойчивы и какой будет крутизна склона? Чем больше крутизна, тем больше усилия на тросы, выдержат ли?

Нужны бревна и на мертвяк, чтобы упор был для трактора. А где их взять?

Среди присутствующих только один Феликс Фенькин, видимо, чувствовал себя не обремененным общими заботами, так как вызываясь вдруг объявил Ползункову:

— Завтра я себе беру отгул на хоккей. Наши с чехами.

— Ты что, ненормальный? — спросил Ползунков.

— Болею за своих, — сказал Фенькин, — становлюсь невменяемым.

— А если движок выключим?

— Без телевизора транзистором обойдусь, со слов Озерова и своим воображением. Подумаешь, прижали!

— Так это будет чистый прогул!

Фенькин пожал плечами: считайте как хотите, но тут я скала.

— Ладно, — вдруг согласился Ползунков, — подвесь транзистор себе на шею и валяй с ним на погрузку.

— Это то есть как? — удивился Фенькин. — С транзистором на шее работать?

— Именно с транзистором, — сказал Ползунков. — Комплексно: и хоккей будешь слушать, и грузы грузить.

— Ловко придумали! — обидчиво заявил Фенькин.

— Голова есть — соображаю, — сказал Ползунков.

— Вы бы ее лучше использовали на то, чтобы подумать, как грузы грузить, — зло заявил Фенькин. — На одном самодельном паре их не сдвинуть.

— Сдвинем, — мрачно произнес Ползунков. — Уж как-нибудь.

Егор Ефимович не ожидал такого грубого выпада со стороны Фенькина. Он чувствовал симпатию к этому парню.

Фамилию Фенькин Феликс обрел на фронте, где его подобрал солдат, одичавшего, полуживого, с непелица сожженной фашистами деревни. И отравили в банно-прачечный отряд, где работали в большинстве женщины. Там старшина Феня Сорокина выходила его. А потом, когда Сорокина погибла во время палета авиации, мальчика направили в детдом, где на вопрос, как его фамилия, он ответил: «Я Фенькин». Так он стал Фенькиным. По окончании школы он работал в лесхозе, выучился на дизелиста. Затем по комсомольской путевке уехал на Север.

Сухой, плечистый, жилистый, плоский, отличавшийся необычайной силой и, главное, выносливостью, Феликс Фенькин быстро обрел здесь известность одного из лучших

механиков-водителей самой разнообразной техники. Ему предлагали должность замначальника автобазы, начальника авторемонтных мастерских, но он отказывался. На трудных новых маршрутах ему было работать интересней, увлекательней, каждый такой маршрут был путем в неизведанное по неизведанному.

На поселковой базе строителей он выделялся тем, что ходил в стужу в элегантном коротком плаще на суконной подкладке, в фетровой шляпе и туфлях-мокасинах. На танцплощадке он никого никогда не приглашал, приглашали его. Танцевал он умело, самое современное. Но, проводив партнершу на место, лишь молча кланялся. И, если девушка снова робко приглашала его, произносил высокомерно:

— Но мы с вами — ужé,— и глядел на нее с выражением скуки.

Он сам не думал, что так и не заживет в его памяти образ усыновившей его Фени Сорокиной. Ей было тогда всего лет семнадцать — восемнадцать. Он помнил ее мягкие, опухшие в стирке, с воспаленной кожей руки, ее ко всем жалость. Когда получали из санбата окровавленное, изодранное осколками, пробитое пулями белье, она рыдала над ним, словно те, кто в нем был,— ее близкие, родные.

Стирка производилась в самых разнообразных помещениях. Женщины стояли у баков и корыт в лифчиках, в мужских, обрезанных по колено кальсонах. Работали иногда круглосуточно.

От Фени всегда пахло мылом и потом, когда она подходила к нему, спящему, по этому милому ему запаху он узнавал, что пришла Феня и он уже не один на свете, а с ним Феня-мама.

Она говорила, расчесывая его волосы своим гребнем:

— Расколотим фашистов, сядем с тобой на поезд и найдем твою маму и батьку, и я тебя им сдам исправненького.

Мальчик видел, как спихивали в колодезь трупы сельчан и с ними его отца и мать. Но чтобы не расстраивать Феню-маму, он мужественно говорил:

— И тогда ты с нами навсегда жить будешь, я тебя никуда не пущу.

Феня вздыхала и произносила шепотом:

— Я, знаешь, если б не ты тут у меня, в снайперы напросилась бы. У меня глаз верный. Давали мне винтовку, так я с сосны шишки сшибала, а они малюсенькие. Говорят — талант. А у меня вовсе не талант, а злость! Я ведь тоже одна осталась. Отец на фронте погиб, мать и сестру

в Германию угнали. И за тебя у меня на них тоже ненависть ужасная.

— А ты бы поговорила с начальником, чтобы меня в сыны полка зачислили, — просил Феликс.

— До сына полка ты еще возрастом не вышел, вот через год-два.

— Так войны тогда не будет.

— Будет, еще будет, — шептала Феня. — И карабинчик тебе тогда выхлопочу, и в портняжной обмундирование. Только если ты сыном полка будешь, как же тогда я? За весь полк замуж не выходят, — улыбалась Феня. — Тогда я тебе уже не Феня-мама, а так, тетя.

Феликс прижимался к ее груди и, вдыхая запах мыла и пота, говорил жалобно:

— Тогда не хочу. Хочу, чтобы ты всегда была Феней-мамой, и, когда я вырасту, я тебе все куплю настоящее женское вместо твоего солдатского.

— Ладно, — соглашалась Феня. — Желаете, чтобы я красивой была, — буду. Но тогда меня мужики сватать начнут.

— Нет, отчима нам не надо, — решил Феликс. — Мы кого-нибудь найдем, чтобы вольнонаемно при тебе жил.

— На такое я не согласна, — серьезно заявляла Феня. — Уж лучше в старых девах ходить.

— Ты никогда старой не будешь, — протестовал мальчик. — Ты всегда такая будешь, как ты есть, навсегда.

После того как «юнкеры» обрушили бомбы на банно-прачечный отряд и взрывами разметало ригу, где разместились прачечная, Феликс нашел Феню возле смятого, пробитого осколками бака. Она лежала, мокрая, ошпаренная, в красной луже, и из разинутой раны на животе вздувалось что-то гладкое, фиолетово-сизое. Она с усилием накрыла рукой рану, чтобы мальчик не видел. Потом пошевелила синими губами и сказала, теряя на этих словах сознание:

— Пошел, пошел отсюда, не смотри на меня такую!..

Вот и все, больше не стало его Фени-мамы.

Единственная странность, которая осталась у Фенькина с тех пор, — он не умел смеяться. И никогда не смеялся, и не потому, что его жесткое, худое, с туго натянутой кожей лицо не было приспособлено для улыбки. Характер его вовсе не был нелюдимым. Просто не умел — и все.

Может, не хотел? Все может быть. Но только лицо у него было словно протезное. Поэтому и казалось надменным, строптивым, самоуверенным. Хотя, конечно, эти качества в какой-то мере и были присущи Фенькину.

Но все уважали его. Он не жалел себя в деле, в работе. До изнеможения отбрасывал снег, прокладывая в его толще многометровые, широкие траншеи, чтобы прошла машина. Мог снять в стужу верхнюю одежду и бросить под скаты, если машина буксовала. И главное — под скаты не своей машины, а товарища.

Появление Алены Ивановны в транспортной колонне произвело на Фенькина впечатление. Он, брезгливый к кухне, стал появляться там, оказывая помощь Алене Ивановне в мытье посуды, в растопке печки, приносил издали стерильно белый снег, чтобы растопить его в баке на воду.

Сначала он не отдавал отчета, чем притягивает его к себе Алена Ивановна. Не первой молодости, пухлая, но с округлым добрым лицом, с голубыми глазами несколько навывкате и приятным грудным голосом, она вполне могла вызывать к себе мужское внимание, но нечто иное, еще невнятное для себя, испытывал к ней Феликс Фенькин.

Может, оттого, что от нее, как от Фени Сорокиной, пахло всегда мылом и потом и она была жалостлива ко всем. И, пережив горе потери мужа, беспокоилась о каждом, чтобы с кем-нибудь чего-нибудь не случилось. Испытав свое несчастье, теперь она пугалась за других. И когда Феликс помогал ей на кухне, она упрекала его за то, что он ходит налегке, когда погода промозглая. Осмотрев внимательно его шкиперскую бороду, сердито заметила:

— Зачем шерстью оброс? У тебя лицо правильное, приятное, некорявое. — И, дотронувшись до его растительности, потребовала: — Остригись!

— Для вас готов и голову наголо обрить, — машинально произнес Фенькин, считая, что иначе с женщинами разговаривать нельзя.

— Зачем голову? Простудишься. А лицо твое я полностью видеть хотела бы. На приятное всегда смотреть приятно.

И Фенькин сбрил бороду.

Алена Ивановна, словно не доверяя глазам, провела ладонью по его щекам и объявила:

— Совсем другой человек стал. Как все равно посторонний. Я привыкла при тебе не стесняться, а теперь даже стесняюсь, — и стала поспешно застегивать пуговички на кофте.

Эта чисто женская защита ошеломила Феликса Фенькина, и он понял, что н е ч т о и н о е, что тянуло его к Алене Ивановне, уступило совсем новому в нем чувству.

И теперь он уже ревниво наблюдал, как Алена Ивановна вся светилась, когда появлялся Егор Ефимович Ползунков, стал часто дерзить Ползункову и едко над ним насмешничать.

Как, например, сейчас с хоккеем. Ползунков не знал, что матч хоккейный нашей команды с чешской уже состоялся. А если б и знал, то сказал бы рассеянно: «Наши с нашими. Кто ни проиграет, за тех и обидно. Вот когда с капиталистическими, тут я сам переживаю, как все равно... — И, подумав, добавил бы словами Фенькина: — Как все равно невменяемый».

После разговора о хоккее и столкновения с Ползунковым Фенькин направился на кухню и стал говорить Алене Ивановне о своем чувстве к ней.

— Ты что? — возмутилась Алена Ивановна. — Я старая, а ты насколько моложе... А ты ко мне со словами лезешь. Очухайся. Разве можно. Что значит я хорошая? Добрая? Доброта моя вовсе не к этому. Я, конечно, не снежная баба. А самая обыкновенная, живая. Ну, думаю, скучает от неуютной жизни. Ходит на кухню. Может, обучается, как будущей своей жене помогать по домашнему делу. А ты вот куда закидываешься. Нехорошо это, неправильно. Я, конечно, ласковая к людям. И к тебе тоже, но без всякой мысли.

— Значит, Ползунков вам лучше меня?

— При чем здесь Егор Ефимович? Он запущенный холостяк. Какой из него муж? Его же переучивать во всем надо и, возможно, не переучить.

— Так вы же мне нравитесь, — уныло настаивал Фенькин. — Вы вся такая хорошая.

— Ты вот что, Феликс, — строго сказала Алена Ивановна, — пойми меня правильно. Может, ты мне иногда и снился. Но просыналась я в стыде за себя. Видишь, какая я правдивая. Говорю, и самой совестно, что такое тебе говорю. А раз такое сказала, значит, решилась сказать. И после этого, если ты меня сколько-нибудь уважаешь, забудь, что я сказала. Никому такое не говорила, а тебе сказала: да, снился, потому что я женщина. Но мы люди. И по-людски надо себя понимать по всей правде. Есть любовь, которая просто так. А есть для всей жизни. Раз промахнешься, два промахнешься, и получится из человека сирота на всю жизнь, нечем ему ее радостно помнить. А любовь — это радость. Понял? Радость. А вовсе не удовольствие. Радость служить другому человеку, быть ему верным и считать — он тебе самый главный в жизни. По-

скользнуться, конечно, легко на чувстве. Да после не выпрямишься, будешь потом перед собой виноватый. А я гордая. И из гордости так тебе говорю прямо в глаза. Не надо, не приходи на кухню больше. Ты же тоже гордый — не приходи.

И Феликс ушел понурый, как бы униженный такими скорбно-сочувственными к нему словами. И вместе с тем взволнованный признанием Алены Ивановны, что он ей снился и просыпалась она от этого в стыде. Как же, выходит, он ей снился? Но это было признание Алены Ивановны не в слабости, а в силе ее — в таком признаться. И это еще больше всего удручало Фенькина.

Вот в какой сложный переплет попал Феликс Фенькин, не подозревая о том, что память, существующая в нем, действует помимо его воли на чувства самым прихотливым образом.

Замечал ли Егор Ефимович Ползунков добровольное тяготение Феликса Фенькина к труду на кухне? Да, замечал. И по взволнованным лицам Алены Ивановны и Феликса догадывался, что там они заняты не только мытьем посуды, и, слыша их приглушенный разговор, тоже волновался.

То, что Алена Ивановна вся словно светилась при Егоре Ефимовиче, он сам, конечно, видел, как и все; и, надо прямо сказать, испытывал от этого приятное чувство. Неопределенное, но приятное, вызывающее всякие мысли, что в жизни все возможно. А вдруг... И наполнялся мечтами о несбыточном, но что могло и сбыться. И, зная покойного супруга Алены Ивановны и очень уважая его и ценя как лучшего стропальщика, высокого мастера своего дела, он полагал, что и супруга такого человека должна обладать многими достоинствами, которые были присущи ее мужу. Именно с такой женщиной он мог обрести полное счастье, которого был лишен и которое найти давно не надеялся. Смеющиеся глаза Алены Ивановны, на него устремленные, все-таки вселяли такую надежду.

И, может быть, ободренный ее взглядами, воспаленный новой перспективой своей жизни, Ползунков так самоуверенно в своих силах и соображении и дал согласие на выгрузку грузов на лед, не сообщив водителям, какие мыслишки пришли ему в голову, а именно: втянуть грузы на машины, используя трактор по-фронтальному, как лебедку.

К вечеру, а может, к утру, — ведь долгий полярный день красит утро и вечер в один цвет, в светло-серенький, когда на горизонте лежит тучное прохладное солнце, тускло-красное, как морской буй, и потом, не исчезнув, оно медленно всплывает, круглосуточно обслуживая Заполярье, — словом, после ужина погода стала меняться. Задул протяжный, жесткий, студеный норд, он высушил небо и землю, заледенив ее в твердый, как камень, ледяной панцирь. Блистали торосы, как пучки прозрачных гигантских кристаллов хрусталя. Сверкали обледеневшие прибрежные скалы, словно глыбы полированной стали.

А о кромку берегового припая с силой бились, вздуваясь грядами сизых сопок, волны, их сочные, могучие удары вышвыривали сугробы пены, и водяная пыль клубилась над ледяной кромкой, словно дым горячей торфяной толщины. А дальше мористей колыхался складчатый самосветящийся занавес северного сияния.

Он то ширился, то извивался, скручиваясь в бесшумные световые смерчи, то опадал струями света. Он жил своей странной жизнью в небесном пространстве, как исполинское существо, исходящее из своего прозрачного, как у медузы, тела потоки света, и световые плавучие движения его были грациозны — это был свет во плоти света, и он жил в океане неба над окаменевшим льдами теменем планеты Земля, украшая ее своей гигантской короной света за то, что она во всех окрестностях солнечной системы является, может, единственным достижением вселенной, самым высшим ее достижением, ибо на ней люди. Самые удивительные и всесильные существа из всех творений вселенной.

Феликс Фенькин бродил вдалеке от вагончика, удрученно потупившись, не глядя на световые ливни северного сияния, не замечая красоты его, не думая о том, что является источником его величественного излучения. Он был весь во власти кроткой, ласковой, взволнованной откровенности женщины, которая и сблизила его с ней и оттолкнула, возможно, навсегда. Где-то в подсознании своем он чувствовал, что тянуло его к ней не только мужское, а и тоскливая нежная память о маме Фене, наполнявшая все его существо пожизненной привязанностью к неизбывной человеческой доброте, отданной ему мамой Феней бездумно, но полностью, как самому родному ей существу. И чем больше приходило к нему это сознание, тем сильнее жгло его негодующее чувство, что он посмел к другой женщине ощутить в себе то, что он испытывал в себе, возвращаясь памятью к маме Фене. Словно пытаюсь найти ей замену

в иной совсем женщине, но чем-то схожей с ней своей добротой, отзывчивостью, заботой о другом, превышающей заботу о самой себе.

Лицо Феликса Фенькина было мрачно, угрюмо, он терзался, словно совершил подлость перед самым священным и светлым в его жизни, пытаясь утолить женщиной свое щемящее сиротство после утраты Фени только потому, что она чем-то смутно напоминала ему Феню.

Увидев заплаканное, с припухшими веками лицо Алены Ивановны, выражавшее смятение, скорбь, смущение, Ползунков, тоже смутясь, произнес:

— Жизнь, она, знаете ли, нестрая, полосатая, не в линейку... — вздохнув, поискал шапку и вышел наружу налегке без полушубка.

Северное сияние, изливавшее себя в небо потоками трепещущего живого света, не произвело на него никакого впечатления, как и ледяные острокопечные здания утесов, кристаллы торосов, источающие алмазное сверкание. Глухие взрывные удары волны об урез берегового припая, вот что сейчас беспокоило его. И он пошел на лед, не ощущая от охватившего его беспокойства леденящие хлесткие потоки жесткого порда. Но здесь он наткнулся на Феликса Фенькина, сидевшего на обледеневшем валуне в позе изваяния мыслителя. Как это изображено на всемирно известной скульптуре из мрамора. Феликс курил и сплевывал, потому что табак не утолял его горести, а только своей горечью растравлял гортань, небо.

Ползунков остановился, спросил:

— Любуешься? — и кивнул на северное сияние, подернувшееся ему к слову, поскольку сейчас он вовсе не был расположен встречаться с Фенькиным и беседовать с ним.

— Ничего — светит, — сказал Фенькин и, оглядев неприветливую физиономию Ползункова, произнес вызывающе:

— Вы, Егор Ефимович, на меня глазами не коситесь. Я сейчас все равно как в свои ворота шайбу загнал. Винаватый. — Смял окурок в кулаке и объяснил: — Так что считайте меня для вас отсутствующим.

— Это что, филонить будешь? — возмутился Ползунков.

— Я про другое вас информирую, а про что, сами знаете. Делаю себе отставку. Ясно?

— А меня, что ты там на кухне делаешь, не интересует, — сердито буркнул Ползунков, ежась при этом от стыда, оттого, что Фенькин будто делает ему снисхождение, вроде

как высокомерно уступает, из жалости, что ли, и добавил сухо:

— Чего твой организм по твоей молодости требует, мне разгадывать ни к чему, можешь не докладывать. Тут я тебе не советчик и ей тоже. Значит, такой разговор со мной отставить. — Вздернул нижней челюстью, поправил на голове шапку и строевым шагом пошел на лед, не оглядываясь.

Испытывал при этом и обиду, что с ним так позволил себе говорить Фенькин, и досаду на самого себя, что смутился и даже струсил такого разговора, словно испугавшись того, что было в нем самом по отношению к Алене Ивановне, и сейчас с болью погасло, погасло чадно, нехорошо, потому что у него не хватило ни ума, ни воли с достоинством, откровенно, правдиво сказать Фенькину, в каком он сам смутном, трудном для себя состоянии находился и как нехорошо его волновало пребывание на кухне Фенькина наедине с Аленой Ивановной, по отношению к которой у Ползуноква теплилась своя слабая, но светлая надежда.

Феликс Фенькин еще некоторое время посидел на обледеневшем валуне, потом, волоча ноги, побрел к машинам, чтобы завести двигатель на бульдозере, чтобы за ночь, которая была вовсе не ночью, а долгим полярным днем, в двигателе намертво не застыла смазка.

Конечно, его оскорбила отчужденность к нему Егора Ефимовича, с которым он вначале захотел объясниться начистоту и даже, может быть, — ведь он очень почитал Ползуноква как человека — сказать всю правду, почему и как его потянуло к Алене Ивановне, чтобы вроде очиститься в такой откровенности. Ведь Ползунокв — фронтовик и, наверное, встречал на фронте осиротевших ребят, подобных Фенькину, которых солдаты подбирали и выхаживали, давали им приют и неохотно потом с ними расставались, будто с собственными родными детьми, попавшими в беду. Он мог понять чувства Фенькина, его неиссякающую тоску о Фене, одновременно ставшей ему матерью и как бы высшим существом, воплотившим в себе всю бескорыстную добрую, нежную женственность, теплую тень которой он и почувствовал в Алене Ивановне. Но не получилось, и не надо. И может, так лучше, был один и буду один, решил, ожесточаясь к себе, Феликс Фенькин.

Егор Ефимович Ползунокв шел по береговому припаю согбенно навстречу сильному ветру. В пути он подобрал жердь, чтобы промерить у кромки толщу льда, подмытого за время оттепели теплой водой реки, впадавшей в бухту.

Кроме того, надо было убедиться, что тяжелый накат волны не расшатал береговой припай, не надломил его где-либо трещинами.

Подойдя к самому урезу, Ползунков проверил толщину льда шестом, и его обдало пеной и водяной пылью. Он двинулся вдоль неровного щербатого края и вдруг остушился и, теряя из рук шест, рухнул в воду.

Береговой припай возвышался над водой почти метровым порогом, и Ползункова било об этот порог волнами. Пытаясь ухватиться за лед, он кровенил руки в снежной, липкой каше, но волны стаскивали его.

Он все-таки нашел в себе силы продвигаться вдоль ледового уреза, надеясь обнаружить место, где толща льда меньше, чтоб выбраться там на него. Приподнятый волной, он увидел узкий клиновидный глубокий надлом и влез в него, опираясь на стены локтями. Но что это давало ему? Только оттяжку от верной гибели, телесную муку, когда он заклинил себя в лед и стал вмерзать в него.

Но без сопротивления поддаться гибели Ползунков не хотел, он инстинктивно боролся за свою жизнь, отстаивая ее в мучениях, отдавая себе отчет, что это, пожалуй, вовсе не инстинкт, а то, что жило в нем прочно с войны, не для того четыре года смотрел он в глаза смерти, чтобы запросто принять ее покорно от собственной своей оплошности, оттого, что, занятый промеркой льда и думая в это время совсем об ином — досадуя, что оказался слабаком перед Фенькиным и, вместо того чтобы мужественно поговорить с ним по-человечески, трусливо-обидчиво уклонился от такого правдивого разговора, — он утратил внимательность и остушился со льда, как все равно корова, высаженная с судна на материк.

Заклинившись в ледяную расселину, Егор Ефимович застывал, испытывая все муки медленной смерти, но не желая принять иной, более легкой, все-таки он фронтовик, и найдут его, как фронтовика, вмерзшего в лед и выдержавшего такую казнь, но не утопленника, что он считал для себя недостойным, стыдным.

Колыхалось в небесном пространстве светоносное северное сияние, исполненное своей мощной светоносной жизни. Оно шевелилось, собиралось в складки, зыбилось, совершало плавучие движения, сжималось в сгустки света и вдруг распространялось во всю ширь сверкающим белым пожаром. Оно жило, оно светило.

А человек умирал, вмерзая в ледяную расселину.

Скалы торчали, как гигантские надолбы, и торосы были

подобны противотанковым ежам, сооруженным из остроко-
нечных кристаллов.

От взрывных ударов волн о кромку уреза над припаем
роилась, смерзаясь в снежинки, водяная пыль. Гул этих
волн был подобен отдаленному орудийному.

Но картины боя не возникали в меркнувшем сознании
Ползуноква, он просто вмерзал в лед, и, понимая, что смер-
тельно вмерзает в лед, он понимал еще, что добился этого
в мучительной борьбе, чтобы не утонуть, а вмерзнуть,
чтобы уцелеть во льду мертвым, но непобежденным.

Вот, значит, какие властительные над собой существа
обитают на планете Земля, коронованной светоносным
сиянием, которое они считают только явлением природы,
а вовсе не чем-то исключительным, предназначенным све-
тить человечеству в честь человека.

На случай пурги по указанию Ползуноква машины
поставили в выкопанных бульдозером в снежной толще
капонирах.

Феликс Фенькин прогрел и оставил работать на малых
оборотах свой бульдозер и то же самое проделал с мощным
гусеничным трактором — не в угоду его водителю, а по
соображениям, которые у него уже давно возникли.

В лесхозе ему доводилось работать на трелевочной
лебедке — волочить пакеты хлыстов на крутые прибреж-
ные увалы, откуда самоходом сваливали их к берегу реки
для сплава. И если лебедка выходила из строя, вместо нее
использовали гусеничный трактор, подняв его на бревенча-
тый настил, так что гусеницы провисали и на них можно
было наматывать трос, как на барабан лебедки.

Но чтобы втащить грузы на машины, пужна была
эстакада. Фенькин решил нагрести ее бульдозером, упрес-
совать и для прочности вдавить в нее бревна полозьев, на
которых стояли балки. Конечно, он хотел обрадовать Пол-
зуноква взлелеянной им мыслишкой. Именно так он
и собирался небрежно сказать Ползункову — мол, взлеле-
ял кое-какую мыслишку, и получить затем от него вос-
торженную похвалу. Но поскольку между ним и Ползунок-
вым возникло враждебное отчуждение, Фенькин не захотел
информировать Егора Ефимовича о возникшей у него идее
и, чтобы не терять времени, решил самолично приступить
к сооружению горки для подъема на нее грузов до уровня
платформ машин. И, забравшись в кабину бульдозера,
выехал на припай, чтобы нагрести и утоптать подъемную
снежную горку.

Зная, что на припай ушел Ползунков и там он его увидит и, увидев, наверняка спросит: «В чем дело, зачем вывел трактор?» — Фенькин размышлял: сказать, зачем, — получится, он вроде этим ищет к себе симпатию, прощение у Ползункова. Не сказать, ответить нахально, — мол, машину прокатываю? Но почему не по суше, а по льду? Выходит, из дурусти? Тоже нехорошо. Можно ответить половинчато — большегрузные контейнеры решил с места сдвинуть, чтобы сильно не примерзли. Тоже инициатива, но про главную мысль промолчать. Чтобы потом при всех в вагончике, когда Егор Ефимович начнет летучку и никто ничего путного не предложит, как ловчее поднять грузы на машины, так, будто между прочим, глядя не на Ползункова, а в окошко, заявить небрежно: мол, так и так, чего проще. Даже смешно, что сам начальник додуматься за нас не мог.

Но, выехав на береговой припай, Феликс Фенькин не увидел Егора Ефимовича, ледяное пространство было пусто. И только о кромку припая мрачно и шумно колотились волны.

Фенькин забеспокоился, затосковал вдруг от своих самолюбивых раздраженных ухищрений, направленных на то, чтобы только подать себя и ущемить этим авторитет Ползункова. Когда Ползунков, как и сам Фенькин, сейчас не в себе от тягостных переживаний. Егор Ефимович ведь больше одинок, чем он, Фенькин, ему самому еще, может, что и подвернется в жизни, а Егор Ефимович в личной жизни все равно как контуженый после первой своей неудачи и в удачу не верит. И он вспомнил, как Егор Ефимович говорил задушевно, что считает себя дважды рожденным, как все люди, которые воевали и остались живы после войны. И поэтому работать он должен за двоих. И действительно, Ползунков никогда не знал для себя покоя, спокойствия и, не щадя себя, брался всегда сам менять скаты, делать ремонт на стуже, в бурю, выкапывать путь машинам в сугробах — в этом он всегда был первым и самым главным.

И томящая пустота, бесчеловечность ледяного покрова, освещаемого сполохами северного сияния, гигантскими всплесками света, вызвала у Фенькина ощущение, что его раздраженность, обида против Егора Ефимовича, в сущности хорошего, человеческого человека, мизерны, и не стало для него сейчас сильнее желания, как только увидеть Егора Ефимовича на этом обесчеловеченном пространстве, где властвовали только льды и трепещущие сполохи северного

сияния, изливающего свой космический свет цвета льда на лед.

Став на подножку бульдозера, Фенькин оглядывал кромку льда и увидел лежащую на нем у самого уреза обледеневшую жердь. И бросился к этой жерди, еще не сознавая того, какое ужаснувшее его подозрение вызвала эта обледеневшая жердь, лежащая у кромки льда, о которую колотились волны буграми асфальтового цвета.

Фенькин нашел Ползункова, вмерзшего в ледяную расщелину. И приволок его, обледеневшего, тяжелого, как глыба, к вагончику, и сам мокрый, обледеневший, обессиленный, повалившись возле вагончика, не сразу нашел в себе силы, чтобы подняться, но поднялся, и вошел в вагончик, и там снова упал гулко на пол, своим падением разбудив спящих на полках людей. Проведя глазами в смерзшихся ресницах, он просипел:

— Его затаскивайте, он снаружи лежит...

И люди в исподнем выскочили наружу и втащили в вагончик тяжелого в глыбе ледяного чехла Ползункова. Алена Ивановна металась полураздетая, и никто не замечал, что она полураздетая, и Ползункова раздевали, вернее, выламывали его из обледеневшей одежды. И оттирали его спиртом, а Алена Ивановна разожгла колонку, чтобы кипятить воду.

Все были заняты только Ползунковым. Фенькин же, забравшийся на нары и в ознобе стучавший зубами, натянув на себя все, что под руками, был словно забыт в суматохе, может, потому, что в нем оставалось больше жизни, чем в Егоре Ефимовиче.

Очнулся Фенькин оттого, что его волокли на кухню, здесь раздели его догола, посадили в корыто с горячей водой и накрыли с головой брезентом, шубами. Затем Алена Ивановна вытирала его насухо, и при этом кто-то поил его из алюминиевой кружки спиртом, и потом, надев на него его собственный комбинезон на меху, уложили на полку, завалив сверху полушубками.

Наверное, тем же самым процедурам был подвергнут и Ползунков. Но, лежа в меховом комбинезоне под шубами в хмелю, Фенькин переживал это купание в корыте, прикосновение к себе рук Алены Ивановны, как то, что он испытывал в полевом прачечном отряде, когда Феня-мама купала его в тазу и при этом шептала упоенно и ласково: «Вот мы больше не вшивенькие, не грязненькие, а чистенькие, хорошенькие», — и, вынув полукруглый гребень из своих волос, бережно расчесывала свалевшиеся в болезнен-

ный колтун густые его патлы. И вокруг задумчиво стояли солдаты и вольнонаемные женщины из полевого прачечного отряда и грустно-завистливо смотрели на Феню Сорокину, как она отмывает парнишку-сироту, и думали при этом, верно, о своих ребятах.

И он вспоминал, как женщины из банно-прачечного отряда после стирки белья из санбатов, рассматривая в нем прорехи, скорбно делились своими невеселыми мыслями: «Ведь это надо! Столько дырок, значит, столько в человека железа вонзилось, свинца! Раз из санбата, значит, он еще живой туда доставлен. Может, и дрался полуживым, а по нему все били и били?» И машинально вытирали свои слезы этим бельем.

И он словно слышал тоскующий голос Фени-мамы, когда она говорила, держа перед собой такую солдатскую исподнюю рубаху: «Ведь кто-то же ее из солдат после на себя наденет, чтобы снова воевать в ней. А ведь сохрани ее, покажи после всей войны людям, на нее как на святыню глазеть будут, а для службы снабжения она только «БУ». Бывшее в употреблении, годное для новой носки. И если такой солдат выживет после госпиталя, он снова воевать будет, и снова по нему бить будут, и пока он живой, он со своей стороны будет стараться побольше их уничтожить. Одно помня — отомстить нужно фашистам. За все-все наше горе, беды, за всю кровь, нами пролитую. — Помедлив, она ожесточенно произнесла: — Вот пленных фашистов нам пригнали дров напилить, наколоть и воды натаскать. Все смиренные, покорные, вежливые, готовы стараться. А как мы зашумели? Вон! Рожи их видеть не желаем! Так и просидели они тут тихо на бревнах, пока мы сами кололи, пилили. Но к труду их не допустили. Пусть смотрят, как мы их презираем, пусть видят, как мы их даже за людей не считаем! — И добавила гордо: — За все человечество я, конечно, не ручаюсь. Но для нас, советских, вот такая рваная солдатская исподняя рубаха — самая главная реликвия на все времена жизни и на все ее случаи, когда надобно людям выше самих себя стать ради людей».

Через некоторое время Феликс Фенькин выбрался из-под груды шуб и стал снаряжаться молча и тщательно.

— Ты что? — спросили его. — По нужде?

— Не по своей, — хмуро ответил Фенькин. И вышел наружу.

Обеспокоенные водители тоже оделись и вышли вслед за ним.

Фенькин оглядел повелительно водителей, спросил:

— А вы что, тоже, как я и Егор Ефимович, моржевали, в бухте искупались для здоровья и теперь за это, считаете, вам отдых?

— Ну и подает себя! Ну и подает! — восхищенно оценили люди вызывающий вид Фенькина. — Парень лихой, брови до ушей, кровь горячая.

Но кое-кто усомнился:

— Может, захворал? Температуру бы смерил!

— Температура у меня нормальная, — сказал Фенькин.

И, потопав с силой ногами в унтах, словно испытывая на прочность планету, заявил:

— Давайте-ка снимайте полушубки, в работе жарко будет. — И, видя недоверчивые лица, добавил: — Егор Ефимович дал прямые мне указания по его плану работы безотлагательно начинать и в темпе. Лед он проверял, беспокоился о надежности. Так что затяните пупки поясами — и пошли вкалывать, пока не кончим. Шабашить не будем, перекуров тоже. Все! Вопросы ни к чему. Без митинга обойдемся. Каждому скажу, чего как делать. — И, усмехнувшись, добавил: — Не весь, конечно, полярный многомесячный день будем работать. Из него, может, не так уж много времени понадобится.

— Если Егор Ефимович задумал на нашем горбу погрузку вести, так это невмочь никому, чтобы такие габариты на машины водрузить, — запротестовали несколько водителей.

— На своем горбу только в зависимых странах на плантаторов работают, — сказал самоуверенно Фенькин. — А у нас механизация положена.

— А откуда ты ее взял здесь, механизацию?!

— Из одного особого места, — сказал Фенькин и многозначительно приложил ладонь ко лбу, — из этого самого, где всякие извилины. И серое вещество, которое человеку светит сильнее прожектора.

— Да ты не темни!

— Ладно! — благодушно согласился Феликс Фенькин. — Значит, освещаю и просвещаю, как можно универсально трактором пользоваться. Конечно, не так, как некоторые — на нем за пол-литром по непроходимой местности до базы, — а для того, чтобы он подъемником стал: с одной стороны подпихивал груз, как бульдозер, на горку, с другой стороны — работал, как лебедка, затягивая грузы на горку, а затем на платформу машины. Вняли? Дошло? Просветились. Ну, теперь мелкие подробности, касающиеся, как, кому, что...

Но как бы Феликс Фенькин ни старался выглядеть боевито и бодро, он испытывал жар и озноб, хотя и хорохорился перед товарищами с излишком, и они понимали, почему он так хорохорится перед ними: не только, чтобы себя подать, но и потому, что хотел скрыть от них свое состояние. Но соболеznовать ему было сейчас ни к чему. Без Фенькина не обойтись, пока не сделают все, что нужно для начала работ по погрузке.

Феликс часто совал обмерзшие ладони себе за пазуху, отогревая их так в горячем жару. Потом снова долбил ломом землю под мертвяк из пачки бревен, работал гачным ключом, снимая балки с полозьев, а в промежутках бульдозером сгребал и уминал горку, предназначенную под эстакаду. И только когда работы были закончены и предстояло начать уже погрузку, на вопрос одного из водителей: «Ну как ты?» — Феликс ответил:

— Адаптировался.

— Чего?

— Ну, присобачился вполне, вам холодно, а мне жарко. — И, распахнув полушубок, глядя тускло, с поволокой, вдруг осведомился, оглядываясь на льющее свет небо: — Это отчего сегодня салют, не знаешь?

— Какой там салют, ты что, не в себе?

— Ну, салют им всем за все. — И, выбравшись из кабины бульдозера, шатаясь, Феликс побрел к краю берегового припая, подняв голову и уставясь взором ввысь.

Слабого и обвисшего на руках, его привели в вагончик и уложили на полку, снова накрыли шубами и снова напоили из алюминиевой кружки спиртом из аптечки, которой заведовала Алена Ивановна.

Алена Ивановна ухаживала то за Феликсом, то за Егором Ефимовичем, который не сразу ожил, но ожив, имел нормальную температуру, не кашлял, не сморкался, и только от ударов о лед у него была не то вывихнута рука, не то сломана ключица и повреждена кожа на голове. Но он бодро переносил боль. На вопрос о самочувствии отвечал:

— Как после боя в санбате. Из небытия вернулся в бытие, и, значит, теперь главная безотложная задача — вернуться к себе в часть.

Он лежал на спине, в прорехе рубахи виднелась седая шерсть на груди, на осунувшемся лице выступили сухие глубокие морщинки, глаза запали, губы тоже. И Алена Ивановна, видя эти старческие приметы, проникалась к нему жалостью, состраданием. Но лицо ее уже при этом не светилось загадочной женственной сдержанной улыбкой,

как на популярном портрете Джоконды, а было озабоченным, хмурым, и хоть она не упрекала Егора Ефимовича за допущенную рассеянность на льду, но упрек в чем-то ином еще читался на ее полном, но свежем лице.

Когда Алена Ивановна проходила к полке, где лежал Феликс Фенькин, она ощущала его взгляд, как прикосновение, отчего ее бросало в жар, однако Феликс столь отчужденно и враждебно отстранялся от ее забот о нем, что она холодела от горькой обиды, и ей хотелось плакать, и ее небесно-голубого цвета, в припухших веках глаза наполнялись слезами, и, всплакнув, она чувствовала себя несколько облегченнее.

После бапок, поставленных Аленой Ивановной, Ползунков стал пятнистым, как пантера, и уверял, что он чувствует себя вполне нормально. Он рассказывал Алене Ивановне, что когда он висел в воде, в ледяной расселине, вмерзая в нее, это было похоже на то, как он полз с толовыми пакетами к фашистскому четырехамбразурному доту и его так контузило взрывной волной от разорвавшегося совсем рядом снаряда, что он совсем потерял самочувствие и, как паралитик, уже не мог пошевелить ни ногой, ни рукой и лежал пластом, ожидая, что вот-вот приоткроется бронированная дверь дота и фашист наспех пристрелит его из автомата.

Но Алене Ивановне эта ассоциация не понравилась тем, что Егор Ефимович во фронтовом случае выглядел совсем непривлекательно, и она спросила обиженно:

— И все?

Егор Ефимович подумал, произнес со вздохом:

— Все ж таки, когда дверца открылась, я зашевелился, зашвырнул в нее пакет тола, значит, встрепенул их. Но самое главное переживание было не это удовольствие, а то, что лежал пластом, как паралитик, соображал, что к чему, а ни ногой, ни рукой, — как в страшном сне и даже хуже.

И он снова виновато улыбнулся, и Алена Ивановна при этом увидела, что у него повыбиты об лед зубы и десны сочатся кровью.

Зубную боль она понимала хорошо и, всплеснув полными руками, воскликнула сокрушенно:

— Егор Ефимович, да как же вы терпите такую боль непереносимую и молчите!

На что Ползунков ответил:

— А я не молчу, я разговариваю, а разговоры всегда боль оттягивают.

Несколько раз Ползунков подходил к полке, на которой

лежал Феликс, с головой прикрытый шубами, вздыхал и плелся обратно.

На вопрос к Алене Ивановне: «Куда девались все люди?» — Ползунков услышал: «Работают».

— Чего работают?

— Чего-чего — грузы грузят.

— Это каким же маневром?

— А таким, грузят — и все.

Ползунков очень взволновался, но, скрывая свое волнение, произнес равнодушно:

— Значит, порядок.

— Какой же это порядок. — возмущилась Алена Ивановна, — когда не жрамши весь день!

— Полярный, он длинный, — сказал Ползунков, — многомесячный, успеют поесть.

— А я по нормальному дню считаю, — строптиво ответила Алена Ивановна. — Мало ли что стихия природы здесь наворотит, у меня свой счет. — И, гремя ведрами, пошла набирать чистого снега для растопки его в кастрюлях на воду.

Ползунков, кряхтя и охая от боли, кое-как облачился и вышел из вагончика, опираясь на обломок рейки неповрежденной рукой. В глазах у него поначалу рябило, но от свежего, студеного ветреного воздуха он как бы очнулся, набрался силы и вышел к побережью. И то, что он увидел, ошеломило его. И не столько радостью ошеломило, что идет дело, как им было придумано, а тем, что, выходит, он стал беспмятным от ушибов, потому что если б он кому-нибудь не сказал про свои замыслы, откуда бы тогда люди узнали, как действовать. Так что же это выходит, вроде инвалидность ума его постигла — выпадение памяти, так кому он тогда такой нужен?

А тут еще подошел водитель и оживленно объявил:

— Вот, Егор Ефимович, можете любоваться. Все идет по-вашему! А мы-то меж собой вас, извиняюсь, обзывали, что грузы на лед приняла, а как со льда поднять, один мрак и полная неясность.

— Значит, команда была правильная? — осторожно осведомился Ползунков.

— Феликс тут над нами потиранствовал вволю, — почему-то восторженно сказал водитель. — И сам себя не жалел, за все сам брался. — Добавил задумчиво: — Я-то думал, он — тип. А оказалось, парень с башкой, все толково запомнил, как вы велели.

— Фенькин хворает, — напомнил Ползунков. — Весь

жаром пышет. Совсем слег. — И спросил встревоженно: — Значит, это его команда была?

— А как же. По всем линиям.

— А меня он поминал? Может, он сам сообразил?

— Откуда у него может быть подобная сообразловка? Водитель, как и все.

— А если я ему, допустим, ничего такого не присоветовал?

— Да вы что? — недоверчиво улыбнулся шофер. — Да и зачем вам его выше его самого возвышать, и без этого мы Феликса зауважали. Парень надежный, с перспективой.

Ползунков кивнул, водитель удалился.

Чувствуя слабость и ноющую сильную боль в поврежденных местах, Ползунков поплелся обратно к вагончику. Войдя в вагончик, мельком взглянул на себя в зеркало.

Защетинившееся за ночь лицо его было худым, опавшим, и губы запали в беззубый рот, и взгляд унылый, старческий. Неужели оттого, что перепугался смерти? Он, столько раз на фронте от нее не отворачивавшийся. Так то на фронте...

Подойдя к полке, где лежал Фенькин, Ползунков осторожно присел у него в ногах, дождался, пока Фенькин пошевелился, и тогда произнес шепотом:

— Феликс, ты как, ничего?

Фенькин сдвинул с лица шубу и уставился на Ползункова воспаленными глазами.

Ползунков сказал виновато:

— Я, вот видишь, вполне, а ты из-за меня хворась, простудил я тебя. — И добавил сипло: — Своего спасителя.

Фенькин закашлялся, сплюнув, поправил:

— Не спасителя а спасателя, — усмехнулся. — А простуда не проказа, детская болезнь, засопливел — и все. На фронте небось от простуды в санбат не брали!

— На фронте мы не простужались, — сказал Ползунков, — когда весь на нервах, простуда не берет.

— Ну вот, а я простыл, — сказал обидчиво Фенькин.

— Феликс, — просительно произнес Егор Ефимович, — ты на меня больше не косись. Больно мне это, когда ты на меня косишься.

— Ладно, — сказал Фенькин, — не буду.

Ползунков понурился и сказал сдавленно, глухо, с упреком:

— Ты, Феликс, зря меня перед людьмиставлял. Я ведь тебе ничего не говорил, твоя придумка.

— Не моя, а леспромхозовская, — сказал равнодушно Фенькин, — в трелевке этот способ применяли, когда лебедка из строя выходила, а трактором хлысты по крутизне не уволочь. Это после трелевочные тракторы появились, они и с лебедкой, и на себя с кормы покатою заталкивают пачки хлыстов, вот это машины, красота, а не машина...

— Значит, ты меня помянул водителям только для убедительности?

— А как же. Я им кто? Такой же водитель, как и они сами. А тут авторитет — начальство. Куда от него денешься? Никуда. Выполняй — и все.

Глядя на опухшее, воспаленное от жара, но исполненное спокойного достоинства лицо Феликса Фенькина, Егор Ефимович с грустью вспоминал: на фронте солдаты осведомлялись каждый о каждом — кем ты был? Это означало — кем ты был в мирной жизни. Пришибли фашистов, конец войне, и солдат солдата спрашивал: кем ты будешь? А в середине того, кем ты был и кем ты будешь, были дни и ночи, слившиеся воедино в боях, в тяжком фронтовом труде и добываемом в бою солдатском мастерстве, о котором не говорили меж собой даже после боя, потому что после боя каждый испытывал отвращение к тому, что он свершил в бою. Но право убивать они обрели, не отворачиваясь изо дня в день от грозящей смерти. И, убивая убийцу, этим только могли покончить с побоищем, охватившим огромное земное пространство.

Там, на фронте, они жили жизнью воинского товарищества, где каждый каждому становился роднее родни, потому что они переживали все вместе то, что приходится переносить сражающемуся солдату, и только они могли понимать друг друга в самом сокровенном, что чувствует человек в том состоянии, когда для него нет ответа на вопрос, кем ты будешь, потому что он вообще может не быть.

А вот теперь не спросишь, кем ты был? Кем ты будешь? Может, кто ты есть? Но на это не отвечают. Нужно самому понимать человека, самому догадываться, решать, кто он есть.

Конечно, у Егора Ефимовича было такое ощущение, что Феликс Фенькин обобрал его. То, что было его фронтовым достоянием, он как бы от себя лично через много лет передал бы, как солдатское наследство, водителям мехколонны. Это явилось бы для него счастливой возможностью напомнить здесь людям, что он и его батарейцы воевали с умом, с вдохновенным усердием, не утрачивая самосознания, — «шевелили мозгами», когда эти самые мозги

могли быть ежесекундно выбитыми из черепа тяжеловесным осколком мины или снаряда.

Но вряд ли можно было предполагать, что, если бы этот способ предложил как фронтовой лично сам Ползунков, люди работали бы с большим рвением и воодушевлением, чем когда его предложил от имени Ползункова Фенькин в порядке механизации погрузки. Ибо люди сейчас считали свою миссию доставить оборудование на стройку ничуть не меньше фронтовой задачи. И стройка светила им такой же победой, как Ползункову, когда штурмом освобождали населенные пункты и в пределах Родины и за ее пределами. Солдаты освобождали, а здесь люди создают на пустынной земле населенные пункты — бастионы индустрии, мощью которых преобразуется тут все пространство, и во имя того, что будет, они такие, какие есть, и, пожалуй, такие, какими были бы, если б были солдатами, и возможно, таким должен быть человек всегда и во всем. И меркой их человеческого достоинства всегда служит нечисляемый подвиг свершаемого, к которому они причастны.

Подобные мысли, но не облеченные в такие слова, возникали у Егора Ефимовича, когда он думал обо всем происходящем, испытывая одновременно и щемящее сожаление, что водителям неизвестно, что они применили здесь фронтовой способ его батарейцев. Но вместе с тем Ползунков ощущал с душевной теплой радостью, как бы возвращаясь к прошлому и снова к сегодняшнему, что связь времен и связь наших людей, сражавшихся и ныне работающих, вот она, в лице хотя бы Феликса. И будь он таким, какой он сейчас, на фронте, именно он, Фенькин, предложил бы этот способ доставки боеприпаса по зыбкому льду с той же властной самоуверенностью, с какой он осуществил этот способ здесь, сейчас.

И Егор Ефимович вспоминал, как его волок за воротник шинели неизвестный ему солдат, когда лежал он, как парализованный, возле подорванного четырехамбразурного дота, и, останавливаясь передохнуть, заслонял своим телом Ползункова, с деловым, озабоченным лицом выпускал очередь и затем снова волок Егора Ефимовича и, когда доставил его, сказал облегченно санинструктору: «Окостенел, как покойник, но живой, только шоковый», — и, прихрамывая, удалился обратно в бой.

Вот точно так же сказал о Ползункове Феликс Фенькин, когда приволок к вагончику: «Не утоп, а вмерз. Когда я его из льда выламывал, глазами шевелил, значит, живой», — и рухнул при этом рядом.

Значит, справедливо будет считать инициативу за Феликсом, хотя она первоначально фронтовая. Значит, в наших людях заложено на все времена то, что делает их такими, какие они есть во всех обстоятельствах, такими, каким человек должен быть.

После длительного молчания Ползунков осторожно, шепотом осведомился:

— Спишь?

— Нет, только зажмурился.

— Я ведь уже совсем поношенный, глянул на себя в зеркало — вся рожа в серой щетине, — скорбно признался Ползунков.

— Бриться надо, — вяло произнес Фенькин.

— Бритьем себе от старости и седины не поможешь.

— С морщинами, а не в соплях, значит, организм прочный, — нехотя сказал Фенькин.

— Не привык я простужаться, — хмуро сказал Ползунков. — А вот возраст сейчас свой почувал.

— После такого купания вам только в моржи записываться, — усмехнулся Фенькин. — А я вот скис, вроде как бюллетеню.

— Желаешь, я тебе начистоту про себя доложу в смысле Алены Ивановны? — робко осведомился Ползунков.

— Не желаю, — сердито заявил Фенькин.

— А все-таки скажу, — настойчиво произнес Ползунков, закурил, закашлялся, побагровел. — Конечно, у кого нет своей фантазии, когда вдруг такая женщина одна среди всех. Смотрю, глядит на меня и при этом вся словно светится. Вроде как из-за меня. Я и вообразил. А на самом деле что? Да она просто из признательности за то, что я ее в штат зачислил. Только и всего.

— Меня это вовсе не касается, — с гневом сказал Фенькин. — Может, вы про меня тоже что вообразили по этой линии, так этот ваш прицел неверный.

— Ну, как знаешь, — вздохнул Ползунков. — Шел к тебе с мыслями, в словах они не получились.

Фенькин отвернулся к стене и сказал глухо-скорбно:

— Она мне другой показалась. Ну, не такой, какая она, а какой другая была. А вы все подумали иное... Ну, словом, нет больше разговора. Все! — Фенькин тяжело дышал, от него несло жаром.

Ползунков смял окурок, помотал рукой, чтобы рассеять дым, помедлил, сказал горестно:

— Вот если б я тебе отец был, тогда бы, верно, вправе

был бы такой разговор вести ото всей души, а так, может, и не вправе.

Выждал.

Фенькин молчал. Его знобило.

По масштабам полярного побережья, земной твердиной опоясывающего огромное пространство закованного льдами арктического океана, эта бухта выглядела как крохотная зазубринка в суше. А за пределами ее лежал гигантский материк сибирский, и на всей его безмерной обширности подвигом народа возводилось державное могущественное величие Сибири, которым будет обозначено начало летосчисления двадцать первого века, великое сотворение всевластного созидательного труда нашего народа, преобразующего сам лик планеты и жизнь на ней, творящего новую цивилизацию человечества.

А у крохотной этой зазубринки копошилось несколько десятков людей, усталых, обмороженных хлестким, жестким ветром с Арктики, настуженным вечными льдами на полярном темени нашей планеты.

Здесь, на пристывшем к побережью ледяном припае, люди громоздили на машины затаренные тяжкие глыбы грузов, возможно, равные по своему весу тем каменным базальтовым глыбам, из каких древние сооружали пирамиды с помощью гигантских воротов с рукоятями из цельных стволов палм, в которые впрягались тысячи людей, чтобы сдвинуть, приподнять тесаные глыбы базальта, а тут обходились самопридуманной лебедкой, приводимой в движение двигателем внутреннего сгорания.

Но они работали на ледяной кровле, а под ней шевелились водные глубины, шатаемые все нарастающим прибоем, гулко колотящимся о кромку берегового припая.

И над ними трепетало свечение северного сияния, словно отсветы вселенной, для которой наша Земля — лишь некая многомиллиардная частица, вращающаяся по законам небесной механики, сотворенная вселенной, у которой нет предела.

Береговой припай не самое прочное сооружение природы, и его кровля накрывала сейчас разбушевавшуюся пучину. И поверх ее, на этой ледяной корке, работали люди. Азартно, прытко, с самозабвенным задором.

Егор Ефимович Ползунков, скособочившись от боли в руке и ключице, бродил среди работающих людей, испытывая к ним всем такое же чувство, какое он испытывал

к бойцам своего орудийного расчета во время смертного боя, когда расчет работал у орудий в огне и пламени разрывов вражеских снарядов с той суровой, самозабвенной сосредоточенностью и увлеченностью своим солдатским делом, что величают героизмом.

Но то война. А почему здесь, на зыбком льду, который вот-вот может начать раскалываться, гражданские люди рискуют жизнью, не желая даже сами перед собой сознаться в грозящей опасности, пренебрегая этой опасностью, и, может, как это ни странно, воодушевленные этой опасностью?

Может, они так одержимо работают, чтобы во что бы то ни стало спасти ценные грузы. Ведь на таре обозначены названия многих предприятий страны, производящих продукцию, намеченную для того, чтобы в сборе она обрела свою творящую способность в корпусах новых заводов и предприятий страны, на новом назначенном ей месте в пространствах высоких сибирских широт.

Но мехколонна Ползунова всегда была занята перевозками подобных серьезных и ценных грузов, оборудования, материалов, которые шли на сооружение, как принято выражаться на собраниях, великой стройки века.

Конечно, в данный момент ими руководило и сознание многоценности и многоважности грузов, но и не только это.

Егор Ефимович Ползунов по своим прежним переживаниям знал, что ощущение смертельной опасности вызывает кроме естественного для каждого человека страха смерти одновременно и страх утратить свое человеческое достоинство в томящем предчувствии опасности, и этот страх потерять достоинство человека от боязни смерти перед лицом своих товарищей по военной борьбе становился сильнее страха за свою жизнь. Люди боялись унизиться страхом смерти, и эта боязнь унижения делала их бесстрашными; переборов в себе страх смерти, они проникались гордостью, и эта сокровенно обретенная гордость обращалась в самозабвенную отвагу, одержимость и даже в лихость поведения в бою.

Именно нечто подобное он ощутил сейчас в рабочем настроении своих людей на зыбком льду и их облике, в рабочей хватке и их беспощадном к себе старании братья за самое трудное и опасное.

Тяжкие волны прибоя наваливались на ледовую кромку припая, обламывали ее и таранили ее отшибленными кусками льда. И все меньше становилась их рабочая площадка, и все больше возрастала грозящая опасность. На

льду горел костер из обтирочной ветоши, облитой соляжкой, порывы ветра с треском обрывали клочья пламени и уносили огненные трепещущие куски в сторону.

Люди подбегали к костру и поспешно совали к пламени ооченевшие руки.

— Ну как? — робко спрашивал Ползунков.

— Пока нам производственной площади хватает, будем вкалывать.

— Не порожняком же возвращаться с холостым прогоном.

— Флотские свалили груз и ушли, а мы, выходит, его утоним!

Так наспех отвечали Ползункову его люди, дорожа каждой минутой времени.

И когда с огнестрельным гулом лопался в отдалении береговой припай и расселина во льду прытко ползла своим неровным расколом к побережью, люди настороженно замирали, потом с облегчением произносили:

— Ну, эта мимо прошла! — И снова с ожесточенным азартом продолжали работу.

Они здесь, на Севере, были хорошо обучены преодолению всевозможных трудностей, и каждый маршрут их был походом через непроходимое пространство сугробов, болот, трясины, скользкого гололеда. Но такой тяжкий труд они испытали впервые, и, пожалуй, если бы не сознание опасности этого труда на хлипкой ледяной кровле, сознание смертельной опасности, вызывающее к человеческой гордости, у них не хватило бы сил, чтобы выполнить все то, что они выполнили.

Ведь увезти все грузы в одну езду они не могли, а убрать их с припая было необходимо, и пришлось несколько раз грузить неподъемные ящики на машины, а потом, отъехав с припая на твердую землю, сгружать их.

Работа завершилась не то на следующий день, не то на следующее утро, а может, и на следующую ночь. У полярного долгого дня не существовало такого отсчета времени, да и сами люди утратили представление о времени, изнеможенные, обессиленные от безмерно тяжелого своего труда.

Они вышли на сушу, еле волоча себя. И никто из них даже не оглянулся, когда их бывшая рабочая площадка с гулом и звоном начала разламываться, разъезжаясь на стороны своими огромными плоскими плитами, превращаясь в ледовые плавающие острова.

И мало у кого нашлось сил, чтобы усесться за накрытый

Аленой Ивановой стол в вагончике. Не раздеваясь они залегли на спальные откидные полки в вагончике и на нары в балках и, словно теряя сознание, засыпали в самых неловких позах.

Стоял долгий полярный день, скрипели колотые льдины, шатаясь на волнах и ударяясь друг о друга. И северное сияние продолжало изливаться из себя потоки своего холодного свечения, но почему-то оно не выглядело сейчас столь высокомерно-торжественным, величественным, господствующим над Землей произведением вселенной, которое должно внушать человеку, что его Земля лишь малая и ничтожная ее частица, сотворенная ею в непостижимом для человека и для нее самой беспредельном ее пространстве в непостижимое для нее самой время.

В этот долгий полярный день транспортная колонна Ползункова шла с первой партией груза в обратный путь. Он был гораздо труднее, этот путь, чем тот, что они проделали сюда порожняком. Они преодолевали гололед вечной мерзлоты, вязли в трясине, пробивались сквозь рыхлые сугробы.

Несколько раз они встречали на своем пути в тундре запряженные цугом тягачи, которые волокли на новое место буровые вышки. Но ни у водителей колонны Ползункова, ни у водителей тягачей, перемещавших буровые вышки, не было времени, чтобы остановиться и вести разговоры — что? как? кто?

Ценность их грузов и ценность самого времени составляли для них нерасторжимое целое, они были заняты делом, которое — они знали — называют великой стройкой века.

И на коротких остановках, когда нужно было заправить машину горючим, сменить смазку, произвести осмотр ходовой части машины, во время поспешной еды все были сосредоточены только на своих водительских заботах, на предстоящем одолении дальнейшей труднопроходимой местности.

И из памяти их исчезло видение каменного распадка, меж скалистых стен которого лежала бухта — крохотная зазубринка в заполярном побережье, ее ледовый береговой припай, служивший им рабочей площадкой, откуда сейчас с теплым ветром с материка унесло битые льдины в море и где над чистой водой с воплем носились теперь чайки.

Все их мысли были сосредоточены на том, чтобы

восстановить в памяти все трудности того остатка пути, который им предстояло проделать, и об этом они говорили.

В кабине головной машины по праву бригадира сидел Егор Ефимович Ползунков. Осунувшийся, похудевший, страдающий от боли в ключице и левой руке, он держал себя, как полагается начальству, бодро, властно, самоуверенно. И водитель, хмурый, недовольный тем, что Ползунков подает ему под руку советы, беспокойно ерзал все время на сиденье, говорил с упрёком:

— Неугомонный вы человек, Егор Ефимович, вам бы по вашей солидности на буксире в вагончике находиться, и вы бы сами отдохнули, и я от вас тоже. Или чего лучше — пересели бы в машину к Фенькину. А то он на каждом переходе нас поносит за то, что мы объезды делаем с наезженного пути, мох, видите ли, жалеет, а машин ему не жалко. Говорит, мол, почвы этот мох от заболачивания охраняет и оленям кормом служит, — оленям сочувствует.

Егор Ефимович помолчал, закурил, покашлял и строго заявил:

— Феликс нас всех своим приспособлением выручил, он и в технике соображает, и в природе, и в людях тоже, парень с душой и с мыслями.

— А ведет машину под градусами, — обидчиво сказал шофер.

— Температура в нем нормальная, — возразил Ползунков.

— Да вы что, не знаете, как можно ловчить: вынул градусник из-под мышки, постучи о него ногтем, сколько захочешь, столько и скажет, а при желании поднять можно — потри о сукно градусник, он и даст цифру для бюллетеня. Ежели маршрут тяжелый, можно всегда так филошнить...

— Значит, овладел медицинской техникой! — сказал Ползунков.

— Да вы что, нашего брата водителя не знаете? Сам себе выходной и организуешь таким манером.

— Знаю я вас, — сухо сказал Ползунков. — Все вы не ангелы с крылышками.

— А что? Люди как люди. — Водитель сердитым рывком переключил скорость, и из-под скатов машины вознеслись высоко черные фонтаны трясины, которую одолевала сейчас колонна.

Лицо водителя было озлобленно-скорбным, он переживал сейчас за свою машину, буксующую в трясине, радиатор парил от перегрева мотора.

Но Егору Ефимовичу его лицо казалось по-человечески прекрасным именно потому, что водитель так сильно переживал за свою машину.

И как в годы войны после тяжелого победного боя солдаты не желали вспоминать его подробности, свою отвагу, проявленную в бою, так же и эти гражданские люди уклонялись от подобных воспоминаний. Вот этот же водитель, когда лопнул трос, кровавая свои руки, вязал его концы, оставляя на стальных витках толстого троса клочки своей кожи, и сейчас вел машину в варежках, к которым изнутри присохли его ободранные, кровоточащие ладони.

Стоял долгий полярный день, который можно именовать и белой ночью, и полярное сияние над пространствами тундры казалось отсветом большого города.

Колонна все приближалась к назначенному ей пункту, где возводился новый город, еще не имеющий названия, еще не сверкающий своими собственными огнями. Но придет тот день, когда он засверкает огнями, и в полярной ночи он будет как остров, возвышающийся домами, корпусами заводов. И сияние его будет видно из самой дальней дали, как великое новое земное созвездие, сотворенное подвигом труда. И ползунковской транспортной колонной тоже.

[1978]

Я стоял на корме катера рядом с Голубевым, согбенно опираясь о поручни, и смотрел на реку, как на чудо. Как на некое радостное живое существо с бесконечно вытянутым, прохладно-голубым, глянцевито-блестящим, прозрачным телом, вольготно возлежавшим в обширных берегах, за пределами которых сплошной громадой возвышались вечнозеленые хвойные таежные дебри.

Можно было думать, что река купалась в этих берегах. И хотелось улыбаться реке. Здесь все завораживало своим величием, своим покоем.

Голубев сказал задиристо, продолжая задумчиво глядеть на грациозно бегущие за нами вслед упругие волны в белых локонах пены:

— Река! Ведь это неописуемо, а мы пишем. — Скорчил брезгливую гримасу и произнес, нарочито шепелявя: — Река, лентообразный поток пресной воды,двигающийся по земной поверхности от возвышенных мест к низменным под влиянием силы тяжести. — Плюнул за борт, заявил: — Все равно как песку наелся.

— Так это вы, специалисты, так пишете!

— Ну! Ну! Полегче,— сказал, улыбаясь, Голубев,— а то я вас вопросиком унижу, как бы вы сформулировали понятие идеальной жидкости, без чего немислимы расчеты гидросооружений, для созерцания которых вы сюда и прибыли...

Действительно. Я был потрясен зрелищем строительства очередной величайшей в мире гидроэлектростанции — огромного завода без кровли. Завода, надетого, словно железобетонный гигантский хомут, на одну из величайших рек в мире. Безмерная, преобразованная в турбинах и генераторах мощь, которая выльется многомиллионкиловаттной электроэнергией в тяжкие медные провода, вознесенные ввысь стальными опорами мачт, шагающими по

огромному земному пространству, и станет преобразующей всемогущественной, всетворческой силой. И плотина цвета серого гранита, перегородившая реку, была подобна гладко обтесанному горному хребту, созданному словно мощью самой природы, а не человека. Но создали ее люди, свершив библейское чудо. Своей повелительной силой воздвигнув поперек реки из окаменевшего бетона стену размером с горный хребет.

Но ни у кого из этих людей не было освещено за это деяние чело самосветящимся божественным нимбом. Люди работали, а когда человек работает, лицо его обретает отчужденное, сосредоточенно-озабоченное выражение. И мысли их были обращены не к тому, что они уже свершили, а к тому, что еще предстоит сделать, и у каждого из них было свое дело, и из совокупности сделанного всеми вырастало это величайшее в мире сооружение, вслед за которым намечалось строить еще более величайшее, и многие из них, завершив работы по своей специальности, перекочевывали на этот новый объект, еще более величайшее сооружение, где уже закладывался нулевой цикл, который можно воспринимать всегда как первый день сотворения нового мира на земле.

Словом, созерцать все это мне была предоставлена полная возможность. Но на журналистские опросы люди соглашались весьма неохотно. Говорили:

— Передовики? Вот, пожалуйста, на Доске почета! Посмотрите подшивку многотиражки, там все толково про достижения напечатано. Отстающие, конечно, есть, освещаются ежедневно в листовках «Комсомольским прожектором», как и прогульщики, нарушители технологической и вообще дисциплины. Но вот что самое у нас интересное. Побеседуйте с бригадами, которые перешли на единый наряд. — При такой рекомендации лицо человека обретало воодушевление и гордость. — Единый наряд, надо вам прямо сказать, не только коммунистическую сознательность воспитывает, но уже дал эффект роста производительности труда, сплочение коллектива, взаимответственность...

И здесь мне снова довелось переживать то же самое, что я пережил, побывав на моторостроительном заводе, видя на стендах двигатели, в малых габаритах которых размещены такие мощности, что ими смещаются обыденные понятия — времени, пространства, движения. И если взять в руку детали этих механизмов, то по сравнению с ними самые изысканные ювелирные изделия выглядят как грубая слесарная работа.

Но этим деталям назначено выдерживать чудовищные вулканические напряжения, такие же температуры и после тысяч часов работы выглядеть как новенькие. И когда я держал некоторые из них в руке, легкие, как рыба кость, и столь же дивно прихотливой и совершенной формы, которая сотворяется только самой природой живого организма, я испытывал изумление перед гением человеческого творчества, воплощенным в этих изделиях.

И я был весь во власти этого ощущения — чуда труда человека. Но разговора, как творится это чудо, у меня на заводе не получилось. Собственно, этот разговор был, но велся он совсем в ином плане.

Мне с увлечением рассказывали о том, что внес нового в заводской коллектив метод работы бригад по единому наряду, как это высветило духовные, нравственные, творческие качества людей, что именно с такими качествами можно смело идти сквозь проходную нашего времени прямо в коммунизм. И доказывали правоту своих прозрений цифрами и фактами достигнутых многомерных показателей.

Ну что же, значит, наступило такое время, когда изделия, сотворенные человеком, являются прямой олицетворенной силой его знания, духа, убеждений. И без постижения самого создателя предмета вряд ли следует восхищаться одной технологией, потребной на то, чтобы такой предмет сработать, как бы он ни был удивителен сам по себе. Но, между нами говоря, изобрести литератору образ человека гораздо легче, чем открыть его во всей его полноте, чтобы он и вобрал в себя самое характерное. Что столь необычайно отличает нашего обыкновенного человека от людей всех иных времен.

Я знал, что среди знаменитых гидростроителей Голубев пользовался большим уважением, хотя сам он никогда не возглавлял ни одной стройки, но, будучи видным специалистом по проблемам гидродинамики, принимал участие в разработке проектов уже многих гидростанций.

Это был человек крупного телосложения, с большим, открытым, несколько костистым лицом и светло-серыми, частенько насмешливо прищуренными глазами. О себе он сказал:

— Я, собственно, нахожусь здесь довольно-таки в двусмысленном положении — считаюсь перебежчиком. — И пояснил: — Поскольку методами гидродинамики можно исследовать также движение газов, если скорость этого движения значительно меньше скорости звука в рассматри-

ваемом газе. Но при скорости движения газа, близкой к скорости звука или превышающей ее, начинает играть заметную роль сжимаемость газа, и тогда методы гидродинамики уже неприменимы. Такое движение газа исследуется в газовой динамике. Так вот, я увлекся теперь изучением не жидкостей, а газов. Понимаете? Ну, словом, с земных дел подался в небесные. Участвую в создании авиадвигателей, наделенных способностью в три эм. Не понимаете? Тогда вот: лайнер, на котором вы изволили сюда прибыть, — это самоходная баржа по сравнению с тем, что является предметом, ради которого я и оказался, по мнению моих коллег, изменником. — Он расправил плечи, мечтательно и добродушно улыбнулся и сказал: — Но, признаться, я все-таки на всю жизнь влюбился в наши сибирские реки и покинуть их не могу в силу особой привязанности. Поэтому связи мои с гидростроителями остаются в силе.

Привязанность к рекам сибирским! Я тоже сам это испытывал. Нет на земле рек похожих. И каждая бесконечно изменчива в своем облике, ибо она источник жизни и живет своей жизнью.

Могущество Сибири можно обозначать могуществом ее рек с их бесчисленными ветвями притоков.

Лесные богатства Сибири, питаемые ее реками, — это ее зеленый океан с вечнозелеными нетленными хвойными громадами, казалось, подпирающими своими вершинами плотные слои небесного пространства — бессмертные хранилища драгоценной чистоты воздушной среды. Если б не полноводье сибирских рек, плавучий панцирь Арктики оковал бы замертво, навечно, необъятно и губительно для всего живого материк. Реки Сибири своими мощными водами атакуют льды Арктики, сокрушают их и теплом своим защищают материк от ледового плена.

Водные сокровища Сибири в их истинной, всевозрастающей для жизни планеты ценности еще полностью не постигнуты, не оценены достойно. Они творят жизнь, исполнены всесильной энергии жизни.

Реки Сибири проложили человеческой отваге пути сквозь недоступные пространства и своей силой внушали человеку веру в свои силы одолевать неодолимое.

В эти дни проходило совещание в штабе строительства гидростанции, на которое прибыли из Москвы ученые, представители министерств и ведомств. Эти совещания были подобны совещанию в штабе фронта. Докладчику предоставили десять минут, оппонентам от трех до пяти.

Решения выносились тут же, и те, кто должен их выполнить, незамедлительно покидали совещание. Изредка Голубев подавал, озабоченно сощурившись, реплики. Но, очевидно, содержание их было столь значительно, что они мгновенно становились объектом обсуждения. Здесь никого не убеждали. В ходу были только аргументы предельно сжатые, как формулы уравнений для решения сложнейших задач с многими неизвестными. Если выступающий говорил более пяти минут, председательствующий прерывал его, но не за нарушение регламента, а за нечеткость, расплывчатость вносимого предложения или ответа на предложение. Да, здесь каждое слово было весомо, энергично, бездельные слова отвергались. И я завидовал умению этих людей в нескольких словах изложить самое существенное, главное. Как в действующем механизме не может быть лишних деталей, так и в их выступлениях не было лишних, нерабочих слов. И когда совещание кончилось, ко мне подошел Голубев с изможденным и даже похудевшим за эти дни лицом и сказал, отдуваясь:

— Ну, прогнали испытания по всем параметрам с полной нагрузкой.

— Турбины? — спросил я.

— До турбин дело еще не дошло, — снисходительно улыбнулся Голубев, — их еще монтируют. Друг друга в упор проверяли, кто, как, на что годен. Некоторых даже в обязанностях перемонтировали. Из руководителей перевели в руководимые в связи с малым запасом прочности знаний и слабым умением ими пользоваться. — Он потянулся и вдруг заявил с воодушевлением: — А что, если нам с вами взять и мотануться по реке? Мне — для обмысливания кое-каких возникших чисто технологических проблем, вам — для созерцания прекрасного.

Я охотно согласился, тем более что после беседы с бригадиром комплексной бригады Евгением Ивановичем Сазоновым мне самому надо было кое-что осмыслить.

...Мы сидели с Сазоновым на бетоноскольном гребне плотины, оттуда, с ее авиавысоты, открывалась панорама всей стройки, весь ее рабочий фронт, и башенные краны возвышались над нами, простирая в поднебесье свои длинные стрелы с еле зримыми нитями тросов с подвешенными к ним немислимыми стальными тяжестями, которые, казалось, обретая летучие свойства, поднимались ввысь сами по себе.

Стройка с этой высоты выглядела как плацдарм, на котором действуют части и подразделения мотомеханизми-

рованной армии. Люди были в машинах, и машины эти казались дистанционно управляемыми, подчиняясь целеустремленной, организующей их работу и движение единой и мудрой воле.

Сазонов, морщинистый, худенький, седоватый, но с мо-ложавыми голубыми озабоченными глазами, в чистенькой, узковатой даже для его комплекции спецовке, опоясанной широким толстым брезентовым поясом верхолаза с при-крепленными стальными петлями и с такой же тяжело-весной стальной пряжкой, вначале все беспокойно ози-рался на оставленный им участок работ его бригады. Но потом, как бы смирившись, опустил глаза, пожевал губы и спросил:

— Вас как интересуется — для себя или для газеты?

— И то и другое.

— Если для печати, так про нас много написано, даже больше и ни к чему.

— Это почему же?

— Да так, показатели наши — вон они. — Сазонов кив-нул на доску, где были выписаны показатели его комплек-сной бригады на сегодняшний день, который, опережая самое время, фактически мог быть отнесен к восьмидесято-му году.

— Ну, давайте тогда просто так, про жизнь.

— Так она у меня длинная, всего не упомянешь.

— Воевали?

— А как же, как и все. У меня братьев семь, всей толпой нам не удалось. По очереди на фронт уходили. Отец у меня богатый на детей. Еще две сестры тоже на фронт сбежали, в санинструкторши. Вернулся с войны — от братьев одни портреты остались. И извещения. Но семей-ство у нас как было, в полном составе.

— То есть как это?

— А так, как похоронку родители получают, так сразу из детдома себе в усыновление брали ребятшек. Ну, я же-нился, от себя еще двоих девчушек добавил. Сестры на фронте себе женихов нашли, те их и увезли по разным городам.

— Так ведь трудно было такую кучу воспитывать?

— Завод помогал. Родители привыкли к тому, чтобы в доме всегда суета была. А без нее какая жизнь? Нету жизни. На заводе отец с людьми — и дома тоже. Отец бригадой в мартеновском командовал, ну, и дома такой же, но только малолетней. Опыт имел: нас вырастил в людей, ну и приемышей такой же манерой выращивал, как и нас.

На принципе самообслуживания и полного друг к другу доверия и уважения. Ребятишки, приемные братишки мои, конечно, горькой судьбы, сироты войны, из эвакуированных. Самый младший, так он после фашистского концлагеря, у него там кровь брали. Специальный бункер для малолетних имелся для снабжения кровью фашистов на фронте. Слабый очень парнишечка был. Ну, мы его всем гуртом выходили. Теперь на заводе в начальника цеха вырос. А я вот в гидростроители подался. Отец еще в девятьсот пятом баррикады строил, а я, значит, плотины для социализма. — Усмехнулся. — Если вас про единый наряд интересует, так я вам так объясню. Маркс, к примеру, на сюртук ссылался, а я, допустим, на пиджак, вроде как на вас. Если рассуждать по сделыщине, то для шитья пиджака — у каждого своя специальность. Каждый за свою работу получает отдельно, сколько сработал, столько и заработал. Но если кто брак сдал? Пиджак получился уцененный. Факт? Факт! Кто страдает? И потребитель и производство. За такой пиджак ни материального, ни морального стимула никому не будет. А единый наряд, коротко говоря, по готовой продукции всем оплата за работу с прибавкой на квалификацию, и качество, и количество. Значит, все мы не только каждый за себя, а каждый за всех, при этом с общего котла на всех больше получается, потому что каждый в каждом заинтересован, каждый каждого подтягивает, обучает. Как наряд закрываем, на совете бригады все обсуждают: кто как работал, кто получше, тем добавка, кто похуже — снимаем часть с полочки. Все по совести решаем и вознаграждаем коллективом публично при всех, сколько кому причитается.

— Но ведь не все у вас добросовестно работают?

— Ясно, — сказал Сазонов. — Не без этого. Но от многоглазого коллектива не скроешься — все рядом, все заметно. Рабочая совесть — она лучше всякого ОТК. Она ОТК, только непрерывного действия и воздействия.

— Но ведь бывают прогулы, отклонение от норм поведения...

— У каждого сбой может быть. Обсуждаем. Кроме того, книгу записи имеем. Книгу рабочей совести. В ней обязан при таких случаях человек собственноручно описать и объяснить свой проступок.

— А если не захочет?

— Убеждаем.

— А если не убедите?

— Значит, он бригадный устав не признает, тогда его и бригада не признает за своего товарища по работе.

— Тогда уходят?

— Уходили, а потом возвращались, просились обратно. Потому что по единому наряду и выгодней работать и по-человечески приятней.

— А если у кого квалификация недостаточная?

— Тогда наша вина — мы же лично в каждом заинтересованы, чтобы каждый у нас свою квалификацию повышал и даже несколькими профессиями овладевал, чтобы простое оборудования не было. Словом, получается такая картина, как, скажем, дома в дружной семье, все друг про друга все знают, все друг за друга беспокоятся, все друг за друга в ответе, и все друг за друга держатся. Кроме того, имеется совет бригадиров. Ну это уже большая сила. Не посоветовавшись с советом, решения не принимают. Получается вроде как наша бригадирская Советская власть по всему плацдарму стройки. Ну, и, конечно, всего того, что жизни людей касается, их достоинства, престижа, благополучия. И вполне понятно, уж кто-кто, а мы, бригадиры, соображаем заинтересованно, в смысле того, что касается организации производства, техники ее использования. Механизации, рационализации и всего прочего, от чего производительность нашего труда зависит. — Сазонов вздохнул, осведомился: — Ну что? Может, хватит? Это я вам только, конечно, попросту и на скорую руку. Вообще-то еще всяких коллизий хватает. Одно — каким человек должен быть, другое — какой он есть. И всегда, каким он должен быть, останется для нас всех целью жизни, для всех, кто при нас живет и после нас жить будет. — И Сазонов снова стал беспокойно озираться на тот участок, где работали его люди.

— Но, очевидно, такая атмосфера сложилась в вашей бригаде благодаря влиянию и лично вашему.

— А при чем здесь я? — удивился Сазонов. — Такое движение по всей стране пошло, зачали его машиностроители, а мы подхватили. А мне лично, что ж... — Сазонов задумался, потом, помедлив, сказал: — Вот говорим мы: коммунистический труд! А он должен не только производительность поднимать, но и человека. Я вас нудить нашими цифровыми показателями не стану, но вот люди у нас в бригаде срослись, это цифрами не докажешь. Ну а чем? А вот, к примеру, приходят на работу в положенное время, а уходят позже. Смену отработают, а сидят, не расстаются, разговаривают каждый о своем, а всем интересно. Не сразу, значит, домой тянет. С моей точки зрения, это большой

человеческий показатель, хоть его ни в какую графу и не впишешь... — Посмотрел рассеянно в бездну котлована, сказал: — Вот на фронте мы сильно солдатской дружбой сроднились, идешь в бой, знаешь, пока кто живой — выручит до самой своей смерти, а выручит, так то высшая мерка надежности в человеке за человека, — взглянул на меня уже пытливо, произнес настороженно: — Я это к чему. Конечно, тут не то же самое. Но если люди друг другом так заинтересованы — значит, коллектив. Значит, бригада общим делом дышит.

— Я вас понял...

— Ну вот! — обрадовался Сазонов. — Значит, существо учуяли. А все остальное поглядите в подшивке газетной, там все: и цифры, и факты, и выкладки, как и что у нас получается в смысле всех причитающихся с нас показателей... — Поднялся, кивнул на прощанье и полез ввысь по арматурному силетению, туда, где с опущенными забралами на лицах ютились сварщики и перед каждым из них трепетало белозвездное свечение.

Я перешел к противоположному краю плотины, к той стороне, где уже натекало из реки будущее море.

Отсюда хорошо была видна просека в тайге, подобная бесконечному ущелью, на дне которого стояли опорные мачты с многовесными гирляндами изоляторов и тяжело обвисшими кабелями высокого напряжения. Это по ним теперь потечет превращенная исполинская энергия могучей реки, работая на всю страну. Я стоял на вершине каменного гигантского монолита плотины, словно изваянного из серого гранита, возведенного волшебным трудом человека. И мысленно перед моим взором вставало видение солдатского окна в разрывах огня, стали, где, учащенно дыша, люди выжидали сигнала к атаке. Подняться из этого окна было равно тому, чтобы выйти на расстрел. А они поднимались и шли. Шли и побеждали. И снова окапывались на следующем плацдарме, и снова, учащенно дыша, выжидали сигнала к атаке, и снова бой во имя людей, за человека, каким он должен быть и какой он есть, такой обычный и столь необыкновенный, наш советский человек.

Широко и просторно плыла река, вольготно раскинувшись в своей сверкающей красоте. И когда на обрывистом берегу вырастали изломанные башни утесов, они походили на угрюмых стражей, которые караулят реку, чтобы она от них никуда не убежала и никто не похитил ее.

Река лилась под небом, укрытая небом, и по ней плыли белые пушистые облака. Потом ее стали тискать каменные, скалистые берега. И здесь она помчалась водяной лавиной.

Холодные чистые воды ее были столь прозрачны, что казалось — мы невесомо парим в ущелье, дно которого выстлано свежевыванной блестящей галькой и глыбами камня, борогато поросшими водорослями, шевелящимися, словно от дуновения ветра. Парим. Парим, увлекаемые не водным, а воздушным течением, будто на планере.

Отвесные слоистые стены ущелья отражались зыбко своими мрачными тенями и выглядели на воде, словно призрачные скалистые ее подводные гряды.

Там, где на дне реки покоились огромные обломки стен ущелья, река бесновалась над ними, тужась снести их со своего пути, вздуваясь упругими буграми водяных мышц, хрипя и рыча разъяренно над этими препятствиями, упорно крутя вокруг них свивающиеся в водовороты свои струи, напряженные, как туго натянутые нейлоновые тросы.

Река мчала нас. И я испытывал состояние невесомости, какое испытывает каждый из нас — во сне, в детстве.

Голубев обернулся ко мне и сказал:

— Ну что, здорово я угощаю вас рекой? Вот пожить бы при ней бакенщиком. А нам на земле тесно, в космос лезем. Кстати, при ее же собственном содействии.

— А при чем здесь река?

— При том, что для получения сверхлегких, сверхпрочных и сверхчистых сплавов потребны и колоссальные энергетические источники, питающие сверхмощные агрегаты, где почти при плазменных температурах выплавляются искомые материалы для одоления пространства со сверхзвуковыми скоростями в условиях обычного авиационного обитания с соблюдением правил при состоянии невесомости.

— И что при вашей новой инженерной специальности лишает вас возможности смотреть на реку не просто как на реку, а лишь как на некий электроэнергетический источник.

— Ну, это вы зря, — усмехнулся Голубев, — специальность человека не обезчеловечивает, как бы он ей ни был предан. А с этой рекой меня многое связывает.

— Вы что, сибиряк?

— В сущности, да. Но прибыл я сюда, если хотите знать, в годы войны. В теплушке с эвакуированными ребятами, хилый, слабый, заикался. Все мы были полудохликами, многие во время бомбежки раненные. Меня,

например, довольно основательно порезало вышибленным взрывом оконным стеклом. Порезы заживали плохо, лежал забинтованный. Почти не спал, плакал. Как все мы, о родителях. И была с нами тоже наша ленинградская, даже с одного дома, где я проживал, тоже сильно стеклом порезанная девчущечка, белобрысенькая, худенькая, скелетик. Но если многие из нас от слабости, от переживаний были уже как бы безнадежными и ко всему от этого равнодушными, то в этой девчущечке, хотя, когда она засыпала, нянька всегда пугалась, принимая ее уже за покойницу, было столько воли к жизни! И даже не к своей жизни, а за нашу тревога: бывало, сползет с постели, вся в прилипших к телу бинтах, обходит койки и каждого трогает, спрашивает: «Ты живой?» И требует: «Ты смотри, живи теперь обязательно, раз всех кормят так, что даже все не влезает».

Ели мы действительно помногу и хищно, не испытывая вкуса пищи, торопливо ее глотали и локти на столе вокруг миски широко, защитно расставляли, все боялись, что отнимут. — Голубев закурил жадно, продолжал неохотно, скорбно, словно заново переживая пережитое: — Ну, детьми в том понимании, какое у нас теперь существует, мы уже не были, что, конечно, трудно было понять и постичь нашим сердобольным воспитателям. Какие нам игрушки для развлечения ни придумывали — все зря. Способность к детскому воображению у нас отсутствовала. Хлопнет сильно дверь — мы под стол. Как рекомендовалось во время бомбежки. Если кто из наших ребятишек умирал, относились к этому спокойно. К покойникам мы привыкли еще дома. Возможно, я тогда самым дохлым был и по ночам больше других бессонно от тоски хныкал. Только девчущка эта, Нина ее звали, повадилась ночью ко мне под одеяло забираться, лежит, прижимается и шепчет сухими губами, прислонясь к уху, чтобы других не беспокоить. Серdito шептала, настойчиво: «Мы тут подъедем, поправимся, а потом с тобой на фронт убежим и будем убивать фашистов, украдем ножики из столовой и будем их резать, и за папу и за маму убивать будем, и за ребят с нашего двора, которых в бомбоубежище завалило. Но для этого надо сильно наесться, поздороветь, чтобы в ходячие попасть, и всех обманем и убежим».

И всегда она, каждый раз заново, придумывала, как легче в вагон пробраться, сколько еды надо на обратный путь запасти и какое время нам понадобится, чтоб отъесться получше и сильнее от этого стать.

Однажды воспитательница застала нас с ней спящими

в одной койке. Ну, понятно, как воспитательница на такое реагировала. Но Нина заявила ей с достоинством: «Ну и что такого, раз мы с ним с одного двора?» Выслушав возмущенные и негодующие упреки, сказала сердито: «Ничего вы не понимаете! Когда вся квартира во льду, кто будет спать в одиночку, тот застынет насмерть. Всегда у нас из разных квартир непомерших ребят собирали и всегда в одну кровать укладывали и со всех квартир одеялами накрывали. А кто в одиночку, те помирали». — Голубев смял в руке окурок и, не решаясь бросить его в реку, подавленно произнес: — Вот этот скелетик, Ниночка, меня, можно сказать, к жизни вернула, — девочка с нашего двора и дома, которого уже не было.

И, видимо, желая переменить тему разговора, осведомился:

— Ну, какое на вас произвел впечатление Евгений Иванович Сазонов? Вы же с ним беседовали... — Выслушав, снова, как обычно, с чуть насмешливой улыбкой пошевелил губами. — А ведь это, можно сказать, мой брат. Его отец Иван Филиппович забрал меня из детдома и усыновил, как он заявил, взамен своего сына, павшего на поле брани. Женя, его младший, вернулся с фронта покалеченным и сразу в цех... Вот, знаете, есть люди как бы с прирожденно развитой духовной культурой, высокой человеческой чуткостью — так вот это семья Сазоновых; горе, постигавшее их не однажды, они переживали каждый в себе, безмолвно, ради друг друга. Я не знаю, насколько применимо слово «деликатность», но в высшем смысле его это было проявлением ее самым самоотверженным.

Когда я прибыл в их семью, меня никто ни о чем не расспрашивал. Я вошел в жизнь этой семьи так, что сам не заметил, — это произошло столь естественно и обычно, будто иначе и не могло быть.

И единодушие этого семейства исходило от отца. Сильного, крепкого, всегда пахнущего окалиной и с пожизненно загоревшим от жара мартенов лицом. Со всеми он разговаривал одинаково деловито, без снисхождения к возрасту, как равный с равным. Ни от кого из нас, ребят, не требовали соучастия по домашним заботам, но если кто из нас проявлял самостоятельность, это подробно обсуждалось за столом с таким же уважением, с каким Иван Филиппович рассказывал о своей работе в цехе. Нас не приучали к труду, нас вовлекали в труд, потому что главное, что почиталось в семье, — это способности человека, выражаемые в труде.

Вопреки обычаю фотографии павших на фронте сыновей Сазонова были без траурных рамок, без букетиков бессмертников.

Сидя за столом, Иван Филиппович часто оборачивался к фотографии того или другого сына и говорил о нем как о живом, с гордостью.

— Василий в плечах узковат и долговяз для прокатчика. Но кто его разворотливей? Никто! Он полосу, как в цирке шелковую ленточку, обернет с ходу — и в калибр; не успеет уйти полоса, а он другую таким же манером; двумя-тремя клещами работал: пока двое клещей в кадке с водой остывают, он третьими клещами полосы мотает; а стан двухсотпятидесяти, на нем мужики работали — шея не менее сорок шестого размера, и те на лавку после десяти минут, сырые от пота, валились, а Вася все как играет, инерцию понимал, ею пользовался умно, работал с расчетом, обмысленно. Я вот помню, полосу в валках заело, и стало ее корчить, бросать из стороны в сторону. Так все разбежались, а Вася один на один ее, как гадюку, клещами зажал и натягивает, чтобы кого ею не покалечило. Надо думать, на фронте он так же надежен — по рабоче-солдатски.

А Миша на заводе механиком был, так и на фронт ушел механиком-водителем. Вот он любую машину понимал, как все равно человек человека. Большой любитель техники. Уж чего-чего, а его танк пропрет через любое препятствие, потому что двигатель всегда ухоженный.

И Голубев, как бы очнувшись от этих воспоминаний, сказал совсем иным тоном, ему только свойственным:

— Что касается младшего сына Сазонова, Евгения Ивановича, — с ним вы познакомились. Это человек удивительной открытости, чем он и привлекает к себе людей. И я бы от себя добавил — увлеченностью людьми. После окончания школы я хотел идти на завод к отцу... — Голубев поперхнулся, — к Ивану Филипповичу. Но на семейном совете постановили, чтобы я поступил в политехнический. Иван Филиппович категорически заявил: «Если ты когда в Ленинград захочешь, так как же мы тебя отпустим без высшего? Такой город знаменитый, а мы, выходит, тебя у нас до полного ума не довели. Нет уж, выучись на всю полную катушку, тогда и вали...» — Голубев смолк и погрузился в созерцание реки.

А река все текла и текла, бесконечно, преображаясь по мере того, как изменялись ее берега. Цвет неба, солнечные отсветы, которые блистали на ее поверхности, — все это

словно ее одеяние. И по реке разбегались длинные гибкие волны, будто сверкающие складки ее одеяния, и когда солнце стало близиться к заходу, река порозовела, но у берегов воды ее обрели пасмурный оттенок, и только на стремнине она самоцветно блистала еще, пропитанная насквозь светом и от этого глубинно-прозрачная.

— А что Нина? — спросил я.

— Нина? — переспросил Голубев, потупился, сказал глухо: — Думаю, завтра к утру мы будем проходить таежный распадок, который, собственно, сейчас не таежный распадок, а один из крупнейших рудников по добыче руд весьма редких и весьма ценных.

— Ну и что?

— А то, — почему-то раздражаясь, сказал Голубев, — когда я, будучи студентом, отправился сюда, в этот распадок, в качестве коллектора, то здесь я и встретил Нину в составе самодеятельного геологического отряда, который она, по существу, возглавляла. И, представьте себе, это уже был не скелетик в бинтах и коростах, а весьма привлекательная девушка с ворохом упругих, блещущих, как солома, волос, на обилие которых она всегда сердилась и почти герметически туго обвязывала косынкой. И, знаете, на лице у нее остались от порезов стеклом белые шрамы, когда она сердилась, они еще сильнее белели. — И пояснил: — Я это к чему такие роскошные подробности... Вот Стендаль писал, что Рафаэль искал красоту, копируя самые красивые из встретившихся ему женских головок и исправляя их недостатки. По-моему, зря. Симметрия и гармоническое совершенство нужны в технике, но не в живой человеческой природе. Она богаче и многообразней.

— И вы влюбились?

— Мог бы! Но знаете, когда девушка остроумна при всех обстоятельствах от неукротимой в ней живости ума и всегда обуреваема деловой деятельностью, то надо стать ее подчиненным на всю жизнь или самого себя посадить на цепь. Но вообще обстановка, в которой жил и работал отряд, не способствовала ни тому, ни другому.

Распадок, по дну которого протекал заболоченный родничок, был похож на лесистое ущелье, где в парном воздухе роились, как жгучая копоть, гнус, комариные тучи, слепни, словом, эти летучие хищные твари могли доводить человека до бешенства, до иступления. Все были в болезненных расчесах. А в сетках можно было задохнуться в этой таежной испарине. Мы сначала рубили просеку, затем копали поисковую траншею, и все это от восхода до

захода солнца, которого мы не видели в этих всегда сумрачных таежных дебрях. Питались мы рыбой и пресными блинами. Пили чай с хвойной заваркой. Обтрепались, закоптились от костров, дымом которых пытались спастись от этой жалящей сволочной мелюзги. И вид у нас был лесно-бандитский. А скорей нищенский жалкий, таких сразу кладут на больничную койку без предварительного осмотра.

А Нина, представьте, величала нас братьями разбойниками. И когда я, уснув у костра, спалил значительную часть бывших личных брюк, она сказала мне: «А ну, повернись, сынок! — и стала хохотать и приговаривать: — Это у тебя не мускулюс максимус, а полный их минимум». Так она выразилась и захотела собственноручно исцелить ожоги подорожником, уверяя, что она знакома со знахарским шарлатанством. А когда я ей сказал, что у нее у самой там, где полагаются у женщины выпуклости, одни впадины, она торжественно объявила: «Это я нарочно, чтобы у нас тут не было торжества моего соблазнительного феминизма, все-таки вы все тут в некотором роде полумужчины».

Мы работали как каторжники, и нас тошнило от запаха земли в траншее. Придя в исступление от укусов, мы пробовали обмазываться глиной, но это слабо помогало.

Как самодеятельный молодежный геологический отряд, нас снабдили скупо снаряжением, питанием, рабочим инструментом. Кроме того, у профессуры института существовало убеждение, что здесь нет и намек на полезные залегания.

Руководителем отряда был доцент Ивушкин, но он больше занимался рыбалкой или унылым ухаживанием за Ниной, чем нашей работой.

Однажды ночью мы сидели у костра, отдыхая в дыму от гнуса, и Фомичук, прибившийся к нам старатель, изгнанный из артели за лень и невезучесть, мощный мужчина с покатыми, как у медведя, плечами и могучим, как у гладиатора, торсом, выпаривал на огне что-то из своего исподнего снаряжения, Нина склонилась к нему и с негой осведомилась:

«Скажите, Фомичук, я вам нравлюсь?»

«А что, ничего», — не оборачиваясь произнес Фомичук, не прерывая своего занятия.

«Вы могли бы изменить со мной своей жене?»

«А я безбабый», — равнодушно сказал Фомичук.

«Ну, тем более, чего проще».

Фомичук оглянулся на Нину, спросил:

«Это к чему такой разговор скромный?»

«А вот Николай Николаевич Ивушкин, — она указала на Ивушкина своим угловатым, худым плечом, — считает, что стесняться в наших условиях нам нечего и не для чего. Он говорит, что человек хотя и принципиально новый вид животного, но животное в нем существует, и подавлять животное в себе бессмысленно и даже вредно».

Фомичук нахмурился, спросил неприязненно:

«Так мы от кого по-евонному, от скота или зверя?»

«Нина! — срывающимся голосом заявил Ивушкин. — Это что? Провокационный выпад?»

«Вот как сейчас Фомичук скажет, — взволнованным голосом произнесла Нина, — так я и поступлю. Ну, Фомичук, что мне сказать ему? — Нина снова пошевелила плечом. — Да или нет?»

Фомичук оглядел Ивушкина внимательно, помедлил, сказал сипло:

«Так ты вот какую кашитель здесь разводишь. Барышня вкалывает топором и лопатой, а ты к ней вяжешься. Да знаешь, что ты после этого последняя вошка? — И сказал, обращаясь к Нине, с упреком: — А ты зачем тут фигли-мигли разводила, сказала бы попросту — пристаёт! Ну, я бы его прихватил за жабры, к реке отнес и попридержал в воде до захлеба. Остудил. Откачал, но бить бы не стал, зачем же его бить, это нехорошо, неуважительное хулиганство. — Обратившись к Ивушкину, пояснил: — У нас в артели стряпуха на всех одна, но пока с тайги не вернемся, считаем, никому не доступная».

«А когда вернетесь?» — спросила Нина.

«Ну, это как кому подфартит, — сказал Фомичук. — У нас на этот счет строгий обычай: пока в тайге, не балуй».

«Ну вот, видите, обычай, — сказала Нина, обращаясь к Ивушкину, — с обычаем следует считаться». И засмеялась так заразительно и звонко, что даже впервые здесь Фомичук разразился рыком, широко обнажая свои беззубые десны с потерянными от цинги зубами.

Кстати, когда остатки нашего отряда зазимовали здесь, буквально подыхая от голода, этот Фомичук наладил нам связь с бакенщиком, проживающим на острове с довольно-таки миловидной супругой. Бакенщик основался безвыездно на острове в силу того, что на фронте его лицо было сильно искалечено, а без людей его жена, мол, перестала замечать его лицо. Бакенщик никого не пускал к себе на остров, но делился с нами последним. С бакенщиком общался Фомичук. Опытным взглядом бывшего фронтовика

разглядев его повреждение, Фомичук, как он нам сказал, заявил ему:

«Ну что ты, чудак, ходишь с такой рожей? Да тебе как фронтовику без очереди и промедления в больнице какую хочешь новую наладят».

Может, это сообщение Фомичука подкупило бакенщика на его самоотверженную щедрость. Ну, словом, с его помощью мы не только выжили, но и добыли в шурфе куски породы с драгоценными вкраплениями.

Нина ослабела, у нее началась цинга, я отвез ее с Фомичуком на остров и оставил на попечение бакенщика, а сам с образцами в мешке пошел пешком вдоль реки в сопровождении Фомичука.

На прощанье Нина нам сказала с насмешливой улыбкой на костистом бледном лице:

«Так что ж, ребятки, пионерский наш лагерь закрываем. Робинзонаде конец. А жаль, вы все такие симпатичные». И, обращаясь к Фомичуку, сказала нежно: «А вас я просто от души полюбила».

Фомичук промолчал, но потом я слышал, как он строго наказывал бакенщику:

«Кормить ее так, чтобы она с недожеванным куском засыпала. Совсем без тела девка. Умная, смелая, живучая. Но без фигуры какая у нее судьба, никто за себя взять не пожелает. Понял? На твою ответственность оставляю. Я человек мягкий, ленивый. Но ежели что, потом всю твою избу по бревнышку раскидаю — и в реку».

Мне же Нина сказала:

«Ну вот я снова дистрофичка. — Спросила, зажмурясь: — Ты меня такую помнишь: скелетик в бинтах, как я об тебя грелась?»

Вот тут я и решил с ней навсегда, на всю жизнь. Но она поняла и вызывая гневно сказала:

«А теперь проваливай. Но если трусишь до базы добраться, оставайся. Здесь люди жалостливы, не выгонят приживалу...»

И я ушел, кивнув ей только. Мне очень хотелось поцеловать хотя бы ей руку, лежащую, как высохшая ветвь, поверх цветастого одеяла. Вот какие дела были в этом у нас распадке, которого сейчас нет, а есть рудник, построенный на современном высокомеханизированном уровне.

На этом Голубев смолк. Река уже текла под звездным небом, и звезды жили на поверхности реки, трепещущие, как бы только что всплывшие из ее глубин, источающие свет живые существа.

От реки пахло холодом, а от тайги — настоем, душистым, смолистым, теплым и терпким.

Голубев потянулся и сказал:

— Насчет ужина сообразим, пристав где-нибудь к тихой заводи. Предупреждаю, я гурман не столько в пище, сколько в обстановке для ее принятия. Чем ближе к природе, тем яростней аппетит.

— Позвольте, ну а дальше что?

— Дальше? Потом образцы я доставил. Сложил их в экспозицию геологического музея на полку. И больше с геологами не связывался. Но Нина добилась разрешения на экспедицию, выскандалила где-то там в инстанциях буровой станок. Через год в эти же инстанции прибыли керны с таким богатым содержанием редкого металла, что были отпущены средства на оконтуривание рудного тела, материалы поступили в правительство, правительство приняло решение. А Нина — что ж, Нина лауреат, членкор и те пе и те де. Между прочим, этот металл нами, инженерами-механиками, используется для изготовления сверхмощных двигателей для сверхскоростных сверхдальних, и те пе и те де. Словом, в коловращении естества и река, и горные рудники, и энергетика, и моя новая специальность связаны одним общим узлом.

— А Нина? Ведь вы же ее любили и, очевидно, она вас?

— Возможно, даже более того — я считаю, что проскочил мимо огромной любви, со своей стороны, конечно. Поскольку, будучи не чужд сентиментальности и не обладая достаточной силой воли, не решился сказать ей о своей любви. А вернее, боялся с ее стороны какой-нибудь снисходительной шуточки по этому поводу. И не понял, что скрывалось за ее гордостью, недоступностью...

Я с ней встретился не столь давно на одном совещании. Красивая, статная, уже немолодая женщина с мешочками под глазами. Она сделала блестящий доклад. Я подошел поздравить ее, когда она с достоинством улыбалась всем поздравлявшим ее с успехом. Мы вышли с ней в вестибюль. Она сказала вдруг потерянно, с отчаянием в голосе:

— Ах, какие мы с тобой были дураки, какие дураки! — И отвернулась, и стала копаться в сумочке, очевидно, в поисках платка. И, не найдя его, сказала мне досадливо: — Ах, какой ты! Ну, почему свой не предложишь? Видишь, разиюнилась баба. — Возвращая платок, сказала уже совсем иным тоном: — Ну, как доклад?

И я, глупея, потерянно стал рассуждать о ее докладе так, словно участвую в его обсуждении. И даже сообщил,

что оставил гидродинамику и перешел на газовую динамику, и найденные возглавляемой ею экспедицией богатые месторождения редкого металла являются для нас весьма перспективными при проектировании и создании новых сверхмощных двигателей. Она снисходительно слушала, кивала. Потом твердо пожала мне руку и сказала:

— Благодарю за информацию, жалею, что не смогла использовать ее в докладе.

И все...

— И вы не решились?!

— Нет, не решился,— сказал, болезненно морщась, Голубев.— Не решился. Есть чувства, которые превышают обычные представления о любви. Возможно, мы с ней и не в равной степени испытывали нечто подобное друг к другу. Непонятно? Но это так!

Мы причалили к берегу заводи и вышли на тенистый берег, окруженный мрачной таежной чащей. Мы сидели у горящего костра, как на дне шахты, окруженные со всех сторон непроглядной тьмой.

Выплескивая из ведра с ухой тугую серую пену деревянной ложкой, Голубев говорил оживленно:

— Вот это жизнь! Река! Тайга! Уха! Что может быть лучше? Но если у человека есть мечта и он даст ей прокиснуть, такого человека, как говорил нам Фомичук, за жабры — и в воду до захлёба, после откачать и по шее.— Наклонившись, он сказал мне доверительно: — Над лопаточками турбин с присадками этого самого металла мы сейчас колдуем, представьте, в сплаве с другими он передает им свои свойства. При удаче сулит величайшую фантастику. Именно фантастику, как инженер вам говорю, именно фа-антастику.— Взяв миски, он пошел их мыть к реке и вдруг позвал меня.

И когда я подошел, я понял, зачем он звал меня.

Вошла полная луна и залила все своим недвижимым сиянием. И река купалась в этом сиянии, плескалась в нем, огромная, прекрасная, сверкающая и, казалось, сама источающая такое же сияние.

— Вот видите! — почему-то обидчиво произнес Голубев.— Ну что это? А начнешь объяснять, ерунда какая-то получается.— Вздыхнул.— Так вот и в жизни кое-что, бывает, не подчиняется словам — и все.

А река все лилась и лилась, неустанно хорошея, могучая, просторная и несказуемо прекрасная, полная жизни и удивительная, как сама жизнь.

Океан бушевал с возрастающей мощью.

Скальными, колыхающимися сизыми хребтами вздымались волны. Промежутки между ними были подобны темным ущельям, ущельям с шатающимися стенами, низвергавшимися гибельными обвалами.

Волны сшибались с волнами и рушились с каменным гулом. А в матовой мгле водяной пыли висела кроткая семицветная блеклая радуга, такая чуждая здесь, в бушующем океане.

Рыболовецкое судно «Капитан Полухин» трепало ураганным штормом. Траулер то вышвыривало на гребень гигантской волны, и тогда обнаженные гребные винты издавали отчаянный вопль, то накрывало пучиной, из которой судно выкарабкивалось по крутому скату новой волны, изливая с палубы водопады, чтобы снова опять быть погребенным следующим грохочущим валом.

Волны тяжело бились о корпус траулера, их удары сотрясали судно и звучали оглушающе, как взрывы.

Судовая команда жила и работала по авральному расписанию. На всех — неснимаемые спасательные оранжевые жилеты.

Когда велись палубные работы по устранению разрушений, моряки, подобно альпинистам, обвязывались страховочными концами, их накрывало волнами и швыряло, как буи, буи на привязи.

В герметически задраенном судне стояла влажная, парная духота. В машинном отделении тропическая, обморочная жара. Те, кто нес вахту на палубе, работали в обледеневших штормовках.

Ураган налетел внезапно, и во время спешной и трудной выборки трала капитану «Капитана Полухина» Василию Степановичу Шелесту лопнувшим стальным тросом рассекло плечо, раздробило руку, которой он все-таки успел

заслонить голову. Но сейчас он, в бинтах, с подвешенной на косынке рукой, с распоротым рукавом, но в застегнутом на все пуговицы кителе, находился в ходовой рубке.

Усохшее лицо его было серым, в щетине. Боцман, зябко ежась в мокрой робе и стесняясь того, что с него стекала вода и растекалась лужей по капитанской рубке, сипло канючил:

— Вам бы, Василий Степанович, в самый раз теперь принять и отдохнуть в каюте. Главное что? Трал успели выбрать и улов взяли. А ежели штормит, так на то и непогода, чтобы штормило. — Подумав, добавил: — Не я прошу, экипаж беспокоится.

— «Беспокоится»! — сердито произнес Шелест. — Практиканты, у тебя там, травят?

— В мертвую зыбь было. А теперь геройствуют как на пожаре.

— Выходит, оморячились.

— Так как, Василий Степанович, чего я могу им доложить?

— Доложите: капитан Иван Полухин не только ушибленный, а тяжело раненный свой боевой пост не покидал и того же самого нам всем велел.

— Это точно, — вздохнул боцман, — ну, а все-таки уважьте людей.

— Это ты их сам уваживай, — брезгливо буркнул Шелест, — орешь на матросов, в ходовой рубке слышно!

— Так ведь непогода голос глушит, ну, и надрываю глотку. На эсминце служил, боцманской дудкой пользовался, а на рыболовецком — голосом.

Шелест отвернулся и, неспешно прихлебывая из крышки термоса крепкий до черноты от щедрой заварки чай, не расплескивая даже при сильных ударах волн, стал прогуливаться по качающейся рубке с устойчивостью канатоходца.

Боцман, следя за ним печальными глазами, произнес задумчиво:

— Человек вы железо, Василий Степанович, — никакая ржа вас не берет.

— Железо, которое скрипит, — усмехнулся Шелест.

— Скрипеть вы до самого конца своей жизни не будете, — твердо объявил боцман.

— Это почему же?

— А все потому, кто воевал и выжил, тому навсегда заказано на высоком уровне оставаться. — Помедлил и добавил: — Хотя бы потомкам в назиданье.

В годы войны Василий Шелест ходил вторым помощником на корабле-охотнике, капитаном которого был Иван Полухин. Ставили мины, случалось, топили транспортники, ходили на десантные операции. Однажды совершили дерзкий таран фашистской подводной лодки, и пока сторожевик с разбитой носовой оконечностью погружался, Полухин с высоты своего капитанского мостика отдавал приказание экипажу о пленении успевших всплыть фашистских подводников. Что на самом деле выглядело не чем иным, как спасением утопающего противника командой утопающего советского корабля. Затем в шлюпках выгребали к суше в пургу, в стужу.

В пути подобрали с надувного плота четырех моряков, с потопленного немецкой подводной лодкой американского конвойного корабля. Один из моряков был офицером. Пользуясь тем, что Полухин владеет английским, офицер твердо объявил, что на правах старшего по званию берет команду на себя и приказывает вышвырнуть фашистов-подводников за борт, потому что именно они потопили его корабль. На что Полухин объявил:

— Хотя вы и старше по званию, но находитесь на борту советского плавсредства, и, значит, согласно морскому закону, подчиняетесь мне. И команду здесь — я.

— Вы баптист? — спросил офицер.

— Коммунист! — ответил Полухин.

— Вы плохой коммунист! — твердо сказал американец. — Вам надо быть священником!

— Это вы меня крепко аттестовали, — улыбнулся Полухин. — Для веселья шутите?

— Здесь шутить? — Офицер пожал плечами. — Сидя в гробу, в плавучем гробу.

— В гробу не сидят, а лежат, — заметил Полухин.

— Вы крепкий человек, — похвалил офицер и торжественно заявил: — Когда мы станем снова тонуть в этом адски холодном вашем Баренцевом море, с таким, как вы, человеком, я буду чувствовать себя несколько теплее.

— Выгребем, — твердо сказал Полухин. — Нельзя нам не выгребсти. Не позволим себе нарушить гостеприимство.

Джек Харди, так звали американского моряка, строго спросил:

— У вас есть медальон?

— Имеется, — сказал Полухин.

— Меняемся! — предложил Харди.

— Зачем?

— Затем, что я доверяю вам свое имя, а вы мне, если позволите, свое.

— Пожалуйста,— согласился Полухин и предупредил: — Но недоразумения в случае чего не будет, опознают по обмундированию.

— Я не возражаю, если даже не опознают.

— Спасибо,— сказал Полухин.— Вы настоящий моряк!

— Вы тоже.

Их подобрал наш эсминец. Занесенных снегом, обмороженных, подняли на таях прямо в шлюпках на борт корабля. Они вываливались на палубу, застывшие, обессиленные. Когда эсминец вошел в бухту, все корабли, стоящие на рейде, торжественно украсились вымпелами морского свода. А на причале выстроился оркестр и исполнил гулко марш в честь экипажа капитана Полухина.

Прощаясь, Харди, задерживая ладонь Полухина в своей руке, дружески подмигнув, сказал:

— Все-таки вы не настоящий большевик. Большевик должен быть — вот! — Харди показал сжатый кулак, скорчил свирепую мину, произнес укоризненно: — А вы? — Пояснил с нежной улыбкой: — Просто храбрый, добрый человек.

— Ну вот еще,— смутился Полухин и сказал по-русски: — Такой, как все наши.

— Не понял? — сощурился Харди.

— Вы нас извините,— попросил на английском Полухин,— забыли посоветовать салом лицо намазать. Теперь обмороженные места темными пятнами навсегда останутся.

— Но здесь,— Харди приложил ладонь к груди,— нет пятна и хорошо навсегда. Ну что же, прощайте! — И Харди снова, заговорщически подмигнув, сказал вполголоса: — Все-таки вы, пожалуй, большевик, но не тот, какими я себе их представлял, но гораздо лучше. Чему я рад, между нами говоря...

Спустя некоторое время Полухин был награжден американской медалью.

— Это что, за спасение на водах? — осведомился Полухин.

— Нет, за боевые заслуги!

— Корабль свой я же все-таки утопил,— вздохнул Полухин.— И он мне как живой снится...

Вскоре капитан Полухин погиб. Погиб, прикрыв бортом

своего нового сторожевика от фашистской торпеды канадское многотоннажное судно, следующее в составе каравана.

Подорванный сторожевик еще оставался на плаву и, погружаясь, вел огневой поединок с фашистскими самолетами, а караван судов в сопровождении конвоя все дальше и дальше отдалялся от гибнущего корабля.

Прибыв в Мурманск, группа канадских моряков спасенного Полухиным транспортника отправилась в донорский пункт, и там они потребовали, чтобы у них взяли кровь для раненых советских моряков, но чтобы при этом каждому из них выдали документ, сколько каждый из них отдал своей крови в благодарность за спасение своей жизни.

Василий Шелест считал себя моряком полухинской выучки. Вместе с ним он участвовал в десантной операции по захвату береговой батареи противника. Под огнем высадились в бухту и в пешем строю вместе с морскими пехотинцами атаковали гарнизон. И пока продолжался рукопашный бой, Шелест вместе с боцманом закладывал в горячие жерла стволов взрывчатку и подрывал крупнокалиберные береговые орудия, затем они отходили, преследуемые торпедными катерами, прикрываясь дымовой завесой. Иван Полухин скорбно сказал Василию Шелесту, стоя на открытом мостике:

— Вот, послал в штаб донесение: «Боевой приказ выполнен. С нашей стороны потери в живой силе незначительные». А что значит незначительные? Когда каждый наш человек очень даже сам по себе — значительный, никто из них еще полжизни не прожил. И у каждого из них эта вторая половина жизни могла быть выдающейся и просто замечательной, а мы их потеряли, потеряли для всей нашей Родины...

— Без потерь боя не бывает, — заметил Шелест.

— Я так считаю, — сказал Полухин, — каждая наша потеря — тяжелая и невосполнимая, и не в смысле пополнения, а в большом человеческом понимании. — Помедлив, добавил: — После этой войны все люди все-таки поймут, что они все — люди...

А затем капитан Полухин приказал снизить ход до самого малого, и сторожевика окутал мрак поставленной им дымовой завесы, и, когда преследующие корабль торпедные катера выскочили на полном ходу из дымовой завесы, по ним как бы «с тыла» был открыт внезапный сокрушительный огонь из всех стволов.

После завершения боя с торпедными катерами капитан Полухин сказал сурово:

— Они так считали, — мы от них убегаем. А советские корабли от боя не убегают, они его ищут. С умом ищут, как положено с умом воевать.

После войны Василий Шелест стал капитаном рыболовецкого траулера. И здесь он придерживался такого же строгого уставного порядка, какой существовал на боевом корабле.

Говорил непреклонно:

— Моряк — это звание. Не пароходству служим — советскому флагу.

В кают-компании траулера висел большой портрет капитана Полухина в парадной форме. В застекленном витраже лежали его кортик, погоны, боевые ордена и копии приказов, за какие подвиги получены награды. И хотя не принято называть рыболовецкое судно кораблем, в нарушение правила экипаж «Капитана Полухина» называл свое рыболовецкое судно кораблем, а себя — полухинцами, как это было принято в годы войны называться именем командиров, прославившихся подвигами.

Сам капитан Шелест, когда его спрашивали на базе: «С какого вы судна?» — гордо отвечал:

— С «Капитана Полухина»!

Для него капитан Полухин на всю жизнь оставался образцом командира-человека. И на рыболовецкий траулер он пошел только потому, что узнал: этому судну будет присвоено имя «Капитан Полухин».

Служить под командой Василия Степановича Шелеста было трудно, от палубного матроса до первого помощника он непреклонно требовал скрупулезного соблюдения строгих правил службы, принятых только на военных кораблях.

— Первое — ты моряк, и никаких рыбацких вольностей, — строго предупреждал он.

Тралмейстер Григорий Флегонтович Захаров ценил флотскую выучку Шелеста, но с позиции опыта своей рабочей профессии относился к Шелесту со сдержанной неприязнью.

— Если я улов не возьму, — ворчал Захаров, — какое место наше на флотилии? Последнее. А мы первое держим, рыбак — тот же моряк, но кроме судовой службы должен чутьем понимать насквозь, что под килем: пустая вода или косяк ходит и на какой глубине, какая порода и чем хитра.

Эхолот, конечно, техника — засекает. Но надо сноровку иметь, чтобы не упустить. Рыба пошла нервная, на шум гребных винтов реагирует. Соображать надо! А если я, как и положено при тралении, команду на себя беру, товарищ Шелест так на меня сверху вниз глядит, словно я на его судне практикант необученный. Выберем трал — немедленно требует окатывать палубу, чтобы чешуйки на ней не оставалось, словно рыбой брезгует. Разве не понимаете, на рыбацком судне служит?

Моряк, каких мало. Мое дело понимает, но вида не показывает. У каждого своя спесь. У него — своя, у меня — своя.

И сейчас, находясь на штурманском мостике, Захаров уныло жаловался Шелесту:

— Попортите вы мой улов в таком штормяге.

— Твой? Тоже мне собственник, — усмехнулся Шелест.

— Тогда держали бы курс прямо на плавбазу.

— Бортом против волны идти, так, что ли?!

— Рыба в трюме о стенки колотится.

— На плавбазе в такой шторм улов все равно не примут.

— Главное, надо вас срочно на плавбазе госпитализировать — ранение же!

— Ты о чем больше заботишься, о рыбьем или о моем здоровье?

— О вашем.

— Как же, знаю тебя — рыбий бог.

— Напрасно вы так выражаетесь, — упрекнул Захаров, — я же вас морским богом не обзываю. — Произнес задумчиво: — Хорошо, я большой улов взял, под самую горловину трюмов, а то бы разбило в кашу.

— Сдали б на рыбную муку!

— По сниженной цене.

Шелест толкнулся поврежденной рукой о компасную колонку, болезненно сморщился, произнес резко:

— Не ной, Григорий Флегонтович, не тревожь себе душу, доставим твой товар в целости...

— Вас вызывают! — сказал боцман и кивнул на переговорное устройство.

Шелест снял с зажимов массивную телефонную трубку, приложил к уху и, мерно покачиваясь на широко расставленных ногах, произнес отрывисто:

— Доложить на плавбазу! Связаться с береговой охраной! Идем на сближение. — Повернулся к боцману: — Ко

мне помощника. Поднять свободных от вахты. — Пожевал губами, пояснил боцману: — SOS приняли.

— От нашего?

— От ихнего.

— Где примерно?

— Из двухсотмильной зоны.

— Так мы же с полным уловом, доказывай потом, — встревоженно запротестовал Захаров. — Им сейчас что от нас надо — втравить в нарушители.

— Люди гибнут! — сурово прервал Шелест.

— А ежели провокация?

— Тогда скинь улов за борт.

— Еще чего! Да любой мало-мальски порядочный сразу рассудит: улов взят давно. И в бортижурнале записано, когда и где брали.

— Затрепыхался. Рыбу жалеешь!

— Так инструкцию нарушаем!

— А мы по морскому закону живем! Приняли SOS — значит, все. Он над всеми нами закон, высший...

Круто меняя курс, на развороте траулер накрыло тяжким валом, порвались деера, и на правом борту, словно от удара ледяной глыбы, прогнулись шлюпбалки. И пока вал не скатился с судна, в погруженной в водяной мрак рубке светились только катушка компаса и пульта навигационного оборудования. Высветлело, когда судно подняло на новую волну. Шелест, опираясь спиной на стойку рубки, прижимаясь губами к микрофону, медленно, отдельно приказывал радисту:

— Устанавливай связь с терпящими бедствие! Прервалась? Не отвечают? Что значит никак? Действуй! А что береговая?.. Требуй! До полного обалдения вызывай! И чтобы подтвердили прием! База как?.. Дали добро! Передай: пусть со своей стороны с береговой связываются. Все документируй на бумаге. Как положено. И долби эфир, долби, как дятел, долби. Требуй подтверждения от береговой... Что значит, если не подтвердят? А ты их по-человечески, по-флотски, обзови как следует — поймут.

В трубку вместе с волной вскочил первый помощник.

Шелест брезгливо заметил:

— Отката что? Выждать не мог?

Помощник доложил:

— Документация в полном порядке. Идем с законным уловом, взятым в законных водах. Сигнал SOS приняли там

же, где и курс сменили. Запись запросов на береговую ведется.

— Канцелярией занимался?

— Проверил для страховки!

— Их же соотечественники погибают, — сухо произнес Шелест. — И хоть бы и не соотечественники. Действуем, как всеобщий морской долг велит!

— Долг — по-человечески, а формальная сторона сама по себе.

— Значит, по-твоему, так, — человек тонет, а я буду сначала всякие бумаги прояснять, прежде чем на помощь кинуться?

— Анекдот, конечно, получается. Но фактически — так.

— А я так считаю, — сердито заявил Шелест, — мы под своим флагом плаваем, и у нас свой закон, своего флага. Даже когда фашистский корабль топ и нас их авиация прицельно бомбила, пока мы их команду не подобрали, мы дымовую завесу не ставили. Нарушали инструкцию, себя под бомбежку подставляли, по соображению человечности — по закону своего флага.

Помощник пожал плечами, спросил:

— Разрешите находиться в радиорубке?

— Давай, давай, — сказал Шелест, — главное, от береговой получить подтверждение.

Помощник, помедлив, осведомился:

— Поскольку с терпящими бедствие связи нет, больше сигналов от них также нет, следует предполагать худшее.

— Значения не имеет, — буркнул Шелест. — Обязаны прийти и вести поиск.

Дождавшись откатной волны, помощник выскочил из рубки, и ревущий ураган плеснул kloкочущей пеной, словно метнул снежным сугробом.

Шли в гудящем, вопящем ночном мраке. Сила и грохот волн были равны землетрясению, и обвалы волн были подобны горным обвалам.

В ярком свете прожекторов вздымались черные ползучие сопки волн. Подошли к объятому дымом, потерявшему ход, с опасным дифферентом на глубоко вмятой, разъятой корме грузовому судну с высоко вздернутой, как скала, носовой оконечностью. После многих бесполезных попыток удалось забросить на грузовик сначала лить, который матросы грузового судна вытравили и затем закрепили стальной трос, поданный с траулера. Но Шелест знал: взять на буксир судно — безнадежно, но удерживать, что-

бы оно не становилось бортом на волну и не опрокинулось, теперь было можно.

И все-таки капитану Шелесту удалось перебросить на аварийное судно своих моряков во главе с боцманом и, пользуясь тем, что ураган пошел на убыль, принять в растянутую над палубой прочную капроновую сеть, назначаемую обычно для пробного лова, отчаявшихся матросов с грузового судна.

Боцман с помощью приемно-передаточной переносной радиоустановки, снятой со спасательной шлюпки, доложил Шелесту о том, что грузовик получил повреждение кормы от американского эсминца, который после нанесения удара, не снижая хода и не меняя курса, ушел, невзирая на подаваемые сигналы бедствия. Судно гружено джутом. Джутом самовозгорелся от проникновения воды сквозь трещины в сварных швах. Судно типа «Либерти», которое наспех строили в годы войны на верфях США и которое должно уже давно быть списанным за непригодностью. Судно плавает под пуэрто-риканским флагом, хотя принадлежит американским судовладельцам.

Радииста на нем нет, его подменяет кок. Пожарная сигнализация в трюмах была неисправна. В составе экипажа электрика нет. Плана судовых помещений нет. Но боцман такого типа судна знает, ему все ясно. Поэтому предлагает: поскольку команда снята, а судно продолжает гореть, дифферент на корму увеличивается, надо, первое — попытаться погасить пожар путем затопления грузовых трюмов, второе — затонить так, чтобы устранить дифферент и поставить судно на прямой киль. Что он и начал делать. Сначала помалу. Поэтому просит — заслонить сухогруз траулером от большой волны. Чтобы не опрокинуло, пока он будет его ставить на киль и гасить пожар...

— Почему их экипаж сам такие меры не принимал? — спросил Шелест.

— Да разве это моряки? — сказал боцман. — Понабрали в рейс пуэрто-риканских мужиков безработных. Разве моряк пошел бы на такой ржавой таре в плавание?

По регистру дозволено судну ходить только в каботажное. А они в открытый океан полезли. Но, может, иначе их все равно бы штормом о побережье расколотило. И так худо, и иначе еще хуже. Значит, действую по аварийно-спасательной инструкции.

И больше на связь боцман не выходил.

Вскоре вахтенный доложил Шелесту, что приближа-

ются катера береговой охраны. Шелест вышел на открытый ходовой капитанский мостик.

Василия Стенановича Шелеста томил жар. были поврежденные плечо и рука под покоробившимися от загноившихся ран бинтами. Тело покрывалось теплым потом. Порывы холодного ветра не остужали его. Шелест успел побриться одной рукой и наспех заколоть на разбитой руке распоротый рукав кителя. Во рту было сухо, его знобило. Когда он зашел в каюту, чтобы привести себя в порядок и сменить влажную от пота нижнюю рубашку, он обнаружил на своем теле пухлые, бархатистые багровые пятна, они не болели, но Шелест понял, что означали эти гангренозные отеки, возникавшие у раненных в бою моряков, когда их слишком поздно удавалось доставить в госпиталь. Оставшись один в каюте, он испытал приступ тяжелой тоски, тянуло лечь, закрыть глаза. Он видел воду в графине, хотелось пить, но не было сил дотянуться до графина. Он сидел на койке, понуро опустив голову. Затем резко поднялся и, не притронувшись к графину с водой, вышел на палубу, повинаясь только воле своей, своему капитанскому долгу.

Он смотрел на воду океана, на волны: присмирив, они накатывались, глянцево-сверкающие, льдисто-прозрачные, уже одоленные мужеством и стойкостью его команды.

От изнеможения он испытывал только глубокое равнодушие к тому, что за всем этим дальше последует.

Катера береговой охраны прошли мимо грузового аварийного судна. Катер с вымпелом командира, развернувшись, подошел к траулеру с подветренной стороны. По специальному штормтрапу поднялись представители береговой охраны в сопровождении вооруженных моряков. Шелест жестом пригласил их к себе в каюту. Вошли трое. Высокий, худощавый, со смуглым пятнистым лицом в черном форменном макинтоше; второй — толстый оттого, что поверх мундира был надет стеганный, самонадувающийся при соприкосновении с водой спасательный костюм — чиновник береговой службы; когда он поднимался по штормтрапу в своем специальном комбинезоне, он цеплялся за канатные поручни, как тонущий за спасательный конец, войдя в каюту, споткнулся о комингс. Третьим был седовласый, обрюзглый, в штатском. Он отрекомендовался Шелесту:

— Переводчик Волконский!

— Князь? — осведомился Шелест

— Нет, просто Волконский.

Высвободившись с помощью Волконского из спасательного костюма, чиновник береговой службы бесцеремонно уселся за рабочий стол капитана Шелеста, обернувшись к переводчику, сказал:

— Скажите капитану, чтобы все документы сюда! — и похлопал ладонью по доске стола.

Переводчик сказал:

— Господин капитан, будьте любезны ознакомить нас с судовыми документами!

— Вас? — спросил Шелест.

— Нет, этого джентльмена!

— Вы его считаете джентльменом?

— Ну, что там такое? — нетерпеливо осведомился чиновник.

— Скажите ему, что он находится в наших водах и пусть благоразумно подчиняется.

— На своем корабле команду я, — сказал Шелест.

Переводчик, конфузясь, сказал:

— Господин капитан просит, чтобы вы ему представились!

— Не прошу, а требую. — поправил Шелест.

— Вы знаете английский?! — поднял брови переводчик.

— Нет, интуиция, — сказал Шелест и, обратившись к присутствующему здесь судовому профоргу Лисичкину, попросил: — Дай ему, Сережа, все приготовленные бумаги, знаешь, где они у меня лежат?

Покосившись на Шелеста, сидящий за столом сказал переводчику:

— Можете сообщить ему, — меня, допустим, зовут Фрэнк Гастингс и я имею далеко идущие полномочия. Этого достаточно!

Выслушав переводчика, Шелест заметил:

— То, что этот тип не флотский, это ясно. Но вот к какой береговой службе принадлежит, тоже становится понятным.

— Перевести? — осведомился переводчик.

— Как вам угодно!

— Пока воздержусь, — усмехнулся переводчик.

— Занимайтесь документами, Гастингс, — нетерпеливо посоветовал офицер в черном макинтоше.

— С формальной стороны, к сожалению, все в порядке. Для привлечения весьма сомнительно. Но не будем терять надежды. — цедил сквозь зубы морской чиновник. — Все-

таки интересно, какого черта они полезли в зону с полным уловом? Хотя документы свидетельствуют, улов взят законно, вне пределов двухсотмильной зоны. — И, усмехнувшись, добавил: — Можно подумать, у них на борту юрист.

— Они вошли в зону после принятия сигнала SOS, — напомнил офицер. — Но с нашего эсминца сообщили, что пуэрториканец разбит ураганом и погиб у них на глазах. Поэтому ни мы, ни спасатели не вышли в море, а вот он, пуэрториканец, на плаву, — заметил офицер.

— Учтите, Харди, — флаг пуэрто-риканский, но доход от страховки американский. И не исключено, что судно еще может благополучно пойти на дно.

— На нем продолжают вести аварийно-спасательные работы советские моряки.

— Хотят поживиться на основе морского права «без спасения нет вознаграждения», — иронически усмехнулся Гастингс. — Это их дело! А мог быть заработок наших спасателей. Надо приказать снять с судна советских моряков!

— Это будет нарушением морского закона, — твердо объявил Харди.

— Было бы все-таки интересно посмотреть, как судно пойдет на дно.

— Я видел достаточно в годы войны, — резко заметил Харди.

— Вы не могли бы помочь мне, Харди, советом, какие в данной ситуации капитан траулера допустил или мог допустить отклонения от правил?

— Он действовал законно, как моряк!

— Но траулер, как тут, в судовом журнале, отмечено, в течение нескольких часов пытался выйти на связь с береговой охраной. А подтверждения, что связь с вами была установлена, в вахтенном журнале нет.

— Наше командование полагало, что советский траулер в такой шторм не пойдет оказывать помощь терпящему бедствие судну, — брезгливо сообщил Харди.

— А вы сами как полагаете?

— Мой катер находился в полной готовности. Ждал только приказа.

Шелест, сидя на диване, рядом с моряком, слушал эти реплики с каменным лицом глухонемого.

После долгого и тщательного изучения судовых документов Гастингс сказал переводчику:

— Объявите капитану, что я должен ознакомиться со

всеми судовыми помещениями с целью обследования, нет ли запрещенных грузов, — скажем, оружия, разведывательного электронного оборудования, контрабанды и прочего.

Переводчик сказал:

— Мистер Гастингс просит разрешения ознакомиться с кораблем.

— Сережа, проводите этого типа по кораблю, — приказал Шелест.

— Я полагаю, что это обязанность капитана, — останавливая рукой профорга, изрек Гастингс.

— Передайте ему, что, я считаю, для него достаточно рядового матроса.

— Вы что, не видите, — упрекнул Харди Гастингса, — капитан ранен!

— Вы ранены, капитан? При каких обстоятельствах? Огнестрельное, да? — оживился Гастингс.

— Скажите ему, — заявил Шелест, — чтобы он выполнял свои обязанности. А для личных бесед я его не задерживаю.

Гастингс в сопровождении профорга и переводчика вышел.

Морской офицер, находясь в каюте, не спускал взгляда с фотографии капитана Полухина, стоявшей в кожаной рамке на столе Шелеста. Затем он встал, подошел к столу, наклонился над портретом. Потом взял портрет в руки и стал его пристально разглядывать.

— Поставьте обратно, на место! — но-английски сурово произнес Шелест. — Вы здесь не у себя дома!

— Вы говорите но-английски?

— Как и полагается капитану дальнего плавания!

— Но вы скрывали?

— Нет, но о чем мне говорить с вашим приятелем?

— Это не мой приятель!

— А чей?

— Мне кажется, вы поняли род его службы.

Шелест чувствовал себя скверно, плечо опухло и ныло, рука, висящая на перевязи, тяготила своей свинцовой болью, лицо было потно, бледно.

— Вам лучше прилечь, капитан, — сочувственно произнес офицер.

— Ваш приятель решит, что я симулянт.

— Я же вам сказал, он не мой приятель!

— Я не хотел вас обидеть!

— Как же, не хотели! — резко оборвал Харди. — Впро-

чем, заслуженно. Он ведет себя вызывающе! И я должен был ему напомнить о правилах поведения на палубе иностранного корабля.

— Он действительно полагает, что мы нарушители?

— Ему хотелось, чтоб это было так.

— А вам?

— Ваше судно, а не наше оказало помощь терпящим бедствие в наших водах. Ваш экипаж заслуживает восхищения мужеством и благородством.

— Это честно, по-флотски!

— Я моряк. Кстати, капитан, учтите, что судовладельцы, конечно, будут настаивать, что вы оказали только услугу, тогда премия окажется совсем незначительной. Но мое несомненное мнение — совершена акция спасения, тогда вам по закону полагается одна треть стоимости грузовоза, которую должна выплатить американская судовладельческая компания.

— Но судно шло под пуэрто-риканским флагом.

— Да, но судовладельцы не они. И вы лишили судовладельцев страховой премии и наносите им еще один убыток — выплату вам одной трети стоимости судна. Гастингса это чрезвычайно раздражает и не устраивает.

— А он тут при чем?

— Гастингс находится сейчас в особо затруднительном положении. От судовладельческой компании он получил официальное подтверждение, что грузовоз погиб. Поэтому выход в море спасателей был отменен по их требованию. Если Гастингс не найдет убедительных доказательств, что вы нарушители зоны, его ждут неприятности.

— С чьей стороны?

— Со стороны владельцев судна, естественно. А они весьма влиятельные люди.

— Но разве он у них служит?

— Нет, но косвенно — да.

— Так, — протяжно произнес Шелест, — и что будет дальше?

— Вы спрашиваете мое мнение?

— Да.

— В локатор я вел наблюдение за вашим траулером вместе с дежурными. У нас сложилось такое представление, что вы сами вот-вот запросите помощи. И была отдана команда спасательному судну, находящемуся в полной готовности. Но когда вы сменили курс, мы были крайне удивлены. Даже больше — поражены.

— А за грузовозом вы не вели наблюдение?

— Только до того момента, как после сигнала SOS мы получили их отказ от оказания им помощи, а затем уведомление судовладельцев о гибели их судна.

— Но почему они отказались?

— Сигналы SOS подал не радист грузовоза, а кок. Отказ, последовавший после сигнала, передал капитан судна.

— Но он только шкипер!

— Это безразлично. Он командовал судном и, очевидно, по особому соглашению с судовладельцами взял на себя такие обязанности.

— Но они незаконны!

— В некоторых случаях на старых, подлежащих слому посудинах к таким договоренностям прибегают.

— Так. Но если вы вели наблюдение за нашим траулером, вы же знали, мы в зоне не опускали трал, а все время были на ходу.

— Опускать трал в такой шторм? Это же ребенку ясно — невозможно.

— И вы это сможете подтвердить?

— Каждый моряк знает — это фантастическое и даже пустое предположение. Но вообще я по личной инициативе на вашем судне, по службе мог оставаться на берегу.

— Тогда зачем вы здесь?

— Меня заинтересовало название вашего траулера.

— У нас такой обычай — называть суда именами наших лучших людей.

— Хороший обычай! Надеюсь, капитан Полухин жив?

— Погиб.

— Когда?

— Это не имеет значения.

— И эта фотография капитана Полухина на вашем столе?

— Да, его.

— Вы можете мне ее подарить?

— Зачем?

— Она мне нужна.

— Ну что ж, возьмите, — вздохнул Шелест. — Он погиб, прикрыв своим кораблем от торпеды канадский транспортник.

В каюту вошел Гастингс в сопровождении переводчика, лицо Гастингса было озабоченно, озлобленно, хмуро. Сел, помолчал, заявил:

— Капитан! Я требую, чтобы вы немедленно сняли всех своих моряков с пуэрто-риканского грузовоза.

— Они еще не завершили свои спасательные работы.

— Я обязан проверить не только по документам состав вашего экипажа.

— Чем это вызвано?

— Бывает, что на судах оказываются люди сверх состава команды, люди, имеющие особые миссии.

— Может, он сочтет более для себя удобным подняться на палубу пуэрто-риканского судна и там проверить моих людей? — обратился Шелест к переводчику.

— Не хотите ли вы потопить меня вместе с грузовозом и вашими людьми? — возмутился Гастингс.

Шелест пожал плечами.

— Вы допросили пуэрториканцев? — осведомился Харди.

— Они счастливы, что оказались под красным флагом, черт побери, — с бешенством произнес Гастингс, — и лопочут о неслыханном геройстве своих спасителей, которые переодели их в свою одежду и превратили свою кают-компанию в комфортабельную гостиницу. Представьте, как они будут на берегу воздавать похвалы коммунистам?

— На два слова, Гастингс! — брезгливо поморщился Харди, поднялся и показал глазами на дверь.

Они вышли на палубу. Переводчик, онасливо озираясь на дверь, вполголоса произнес:

— Как русский человек не могу не выразить...

— Бывший русский, — сказал Шелест.

— Умолкаю! Но, капитан! Будьте благоразумны. Я бы вам советовал.

— Не надо, — попросил Шелест, — вы здесь не в качестве советника.

— И все-таки я должен вам сообщить весьма неприятное. В личном списке состава экипажа у вас числится Иван Полухин. Но его нет! Нет на корабле, нет на грузовозе, что подтверждают и члены экипажа. Он исчез! Господин Гастингс настаивает на надлежащем расследовании.

— Иван Полухин зачислен в состав нашего экипажа посмертно на все времена.

— О, тогда я доложу! — встрепнулся переводчик.

— Не надо, — сказал Шелест, — не ставьте в глупое положение Гастингса, оно и так достаточно глупо.

— Тогда еще один момент.

— Нет, — сказал Шелест, — я настаиваю, чтобы вы выполняли только функции переводчика. И могу выслушать вас только как переводчика.

— Как вам угодно, капитан, но, очевидно, не я, а вы об этом будете сожалеть.

— Об исчезновении Ивана Полухина с борта нашего корабля — эта ваша версия, господин переводчик, даже для Гастингса неприемлема... — устало и равнодушно произнес Шелест.

Офицер вернулся в каюту вместе с Гастингсом. Лицо офицера было суровым. Губы до бледности сжаты. Гастингс искательно улыбался.

— Господин капитан, я имею честь вам объявить: с нашей стороны к вам больше претензий нет. — Гастингс оглянулся вопросительно на Харди и добавил: — Со своей стороны мистер Харди, — помедлил уныло, — и я, Гастингс, свидетельствуем вам свое глубокое уважение и... — снова оглянулся на Харди, — и восхищение проявленным мужеством вашего экипажа по спасению пуэрто-риканского судна. — Снова оглянувшись на Харди, произнес иронически: — Как видите, я текстуально точен.

Харди кивнул, произнес повелительно, сквозь зубы:

— И последнее: мы приносим вам свое извинение.

— Но долг есть долг... — сухо закончил Гастингс.

Харди прервал Гастингса и повелительно приказал:

— Мистер Гастингс хотел бы позжать вам руку.

— Но об этом мы не договаривались! — воскликнул Гастингс.

— Ничего! Вам это будет полезно, Гастингс.

— Но вам, Харди, это может сильно повредить, — огрызнулся Гастингс.

— Не больше, чем вам, Гастингс.

Шелест вышел к трапу проводить представителей береговой охраны после того, как все соответствующие бумаги были ими подписаны.

Харди стоял у трапа, лицо его было нахмуренным, озабоченным. Он выкидал, пока моряки подхватили на руки Гастингса, высаживая его на катер береговой охраны. Повернувшись к Шелесту, Харди сказал:

— Я знал капитана Полухина, и вы, возможно, это поняли!

— Я только догадывался, — сказал Шелест.

— Но я не давал для этого повода.

— Я был вместе с вами на шлюпке в Баренцевом море. Лицо ваше забыл. Но по пятнам после обморожения припомнил.

— Сразу?

— Да, почти.

— Почему не сказали?

— Я не хотел, чтобы такие воспоминания затрудняли вам исполнение вашей миссии.

— Из одной советской гордости?

— Нет, просто думал, кто испытал в годы войны флотское братство, тот навсегда будет верен морской чести! — Шелест участливо спросил: — Гастингс может подложить вам свинью?

— Может, но не сможет. Нас, ветеранов войны, осталось мало на службе. Но в торжественных случаях некоторые из нас носят советские ордена и медали, и для таких нет обстоятельств, при которых бы они их сняли.

Харди выпрямился, поднял ладонь к фуражке, громко и отчетливо произнес:

— Счастливого плаванья, капитан Шелест!

И, не держась за поручни, спустился по трапу на палубу катера береговой охраны.

Прозвучали прощальные судовые гудки, и катер береговой охраны, качаясь на волнах, устремился к невидимой суше.

Спустя некоторое время подошедшее спасательное судно США приняло на свой борт пуэрториканцев и взяло на буксир стоящее теперь уже на прямом киле грузовое судно. Но это уже было не спасение аварийного судна, а только услуга, оплачиваемая значительно ниже...

Капитан Шелест лежал в каюте. Лицо у него было багровым, опухшим. Он тяжело, сипло дышал, жевал сохнувшие губы. Но при этом не выпускал из руки массивной телефонной трубки. Время от времени он придирчиво допрашивал помощника о том, как прошла приборка судна, чтобы прийти на базу, как положено, — в полном ажуре.

Боцман стоял в каюте у койки капитана, почтительно положив фуражку на согнутую в локте руку. Обратясь к нему, Шелест строго осведомился:

— Команда?

— Отдыхает.

— Трюмы обследовали? Не воняет?

— Сладим рыбку по высшей кондиции.

— Я спрашиваю — не воняет?

— Никак! Рыба рыбой и пахнет.

— Ты сядь, — попросил Шелест, — ведь замотался.

Боцман сел, печально озираясь, спросил:

— А портретик нашего капитана Полухина где же? Может, при шторме куда завалился? Я погляжу!

— Сиди! Нет портрета, отдал.

— Это кому же такая честь?

— Американцу!

— Тоже нашли объект, — обидчиво произнес боцман.

— Нашел! — сказал Шелест. — В шлюпке вместе с ним выгребали в сорок третьем. Его корабль фашисты потопили, а мы свой сами, на таране потопившей их подводной лодки. Вот теперь встретились.

— Не забыл? А то они теперь все и всё забывать стали!

— Выходит, не все!

— Я видел, как на палубе они вдвоем сильно ругались, тот, который в черном макинтоше, так прижал того, который к нам в спасательном снаряжении на палубу влез, вот-вот через поручни за борт выкинет. Горячий мужик! Что же они не поделили?

— Я все думаю, — вздохнул тяжко Шелест, — все думаю про этого моряка Харди. Сойдет он к себе на берег, а вдруг станет сожалеть, что погорячился? Ведь прижмут его...

— Все может быть, — согласился боцман.

Шелест прикрыл глаза воспаленными веками.

— Так я тут посижу? — попросил боцман.

— Зачем?

— Ну, для своего личного отдыха. На судне полный порядок.

Через некоторое время Шелест осведомился:

— Спишь, боцман?

— На всю катушку, — бодро объявил боцман.

— А я, брат, знаешь, ослаб! Ты ступай, посплю. Иди!

Боцман вышел на цыпочках. Дошел до кормы, сел на толстый чугунный кнехт и с силой ударил по чугуну сжатой в кулак рукой, потом еще раз, еще. И на лице его было такое отчаяние, какое не искажало его даже тогда, когда боцмана взрывом мины выбросило за борт, и он, сведенный судорогой, в студеной воде не мог ухватить брошенный ему спасательный конец, и, уже погружаясь, он зубами схватил конец, и его вытащили на борт корабля. И когда подняли, он не мог разжать челюсти, зажавшие канат, и лицо его тогда было ужасным от беспредельного отчаяния и муки.

Через сутки траулер подошел к борту плавучей базы, и началась выгрузка улова. Шелеста перенесли на плавбазу в госпитальную палату, его оперировали и дважды делали переливание крови.

Судовой врач Нина Павловна Орешникова упрекала:

— Вы же культурный человек. У вас же сепсис — общее заражение крови. Это же было и вам ясно по высокой температуре. А вы даже не изволили менять повязки. Переносили все на ногах — это же дикость!

— Вы не сердитесь, — робко и тихо просил Шелест. — Меня в годы войны сильнее калечило, а все в море заживало, как на кашалоте.

— Пора, товарищ Шелест, забыть, что было в молодости, а теперь вы человек в возрасте. С сердцем и с возрастом надо считаться...

В течение последующих суток Шелест несколько раз терял сознание.

— Зачем забывать. Не надо забывать, — в забытьи шептал Шелест. — Никому! Не надо! Нигде, никогда — не надо. Потому не надо, что мы все — люди. Не о себе, а ради людей, чтобы никогда больше не было. Никогда, понимаете, никогда? Чтобы все люди были как люди...

— Извините, я вас потревожу, — умильно сказала Орешникова. — А вот я вам сейчас укольчик сделаю, сердечку поможем.

— Не надо, — вяло сказал Шелест.

— Нет, даже очень надо. Я ваш врач, а вы мой больной, — значит, подчиненный.

— Сколько тонн улова приняли? — вдруг осведомился Шелест.

— Очень много, бесконечно много, — сказала Орешникова, набирая в шприц лекарство.

— Вы куда же будете колоть? — слабым голосом спросил Шелест.

— Не беспокойтесь, вашу флотскую гордость не нарушу, в ручку, только в ручку.

Шелест покорно лежал, сомкнув веки и медленно погружаясь в ничто или в нечто. И виделось ему море в мягком, теплом, розоватом, мерно колыхающемся тумане. И над морем висела блеклая, кроткая, милая семицветная радуга. А он плыл на своем сторожевике и стоял рядом с капитаном Полухиным на открытом мостике. Но сторожевик почему-то шел под парусами, с такой оснасткой, какая была на учебном паруснике, на котором Шелест ходил в кругосветку еще курсантом мореходного училища. И почему-то мимо них сами плыли берега невиданной красоты. В зелени, в солнце, и земля прямо пахла, людей он не видел, но слышал их голоса, непонятные, но и понятные, как звуки музыки. И ему хотелось к этим людям, но сторожевик шел и шел к радуге и никак не мог достичь ее.

Была ночь. В палате горели светильники в белых, молочного цвета, абажурах. Нина Павловна Орешникова держала руку Шелеста и, глядя на часы, считала его пульс, и пульс слабо замирал, не то под ее пальцами, не то само ослабевшее сердце Шелеста замирало. Нина Павловна Орешникова стала готовиться к новому переливанию крови. Но временами она подносила ладони к лицу и терла ими лицо такими движениями, как это делают люди, умываясь.

Врачи ведь не плачут.

[1978]

Сергея Аношина, человека пытливого, настойчивого, самолюбивого, природа ростом обидела. Малогабаритный, поджарый, с острым, бодро вздернутым носом, он выглядел подростком, хотя давно не был таковым.

Выручал бас. Аношин говорил так гулко, будто в груди у него резонирующая пустота. Слыша его голос, но не видя обладателя, можно было предположить, что принадлежит он человеку богатырского телосложения.

Подростковые размеры Аношина вызывали у него жажду восполнить этот недостаток деяниями крупномасштабными. Не случайно после окончания ФЗУ он избрал себе специальность не просто токаря, а токаря-карусельщика. И работал на карусельном станке, который возвышался в цехе, как мамонт в козлином загоне.

Это был двухстоечный многошпиндельный агрегат. Его мощные моторы потребляли энергии больше, чем все остальные станки в цехе. Планшайба этого станка была подобна вращающейся сцене. На ней обрабатывались детали диаметром в несколько метров, весом в десятки тонн и стоимости баснословной. Инструмент, которым пользовался Аношин, был огромным, как кости мамонта, — соответствующим размерам станка. Аношин испытывал властительное упоение, повелительно орудуя гигантскими металлическими суставами.

После работы Сергей Аношин ощущал себя некоторое время великаном, внезапно оказавшимся в микромире.

Отец Сергея Степан работал лекальщиком, он был могучего сложения, но с осторожными движениями человека, привыкшего к тонкому и точному, ювелирному труду.

Среди машиностроителей лекальщики почитаются как люди, обладающие особым даром, талантом, а среди лекальщиков Степан Аношин считался виртуозом.

Степан мечтал, чтобы сын пошел по его стопам. Он негодовал по поводу выбора сыном специальности, как негодует скрипач, когда его отпрыск вместо скрипки выбирает геликон, прельстившись могучим звучанием и габаритами этого толсто-меднокишечного инструмента.

Степан не был психологом. Он не понимал, что сын страдает из-за своего роста. Сын получился в мать, в Ксюшу, миниатюрность которой вызывала у Степана пожизненную умиленность, и то, что сын ростом в мать, Степан считал его удачей, так как полагал, что для тонкого мастера излишнее телесное могущество вовсе ни к чему.

Во время гражданской войны Степан служил в артиллерии. Когда костлявые деревенские клячи обессилевали, он впрягался и согбенно волок пушку, увязая по колено в дорожной грязи. Не раз ему приходилось, приподняв лафет, толкая орудие, как тачку, выкатывать его на новую позицию.

Видный рост и богатырская сила вызвали прозвище — Конь. Это прозвище укрепилось за Степаном после такого случая. Однажды он сидел в засаде и вдруг увидел, что по дороге катит вражеский легковой автомобиль. Восхитившись машиной и жалея ее, Степан не воспользовался жестяной бутылочной гранатой, а, выскочив на дорогу, лишь стал угрожающе размахивать ею. Автомобиль остановился, шофер поднял руки.

Уважая шофера как механика, Степан только отобрал у него наган и, проехав с ним верст пять, доверчиво разрешил пойти с брезентовым ведром за водой к колодцу. Но шофер сбежал вместе с ведром. И хотя Степан мог еще настигнуть его из винтовки, он поколебался, пощадил шофера, испытывая к нему благодарное чувство за то блаженство, которое впервые в жизни испытал, прокатившись на автомобиле.

Потом Степан долго сидел на месте шофера и, полагаясь на свои знания бывшего деревенского кузнеца, пытался проникнуть в устройство машины, чтобы привести ее в движение. Но ничего не получилось.

Тогда он оторвал цепь от ворота колодца, привязал ее к передней оси автомобиля и, перебросив конец цепи через скатку шинели на плече, поволок машину по дороге, как бурлак баржу. Тащил он машину двое суток, свернув для безопасности на проселок. На третьи сутки его настиг наш конный разъезд.

Взводный, бывший питерский рабочий, спешил и сказал, жалостливо улыбаясь:

— Что ж ты, друг, на одной своей жеребячьей силе тянешь, когда в ней конских тридцать? А механика у ней простая.

Вставил заводную ручку, крутнул, уселся на сиденье, открыл дверцу, пригласил:

— Пожалуйста, ваше пролетарское благородие, куда прикажете вас доставить?

Степан, шлепая разбитыми в кровь ногами, с достоинством забрался в машину и сказал, чтобы скрыть свою неудачу:

— На спирту она ходит. Я его расходовать жалел, думал угостить свой расчет. Зачем спирт зря переводить? На ровном месте она, как поповская бричка, легко идет.

Как коннику оставляли добытого им трофейного коня, так Степану дали возможность обучиться управлению этой машиной и назначили его потом штабным шофером. Но прозвище Конь за ним осталось до самого конца гражданской войны.

Привыкнув к машине, Степан не пожелал возвращаться к себе в деревню. Поступил на завод. Сначала кочегаром в котельную, куда его определили за богатырскую силу. Потом стал подручным у парового молота, где опять же требовалась сила.

Стесняясь своей громоздкости, он долго робел и страдал, прежде чем высказать свои чувства будущей своей супруге, работавшей на хитром винторезном станке с ловкостью заворачивающей.

Выручил его паводок. Вода подошла к самой проходной завода. Увидев, что Ксения стала в проходной храбро разуваться, он подошел к ней и проговорил сипло:

— Не надо! — Поднял ее на руки и перенес через затопленную дорогу, а когда она захотела спуститься на землю, сказал: — Не могу позволить, чтобы ты свои ножки-крохотульки о грязюку пачкала. — И добавил умильным шепотом: — Такие лапочки, как у птички певчей.

Надо думать, что этой своей бережной восхищенностью он и покори́л Ксению.

Став ее мужем, Степан испытал всю полноту счастья, но потом вдруг осунулся, похудел от тайного беспокойства и тревоги, которую однажды и высказал, болезненно морщась.

— Ты гляди, — сказал он, — какая ты и какой я. — И отмерил ребром ладони то место на своей груди, которого достигало темя жены.

— Против тебя все мужчины лилипуты, — улыбнулась Ксения.

— Это, может, и хорошо, — согласился Степан, — но вдруг младенец мою породу усвоит? А ты невеличка. Убьет мать — и все. Может, не надо его, а?

Когда жену отвезли в роддом, Степан сидел всю ночь во дворе, возле поленницы, не спуская глаз с окна, против которого стояла койка супруги. А когда сиделка поздравила его с сыном, он попросил у нее колун и без передышки переколол все дрова, сложил их заново в поленницу и только после этого, несколько успокоившись, вызвал сиделку, спросил:

— А имя у моего сына есть?

— Супруга велела вам самому придумать.

— Она у меня во всем добрая, — похвастался Аношин. — Видишь, чего доверила. Но я не решаюсь. Как она скажет, так и будет.

Когда жена протянула ему беленький сверток, Степан побоялся взять сына на руки. Он отступил на шаг, побагровел, сказал шепотом:

— Неси ты, у меня руки неподходящие, вдруг помну.

Он шел впереди жены, сшибая ногами с дороги обломки кирпича, камни, угрожающе предупреждал прохожих:

— Держи правее!

Он долго не решался коснуться младенца. А когда наконец все-таки взял его подержать, на шее у него набухли вены, лоб вспотел и он так плотно стиснул губы, что они побелели.

Возможно, после рождения сына и появилось у Степана тяготение к тонкой профессии лекальщика. Когда он выпросил у мастера разрешение отшлифовать мерные плашки, оказалось, что в душе его таилась способность к нежному постижению металла, а в руках — к ювелирной обработке его. И, проверив себя на этой тонкой работе, он уже без страха, уверенно стал подменять возле ребенка мать, ловко пеленал и купал сына, огромные его ладони постигали все нежные изгибы тела ребенка и касались его с безошибочной бережностью.

Свой трудовой орден Степан Аношин получил, хитроумно изготовив сложный набор хирургических инструментов, которые он отшлифовал так, что казалось — сухая сталь покрыта маслянистой пленкой. Каждый инструмент блистал, словно стеклянное литье, излучая алмазный блеск

самой сверхпрочной, самой трудноподдающейся холодной обработке стали.

Степан Аношин стал знаменитым лекальщиком, и не менее знаменитые хирурги обращались к нему со своими заказами.

Как созданиями великих скрипичных мастеров награждают музыкантов-виртуозов, так же наборами хирургических инструментов Степана Аношина награждали выдающихся хирургов. Разница только в том, что музыкальные мастера одаряют людей наслаждением музыкой, а медицинские даруют людям жизнь.

Это сознание значения создаваемого им преисполнило Степана Аношина особой гордости своей высокой специальностью. И именно поэтому он был так сильно огорчен тем, что сын не пошел по его профессии.

Но корпеть у слесарного верстака над металлической мелочью, требующей неусыпной, неутомимой, тщательной терпеливости, для того чтобы за смену удалить стальную пленку в десятую долю микрона, сточить стальную пылцу, более тонкую, чем на крыле бабочки, срезать стружку, по сравнению с которой пружинка дамских часов кажется гигантской спиралью, отшлифовать крохотную деталь из углеродистой стали, как гранильщик драгоценный камень, — нет, это занятие не для человека, который обуреваем дерзким стремлением помериться силами с самой внушительной по своим габаритам техникой.

На карусельном своем станке Сергей Аношин выдавал уникальные изделия для завода тяжелого машиностроения. А Степан Аношин считал эти изделия грубыми и, чтобы уязвить сына, пазывал его работу железно-плотницкой, топорной.

...Если Степан Аношин никогда не высказывался на людях о своей работе, то его сын Сергей слыл яростным оратором, борцом за интересы цеха. И когда он выходил на трибуну или, точнее, становился рядом с ней, дабы этот громоздкий полый шкаф не поглощал его почти по самые плечи, лица руководителей завода обретали томительно-озабоченное выражение.

О недостатках Сергей Аношин говорил так, будто он на заводе самый главный и больше всех за эти недостатки ответственный.

Например, подойдя однажды к трибуне, он заявил собранию, что считает себя вором и требует учинить над собой суд.

Выждав, когда гул изумления смолк, он деловито

изложил свои расчеты: во что обошлись чрезмерные припуски в литье, сколько ушло зря металла в стружку, сколько бесполезно израсходовано станочного времени, инструмента, электроэнергии.

— Таким образом, товарищи, — вызываяще объявил Сергей Аношин, — только я один за смену краду у нашего государства вон сколько, в чем и признаюсь перед вами полностью и безоговорочно. — Покосившись на главного технолога, предложил, лукаво усмехнувшись: — Так что зовите милиционера, пусть арестует вора.

Хотя все выступающие и поддерживали инициативу Сергея Аношина бороться за экономию металла, отец сказал ему угрюмо:

— Ты себя подавал, Сергей, некрасиво, не по-рабочему, с шиком, как на эстраде. И я твои грубые слова при всем народе должен был слушать. Ты еще цыпленок, а каркнул на людей, как ворона. Отчего припуски большие? Оборудование в литейном у нас старое, все работы вручную и опять же оплата по весу. По-рабочему как люди поступают? Не твякают на весь завод, если увидят недостаток, а думают о нем долго, додумаются, в чем причина, — вежливо, толково докладывают товарищам, а не додумался — не твякай. Ты на свет народился уже на готовенькое. Половина заводских для тебя Советскую власть отвоевывала, а ты — воры.

— Я про себя сказал!

— Значит, мою фамилию позорил для красного словца. — Помолчал, добавил задумчиво: — Не мельтеши, Сергей, по-крупному человек себя только делом оправдывает.

— А я что, не стахановец?

— Этот титул тебе люди дали.

— За дело.

— Без дела человека нет, без дела он животное.

— Я недостатки наши критиковал!

— С удовольствием ты их критиковал, а не с болью.

— А что мне, рыдать на трибуне?

— Фасонил ты, дерзкого из себя строил, технолога ухмылкой своей задел.

— Перед начальством я кланяться не собираюсь.

— Мелко рассуждаешь. Начальство — это кто? Те самые, которые способные, умелые, более знающие. Не уважать такого человека — значит завидовать. Я вот нашего технолога каким знал? Молодым, сопливым рабочим. А теперь он кто? Пожилой инженер.

— А ты? Как был рабочим, так и остался!

— Я из кочегаров в лекальщики вытянулся. Любого

начальника сместить могут, а меня — нет. Нет такой власти, чтобы с рабочего моего места меня стронуть, если я сам себя каким-нибудь браком не сваю. Мое место в жизни прочное.

— А когда заготовки к тебе некачественные шли, ты что, молчал?

— Зачем же? Высказался! По всей линии прошелся и на каждой операции собственноручно показал, какая мне обработка заготовки надобна. Фактически объяснил, делом. У нас комиссар в артиллерийском дивизионе был, Пантелеев, из рабочих, так он нас как обучал метко огонь вести по противнику? Собрал нас всех артиллеристов и начал рассказывать, как снаряд устроен, сколько труда на него затрачено, почему он стоит, сколько на эти деньги можно было бы хлеба купить или, допустим, одежды, валенок. В то время, когда в Республике голод, все раздеты-разуты. Что белых бить надо, это мы все понимали и без него. А когда он нам так объяснил, что воевать надо по-рабочему, с умом, а не только храбро, чтобы каждый снаряд не убыточным был для Республики, тут у нас и дисциплина, и учеба, и опять же храбрости прибавилось: выкатывали на открытые позиции орудие — и прямой наводкой, каждый снаряд точно в цель, и болел каждый — стукнешь мимо, значит, спалил пудов пять хлеба, валенки детские, одежду.

— А я за то боролся, чтобы металл беречь!

— Ты людей обозвал, обидел, унизил. А можно было б возвысить. Азарт вызвать. Мол, каждый может от себя, если припусти ужать, дополнительные изделия выдать, как сюрприз народу. Злость, она только против врага полезная. Ума человеку не прибавляет.

Ксения Борисовна Аношина уверенно властвовала и мужем, и сыном. Запасы жизненных сил в ее маленьком организме были огромные. Она молниеносно управлялась в своем домишке и хозяйстве, содержала жилье в лилейной чистоте, была членом фабзавкома, вымпел ударницы пятилетки бесценно трепетал на ее винторезном станке, она бдительно блюла рабочую честь семейства и высказывала и мужу, и сыну все, что считала нужным, строго и бесцеремонно.

— Степа! Ты почему Петьку Быкова в ученики не взял?

— Он мне не подходит.

— Почему?

— Видел, во дворе с ребятами дрался.

— Ну и что? Может, его обидели.

— Обидели — стерпи! Лекальщик обязан свои руки беречь.

— Значит, выгнал парнишку?

— Я ему варежки боксерские купил в магазине. Завтра отдам.

— Это зачем еще?

— Для удобства в драке.

— Ну и получится из него хулиган.

— В варежках — не драка, а спорт.

— Так возьмешь его в ученики? И мать просит.

— Лекальщик должен характер спокойный иметь, на терпение выносливый. А у него натура неподходящая.

— Может, с яслей ты будешь себе лекальщиков высматривать: который младенец не орет, ногами не дрыгает, тот — лекальщик?

— Возможно.

— А я говорю — возьми Петьку! Он парнишка скала.

— Вроде муравьиной кучи.

— Я в доме у них была, сам полы моет, белье стирает и даже теплые чулки матери связал из собачьей шерсти, полезной от ревматизма.

— Сам вязал, точно? — настороженно переспросил Степан и, расплывшись в доброй улыбке, пояснил: — Это рукоделье подходящее на терпение человека испытывать. — Попросил: — Ты мне эти чулки принеси, я на них лично взгляну.

— Зачем?

— Удостоверюсь, тогда, может, передумаю.

— Значит, все, — строго сказала Ксюша. — Я так Петьке после чулок и сказала: «Приходи завтра в цех, Степан Мартыныч тебя примет».

— Нашла кадр.

— Я тебе не как жена, а как завком говорю, официально. Понятно?

Ксюша сама покупала мужу одежду и любила, чтобы он одевался по моде.

— Я же некрасивый, старый, — ворчал Степан, — на черта мне галстук, в косоворотке свободнее.

— Я не для тебя стараюсь, а для себя, чтобы приятней на тебя смотреть.

— Рожу мне не переделаешь, — вздыхал Степан.

— У тебя усы красивые, — убеждала Ксюша, — без седины, и волос на голове прочный, сильный, у молодых пролысины, а ты такой основательный.

Так вот жили и работали Аношины.

По определению Степана Аношина, чисто, честно, аккуратно.

Когда награждали Степана орденом, он сконфузился, пробормотал:

— Спасибо от всего сердца, но вообще, по совести, может, не заслужил, а?

Сергей же Аношин жал руку вручавшему ему награду с таким видом, будто не его наградили, а он сам награждал. Потом произнес речь.

Дома Степан сурово сказал сыну:

— Ты это зачем себя величал представителем рабочего класса? Класс — он создатель всего, что на земле понастроено, понаделано. И до меня, и до тебя, и на все века после. Ты металл только стругаешь, а чтобы этот металл металлом стал, другие его из рудной породы вырубали, в доменных печах плавил в чугуны, в мартене из него сталь варили. На прокатных станах катали, на поездах на завод доставляли, в заготовительных цехах обрабатывали. Как же ты смел от всех них представителем себя назвать? Скромность твоя где?

— Мне правительство орден дало! — вставил Сергей. — Значит, я не пустое место!

— Орден — это не вывеска. Ты теперь каждым часом своей жизни должен доказывать по всем статьям, что имеешь право его носить.

2

Профессор Алексей Данилович Кузовкин, блестя лысиной, с воспаленной от дезинфицирующих средств кожей рук и глазами, утомленными от запойного чтения самых различных печатных изданий, рассуждал примерно так:

— Революция, которую свершили большевики, — это, по существу, самый высший гуманистический акт, равного которому нет в истории человечества. Ленин — величайший гений. В плеяде самых великих ученых нет подобного ему гения, сочетающего колоссальные познания, открытия всемирного значения с неслыханными организаторскими способностями, энергией, волей воплотить их в реальность. Это личность, влияние которой будет сказываться на всей неисчислимой протяженности истории человечества.

Припоминаю, Маркс любил повторять, что человек — животное общественное. Еще будучи студентом, я в девять-

сот пятом с увлечением, по чисто моральным побуждениям, пытался оказать революционерам услуги и выполнял их поручения, правда, весьма незначительные, причем выполнял настолько неловко, что оказался в условиях тюремной изоляции и получил возможность высказать жандармам то, что о них думал. Что касается моего пребывания в ссылке, то там у меня были довольно сносные условия существования, так как я работал фельдшером, что и послужило разумным основанием для того, чтобы впоследствии всецело посвятить себя медицине.

И теперь я могу с чисто профессиональной позиции объективно оценить уровень физического состояния нашего населения — высокий благодаря последовательно развивающейся системе здравоохранения. Здравоохранение! Каждый раз я с восторгом произношу это слово.

Но вообще, знаете ли, формула «в здоровом теле — здоровый дух» не соответствует реалиям, с которыми мне как врачу приходится сталкиваться. Тип современного советского человека, по многим моим наблюдениям, характеризуется тем, что чем в нем здоровее дух, тем меньше времени и внимания уделяет человек состоянию своего организма. Парадокс, но увы, это так.

Особенно касается это пациентов из разряда ответственных партийных работников. Обычно они игнорируют все симптомы заболеваний, не обращают внимания на весьма мучительные приступы, глотают таблетки и продолжают работать. А затем «неотложка» — и часто сразу на стол. Вскрываю — черт знает что! И отчего? Оттого, что человек не находил времени, чтобы, допустим, удалить аппендикс. Подобное пренебрежение здоровьем имеет часто весьма тяжелые последствия, а мне после сложнейших операций приходится иногда отлеживаться в полном изнеможении, как, скажем, боксеру после матча без оговоренного числа раундов.

— А сам-то ты следишь за своим здоровьем? — восклицала безнадежно супруга. — Даже на даче, вместо того чтобы дышать воздухом, читаешь все, что в руки попадет.

— Но, моя дорогая! Работа хирурга по своим физическим затратам превышает многие виды самого тяжелого физического труда. И если я избегаю прогулок в лесу или не совершаю полезных для лиц пожилого возраста кроссов в одиночку по пересеченной местности, то только потому, что не нуждаюсь в физическом отдыхе и предпочитаю расширять свой умственный кругозор. Чтобы не превратиться в специалиста узкого профиля, рассматривающего

все бесчисленное многообразие жизни через щель своей личной профессии.

Я полагаю, что хорошая беллетристика помогает обогащать самосознание посредством изображения сложнейших переживаний самых разнохарактерных личностей, отличных от твоей собственной.

На человека воздействует множество факторов, и важно, чтоб он сызмальства вырабатывал у себя интеллектуальные, эмоциональные и нравственные способности игнорировать одни, быть невосприимчивым к другим, а третьи воспринимал с активных позиций, то есть привыкал к избирательности, — иными словами, к самовоспитанию, а не к тому, чтобы ему предупредительно помогали делать каждый жизненный шаг.

Алексей Данилович, будучи немногословен и строг с персоналом клиники, дома, как он сам признавался, любил заняться словесной гимнастикой и очищать свой мыслительный аппарат от накопившихся в нем впечатлений. Особенно любил он излагать всякого рода жизненные соображения своему сыну.

— Скажу, Владимир, что я полезен обществу только тем, что являюсь опытным и старательным ремесленником в медицине.

Хотел быть полезным и честным человеком и твой дед, который в свое время был популярным адвокатом. Выступая на политических процессах, он своими пламенными, эмоциональными речами даже вызывал у публики слезы восторга, — с таким воодушевлением он защищал своих подзащитных. Но суд не внимал его красноречию, приговаривал подсудимых и к каторге, и к ссылке.

Отец не раз говорил с гордостью: «Я выполняю свой долг честного человека». Но он знал, что его речи практически почти не влияли на приговоры. И жили мы при этом, знаешь ли, безбедно. Бескорыстно выступая на политических процессах, отец получал огромные гонорары, когда выигрывал запутанные дела разного рода коммерсантов-жуликов.

— Ты что, хочешь сказать, что наш дед был плохим человеком? — обидчиво спросил Владимир.

— Нет, для своего времени он был хорошим человеком, он считал бесчестным в бесчестное время не говорить о том, что царское правительство попирает элементарные права большинства народа. Но он был всего лишь либералом. Пытался ли он иными средствами выступить на защиту той истины, за которую ратовал на суде? Нет.

— А ты?

— Я понял слабость его позиции и именно побуждаемый понятием «честный человек» принял участие, хотя и незначительное, в революционном движении.

Что же касается твоего деда, то, представь себе, его помнят. Несколько лет назад мне пришлось оперировать одного весьма видного большевика, члена правительства. Ну, он, естественно, поблагодарил меня, как воспитанный человек, в обычных выражениях, якобы за спасение своей жизни. А когда он случайно узнал, что я сын адвоката Кузовкина, он даже обнял меня. За что? За то, что мой отец выступил, как он выразился, блестяще и смело на его процессе. Он даже припомнил некоторые цитаты из речи отца на суде, а что его самого присудили к каторге, об этом он не считал нужным вспомнить. Это, с его точки зрения, не подвиг, а вот то, что либеральный интеллигент, мой отец, выполняя свою профессиональную обязанность, витийствовал во время суда, он расценил как проявление благотворного влияния революции на лучшие слои русской интеллигенции. И был рад, что я ныне как бы достойный сын своего достойного отца.

Но вообще я тебе скажу: есть активный политический гуманизм, а есть риторический гуманизм, когда не обременяют себя серьезными конфликтными ситуациями, действуют во вполне пристойных и безопасных границах.

Как квалифицированный специалист, медик, я имею право жизненного опыта заявить тебе: сегодня понятие честности для меня определяется тем, в какой мере человек приносит пользу обществу. Вносить больше, а не меньше — это и есть быть честным.

— Но я-то еще ничего не вношу, а только пользуюсь, — сердито заявил Владимир Кузовкин.

— Хорошо, что ты это сознаешь! — воскликнул отец. — Главное — не лениться. Хотя я ныне увенчан профессорским званием и прочими титулами, я ежедневно работаю за хирургическим столом. И только после этого могу уверенно подыматься на университетскую кафедру, чтобы учить будущее поколение. Знание без практики подобно мозговому перевариванию только чужих мыслей.

— Я еще не решил, кем буду, — застенчиво произнес сын.

— Не важно кем, а важно чем! Вот, помнишь, я приглашал к нам на обед Степана Мартыновича Аношина, слесаря-лекальщика. Поразительная личность, а?

Владимир Кузовкин вспомнил, как обрадовался отец появлению этого рабочего с машиностроительного завода в их доме.

Высокий, даже огромный, чуть сутулый, хмурый от застенчивости Аношин, прежде чем сесть за стол, недоверчиво ощупал стул, как бы проверяя на прочность, замедленно осторожно сел и неловко положил на столешницу большие кисти рук с глянцевой, как у Алексея Даниловича, кожей, с такими же коротко остриженными ногтями. Профессор не спускал внимательного взгляда с рук Аношина, придвинулся и произнес:

— Разрешите. — И положил свою ладонь на ладонь Аношина, словно примериваясь, и, удовлетворившись тем, что размеры их ладоней совпали, выставив свою руку, согнутую в локте, потребовал: — Прошу! Кто кого!

Аношин заморгал, растерялся.

— Руку давайте, — повторил профессор.

Аношин вздохнул и бережно взял в свои пальцы пальцы профессора. И неожиданно почувствовал силу его руки. Они долго боролись, каждый пытался прижать руку другого к столу.

Аношин сдался, пожалуй, из вежливости, произнеся одобительно:

— Однако вы того, вполне.

Радостно посмеиваясь, профессор сказал:

— Вот, видали! На этом эксперименте вы можете убедиться, что работа хирурга требует не меньшей физической силы, чем самый тяжелый труд рабочего.

Аношин пожевал губами, выждал, пока утихнет восторг профессора, мягко пояснил:

— Я извиняюсь, конечно, но работа лекальщика, она очень деликатная и не столько физическая, сколько сообразительно умственная, тонкая, нас ведь ювелирами называют. Так что по своей комплекции я ей вовсе не соответствую. А если и есть во мне силенка, то она мне как лекальщику вовсе ни к чему, даже обременительна, главное — внимательность, чтобы сотку микрона не упустить, а это все равно, что в овчине блоху поймать, иносказательно выражаясь.

— Лика! — воскликнул профессор, обращаясь к жене. — Степан Мартынович маг и волшебник. Он такой мне сложнейший инструмент изготовил, который даже всемирно известная швейцарская фирма по нашему заказу отказалась выполнить. Хотя мы им золотом платим.

— Да уж, — вздохнул Аношин. — Семь потов с себя

спустил, замысловатая затея. По чертежу все ясно. А вот приступил... Даже сам наш главный технолог считал, не получится, — доступа для обточки и шлифовки нет. Детали мелкие, как насекомые, и, как у насекомых, у них все их самое мельчайшее существенно, свое назначение имеет. Я уж и глаза изморил, и очки мне специального назначения выписали. Но главное было понять, ради чего стараться стоит. И вот как вы меня к себе в больницу привели, надели белый халат, марлей рот, ноздри завесили и одни глаза оставили, — насмотрелся. Я, извиняюсь, воевал в гражданскую, так что всякое видел. Как, значит, требуху из человека снарядам или еще чем вышибают, а тут все то же самое, только в обратном смысле — ради спасения. И вы, Алексей Данилович, от своего дела оторвавшись, мне пальцами в резине указываете: мол, был бы подходящий инструмент, было бы вам легче, а значит, и тому, кто на столе без памяти со всеми своими внутренностями наружу. Если б, мол, было иное, а не этакое приспособление, и канители вам было бы меньше, и риску. И фигурно показывали в натуре, что, значит, по своему заказу от меня ожидаете.

А я стою сам не свой и думаю: вот человек, ведь есть же на свете такие люди, в такой, значит, обстановке, ну, хуже, чем в ближнем бою, а он обо мне беспокоится, — чтобы понятнее дошло, что к чему, поясняет, чему оно будет служить в случае, если у меня получится.

Я из больницы шатаюсь вышел. Ну, думаю, все. Не будет мне от себя жизни, если не достигну. Поверите ли, даже в энтузиазм вошел, хотя работа была такая, дыхание сдерживал, чтобы каждую мелочишку с лекальной доски не сдунуть. И доставал сотки там, где не то что конского, человеческого волоса не просунуть, а я со своим инструментом влезал. И получилось, не очень-то, но вроде как сошло по первому разу.

— Великолепно! — воскликнул восторженно профессор. — Впервые в мировой практике. Одновременно, комплексно осуществляем иссечение и зажим даже мельчайших сосудов. Без кровотечения, без тампонов, и все, что необходимо удалить, удалено! Сказочный инструмент! За ваше здоровье, Степан Мартынович! — торжественно провозгласил профессор.

Второй тост произнес уже Аношин, после чего накрыл рюмку своей широкой ладонью и сказал:

— Извиняюсь, Алексей Данилович! Я в свое время, конечно, выпить сильно обожал, но уже с многих пор не позволяю начисто. Профессия запрещает. Я чем теперь

своей жизнью довольный — занятие нашел по душе, поскольку оказался в нем способным. Вот говорят — работа. Одно дело, когда она для жизнеобеспечения, и совсем иначе, когда она тебе личное удовольствие приносит. Даже дома без нее скучаешь, как бы не в себе находишься.

— Совершенно верно, — оживился профессор, — у меня самого такое же самоощущение.

— Ваше дело высшее, — строго заметил Аношин. — Вы человека режете, а я — металл. Допустим, у вас, чего вы желаете, не получается, тогда можно даже человека загубить, — какие же нервы для такой работы надо иметь! А в моем деле... Конечно, и у рабочего брак может большой потерей обернуться, в машину сколько человеческого труда вложено, бывают механизмы, на которые затрачено по несколько тысяч рабочих часов. — Задумался, закончил с достоинством: — Тоже, знаете ли, загубить их никак невозможно. Сознаешь такое и переживаешь. Хотя ты и высшей квалификации, и кое-чем по своей линии владеешь, а все равно полного спокойствия нет.

— Да, работа у вас весьма ответственная, — поддакнул профессор.

— Безответственной работы нет — она ведь не для себя делается, а для всех. У нас как положено — черновую обработку детали нам, лекальщикам, слесари производят. Рационально такое разделение труда? Рационально. А я вот, когда особо ответственное задание, не могу допустить такое, все с самого начала сам обрабатываю. Как бы вживаюсь помаленьку, чтобы к самой тонкой и сложной обработке не с маху приступить. Поэтому перевыполнения норм за мной не числятся. Укладываюсь только в положенное время. Хоть знаю, за перевыполнение — премия. Но жена у меня добрая. Нет так нет. Даже не считает, сколько я приношу в получку, супет к себе в сумку, и все.

— Но ведь вы же хорошо зарабатываете.

— Главные наши семейные расходы Советская власть покрывает. Квартира новая даром, сына с яслей до полной его квалификации вывели в люди тоже даром, ну, всякое прочее иное обеспечение от завкома тоже даром и вообще... Если б за все такое наличными платить, никаких тысяч не хватило бы. Вот такая ситуация нашей жизни, за лишним целковым гоняться нужды нет. Я, когда в гражданскую за Советскую власть воевать пошел, вовсе и не ожидал, что такое от нее получу. Да и откуда было взяться всему! За общую вообще перемену жизни воевал — это я сознавал. Но чтобы такое, как мы все теперь получили, не то что не

верил, а даже в мыслях не было. Худо жили, считал, победим, будет малость получше. Главное, чтобы не униженными жить, а по-человечески.

— Вы давно член партии?

— Да как вам сказать, по моему понятию, не так уж. Воевать-то за Советскую власть я воевал, но уж очень темным был, в партию вступать опасался. У нас как было, как в атаку — партийные вперед, ура, а кто первый из траншеи выскакивал, по тем сразу огонь. Так, соображал я, значит, беспартийному воевать легче. Ну, потом обвоевался, усовестился. Меня как бы вроде за храбрость в девятнадцатом приняли. И сразу же в госпиталь попал. В госпитале на койку рядом с комиссаром уложили, он от нечего делать меня все просвещал, разъяснял, чего партия хочет на нашу дальнейшую жизнь. Очень я сробел тогда, когда узнал от него, что в полную меру от большевика требуется, ведь я в своем недоразвитии всему этому вовсе не соответствовал. И сейчас, знаете ли, тоже свербит, отвечаю я во всем спросу с коммуниста или не отвечаю.

Это самое и на работе меня тревожит, — что надо делать получше, чем ОТК требует. Поскольку надо мной стоит не ОТК, а совесть коммуниста, как на фронте было. Коммунисты всегда первыми под огонь лезли. Значит, и на работе, если ты не передовик, так какой же ты коммунист, спрашивается?

— Да, а вот я не член партии, — сказал профессор и тут же с достоинством добавил: — Но это не мешает мне отдавать себя полностью работе.

— А наша партия кому служит — народу. Можно и не состоять, а, как вы, всей душой служить человеку. Возвращать людям жизнь. Это, ежели по существу рассуждать, то же самое назначение, которое революция наша выполнила, — человеческую жизнь народу дала, когда он не по-человечески жил.

— Благодарю вас, — произнес профессор. — Я впервые слышу столь высокую оценку роли медицины. Кстати, относительно вашего высказывания о том, что вы в сложных случаях с начала и до полного завершения лично обрабатываете деталь. Я тоже все обычно делаю сам, хотя, может быть, это и не совсем рационально, кое-что можно было бы доверить ассистенту. Многие из моих коллег поступают именно так. А я, знаете ли, не могу. Мне свойственно не то что ревнивое чувство, но я стараюсь делать все собственноручно, вплоть до наложения швов. Все обязательно сам. Для личного удовлетворения.

— У каждого свой подход,— согласился Аношин.— Вот сын мой Сережа, он самостоятельно, не по моим стопам, не облегченно в жизнь вошел. И профессию избрал иную — карусельщик. Крупный габарит, работает бригадой. Я, как лекальщик, сам от себя в своей работе завишу. А у него коллектив. Станок многоагрегатный, сложный, и он, Сережа, не только от станка, от каждого члена бригады зависим. А сам он еще полностью в человека не обделан. Во все стороны его заносит. Станок понимать выучиться можно, а вот людей своих, чтобы и авторитет иметь, и их во всем понимание,— труднее. Человек-то сложнее станка, и не все в нем вполне правильно налажено. Для станка наладчик есть, а характер человека наладить сложнее. Вот, значит, и беспокоюсь... А начнешь его воспитывать, обижа-ется.

Профессор покосился на сидевшего рядом Владимира, произнес нерешительно:

— Я сторонник принципа самовоспитания. К тому же родовое право родителя у нынешнего поколения вызывает сомнение.

— Так смотря кто родитель,— заметил Аношин.— Ежели на своей шкуре сам испытал, что плохо и что хорошо, зачем же молодым зря пух с себя обдирать об то, чем родитель себя уже повреждал. Конечно, жизнь, она научит. Но мы тоже за них ответственны. Нам, конечно, легче было дорогу себе выбирать — «за» ты или «против». Как на фронте: какой на тебе мундир, тому делу ты и служишь. А сейчас пространство для них во все стороны свободно — любое занятие выбирай, будешь в нем себя хорошо выказывать — тебе почет. И партия, и комсомол, и вся общественность, и учителя всякие сколько на них сил тратят, ум им внушают. Вот и получается, иногда ты со своих родительских позиций с ним толкуешь, а он тебя же атакует тем, чего успел нахвататься. Твоя родительская жизнь уже позади тебя, а у него все впереди. Чтобы на него воздействовать, надо самому быть вроде как на уровне той жизни, которая его впереди ожидает, убедительно с ним рассуждать, тогда и взаимопонимание будет. А то ведь я лично больше на что нажимал,— как у меня все в жизни было, а его надо понимать с точки зрения, какая она у него у самого жизнь в дальнейшем будет. Чего она с него станет требовать, а не что я с него требую только в данный момент, на основе своего опыта, своей жизни.

Их же наша партия приучила с дальней перспективой на жизнь глядеть. Каким человек должен для этой жизни

выстроиться по всем своим параметрам. Вот они и брезгают, когда мы со своего житейского опыта их только предостерегаем. Чего можно, а чего нельзя. Они желают через невозможное быстрее достичь того, что им намечено на всю перспективу.

Мы ведь не всегда их самолюбие понимаем. Они на все готовенькое в жизнь вошли. И не желают им только пользоваться, а желают нас превзойти, сделать такое, чего нам немогуту в свое время было сделать. Ну и пушай. Это закон природы. Все идет к тому, чтобы лучшее по-лучшему делалось. Однако родительское чувство, оно само по себе беспокойное, хочется, чтобы племя от тебя в горку шло без плутания грешного. Ну, и внушаешь, а получается не всегда внушительно.

Аношин внимательно поглядел на Владимира, затем, обращаясь, к профессору, застенчиво добавил:

— Может, меня от выпивки развезло — начал про семейные дела высказываться. В каждой семье свое переживание. — Помолчал и заговорил о другом: — Я у вас в клинике весь набор ваших инструментов разглядывал — все заграничной выделки. Спрашиваю у ассистента, какого года производства, а он — последнего. А этот вот иного года, лет восемь назад выпуска. А разницы, я смотрю, нет. Что же это получается, техника вперед идет, у меня, например, весь инструмент заново несколько раз уже сменяли, и не потому, что сносился, а потому, что технически устарел. У вас же, гляжу, такого нет. Это почему же? Бывает, конечно, когда привычку рук к старому менять трудно. У меня тоже в шкафчике хранится такой инструмент сокровенный, только для себя лично.

— Степан Мартынович, — с воодушевлением произнес профессор, — вы просто великолепно и сокрушительно вторглись в тайная тайных нашей профессии. Понимаете, наше сознание медицинское сосредоточено на задаче исцеления человека средствами врачевания, а вот создание орудий нашего производства отстает от сегодняшних требований. Это вы отлично подметили. Совершаем, я прямо скажу, дерзостные иногда операции, и успех их объясняется виртуозным искусством хирурга. Но чем менее совершенными орудиями труда мы располагаем, тем бóльшая требуется виртуозность. Чтобы усовершенствовать наши инструменты, нужны инженеры с медицинским образованием. Ведь я обратился к вам, как говорится, с частным заказом, по частному поводу, с просьбой попытаться соединить несколько функций определенного инструмента. А вы

сделали из этого глубокие выводы, касающиеся целой сферы медицины.

— Да ну что вы! — отмахнулся Аношин. — Ничего такого особенного я и не мыслил. Сравнил только, как у нас на производстве. Всех обеспечивает кто? Специальный инструментальный цех. И есть рабочие, которые приспособиваются работать его изделиями и привыкают. А есть и такие, которые общим для всех инструментом не довольствуются, обязательно по-своему его переделывают, приспособления всякие придумывают, чтобы ловчее, легче работать. А что в итоге? Больше изделий, и получше их качество. Цех эти инструменты себе за образцы берет для массового выпуска. Только наладят, а мастера с выдумкой новое напридумывают. Такая вот у нас карусель получается: с одной стороны, поточное производство, а штучным, оправдавшим себя новым — опять же на массовый поток путь открывается. Каждый сначала для себя старается, а выходит, вкруговую, для всех. И чем сложнее заказ получаем, чем сложнее сплавы металлов, а значит, труднее для обработки, тем шибче соображаешь, как, чем его взять, чтобы получше обработать.

Бывают детали такой конфигурации — не чертеж, сплошной кроссворд. Ну, положим, высшей квалификации мастер, помучившись, исхитрившись, штучный заказ одолеет. А как, думаешь, другие? Не смогут ведь. Ну, и тормозишься, беспокоишься такое придумать, чтобы другие могли уже ловчее, уже с удобством одолеть.

Так то металл. А вы в человеке работаете. Глядел я на ваш инструмент и думал, как же так, святое, высшее дело, а ума в инструменте большого не заметно. Выходит, весь ум в руке того, кто его держит. А ведь чем умнее инструмент, тем человеку легче достигнуть того, к чему он стремится. Вот я в каком смысле высказался.

Делал я вот по вашему заказу эту штуковину. Спервоначалу у меня не получалось. Деталей много, все мелкие, микроны я соблюдал точно по чертежу, а соберу — для приведения в действие нужно силовое нажатие. Технолог говорит, сойдет, раз все точно по чертежу. А я не могу сдавать, совесть не позволяет, туго инструмент действует. Ну, стал соображать, сочинять пасту для шлифовки, и последние сотки допусков минусовых снял, чуть прижмешь — действует машинка. Значит, легко с ней будет работать. Вот о чем я старался. А легче — значит, лучше.

Вот, скажем, молоток. Чего еще проще, а их бесчисленное множество насчитывается разных — по весу, и по

форме, и по металлу, и назначение их, конечно, разное, — значит, можно и молотки изобретать наравне с самой высокой техникой. Это тоже забота о человеке.

Так что в любом деле, только мозгами шевели, бесчисленное число возможностей чего-нибудь да улучшить. Так жить и работать всегда интересно. Вот я из такого интереса и за ваше приспособление взялся — смогу или не смогу. И смог, только не додумался у металлурга полегче и тверже сплав попросить, чтобы держать инструмент было легче. Значит, оказался не вполне. Так что вы меня не величайте. Мастер тот, кто не только по чертежу все выполнить может, а кто от себя что-нибудь такое еще сверх чертежа сообразит.

Аношин вздохнул, пошевелился осторожно на стуле и сказал:

— Засиделся я у вас, и хоть неохота уходить, а надо. Я ведь человек режимный, ложусь спать чуть затемно, встаю едва засветло. На работу хожу пешком для здоровья, для бодрости.

Поднялся, огромный, плечистый, и по привычке к своей силе, прощаясь, бережно и осторожно пожимал руки профессору, супруге, их сыну.

3

Сергей Аношин только что подорвал фашистский танк. И теперь, ослабев от пережитого, полулежит на дне окопа, оглушенный. Одна щека произвольно дергается. Аношин трет ее снегом, словно она у него отморожена.

Подошел политрук Васильев. Долговязый, веснушчатый, тощий, с глубоко впавшими щеками. Наклонился к Аношину:

— Ты что, ранен?

Быстро, ловко расстегнул шинель, задрал мокрый подол гимнастерки, наложил повязку.

— Есть карандаш? — спросил Аношин. — Хочу заявление в партию написать. — Вытер рукавом с подбородка текшую изо рта струю крови.

Васильев достал из планшета полевую книжку, вырвал из нее пол-листка, положил на планшет, подал карандаш, объяснил:

— Химический. Получится как положено, чернилами.

Аношин помедлил, послунывил карандаш и вывел крупно:

«Заявление...»

Политрук посоветовал:

— Ты не наклоняйся, а то закапаешь.

Аношин послушно прижал ладонь левой руки ко рту, чтобы не замарать бумагу.

Политрук спрятал исписанный листок в планшет, пообещал:

— Если фашисты снова не контратакуют, обсудим.

— В санбат не заберут до этого? — осведомился Аношин.

— Нету санбата, какой там санбат! — махнул рукой политрук. — Как только обстановка позволит, сразу проголосуем.

— А билет? — спросил Аношин.

— Да ты что?! Не обсудили, не приняли, а ему сразу партбилет подавай. Устава не знаешь!

Аношин сказал требовательно:

— А если у меня времени в обрез? Ведь написал же — желаю помереть коммунистом!

— А ты не хоти помирать, — сказал политрук. — Когда человек чего сильно хочет, он все может!

— У вас, товарищ политрук, на все случаи лозунг! — устало произнес Аношин, зажмурился и стал осторожно кашлять, чтобы не захлебнуться кровью.

Потом он лежал, ослабевший, и прислушивался к звукам боя. И ему было совестно, что он, еще не будучи покойником, лежит, как покойник, в то время, когда тоже сильно раненный Егоров, которому он подносил диски, продолжает вести огонь из пулемета.

Вообще, если по-честному, то Аношин нехорошо обошелся с Егоровым.

Егоров давно припас себе связку гранат и держал ее в сумке от противогаза с намерением когда-нибудь самостоятельно подбить фашистский танк.

Заняв огневую позицию, Егоров, как обычно, выложил гранаты перед собой. И вот с дальней лесной опушки, роняя с брони хвойные ветки маскировки, серой глыбой выпер фашистский танк. За ним рассыпным строем бежали, пригнувшись, автоматчики в сером.

Покачиваясь на неровностях местности, возрастая величиной в скалу, танк приближался.

Егоров равнодушно, аккуратно, экономными, бережными очередями, бил по автоматчикам: три патрона — интервал, три патрона — интервал. Танк он решил подпустить на удобную, чтобы бросить гранаты, дистанцию.

Но Аношин не выдержал, не спросясь схватил гранаты, выскочил навстречу танку и швырнул их прямо в его ходовую часть.

Потом он, контуженый, простреленный, почти беспомощный, приполз обратно к Егорову.

Тот продолжал вести огонь по автоматчикам. Не оборачиваясь сказал:

— Ну как, штаны не замарал?

— Ты не обижайся, — пролепетал Аношин, — ведь это я с перепугу гранаты твои ухватил.

— Всем бы так с перепугу действовать, — сухо заметил Егоров, затем строго приказал: — А ну! Пока не истек, валяй отсюда. — Сипло пояснил: — Мне со своими перебитыми конечностями тебя отсюда не вынести. Значит, ты здесь только обуза. Пусть на смену целого пришлют.

Аношин выполнил приказание Егорова. Он полз и громко, бесстыдно стонал, чтобы привлечь к себе внимание, и когда над ним склонился санинструктор в белом маскахлате, похожем на докторский, и участливо спросил: «Тебя куда ранило?» — Аношин ответил: «Никуда, просто ошалел оттого, что малость контузило, — и жалостливо попросил: — Выручай друга, Егорова, его всего насквозь сквозными, а огонь, слышь, ведет...»

И вот теперь Аношин лежал притихший, умиротворенный тем, что все, что ему положено было по солдатской совести, он, выходит, выполнил.

И поскольку и тело и мысли его слабели, он в забытьи видел себя совсем малым, в одной рубашонке, и ему привиделось, что отец поднял его на руки. Но голос у отца почему-то был такой же, как у Егорова. И лицом отец походил на Егорова.

Надо думать, что померещился Аношину Егоров в отцовском облике не случайно. Конечно, у Аношина имелось свое солдатское самолюбие, и быть служащим — подносить Егорову диски — ему вначале показалось обидным, тем более, что взводный обещал зачислить его в пэтээровцы, как только кто-нибудь из них выбудет из строя. Но Аношин проникся к Егорову уважением — не потому только, что тот имел звание сержанта, но и потому, что Егоров до войны возглавлял шахтерскую бригаду.

Егоров относился к Аношину высокомерно, строго. Поучал:

— Бой не всякий день. Но нет в солдатском повседневном обиходе такого самого простого, обыкновенного, что бы потом в бою не сказалось. С умом воевать надо. С ясной

сознательностью. Если в тебе все гайки туго закручены, тебя надолго хватит. Если слабо, значит, в какой-то момент и скиснешь. И с героизмом ты не суетись, главное — выучка и выдержка. Считай: то, что мы на фронте, — это нам повезло. Нашим, которые издали переживают, куда тяжелее. Мы фашиста запросто в прицел видим и его шлепнем, а нашим в тылу война только горе да страх за нас. Фашист — он отчаянно воюет, в этом ему, конечно, не откажешь. А почему отчаянно? Он с нами войну кончить не сможет, пока мы есть. Но куда ему против нас. Мы народ, а он отродье. Он только убивать научен, а мы с чистой совестью воюем, за жизнь людям. Значит, каждому у нас есть за что его бить.

Сергей Аношин обидчиво заметил:

— Вы меня, товарищ сержант, не агитируйте, я добровольцем пошел.

— Я тебя не агитирую, я тебе тебя выясняю. — И терпеливо пояснил: — В шахте я не столько на добыче работал, сколько на проходке, где всякое может случиться — и обвал, и плавни, и прорыв грунтовых вод, и всякое прочее, — так что привык к аккуратности при всех обстоятельствах. Только в шахте отбойным молотком пробивался, а здесь пулеметом.

— А что, я его плохо чищу? — всполошился Аношин.

— Я не про пулемет, — сказал Егоров, — а вообще. Не люблю, когда в бою суматошатся. Ты это себе запомни. Умная сообразительность — вот что нужно.

Однажды довелось форсировать водный рубеж по разбитому снарядами льду. Егоров и Аношин брели в ледяном крошечке, и вздыбленная взрывами вода окатывала их.

Выйдя на берег, где уже завязывался бой, Егоров деловито снял мокрую шинель, затем гимнастерку, присел, стянул с себя исподнюю рубашку и насухо протер ею всю механику пулемета с такой тщательностью, с какой он это делал обычно только после боя.

— Теперь не откажет, — сказал Егоров и, облачившись в залубеневшее за это время от стужи обмундирование, похрустывая ледовой скорлупой одеяния, согнувшись, побежал занимать удобную, заранее высмотренную им огневую позицию. И Аношину пришлось тоже таким же способом вытереть насухо исподней рубахой диски.

После боя, просыхая у костра, Егоров встревоженно предупредил:

— Ты смотри, Сережа, не простудись. А то уволочут в госпиталь, а мне без тебя скучно станет.

— На фронте не соскучишься, — степенно заявил Аношин.

— Привыкать я к тебе стал, — произнес Егоров. — Даже начал баловаться мыслью переманить к себе в проходчики.

— Нет уж! — покачал головой Аношин. — Не имею интереса под землей, в сырости и темноте, как в окопе, копать. Я к металлу привычен. В металле вся сила.

— Ну, как знаешь, — сказал Егоров, — только тебе до твоего завода и мне до моей шахты одна проходная — через Берлин.

— Это точно, — согласился Аношин.

И вот Аношин лежит на мерзлой земле слабый, вроде как полумертвый, и жизненной силы ему хватает лишь на то, чтобы вяло думать, что его вроде уже как бы и нет, но он все-таки пока еще есть, поскольку соображает по шуму разрывов и содроганию почвы, что сила боя возрастает, и, сопротивляясь своей слабости, шевелит пальцами ног, чтобы не впасть в забытие, из которого ему, пожалуй, не удастся уже выбраться, и этим шевелением он доказывает самому себе, что пока еще вполне живой. И не выплевывает кровь, а бережно глотает, чтобы она из него не уходила, оставалась в нем — может, этим он еще несколько протянет себе жизнь.

А потом он расплывчато увидел склонившегося над ним политрука Васильева без ушанки, с толсто обведенной бурыми бинтами головой, и Васильев кричал ему, словно глухому:

— Через наши боевые порядки танки в атаку пошли! Дают духу фрицам.

— Закурить бы, — жалобно пролепетал Аношин и, откашлявшись кровью, спросил: — Егоров где?

Васильев молча поднес руку к забинтованной голове, хотя ни каски, ни фуражки на ней не было. Аношин понял его жест, всхлипнул, скрипнул зубами. И на этом его сознание иссякло.

Поскольку Аношин получил тяжелое ранение и жизни в нем было чуть, его доставили на санитарном самолете в армейский госпиталь. И из уважения к тяжелому ранению Аношина его оперировал главный хирург фронта в генеральском звании.

Аношин был в беспамятстве и от ранения, и оттого, что его усыпили наркозом. Поэтому он не слышал, как генерал

приказал ассистирующему ему майору медицинской службы приготовить «аношинский» набор хирургических инструментов, которым генерал пользовался при сложных полостных операциях.

А если бы даже услышал, то, находясь между жизнью и смертью, не мог бы постичь, к чему это хирург назвал его фамилию. Тем более, что кроме оружия и снаряжения у него на фронте не имелось никакой личной собственности.

И не то у Аношина оставалась в запасе доля сил, чтобы выжить, не то хирург оказался своего дела высокий мастер, не то инструмент, которым он пользовался, был действительно хорош, но Сергей Аношин выжил.

И спустя некоторое время в госпитальную палату пришел уже не медицинский генерал, а настоящий фронтовой и прикрепил к исподней рубашке Аношина с завязками вместо пуговиц боевой орден Красного Знамени. И Сергей Аношин попросил положить себе в изголовье еще одну подушку, чтобы было выше и лежа он мог видеть этот орден у себя на груди.

И, так лежа и глядя на орден, он думал о своем отце Степане Аношине, который этот орден не получил за гражданскую. Поскольку тогда имелась возможность выбирать в награду за героизм орден или кожаное обмундирование. И отец по простоте мужицкой выбрал обмундирование, о чем потом скорбел всю жизнь, считая этот орден самым священным знаком доблести воинской.

4

Они поднялись на заросший кустами шиповника холм, подобный острову в огромном золотистом пространстве; зрелые колосья струнно шелестели, волнисто колыхались, источая телесный запах хлебного поля, его живую теплоту.

От бескрайнего, цвета солнца, поля исходило яркое свечение.

— Вот мы и пришли, — сказал Сергей.

— Это было здесь? — спросила дочь.

— Ну, здесь.

— Почему «ну»?

— Потому что все было другим. Осень, слякоть, болото. А здесь наш КП и дот. Но туда, в укрытие, относили только павших, чтобы в случае чего подорвать. Так и захоронить.

— А где были раненые?

— Пока оставались живыми, они сражались.

— Дедушку здесь ранили?

— И здесь, и вон там, левее. Но упал он только возле сгоревшего танка. Он шагал в полный рост, стреляя из ручного пулемета, как из винтовки. Фашисты сосредоточили по нему огонь, словно по кочующему орудию.

— А чей танк сгорел — наш или ихний, возле которого дедушка умер?

— Он не умер, он погиб, — строго сказал отец.

— Дедушка был у вас самым главным?

— Я командовал тогда батальоном, а он пришел с рабочим ополчением. Бои тогда велись уже на подступах к городу.

— Как же ты мог допустить, чтобы дедушку убили?

— Если бы дедушка так не сражался, не было бы ни тебя, ни мамы, ни бабушки, ни нашего города.

— И тебя тоже?

— И меня.

— А дедушка знал, что я буду жить на свете?

— Знал.

— Но ведь я родилась потом, и дедушки уже не было.

— Он велел — вот ты и появилась...

Сергей вспомнил, как на этой, тогда черной, промерзлой, искалеченной взрывами земле лежал его отец, Степан Аношин, и, сплевывая комки крови, выдавливал из себя слова:

— Меня отчего свалили — крупногабаритная мишень. А ты, Серега, кого я не добил из них, — добей. И если тебя смерть минует, чтобы не для себя выжил, а для людей. — Захрипел тяжело и сказал шепотом: — Ксюше скажешь, ловко я помер, от одной пули, без всякого промедления.

Но еще двое суток отец, лежа на дне траншеи, пробуждаясь из забытья, слушал гул боя, тревожно пытаясь угадать исход его. И только когда падающий серый липкий снег перестал таять на его лице, раненые поняли, что Степан Аношин скончался.

А вот сейчас это бывшее черное поле боя стало золотым полем плодородия, полем неиссякающей жизни. И только на краю горизонта виднелась изогнутая гранитная стена, в которой бронзой выступали суровые, величественные лики тех, кто пал здесь... Они были вовсе не такими в своей жизни. Они свершили величайший подвиг, будучи обыкновенными советскими людьми.

Сверкало золотом хлебное поле, и солнце светило, как спелый гигантский подсолнух, и по тропинке уходили к шоссе двое. Отец и дочь.

Сергей Степанович Аношин, сухонький, седоватый, озабоченный тем, что завтра ему предстояло запускать с полной нагрузкой новый стан такой мощности и габаритов, что для него был построен специальный крупнейший цех.

И его дочь, в школьной форме с белым фартуком, выше его на голову — в деда, тонкая, длинноногая, с округлым лицом... Все время озираясь на хлебное поле, она пыталась представить его иным — как о нем рассказывал отец. И не могла. Таким красивым, солнечным было это поле.

[1979]

Там, где нет ни пыли, ни мух

Егор Васильевич Курнаков считал себя обиженным женой за то, что она родила ему девочку, не парня, и долго просто не замечал дочь.

Но однажды он вернулся с охотничьего промысла с богатой добычей и от этого веселый, хотя и сильно истерзанный детной медведицей. Повредился он потому, что когда она на него кинулась, то Курнаков, соблюдая охотничью честь и совесть, не стрелял, а только отбивался карабином, как дубиной.

Дома он узнал, что его постигло горе. Погибла жена. Она рыбачила для домашней нужды с берегового приная. Лыдина откололась и уплыла в море. Когда лыдину сыскали, жена Курнакова лежала на ней, намертво вмороженная в лед.

Со смертью жены кончилась у Курнакова вся большая, главная, счастливая часть жизни, которую он прожил, а та, какая оставалась, одному ему была совсем не нужна.

Так случается с сильными, смелыми, не щадящими себя для других людьми, когда они теряют самого близкого человека.

Курнаков лежал в избе одетый, не меняя повязок на ранах, нанесенных медведицей. Лежал равнодушный к себе, с закрытыми глазами, чтобы ничего не видеть, и курил беспрестанно, на ощупь свертывая самокрутки, на ощупь шаркая спичкой о коробок, роняя пепел на грудь. Он лежал, сомкнув глаза, отрешенный от всего, только досадовал, что медведица не задрала его насмерть, и жалел ее за те зряшные удары, которые нанес, отбиваясь от нее прикладом карабина.

Войну Егор Курнаков отвоевал, что называется, с обеих сторон — и с западной, и с восточной. Вернулся в свой приморский поселок, по-местному — станок, в орденах и медалях, как и другие солдаты.

Некогда станок был поселением старообрядцев, но с ходом времени обряды забыли, у пожилых остались только отвращение к вину, к табаку и суровая строгость нравов.

Жители поселка — народ промысловый: летом в море на баркасах за рыбой, зимой в тайге, в тундре за зверем. Кое-кто золотишничал, но старательские занятия считались несерьезными. Куда человеку против драги!

Вернувшись, Курнаков поступил шкипером на мотобот, летом доставлял разнообразные грузы на зимовки, а зимой, как все, занимался пушным промыслом.

Поэтому женился он уже на возрасте. Жену нашел себе буквально в лесу.

Василиса Остроухова белковала с дробовичком. Урожай на белок выдался отменный, она увлеклась, зашла далеко. Застигнутая бураном, лыжей выкопала под сопкой в снегу пещеру и залегла там, чтобы перетерпеть буран. Тут Василису и обнаружил Курнаков, приняв сначала ее убежище за медвежью берлогу.

Он привел Остроухову в свой охотничий шалаш, отогрел, отходил. Но поскольку охота была удачливая, зверя много, они решили продолжать промысел вместе.

Сын охотника, на фронте воевавший снайпером, Курнаков заморозил Остроухову своим метким боем. Когда вернулись в поселок, Курнаков отказался делиться добычей, объявил твердо:

— Или бери всю пушнину, или оставайся при ней со мной.

Во время промысла Курнаков и Остроухова говорили между собой только об охоте. Курнаков, опустив глаза, чувствовал, как все замирает в нем от будто излучающего свет яркоглазого лица Василисы, которое он постеснялся рассмотреть как следует, а Остроухова пристально и взыскательно его разглядывала, гордясь тем, как мучительно конфузится этот смелый и ловкий снайпер.

И они поженились. Справили свадьбу по обычаю, устроили гулянку для всех жителей поселка.

В долгие, многомесячные зимние сумерки полярной ночи, скитаясь по притаенной тундре, выслеживая песцов, ставя на них бревенчатые ловушки — «пасти», Курнаков не испытывал одиночества. Добывая зверя, он думал о жене, о той радости, с какой она его встретит, потому что скучала, а вовсе не потому, что он вернулся с ворохом пушнины. Курнаков силился памятью представить Василису, какая она есть, и не мог, всегда не мог, как и сейчас, после того, как ее не стало. Всегда она виделась ему как

нечто озаренное светом и источающее свет жизни. Теперь этот свет погас.

Василиса назвала дочь Васёной. В честь отца Курнакова Василия, стараясь хоть этим смягчить свою вину перед мужем, желавшим сына.

Курнакову не нравилось, когда люди говорили про Васёну, что она «в мать». Исподтишка разглядывая дочь, Курнаков не находил в ней ничего общего с его Василисой.

Долговязые, как у цапли, ноги, светлые глаза, не по лицу великоватые, рот тоже большой, шея длинная, словно у гусыни... Только вот цветом волос напоминала Васёна мать.

И главное, когда отец возвращался с промысла, лицо Васёны бледнело, глаза наливались слезами, и она бормотала тоскующе:

— И не жалко тебе их, зверяток? Ведь жалко, а ты их убиваешь, шкуры с них дерешь.

При этих словах у Курнакова пропадала вся радость от богатой добычи и усиливалась обида, что у него не сын, а дочь. И не в мать ведь Васёна, та сама была удачливой охотницей. И в кого — неизвестно; в роду Курнаковых все занимались промыслом с самых давних времен.

И вот когда Егор Курнаков лежал в избе, израненный медведицей, равнодушный к себе и ко всему, лежал, угрюмо зажмурившись, с сигаркой в зубах, обсыпаясь табачным пеплом, в его самодельную тьму вторгалась светлым личиком Васёна, будила его своими молчаливыми заботами, осторожной лаской. И девочка выходила отца. Сама неутешно тоскующая о матери, но не ищущая ни в ком сострадания к себе, вернула ему волю к жизни.

И до Егора дошло: он, оказывается, вовсе не один. Их двое. Он и дочь. С тех пор Курнаков не расставался с Васёной. Зимой не уходил на промысел, оставался в поселке, а летом брал дочь на мотобот.

Курнаков любил море. Оно всегда разное. Каждый день, каждую ночь не похожее на себя вчерашнее. Безбрежная, сверкающая ширь его, будто с легким накатом, являлась Курнакову как нечто огромное, живое и доброе.

С восходом и на закате море розовело и казалось теплым, согретым, а из него вздымалось или погружалось в глубину его громадное багровое солнце.

Курнаков восхищенно объяснял дочери, какое это богатство для людей — море. Сколько в нем бесчисленной живности и как надо по-человечески учиться понимать море, все его прихоти-удали. Так он называл штормы, бури,

ураганы, утверждая, что стоячая вода мертвая, а как развернется, расколышется море, тут оно себя во всю мощь кажет, как живой воде и положено.

— В шторм не моря бойся, — говорил отец, — а берега. Море покачает, побросает, большой волной через тебя перекатится, но если посудина в порядке, команда тоже, на плаву останешься. А ежели к берегу прийдет, расколошматит о камень плавсредство, погубит и людей. Берег — он твердь, скалы да галька. А море мягкое.

Но Васёна ненавидела море. Для нее оно навсегда осталось убийцей матери. Однако любя отца, она улыбалась, глядя на волны и слушая похвалы отца морю.

Если начинало штормить, отец тревожился: как дочь перенесет качку? Но именно в шторм Васёна злорадно и пристально смотрела на полупрозрачные вздымающиеся валы; они колотились о мотобот и расшибались, падали, словно сраженные, взрываясь водяной пылью.

«Так вам и надо, сволочи», — сомкнув губы, беззвучно приносила про себя Васёна.

Курнаков знал море так же, как оленеводы — эвенки, пивхи, нанайцы — знают тундру и по еле уловимым признакам находят путь в пургу, выюгу, буран, когда тундра превращается в бушующий белый океан. Почувыв приближение непогоды, Курнаков гнал мотобот навстречу ветру, вздымающему большие, тяжелые черные волны.

Низко нависшие сырые тучи поспешно гасили день, превращая его в ночь. Васёна стояла рядом с отцом в рубке, плотно расставив ноги, и с упоением глядела на отца, на его лицо, озаренное светящейся комнасной картушкой; ощущая этот взгляд, Курнаков испытывал горделивое блаженство, но гордился он не собой — дочерью, с мстительной радостью вскрикивавшей, когда огромные волны напарывались на острый нос мотобота и, поверженные, сползали вниз, как могучее раненое существо...

А когда Васёна подросла, ей пришлось уехать учиться в город, в интернат. Отец на все эти годы тоже перебрался вслед за дочерью, он нанялся боцманом на бывшее китобойное судно, после капитального ремонта переоборудованное в каботажный транспортник. Зимой Курнаков работал истопником в интернате, чтобы быть рядом с дочерью.

Транспортник обслуживал геологов и строителей — доставлял им грузы. И пассажиры были тоже геологи и строители. Поскольку Заполярье всегда считалось чем-то вроде испытательного полигона мужества, пассажирами на транспортнике была главным образом молодежь. Ребята

ехали навстречу трудной жизни с гитарами, песнями, шутками — длинноволосые, с бородами, одетые пестро и ярко, словно для лыжной прогулки.

Курнаков как-то не выдержал, упрекнул:

— Чего-то вы больно легко одеты, ребята!

Один из пассажиров, сухощавый, длинный, со скинерской бородкой, высоко подняв тонкие брови, согласился иронически:

— Действительно! Одиннадцать процентов суши земного шара покрыты вечным льдом. Это же безобразие. Цивилизованному человеку приютиться негде.

— Может, вы на себе и много климатов испробовали, — хмуро сказал Курнаков, — но Север есть Север.

— Ничего, — бодро возразил юноша, — я парень горячий, он ко мне привыкнет.

— Ладно, — угрюмо произнес Курнаков. — пока что на судне, в тепле, веселитесь.

— А мы вообще оптимисты! — хохотнул парень.

Но тут на палубу поднялась Васёна; долговязый шагнул ей навстречу, замер и произнес восторженно:

— Встала из мрака... — Запнулся, переиначил: — Такая в косынке пурпурной прелестная Эос.

Васёна не смутилась, спросила строго:

— Вы что, в школе не учились?

— Это почему же?

— Да слова переврали.

— От приверженности к фактам. Вы же вполне одеты, хотя, несомненно, божественного происхождения.

— Моя дочь! — гордо объявил Курнаков.

— Не верю! — воскликнул юноша. — Отец ее Борей, а мать Венера!

— Да ладно, хватит кривляться, — сурово оборвала Васёна. И вдруг улыбнулась, спросила: — Вы всегда такой веселый?

— Только в исключительные и решающие моменты жизни.

— Может, вы из самодеятельности? — усмехнулась Васёна. — Конферансье, что ли?

Курнакову стало очень приятно, что его дочь здорово срезала парня, но когда Васёна подошла к поручням и юноша приблизился к ней, это Курнакову не понравилось, и он тоже по-своему съязвил, сказав строго пассажиру:

— Крепче цепляйся, так сказать, за перила, а то за борт свалишься. Придем в бухту, начнем вас считать поштучно — глядишь, одного недосчитаемся.

Но парень ничего не ответил. Курнаков услышал только, как, обращаясь к Васёне, он увлеченно говорил:

— Мне от вас, кроме вашей полуулыбки, ничего не адо...

Море плескалось ритмично, широко и свободно, и только у скалистых, с нетающими серыми льдами, берегов волны бились о камни гулко, в яростной пене.

Здесь наружу выступал черный базальт, часть каменной мантии, в которую завернута наша планета, обозначая край тверди, за которой только океанская хлябь. В распадках желтые от старости снега сползали языками к самой воде. В каменных трещинах, вцепившись когтями корней в расщелины, росли скрюченные твердые деревья, похожие на кустарник.

Стоял длинный серебристо-серый полярный бесконечный день. И такое же серебристое небо сливалось с серебристым морем.

Курнаков ушел в ходовую рубку. Расставив ноги, он смотрел на качающуюся линию горизонта, за которой тянулось безмерное пространство, покрытое вечными льдами, и где обитали зимовщики — витязи Заполярья.

Оттуда, с макушки планеты, они предсказывали погоду кораблям. А над ними стояло северное сияние, венчая своей светопосной короной чело земли.

Васёна вошла в рубку. Курнаков не оборачиваясь спросил:

— Это что за кличку он тебе придумал — Эос?

— Он не придумал, а у Гомера стащил.

— Так, ясно, — сказал Курнаков и немного погодя осведомился: — Он что, не советский?

— Кто?

— Да Гомер.

— Он грек, папа.

Курнаков задумался, потом произнес:

— Уж где только за войну не довелось побывать, а вот в Греции не был. — Затем добавил: — В Европе тесно живут, развернуться негде, куда ни ткнешься — населенный пункт. — Поглядел в сторону берега. — Тут прежде места были ненаселенные, а теперь всюду люди: роют, строят, со всех краев страны понаехали, большое дело затеяли. Техники столько патащили, словно как у нас, бывало, при наступлении всем фронтом. — Нахмурился. — Дело великое, а народ идет несолидный, со смехом, вроде как на субботник.

— Ты про этих? — кивнула на палубу Васёна. — Зря

Они на Ангаре уже гидростанцию построили, теперь на Север подались.

— Иркутск город южный, теплый, обжитый, а наши края сердитые, тут не похочешь.

— А мы что, не такие, как они?

Курнаков поглядел на дочь, вздохнул, промолчал. Его тревожили эти ребята, их легкость на подъем, самоуверенность, самостоятельность. Перелетные... Курнаков опасливо подумал, что они могут сманить за собой Васёну, и, чтобы утихомирить свою неприязнь к ребятам, мысленно попытался похвалить их: не в теплые же края едут — в суровые, мерзлотные, на труд тяжелый, на жизнь необустроенную.

Сам-то Курнаков свою приморскую тундру считал чем-то вроде земли обетованной. Звери, птицы, не говоря уже об оленях, красивейших на земле животных, служащих человеку не хуже коней и коров. А под моховым покровом леммингов сколько! Лемминги — они вроде полевых мышей, только хвосты у них не голые, а с кисточками.

Если по весне на леммингов урожай, то, считай, урожай и на песцов: лемминги им корм. А крупные зайцы, белки, снежные белые куропатки, гуси, гагары, да мало ли всякой другой живности! В озерах овальных, в древних ледяных проталинах — рыба. В тех бочагах, что богаты жирным сапропелем, в желтой гуще его, даже караси водятся величиной в лапоть.

В долгий летний день солнце до того пронзительно яркое, что хоть темные курортные очки надевай. Когда тундра цветет, растительность пахнет приятно, не хуже, чем на лугах в глубине материка. И чистота, ясность такая, какая, говорят, бывает только на самых высоких горных вершинах.

И людей в тундре не так уж и много, поэтому тут каждая встреча — праздник. И нигде не радуется так человек человеку, как здесь.

И хотя живут в тундре люди разных национальностей, если посидишь, попьешь чайку с жиром и солью у кого-нибудь в чуме, все его родственники потом считают тебя вроде как за родного.

Конечно, в тундре и зимой, и летом человек должен быть настороже. Но, с другой стороны, а в городе разве не так? Улицу станешь переходить, зазеваешься — сшибут машиной. Городские от открытой форточки простужаются, а здесь, если буран, в снегу пещеру выкопаешь, залезешь в нее с охотничьими собаками, они надышат, тепло стано-

вится, и ниоткуда не дует. Спишь как убитый. Городские гриппом болеют, а здесь никакой заразы; на морозе ни один микроб не выживет.

Конечно, бывают происшествия, а где их нет?

Случилось и такое — вся собачья упряжка вместе с нартами в полынью угодила. Так и в городе был случай, когда на главной улице человек в открытый люк подземной коммуникации свалился.

В Африке народ голый ходит. А в тундре одежду одну мехом внутрь на себя надевают, а другую — поверх, мехом наружу. У всех своя мода — согласно климату. Но и то сказать — нынче и в тундре сидит водитель в утепленной кабине вездехода, словно у себя дома. Одет легко, а малица или полушубок на крючке висят. И термос с кипятком сбоку на железных державках у стенки.

Вертолетами-всюдулетами обзавелись. Их народ «самодержжцами» прозвал за то, что под собой подвешенные на тросах пучки труб возят, опорные мачты для проводов или даже крупные котлы, оборудование для рудников, панели для всякого рода строек.

И народу пришлого завелось много, некоторые даже высказываются в том смысле, что тут навсегда останутся, поскольку поселков строят великое множество и жилье выдают сразу, без всякой очереди, да еще со всеми удобствами.

А молодежь почему прет? Не только из-за временного интереса — Заполярье поглядеть: уж очень они тут быстро в начальство выскакивают! Приедет, поработает, допустим, штукатуром, короткое время пройдет, смотришь, а он уже сидит в кабинете с вывеской. Тут инициативному простор, его сразу ухватывают и вверх тянут. Этот вот долговязый, в лыжном костюме, с бровями в ниточку, который Васёне греческую кличку дал, сейчас он никто, пассажир — и все, а коли он с таким же напором работать будет, могут и выдвинуть. И если Васёна ему по простодушию своему адрес даст, полезет с письмами, очень даже просто — сманит. И так он ее уже своими словами задел насчет полуулыбки. Ключет девчонка — и все, уведет.

А как уберечь? Да и где право? Закон природы.

И Курнаков испытывал тоску, боясь остаться один, забыв, что на промысле долгой полярной ночью целыми месяцами он не знал ни тоски, ни одиночества. Это все началось с тех пор, как не стало Василисы...

К геологам Курнаков относился всегда с особой доброжелательностью. Еще в юности, когда он ходил на промы-

сел с отцом, в глухих, непроходимых горных отрогах, сползающих в океан, словно пришедшие на водопой гигантские существа с горбатыми, заснеженными хребтами, встречал он копошащихся в расселинах голодных, оборванных людей, одинаково заросших, с лицами, иссеченными грязными морщинами... Они всегда казались ему пожилыми.

И добро бы золотишко шарили, а то просто камень, чем-то особенный, по их мнению, отбитый от выбеленной за тысячи лет птичьим пометом горной громады, по склону которой раскинулись птичьи базары.

И хотя имелись у этих людей и ружьишки, и боеприпасы, и снасть для ловли рыбы, голодали. Голодали потому, что сил хватало только на их поисковые дела, которые они торопились закончить до зимы.

Из жалости отец устраивал возле их стана привал, бил дичь, подкармливал отощавших, да и сам Курнаков рыбачил для них.

Но народ геологи занятый. Их, например, интересовало, что в здешних местах было раньше, миллионы лет назад; если они это, мол, будут знать, то смогут облагодетельствовать государство на сто и больше лет вперед всякими ценными ископаемыми.

Пока что их ценности состояли в обломках камней, которые они отбивали от горной толщи и бережно заворачивали в бумагу — каждый отдельно.

Отец уважал их за стойкость, за бескорыстие и за ту веру, которую они высказывали, будто здесь когда-нибудь встанут города, совсем такие, какие стоят в глубинах материка.

Теперь, правда, геологи стали другие — с богатым снаряжением, с вездеходными машинами. И оборудование у них, что твои мастерские. И все-таки, как и прежде, без отваги и стойкости безлюдные пространства не одолеешь: летом — топи, зимой — стужа, да такая, что даже металл крошит.

Курнаков думал: к геологам Васёну тянет, недаром они перед ней выставляются: их, дескать, совершенно не интересует то, что на поверхности земли — пальмы там или мох, вечная мерзлота или высотные дома, — важно, что внутри. Земная поверхность, мол, может быть плодородная, в пышной зелени, и бесплодная, в облезлых лишаях на камне, но для них красота земли — в ее недрах.

Поэтому им, значит, не до внешней среды, не до климата. Главное — в ценных залеганиях; если эти замечатель-

ные породы извлечь, тогда можно создать что угодно и где угодно, в интересах всего народа.

Бойко рассуждали, заманчиво.

Но каждый раз, возвращаясь из рейса, Курнаков с облегчением думал: «Не сманили Васёну, а ведь она девушка мечтательная»...

Надежная и спокойная жизнь наступала для Курнакова, когда Васёна вдруг собралась поступать в сельскохозяйственный техникум.

«Ну, все,— решил Курнаков,— теперь она приземлилась. Теперь ее в тундру не сманят, станет она здесь проживать, с удобствами».

И Курнаков уже без всяких опасений, что Заполярье приманит дочь, рассказывал о своей промысловой жизни:

— Некоторые так полагают: лыжи-доски привязал — и пошел. А ежели наст сухой, как штукатурка, дерет не хуже наждака? Прошел по нему, а что на ногах? Сточенные о наст тонкие плашки. Раз — и в щепу с треском. Пойдешь не обутый в лыжи. Наст под тобой ломается, портки в лохмотья рвет. Идешь, будто в ледоход по льдинам, одна только разница — воды под тобой нет. Значит, что? Бери запасную пару на случай износа. Ну, а если не наст, если снегонад сильный, пухляк лежит толщиной в рост человека. Разве лыжи удержат? Никак. Надо снегоступы с плетенкой, идешь — на ногах словно решета, поясицу ломит, как от простуды. Или, к примеру, пурга, видимости нет, снег на тебя, как стена, наваливается. Тут надо что — залечь, выждать. Потом вылезешь из берложки, взглянешь — красота: все блестит, сияет, и снег морем пахнет. Но вот ежели черная пурга, которая весь снег вместе с землей сдирает, тут другая картина: все потом черное, снег черный и ты весь черный. Охоты не будет, зверя не выследишь: он, напуганный, по норам забился. Но вообще, когда погода смиренная, видимость хорошая — на снегу все следами разрисовано, где какой зверь и когда прошел. Почитаешь следы, какой перспективный выберешь и идешь ровно, не тороясь. У человека выносливости и ума больше, чем у зверя, как зверь ни петляет, настигнешь. Охота не только промысел, а и самому себе испытание: слабак ты или нет?

Васёна слушала отца, не вникая в смысл его слов, одно понимала — томится отец без тайги, без тундры.

И когда он снова неожиданно для Васёны снаряжился на промысел, она радостно собирала ему провиант. Замесила тесто на сале да на мелкорубленном мясе — для охот-

ничьих сухарей. Высушила их так, что стали они подобны серым сухим кускам кокса.

Но решение идти на промысел Курнаков принял вовсе не потому, что его тянуло в тундру. Расчет его заключался в том, что Васёна после сельхозтехникума получит распределение на плодородные земли, где лето длинное, а зима короткая и люди живут с комфортом. Значит, надо добыть для обустройства денег. Потому что все тутешнее не годится для тамошнего. Все надо покупать заново.

Целую долгую зиму он ходил за зверем, аккуратно выбирая зрелых самцов с богатой шубой, чтобы сдать всю пушнину первым сортом.

Вернулся по весне, вытряхнул из мешка обвязанную леской пачку денег величиной с кирпич, сказал:

— Снеси в сберкассу на свое имя.

И ушел в порт готовить суденышко к началу навигации, чтобы выйти в море, которое еще покрывал лед, словно битое стекло, — только стекло было толщиной в бетонные строительные плиты.

Курнаков полагал, что он уходит в последнее плавание, и вознамеривался в эту навигацию выполнить такой план в тонно-километрах, какой до него не удавалось выполнить ни одному судну равного водоизмещения. А затем удалиться с честью.

Все лето Курнаков возил разнообразные грузы в устье полярной реки, где располагались склады строительства рудного карьера. Только один раз он снисходительно согласился съездить на вездеходе в поселок горняков.

Поселок вырос посреди тундры, неправдоподобно красивый, словно увиденный в кино. И такой новенький, будто сделали его сразу целиком за один день.

В продовольственном магазине продавали ананасы, похожие на огромные кедровые шишки, горевшие оранжевым огнем мандарины, бананы величиной с огурец, вкусом напоминавшие сладкую картошку.

Курнаков решил, что продукция жарких стран завезена сюда с умыслом: пусть, мол, приедем с материка в тундре не кажется так студено и промозгло.

Поглядел он и разрез карьера; там копошились гигантские механизмы, похожие на оживших древних зверей, некогда водившихся здесь. Тяжеленные, огромные кости их он не раз видел в глубине обвалившихся береговых склонов. Они торчали, будто кривые серые бревна, каменно-тяжелые, и походили не на скелеты, а на обломки погребенных в земле древних зданий.

— Ну как? — спросили Курнакова.

Он пожал плечами и снисходительно, притворно солидно произнес:

— Как нам во всем и положено, фундаментально! С мелкой техникой на большое дело не ходят. Все соответственно масштабам времени.

А ведь совсем недалеко отсюда его когда-то драла медведица, и на всем бесконечном белом пространстве были они здесь тогда вдвоем.

Вот скажи здесь людям — не поверят, как и он, Курнаков, ходил по этому поселку и не верил, что он настоящий, в тундре, а не где-нибудь, в глубине обжитого материка.

Одним из рейсов Курнаков доставил в поселок коров. Их пришлось выгружать судовым краном. Когда коров поднимали над палубой поддетыми под брюхо брезентовыми скатками, они махали в воздухе ногами, словно плыли по воде, и, задрав морды, негодуяще ревели.

— Для чего ж это в Заполярье коров-то? — поинтересовался Курнаков.

— А молоко детям нужно или нет?

— Зачем же сюда ребятешек таскать?

— Кто со своими уже прибыл, а кто в свободное от работы время новых рожать будет...

Вот это-то поразило Курнакова больше, чем вид поселка, сборище могучих механизмов и рассеченная карьером, точно землетрясением, тундра.

Значит, здесь начинается совсем новая жизнь людская, начинается на все времена, и будет она теперь совсем не такая, какой была прежде, а такая, как в тех краях, где короткая зима и долгое жаркое лето.

Вернувшись, он узнал, что Васёна получила назначение на работу в этот самый поселок.

Курнаков хмуро осведомился:

— Это что же, климат у нас тут решили сменить? Или тебе там мох выращивать?

— Зачем мох? Любую растительность, только пока в закрытых помещениях.

— Чем закрытых, одеялами, что ли?

Курнаков опечалился, потому что уже привык мечтать, как его Васёна станет выращивать высокие золотистые хлеба где-нибудь под жарким солнцем, где текут теплые реки и растут могучие, стройные деревья, не то что здешние, скрюченные, скорченные, величиной с веник.

А он будет приезжать к ней «греться».

И его, отца Васёны, там будут уважать люди, как

уважают они, живущие в нежном климате, тех, кто работает в Заполярье, потому что Заполярье — это долгая студеная ночь, прохладный день и вечная мерзлота под тонким покровом земли, толщиной в солдатское одеяло. И Васёна будет гордиться своим отцом перед этими людьми не столько из-за того, кто он, сколько из-за того, откуда он.

А теперь что же получается? Васёна поселится на тех широтах, куда раньше ходили только самые рискованные промысловики. Ходил и он сам и гордился своей охотничьей удачей и смелостью, с какой оставался один на один с необъятной тундрой, гибельной для незакаленного, неопытного, слабодушного.

Нет, в самом деле, что же получается? Теперь, значит, в этих местах горняцкий поселок, и жители его похваляются не закалкой, не смелостью первопроходцев, а тем, что обустроились, живут, работают — так, словно здесь не Заполярье, а самое обыкновенное для советских людей место на земле.

И Васёна, обжившись там, станет относиться к Курнакову так же, как остальные, вроде как к пережитку старины.

Вот он рассказывал им, как боролся тут, неподалеку от их поселка, с медведицей, а они что? Заметили равнодушно: «Правильно поступили, животный мир надо беречь». А медведь, между прочим, не животное, а зверь...

И когда Курнаков сказал, какой короткий навигационный период отпущен его каботажному суденышку, ему снисходительно посоветовали: «Надо обзаводиться судами на воздушной подушке, тогда и навигацию продлите. Ледяной принай превратится в шоссе с твердым покрытием, и вы сможете швартоваться у самой стенки пристани, а не выгружаться в море на понтоны». И его специально повезли посмотреть, как самоходная буровая вышка шла с ураганным ревом по тундре, словно на плаву, на этой самой воздушной подушке.

Курнаков обиделся, увидев такое зрелище, заметил строптиво:

— Не жалеет государство средств — мало вам тягачей, так еще целый завод на полозья поставили, чтобы вышку вам тянуть.

— А вы как хотели? В собачьей упряжке?

Курнаков мрачно сказал:

— Я на фронте в санях с собачьей упряжкой станковый пулемет установил, просачивался в тыл противника и, как первокопники с тачанки, немцев свинцом опрыскивал и па-

нику организовывал, не хуже, чем если бы к ним танк прорвался.

В старинном станке, где жил Курнаков, люди обитали в приземистых избах, срубленных из лиственниц в такие давние времена, что не все помнили, когда эти избы были поставлены. Но основой жизни были промыслы — морской и таежный. На них уходило все время. В избы возвращались отдыхать — вроде как на кратковременный праздник. К морю, к тайге, к тундре жители станка относились, как крестьяне относятся к земле, бережно.

Когда урожай на зверя был невелик, брали добычи поменьше, и не потому, что сыскать ее становилось трудно, а для того, чтобы сберечь на следующий год. Чтобы размножался зверь... То же и с рыбой: если косяки шли мелкие, брали самую малость в расчете на обильный улов будущего года.

Тех, кто нарушал закон и меру, лишали права выхода в море, им выделяли самую плохую охотничью делянку.

Станок — старое название. На самом деле это был промысловый колхоз. Раньше его председателем работал отец Курнакова — лучший добытчик.

Главное его достоинство заключалось в том, что он для себя добычи не брал, он разведывал зверя и рыбу, скитаясь зимой по тайге или тундре, а летом по морю.

У него было две карты.

Одна — сухопутная, по ней он выделял колхозникам охотничьи делянки, зная, сколько с какой можно взять, другая — морская, на которой он обозначал ход выслеженных косяков и лучшие места лова. И почти всегда безошибочно знал, сколько, когда, где и какой можно поймать рыбы.

Во время войны отец ушел служить на флот и погиб в Баренцевом море. После войны председателем колхоза стал Иннокентий Вавилов.

Избрали его главным образом из уважения к тому, что он служил на подводной лодке.

Курнаков относился к нему неприязненно: Вавилов, когда Курнаков командовал мотоботом, называл его судно «котелок с движком». Не считал Курнакова моряком, дразнил «водоплавающим».

Впрочем, Курнаков в душе прощал председателю издевки, потому что тот, как и его отец, служил на Северном флоте и, когда его субмарину потопили, неделю, засыпaeмый снегом, мотался по холодному Баренцеву морю в спасательной надувной лодке, после чего и ампутировали ему

обмороженную ступню правой ноги, а на левой отсекали пальцы. По этой причине Вавилов ходил на протезе и с тросточкой. Люди, встречавшие его впервые, думали, что Вавилов ходит с тростью для фасона и для фасона же всегда носит матросскую тельняшку.

Вавилов первый в поселке предупредил Курнакова.

— Смотри, Курнаков, — сказал он строго. — В бинокль по всем румбам смотри. Ребята как увидят Васёну, обмирают. Не девка — картина. В капстранах таких королевами красоты выбирают. Это только у нас такому явлению не придают общественного значения. Подкатится ей под ноги какой-нибудь хухрик, споткнется она, раз — и в дамки, а он вдруг всего только пешка. Значит, бди, по сторонам поглядывай. Появится на горизонте достойная фигура, с моей стороны задержки не будет, стройматериалом их обеспечим полностью. Колхоз тоже заинтересован, — добавил председатель внушительно, — чтобы она не какого-нибудь суслика привела, а бобра стоящего. — И тут же пояснил: — Я бобров больше всего уважаю, домовитый народ, работающий, я даже так полагаю, самый умный, — словом, подводник со всеми вытекающими отсюда, в моем понимании, качествами.

Но и без Вавилова Курнаков давно уже понял, что красота Васёны, ярко расцветшая с годами, как бы лишает его отцовского права направлять ее жизнь, руководить этой жизнью. Он с грустью сознавал, что рано или поздно появится человек, который своим восхищением затмит беспокойную, тревожную отцовскую любовь и оттеснит его на второй план.

Но у Васёны был свой мир забот и надежд.

Конечно, она помнила, как после смерти матери отец, испугавшись одиночества, в тоске «прилип» к ней. И, наверное, боялся, что она заметит, поймет его растерянность. Будучи вообще человеком сильным, выносливым, мужественным до дерзости, он стал теперь чуть ли не хорохориться перед дочерью, словно желал доказать ей свою смелость и силу. Чтобы она не только жалела его, но и гордилась им.

Дважды он выходил в бушующее море на мотоботе — один раз для того, чтобы взять с сухогруза ампулы с консервированной кровью для женщины, погибающей после тяжелых родов.

Он обвязал этими ампулами, заложенными в марлевые чехольчики на широкой матерчатой ленте, живот и поясницу под бушлатом и согревал их своим телом. Волны взды-

мались, тяжело бились о борта. Они накатывали сверху, накрывая суденышко. Обледеневший мотобот еле-еле бахтался, его швыряло в разные стороны, и Курнаков в отчаянии, ударяясь о железо, словно беременная женщина, защищал только свой живот, к которому были подвязаны ампулы. Когда мотобот, похожий на плавучий обломок грязной льдины, наконец вошел в бухту, последняя волна с силой и скрежетом стукнула его о берег. Курнаков сразу прыгнул с борта на сушу и, сутулясь, побежал в поселковую больницу. И врач, вышедший ему навстречу, видя, что он в крови, сказал удрученно:

— Разбили ампулы?

— Нет! — ответил, радостно улыбаясь, Курнаков. — Это моя собственная, пошкрябался. — И, задрав бушлат, пояснил: — Вот она, чужая, в целости.

Пароходик, на котором боцманил Курнаков, всегда первым выходил в море, даже когда оно еще было панеловину покрыто плавучими голубыми глыбами льда. И груза брали столько, что судно сразу оседало до предельной отметки. Во время погрузки он яростно торонил стивидора и стропальщиков, словно был не боцманом, а капитаном. Внимательно разглядывая холодное, тускнеющее пламя заката, он всегда точно определял погоду и только потом, в радиорубке, сверял свой прогноз с тем, что сулили метеорологи с полюса.

Зимой ходил уже не на промысел, а с геологами: мол, ежели выпотрошат недра в одном месте, чтоб пайти резерв в другом. Возвращался отоцавшим, с занавшими щекками. Но при этом не утрачивал веселости, скорее даже обретал ее в трудных многодневных скитаниях.

Говорил Васёне:

— Пока человек молод, ему любая река — ручей. Но с возрастом понимаешь, что сегодняшний день завтра станет вчерашним, так что нужно целиться в послезавтрашний и аккуратно попасть в него, чтобы жить, а не затем, чтобы тебя утопленником из него выловили. — Так он объяснял дочери, почему, уходя в экспедицию, берет с собой речные карты, скатанные в узкие рулоны. Произносил со вздохом: — Конечно, у нас тут природа бедная, ребята жаловались: в южном небе звезд погуще... Но нам и своих хватает для ориентировки. Полярная за всех светит. — И когда дочь упрекала отца, что он не щадит свое здоровье, Курнаков твердо заявлял: — От спокойной жизни протухнуть можно. Я лично застоя крови больше всего опасуюсь, а без кутерьмы и не заметишь, как жизнь прожи-

вешь. — И добавлял с схицей: — На юге что? Жара, пыль, мухи. Поэтому люди к нам, на Север, едут. Красота природы у нас неповрежденная, а я себе зарок дал года считать не те, которые позади, а те, что положены мне для дальнейшего проживания при полной деловой нагрузке.

Испытуяще глядя на Васёну, говорил наставительно:

— Научить пирит за золото в азарте не принимать — дело простое, на то кислота есть, она докажет. А вот неподдельного человека от поддельного отличить только делом можно. В деле человек на человека испытывается.

Рассуждал он так не случайно.

Васёна сдружилась с ботаником Елизаровым. Хилый, сутулый, бледный, зябнувший даже в меховой жилетке, в унтах и шапке-ушанке, он ходил по остекленной теплице, где стояла тропическая жара, словно по зимней улице, и всегда осторожно покашливал. Глаза у него были блестящие, навывкате да еще украшенные очками.

Васёна ответила с вызовом:

— Зато знающий, интеллигентный.

— А интеллигент — это что, профессия? — мрачно осведомился Курнаков и сердито добавил: — Чего ему, малокровному, у нас на Севере надо? Простудится — и все.

— Он нравственный климат нашего коллектива хвалит.

— В коллективе, под крышей, где тепло, ниоткуда не дует, — хмуро сказал Курнаков, — чего ж не похвалить? А вот как завьюжит, он не от нравственного, от настоящего климата сбежит.

— Сказал, что адаптируется.

— Чего?

— Ну, привыкнет.

— Привыкают к плохому — от некуда деваться, а к хорошему из всех сил тянутся. — Курнаков скосил глаза на Васёну. — Может, он на тебя линию взял?

— Может! — вызывающе сказала Васёна.

— Значит, в красоте сильно понимающий.

— Он умный.

— Умный! Смотря для чего он своим умом пользуется...

— Он сказал, что на Севере людей мандаринами и апельсинами пичкают, а они по картошке обыкновенной, по морковке и капусте скучают.

— Это точно, — нехотя согласился Курнаков.

— Вот и выходит — умный.

— Понять, что к чему, легко, а вот сообразить, как достать, — тут где его инициатива?

— Выращивать, говорит, надо.

— Слов всяких много, но не все они к делу, — пренебрежительно заметил Курнаков. — Надо понимать, для чего у человека по бокам руки висят.

— Он с высшим, а сам всю кровлю теплицы, как стекольник, застеклил.

— Значит, не организатор, раз сам на крышу полез с высшим.

Курнаков заходил в теплицу. Душно, влажно. Зелень неправдоподобно яркая, как на экране цветного телевизора.

Спрашивал, ехидно щурясь:

— Почему же такой у вас странный огурец получается? Это все равно как песцов в неволе, в клетках, плодят, и не тот товар выходит. — Он выждал, произнес снисходительно: — Ладно, как закуска сойдет. Но в нормально растущем витаминов полно, а в этих, ваших, что-то не больно. А цветы к чему? Чтобы люди по теплу заскучали?

Елизаров оживленно пояснил:

— Растительный мир должен следовать за человеком. Сопровождать его всю жизнь.

— А мы тут без ваших тепличных цветиков не пропадали, — возразил Курнаков.

— Источник живого — солнце, — невозмутимо продолжал Елизаров. — В полярный день солнечного света здесь в изобилии, приходится даже затемнять теплицы, а в полярную ночь — пожалуйста, вместо солнца светильники, — он кивнул на длинные стеклянные трубки, излучавшие блекло-голубой свет. — Электроэнергия дешевая. — Помолчав, ботаник сказал внушительно: — По мере роста производительности рудника мы будем расширять посевные площади в теплицах. Это экономнее, чем доставлять сюда овощи на самолетах.

— Растить под крышей, значит? — усмехнулся Курнаков. — А без крыши пускай один мох растет?

— На открытых землях мы выведем североустойчивый овес с коротким периодом вегетации.

— Коням корм, — усмехнулся Курнаков.

— Путем дальнейшего скрещивания будем пытаться выращивать хлебные злаки.

— Когда за пятьдесят градусов, железо точно камень крошится.

— А снегозадержание? Будем накрывать поля снежной шубой.

— Согреешься в такой шубе, как же, — сказал Курнаков и смутился, чувствуя свое бессилие сыскать более убедительный аргумент.

Его раздражало то, что Васёна ходит в этой влажной духоте в майке с голыми руками, в матерчатых, легких, засученных до колен брюках и покорно выполняет указания Елизарова, а тот обращается к ней повелительно, с холодным, деловым, властным лицом. Лицо его, однако, принимало доброе, кроткое выражение, едва он склонялся над каким-нибудь блеклым стебельком, разрыхляя вокруг него грунт.

Раздражало Курнакова и то, что в этой теплыни Елизаров одет как будто на морозе, осторожно покашливает и при этом потирает свою впалую, несильную грудь. И Курнакову казалось, что Елизаров вообще может жить и дышать только в теплице, поэтому он и затеял овощеводство и сманил Васёну в тепличное хозяйство, что для другой, нормальной жизни он вовсе не годен.

Васёне Курнаков говорил с упрёком:

— Этот твой огородник, он вроде канарейки — только поет красиво. Но ведь на подоконнике в горшке можно лук выращивать, а за вашей теплицей что? Тундра. Была и осталась тундра.

— То, что в тундре помидоры растут, это людям не только для здоровья, а и в радость.

— Так под крышей ведь?

— Нас горняки попросили, чтобы мы им в шахте под землей цветы высадили. Никогда нигде такого не было, а у нас есть... То есть будет, — поправились Васёна и добавила горделиво: — Под землей, а не то что под крышей.

— Так, — сухо заметил Курнаков, — значит, цветочками заманиваете, забывками от дела отвлекаете, чтобы не помнили, где работают.

— Чтобы помнили, для чего работают, — сердито сказала Васёна. — Для красоты жизни.

Курнаков не ответил. Мысленному его взору представились высокое ночное небо, плоская луна в нем, льющая кроткий голубоватый свет на ослепительные снега, и даль — бесконечная, ошеломленно замершая, добела застуженная в своем вечном, недвижимом покое. Плотен, как фаянс, наст; наступишь — точно стекло, громко скрипит под ногой. Никого, ничего, ты один и застывшая вечность. Тогда и приходит к тебе очищающее от всего одиночество. И гордость. Ты единственное живое существо на всем этом огромном сверкающем пространстве.

Полярная почь, красота ее, вдруг осознанная тобой как нечто великое, неповторимое, чему дано пребывать и тогда, когда тебя уже не будет... Ты видел это, видел, а другие не

видели, и, значит, ты вознагражден природой и жизнью. В тот страшный, грозивший стать последним миг ты терял силы, обмороженный, дыша едким, как дымящаяся кислота, воздухом, сухим, колючим, сковывающим внутренности жестокой болью. Но ты превозмог боль, обессиленный, остановился, беспомощно оглядел белую пустыню, сухой, сыпучий, как песок, снег и вдруг ощутил и осознал совершенную красоту полярной ночи, ее ослепительных просторов. И захотел жить, чтобы нести в себе это ощущение, и одолел смерть и мороз, хотя знал: в такую пору даже железо крошится.

Помедлив, Курнаков сказал Васёне:

— Красоту не подсказывают. Она всюду на своем месте, имей только понимание. — Вдохнул: — Ты тоже вот вся светишься. Но, гляжу, очкарик твой света твоего как будто не замечает.

— Он застенчивый, — сказала Васёна.

— Желает, чтобы счастье к нему само унало прямо в руки, без хлопот? Я чем Василису покори́л? Без варезжек при ней на промысел ходил, чтобы с голой руки бить устойчивее, без промаха. Всю кожу обморозил, облезла, палец опух, еле, можно сказать, в скобу влезал, а твой этот в теплице простуды боится. Ты налегке бегаешь, а он закутанный, здоровье бережет, оно ему, выходит, всего дороже.

Конечно, не так просто было оборудовать тепличное хозяйство в заполярном горняцком поселке, тем более что Елизаров мог только вежливо просить, а настаивать, требовать вовсе не умел.

И тут свой характер проявила Васёна.

— Стекло! — говорила она директору рудника, человеку бывалому, с изрубленным морщинами лбом, широкими скулами и недобрыми глазами цвета горчицы.

— У нас на жилье не хватает. Положены тройные рамы, а мы двойные ставим.

— Ставьте одинарные в общежития, там молодежь, они согласны, им только чтоб зеленый лук и помидоры были.

— Это что же, они за взятку, значит, соглашаются?

— За удовольствие питаться без скидки на климат. И трубы, кстати сказать, тоже нужны. — И Васёна в упор глядела на директора своими продолговатыми «самочетными» глазами.

Директор ежился, смотрел на лежавшие перед ним на столе бумаги, выкручивался:

— Трубы у нас золотые, бросаться ими не собираемся.
— А на самолетах возить витамины импортные — это что, дешевле ваших труб обходится?

— Трубы для производства.

— А овощи для людей. На производстве главное — люди.

— За горло хватаете!

— К сердцу пробиваюсь! — не терялась Васёна. — И еще удобрения пужны.

— Откуда? Из отхожих мест? — язвил директор.

— Не биологические, а химические, — строго отвечала Васёна.

— Вы сами откуда? — сердито осведомился директор. — Небось, из области?

— Я-то отсюда. Это вам, приезжим, вечная мерзлота неживой кажется. Нормальную жизнь, считаете, наладить нельзя.

Директор глянул в лицо Васёны, гладкое, цвета спелого яблока, сказал уныло:

— Не думал, что в этих местах такие экземпляры водятся.

— Не правлюсь? — высокомерно спросила девушка.

Директор поерзал на стуле, признался:

— Вообще ценю настойчивых, энергичных, зубастых. А вам, — добавил он раздраженно, — при вашей внешности не огородницей следует быть.

— А кем? — с гневом осведомилась Васёна.

— Да уж ладно, — смущенно махнул рукой директор. — Хенде хох! Давайте вашу заявку.

— Вы воевали? — участливо спросила Васёна. — Хенде хох! — Это она слышала от отца.

— В свободное от работы время, — сухо сказал директор, — служил в войсках по ремонту боевой техники. — Подписав заявку, он вдруг стал жаловаться: — Вы вот еще вполсили на меня пажимаете, а другие целыми коллективами являются. Например, детский сад потребовали. А Заполярью это учреждение совсем даже не соответствует. Отдал им целиком стандартный коттедж. А кому назначал раньше? Квалифицированным кадрам.

— Вот вырастут, и будут вам кадры, — утешила директора Васёна.

— Я добычу должен сегодня давать, — хмуро сказал тот. — Не дам — не видать мне, как из этих ребятишек не то что пионеры, даже октябрята вырастут.

— А вы и добычу давайте, и кадры растите, — посовето-

вала Васёна. — Человек не должен себе и работе предел ставить...

Когда Васёна ушла, директор подошел к окну, отдернул занавеску и долго печально и задумчиво смотрел ей вслед, потом глянул на свое отражение в стекле, раздраженно потрогал глубокий рубец, обезображивавший лицо (из-за него даже бриться было трудно), вздохнул. И, усевшись возле селекторного микрофона, давя кнопки, принялся опрашивать участки горных работ с необычными для него спокойствием и дружелюбием.

Трудно сказать, почему «огородное дело» внушало Васёне такую одержимость. Скорее всего она, зная, как тяжело живут люди в суровых условиях Заполярья, искренно захотела скрасить эту жизнь, принести в нее то, что людям в глубине материка даром отдает богатая, щедрая природа.

Васёна знала, что ею любят, и думала: «Я здесь выросла, как они говорят, красивой. А почему нельзя, чтоб на этой земле все росло красивым да еще к тому же полезным, вкусным? Люди привыкают к нашему климату, значит, и растения можно приучить. Отец рысь держал, она словно кошка была. Молоко лакала из блюдечка и мурлыкала. Почему же нельзя и растения теплого климата приучить?»

Отец не обращал внимания на то, что она еще в детстве упорно выращивала на подоконнике зелень и радовалась каждому новому ростку больше, чем его богатым подаркам, купленным после сдачи пушнины. Теперь отец не понимает ее привязанности к Елизарову. А она в Елизарове нашла единомышленника и такого же мечтателя, как она сама, и полюбила его за то и дорожила им, — правда, испытывая не женский восторг, а только благоговейную, бережную нежность и благодарность за то, что они одной веры и живут одной надеждой — украсить эту скудную землю яркой ароматной зеленью. Пусть вначале все это будет происходить под крышей, а потом — кто знает? — вдруг зелень привыкнет к их почве и станет здесь постоянным жителем, как все эти многочисленные люди из теплых краев...

Жители рудного поселка были в это время одержимы совсем иным. Им казалось, что они нашли бесценный клад, и все их помыслы были прочно связаны только с этим кладом. Рассуждали они примерно так: клады под носом не находят, чем дальше они лежат, чем нетронутей, богаче, чем тяжелее их брать, тем они, значит, драгоценней. Все их интересы сосредоточились там, под землей, а что на зем-

ле — неважно. Они давали богатейшую добычу стране и считали, что ради этого могут терпеть любые лишения. Где-то, когда-то, думали они, в других местах и они вкусят благ жизни. Поэтому малейшие радости бытия, какие могло предложить им суровое Заполярье уже сегодня, они воспринимали с изумлением и благодарностью.

Первые огурцы, помидоры, ранняя картошка, выращенные здесь же, под боком, были встречены ими с таким же восторгом, с каким старатели в поисковых шурфах обнаруживают полновесные самородки, и поначалу они относились к овощам словно к украшениям, которыми можно лишь любоваться. Потом стали давать их детям. А попривыкнув, с нарочитой небрежностью уже угощали свежими овощами новоприбывших, гордясь при этом, пожалуй, ненамного меньше, чем гордились своей мощной горнодобывающей техникой.

Васёну уважали в поселке и на каждом собрании выбирали в президиум.

И многие члены президиума не столько глядели на ораторов, сколько косились на Васёну, на ее нежное лицо с продолговатыми яркими глазами, похожими на самоцветы. Обычно на столе перед Васёной лежал узелок с овощами. Говорила она мало, конфузясь, и переставала смущаться людских взглядов, лишь когда вынимала из узелка овощи и с гордостью показывала их собравшимся. Да еще самокритично утверждала:

— Мало выращиваем, а чтоб много, — тут она поворачивалась к членам президиума и сильным своим грудным голосом упрекала их в том, что недостаточно помогают подсобному хозяйству, производящему живые витамины...

Темной полярной ночью люди жили точно на дне глубокого мрачного ущелья. Ледяные ветры, несущие лавины снега, как шуршащие смерчи огромной высоты, обрушивались на поселок, погребая его под снегом.

Курнаков прибыл на отдых к дочери после закрытия навигации. Последний рейс у него вышел трудный. Перед выходом он видел, как море светилось, что означало приближение непогоды. Но груз был срочный (впрочем, грузы никогда не бывают не срочными). Судно сильно потренило в шторм. На обратном пути ремонтировались на ходу, чтобы добраться до порта и не зазимовать во льдах. В этот рейс Курнаков обморозил лицо и руки. Лицо распухло и очень болело. Он не носил бороды для тепла и защиты от ветра. Все пришлое отпускали бороды, особенно молодежь,

так что безбородость служила теперь как бы обозначением пожилого возраста, солидности старости.

Он застал дочь в волнении и заботах о Елизарове, который полез счищать снег с кровли теплицы, провалился сквозь стекло и порезался.

Елизаров лежал весь в бинтах, даже очки на лице его были частично перебинтованы. Лежал тощий, желтый, но почему-то довольный.

Васёна счастливым шепотом поведала Курнакову, что Елизаров после того, как провалился и порезался, снова, весь в крови и порезах, полез на кровлю заделывать проломы фанерой, и заделывал на ветру, в стужу, и только потому не истек кровью, что она от холода застывала у него на ранах. И Васёна, торжествуя, даже, пожалуй, мстительно объявила отцу:

— Вот тебе и суслик! Он себя не пощадил, чтобы урожай спасти, не заморозить. Попаял, какой он человек высокий?

Конечно, Курнакову было немного обидно, что дочь не заметила его лица, выбритого специально для нее, выбритого, несмотря на болячки от обморожения, «заплатанного» клочками папиросной бумаги на местах порезов, тоже, кстати, кровоточащих.

Не обратила внимания, что он ходит скособочившись — после того как его тяжелой волной чуть не смыло с палубы и так швырнуло о поручень, что с поручня посыпались обломки льда, словно после удара кувалдой. Но он кротко смолчал и даже обрадовался:

— А что, правильно! Человек силен не фигурой, а натурой, выходит, он у тебя из тех, кто в критический момент может себя проявить как следует. Таких я... — Он задумался и решительно добавил: — Вполне уважаю.

Однако ночевать Курнаков все-таки решил уйти в общежитие, чтобы, как он сказал, куревом не обеспокоить пострадавшего Елизарова.

На следующий день Курнаков с утра пошел в теплицу с намерением там с глазу на глаз объясниться с дочерью, признаться, что он ошибался в Елизарове, и заявить твердо и официально, что, дескать, он вообще не возражает и даже очень хотел бы обзавестись внуком — пускай хоть со стороны Елизарова.

Стояла мертвая, жгучая стужа, пар изо рта замерзал и превращался в легкую снежную труху. В такую стужу даже рудник не работал, все сидели по домам, запершись, сохраняя бережно драгоценное тепло.

Курнаков шел по звонко хрустящему снегу, и его обмороженное лицо болело на холоде, как открытая рана.

Но в теплице был рай. Теплынь, яркая зелень, пахнувшая горячим летом, которое иногда на короткий срок выпадает людям и здесь, в Заполярье. В такую пору даже скашивают водоросли для добавки кормов коровам...

Васёна, как всегда, была одета по-летнему, и на верхней губе у нее блестели мелкие капельки пота.

Чтобы проявить заботу о Елизарове, Курнаков посоветовал:

— Ты бы перевезла его сюда, уложила на раскладушку: и тепло, и светло, и климат для выздоровления полезный. И вообще тут как мечта наяву. — Похвалил Васёну: — Ловко ты облапошила природу. По ее законам у нас ничему цвести не положено, а по советским, выходит, вполне можно.

Дочь перевела взгляд на отца, спросила хмуро:

— А ты что такой осунувшийся да облезлый?

— Не пофартило с погодой, — ответил Курнаков равнодушно. — Суденышко у меня не на атомном движке, на дизеле, пока среди плавучих льдов чапали, хлопотно было. Вода, конечно, жидкость, но с ветром колотит по борту, словно танк. — Он подумал и добавил с нежностью: — Вообще-то танк, ежели он свой, то для нехоты спасительная машина, ни с чем не сравнишь.

— Хочешь огурец? — спросила Васёна и сорвала с грядки зеленый, весь в нунырышках, соблазнительный.

— Возьму для закуски, — деловито согласился Курнаков.

— У нас тут сухой закон, — сурово предупредила дочь.

— Мой закон флотский, — строптиво ответил отец, — на суше позволяет.

Курнакову хотелось сказать дочери о своем согласии на ее брак с Елизаровым — ради внука, но он не решился открыть рот, видя, как Васёна озабоченно трогает ладонью трубу отопления и тревожно глядит на термометр, словно он не на стене висит, а только что отлежал положенное время под мышкой у Елизарова.

— Температура падает, отчего, не пойму.

Она сказала — не отцу, а словно себе самой.

— Может, стекло на крыше где побилось, — предположил Курнаков и поднял взгляд к потолку, — или фанера покоробилась.

И вдруг ворвался в теплицу кто-то заиндевелый, заку-

танный до глаз — не то женщина, не то парень, и с визгливым отчаянием закричала:

— Ой, Васёна Егоровна, беда наша наступила, теплопроводная труба лопнула, целый ледник из нее натекает на дорогу, поморозим овощи!

— Вы, гражданин или гражданка, как вас там, без паники, — грозно посоветовал Курнаков и, обернувшись к Васёне, строго осведомился: — А ты чего побелела, словно покойница? Не люди застынут, только огурцы.

Васёну он грубо схватил за руку, когда она хотела выскочить наружу. Произнес спокойно, по-домашнему:

— А к чему суматоха? У меня на судне трубу рвет, так мы авралы не устраиваем. Запросто чиним. У меня такие поломки без потери хода судна устраняются. Хотя, в сущности, все это есть упущение котлонадзора. Труба должна атмосферы с превышением держать, если она не самоварная или, — усмехнулся, — не огородная. — Подмигнув, вышел.

Васёна с облегчением улыбнулась женщине (это все же оказалась женщина), произнесла возбужденно:

— Вот какой у меня отец, видала? Все умеет. Все может!

— Такого родителя иметь, — печально согласилась женщина, — и одинокой прожить можно. Заботливый!

Труба теплоцентрали, окутанная толстой теплоизоляцией, была проложена на козлах поверх земли, в деревянном лотке, как это принято на Крайнем Севере.

В том месте, где трубу прорвало, вспухло и трепыхалось сизое сплошное облако, осыпающееся по краям блестящими мелкими снежинками. Холодный пар вместе с водяной пылью бился гейзером.

Рабочие-аварийщики призрачными тенями двигались в облаках пара.

Курнаков по-хозяйски влез в фургон аварийной «летучки» и вылез оттуда с рулоном войлока. Оглянулся на электросварщика, без дела сидевшего с поднятой маской-забралом на подножке машины, поскольку в нем пока не было надобности. Потом Курнаков развернул рулон, сложил войлок в несколько рядов, властно стянул с головы сварщика маску, опустил себе на лицо и, держа перед собой войлок, ринулся в парное облако и исчез в нем, словно упал в яму.

В морозном мраке копошились люди, борясь с горячей водой и паром, а вокруг простиралась бескрайно, владея над землей, страшная полярная стужа, все-таки

побежденная там, где под низкой стеклянной кровлей в незакатном сиянии ламп цвела зелень, сверкала наперекор всему свежая летняя листва.

Окна в общежитии горняков промерзли насквозь и немного подтаивают с внутренней стороны, с подоконников свисают бутылки, с вложенными в них тряпичными фитилями. Курнаков сидит в вестибюле и смотрит, как забивают козла, гулко стуча о стол костяшками.

Презрительное выражение на его лице не слишком заметно, ибо само лицо скрыто почти целиком желтыми от проступившей мази бинтами. Кисти рук тоже спеленаты бинтами; похоже, что Курнаков в белых варежках.

Он щурится от дыма, потому что держит в зубах сигарету. Временами кто-нибудь из игроков почтительно берет ее, стряхивает пепел и вкладывает обратно в уста Курнакова.

Курнаков говорит простуженно, синло:

— Я как-то в армейском госпитале по случаю ранения задержался. Так вот там, чтобы стука не производить, в козла интеллигентно, на подушке гоняли, бесшумно. А в другом, не армейском, полевом, два солдата без доски на память в шахматы дулись: называют букву, цифру и фигуру — и получается ход. Рядовые, а ум, выходит, у них был генеральский. Или вот случай. Был у нас на судне радист — любитель кроссворды решать. Штормяга, в трюме вода, я к нему в рубку зашел — стучит ключом: вникаю, потому как не хочу, чтобы раньше моей команды SOS подал. А он, оказывается, запрашивает радиста с теплохода, как фамилия, которая на «П» начинается и означает поэта всероссийского. Ну, я его одернул: «Что ты, говорю, за моряк? Салага ты, если память потерял, когда мы еще на плаву держимся. Тебе не на корабле служить, а на суше, раз такой слабак. Человек на все случаи должен иметь выдержку, а ты, выходит, забыл от паники фамилию Пушкина, а его по сказкам каждый ребенок знает».

— У вас, товарищ Курнаков, видать, в жизни много всяких случаев было, — сказал почтительно один из игроков.

— По случаю войны главным образом, — объяснил Курнаков. — В гражданской жизни аккуратно все обходилось.

— А вот на ликвидации прорыва теплоцентрали ошпарился.

— Так я ж не водопроводчик, не по своей специальности действовал.

— От всех жителей поселка вам за это спасибо.

— Привыкли к овощам, разбаловались, — хмуро сказал Курнаков, но под повязками его лицо, наверное, выражало полное удовольствие.

За стенами общежития бушевала метель, перекатываясь рыхлыми, огромными, шуршащими волнами. А в доме было тепло, уютно. Подошла дежурная, озабоченно спросила:

— Кто тут из вас Курнаков? Его сама Васёна Егоровна на провод срочно вызывает.

— Ну, если сама, пойду, — сказал Курнаков, самодовольно улыбаясь под бинтами, подмигнул игрокам: — Видать, большое начальство?

— В своем деле наивысшее.

Курнаков кивнул и пошел к конторке, взял трубку, подул на нее осторожно, как на горячее, поднес к уху, произнес коротко:

— Курнаков слушает. — Затем виноватым голосом стал оправдываться: — А я что? В норме, не являюсь по случаю того, что сейчас ночь... А чего мне в больнице делать?.. Правильно, был там. Зашел, хотел Елизарова проведать, сказали — дома, ну, я и ушел... Кто в бинтах? Я? Так это от обморожения, вовсе не ошпарился, обмок, верно, а больше ничего такого не было. Теперь высох... — Курнаков бережно положил трубку на рычажок, поглядел на себя в зеркало, подумал: «Как все равно человек-невидимка в кино», — и вернулся обратно к игрокам.

Самый пожилой сказал:

— Мы тут словом перекинулись. Вас вполне в почетные граждане поселка можно зачислить.

— Мне это вовсе ни к чему, — сказал Курнаков. — Я тут приезжий.

— Это нам известно, однако Васёна Егоровна жилплощадь и на отца оформила.

— А я еще не пенсионный, — задиристо ответил Курнаков. — Мне еще не положена тихая пристань, чтобы вам тут огурцы выращивать.

— Конечно, — согласился пожилой горняк. — Главное не то, чего человек достиг, а то, чего он еще достичь желает.

— Вот, — произнес Курнаков, — именно! Без прицела даже рыба в воде не плавает. Человек, который при деле, — главная фигура на земле.

— Это точно,— кивнул горняк. Он поднес к губам Курнакова сигарету, зажег спичку, долго держал ее, горящую, в пальцах, нечувствительных к ожогам, и лишь когда она почти догорела, вежливо прикурил сам.

Белый буран бился о стены общежития, дымил снежной пылью, шуршал, припадая к обледеневшим стеклам.

Вся тундра была сейчас подобна гигантскому ревущему океану, но сквозь белый мрак негасимо светились огни поселка, подобные огням могучего лайнера, наперекор шторму четко идущего своим курсом.

[1979]

Иван Ефимович Сыромятников, председатель колхоза «Заря», человек солидный, даже больше того — в районных масштабах знаменитый, стоит посреди заболоченной пойменной низменности, монументально опираясь на мерную рейку, в позе глубокой задумчивости.

На нем непрямая серебристо-серая велюровая шляпа, надежные резиновые сапоги до паха, стеганая зеленая спортивная, с погончиками, куртка из синтетической непромокаемой ткани.

Лицо Сыромятникова мясистое, бурое, под крупным носом такие толстые, густые усы, что может показаться — они препятствуют ему дышать.

Рядом с ним балансирует на кочке в мокрых кедах долговязый, длинноволосый, веспушчатый, в испачканном тиной и мазутом джинсовом костюме комиссар студенческой строительной бригады Костя Волошин.

Пахнет гнилью, сыростью. Белесый туман неиссякаемо сочится дождем.

— Некрасивый у нас тут с вами, товарищ Волошин, пейзаж получается, — гулко, как бы из чрева, произносит Сыромятников. — Если на полотне запечатлеть, весьма удручающая будет картина.

— Мы взяли за исходные, — зябко ежась, бормочет Волошин, — высший уровень реки за последние сто лет, а оказалось, нынешний паводок превзошел оптимальный на семьдесят семь сантиметров. Поэтому и нет стока.

— Меня вековая статистика не интересует. Я, как говорится, эмпирик. Что в наличности, за то плачу наличными.

— Работу, на которую обязывались по договору, мы выполнили, — сказал Волошин.

— А где конечный результат? Нету конечного результата, — развел руками Сыромятников.

— Мы же не мелиораторы, мы инженеры-механики,— сказал Волошин.

— Через четыре года, а пока только в далекой перспективе,— заметил Сыромятников.

— Ну и что? Мы же просим дать нам работу с ориентацией на нашу будущую специальность. Ведь есть же у вас машины.

— У меня во всех подразделениях техники сейчас столько,— гордо заявил Сыромятников,— если, допустим, оптом продать, можно дворец из мрамора построить.— И тут же спохватился: — Но дворец что? От него производительности труда нет. А вот техника — она человеческую силу помножает неслыханно. С ней нам теперь многое доступно. То, что считалось недавно чистой мечтой, вынеси на правление, обсуди, обсчитай и действуй — получится все в натуре.— Вздыхнул.— Но допускать вас к технике? Я себе не доверю! У меня свои механизаторы орлы. За каждым каждая техника закреплена.— Сыромятников вновь принял властную позу, с какой он обычно оглашал постановления правления, сказал: — Главное наше богатство — земля. Она наша производственная площадь. Наш цех под открытым небом. К ней по своей доверчивости мы вас допустим, а что получится? Стока нет!

— Нет,— уныло согласился Волошин.— Но разве мы виноваты? Исходные взяли за сто лет, как указано в инструкции, а тут сплошные ливни.

— У погоды своя инструкция,— строго объявил Сыромятников. Добавил глубокомысленно: — Конечно, мы еще не достигли того, чтобы управлять погодой, но соображать по линии предвидения нам положено. Положено для культурного земледелия.— Сказал с укоризной: — Вот вам и надо было с учетом того, что погода явление неорганизованное, круче уклоны брать.

— А если б засуха? — возразил Волошин.— Тогда из-за сильной крутизны склона траншей почва останется совсем без влаги.

— А регулирующие устройства на что? — уже сердито осведомился Сыромятников.— Поступит прогноз на сушь, мы всю воду по весне удержим.

— Это так,— покорно согласился Волошин и вдруг радостно воскликнул: — Глядите! Утки! И как много! — Волошин вытянул шею и мечтательно, увлеченно провожает взглядом летящую стаю, пока она не садится где-то совсем близко.

— И не исключено,— уже совсем сердито говорит Сыромятников,— что на следующую весну по вашей вине эти утки снова сюда пожалуют гнездиться. — И сурово, как приговор, произнес: — Поскольку вместо нивы здесь будет, как и была, залитая водой пойма. — И вновь требовательно заявил: — Мне что от вас надо? Чтобы был сток! Будет сток, будут вам деньги. Не будет стока, извините, договор считаю невыполненным.

— А если система будет работать нормально, вы считаете, тогда утки здесь больше гнездиться не будут? — тоскливо и встревоженно спросил Волошин.

— Вполне определенно. На сухой почве у них нет такого обычая.

— Значит, нехорошо получается, — уныло сказал Волошин.

— Куда хуже. Работали-работали, думал — вполне, а выходит, фактически рассчитаться не могу.

Волошин хлюпнул озябшим носом, лицо его удрученно-скорбное.

— Да ладно уж, — сказал председатель, — это я так, для формалистики. Вашей вины нет. Ежели раз в сто лет такие большие осадки, на остальные девяносто девять лет, надо полагать, нормальный слив будет. — Заявил великодушно: — Значит, разочтусь с вами согласно договору.

— И ничего сделать нельзя? — удрученно спросил Волошин.

— Это в каком смысле? Насчет премиальных закидываете? — угрюмо спросил Сыромятников.

— Да нет, знаете ли, уток жалко, — может, хоть часть болота для них оставить.

— То есть какую же это часть, когда вы сами почти всю пойму траншеями, канавами ископали?

— А я поговорю с ребятами. Мы можем в самой низинке траншей обратно засыпать. — Волошин поднял глаза на председателя, пояснил: — Бесплатно, конечно. В порядке общественного мероприятия.

— В целях охраны природы? — осведомился Сыромятников. — Ну что ж, законом такое предусмотрено.

— Значит, можно?! — обрадовался Волошин.

Председатель задумался, потом сказал уклончиво:

— Вообще-то, нынче земельную производственную площадь надо уже не на гектары считать, а на метры. Сколько с квадратного метра продукции получить можно — вот как надо подсчет вести, экономически.

Волошин напористо заявил:

— В сущности, болота можно рассматривать и как своеобразное водохранилище, и, учтите, сейчас во всем мире водный дефицит!

— А у меня река рядом, — самоуверенно сказал Сыромятников. — И вообще наши земли официально считаются излишне увлажненными, поэтому и вкладываем капиталы на мелиорацию.

— Куда же тогда водоплавающим деваться?

— Полетают в окрестностях, чего-нибудь себе подходящее сыщут. Птица свое соображение имеет. Поглядит сверху и найдет, — заявил бодро. — А мы передовики, мы за бросовые земли первыми в районе взялись, чтобы их в свой оборот ввести.

— Какие же вы передовые, если гнездовья птичьи уничтожаете? — упрекнул Волошин.

— Может, нам из-за пиявок болота сохранять? Пиявки по медицинской линии человекополезны, — иронически заметил Сыромятников, сощурился. — Я к вам всей душой, а вы меня в губители природы. Нехорошо, некрасиво. Демагогией это называется. Утка птица красивая. Я сам бывший охотник, понимаю. А почему бывший — после фронта стрелять в живность душа не позволяет. Поглядеть на них, конечно, большое удовольствие, — мечтательно произнес Сыромятников. Но тут же заявил повелительно: — Ну, поговорили, теперь пошли дальше ногами в вашей трясине вязнуть. — Подтянул голенища сапог, ободряюще сказал: — Все ж кое-где у вас здесь кое-какой сток все-таки наблюдается, не шибко, конечно, но если раз в столетие на такой уровень река восходит, значит, нам пока, на девяносто девять лет, ваши канавы сойдут. — И Сыромятников благодушно улыбнулся, вроде как самому себе в поощрение за такие высказанные им мысли.

Сильно беспокоило Ивана Ефимовича состояние озимых хлебов. На возвышенностях, где ветер снега смел, верно, померзли, останутся проплешины.

Но еще ранней весной бригадир полеводческой бригады Изюмов, за кем была закреплена эта карта, убеждал — перепахать.

— А что? — бодро говорил Изюмов. — Вполне в рамках законности. Спишем на мороз и все яровыми возьмем.

Иван Ефимович мысленно прикидывал, во что обойдутся новая пахота и сев: горючее, оплата за труд, семена, амортизация техники. И не согласился.

Слабые всходы дважды поддержали подкормкой,

и теперь ежедневно Сыромятников ездил смотреть: «Ну как?», выкапывал пальцем проросшее зерно, оглядывал белые тонкие пити корешков. Нюхал, не пахнет ли гнилостью.

Изюмов, следуя за ним по пятам, вещал:

— Как сейчас помню, приходит ко мне, как вы, на поле покойник Горохов и говорит: «Ежели докажешь, что в рамках законности, пересевай, не докажешь — бери у жены фартук, подойник и стунай навсегда коров доить». Вот я вам свое не доказал. И хорошо, что не доказал, а если б доказал, плохо бы получилось.

— Покойники не ходят и не говорят, — заметил Сыромятников.

— Это я из уважения, поскольку Горохов усоп, а был орденоносец из первых, — оправдывался Изюмов.

Ежедневно бывая на поле, Иван Ефимович всем своим существом словно ощущал, как в земле шевелятся, напрыгаются разбухшие зерна, толкая вверх зеленые побеги.

И каждый раз, выдирая из земли проросшее зелеными зерно, он испытывал уважение к крохотной плоти семени, к его малюсенькому, но прихотливому организму, обладающему такой силой и живучестью. И лицо Ивана Ефимовича обретало в такие моменты умиленное, благоговейное выражение.

Изюмов, поощренный выражением лица Сыромятникова, рассуждал:

— Это правильно. Природе только подсоблять надо. Она и отблагодарит. А вот побеждать, как некоторые приказывают, — несогласен. За что? Она же не враг, а доброжелатель. Но только, конечно, умному, а не дураку. Дурак сразу себя словами обнаруживает. А умный — делом. Задали мы озимым подкормку, вот мы их и вызволили. Не дали б — взошли одни редкие рахитики бесколосные.

Весь день Иван Ефимович скитался по хозяйственным объектам.

И хотя он знал, что могли бы обойтись и без его присутствия, его указаний-советов, удерживать себя не мог. Не мог потому, что любил дело и тех, кто это дело делает. Получал удовольствие оттого, что не заглазно, со слов других, а очевидно сам обо всем знает.

Видя хорошее, радовался. Увидя плохое, тоже радовался — что успел вовремя заметить, значит, глаз у него на упущения зоркий. Но при всех случаях лицо его оставалось

деловито-холодным, голос он никогда не повышал, говорил размеренно, без нерва.

И хотя в одних случаях ему хотелось громко захохотать от удовольствия, шумно похлопать по плечу собеседника, расхвалить во всеуслышание самыми лучшими словами, но он только сдержанно улыбался и осторожно говорил как высшую похвалу:

— В точку. Культурно. На уровне.

А когда все кипело в нем от гнева и даже ненависти к виновнику, он, избегая глядеть тому в глаза, косясь в сторону, произносил ровным, тусклым голосом:

— Некультурно. Так можно и доверие к себе потерять, а оно на земле не валяется.

Конечно, Сыромятников достиг такой самодисциплины руководящего лица путем трудным и даже самомучительным. Не однажды, срываясь, он стыдился самого себя. Ночью не спал, вспоминая, как сорвался, почему сорвался, и вроде как устраивал себе самому самосуд, бередя себя каждым неверно, раздраженно сказанным им словом.

Многие думают, что работа председателя тяжела только множеством хозяйских, организаторских и человековоспитательных забот. Но никто толком, кроме самих председателей, не знает, как нелегко, не просто выработать из себя человека, человека для всех. Каким, собственно, и был Иван Ефимович Сыромятников, — председатель колхоза «Заря».

Домой Иван Ефимович пришел к ночи. Жена, мастер машинного доения, как нынче величают доярок, упрекнула его:

— Все никак не наловчишься свое рабочее время нормально организовать. Вот и спишут тебя раньше времени на пенсию.

— Фрося где? — спросил Иван Ефимович, усаживаясь за стол.

— А где ей еще быть, — сказала гневно жена. — Нафорсилась, нафасонилась, все лицо себе разрисовала и ушла к студентам.

Иван Ефимович долго, тщательно разминал вареную картошку деревянной ложкой, полил сметаной, присыпал крошеным зеленым луком, затем произнес задумчиво:

— Свой инженер-механик для колхоза большая польза. — Помолчал, вздохнул. — Так что все может быть.

— Тебе из районной больницы звонили, — сказала жена. — Что им надо?

— Резаться зовут, — равнодушно произнес Иван Ефимович. — Фашистский металл у меня рентгеном обнаружили, вот и хотят этот клад себе достать.

— Ой, Иван, доходишься ты, отволокут тебя на «неотложке».

— Вот уберем урожай, тогда и поеду к ним на отдых.

— Ты на фронте себя не жалел, а теперь время мирное.

— Для кого мирное, а для кого нет, — сердито заметил Иван Ефимович и, горячася, объявил: — Телятники новые мы построили? Построили. Прямо-таки дворец и для скота. А кто в них? Дворянжки! Такие роскошные помещения для племенного, элитного полагаются. А кто в нем? Ни мясные, ни молочные. Так, сброд!

— Элитное поголовье вырастить время надо. А скот ты наш зря обзываешь, он не набалованный, на уход отзывчивый и молоком и привесом. Твое дело кормами нас обеспечить, — строго заявила жена и упрекнула: — Выпасы-то запахал.

— Чтобы люцерной вас кормить, — буркнул Иван Ефимович. — Люцерна питательный продукт. Я и клеверá тоже посеял. Кроме того, прошлогоднего силоса еще много осталось, жуй — не хочу.

— Силоса! — возмутилась супруга. — Это все равно что тебя только постным винегретом кормить, сразу заскучаешь и с фигуры спадешь.

— Давай, давай пили вдоль и поперек, — благодушно изрек Иван Ефимович. — Пришел домой, а выходит, как в правление, никакого передыха.

Вошла, щурясь, шурша шелковым платьем, Фрося, присела, морщась, сняла туфли на высоких каблуках, с облегчением вытянула блестящие, в новых чулках, ноги.

— Нагулялась? — осведомился отец.

Фрося обидчиво вздернула острый подбородок, вызываясь объявила:

— Мы шефство над студентами взяли. Сначала свою самостоятельность показали, а теперь они свою.

— Под гитару друг перед другом корчились, — ехидно сказал отец, оглянувшись на жену для поддержки. — Не музыка у них, а собачий вой, не танцы, а корчи.

— А вы в свою эпоху тискались в фокстроте или еще танго — танец для выздоравливающих после больницы.

— Ты нашу эпоху не трогай, — сказал Иван Ефимович и положил на стол ладонь с отсутствующими двумя пальцами, морщинистую, как у древнего старца, со следами от порохового ожога, объявил сурово: — Вот она, эта нашего времени пометка, чем она нас от вас и отличает.

— А чем мы виноваты, что послевоенного выпуска? Родились бы раньше, тоже как бы воевали!

— Правильно, Фросечка, — заступилась мать. Обратилась к мужу: — И ты не гордись, Ванечка. До того, как тебя призвали, кем ты был? На вечерках плясун, а на работе кто в подпасках колхозу служил? Ни одна основательная за тебя замуж не пошла бы.

— А чего же ты тогда за меня кинулась? — обиделся Иван Ефимович.

— Так уже за фронтовика! Выходить за фронтовиков у нас мода была. — Поправилась: — И, конечно, по патриотическим соображениям.

— А у вас теперь какая на женихов, — Иван Ефимович сощурился на дочь, произнес вразяжку, — мода?

— Лично я, — с достоинством объявила дочь, — пока высшее не получу, вовсе не собираюсь. А получу, могу и за с низшим выйти, лишь бы человек был перспективный.

— А любовь у вас что же, теперь не полагается? — встревоженно спросила мать.

— А это и есть любовь, — резко объявила дочь. — Могу выйти за кого угодно, если полюблю, а если он ниже моего уровня, смогу вытянуть его до своего.

— Ты слышишь, отец?

Иван Ефимович нарочито озабоченно поглощал пищу, не отвечал, потом, после длительной паузы, поднял глаза на дочь, осведомился:

— Ну, а ежели ты, допустим, уже агроном с дипломом, а он инженер с дипломом? Как у вас получится при такой ситуации? Ты к своему колхозу привязана, а он к своему заводу. Как же тогда с вашей меж собой любовью?

— Ну, кто сильнее любит, тот другому уступит, — не совсем уверенно объявила дочь.

— Ясно, — сказал отец и, обращаясь к супруге, одобрительно произнес: — Ты смотри, фигуристая она у нас, глазастькая, а соображает принципиально! — Спросил Фросю: — Насчет Волошина у тебя какое мнение? Парень он, видать, инициативный. Уток пожалел в порядке охраны природы, добровольно болотце захотел им организовать для

гнездовья, и, заметь, на общественных началах, без доплаты. Хоть и механик, а природу любит.

— Ха! — сказала дочь. — Любит?! Это у нас в клубе приезжий аспирант-болотовед выступал. Доказывал, что огульно всю площадь осушать, без научного подхода, учета водного баланса и экологической среды, не рекомендуется.

— Что ж мне, на переувлажненных поймах только капусту высаживать? — встревожился Иван Ефимович. — Или диких уток на них разводить? А может, еще пиявок или лягушек для экспорта?

— Болотовед масштабно к проблеме подошел. Глобально. Водные ресурсы надо сохранять и учиться управлять ими в интересах всех последующих поколений.

— Так, — сурово произнес Иван Ефимович. — По его выходит, я должен зажимать посевные площади, а не расширять их в интересах государства и народа из-за последующих поколений, а они, эти последующие, извиняюсь, кто такие будут?

— При коммунизме все коммунистами и будут, — улыбулась Фрося.

— Без авангарда?! — возмутился Сыромятников.

— Ты отдохни, Ванечка, — попросила супруга. — Намаял мозги за день, хоть дома дай им передых.

— Отдохнешь тут, как же, — пожаловался председатель. — Приехал из города художник. Ну, я ему помещение наилучшее отвел. Прихожу, смотрю, а он портреты огурцов рисует.

— Это натюрморт называется, — сказала дочь.

— Я ему с надеждой список передовиков составил, а он — огурцы! А тут еще одно происшествие. Главный агроном известь приказал шоферу возить, а куда складировать, не указал. Ездил водитель, ездил по бригадам — никто известь на себя не берет, тогда он в нерве к дому главного агронома подъехал и на крыльцо ему всю известь свалил. С одной стороны, проявление нераспорядительности, с другой — хулиганство. Пришли оба, меня требуют — взыщи. Ну, я их помирил. Положил с агронома за горячее вычесь, а с шофера все обратно погрузить и крыльцо собственноручно вымыть.

— И напрасно ты такой мелкой ерундой занимаешься, — упрекнула дочь.

— То есть как это напрасно? Мимо мелкого пройдешь — потом оно крупным обернется. Нервы-то у людей не всегда внутри, от обиды они снаружи, заденешь —

больно. Понимать человека надо. Не поймешь — потеряешь к себе доверие.— И тут Иван Ефимович с досадой вспомнил, как он в сердцах сказал утром зоотехнику: «Мужчина вы по телосложению хорошо упитанным выглядите, а скотина ваша должного привеса не дает, почему такое несоответствие, а?»

Сказал так, хотя знал — кормоцех еще не работает, оборудование смонтировали, но с наладкой затянули. Но люди уже решили, что с ручной раздачей кормов покончено, поэтому от тяжелого труда теперь отлынивают. Зоотехник специалист понимающий, животных любит, а вот с людьми контактировать не умеет... Конфузливо поежась при этом воспоминании, Иван Ефимович сказал скорбно и так отвлеченно, словно только самому себе понятное:

— Человек к человеку должен быть участливым, теплым. Это, конечно, понимаешь, но не всегда получается.— И добавил: — Грубость — это только орудие для слабого ума.

Сегодня на долю Ивана Ефимовича легла не простая миссия. С вечера, когда время ужина, Иван Ефимович обходил колхозников в целях душевных бесед. Ивану Ефимовичу всегда привычно и легко докладывать о тех успехах, которых достиг нынче колхоз, и особо приятно порассуждать о крупномасштабных перспективах, а тут надо было вести разговор о сугубо личном с каждым лично. Колхоз заложил животноводческий комплекс на пять блоков с расчетом по пятьсот голов в блоке. Комплекс полностью должен быть механизированным. Получается вроде фабрики молока и мяса. Выходит, мечта наяву.

А в чем задача говорить, убеждать? Чтобы в каждом колхозном дворе обзаводились личным скотом.

Семейство Скурихиных сидело в полном сборе за столом и ужинало.

Чтобы расположить к себе властную хозяйку дома, Иван Ефимович сказал сразу после того, как поздоровался:

— Вот гляжу я на тебя, Авдотья Никитична, — сколько лет прошло, а ты все выглядишь как пионерка.

Но лесть не подействовала. Авдотья Никитична насупила сросшиеся брови, сказала неподатливо:

— Знаю, зачем пришел.

— Ну, знаешь — тем лучше. Так как? — осведомился Сыромятников.

— Одна морока! — кратко сказала Авдотья Никитична

— Значит, в сельпо покупать себе молоко, мясо лучше?

— Не лучше, а меньше мороки.

— Так ведь это срам — колхознику из пакетов молоком пользоваться. И мясо не парное, из морозилки.

— У меня мужики механизаторы, сам знаешь, почти рабочий класс. А им навоз убирать, за кормами бегать.

— Кормами, будьте уверены, обеспечим.

— А пасти кто? Сонька будет, так она сельхозтехникум окончила, интеллигентка.

— Личный с общественным в одно стадо сводим, на общем колхозном выпасе.

Дед Яков Гаврилович, шустрый старик, ехидно произнес:

— Нынче посредством науки и техники весь род человеческий можно одним разом спалить, аж копоты не останется, в больнице вместо ножа лучом режут, а ты куда нас, Ефимыч, толкаешь? Обратно вспять — на ручной труд.

— Вот Вася для роскоши ковер купил. Под ноги нам постелил. Одно слово — механик, — похвасталась Авдотья Никитична. — А ты желаешь, чтобы он курей разводил? Витя вот, школьничает. Я ему запрет на отцовский мотоцикл наложила. А он мне: «Чего вы боитесь, ведь я не на ракету прошусь». Понял, куда метит? А ты желаешь, чтобы он козу пас.

— Козы шkodливые, сады портят. Корова — это животное степенное, благородное, — нехотя сказал Сыромятников.

— Может, ты нас за приусадебный участок упрекнешь? — спросила хозяйка. — Так у нас на нем яблоньки, вишенки, ну, и так огородинка всякая, без земли мы жить непривычные.

— Все живое от земли пошло, — мрачно сказал Иван Ефимович, — растения, ну, и, понятно, всякая живность. От общения с животными и человек добрее становится. Ну, и помимо всего доход. А если рассуждать помимо дохода, сами себя снабжаем свежей, здоровой, не магазинной пищей.

— Нам хватает, — решительно заявила Авдотья Никитична.

— Не нам, а себе, — поправил хозяйку Сыромятни-

ков. — Нам — это всему народу. По разделению труда. Кто при земле, тот сельхозпродукцию дает, кто на заводе — те промышленную. Закон нашей жизни.

— А наше семейство что, не сеет, не пашет?! — воскликнула обидчиво Авдотья Никитична.

— Это так, — согласился Иван Ефимович. — Только ты посмотри с умом на наше село. Могли бы мы по-городски дома многоэтажные выстроить? Могли! А почему нет? Мы земледельцы, все на круг земледельцы, значит, все, что земля может дать, что от нее может вырасти, на себя берем, по личной к ней привязанности, поэтому и личные участки, и личный скот нам к лицу и по сердцу, если ты, конечно, земледелец по призванию, и по влечению, и по уму.

— Так совестно. На себя нам хватает, а мы будем вроде как с базара еще жить, — усомнилась хозяйка.

— Почему же с базара? Сельно покупать будет.

— А если на базар, — осведомился дед, — что ж, спекуляциями будем?

— Это почему же спекуляциями? — возразил Иван Ефимович. — Вон у Василия мотоцикл с коляской, он же на нем на станцию не ездит, чтобы пассажиров за трешники возить. У кого совесть при себе, при тех она и останется.

— А у кого ее нет?

— Значит, наша колхозная общественность слабая, если такие у нас водятся.

— Человек ты высшего качества ума, Иван Ефимович, — сказал дед, — но я тебе прямо скажу: хоть ты и председатель, а агитацию словами среди нас неосновательную разводишь.

— Почему же неосновательную?

— А потому. Тебе вот что надо. Взял бы грузовичок, насадил бы в него молодняку и поехал по избам. Бабы, извиняюсь, женщины, детвора и мы, ну, про нас можно — мужики. Увидели бы животину в глаза, а у кого из нас сердце не размякнет — телочка есть телочка. Ну и все. Похватали б и еще запросили б. Надо фактически людям доказывать, а от слов один шум в ушах. Верно я тебе говорю. Вот Авдотья, — дед кивнул на невестку, — она кто? В чинах, бригадирша. Ее вся бригада тренецет, как мы перед ней в доме. А дай ей подержать в руках телочку, засюсюкает, занежничает, вроде как с младенчиком. А вырастит корову, вроде как с членом семьи начнет считаться. Как поела, что поела. Как вот о нас забота, так и к корове

у нее будет. Я говорю, а что говорю, то знаю, — самодовольно заключил дед.

И во всех дальнейших беседах с колхозниками Сыромятников убедился, как прав дед в своем совете «фактически людям доказывать».

Но сейчас Ивана Ефимовича мучало и другое. Конечно, лучших телок он хотел оставить в общественном хозяйстве. Но если худших для единоличного пользования — народ ведь понимающий, — не возьмут, а хороших отдавать жалко. Но, очевидно, придется. И от этого Ивану Ефимовичу было вроде как не по себе. Тягостно и тоскливо.

Потом его терзали также мысли о пойме. Все-таки с нее брали укусы, если лето было сухим, жарким. А теперь, после осушения поймы, устройства закрытого дренажа и других работ и затрат, понадобится еще много времени на освоение, окультуривание, пока можно будет приступить к полноценному посеву пропашных культур, особо доходных.

А ведь он еще взял на себя гарантию снабжать кормами скот, находящийся в личном пользовании колхозников, и это при большом увеличении поголовья общественного скота.

И он мысленно помножал гектары на кормоединицы и брал за основы самые низшие показатели неурожайного года, и эта арифметика из низших слагаемых вроде как унижала все, чего он теперь достиг, но вместе с тем иначе он обесчитывать не мог, потому что самым тяжелым для него было бы ошибиться, не оправдать доверие людей. А кто он без этого доверия? Никто.

...Иван Ефимович лежал на кровати, зажмурившись, но сон не шел. Разного рода мысли толпились, и каждая требовала ответа.

Иван Ефимович встал и вышел на крыльцо посидеть, покурить.

Патлатые, ярко освещенные луной облака медленно плыли сгустками света. Село оцепенело в тишине. Сады настойчиво, сильно пахли цветением, днем за делами этот нежный, ласковый запах и не признаешь.

Вышла Фрося, кутаясь в платок, подошла, присела рядом, потерлась о его плечо своим плечом, заглянула вопросительно в лицо, спросила:

— А ты все не угомонишься, папа?

— А зачем?

— Вот скоро будет двухтысячный год, — мечтательно сказала Фрося, — интересно, какие мы тогда будем? —

Большие ясные глаза ее были задумчивы, и лицо, залитое бледным лунным светом, казалось, само светилось.

— Получше, — сказал отец.

— А сейчас мы что, похуже?

— Плохие были б, если б не хотели стать получше.

— Тебе война снится?

— Нет, — соврал отец. А ведь ему так часто спилось, как его завалило тогда в окопе и он, просунув ствол винтовки, дышал, припав губами к открытому затвору, заживо погребенный.

— В больницу когда поедешь?

— Сказал же, уберем урожай — и поеду. — И опять сказал неправду. В случае чего скажет, что не в этом году, а после следующего или после послеследующего, когда с поймы урожай получим.

Вообще-то Иван Ефимович хотел дожидаться, пока дочь выйдет замуж, и одновременно не хотел этого, боялся расстаться с дочерью. Она была ему нужна, и не потому только, что она у него единственная, а потому, что благодаря ей он научился понимать нынешнюю колхозную молодежь, мог ладить с молодежью, доверять ей.

В беззвездном небе ярко светила луна, и тени от тополей черными силуэтами лежали на дороге. Все было залито чистым, белым, пронзительным лунным светом.

Может быть, от сырости и прохлады Ивана Ефимовича стала пронзать боль в том месте, где в нем оставался осколок. Он взял руку дочери в свои руки и прижал ее руку к тому месту, где его раздирала боль.

— Ты озяб, папа?

— Нет, — сказал отец, — я твою руку об себя грею, — хотя именно рукой дочери он утолял свою боль и рука ее была не холодной, а теплой.

Большой новый колхозный пруд, освещенный небом, дымился прозрачным туманом жемчужного цвета, и с пруда доносились вопли лягушек. Прислушиваясь, Иван Ефимович, совсем не желая этого, вдруг прикинул, сколько центнеров разведенного в пруду карпа получит колхоз осенью и сколько это будет в пересчете на деньги. И это тоже отвлекло его от боли.

На порог вышла жена Ивана Ефимовича, спросила встревоженно:

— Вы что, очумели? — И упрекнула: — У тебя же, Иван, получается уже почти сегодня снова хлопотный день, а ты совсем не спавший. Пошли, пошли, полуношники!

Иван Ефимович вздохнул и ничего не ответил.

Фрося прижалась к отцу и, обернувшись к матери, попросила:

— Ну, мы еще чуть-чуть, полминуточки!

— Шалопуты! — сказала мать. — Что отец, что дочь. — И уселась на ступеньки рядом с мужем. Немного погодя спросила: — А ведь мы, Иван, уже лет двадцать так вот, парочкой, с тобой не сидели?

— Больше, — сказал Иван Ефимович.

На луну напоззло облачко, стало сумрачно, зябко.

Дочь накинула на плечи отца и матери свой платок, встала.

— Ухожу, а вы сидите, сидите! — приказала она.

Мать придвинулась ближе к отцу.

— Ну вот, — сказала, — дождалась.

Ивана Ефимовича знобило от боли, но ему было как никогда хорошо, уютно, просто и счастливо.

[1979]

Внезапно наступившая оттепель расплавila снежную толщу и превратила огромное степное пространство в вязкую непроходимую трясину.

А совсем недавно здесь по плотно смерзшемуся грунту гигантские массы всевозможной боевой техники были ринуты на прорыв вражеского фронта и сшиблись с такой же встречной лавиной убойного огня и металла, обратив земное пространство в подобие столкновения космических тел.

На этой шатаемой неиссякающими взрывами земле, охваченной пламенем, и в этом колыхающемся от взрыва небе, багровом от горящих самолетов и танков, много суток длилось сражение. С обеих сторон в нем было задействовано громадное скопище боевой техники такой огневой мощи, что казалось, сама земля стала сплавом взрывчатки и извергала из своих недр обломки машин и куски раздробленной стали, как раскаленные комки вулканической магмы.

В это сражение фашистская Германия бросила значительную часть того, что могла произвести ее собственная индустриальная мощь, а также индустрия плененных стран Европы.

Но получилось так, что уже на третий день в этом хаосе, побоище огня, стали, машин и людей четко обозначился стратегический замысел советского командования. Фашистский фронт был прорван, войска, сдавленные с флангов, начали отступать. В преследовании их удалось охватить в окружение. Но разгромить полностью оруженную группировку противника у нашей армии уже не было сил. Их хватило только на то, чтобы лишь удержать группировку врага в кольце.

Так образовался в бескрайнем степном пространстве блуждающий котел, вокруг которого длились неиссякаемые поединки, чтобы не дать противнику возможности прорваться.

И этот блуждающий остров оставлял в степи следы своих блужданий. Страшные следы как бы разъятых огромных кладбищ: стальные скелеты обгоревших танков, стальные туши тяжелых орудий с расщепленными взрывчаткой стволами и окоченевшие скорченные трупы в еще не потемневших бинтах.

Внезапная оттепель затруднила нашим войскам, сражавшимся с окруженным противником, возможность маневрировать подвижными силами. Иссякали боеприпасы, горючее. Доставлять все это по расквашенной в болото степи удавалось только на санях в воловьих упряжках.

Спешно снятой с соседнего участка армии дивизии генерал-майора Волового было приказано без малейшего промедления соединиться с частями, сражавшимися с окруженной группировкой. Но дивизия со всеми своими штатными средствами, боевой техникой, с приданными ей для усиления подразделениями и тыловым хозяйством не смогла столь быстро, как было приказано, одолеть заболоченную степь, так залитую талой водой, что даже ложа ручьев стали речными полноводными руслами, через которые теперь пришлось налаживать переправы.

Генерал принял решение направить вперед ускоренным маршем три батальона в пешем строю, с тем чтобы каждый комбат сам рассчитал: сколько его люди могут на себе унести станковых и ручных пулеметов, противотанковых ружей и мин, боеприпасов, столько им и выдать. И, конечно, как офицеры, так и солдаты сверх меры воспользовались неограниченной возможностью такого щедрого вооружения. И когда батальоны выстроились, навьюченные вооружением и боеприпасами, словно сборщики трофеев с поля боя, генерал Воловой с жалостью старого и опытного солдата оглядел людей, но поскольку он был уже не солдатом, а генералом и полагал, что первая его обязанность при любых обстоятельствах — внушать людям бодрость, гулко и хрипло осведомился:

— Пупчик не надорвете? А? Может, кто казенное лишнее прихватил по жадности? Совсем разорили дивизию...

И после того как улыбками осветились лица солдат и офицеров, Воловой вздернул изуродованный синим глубоким шрамом почти раздвоенный подбородок, выпятил грудь и произнес задушевно и мягко:

— Я вам так, от чистого сердца, мои дорогие боевые товарищи бойцы. Здесь вот, на этих местах, фашистская техника была разгромлена нашей техникой. Значит, наши

заводы победили ихние. Наша сталь — ихнюю. А теперь вы с одним легким стрелковым вооружением, как мы в давние годы отстаивали Советскую власть от четырнадцати империалистических держав с их богатой техникой, вступите в бой с сильной техникой, вступите в бой с сильным противником, хотя и окруженным. Но его огневая мощь при потерях в живой силе в расчете на роту равна батальону. Полка — дивизии. Так что вступите в бой неравный и трудный. Отчаянный, проще говоря. Но как бы ни была сильна у них начинка котла, который наши доблестные сражающиеся войска им здесь изготовили, я уверен, что вы с честью исполните свой долг. — Воловой вздохнул, помедлил. — Ну, словом, чего там. Сами понимаете... — И преодолев всхлип в горле, сипло произнес: — За Родину!

Сырая, промозглая мгла тумана неиссякаемо сочилась многосуточным мелким, частым дождем. Все пространство степи было разжижено в болотную хлябь и стало подобно тинистому дну опорожненного гигантского водоема. Овраги, балки, ямы наполнились до краев черной талой водой с плавающими поверх сизыми пластами серого, рыхлого, как пена, снега.

Батальоны брели по этой бесконечной топи, словно по безбрежному броду. Они должны были выполнить задачу — разгромить окруженного противника, а сами сейчас выглядели так, словно вырывались из окружения, преследуемые противником.

Это были шеренги мокрых, продрогших, молчаливых, угрюмо согбленных солдат. Солдат-носильщиков, навьюченных непомерной тяжестью оружия и боеприпасов.

Они шли по болотистой топи, изможденные до предела. Изнуренные, облепленные грязью, с лапами шинелей, заткнутыми за пояса, солдаты безмолвно брели по хляби, словно скорбные видения, восставшие из братских могил.

Человеческих сил могло хватить только на то, чтобы ради спасения своих жизней преодолеть бесконечную эту топь, достигнуть ее конца, где их ожидает спасение. Но ведь они шли туда, где им предстояло вступить в бой без промедления, без отдыха.

Они знали, что превращенная в расквашенное болото земля обрекала на бездействие мощные танковые, моторизованные, артиллерийские части, снабженные сильными тягачами. Низкая облачность заволокла аэродромы непроницаемо тусклой мглой. А ведь солдаты были хорошо обучены и уже привыкли сражаться во взаимодействии со всей этой всесильной техникой.

А сейчас только они — пехота, лишенная даже штатных огневых средств, лишь они могли выполнить боевой приказ своей простой первобытной человеческой поступью. Навьюченные оружием, ящиками с боеприпасами и на таких же лямках черными тяжкими дисками противотанковых мин, люди протерли себе на плечах сочащиеся раны. И если иссякали силы волочить даже ноги в вязкой трясине, то где было взять силы тащить тяжесть на себе, которая вдавливал тебя при каждом шаге по колено в мякоть расквашенной земли.

В степи торчали увязшие до стволов брошенные противником тяжелые орудия на гусеничном ходу, серые огромные тупорылые грузовики с простреленными баками, такие же простреленные корытообразные понтоны, трупы в бинтах не то сражавшихся раненых немецких солдат, не то выброшенных еще заживо из санитарных фур; раздутые конские туши немецких короткохвостых «гюнтеров» из артиллерийских упряжек, распоротые мешки с сахарным песком и белой мукой; перины, подушки, самовары и даже груды детских игрушек, вынавшие из солдатских ранцев желтой телячьей шкуры.

Замполит Андрей Тютчев согласно инструкции политотдела дивизии был обязан на марше выпускать боевые листки и на привалах проводить политбеседы по утвержденным темам. Но он был лишен возможности выполнить и то, и другое.

Люди шли безостановочно, и выражение их лиц было таким, какое бывает у тяжелораненых без надежды на исцеление.

А ведь совсем недавно на том участке фронта, с которого их сняли, дивизия генерала Волового одержала блистательную победу. Усиленная обильно танковыми, артиллерийскими частями, при мощном авиационном сопровождении, дивизия преодолела четырехполосные капитальные оборонительные сооружения противника и с ходу, преследуя и уничтожая врага, освободила крупный населенный пункт.

И там, на площади города, личному составу подразделений, выстроенных в шеренги торжественного построения, были вручены боевые награды и зачитан приказ командующего фронтом. Приказ, где каждое слово воспринималось словно отлитое из бронзы и звучало торжественной музыкой в честь одержанной победы.

Андрей Тютчев был награжден орденом Отечественной войны второй степени.

Но то, за что он получил эту награду, до вручения ее воспринималось им совсем иначе, чем тогда, когда он получил ее.

Ночью, в канун наступления, на левый фланг батальона за передний край выкатили на руках противотанковое орудие в засаду, замаскировали, а для прикрытия огневи-ков оставили отделение автоматчиков. И именно сюда направили Тютчева, чтобы вручить без промедления, перед самым боем, партийные билеты принятым в партию бой-цам.

В уже светлеющих сумерках бойцы осторожно окапыва-лись в трудном щебеночном грунте, стараясь не бряцать лопатами о камень. Им приходилось тщательно выбирать крупные куски щебня, чтобы при попадании в них снаря-дов вместе с осколками стали куски щебня, разбрасывае-мые разрывами, не обрели равную ей поражающую силу.

Хотя Тютчев знал, что пребывание его здесь сопряжено с опасностью и вовсе не обязательно для него, поскольку ему было приказано еще до рассвета вернуться в батальон, он заявил командиру орудия, старшему сержанту Ореш-ну, что акт вручения партийных билетов он начнет только после того, как солдаты полностью завершат работы по укреплению позиций.

Орешин задумался, вытер мокрое от пота лицо выверну-той наизнанку пилоткой, решительно объявил:

— Разрешите доложить! Поскольку ваше распоряже-ние не могу только на себя взять, соберу коммунистов — пусть сами решают.— И добавил застенчиво:— Мне, ко-нечно, как командиру способнее, чтобы сначала по обороне все у нас было в ажуре. А уж потом... Но нельзя. Это же партия решила людей в свои ряды принять. Партия! Ясно?

Бойцы тесно сгрудились на углубленной площадке орудийного канонира.

Орешин попросил разрешения у Тютчева, прежде чем предоставить ему слово, обратиться к доверенному под его командование личному составу.

— Значит, так! — сказал Орешин.— Сначала к вам от меня вопрос, поскольку жизнеобеспечение каждого зависит от того, как мы в землю зароемся. На ваше решение. Сейчас товарищ капитан будет вручать партбилеты. Или, по согла-сованию с ним, отложим до завершения позиций? Опраши-ваю поименно!..

Обернувшись после переклички к Тютчеву, Орешин произнес с гордостью:

— Видали?! Вот это народ!

Но вручение партийных билетов, несмотря на краткость речи Тютчева, затянулось. Те самые солдаты, которые поспешно и молча шагнули из строя, когда вызывались добровольцы для формирования подразделения в засаду, сейчас задумчиво, медленно и тщательно подбирали каждое слово, замолкая в поисках наиболее весомого и точного, и каждый по-своему одолевал свое волнение, а все остальные понимающе-терпеливо и уважительно выжидали, пока человек справится со своим волнением. Чем человек сильнее волновался и меньше справлялся со своим волнением, тем больше возрастало горделивое и торжественное выражение на лицах солдат, уже не первый день — год — членов партии.

Фашистское командование угадало, что полоса, где стояло сейчас вынесенное в секретную засаду орудие, находится на стыке частей, и направило сюда сосредоточенный внезапный удар огневых и подвижных сил.

Таким образом, подразделение оказалось как бы под огневым мостом, и извержение снарядов свершалось далеко позади находящегося в засаде оружейного расчета. Но когда пошли танки в сопровождении десанта автоматчиков, фашисты неожиданно напоролись на одинокое орудие, которое било стальными болванками с укороченной дистанции прямой наводкой по танкам, а солдаты короткими очередями срезали со стальных насестов десантников.

Фашисты перенесли артогонь с глубины на эту огневую точку, полагая, что здесь находится советская батарея, упреждающе вынесенная на стык.

Ударной волной от разрыва снаряда Тютчева вышвырнуло из мелкой щели окопа. Он лежал, не чувствуя себя, оглохший, онемевший, ослепленный, из глаз его, разъеденных пороховыми газами, текли слезы, которые и вымыли ослепившие его песок, пыль. И тогда он увидел, как в полной тишине распадаются на куски тела людей, как на мертвых тлеют шинели и как шевелятся мертвые от новых попаданий.

Ослабленный на излете раскаленный кусок снаряда рикошетом, подскакивая на твердом грунте, свалился на живот Тютчеву. Гимнастерка его задымилась, и от ожога, от все возрастающей боли Тютчев обрел подвижность. Он сбросил осколок и пополз к горящему бурьяну с одной мыслью: сунуть в огонь планшет с документами и картой под целлофановой крышкой, к чему его обязывал воинский долг.

Но кто-то из солдат выволок Тютчева из бурьяна, что-то неслышимое прокричал, подмигнул, кивнул на вздыбленный взрывом боекомплекта немецкий танк с пылающей кормой и, как это ни показалось диким, сел на землю и переобулся. Затем снял гимнастерку и стал озабоченно выпарывать ножом пришитый к изнанке нагрудного кармана плоский пакетик, обернутый куском противопиритной, непромокаемой накидки, какие за ненадобностью солдаты обычно использовали для сохранения от порчи фотографий, писем из дома или документов от промокания своей же кровью, а также для сбережения их в условиях форсирования водных переправ. И только спустя некоторое время Тютчев понял, что противник не только отброшен нашими войсками с этого участка, но что сражение уже ведется далеко в глубине, за укрепленной полосой противника.

Награждено было все подразделение, доблестно выстоявшее в засаде, и посмертно — те, кто пал в этом бою.

Поскольку Тютчев после контузии плохо слышал и мог только косноязычно изъясняться, его попытки объяснить свою непричастность к подвигу героического подразделения были решительно отклонены.

И даже начальник политотдела полковник Петр Петрович Петров сказал с упреком:

— Вы, товарищ капитан, прекратите делиться своими личными впечатлениями о бое. Если есть деловые соображения по содержательности и методике устной пропаганды — продумайте и по форме доложите!..

Но что мог доложить Тютчев, когда все видение боя свершилось для него беззвучно.

Он видел, как участок земли, на которой находился оружейный расчет, вдруг весь сотрясся, словно множество каких-то вулканических жерл извергало из себя пламя, куски стали, камней, едкого дыма. И в этом гибельном хаосе четко, ритмично, как это бывало лишь на учениях, действовал огневой расчет, обслуживавший свое орудие, как работающую машину. И лица у солдат были так же сурово-сосредоточены работой у орудия, как они были сурово-сосредоточены, когда Тютчев застал их за земляными работами. Он видел, как один из подносчиков, прежде чем передать вынутый из обрушившейся земляной ниши снаряд другому переносчику, стянул с себя гимнастерку и стал старательно обтирать ею гильзу снаряда, и тот, другой, подхватив этот снаряд, бережно поднес его к орудю, а Орешин, оглядев снаряд и убедившись, что гильза

чистая, кивнул и затем припал к прицелу, замедленно вращая ручку маховичка.

И когда орудие вспрыгнуло, изрыгнув огонь, и снова было изготовлено для нового выстрела, Орешин оглянулся на лежащего на земле уже раненного подносчика, пошевелил губами, вытянул руку с поднятым большим пальцем — и раненый улыбнулся.

Потом он увидел на орудийном стволе, словно на перекладине, мокрые гимнастерки, шинели и исходивший от них пар. Увидел и то, как Орешин замер у прицела, чего-то выжидая.

Два солдата стояли недвижимо за щитом орудия, держа в руках по снаряду.

Возле станин орудия валялось множество стреляных гильз. После того, как орудие два раза выстрелило, подносчики, взяв винтовки, ушли. И у орудия остался только Орешин.

Не отрывая глаз от панорамы прицела, он ощупью вынул заложенную за ухо большую самокрутку и закурил. И когда, оседая кормой в траншею, сверкая истертыми траками, вдруг надвинулась стальная глыба танка, только тогда содрогнулось в выстреле орудие Орешина. И после этого Орешин снял замок орудия и ушел куда-то с ним. Очевидно, замок был очень горячим, потому что Орешин положил его в свою каску и нес ее морщась, как морщится человек, когда берет в руки горячий чугунок, допустим, с вареной картошкой.

В это время сам Тютчев пытался лишь перевалить не чувствуемое им собственное тело на левый бок и шарил пальцами по кобуре, силясь достать «ТТ»: не хотел, чтобы его добили здесь, полумертвого, фашисты. И только когда его прижгло раскаленным осколком, он, словно очнувшись благодаря ожогу, освободился от телесного онемения, опомнился и нашел в себе силы ползти в горящий бурьян, чтобы там, в огне, успеть уничтожить свой планшет с документами и картой. И убедился Тютчев в том, что противник отброшен, лишь тогда, когда заметил оставшихся в живых артиллеристов, увидел их, занявшихся приборкой огневой позиции. Они сняли гимнастерки, шинели с остужаемого ствола и хорошо протерли ими орудие. Сложили в ящики стреляные гильзы. Затем, собравшись вместе, жадно курили. И лица их были неузнаваемы, как у людей после длительной голодовки. Глаза запали, щеки ввалились, губы были сухие и тоже запавшие. Одни устало оперлись спиной о щит орудия, другие сидели на корточках, а третьи лежали

на земле, совсем обессиленные. Они были подобны людям, которых застиг пожар в доме и которые боролись с этим пожаром, спасая своих близких, самих себя и сам дом от гибели в огне. А теперь, когда пожар потушен и самое ценное в нем, свое имущество, они спасли — орудие, орудие с замком, орудие протертое, в целости, — обессиленные и как бы обездушенные долгой борьбой с огнем, они отдыхали от всего, что пережили, и отводили взгляд от тел павших, прикрытых с головой шинелями, чтобы зря не мучить себя, и без того измученных душевно до последней крайности.

После того, как Тютчева положили на носилки, к нему подошел Орешин, пошевелил губами, что-то сказал. Тютчев не слышал. Орешин расстегнул кармашек его гимнастерки, положил туда стопочку партийных билетов, бережно застегнул клапан кармашка и вдруг, усомнившись, снял с себя пилотку, вынул оттуда иголку с ниткой и прошил клапан кармана для надежности частыми, плотными стежками, склонился, откусил нитку, подергал клапан и, удовлетворенный, отошел.

Это были партийные билеты павших, и среди них билеты тех, кому вручил их перед самым боем Тютчев.

«Твой окоп — твоя крепость» — лозунг на страницах «дивизионки». Но они же сами единодушно потребовали отложить работы по сооружению этих своих личных крепостей ради того, чтобы воевать коммунистами, и то, что в подразделении коммунистов стало больше, значит оно было сильнее в бою, и общие потери оказались меньшими.

Когда Андрей Тютчев пытался рассказывать политотдельцам о своих переживаниях, его терпеливо выслушивали и, сдержанно соглашаясь, говорили:

— Вручение партийных билетов в боевых условиях предусмотрено приказом. Ты выполнял приказ, а приказы ни в одобрении с твоей стороны, ни тем более в обсуждении не нуждаются.

Только комдив, генерал Воловой, как-то остановив Тютчева и внимательно оглядев, спросил:

— Это вы находились в расчете, выставленном в засаду за передний край? — Вдохнул: — По существу его следовало трехорудийной батареей усилить, а мы одно выделили. Но то, что вы, политотдельцы, успели вручение партбилетов произвести — это дух людей усилило. С одного орудия доблестно свое боевое задание выполнили, выполнили так, будто у них целая батарея. Значит, полностью задействовали огонь своего большевистского сердца. — Смутился от

возвышенных слов, сурово осведомился: — После контузии не сильно заикаетесь? А ну, скажите что-нибудь. — Поморщившись, твердо приказал: — До полного восстановления четкой речи допустить вас к устной пропаганде среди бойцов считаю преждевременным. — Улыбнулся: — Да уж ладно. Главное — за душой иметь, что людям сказать, слово не ухом понимают, а вот этим... — и похлопал себя по выпуклой богатырской груди, на которой без колодок с лентами были ордена: два боевого Красного Знамени среди других новых.

Генерал обычно появлялся без плаща и шинели на передовой, даже если погода была сырая, холодная. И хотя некоторые командиры иронически относились к манере Волового выставлять напоказ «весь свой иконостас», он пренебрегал этим. И не столько потому, что гордился «иконостасом», сколько ради того, чтобы внушить бойцам, какой у них заслуженный и, значит, надежный комдив.

Когда студент четвертого курса исторического факультета Андрей Тютчев явился в военкомат и подал заявление о зачислении его в ряды действующей армии, то, хотя обстановка была крайне напряженной и военнослужащим военкомата было не до размышлений о специфической пригодности каждого к различного рода службам в войсках, работник военкомата быстро подметил, как подслеповато Тютчев искал место, где поставить свою подпись, а также отиснутый на переносице розоватый след от очков, которые Тютчев снял перед входом в военкомат, — и по этому одному без колебаний, без рассуждений выдал на руки ему приказ о направлении в подразделение полевой прачечной.

В этом подразделении оказалось лишь трое военнослужащих. Свою задачу они выполняли, опираясь только на патриотическое содействие местного прифронтового населения, главным образом женщин. Подразделение было укомплектовано необходимым инвентарем, транспортом. Однажды, распаковывая ящики, обнаружили, что в них не мыло, а пачки с пшеничным концентратом.

На Тютчева начальник полевой прачечной, пожилой, седоватый, с брюшком и одним кубарем в петлицах, бывший работник коммунального хозяйства Пантелеев возложил обязанности по установлению связи с местным населением, чтобы своим солдатско-комсомольским горячим, сердечным словом призвать трудящихся женщин оказать помощь сражающейся армии, твердо подчеркивая при этом

слова о том, что отныне вся наша страна стала единым сражающимся с врагом лагерем.

Подавленный, униженный и угнетенный назначением в полевую прачечную, получивший угрожающее предупреждение еще в военкомате — если он не явится к месту назначения в срок, то это будет равно уклонению от выполнения боевого приказа и, значит, он будет отдан под трибунал согласно закону военного времени, Андрей Тютчев робко, стыдливо, застенчиво страдал оттого, что он, молодой, здоровый солдат, да еще с винтовкой, как бы бутафорской здесь, обращается к людям затем, чтобы оказать помощь в стирке грязного, потного, заношенного солдатского белья, а из госпиталей поступающего окровавленным, обращается к гражданским людям во время их эвакуации из прифронтовой полосы за помощью, когда они сами беспомощно, в суете и поспешности страшась каждой минуты, каждого часа промедления, бросают свое имущество, чтобы успеть уйти от настигающего врага, спасая свои жизни, стариков и детей от каждодневной и каждую ночь бомбежки населенного пункта.

И то, что многие из тех, к кому Андрей Тютчев обращался, безмолвно соглашались задержаться, чтобы заняться стиркой, — это было равно по своему духовному подвигу в его священной простоте героизму тех, кто сражался насмерть на самом поле битвы.

Пантелеев рекомендовал Тютчеву для поднятия духа зачитывать согласившимся оказать помощь гражданам известное обращение Сталина по радио 3 июля 1941 года, где впервые были произнесены им слова «Братья и сестры!». Но Тютчев не выполнил этого указания, не осмелился, не хватило духу и собственной совести, чтобы он, невоюющий солдат, бывший студент, иждивенец этого народа, ничего еще в своей жизни не сделавший для людей, а только пользующийся тем, что они все создали, вызубривший великие даты истории своего народа для сдачи зачетов в университете и получения отметки «отлично» и этим тогда гордый, произнес слова, исполненные всечеловеческой силы, означающие нерасторжимую близость, какая существует извечно лишь между самыми близкими. Нет, он не мог их произнести своими устами, невоюющий солдат подразделения полевой прачечной, не мог, не осмеливался, не заслужил такого права перед людьми.

Пшеничные концентраты все-таки пригодились: их раздавали женщинам в вознаграждение за то, что бесценные тогда куски мыла, припрятанные ими как самое необходи-

мое для жизни в эвакуации, они жертвовали на стирку армейского белья.

Но вот когда ночью, при кострах, на берегу реки женщины стирали и полоскали отстиранное белье, чтобы успеть днем вывесить его на просушку, налетели фашистские ночные бомбардировщики и обрушили на огонь костров свой смертоносный груз. И тут впервые Тютчев, охваченный исступляющей все иные чувства неистовой ненавистью, тщательно целясь, расстрелял из своей одинокой винтовки всю обойму патронов, и, может, от случайного его попадания, а скорее всего оттого, что пилот фашистского «юнкерса» не успел вырвать свою машину из пикирования и поэтому врезался в бугор, слитый с лесной чащей ночным мраком, но так или иначе, когда пронзенного осколком в живот, полумертвого Андрея Тютчева отвозили на телеге в санбат вместе с ранеными женщинами, к груди его гимнастерки был пришпилен Пантелеевым конверт, на котором карандашом было поспешно написано: «Рядовой Тютчев получил ранение при личном им сбитии фашистского стервятника, исполняя боевой приказ». Подпись: «Младший лейтенант Пантелеев». Своей печати и бланков в прачечном подразделении не имелось. Поэтому никакого официального значения эта бумага не имела, но все-таки после выздоровления Тютчева, к его радости, направили на курсы младшего командного состава, доверившись словесной информации, полученной от комиссара госпиталя, сохранившего конверт в качестве улики пренебрежительного отношения отдельных командиров подразделений к оформлению документов при эвакуации раненых в тыл.

Затем Тютчев после окончания курсов получил направление в дивизию генерала Волового, где его назначили ротным политруком, с предупреждением о том, чтобы он в устной пронагаде не сползал на свои познания бывшего студента исторического факультета, а твердо опирался на передовицы центральной и фронтовой печати или даже своей «дивизионки».

Но вот что получалось, когда Тютчев завершал аккуратно по тезисам подготовленную им политинформацию: если позволяла обстановка — начиналась просто беседа с бойцами, и поскольку они каким-то образом были осведомлены о том, что у Тютчева образование историка, то особенно жадно выпрашивали его мнение о различных исторических людях и о примечательных исторических событиях давних далеких времен.

Тютчев старательно, как при сдаче зачетов, отвечал.

Однажды он недоуменно осведомился, чем вызван этот интерес к тому, что не имеет отношения к нашей советской современности.

Ефрейтор Трошкин, награжденный орденами Красного Знамени и Красной Звезды за то, что за ним, командиром орудия, числился второй десяток подбитых фашистских танков и самоходок, ладный, румяный крепыш с проседью в рыжих волосах в свои двадцать неполных лет, обидчиво сказал:

— Разрешите? Виноват!.. То есть как это не имеет? Если старинный наш народ при крепостном рабско-царском строе, хуже чего не придумаешь, даже не за свою землю, а за помещичье-царскую, только за то, что она Родина, с врагом насмерть сражался, и от победы над врагом ему потом лучшей жизни не было, и даже если бы, допустим, враг победил, то то же самое, от этого его жизнь хуже не стала б — каким был угнетенным, таким и остался бы, а все-таки насмерть против врага стояли. Так как нам, теперешним, спрашивается, по какой мерке сражаться назначено? Не было во все века такой высокой мерки, ясно? Так вот, товарищ политрук, — извиняющимся тоном произнес Трошкин, — я к чему все это до точки высказал? Мы же не только за свою собственную страну бьемся, а по существу за все человечество против фашистов заступились. Вот с каким самочувствием нам воевать куда ответственней, чем всем нашим бывшим солдатским предкам. Хотя при нынешних убойных средствах за одно сражение потерь бывает больше, чем прежде за целую войну, и верующих в утешную загробную жизнь среди нас нет, а если свалили тебя, значит — все! Твердо знаешь — полный финиш. Получится из тебя чернозем. И все же, пока ты еще живой, считаешь себя бессмертным, не своим организмом, конечно, а тем, что на веки вечные своей частью жизни ты тоже прибавил к тому, чтобы ничего подобного фашистам на земле больше не существовало. Значит, честно землю чистил для всех людей, с чистой совестью.

Тютчев чувствовал себя несколько растерянным от такого реагирования на его краткую, четкую политинформацию, но по тому, как остальные бойцы уважительно и одобрительно-сосредоточенно слушали размышления Трошкина, Тютчев воздержался от того, чтобы внести в его суждения соответствующие уточнения.

Покидая после собеседования в подразделении перед-

ний край обороны в сопровождении Трошкина, пробираясь согбенно по ходам сообщения, Тютчев, обернувшись, спросил:

— Вы, товарищ ефрейтор, как полагаете, может, я не очень убедительно изложил факты о фашистских зверствах?

— Нет, вполне все точно, — сказал Трошкин. — Но ведь бойцы и так обижаются: сидим долго в обороне, а тут, извиняюсь, получилось вроде упрека.

— Возможно, вы правы, — уныло согласился Тютчев. — Но что, по вашему мнению, в данных условиях могло быть полезным для собеседования?

— При всех условиях бойца что за сердце хватает? Как там дома. Вообще в тылу. Мы на полном комплектном обеспечении от народа воюем. Он от себя все нам отдает, мы солдат в бою теряем, а они — отцов, сыновей, внуков. А кто за это в ответе? Мы! Каждый боец! Свалил хотя бы одного фашиста — значит, целое семейство от сиротства спас. Вот чего в бою понимать надо. Мне вот как знаменитый стрелок Сережников объяснил: на боевом дежурстве он кто? Снайпер! Обязан грамотно, хладнокровно, с умом бить врага, без всяких отвлекающих мыслей. А ведь у Сережникова все семейство фашисты из огнеметов в сарае сожгли. Но Сережников не в каждого фашиста метит через оптический прицел, а выбирает лишь тех, кто с офицерскими погонами. Думаете, легко ему по тактическим соображениям рядового фрица живым оставлять, чтобы только офицера выманить? А ведь Сережников личное право мести имеет — всех без разбору валить. Вот это и есть настоящий долг солдата — выше своего горя стоять, потому что фашисты без своего офицера кто? Толпа. Значит, он не свое сердце облегчает, а нашему всему подразделению облегчает бой с ними вести. А он вашу информацию о фашистских зверствах покорно слушал и только губы свои до крови жевал... — Но тут же Трошкин бодро объявил: — У меня главная мишень — танк. Сбил — рисуй звезду на щите орудия. Все равно как у нас на шахте: бывало, перевыполнил план — и засветилась на макушке копра звезда из красного стекла. Не засветится — ходи понурый.

Но эта попытка Трошкина перевести разговор на другую тему только еще больше ущемила политрука Тютчева за то, что его беседа лишь растравила неисцелимо ноющие сердца людей, вторую неделю томящихся в траншеях в полном огневом безмолвии как со своей стороны, так и со стороны противника...

Василий Степанович Воловой получил звание генерал-майора и вместе с ним назначение командовать стрелковой дивизией сравнительно недавно, в конце тридцатых годов, хотя свою службу в Красной Армии он начал еще в двадцатом рядовым красноармейцем.

Медлительное продвижение его по службе вряд ли объяснялось тем, что главное свое внимание он сосредоточивал на хозяйственном и бытовом достоянии своего подразделения, а затем части, твердо полагая, что, пока ее личный состав не будет обеспечен тем, что ему положено в мирное время, не удастся надолго удерживать в кадрах людей, прошедших законный срок службы.

Когда кто-нибудь из командного состава совершал различного рода упущения или даже проступки, Воловой вызывал такого человека к себе на квартиру, запирали в кабинете двери, приказывал, кивая на стул:

— Садитесь! — И с гневом и яростью произносил: — Вас народ даром одевает, кормит, на всем готовом содержит! Народ из всех сил работает, строит, уголь рубает, металл плавит, на полях с восхода до захода солнца трудится. А вы, здоровый мужик, мясом обросли — на народном иждивении существуете, на каком таком основании, спрашивается? На вас что надето? Мундир! Вы в нем кто? Представитель Красной Армии! Для которой народ ничего отдать не жалеет, потому что каждый из нас свою жизнь до последней капли обязан отдать за свой народ, за Родину. Если по совести, то мы, армейские, должны каждому гражданскому трудящемуся честь отдавать, а не только младший по званию старшему. Потому что над всеми нами самый старший — народ, ему служим. — Багровея, задыхаясь, Воловой хрипло продолжал: — Да, будь моя воля, я бы с вас перед всем строем мундир снял! — Жадно пил воду и, несколько успокоившись, пояснял: — В гражданскую у нас знаешь какой неписанный устав был? За малейший проступок полагалось своей кровью в бою оправдаться. И точка. Я вот тоже проштрафился. Повел своего коня к коновалу, а тот пьяный. Пока я его колодезной водой отливал, пока он заклепки на правую переднюю мне ставил — на сигнал сбора опоздал. Меня тут же с коня долой — и в обоз... повозничьим! Это при клинке-то и шпорах — повозничьим! Легко, думаешь? Для всего эскадрона я кто? Клоун, для смеха. Возил за эскадроном фураж. И в бой меня не пускали. Понял, как беспощадно воспитывали? Товарищи в боях погибали, кровь свою лили, а я целехонький, живой при волах служил. Вот она такая

была — по существу, высшая мера наказания за нарушение дисциплины. А тебе что? Ну, извиняюсь, выругал. Ну, в политотделе обсудят. Ну, в приказе — выговор. А для всего нашего полка — это же горе! — Махнув горестно рукой, приказывал: — Ступай, и ежели ты сам себя не осудишь, сам с себя не взыщешь, сам себя до самого донышка не продумаешь, выходит, не столько ты, сколько я плохо армии служу, раз из такого, как ты, не мог достойного Красной Армии командира вырастить...

Но на смотрах и на учениях перед высшим начальством Воловой стойко защищал своих подчиненных, и замечания, которые они заслуживали, относил на свой счет. И в конце концов складывалось мнение о нем как только о старательном, но не очень далекого ума командире. Но вот когда в конце тридцатых годов его вызвали в штаб округа и предложили должность командира корпуса и соответствующее должностное звание, Воловой решительно отказался и даже высказался о бывшем командире корпуса как о наидостойнейшем человеке и командире. К удивлению штаба округа, когда бумага об отчислении из кадров Волового попала в Москву по ВЧ, почти в один и тот же день и час прозвучали такие резкие, негодующие, угрожающие голоса высших прославленных командиров Красной Армии, каких не доводилось слышать в округе даже по более существенному поводу. Правда, один из этих прославленных командиров называл Волового эскадронным командиром, другой — командиром конной батареи, а третий — просто отважным бойцом кавалерийского отряда из шахтеров Донбасса. Но все они знали Волового лично и даже называли его по имени и знали мирную его профессию — забойщик.

Воловой остался командовать полком. И когда ему один из работников штаба доверительно сообщил, какие высшие командиры Красной Армии его помнят, Воловой вздохнул и сказал:

— Ничего в этом такого особенного нет. Я ведь до забойщика, будучи еще мальчишкой, коногоном в шахте работал. На этом основании в кавалерию напросился, а с первого же боя тем прославился, что ухо своему коню клинком срубил. Может, с того времени они меня и запомнили. Как смотр, так сразу же острым глазом замечали, что конь у меня одноухий. С таким отличием и запомнили.

Но то, что Воловой после гражданской войны участвовал в боевых действиях в Испании, на Дальнем Востоке, на Халхин-Голе, об этом он умалчивал, поскольку это относилось к выполнению приказов особого назначения.

Да, вот еще что. В системе обучения как солдат, так и командного состава полка Воловой поощрял тех, кто проявлял самостоятельность, инициативу, и, давая вводные для учений, испытывал особую радость, когда младшие и средние командиры на незнакомой им местности, используя ее особенности, организовывали расстановку огневых средств более эффективно, чем это планировалось заранее штабными работниками. И когда Воловой находился в блиндаже со своим штабом на командном пункте, наблюдая за учениями, то чем реже поступали доклады от командиров взводов, рот, батальонов, за которыми обычно скрывались невысказанные желания получить, как говорится, «дальнейшее указание», тем большим доверием он проникался к этим командирам. Одобрял даже такие их решения, которые хотя и не увенчивались успехом, но свидетельствовали о том, что они не шаблонные, а плод самостоятельной командирской мысли.

С 1933 года, когда Германия стала фашистским государством, Василий Степанович Воловой значительную часть своего свободного времени посвящал изучению истории первой мировой войны. Брал из библиотеки труды бывших царских генералов, сбежавших за рубеж и там написавших оды, прославлявшие военное искусство немецких полководцев времен первой мировой войны, как бы оправдывая этим поражения, которые терпела царская армия. Полагал, что немецкие генералы времен первой мировой войны, став при Гитлере маршалами, в новой мировой войне будут также опираться на прежний свой опыт. Заканчивая курс обучения в военной академии, Воловой написал дипломную работу, в которой сосредоточил свое главное внимание на деятельности немецкого генерального штаба в годы первой мировой войны. Но дипломная работа Волового была отклонена — сначала по мотивам объективистского изложения, а затем по другим мотивам, более щепетильного порядка, относящимся целиком к области дипломатической этики.

Вообще-то Воловой занялся изучением опыта первой мировой войны германской армии, как он сам с лукавой, добродушной миной признавался, «только по тем соображениям, что весь немецкий генеральный штаб и немецкие полководцы и генералы остались в целостности и сохранности и на работе. А наши бывшие царские генералы и штабники либо были добиты, находясь в рядах белой армии, либо в большинстве бежали за рубеж. Но когда немецкая армия бросила свои обученные части под командованием опытных

полководцев на молодую Советскую Россию, а затем пошли в поход войска Антанты и отборная белая гвардия, возглавляемая элитой царских генералов, их всех разгромили наспех обученные красногвардейские части под командованием бывших фронтовиков — солдат, ефрейторов, унтер-офицеров, которые нынче стали генералами и полковниками. И уже не практически, а научно в самую пору на досуге следовало бы разобрать по-полководчески всю военную теорию и практику кайзеровского, а теперь немецко-фашистского генерального штаба. Поэтому нам же больше военной чести оценить с плюсом силу и искусство битого нами противника, чем его недооценивать».

Выручило Волового то, что на его работе была поставлена лаконичная резолюция: «Некритический набор сомнительных цитат, — тема не соответствует общему уровню военно-исторических познаний слушателя».

Коренастый, массивный, плешивый и потому всегда с наголо бритой головой, с тяжеловесным затылком и мясистым багровым лицом, с лучистыми, узкими, зоркими глазами, Воловой производил впечатление человека, обладающего хорошим аппетитом и таким же здоровьем, благодушного, старательного армейского служаки, наделенного силым, оглушительно гулким командирским баритоном, которым он без всякого напряжения мог легко одолеть все построение полка в полном его составе на плацу. И какие бы дружеские отношения ни связывали его со старшими по званию, он с особо подчеркнутым упоением упорно соблюдал весь ритуал субординации, отвергая всяческие, даже приятельские, просьбы: «Ну, брось, чего там! Мы же не перед строем, вместе же в одном звании начинали».

Но это вовсе не было бездумным, вымуштрованным чинопочтанием, или плодом долговременной привычной армейской командирской выучки, или даже преклонением перед военно-этическим ритуалом.

Не так уж прост был Василий Степанович Воловой, как это могло с первого взгляда показаться.

Во-первых, так явно подчеркивая существующую по форме обращения дистанцию между командиром среднего звена и высшего, он позволял себе, используя эту форму обращения, искусно маневрируя, добиваться того, что иным способом было достигнуть затруднительно.

Как-то прибывший к нему в часть представитель штаба округа дружески и доверительно посоветовал ему: в связи с тем, что на предстоящих учениях будет присутствовать нарком обороны, неплохо бы для демонстрации отличных

показателей в огневой подготовке его части Воловому лично и неофициально заранее ознакомиться с предполагаемой для учений местностью, чтобы приказания, которые будут отдавать его командиры своим подразделениям «в условиях незнакомой местности», свидетельствовали о хорошей тактической выучке личного состава.

При этом разговоре лицо Волового имело такое же серьезное выражение, какое бывает на посмертной гипсовой маске.

Но затем он благодушно предложил представителю округа принять его домашнее гостеприимство, которое и затянулось в связи с тем, что сам Воловой любил обильно питаться и не менее обильно угощать и, пользуясь этим, выпить ту меру, которую он с нескрываемым удовольствием позволял себе лишь при подобных ситуациях.

Поскольку была непогода и не иссякал дождь, представитель округа не снесил покидать стол. Но когда он в сопровождении Волового вышел из его квартиры, находящейся в расположении части, на плацу был уже выстроен весь командный ее состав, и, четко печатая шаг, начальник штаба части приблизился к представителю округа, встал, словно врос в землю, и зычно доложил:

— По вашему приказанию личный командный состав собран. Докладываю: все командиры отозваны для тактических занятий на указанной вами местности, карты и схемы всем розданы!

Козырнул, замер.

Представитель округа, сумев сохранить самообладание, глухо и властно скомандовал:

— Отставить!

И, не оглядываясь на офицерский строй, пошел к ожидавшей его «эмке».

Воловой забежал вперед, открыл перед ним дверцу. Задерживая дверцу, представитель округа произнес сокрушенно:

— Я с тобой как с человеком, а ты... — и махнул рукой.

— Осмелюсь доложить, — Воловой поднес ладонь к козырьку фуражки. — Не подведем!

— Да брось ты паясничать, Василий Степанович, — сердито сказал представитель штаба. — Ну, мог попросту, мол, не нуждаюсь и все. — Подумал, пожевал губами: — Может, ты обиделся, подумал, что округ в тебе не уверен, поэтому я и прибыл... посоветовать? В сущности, ты меня сильно подвел, просто по-свински поступил.

Воловой снял фуражку, вытер платком отшлифованную

каждодневным бритьем крупную, в белесых шрамах, голову, произнес сипло:

— Учение, хоть и в присутствии наркома, — это не торжественный парад. А? Проверка боеспособности, ведь так?

— Ну, так!

Воловой надел фуражку, отступил на шаг, поднял руку к козырьку, лицо его вновь приняло серьезное, внушительное выражение гипсовой маски, гулко произнес:

— Здравия желаю, товарищ генерал-майор. Счастливого вам пути!

Генерал-майор поманил Волового, нагнул его голову, прошептал на ухо, чтобы не слышал шофер:

— Ты меня, Василий Степанович, прости за выражения вгорячах. Но вот узнают в округе о том, что я тебя информировал, накрутят мне хвост.

— Никак нет, полная военная тайна, — четко отпартовал Воловой и затем, усмехнувшись, добавил: — Ведь это я вас разыграл! И карты, и местность мной были указаны наштабу совсем другие. Воевать-то нам не по шпаргалкам!

И именно после этих учений по приказу наркома Воловой был назначен командовать дивизией, куда влился и его родной полк, получив звание генерал-майора, и был счастлив. Первое время, когда подчиненные обращались к нему: «Товарищ генерал-майор», не мог скрыть самодовольной улыбки оттого, что ему присвоено такое высокое воинское звание. И даже предпочитал, чтобы его вообще титуловали — генералом! И жене своей он с нежностью объявил:

— Ну, Маша, теперь ты не полковничиха, как тебя в ДКА называли, а генеральша!

— Я перед тобой и так всегда генеральшей в доме была, — самоуверенно объявила сунруга.

Мария Павловна Воловая вышла замуж за Василия Степановича еще тогда, когда его именовали просто Васькой, и он ее, раненную в бою медсестру, возил на фуражной арбе, поверх мягких тюков сена. Была она тоненькая, сухонькая, рыжая, в веснушках, строитивая и очень нервная: однажды, когда она пошла на реку стирать бинты, там ее за этим занятием настигла белогвардейская конная разведка и, не слезая с коней, до полусмерти иссекла нагайками. Санчасти при эскадроне не было. И поскольку Воловой прошел несколько шахтерских профессий, в том числе коногона, он знал лишь верные средства для лечения коней, но не людей.

Под Машиным руководством он лечил ее, надев себе при этом на голову пустой вещмешок, как это делали со своими жертвами во время расстрелов белогвардейские контрразведчики, но в данном случае Воловой прибегнул к такому способу, чтобы щадить Машину стыдливость.

Ныне же Мария Павловна Воловая выглядела капитально, мощнотело, при посторонних именовала мужа только по его армейскому званию и, поскольку была предводителем женсовета гарнизона, знала причины того, почему не всегда ладно складывалась личная жизнь его комсовета. Но никогда, ни при каких обстоятельствах, не делилась этим своим знанием с мужем. Она сохраняла доверенные ей армейскими женами семейные тайны с той же непреклонной строгостью, как ее супруг — военные...

Генералы бывают разные: высокорослые и низкорослые, полные и тощие, статные и сутулые. Но при всех существенных различиях, исключая различие в самих генеральских рангах, генерал есть генерал — олицетворение полноты мудрой воинской власти, того торжественного, спокойного величия, которым он должен по-генеральски незыблемо быть преисполнен, особенно тогда, когда получает приказ свыше, по выполнению архитрудной боевой задачи со многими неизвестными.

Поскольку бой есть двусторонние обоюдные активные действия с быстрой сменой обстановки во времени, пространстве, с бесчисленным множеством внезапно возникающих обстоятельств, вместить все это в единую стройную схему слагаемых, да еще при многих неизвестных, равно тому, как, допустим, потребовать от ученого точных указаний не только того, где, когда и как совершится землетрясение, но и того, как организовать при этом все необходимое, чтобы предотвратить излишние потери, разрушение, суметь воодушевить население, чтобы оно вело себя при этом землетрясении так, будто находится в самых привычных условиях и невозмутимо выполняет свой обычный трудовой долг.

И вот то, чего даже от самого знаменитого ученого ожидать невозможно, является обычной должностной повседневной работой фронтового генерала.

Исходя из множества самых различных слагаемых, в том числе и неизвестных, принять уверенное, неукоснительное решение, отдать боевой приказ исчерпывающе четкий и ясный, будто задача уже во всех вариантах реше-

на и остается ее только продемонстрировать боем на местности, чтобы войска при этом действовали столь же четко, сообразительно, с тем же воинским мастерством, какое они показали на предварительных учениях, на выбранной для этого подобной предполагаемому полю боя местности, преодолевая при этом изученные оборонительные сооружения, тактические приемы и способы ведения боя противника, — все это лишь самое предварительно необходимое условие для развертывания боевых действий, но в какой-то мере и решающее.

Но как бы с точки зрения военной науки и искусства ни были безусловно и разумно организованы и управляемы все средства военной борьбы, задействованные в сражении, главная побеждающая сила в нем и высшая — духовная способность советского солдата ни на секунду не утратить сознания того, что ты — солдат и за твоей спиной почти рядом, вплотную — мать, отец, брат и дети. И если ты не отворишь по ним огонь, то он падет на них — на твой дом, на твоё село, на твой народ, на твою страну. И не комдив, не комполка, не ротный, не взводный сейчас над тобой, а они все, все наши люди. Все, как есть, и те, каких нет, но с исчисления самого первого дня твоей Родины они не щадили себя ни в борьбе, ни в труде, чтобы ты стал советским человеком, которых нет нигде на земле, кроме как на земле твоей Отчизны. А без них ты — никто. Живой ли, мертвый — никто.

Конечно, самому комдиву Василию Степановичу Воловому подобная риторика была не свойственна. Но когда замполит собрал с передовой солдат и младших командиров для встречи с делегацией трудящихся, прибывшей из далекого тыла, хотя это и могло отразиться на графике выполнения инженерных работ по закреплению оборонительных позиций, Воловой с нарочитой неохотой угрюмо согласился:

— Ладно, митингуй. — И вдруг добавил, воодушевляясь: — Только вы там орденами, медалями и геройством неставляйтесь. Пусть сами делегаты выступают и нам по всей правде расскажут, как им там всем тяжело, но помните, что при всех лишениях они все равно трудом героически, да еще при боли нестерпимой — когда похоронки получают! Надо так, чтобы каждый боец до самого своего донышка почувствовал, что он у них до последней капли в долгу!

— Делегаты подарки привезли. Просят разрешения лично раздать особо отличившимся.

— Подарки! — иронически усмехнулся генерал. —

А где взамен от нас для них сувенир? Только топчемся контрбатарейным огнем, когда фашисты наш передний край беспокоят.

Присутствуя на митинге, генерал слушал слова делегатов, обращенные ко всей Красной Армии, слушал с таким судорожно-напряженным выражением багрового от волнения лица, какое у него было лишь тогда, когда командующий фронтом, вручая гвардейское знамя, огласил приказ Верховного о присвоении дивизии звания гвардейской!

И хотя на митинге получилась неувязка, потому что делегаты трудящихся отклонили рекомендацию замполита больше рассказать о подвигах тружеников тыла, а говорили о воодушевлявших их на труд подвигах советских воинов, зато выступающие, особо отличившиеся в боях солдаты, проявили осведомленность в своих ответных речах о доблестном, самоотверженном их труде, об их лишениях, неизбывных горестях и бедах.

Слушая их, Воловой низко нагнувшись на брови фуражку, тяжело сопел, сморкался, утирался платком, шепотом жалуюсь на то, что, возможно, простыл, хотя всем известно: генерал в любую погоду расхаживает без плаща и шинели, никогда не подвергается простудам, настолько он был закаленным, от всякой хвори прочно устойчивым человеком.

На любой военной дороге можно видеть указатели с надписью «Хозяйство (скажем) Кошкина». Это значит, что где-то тут расположено подразделение службы тыла. Но ведь каждая боевая часть, тем более — соединение, в сущности располагает поистине столь обширным и разнообразным мощным хозяйством, включая, конечно, всю боевую технику, кухни, снабжение, вещевое снабжение, полевые склады боеприпасов, горючего, снаряжения, стройматериалов для оборонительных сооружений, медицинские подразделения, эвакуационные, связи, дорожные, инженерные, ремонтные, полевые хлебопекарни, прачечные, бани и прочее, прочее... что одна только номенклатурная опись, не говоря уже об инвентарной, заняла бы несколько томов.

И все это не только в условиях боя, или длительного пребывания в обороне, или при передвижениях на марше, но и при вторжении на всю оперативную глубину в оборону противника должно во всей своей неразрывной совокупности безотказно точно, четко действовать в любых условиях.

Да, комдив или командарм — это прежде всего организатор и руководитель боя, сражения. Но каждый подлинный командир твердо знает, что боеспособность вве-

ренных ему войск зависит не только от степени их обученности, от боевых качеств всего личного состава, уровня их военного мастерства, опыта, инициативы, стойкости, мужества, совершенного владения всеми средствами военной борьбы, но также и от того, как все службы снабжения, обеспечения, обслуживания при всех условиях способны удовлетворить фронтовика тем, что ему положено по всем статьям его житейских армейских нужд.

И даже в условиях тяжелого боя, сопровождаемого большими потерями, когда люди испытывают душевные потрясения, страдания от тех лишений, которые они понесли в бою, — недопустимо замедлять, лишать их той житейской армейской obsługi, которая на гражданском языке именуется бытовым обслуживанием, а для воинов, изможденных и отупевших в бою, еще не вырвавших себя из этого состояния, на грани между жизнью и смертью, означает как бы возвращение в жизнь через самые простые, обычные услуги, предметы жизненно-человеческого обихода.

Воловой принадлежал скорее к тому типу генералов, какие с большим доверием относятся к своим командирам и подразделениям, находящимся в состоянии боевой готовности на огневых позициях, чем к тем командирам и подразделениям, какие обязаны их обслуживать.

И не потому, что он считал тех лучше, а этих хуже, а потому, что сама предбоевая обстановка переднего края вызывает у каждого особо повышенное сосредоточенное чувство самопроверки и напряженной готовности к действию. Но вместе с тем он считал без необходимости излишним свое пребывание на переднем крае, хотя ему лично это было бы полезно потому, что, конечно, приятно, когда вызывают на связь «сверху», а он, комдив, докладывает, что в данный момент находится не где-нибудь, а на переднем крае. И чем чаще он так докладывает высшему с переднего края, тем больше возможности прослыть храбрым комдивом, не вылезавшим с переднего края. И совсем иное впечатление — выходить на связь с высшим из подразделений тылового обслуживания, где он как бы на уровне завхоза проверяет хозяйственную наличность, численность и качество множества предметов и продуктов и разного рода средств и способов доставки, которые не имеют ничего общего с тем, чем пользуются в условиях самого боя. Словом, комдив выявляет себя здесь, в тыловых подразделениях, как инициативный хозяйственник самого высшего гражданского министерского уровня. А это, в сущ-

ности, лишь одно из необходимых и неизбежных слагаемых для командира как организатора, руководителя боя или сражения, без чего, да и еще без многого иного даже самый отважный, знающий, в бою талантливо владеющий военным искусством командир не сможет подняться до уровня полководца.

Известно, что штаб согласно приказу, полученному выше, вырабатывает план ведения боя, а также планирует работу всех тыловых подразделений, обеспечивающих своей деятельностью задействованные в бою войска.

Если план боя реализуется в самих условиях боевых действий, то план подготовки к нему вступает в силу значительно раньше...

И Василий Степанович Воловой придавал особо ответственное значение тому, как в данный момент выполняется по всем пунктам отданного приказа работа тыловых подразделений.

И именно тогда, когда в расчете по минутам был создан строжайший график исполнения многосложной работы всех служб обеспечения, пуждающихся в неукоснительной проверке и полной боевой мобилизованности этих служб, сюда, на его плацдарм, прибыла делегация трудящихся для торжественного митинга.

Во-первых, Воловой был вынужден сюда, в район этого митинга, снять с переднего края и переместить ряд средств противовоздушной защиты, само передвижение которых демаскировало прежние огневые позиции.

Во-вторых, все-таки он счел разумным отозвать на митинг больше солдат из тыловых подразделений, чем с переднего края, и, значит, нарушил график работы по материальному обеспечению предстоящего сражения.

В-третьих, связался с частями авиации и призвал их к особой бдительности в связи со скоплением на его участке, лишенном укрытий, живой силы его подразделений, что было неразумно, и потребовалось разъяснить подробно, чем это вызвано.

И, в-четвертых, отдал приказ о полной боевой готовности подразделениям на переднем крае на случай, если фашисты вопреки разведанным внезапно бросят свои войска для наступательных действий, приняв скопление на тыловом плацдарме личного состава его подразделений за прибытие пополнения, чтобы лишить их возможности развернуться в боевые порядки. Словом, для генерала Волового эта встреча с тружениками грозила многими осложнениями и вызывала тревогу за благополучный исход ее.

Поэтому, соблюдая приличие, он напряженно улыбался, пожимал руки, при этом щелкал каблуками и низко склонялся, поскольку раскланиваться по-граждански не был обучен, — словом, пытался выразить свою почтительную приветливость даже не свойственной ему никогда суетностью, осведомляясь, как доехали, и извиняясь за неудобство фронтовых дорог, хвалил красоту природы на участке своего плацдарма и, указывая на поляну, сообщал хвастливо: «Грибов здесь видимо-невидимо», — опуская при этом тот факт, что поскольку эта поляна относится к полосе танкодоступной, то она обильно заминирована.

Вообще у генерала Волового было много причин для тревожного беспокойства. Но чем их больше, тем внушительнее и самоувереннее и даже величественнее обязан держать себя генерал — генералом. Поскольку встреча с трудящимися утверждена высшим командованием, значит, ее нужно провести достойно, как положено.

Воловой с удовлетворением отметил про себя, что бойцы, вызванные с переднего края, выглядят значительно наряднее, чище и аккуратнее, чем солдаты из подразделений обслуживания. Хотя он отлично знал: для того чтобы они так достойно выглядели, старшинам наверняка пришлось укомплектовывать их обмундированием путем коллективного добровольного с себя пожертвования в каждом подразделении с каждого солдата, чтобы одеть получше вызываемых на встречу, особо отличившихся в боях и, значит, не только не щадивших в бою своих жизней, но и своего обмундирования.

Заметив вату в ушах Терешкина, командира противотанкового орудия, Воловой, как всегда при этом, нахмурился, хотя и знал, что Терешкина солдаты уважают за отвагу и главным образом за то, что он отличный гармонист. И несмотря на неоднократные замечания, он все же носил вату в ушах не только на огневой позиции, оберегая свой нужный для музыканта слух, но и всегда являлся так даже в строй.

Понравилось Воловому то, что двоим легкораненым бойцам санинструкторы поверх уже заношенных, побуревших бинтов успели наскоро наложить свежие, чистенькие.

Сапоги у всех блестели, смазанные заимствованным у артиллеристов пушечным салом.

Бритые, умытые, подтянутые, они вежливо опустили глаза, когда на полуторку с откинутыми бортами, превращенную в трибуну, решительно отказавшись от помощи,

взбиралась с черносмородинными глазками юная представительница текстильщиков, ослепительно сверкнувшая ногами выше колен в коротких заштопанных и застиранных чулках, обутая в мужские ботинки.

И вообще митинг прошел как должно.

Представители героического тыла доложили, на сколько процентов они выполнили планы по производству продукции и что они взяли еще более повышенные обязательства, называли имена своих передовиков, а представители героической армии доложили о том, на сколько теперь сократилось расстояние, отделяющее Красную Армию от логовища заклятого фашистского врага — Берлина, и дали клятву в ближайших боях еще больше сократить это расстояние.

При этом с обеих сторон произносились лозунги. Гражданские аплодировали лозунгам, а армейские замирали по стойке «смирно». Командиры подносили ладони к козырькам фуражек и, как было предварительно приказано, вполголоса, чтобы не привлекать внимания слухачей со стороны противника, единым вздохом не выкрикивали, а только произносили «ура».

Это был вроде как обычный, «типовой» митинг, какие бывали и до войны по разного рода поводам, — встреча шефов с подшефными по раз навсегда установленному порядку и ритуалу.

И речи с обеих сторон были предварительно у гражданских продуманы, составлены и утверждены руководством, а у армейских — политруками, чтобы не упустить главного, а также уложиться в регламент. И сочетание слов, фраз, цитат всеми ими было уже неоднократно слышано, знакомо и запомнено.

Но глубокое, неизбывное, волнующее впечатление этот митинг произвел на всех, пожалуй, не столько речами, сколько тем, как и кем они произносились и что при этом переживал каждый.

Вот выступает пожилой рабочий, для торжественности повязавший под воротник замасленной стеганки яркий новенький галстук, и толково, бодро излагает значение движения скоростников. Но глаза его при этом тоскливо блуждают по лицам молодых солдат ищущим отцовским взглядом, а молодые солдаты, глядя на его запавшие глаза в белесых морщинах, жадно ищут в них тот взгляд, с каким отцы провожали их на фронт.

А когда юная текстищица с черносмородинными глазками звонко и гневно призвала беспощадно бить фаши-

стского зверя, на нее пожилые солдаты глядели с отцовской грустной жалостью, подмечая застиранные, заштопанные чулки и тощую шею. И хотя она вовсе не такая по-девичьи юная, и грудь у нее, как у подростка, плоская, только одни ключицы торчат, молодые бойцы смотрели на нее, не замечая ни ее худобы, ни скудной бедности ее полумужского изношенного рабочего одеяния, — они видели только ее лицо, от малокровия как бы фарфоровое, полупрозрачно светящееся, маленькую голову, только здесь повязанную бережно хранимой за пазухой от дорожной пыли косынкой, падающую на бровь прядь волос. И она была для них как исполненное совершенной нежной женской красоты живое прелестное видение. И когда она поднимала над головой руку в широком рукаве, ниспадающем при этом почти до локтя, и, сжимая пальцы в крохотный кулачок, звонко восклицала: «Смерть фашистским оккупантам!» — она была перед ними как восхитительное и волшебное воплощение самой радости жизни. И замирали они, испытывая чувство блаженной надежды найти, если выживут, хоть чем-нибудь ей подобную, и жадно стискивали свое оружие, и если бы, допустим, сейчас фашисты произвели огневой налет, вряд ли кто-нибудь из них, пока это видение не исчезло, пошел в укрытие, хотя промедление в таком случае грозило быть разорванным в клочья кусками горячего металла.

Пожилая женщина, работница лесосплава, полная оттого, что на ней было надето поверх куртки-стеганки и стеганых шаровар яркое ситцевое платье с оборками, теребя на груди стеклянное ожерелье, подобное елочным бусам, глухо и сипло произнесла, зажимая в руке три серые бумажки, в углах скрепленные канцелярскими скрепками:

— Вот, глядите — три похоронки. Муж, сын и еще сын — последний, младший... Спрашивается: зачем же тогда я к вам нафасонила при всем моем невыносимом горе? А потому, что мы от вас только победы ждем, и ничем другим наше горе не утолите — только победой. Вот я и вырядилась к вашей победе. И не как дура какая-нибудь в такое время, а как мать, верующая в вас, детей моих... — И не всхлинула, преодолела себя, хрипло произнесла: — От нашего лесосплава докладываю! Мы, сплавщики, сейчас для Донбасса лес на крепежный материал гоним. Освободила Донбасс Красная Армия! Значит, будьте уверены, уголек пойдет, значит, будьте уверены, чугуна из него, стали вам на орудия выплавим: сколько вам надобно, столько от рабочего класса и получите. В этом мы вас полностью

и торжественно заверяем. — Оглянулась на руководителя шефской делегации, пояснила: — Я ведь наизусть все выучила! А вот как растерялась — и уже теперь попросту, по-матерински...

Воловой почему-то не твердой и четкой, как положено генералу, поступью, а тяжело шаркая ногами по настилу кузова полуторки, подошел к сплавнице, остановился перед ней, снял фуражку и впервые в своей жизни поцеловал руку женщины, благоговейно припав губами к черствой, как древесная кора, коже ее руки.

Солдатский строй зашевелился, потерял равнение, сбился в толпу, зазвенели снимаемые каски — кто-то иступленно крикнул:

— Спасибо вам, мама!

Воловой помедлил, надел фуражку, твердо вышагнул к краю платформы полуторки, громко приказал:

— Группа, смирно! Равнение на делегацию, церемониальным шагом — арш!..

...В сущности, каких-либо оснований и поводов для тревоги и беспокойства по ходу подготовки для успешного осуществления прорыва расположений противника на полную тактическую глубину у генерала Волового не было. Опираясь на полученные и выверенные собственными силами и средствами разведданные, он уже имел полную картину системы обороны противника, расстановки его огневых и подвижных средств, протяженности коммуникаций. С приемами и способами ведения боя фашистским командующим группировкой генералом фон Лебке Воловой был знаком по предыдущим сражениям. По допросам пленных немецких офицеров Воловой составил мнение о Лебке как об образованном фортификаторе, способном тактике, когда, наталкиваясь на упорное сопротивление или на прочную, трудноодолимую оборону, тот совершал своими войсками дерзкое, быстрое обходное продвижение. Но, задавая пленным немецким офицерам, как тем казалось, никчемные вопросы, интересуясь, кого из бывших или существующих полководцев больше всего Лебке выделяет, Воловой выяснил, что Лебке не только является почитателем ряда германских полководцев, но и утверждает, что они как бы высшее воплощение гения германского воинского духа и мысли; и еще выяснил, что Лебке как бесценные реликвии возит с собой купленные за огромные деньги на аукционах или принятые от друзей в подарок разного рода вещицы от амуниции или мелкие предметы житейского обихода этих обожаемых им полководцев.

Составленный по показаниям военнопленных список бывших владельцев этих вещей, ставших драгоценными сувенирами генерала Лебке, был не очень велик. Но понадобилось много времени, чтобы Воловой вместе со своим начальником штаба, полковником Василием Ивановичем Лобовым, разбирая во всех аспектах тактику управления войсками генерала фон Лебке, твердо и безошибочно установили, что тот является не только владельцем уникальной коллекции вещей, принадлежавших известным германским полководцам, но при любой сходной ситуации неотступно повторяет, по его мнению, классические их приемы и способы военной борьбы с учетом, конечно, новых возможностей, новых боевых средств воздействия.

Эти свои выводы Воловой и Лобов проверили разведками боем, имитируя как бы начало развертывания войск в наступление по всей линии расположения, вызывая противника на контрдействия. Составленные на основе этих наблюдений за противником проекты документов — боевого приказа, плана операции, плана взаимодействия, написанные для полной секретности от руки и переданные в штаб армии, получили там полное одобрение.

Командующий в личной беседе с Воловым отметил наличие в его разработке новых приемов и способов боевых действий, эффективность смелого выдвижения огневых средств, правильность выбора направления главного удара, времени его нанесения, предлагаемых способов скрытности подготовки, отсутствие шаблонных решений и наличие проницательной расшифровки контрдействий противника.

После того как было получено не только одобрение из штаба фронта, но Волового информировали о том, что уже скрытно продвигаются к его участку мощные средства приданных ему частей и боевой техники усиления, после всего этого Воловой впервые в жизни был счастлив чувствовать себя полководцем и, осуществляя свой замысел, свершить операцию, достойную полководца. И это ощущение своего военного счастья было дополнено, как ему казалось, тем еще, что ему передали слова, сказанные о нем маршалом:

— Воловой проявил умение спланировать достаточную силу, но не бóльшую, чем нужно для победы, а это и есть высокий уровень полководческой зрелости.

Воловому сообщили также о том, что уже заготовлены приказы о его назначении командующим корпусом и о присвоении ему звания генерал-лейтенанта.

Что касается состояния боевого духа его дивизии, то

после большого награждения за предыдущий бой, а затем после долгого пребывания в жесткой обороне войска рвались к активным действиям, а тут еще прибыла делегация героических тружеников тыла и создала, как выразился начальник политотдела дивизии полковник Петр Петрович Петров, бывший долговременный секретарь партийного комитета уральского металлургического завода, обстановку полного морально-политического воодушевления.

А выражалось это в том, что ни младшим, ни старшим командирам уже нечего было проверять в своих подразделениях, все находилось в полной боевой готовности, и люди с суровой, отрешенной озабоченностью писали домой письма, исполненные дотошных наставлений, советов, твердых обещаний вернуться в целости и живых уверений в том, что фашист теперь пуганый и так ночного боя страшится, что на нашем переднем крае от его осветительных средств можно даже газету свободно читать. Но дома-то знали: чем уклончивее писались эти письма, тем, значит, большая опасность нависала над жизнями писавших.

Именно в капун боя обычно на полевую почту круглосуточно доставлялись огромные мешки, туго набитые солдатскими посланиями, и уже по одному этому можно было судить о готовности подразделений и частей перейти в наступление, хотя подготовка к нему велась со строжайшим соблюдением всех мер по охране ее скрытности и тайны замысла.

Поскольку медчасть уже развернула свое хозяйство для приема будущих раненых, а до намеченного времени наступления оставалось еще несколько суток, две обширные палатки санчасти были отведены для устройства в них банкета в честь прибывшей делегации тружеников тыла.

Обильное угощение состояло из специально выделенного для этого пищевого рациона, положенного бойцам переднего края, и особо щедрого — из ненормированного трофейного фонда всяческих европейских изысканных кулинарных консервных изделий и всемирно известных вин, которые украшали стол красивыми бутылками с живописными этикетками, но оценивались они как напитки, годные лишь для утоления жажды после принятия положенной «наркомовской нормы».

И тогда генерал Воловой, подняв прочный граненый стакан, вмещавший двести граммов, но заполненный, как у всех, до строго предопределенного армейского уровня — лишь до половины, — произнес торжественно:

— Первый наш солдатский тост за вас, наши трудовые

герои, за ваш доблестный труд, за наше социалистическое отечество!

Выпив, понюхал согнутый в суставе, поднесенный к носу указательный палец, улыбнулся, крикнул и, обернувшись к пожилому рабочему, поперхнувшись от скудно разведенного водой спирта, осведомился добродушно:

— Отвык?

Тот ответил смущенно:

— Как жену в бомбежку потерял, дал себе зарок не пить до нашей полной победы, а здесь позволил принять только из нашего к вам уважения. — И добавил, бодрясь: — За вашу доблестную дивизию, товарищ генерал! — и чокнулся объемной алюминиевой кружкой.

— До дна! — гулко предложил генерал, подмигнув и, не удерживаясь от охватившего его сладостного предвкушения в самое ближайшее время полностью подготовленного нанесения мощного, неотвратимого, карающего удара по противнику частями его дивизии, произнес озорно, весело и самоуверенно: — За наших гвардейцев фронта и тыла — ура! — И перекрыл все голоса своим богатырским, всесотрясающе гулким командирским голосом.

Тут к нему подошел адъютант, почтительно склонился над багрово вспухшим от испытываемых душевных волнений генеральским ухом и что-то доложил шепотом. Генерал мгновенно окаменел лицом, упрекнул адъютанта так же шепотом:

— Что же ты их сюда не пригласил, хотя бы от имени прибывшей делегации! — И, надев головной убор и проверив ребром ладони, как сидит на голове фуражка, поспешно вышел.

Возле броневика его ожидал командарм и, вместо того чтобы выслушать, как положено по форме, доклад генерала, крепко пожал ему руку, жестом пригласил в машину и, уклоняясь от выслушивания объяснений Волового, почему тот не в войсках, а на банкете, произнес каким-то странным для командарма виновато-застенчивым тоном:

— Василий Степанович, должен вас огорчить. Получен приказ без промедления ввести в распоряжение вашей дивизии части из резерва, а вашу дивизию целиком назначено перебросить в распоряжение командования соседней армии, возможно, для усиления частей, задействованных в боях с окруженным противником, чтобы принять участие в завершении операции. — И уже сухо добавил: — К передвижению войск уже приступлено. Так что рекомендую вам, чтобы не терять времени в штабной машине, заняться

всем тем, что необходимо для осуществления ускоренного марша вашей дивизии к назначенному вам рубежу. — Нашарил в темноте холодную руку Волового, пожал ее, произнес сочувственно: — Как командир командира, я понимаю, что вы сейчас, Василий Степанович, переживаете. Наступление на бывшем вашем участке приказано отставить, боевые действия будут носить характер лишь сковывания противника на этом плацдарме. Так что ваш план столь отлично разработанной наступательной операции — теперь лишь документ, достойный быть отнесенным к высоким образцам военного искусства.

— Выходит, — тихо сказал Воловой, — моя боевая, прославленная гвардейская дивизия теперь, после победы, одержанной другими, должна выступить вслед за разгромленным противником, как подметала!

— Я бы рекомендовал вам, генерал-майор Воловой, воздержаться от подобных оценок полученного свыше приказа, — жестко заметил командарм.

Воловой осунулся, тугие щеки его старчески обвисли, он молча облизывал сохнувшие губы, тяжело дышал. Но когда подъехали к свертываемому для передислокации штабу дивизии, Воловой набрался сил, первым вышел из броневика и, стоя на ослабевших ногах, почтительно придерживая дверцу броневика, пока из него выходил командарм, поднес руку к козырьку фуражки, нечетко произнес:

— Товарищ командарм! Части вверенной мне дивизии выполняют свой долг согласно полученному приказу! Разрешите приступить к выполнению!

Командарм со своей стороны, как положено при этом, ответно его приветствовал и пожелал боевых успехов. Затем обнял Волового, сказал горько и сокрушенно:

— По существу, мог бы своему начштаба поручить, но решил сам. Ты только за свою дивизию переживаешь, а я за все наше соединение. Вместо операции прорыва фронта — нам только висеть на противнике, не допускать отхода его войск, сторожить и удерживать ограниченными боевыми действиями. Вот и вся задача. — Вытер платком лоб, вздохнул. — Мог бы тоже поплакать: мол, обобрали мою армию, войскам снова в землю зарываться в жесткую оборону. Ну, как говорится, ни пуха ни пера!

И на этом они расстались.

Ночь была сырая, темная, и в этом мраке свершалось передвижение войск: одни части занимали расположения дивизии Волового, а сама дивизия Волового, спешно погру-

жившись на машины, по раскисшим в непогоде проселкам кропимая частым и мелким дождем, длинно растянувшейся транспортной колонной продвигалась во мраке, как в туннеле, которому, казалось, не было предела.

Уже к этому периоду войны наши войска мощно и сильно обросли всевозможной боевой техникой, и передвижение крупных соединений, частей и даже подразделений осуществлялось больше на колесах, гусеницах и даже в самолетах военно-транспортной авиации, чем прежде — в пешем строю.

Инженерные войска и освобожденное от оккупантов население с воодушевлением сооружали прочные, хорошо оборудованные дорожные магистрали, прямо устремленные на запад.

Военные действия с нашей стороны совершались стремительными передвижениями гигантских воинских объединений на огромном пространстве; что же касается дорог, идущих вдоль линии фронта, то тут дело обстояло хуже. И только в том случае, если наши войска по оперативно-тактическим соображениям ставились в жесткую оборону, в то время как на других направлениях велись наступательные сражения, проселки постепенно на таких участках между обороняющимися частями обретали подобие военных рокадных дорог, обычно пустующих.

Приказ о внезапной переброске дивизии генерала Волового в район действий другой армии по необустроенным рокадным дорогам, или, точнее говоря, по бездорожью, где почти каждый километр пути надо было одолевать с помощью тракторов, тягачей и просто на руках выталкивать машины из наполненных талой водой дорожных выбоин, — приказ этот приходилось выполнять в условиях, когда среди личного состава частей и подразделений эта переброска в самый канун полностью подготовленной для боя на яростный прорыв дивизии вызывала обиженное недоумение: зачем было оставлять хорошо оборудованные позиции, превращаться из дивизии, находящейся в состоянии полной боеготовности, в растянутую вдоль фронта, медленно пробирающуюся по бездорожью транспортную колонну?

Но поскольку передвижение должно было совершаться скрытно и цель его сохраняться в тайне, командный и политический состав дивизии был лишен права разъяснять личному составу причину смены участка фронта и переброски дивизии ускоренным маршем, который получался вовсе не ускоренным. И хотя душевное состояние самого генерала Волового было более чем удрученным, он хорошо

понимал, что его дивизии, отлично подготовленной для прорыва фронта противника, дивизии, давно находившейся в состоянии высокой боеготовности, имевшей явную возможность блистательно отличиться в наступательном бою, — теперь, после изнурительного марша, как говорится, придется действовать лишь «на подхвате» частей и соединений, одержавших большую победу и охвативших крупную группировку потрепанного противника в окружение, ведущих бой на уничтожение или на капитуляцию противника. Дивизии же Волового отведут, пожалуй, самый маловыгодный для решающих действий участок, и ее миссия будет ограничена, как горько и иронично сказал Воловой своему начштабу, «лишь тем, чтобы толкать противника обратно в «котел» и на волю не выпускать... Словом, стать вроде как сторожевым охранением...»

И Воловой словно нарочно растравлял горечь своих переживаний, так для себя унижительно снижая боевое тактическое значение полученного его дивизией приказа.

В сущности, он хорошо понимал, что захват в окружение крупной группировки противника — это большая победа наших войск, а образование кочующего котла и сдерживание его в кольце уставшими войсками требует для полного успешного завершения операции высокого мужества, солдатской безмерной выносливости и не менее высокой командирской воли и сообразительности в условиях, когда мощная и обильная боевая техника не может быть использована, ибо если пехота вязнет в этой расквашенной оттепели, сильно пересеченной местности, то пока погода не изменится, земля не подсохнет — и тяжелой технике не добраться к участку, отведенному его дивизии. Значит, предстоит вести отчаянные бои при значительном перевесе огневых и подвижных средств противника, выдвижение своих частей придется осуществлять в рассредоточенных построениях при низкой тактической плотности 0,5—0,7 батальона на один километр фронта.

Словом, частям и подразделениям его дивизии предстоит свершить безмерный по своей тягости, трудности, изнурению подвиг самой высокой человеческой выносливости: вступать после гигантских огневых обвалов снарядами со стороны противника, ищущего щели в окружении и сосредоточивающего на такой щели всю свою стиснутую окружением массу огневых и подвижных средств, — вступать с ним, вылезая из наспех сооруженных траншей, в самый страшный, самый свирепый, лицом к лицу ближний бой, спустя годы отнесенный военными историками

лишь к первому периоду войны, где побеждают и управляют исходом этого ближнего боя только одержимость и самозабвенность каждого бойца.

И получалось так, что его хорошо обученной, мощно оснащенной современными боевыми средствами дивизии предстоит вернуться как бы вспять, в те начальные времена военных битв и сражений, когда воин сражался с воином грудь в грудь — врукопашную. Вместе с тем придется сражаться с противником, который собрал в кучу все самые современные мощные средства боевой техники, с противником, загнанным в «котел», и, значит, каждый метр занимаемого им пространства будет густо начинен тяжелыми средствами поражения.

Третьему батальону, в значительной мере состоящему из пополненцев, был отведен рубеж во втором эшелоне с таким расчетом отдаленности от переднего края, чтобы противник не мог одновременно всеми огневыми средствами воздействовать на всю глубину занимаемых батальонами позиций.

В основном это была молодежь, недавно достигшая призывного возраста, еще ни разу не участвовавшая в боевых действиях и, значит, без фронтовой закалки, хотя при совершении тяжелого, изнурительного марша среди них не оказалось ни одного отставшего. Выглядели они все сейчас так, словно перенесли тяжелую болезнь, но при этом каждый из них считал себя вполне исцеленным.

Земляные работы по созданию и закреплению позиции они выполнили почти одновременно с солдатами первого и второго батальонов, но при этом настолько изнемогли, что, когда раздалась команда к приему пищи, они не смогли выбраться из выкопанных ими же траншей в полный профиль и, сидя на дне их, еще долго набирались сил, чтобы одолеть отвесные стены.

Командира полка, срочно «налегке» переброшенного на этот рубеж с отставшими не только службами снабжения, но и механизированными подразделениями штатного и приданного огневого обеспечения, подполковника Константина Георгиевича Орехова многие военачальники и представители высших штабов считали вполне сложившимся кадровым командиром, но ничем иным не выделявшимся. Всегда, при всех обстоятельствах Орехов без всяких, казалось, для него усилий сохранял положенную офицеру молодцеватую, статную выправку, неотступно придержи-

вался принятых форм обращения, вполне обладал способностью четко, кратко доложить обстановку, как бы противоречиво она ни складывалась при многих неизвестных, и при этом не только не уклонялся от высказывания весьма для себя рискованной оценки, но и объяснял, что считает это своей обязанностью и даже долгом. И если оценка его или предложение отклонялись старшим военачальником, он невозмутимо выслушивал возражения и на вопрос: «Товарищ полковник, теперь вам все ясно?!» — приняв стойку «смирно», с достоинством, четко произносил: «Ваше приказание, товарищ командующий, будет полностью выполнено!»

Но если по ходу выполнения боевого приказа выяснялось, что некоторые предложения Орехова оказывались более целесообразными, чем предложения отдавшего приказ старшего военачальника, Орехов решительно уклонялся от того, чтобы потом даже в дружеской, даже в задушевной беседе с таким военачальником выходить за пределы принятых по службе и занимаемой должности взаимоотношений. И вовсе не потому, что не решался этим испортить отношение к себе старшего командира, а потому, что твердо считал: если приказ отдан, то долг исполняющего приказ прежде всего заключается в том, чтобы самому, в пределах положенной ему власти и отведенного плацдарма для боевых действий, найти способы, методы, средства — даже и при своем собственном несогласии с отдельными положениями, содержащимися в приказе, — достигнуть с помощью доверенных ему подразделений решающего успеха на указанном направлении и овладеть назначенным рубежом точно в указанное время.

До войны армейскую службу он исполнял в должности политработника, имел опыт и увлеченную склонность к партийной работе и по своему характеру, по образованию и подготовке был неоднократно избран сначала секретарем комитета комсомола на строительстве медеплавильного завода в Средней Азии, а затем уже членом бюро горкома партии в городе, выросшем в пустыне одновременно с медеплавильным заводом.

В первый же месяц войны в связи с большими потерями офицерского состава он получил назначение командовать батальоном, полком, будучи только еще в звании старшего политрука. И если ему удалось почти от самой границы вывести с боями свою воинскую часть, прорвать окружение и влиться в состав дивизии генерала Волового со всей полагающейся по штату боевой техникой, то только благо-

даря суровой дисциплине: за паническое слабодушие он карал по законам военного времени.

В свои двадцать семь лет он выглядел уже прожившим долгую жизнь, имел волосы цвета полыни, глубокие поперечные морщины на впавших щеках, был сух, жилист, собран, сосредоточен и скуп на каждое произносимое им слово.

Он предъявлял к себе жестокое требование: командир отвечает за всех и каждого сам, один.

По завершении боевых действий подразделений, даже если потери были незначительны, а успех полный, потом на совещании командного состава по детальному анализу хода боя, указывая на те или иные упущения и не в полной мере использованные возможности, он докладывал об этом с невозмутимым спокойствием, строго логически обосновывая свои выводы. Но при этом его никогда не покидало мучительное ощущение того, что он человек, как бы дающий показания на суде, сознающий свою вину, однако обязанный ограничиваться лишь свидетельскими показаниями, из которых очевидна неотвратимость возмездия к единственному преступнику — противнику. Как командир, он понимал неизбежность потерь, ибо бой — это обоюдная вооруженная борьба, исход которой оценивается соотношением потерь при достижении поставленной цели. Но он не мог освободить свое сознание от того, что каждый солдат, офицер — это неповторимая и единственная человеческая личность, которой всем содержанием нашей жизни было назначено создавать иной мир, вырастить иную человеческую личность, строить иную человеческую цивилизацию. И потому он остро ощущал невосполнимость каждой потери советского человека, столь высоко явившего себя в этом, пусть даже успешном, бою. И, одолевая в себе это неодолимое чувство горести потери каждого человека, он сухо и четко докладывал на разборе о ходе боевой операции, а самые высокие проявления героического духа сражавшихся он оценивал лишь как правильное, грамотное поведение в бою. Твердо считал, что нет таких самых высоких слов, какие могли бы справедливо соответствовать свершенным подвигам. Поэтому о нем среди старших военачальников существовало твердое мнение как о надежном, волевом, перспективном командире, обладающем всеми необходимыми военно-профессиональными знаниями. Но для дальнейшего продвижения по службе ему следовало пройти через работу в штабе, конечно, с соответствующим повышением в звании, от чего он решительно

уклонился, с молодецкой откровенностью заявив, что, командуя лучшим полком дивизии, он предпочитает собрать себе на грудь полный комплект орденов, нежели, сидя в штабе, получить даже генеральские погоны.

Такие суждения Орехова о приобретении генеральского звания, конечно, генералам не нравились. Но полк Орехова был действительно лучшим в дивизии. При всей неустанной и неиссякаемой озабоченности многосложными обязанностями командира Орехов с особым вниманием относился к деятельности своих политработников и пользовался любой возможностью, как бы предаваясь воспоминаниям о своем личном опыте, с воодушевлением поговорить о высоком и даже решающем значении для боя воспитательной политработы в армии.

В основе боя — духовное состояние людей, и на какой бы стороне ни было материальное преимущество огневого воздействия, побеждает та сторона, которая способна сохранить волю к победе хотя бы на самое краткое время дольше, чем противник. Вот почему, как бы дальновидно ни был спланирован бой, хорошо организованы все средства его ведения, как бы точно ни осуществлялось управление боем, в самом его ходе всегда возникают критические моменты, которые становятся решающими. Эти моменты складываются из отважных действий группы воинов, которые смогли одолеть и прорвать расположение противника там, где он обладает преимуществом по местности, или в инженерных оборонительных сооружениях, или в огневых средствах. И именно это преимущество противника в данной точке его расположения и вызывало людей на отчаянный мстительный подвиг, чтобы именно здесь подавить врага, совершающего убийство с удобной и прочно оборудованной своей позиции. И если по логике боя следовало именно здесь обойти врага с флангов, то по яростному подъему воинского духа именно здесь и надо нанести ему свое возмездие.

Так возникали неожиданные для командира, управляющего ходом боя, очаги прорывов там, где противник был сильнее, и именно эти мгновения подвига немногих становились исходными для всеобщего атакующего воодушевления, так же как незабываемая стойкость одного подразделения или даже одного огневого расчета вызывала при прорыве противника стойкость всех остальных пошатнувшихся было подразделений и огневых расчетов. И именно к таким людям после боя шел комполка Орехов и совсем не по-командирски благодарил их за высокую отвагу, пожи-

мая руки и коротко выпрашивая не о том, как они сумели осилить противника и проявить такую храбрость, а кто они, эти люди.

В первые дни войны человеческие решения складывались из простых, но несомненно священных слагаемых. Если человек бережется в бою, значит, за спиной у него нет ничего такого, что ему дороже своей собственной жизни. И потеря таких не вызывала ни жалости, ни скорби. Сражающиеся чуждались таких, лишали их своего заботливого защитного товарищества, а без такой защитной товарищеской заботы он, как бы скорчившись, затаивался в одиночестве в первом попавшемся углублении на поле боя, и смерть скорее настигала его, такого покорного, чем непокорного и яростного в бою. Каждый сражался за себя и за ту пядь земли, на которой он стоял, из которых состояла вся земля Отчизны и куски которой он не давал отрывать врагу, пока жив.

И убеждать такого солдата в том, что он должен стойко сражаться в этих условиях, было подобно тому, как уговаривать человека рискнуть войти в горящий дом, где остались его отец, мать, жена, дети. В этих условиях солдаты нуждались в том, чтобы их учили как можно успешнее наносить контрудары по наступающему врагу, совершившему неискупимые преступления, и с ним бились так, как бьется за свою жизнь человек с напавшим на него отъявленным убийцей.

Но с ходом войны соотношение борющихся сил изменилось, как изменились и способы, приемы боя, воинское мастерство, искусство ведения боя, и каждый бой обрел определенное значение и содержание целостного логического замысла сражения, из которых и слагалось то, что в своей великой совокупности приближало неотвратимость часа победы, полного разгрома врага. И вместе с тем, как и в начальный период войны, оставалось основой успеха боя духовное состояние людей, его ведущих.

Орехов установил правило: особо отличившиеся солдаты должны принимать участие в совещаниях при разборе минувшего боя, и после общей оценки им первым он предоставлял слово, что и воспринималось ими как награда, предшествующая заслуженному, положенному за подвиг награждению. Первое, что Орехов обнаружил в подразделении по отношению к особо отличившимся в бою, — была особая солдатская, заботливая, уважительная к ним почтительность, высказываемая в самых различных фор-

мах и проявляемая самыми различными способами и средствами.

— Вот глядите, товарищ подполковник, наш Ерошников на первый взгляд мелюзга,— взял слово командир отделения, кивая на молодого, застенчиво улыбающегося солдата,— но где у него главная пружина запрятана? — И, прикасаясь к нагрудному карману гимнастерки, пояснил: — Во! Все письма из дома при себе носит. А кто ему пишет? Соседка со слов матери. Мать заявляет, что все у нее хорошо. И в тепле живет, и сытно. Так что пусть воюет, но, конечно, осторожно, спокойно, и о ней не тревожится. А соседка от себя сообщает другую, совсем иную картину, что во время дежурства на крыше его мамаша, сбрасывая фашистские зажигалки, сильно опалилась. И хотя после больницы выписалась выздоровевшая, работать уже на ткацкой фабрике не может по слабости здоровья. Портрет его матери теперь решено навечно оставить на фабричной Доске почета — за то, что если бы она не скинула те зажигалки с крыши фабричного склада, все тюки хлопка сгорели бы и поставка на фронт была бы нарушена. Сейчас его матери предоставили пост сторожихи, хотя у нее повреждено зрение, но даже у самых вороватых совести не хватает мимо нее что-нибудь с фабрики пронести. Хотя по малости иногда из-за нужды обрезки, куски бязевой ткани таскали, а сейчас почти совсем такой унос прекратился. Только из одного уважения к его родительнице! Какая она, эта его соседка — блондинка, брюнетка — и чего она ему еще пишет, он не сообщает нам. Но вот о матери своей все нам докладывал и очень ею гордился. Он у меня в ручные пулеметчики просился, но я его не считал подходящим. Тощий, малорослый, мелким его для такого оружия считал. А вот когда в этом бою фашист наших обоих — и первого, и второго номера — срезал, он коробки с дисками на себя навесил, пулемет в руки — и пополз, все равно как ящерица. Дополз к их расположению и сам за первого и второго номера с короткой дистанции все диски по фрицам израсходовал. Прочистил проход всему нашему отделению. Ну, мы, понятно, «ура» и вперед без перебежек с залеганием. Две траншеи с ходу и проскочили.

Ерошников произнес робко:

— Я ведь давно к ручному пулемету присматривался. После боя все навязывался канал ствола прочистить, разборку, смазку произвести. Без этого бы разве получилось?

— А вы матери о бое написали? — спросил Орехов.

— Никак нет.

— Это почему же?

— Так ведь если про такое писать, она станет беспокоиться, думать, что меня свалить могли, хоть я и живой. Я у нее единственный остался. Отца-то уже нет. С сорок второго.

— Чего же ты тогда не берегся, в самое пекло самостоятельно полез без приказа? — упрекнул отделенный.

— А я не по приказу воюю, — вдруг сердито огрызнулся Ерошников. — А потому что надо.

— Выходит, правильный ты своей матери сын, — одобрил отделенный.

— У меня отец пэтээрщиком был — стрелял по танку до тех пор, пока он на него не наехал. Наш танк «КВ» пленный оказался, а его лобовую наше ПТР не берет.

— За отца ты их сегодня и настрелял кучу, — сказал отделенный.

— Их всех не хватит, чтобы за моего отца мне ответить, — блеснул глазами Ерошников.

— Значит, ты об отце и матери думал, когда ручной пулемет ухватил? — спросил Орехов.

— Ничего я не думал, — сказал Ерошников, опуская глаза. — Вижу — по нашим настильно бьют, а станковый пулеметный наш расчет наповал раскинулся. Ну, взял ручной и понес, чтобы сблизил ударить.

— И не боялся?

— Как не боялся! Боялся! Нажму спусковой, — а вдруг диск пустой, патроны все расстреляны? Перезарядить-то сразу запасными из коробки не продумал.

— Я спрашиваю: в бою что больше всего боязно было?

— Все боязно. И до боя, когда думаешь — вот-вот команда из траншеи наружу под огонь вылезать и перебежки делать. Думаешь, человек споткнулся, а это его наповал. И становишься как чумовой: раз вы так, то уж и я вам — так. Вроде как соображение теряешь.

— Соображение-то он в бою не терял, — твердо объявил отделенный. — Это он так бойцовскую ярость называет. Верно, зайдешься в бою — и тогда ты сам себе нипочем. Вот Шишмарева вы знаете, его из траншеи выталкивать приходится, на брюхе главным образом передвигается. Бережется. И понятно — семейство большое, и все малыши, а как вот рядом начнут бойцы падать, он в рост. Распахнет пасть, орет ну самое ругательное. И если до ближнего боя доходит, он ребром саперной лопатки, как топором, сечет. А вообще человек смирный и даже стеснительный. Повесил портянки на проволочное ограждение сушить, а их из

миномета в тряпье. А тут команда «в ружье». Он в сапоги голыми ногами полез. И стер ноги. А ноги для солдата — все. Ну скажи мне, разве я замену по такому случаю не выдал? Выдал беспрекословно. Хотя такая утрата казенного имущества и не совсем уважительная — под пули вывешивать. Я его в санбат выдворяю, а он ни в какую. Стесняется санбата, мол, не по ранению, а по случаю личного упущения. А ведь, по существу, это же шанс — хоть временно, на несколько дней, а обеспечить себе жизнь. Не захотел. Вот вам и детный, семейный! Но солдат с характером. — Старшина поправил сползшую на затылок пилотку, с гордостью заявил: — Таких, как Ерошников и Шишмарев, считаю в своем отделении правофланговыми, по ним равнение должно быть, пусть у Ерошникова хилое телосложение и ростом не вышел, а Шишмарев, хоть мы его за силу кубиком зовем, в плечах широта, а вот длина в нем подростковая: гимнастерка высшего размера, подол же до колен, а концы от полугалифе обрезать ему приходится. Но при всем этом равнение на них, и даже для всего взвода. — Подумал, добавил: — А может, и для всей роты.

— Но вы-то сами — два ордена Славы, и две медали «За отвагу», и нашивок комплект, — кивнув на грудь старшины, отметил Орехов.

— Я что! — произнес равнодушно старшина. — Я уж давно обвоевался — с сорок первого, а эти с недавнего пополнения, но вот вполне!

— Ты что же, добровольцем пошел? — спросил Орехов Ерошникова, полагая, что тот еще не достиг призывного возраста.

— Никак нет, — с достоинством произнес Ерошников, — у нас никого с завода добровольцами не отпускают, особенно тех, кто с квалификацией. Дисциплина. На оборону работали.

— И сколько ты на заводе работал?

— Сколько? Ясно, с начала войны. Отец ушел, ну, я вместе с матерью, как ее подручный, в литейном на формовке, а потом уже горновым. Если б похоронка на отца не пришла, меня бы от брони не освободили. С ней в руках по всем инстанциям ходил жаловаться, но разве там люди? Нельзя — и все.

— Как же тебя все-таки отпустили?

— Меня комитет комсомола защитил — мол, имеет он право, и точка. Зачислили мою фамилию во фронтовую бригаду, взяли обязательство по случаю моего отсутствия сверх нормы при неполном составе бригады металл давать.

Это уже давно на заводах обычай такой установлен. Вы что, не знаете?

Хотя Орехова и коробила такая независимая, свободная манера обращения молодого солдата к командиру полка, вместе с тем в ней было нечто новое и даже, пожалуй, обнадеживающее своей неподдельной искренностью, без тени желания угодить комполка, пользуясь обычным набором стереотипных бравых фраз, которыми опытные фронтовики пользовались, отвечая на бодрящие вопросы военачальников при посещении ими передовой.

И среди новых молодых пополненцев было немало таких, которые, подобно Ерошникову, уже вжились в беды, горести и тяготы войны, и переход их в армейскую фронтую жизнь казался им столь же естественным, как простая и ясная необходимость для подростка взять на себя заботы отца или старшего брата, ушедших на фронт. И многим из таких пополненцев, еще не участвовавших в боях, получившим новенькое обмундирование, новенькое снаряжение, обильное, сытное трехразовое питание после скудного — дома и тяжелого напряженного труда без выходных, занятия по боевой подготовке казались странным и незаслуженным отдыхом, а краткие зажигательные речи политработников они выслушивали даже с некоторым недоумением, даже с некоторой обидой — зачем это их нужно убеждать в том, что составляло само естество их жизни! И, заметив это, Орехов осторожно, тактично попросил обратить внимание замполита на то, что следовало бы несколько разнообразить тематику политбесед с новыми пополненцами с учетом различия между той молодежью, которая пришла с предприятий, фабрик, заводов, колхозов, преисполненная своей трудовой гордостью и, значит, своим заочным соучастием в победах, одержанных армией, и теми, кто вступил в ряды армии из недавно освобожденных районов. Именно этот контингент пополненцев, с одной стороны, вызывал глубокое сострадание ко всему ими пережитому в период оккупации и даже чувство своей вины перед ними, но с другой стороны — и беспокойство, как бы эти ужасы пережитого в оккупации не погасили в некоторых из них чувства достоинства советского человека.

Командный, старший и младший, состав полка, который возглавлял Орехов, по сравнению с довоенным кадровым обогатился не только опытом современной войны, организацией взаимодействия и управления боем, новой мощной техникой, но, что особенно ценил Орехов, крутой перелом в ходе войны не вызвал у большинства командиров

опасной самоуверенности, будто противник, понеся такие огромные потери и поражения, теперь настолько ослаблен, что открылась возможность достигнуть быстрого успеха лишь решительными наступательными действиями, хотя по прежней памяти оборонительный бой еще воспринимался как вынужденный перед превосходящими силами противника. Но то, что, даже располагая превосходством над врагом, оборонительные бои использовались как способ стягивания на себя сил противника, изматывания его в этих боях, с тем чтобы скрытно сосредоточить войска для нанесения решающих ударов по определенному, тщательно изученному направлению полосы прорыва, — это уже было плодом военного искусства, результатом неустанного, целенаправленного обучения — тяжелого, изнурительного, непреклонно строгого и требовательного. Это в совокупности и было самым надежным обеспечением высокой боеспособности войск. Но при всем этом, достигая боевого успеха, каким бы он ни был значительным, Орехов стремился сводить к минимуму оправданные потери в живой силе. Хотя чем значительнее были оперативные или тактические результаты победного боя, тем, естественно, противник нес больше потерь в живой силе и технике. Но как бы ни свидетельствовало соотношение таких потерь о возросшей нашей боевой мощи, Орехов, докладывая об успехах и достижении поставленной перед его полком боевой задачи, упорно говорил на военных совещаниях о не использованных полностью возможностях для избежания неоправданных потерь.

Часто неоправданные потери, по его наблюдениям, возникали тогда, когда на том или ином участке утрачивалось продуманное энергичное наступление по предварительно тщательно изученной местности и огневые действия обретали суетный, беспорядочный характер, что и вызывало эти потери. Причины их были самыми различными, как он выяснял, расспрашивая бойцов или даже тех раненых, которые были доставлены в санбат. Но расспрашивал он их не прямо о ходе боевых действий, а главным образом интересовался самочувствием, есть ли претензии, какие и кого тяготят заботы о доме, семье, не обошли ли кого-нибудь из них соответствующими поощрениями или даже наградами, нет ли каких-либо обид.

Конечно, комполка не мог рассчитывать на полную откровенность бойцов, не желающих преодолеть ту дистанцию, которая существовала между его званием и званием рядового, но постепенно, осторожно он все же достиг кое-

какого доверия и хотя неполной, но все-таки откровенности. И получалось в начале беседы, хотя, казалось, это были и мелочи, поскольку подразделение находилось под огненным воздействием противника, а ходы сообщения не были достаточно углублены, что длительное время они были лишены доставки писем со стороны полевой почты. Нескольким солдат, вернувшимся после госпиталя, никак не могли достать себе соответствующие ранениям нашивки на гимнастерку, что свидетельствовало бы об их фронтовом достоинстве перед пополненцами. Просили достать бруски, для того чтобы отточить затупившиеся на твердом грунте лопаты. Однако за всем этим скрывалось на самом деле то, что командир взвода, недавно прибывший из училища, подняв подразделение в контратаку, опередив солдат, бежал вперед в полный рост, подавая им пример героизма, и солдаты, естественно, последовали за своим командиром, но фашистские автоматчики сосредоточили свой огонь против атакующих в рост советских солдат. И хотя тех фашистов можно было запросто накрыть минометами, этого делать было уже нельзя, так как раненый комвзвода, размахивая ТТ, продолжал вести подразделение на сближение с противником, и когда комвзвода упал, вторично раненый, солдаты вели уже бой не с целью овладения первой оборонительной полосой противника, а за то, чтобы спасти своего тяжело раненого храброго комвзвода. И вели за него бой доблестно на ровной местности, которую следовало бы быстрым броском миновать врассыпную бегом, сохраняя для этого с самого начала свои силы, чтобы, осторожно, по-пластунски, на брюхе передвигаясь по опасному и удобному для прицельного огня противника участку, затем сразу рывком его миновать.

Но узнал Орехов об этом от обратного. По чрезмерно восхищенным отзывам солдат о бесстрашном героизме своего командира, который в канун атаки вдохновлял бойцов пламенной речью, убеждая солдат в том, что фашист теперь, битый в знаменитых, победно одержанных нашими войсками сражениях, уже совсем не тот, каким он был; что кончилась та пора, когда фашисты в расстегнутых кителях с засученными рукавами при своем передвижении в рост накрывали каждую пядь земли плотным огнем из автоматов, — теперь наступил наш черед показать ему «кузькину мать».

И Орехов понял, что, конечно, за правдивыми сетованиями бойцов на недостатки в обслуживании их на передовой, о которых они высказывались командиру части, с одной

стороны, было желание, чтобы тот принял меры к их устранению, но главным было желание оправдать действия своего командира перед старшим военачальником, желание взять как бы его вину на себя за то, что не достигли они назначенного им рубежа атаки, ссылаясь осторожно при этом на плохое настроение от недостаточного обслуживания передовой подразделениями тылового обеспечения.

В этом было и хорошее, потому что, в сущности, скрывали от комполка неправильные действия своего взводного, в спасении которого они проявили истинный героизм, и одновременно — плохое, потому что в своем нетерпении наступать недостаточно выполнили работу по сооружению надежных ходов сообщения, полагая, что их оборонительные здесь позиции временные и нечего зря тратить силы на рытье ходов, которыми им не пользоваться. Естественно, что по недостаточно углубленным ходам сообщения передвигаться военным служащим, обслуживающим подразделение, было опасно, и те под разными предлогами избегали излишнего для себя риска.

Вся сложность была в том, что в своих выступлениях агитаторы нацеливались на вдохновение бойцов примерами исключительного героизма, совершенного в первый период войны, или недавнего. И действительно, такие примеры вдохновляли. Но вот убеждать грамотно, продуманно, с полным воинским обучением, мастерски вести не только боевые действия, но и все, что связано с их подготовкой, — это возлагалось на командный состав. И бойцы с воодушевлением выслушивали выступления агитаторов. А что касалось другого, то это относилось к повседневной работе командиров со своим личным составом по его обучению согласно уставам и инструкциям.

И вот Орехов, поделившись своими размышлениями с замполитом Ефимовым, решился на эксперимент: поручить особо отличившимся в бою солдатам выступать не только перед бойцами своего подразделения, но и перед бойцами других подразделений, и после того, как политрук в соответствующих высоких словах охарактеризует совершенный ими подвиг, дать возможность солдату рассказать не только о том, что он совершил своим подвигом, но и как он при этом во всех подробностях действовал. И, отвечая на вопросы других солдат, обосновывал бы принятые им решения действовать так, а не иначе для достижения успеха.

Собственно, это было простым заимствованием из жиз-

ни производственных предприятий, где передовики именно так делились своими успехами, передовым опытом.

Бой есть бой. И в нем мгновенно вспыхнувший, самозабвенный героизм немногих может оказать окрыляющее влияние на решительные действия всех.

Но получалось часто так, что особо отличившийся боец, смущаясь оказанной ему честью, по скромности или по недостаточному умению владеть словом уныло докладывал — именно докладывал о своих действиях, ссылаясь при этом на устав, будто отвечая старшему на занятиях, как положено действовать при подобно сложившихся условиях боя. И пафос совершенного им подвига как бы растворялся в известных бойцам наставлениях. Но когда Орехов предложил таким особо отличившимся бойцам сначала просто рассказать о себе, о себе довоенном, и затем уже о военном, о своем семействе, о том, какими сведениями он о своей семье располагает, а затем уже приступить к рассказу о своем подвиге, сразу создавалось иное впечатление. Потому что когда не просто герой-солдат, а человек-герой выступал перед солдатами и делился с ними воспоминаниями о прожитой мирной жизни, о судьбе своих близких, обо всем, что так волновало его, беспокоило, — это волнение и беспокойство, не высказанное каждым, но общее для всех, охватывало слушателей, и уже тогда внимательно слушали доклад чисто солдатский — почему он пропустил, распластавшись на земле, танк, замирая при этом от страха быть им расплюснутым, но все-таки затем поднялся и побежал вслед, метнул в корму гранату или бутылку с зажигательной смесью. С одной стороны, когда смерть от танка его миновала, стал терзаться совестью, а с другой, памятуя, что корма танка — самая уязвимая его часть, метнул гранату, уже не опасаясь, что лобовой, приметив его в триплекс, ударит из пулемета или свернет в его сторону, чтобы раздавить. И получается: надо набраться духу, чтобы, не потеряв выдержки, вылежаться, не мечась перед танком, чтобы потом с удобной и более безопасной для себя позиции поджечь машину. А если б он, допустим, такого не сделал, так сколько бы этот танк нанес потерь. И хотя никто не подчеркивал, что он уцелел, пропуская мимо себя танк, — как бы после этого он мог жить спокойно, получая из дома письма, которые начинаются словами: «Дорогой наш защитник Родины, родной наш сыночек и братик, работаем мы вполне как надо и возможно, но живем не в своем селе, которого нет, а в тех землянках, где нас вы насмерть защищали и нашу землю от врага. А теперь эти землянки

достались нам для жилья. И живем с полной надеждой, что все станет, как раньше, у нас хорошо. И хотя наша Оля начала на корове запашку и подорвала ее на заминированном поле, потеряла корову, которую мы больше года прятали на болоте от фашистов, и сама оказалась задетой, но после больницы стала здорова. И поскольку с костылем она уже не работница, ее сельсовет направил на курсы учителей. К твоему возвращению с войны она будет учительницей в той школе, где вы с ней учились и которую нам выстроила в субботники бригада рабочих с торфяных работ — они теперь снова налажены. И мама там работает ударницей».

Зачитав такое или подобное письмо, солдат осведомлялся:

— Вопросы есть? — И заявлял решительно: — В танке, по существу, видимость ограничена. И не та теперь у фашистов пора, чтобы пугать или, как раньше, за одиночным бойцом гоняться. Значит, одиночный боец может его уничтожить при правильно выбранной дистанции, действуя по его слабому месту, и если даже не с тыла попадет в его корму, то зашвырнув гранату меж гусеницами и катками. Тогда от взрыва штыри на траках летят и танк на одном месте начинает вертеться. Тут и сторожи их экипаж со своим автоматом: как из люка высунутся — бей. На танкиста наскоро не обучишь — время требуется. Может, даже больше, чем саму машину сделать. Это тоже соображать надо. А то повредим их машину из орудия или ПТР, экипаж и сбегает, значит, это уже наше упущение — пехоты. Кроме того, товарищи, надо снайперское умение повышать. Если по смотровой цели угодить — водитель навзничь. Бронебойка триплекс на лобовой вдребезги бьет. Или он весь тускнеет — нет тогда сквозной видимости. Значит, танк слепнет... Кроме того, можно танк на мину подловить: засел в щели, и мина у тебя вдаль на проволоке зацеплена. Танк идет, ты за проволоку мину подтянешь под самый его ход, сам в укрытие, а танк на мину, хотя до этого их саперы все это танкодоступное направление со щупами и миноискателями обшарили. Тут ты ему — бац и подсунил под ход противотанковую! Я вот домой отписал, что и за сестру, и за корову нашу с фашистами в последнем бою рассчитался, но еще впереди у меня, как и у всех, спрос с них окончательный. Так что не думайте, я два танка фашистам поджег из-за одной только отчаянной на них злости. Я ведь соображал, что выжить при всем этом желательно, раньше духу прямо на танк выйти, признаюсь, не хватало. Я, между

прочим, спрашивал тех, кто за танки орденами отмечен, мол, каким манером все-таки сбили. Выходит, наловчиться, научиться, конечно, надо, тогда ты живым можешь правительственной наградой погордиться. Официальную справку домой послать, чтобы не зря, значит, в письмах так высоко с первых слов тебя величали, вроде как на всякий случай. А по случаю... — Вздохал, осведомлялся: — Вопросы есть?..

И именно после таких бесед к политруку подходили бойцы и, оглядевшись, чтобы никого рядом близко не было, спрашивали:

— Товарищ политрук, ежели заявление подам, как вы? Примете или как? Или до следующего боя еще погодить, чтобы фактически чем еще особенным доказать свое заявление? Может, скажете, кому из коммунистов в бою за мной особо доглядывать, чтобы за рекомендацию свою быть им во мне уверенными?

Ефимов ревниво замечал Орехову после таких бесед:

— Ну что же, товарищ комполка, все-таки сразу в общении с вами чувствуется — из политработников вы! А?

Орехов хотел ответить сухо: «Я коммунист, как и вы, товарищ Ефимов!» Но признался с застенчивой улыбкой:

— Организовать и управлять боем, успешно выполнить поставленную боевую задачу — это, в сущности, подведение итогов успешной политработы в частях, подразделениях и с каждым отдельным бойцом, я так считаю. Ведь не количеством наличных штыков, как говорится, надо оценивать боеспособность подразделения, а степенью убежденности каждого бойца.

По отношению к окруженной группировке противника части дивизии Волового заняли северо-восточные склоны покатых, невысоких возвышенностей, которые точнее следовало бы именовать буграми.

Низкая облачность, густой влажный туман, кропящий мелкий, частый дождь, холодная, пронизывающая сырость, в которой погас дневной свет, серый тусклый мрак, земля в липкой слизи и тяжкие земляные работы по сооружению траншей, окопов, ходов сообщения безмерно изнурили людей, и без того изнуренных тяжким переходом по труднопроходимой местности.

Но в каждом подразделении имелись бывалые солдаты, участники знаменитых сражений, после которых, как они утверждали, все последующие бои отличались от предыду-

щих только тем, что «если раньше фашист воевал самоуверенно для грабежа, то теперь воюет отчаянно за спасение своей шкуры, значит, он не слабее, а лютее, чем раньше, воюет. Но если он раньше воевал в расчете на свой блицкриг, то теперь пришла наша пора устроить ему наш блицкриг, что означает закончить войну окончательно в Берлине. И чем мы дальше уходим от дома, тем, значит, нам ближе время до дома».

Так примерно рассуждал Сергей Брагин, командир расчета ротного миномета, числившийся устным агитатором, человек крепкого телосложения, удивительной выносливости, по мирной своей профессии — колхозный агроном. В тот период, когда мы вынуждены были покидать занимаемые рубежи, Брагин приходил в такое иступление, что бойцам доводилось применять силу, чтобы он не сопротивлялся отданному приказу — отступать. Но с тех пор как стратегическая инициатива перешла к нашим войскам, все победы Брагин оценивал на гектары освобожденного от фашистов пространства и при этом строго замечал: «Испоганили, ископали, задичали землю, а народ после войны откормить надо, и это с нас после войны причитается — землю в порядок привести».

Всеволод Лепешкин, бывший табунщик из Ставрополя, всегда охотно вызывался идти в разведку и обычно возвращался из разведки с вещественными доказательствами, а если доставлял «языка», то с таким безгловым выражением на скуластом, смуглом лице, будто был обязан в порядке наряда чистить отхожее место. Объяснял он это так:

— Одно дело, когда ты его или он тебя, а вот когда ведешь или волокешь обезоруженного, видишь, хоть в ином обмундировании, а вроде — человек, и злость на него остывает.

— Фашиста жалеешь?!

— Не его, себя. Я даже скотину кнутом не бил.

— Сам же напрашиваешься ходить в разведку.

Лепешкин задумчиво почесал рассеченную бровь, произнес скорбно:

— А меня, как и Брагина, до дома тянет! Он одной своей миной сразу нескольких фашистов с нашей земли счищает. А у меня что? Винтовка! Нет ближнего боя — сохну. Вот и хожу к ним, чтобы с самой короткой дистанции достать.

— А почему же не из автомата?

— Нам зря шуметь не положено. Желательно вручную. — Лепешкин тяжело вздохнул: — Для паники тоже. Мол, всюду мы можем их даже рукой достать!

Вытерев ладонью окропленное дождем лицо, объявил с воодушевлением:

— Влаги нынче хватает — видать, к урожаю! Расшлепаем группировку в самый раз — к севу.

— Нам еще воевать и воевать, а ты — сев, — сердито заметил старшина Буров.

— А вы, товарищ старшина, поднимитесь на бугор и поглядите, как колхозные граждане нас к победе тянут. Тракторы наши завязли? Завязли! Мы на перекуре после земляных работ вольготничаем, а они на себе, на полудохлых своих коровенках две наших полковых пушки волокут и дорогу устилают досками и половицами со своих домов... Вот она где — картина для подъема воинского духа. — Это сказал Ветошкин, слесарь из Краматорска, лучший пулеметчик батальона, при всех обстоятельствах боя отличавшийся самообладанием, вдумчивым ведением огня, огневой заботой о каждом бойце.

Старшина Буров знал, каким высоким авторитетом пользуется у солдат Ветошкин, поэтому с готовностью согласился:

— А я что? Все мы одного рода-племени — советского. По долгу службы обязаны расколошматить фашистов, держать свой хвост на пупырки, что означает: держись в прицельной рамке данной задачи весь полностью, как бойцу положено!

Но чтобы не прозвучали эти слова слишком начальственно, Буров вынул кисет, растянул широко шнуры, объявил самоотверженно:

— Налетай, ребята, кременчугская махра, фирменная! — И отвернулся, дабы не смущать солдат обиженно поджатыми губами от неожиданной для него самой такой щедрости.

Но как бы ни отвлекали себя люди такими обычными на фронте солдатскими разговорами, каждый по-своему молча и сокровенно понимал и вникал в то, что предстоит совершить в этом грядущем бою.

Люди обессилели в тяжком пешем марше по пересеченной заболоченной местности. На каждого непогода, без просвета, сумеречная, без надежды просушить липнущее на теле сырое обмундирование, принять горячую пищу, согреться, действовала угнетающе. А та боевая техника, которой гордились они, составлявшая не только их соб-

ственную боевую мощь, но и в совокупности как бы являвшая могущество народа, не щадящего себя, чтобы ее создать, оказалась бессильной преодолеть заболоченное пространство, которое они на исходе своих сил преодолели, дойдя до назначенного рубежа, не увянув в своей решительности к бою, но ослабленные перед противником из-за отстававших боевых средств, что и обрекало их на неравное сражение.

Удержать собой на этом самом месте врага, рвущегося сейчас из окружения, была их задача. И место, где оно будет происходить, это побоище, не имело наименования — просто степное пространство с мелкими населенными пунктами. Но ни одним названием этих пунктов нельзя даже обозначить плацдарм, где они стойко будут сражаться, удерживая врага от прорыва из окружения, которое доблестно совершали другие войска и которые будут увенчаны славой и доблестью одержанного победного сражения, а вот батальоны генерала Волового, их подразделения здесь вроде затычки, чтобы лишь сдержать на краткое время врага, ищущего щели в окружении, удержать до подхода основных сил.

И все то, о чем догадывались солдаты, они молча переживали, пытаясь придать своему поведению характер обычно исполняемой солдатской службы. В данной обстановке создавая оборонительное сооружение, они занимались трудом землекопов. Но повелевало людьми, по крайней мере внешне, не столько стремление продлить себе жизнь по мере возможности, сколько невысказанное опасение чем-нибудь выявить свое душевное, щемящее томление, не стать иным, чем все. И в деловой солдатской озабоченности люди пытались приспособиться к тому, к чему приспособиться нечеловечески трудно, делать всё, что делают все, чтобы необитаемое заболоченное пространство обратить по уставным правилам в систему оборонительных сооружений и в этом труде еще больше изнурить себя, освободить от всяких иных мыслей, кроме заботы о своем солдатском благоустройстве, будто не только для боя, но и для того, чтобы каждое подразделение не уступало другому в этой воинской задаче благоустроить свои оборонительные рубежи не хуже, чем в других подразделениях, являя этим свою выучку и рассудительное умение выполнить указания своих командиров, будто сейчас самое главное для них — заслужить одобрение за точное и неукоснительное выполнение приказа по созданию рубежа по всем уставным правилам инженерно-оборонительных сооруже-

ний. И в этой поглощенности людей созданием оборонительного рубежа с целью приспособиться к тому, к чему, казалось, приспособиться выше человеческих сил, был высокий безмолвный подвиг.

И если люди и высказывались о трудности предстоящего сражения, то только со злорадной догадкой о том, что, когда фашисты внезапно напорются на их засаду, придется им полностью развернуть свои колонны, как будто перед ними не часть, а целое войсковое соединение.

Зная, насколько люди обессилены, недавно прибывший комбат Егоров не решался сразу отдать приказ о том, чтобы немедленно приступить к земляным работам. Но и не дожидаясь приказа, в подразделениях стали привычно окапываться, и окапывались всю ночь.

На рассвете на быках подошли две противотанковые батареи, кухня, а затем колесные тракторы приволокли сани с провиантом и боеприпасами.

На совещании у комбата Егорова ротные командиры доложили о том, что все отставшие на марше прибыли на санном транспорте. Если судить по земляным работам, с которых никто не отпрашивался, — больных не было.

В двойной госпитальной палатке оборудовали сушилки, там же, в тепле, находились простуженные.

— Это как же так получается — больных нет, а простуженные есть? — спросил Егоров.

Егорову объяснили, что за простуженных посчитали тех бойцов, которые вместо двух противотанковых мин взяли в порядке личной инициативы нести по четыре.

— Так они что, надорвались?

— Никак нет. Это им поощрение отдыхом.

— Для мин были волокуши, — сказал Егоров.

— Волокуши пришлось освободить под пленных, — доложил ротный Слепов. — Раненые, которых немцы бросили, лежали в степи в бумажных бинтах, мы думали — покойники. Подошли — дышат. Пришлось забирать в плен из жалости, а мины на себя сгрузили.

— Что-то вы темните, — сказал Егоров. — Почему все-таки люди, которые по четыре мины несли, оказались в санитарной палатке?

— Так у них на плечах потертости от ремней. На них мины были подвешены, — объяснил Слепов.

— Потертости?! — обиженно произнес Егоров. — Это про коней так говорят, а не про людей. — Спросил строго: — С ранеными ихними чего делать будем? Ведь не в

тыл их сопровождали, а притащили в самое пекло, где бой будет.

— Так не бросать же их посередине степи! Положим в блиндаже на время боя, чтобы окончательно свои же их не убили.— И вдруг Слепов радостно объявил: — Доложим, что уже пленных имеем. В штабе дивизии заинтересуются — все-таки «языки».

— Кому сейчас нужны такие «языки»! Ничего они о своей обстановке не знают. Подобрали раненых, а будем докладывать — в плен взяли.

— Я солдатам не приказывал, — словно оправдываясь в чем-то, сказал Слепов. — Они сами еле ноги волокли, а тут гляжу — такая картина. Сгрузили с волокуш мины на себя, а на волокуши фрицев положили. Без всяких разговоров, почему такое решение по пленным приняли.

— Так бойцы их не за пленных посчитали, а за раненых, — решительно поправил Егоров.

— Не знаю, не докладывали, — уклончиво сказал Слепов. — Мое дело, чтобы только отстающих не было.

— Ну и нормально поступили, — одобрил Егоров, после чего лицо Слепова из напряженно-настороженного приняло благодушное выражение.

Затем вместе с ротными командирами Егоров обошел траншеи. Глубина их была недостаточной, но ротные пояснили, что глубже рыть нет смысла — зальет подпочвенной водой.

В капонирах, где стояли противотанковые орудия, расчеты спали на снарядных ящиках, накрывшись плащ-палатками. Здесь же, под навесом из трофейных противотанковых накидок, сохли портянки и обувь.

Оглядывая плоскую степную, затопленную талой водой равнину, Егоров сказал задумчиво:

— Как подсохнет, тут для танков раздолье. Одно приятно — местность открытая, позволяет огонь вести на всю широкую видимость.

— Обоюдно позволяет, — добавил Слепов.

Егоров нахмурился, произнес строго:

— А наше дело не позволять, чего им хочется. Для этого мы тут, а они там, в клещах. Мы их ждем, а они нас тут не ожидают. В этом наше полное преимущество.— И уже приказным тоном сказал: — Соблюдать полную маскировку укрепленной полосы. Затем, по завершении работ, оглядеть наши позиции с точки зрения противника на видимость, чтобы не было никакой их видимости. Тогда эффект внезапности получится — сразу огнем из всех

средств накрыть. Первый огневой удар — он больше всего впечатляет как по линии потерь, так и по линии морально-психической.

Оставив командиров рот в их подразделениях, Егоров уже один обошел расположение. И ему приятно было видеть, как после тяжелого марша личный состав подразделений снова обрел армейскую опрятность, выправку, живость, предприимчивость. Солдаты обживали позиции, оборудовав в стенах траншей ниши, одни расположились в них, как на нарах, другие соорудили над траншеями навесы из плащ-палаток и отдыхали в сухости на сиденьях, сложенных из пластов дерна.

Егоров не сразу приучил себя не вмешиваться мелочно в распоряжения подчиненных ему офицеров, не упреждать их приказы своими указаниями, и чем больше он сдерживал себя, тем меньше они допускали разного рода упущений, самостоятельней становились, обретали бóльшую командирскую личную уверенность и, значит, вдумчивее занимались доверенными им подразделениями.

Егоров давно проникся пониманием особой, деликатной солдатской этики. Например, если на плакатах писали: «Убей врага!», то солдаты избегали этого слова — «убей!».

Бой — это бой. Враг по тебе, ты — по нему. Ни один фронтовик не скажет: «Я убил», он скажет другие слова: «Я его упредил», «накрыл», «ударил прицельно», «свалил насовсем».

Солдат — боец и чувствует себя бойцом. Ненависть к врагу вовсе не обращается в жестокость. Тут путать нельзя. Самые жестокие — это трусы. Смелость бойцовская оттого, что люди боятся проиграть бой. Поэтому воюют с умом, а не с одной лишь ослепляющей яростью.

Солдат действует оружием против того, кто поднял на него оружие. И обезоруженного врага не бьет. Он действует огнем против огня. Он не считает себя убийцей и отвергает это слово — убей! Не случайно же в армейских приказах говорится: «Потери врага в живой силе и технике такие-то».

И потом, после боя, никто из фронтовиков не пойдет осматривать поле боя. Это фашисты любители глядеть на мертвых. Вид мертвых воодушевляет только мерзкодушных. Вот, мол, они мертвые, а я — живой. Главное — какой ценой досталась победа. Если мало потерь, значит, бой выиграли умело, умно. Сохранили жизни для жизни.

Егоров понимал, почему его солдаты подбирали раненых немцев, выброшенных своими же из санитарных фур.

Хотя сами бойцы были полуживыми от усталости, изможденными тяжестью марша по заболоченной степи и впереди их ждал не отдых, а тяжкий бой, где всем им придется стоять насмерть.

Конечно, их побуждала самая простая человечность, жалость, но не одно это. Для того чтобы подобрать раненых, они сняли с волокуш мины и навьючили их на себя. И ко всему еще пришлось тащить волокуши с ранеными.

И в этом участвовали не один, не два, не три солдата, а много, значит, приняли общее решение. Почему? Только из жалости. Но ведь они сами чувствовали себя полуживыми от усталости, а подобрали полуживых солдат противника. Несли мины и тащили на волокушах раненых, считая себя перед ними людьми, которые хотят, чтобы враг почувствовал, убедился, насколько они по-человечески выше его. Фашисты бросили своих умирать в степи, потому что раненые им бесполезны для совершения убийства. Они уже не живая сила, а полуживая, не способная убивать. Может, потому и оказалось так мало ослабевших, оставших на марше среди наших солдат, что солдаты видели, как другие, преодолевая измождение, нашли в себе силы нести по четыре мины и, впрягшись, согбенно тянуть волокуши с лежащими на них ранеными солдатами врага.

Презрение к врагу Егоров считал самым истинным, нужным, долговременным солдатским достоинством, более надежным для победы, чем вспышки яростной мести, допустимой лишь в самом тяжком, в самом яростном — ближнем бою.

И высшей похвалой меж солдатами считалось, когда кто-нибудь из них уважительно говорил другому:

— Грамотно воюешь, мастер...

Вникая в солдатские суждения, капитан Тютчев знал: за всем этим скрывается сосредоточенная решимость и твердое убеждение людей, что каждому здесь придется стоять насмерть. Знал и то, что люди ослаблены не только переходом, тяжкими работами по созданию укрепленных позиций, но главное тем, что им придется вступать в бой лишенными основных мощных средств ведения борьбы, которые им положены.

Батальоны заняли позиции и стали как бы вроде наспех вооруженной преградой перед мощными рывками блуждающего острова окруженной группировки противника.

Что касается самого Тютчева, то он понимал обре-

ченность батальонов на неравный бой, в котором вся их победа может состоять лишь в том, сколько времени выдержат, выживут люди в этом бою. И даже если вовремя успеют подойти основные силы, то они осуществят свой удар по противнику перекатом через боевые поредевшие порядки задействованных в бою батальонов, которые сами потом окажутся как бы в тылу, отстраненными от окончательного разгрома группировки врага, а затем их выведут в тыл для отдыха, переформирования и пополнения. Поставленная им задача носит частный характер, она даже и не будет упомянута в торжественном приказе о выполнении операции по уничтожению вражеской группировки.

По существу, батальонам придется действовать так и к концу войны, как доводилось действовать им только в самом ее начале, отстаивая каждую пядь своей земли от превосходящих сил противника.

Но тогда героизм наших бойцов питался сознанием того — быть советской державе на земле или не быть. И каждый шаг вспять означал — допустить фашиста к своему дому, селу, городу, чтобы он там совершал убийства и уничтожал все то, что советские люди создали своим трудом и без чего живому тебе — нет жизни.

Пока бойцы отдыхали, ему, Тютчеву, следовало провести с ними политбеседу для подъема духа. Но о чем, как? Оценить сложившуюся обстановку? Они сами ее оценили и знают. Призвать к стойкости, к выполнению своего священного долга? Но они уже все, что положено им сейчас, выполнили.

Когда Тютчев приблизился к лежавшим солдатам, они машинально встали и столь же машинально начали оправлять на себе обмундирование.

Тютчев заставил себя беспечно улыбнуться, махнул рукой, сел на земляной бруствер, произнес:

— Дождь-то все сыплет и сыплет...

Тимкин ответил:

— Если фашисты без зонтиков, то, видать по-всеми, они, как и мы, мокнут.

Солдаты вежливо усмехнулись.

Лепешкин вздохнул, потрогал рассеченную бровь, спросил озабоченно:

— Вот вы, товарищ замполит, как полагаете вообще: сколько годов примерно нам понадобится, чтобы жизнь на довоенный уровень наладить?

Но Тимкин сам взялся быстро и незамедлительно на это ответить:

— Ежели по военному времени нам теперь столько боевой техники с тыла накидали, то это означает, что при дальнейшей гражданской жизни будут средства для всевозможного ее обустройства.

Сергей Брагин сердито оборвал его:

— Это всякому ясно — починим и обладим, как для советской жизни положено. Но вот если так рассуждать, получится — о себе только. Война-то мировая. В мировом масштабе будут какие-либо перемены или все, как до войны было, так и останется?

Буров бодро заявил:

— Фашистов мы расколотим, до Берлина дойдем, там им победный кол и вколотим и, значит, свою окончательную точку мировой войне поставим.

— Ты погоди давать команду «отбой», — сказал Тимкин. — Брагин чем по-человечески интересуется: будет всеобщее поумнение народов после этой войны или не будет?

— Это по какой линии? — строго осведомился Буров.

— По самой простой, человеческой, — сказал Тимкин. — Сообразят народы после этой войны или не сообразят, что они только сами себе яму рыли, когда фашистов подзуживали, одобряли на нас кинуться.

— Народ! — пронически произнес Буров. — Какой же это народ, когда он безвластен? Это мы — народ! А они просто население, чего ему власть капитала прикажет, то они и исполняют. Как у нас до революции, к примеру, было.

— А мы что? До революции — не народ! Народом же власть капитала и скинули!

— Он мировой революции желает, вот чего! — пояснил Тимкин. И, оглянувшись на Тютчева, строго пояснил: — Согласно «Краткому курсу», это сам народ решает, устраивать ему революцию или нет. А мы народам фактически доказали: на чьей стороне народная власть, на той стороне всегда победа и правда.

— Лозунг правильный! — одобрил Буров.

Воодушевленный похвалой старшины, Тимкин самоуверенно заявил:

— А фашисты кто? Уголовные перед всем человечеством. Их только Лепешкин за людей считает, когда обезоруженных на себе в плен волокет. А наше дело ясное. Дашь по ним подлиннее и прицельнее очередь — их на земле становится меньше. — И улыбнулся, радуясь такой своей молодецкой оценке врага.

Но Тютчев понимал: за всей этой словоохотливостью

и показной бодростью люди застенчиво скрывали и свою безмерную усталость, измученность переходом, обустройством ходов сообщения, позиций, и самое главное — свою несомненную убежденность в том, что предстоит тяжкий бой при слабой надежде на скорейший подход основных сил дивизии.

И вот это не отличимое ничем притворство: «служба есть служба» и «не такое еще в боях испытали и пережили», «фашист в «котле» тухнет, значит, и без разведки, по воню узнаем, когда в бой с ним вступать», — все это было отстранением от главного, не сказанного и не высказываемого о том, что каждый здесь сурово и сосредоточенно-безмолвно готовит себя к такому побоищу на утлом рубеже с размякшей почвой, с оползающими от подпочвенной воды стенами трашей с бруствером из рыхлой грязи. И все это именуется бессмертным подвигом. Тимкин заявил мечтательно:

— Ну, то, что мы воевать будем без достаточного огневого дальнобойного артиллерийского обеспечения, — это ладно, но вот то, что нас без походной кухни оставили, на одном НЗ, без горячего, от этого даже самый смирный наш солдат, как, например, Засухин Вася, в штыковой бой первым кинется.

Солдаты выслушали Тимкина без улыбки. А старшина Буров объявил:

— Без горячей пищи вы у меня не останетесь. Я кизяки приказал собрать, в траншеях запалим, котелки навесим, вот вам с пылу, с жару враз обед и ужин. Так что такие разговорчики, товарищ Тимкин, отставить! И то, что фронтовику по норме положено, я в капистре на своем горбу пронес. Потому что, кроме как самому себе, ее доверить никому не мог.

И все засияли, обрадовавшись так, словно их вдруг на мгновение одарили полным счастьем мирной и вечной жизни.

Разведрота была одновременно гордостью и слабостью генерала Волового.

Гордостью потому, что благодаря инициативным дерзким проникновениям своих разведчиков на более значительную глубину расположения противника, чем это было положено дивизионной разведке, а также благодаря высокой степени обученности добывать всесторонние сведения, не ограничиваясь только поставленной разведотделом или

самим генералом Воловым задачей, он мог, уверенно опираясь на такую информацию, принимать те или иные решения и производил внушительное впечатление на совещаниях Военного совета армии не только своими точными познаниями о расстановке сил противника, но и более широкими, касающимися характеристик лиц даже высшего командного состава, что иногда вызывало ревнивую раздраженность начальника разведотдела майора Ивушкина — многоопытного разведчика, так же, как и сам генерал Воловой, еще подростком в годы гражданской войны вступившего в ряды Красной гвардии и за работу в тылу Врангеля награжденного орденом Красного Знамени.

А слабость генерала Волового по отношению к своей разведроте заключалась в его снисходительном отношении к тому, что в этом подразделении допускались разного рода вольности и между офицерским и рядовым составом сложились такие взаимоотношения, которые даже можно было оценивать как явное нарушение принятой в армии субординации. И когда все подразделения, следуя строжайшему приказу по сооружению оборонительных позиций, безукоснительно выполняли его с пониманием того, что чем они надежнее, тем в большей сохранности жизнь каждого, — такие позиции в подразделении разведроты строились наспех, траншеи были мелки, стенки не закреплены, а землянка командира разведбата — в один только накат, обширная, с огромной нишей камина, с большим столом посередине, со скамейками, сколоченными из необтесанных досок, — была постоянным местом сбора и офицерского состава, и рядовых. Освещалась она светильниками, сооруженными из гильз зенитных снарядов, заполненных бензином, заправленных солью, расплюснутых на концах, откуда торчали фитили из байковых зимних портянок. Камин был для шика.

Землянка отапливалась чугунной печкой производства фирмы Тиссена. В свое время эту печку разведчики вынесли из блиндажа командующего подразделениями СС вместе с железными ящиками с документами, картами и кое-какими продуктовыми припасами. Сам же командир подразделения СС, когда его доставили в разведотдел, застрелился из крохотного пистолета, сохраненного им в портсигаре. За это командир разведроты лейтенант Борис Вяткин получил строжайшее предупреждение от майора Ивушкина, которое тот принял с достоинством, не вдаваясь в объяснения, что он строжайше запретил своим разведчикам после обыска пленных с целью изъятия у них личного

оружия отбирать что-либо из их личного имущества, за исключением биноклей, компасов и часов со светящимися циферблатами, в чем разведчики профессионально нуждались. И если это указание нарушалось, такой боец отчислялся из разведбата.

Когда Борис Вяткин в начале августа сорок первого года с небольшой собранной по пути группой бойцов вышел из окружения, его, тогда младшего лейтенанта, незамедлительно сопроводили в так называемый резерв, где представители Особого отдела выясняли у каждого офицера, при каких обстоятельствах они оказались вне рядов своей части, или, попросту говоря, подвергали допросу. Обидному, конечно, но и вполне понятному, потому что служба абвера, используя обстановку, засылала повсеместно своих агентов в красноармейском обмундировании, прошедших тщательное специальное обучение.

Младший лейтенант Вяткин, лишенный здесь личного оружия и, понятно, оскорбленный, держался развязно, сидел с нарочито расстегнутым воротником гимнастерки. Был он невысокого роста, но мускулисто-плечистый, с правильными чертами лица, которое производило неотразимое впечатление на девиц и подозрительное — на представителей Особого отдела, потому что такие лица почему-то не считали характерными для молодых людей из трудового русского народа.

Интересовались не тем, как он выходил, а тем, почему его военное удостоверение и комсомольский билет истерты и отсырели до такой степени, что могут лишь свидетельствовать о том, что они нарочито приведены в такое состояние, по которому невозможно восстановить, кому лично они принадлежат и кем они были выданы.

Но следовало учесть, что в течение почти трех недель Вяткин не разувался, спрятав эти документы под стелькой сапога, и, конечно, в таких условиях их было просто невозможно сохранить в прежнем виде.

Кроме того, выход из окружения, который проделал Вяткин с собранной им по пути кучкой бойцов, сопровождался отчаянными налетами и поединками с тыловыми подразделениями и полицейскими отрядами противника. Вяткин владел немецким языком и потому, обрядившись в форму немецкого связиста, обвешанный катушками с телефонным проводом, смело выходил — в одиночку, как якобы заблудившийся связист, на общение с разного рода представителями немецких войск, которое всякий раз заканчивалось тем, что Вяткин приносил с собой немецкие

шмайссеры, парабеллумы и гранаты с длинными деревянными ручками, похожие на толкушки для приготовления пюре.

И находясь во власти совершенного им и солдатами его группы, он возмущен тем, что не это интересовало представителей Особого отдела, а совсем иное, выражал своим вызывающим поведением. И в довершение всего он стал отвечать на задаваемые ему вопросы на немецком языке, издевательски заявив, что если в нем подозревают засланного немецкого агента, то для этого они обязаны хотя бы элементарно владеть немецким языком.

Именно тогда-то его и сопроводили на допрос к капитану Ивушкину. И этот допрос закончился тем, что Вяткин получил назначение командиром разведывательной роты.

В конце собеседования, в которое превратил допрос Вяткина Ивушкин, он как бесценным сокровищем поделился с ним из своего термоса крепко заваренным кофе. Объяснив, что это последний запас необходимого ему средства против утомления при постоянном желании хотя бы часок поспать, он упрекнул Вяткина в крайней несдержанности, недопустимой ни при каких обстоятельствах, в утрате самообладания и зазнайстве.

— Что самое для нас всех оскорбительное, — сказал капитан Ивушкин, — это то, что противник вторгся на нашу землю. А ослабление бдительности с нашей стороны означало бы облегчить противнику проникновение в наши тылы. Действия одного нераскрытого агента могут приносить нам урон значительно больший, чем принесли противнику вы, Вяткин, своими боевыми активными действиями.

В заключение Ивушкин объявил, что свои выводы по поводу личности Вяткина он сделал не только в силу возникших к нему симпатии и доверия, но и потому, что при всем этом прибегнул к помощи своего сотрудника — бывшего криминалиста, который со всей очевидностью установил, что представленные Вяткиным бумажные тряпицы, оставшиеся от его документов, в той среде, в какой они находились в указанное им время, должны были обрести именно такой вид, как они и выглядели. На изнанке стельки сапога более отчетливо сохранились отпечатки обложки документа, чем на самой обложке, приведенной в состояние полного истления и ветхости оттого, что она была пропитана едким и обильным потом. И даже посоветовал при этом Вяткину чаще переобуваться с целью сохранения ступней в пригодном для передвижения их обладателя состоянии,

потому что ему еще на войне предстоит и не такое испытать.

— Кстати,— произнес задумчиво Ивушкин,— бывает и иначе. Мне как-то было поручено в качестве перебежчика присоединиться к корпусу генерала Шкуро, весьма свирепому по отношению к мирному населению. Так вот, я там был благосклонно принят и документы имел безукоризненные, но когда я разувался в офицерской землянке — укладывался на заслуженный отдых, как положено после длительного путешествия, а я добрался кратчайшим путем, кое-кто обратил внимание, так сказать, на свежесть портянок и на то, что ступни моих ног выглядели не так, как у путника, преодолевшего значительное расстояние. Этим обстоятельством заинтересовалась контрразведка с применением самых различных и весьма болезненных средств воздействия. И если мне и удалось удрать из-под расстрела, то, в сущности, я бесславно и безрезультатно вернулся к своим, весьма, знаете ли, не только в сильно потрепанном физически, но и в скорбном моральном состоянии бойца, не выполнившего задание. И учтите — наш противник не только обладает в данный момент превосходными техническими средствами военной борьбы, но и весьма опытен в применении всевозможных диверсионных средств и способов для нанесения ударов в спину. Вот мы и являемся щитом и мечом армии, неся всю полноту ответственности, когда она сражается с таким опытным противником. Ясно? — И, улыбнувшись, радушно заключил: — Так что поймите вы и передайте, пожалуйста, другим офицерам, находящимся здесь в резерве: свою ярость и обиду обрушим на врага, а не на обязанности работников Особого отдела. Нам, особотдельцам, доводится воевать с противником лицом к лицу, находясь при этом на своем плацдарме и на его тоже, что, знаете ли, требует очень и очень специфического мужества, неукоснительной собранности и безупречной подготовки не только специальной, но и оригинальной для свершения подобного подвига. Как говорится, без шума, без силовых приемов и с весьма высокоразвитой силой воли.

— Товарищ капитан,— взволнованно заговорил Вяткин,— я бы хотел... я же владею языком! Прошел у них в тылу. Общался и не вызывал сомнений...

— Не-е-ет, голубчик,— протяжно произнес Ивушкин,— темперамент у вас слишком взрывчатый. Эмоции — без них нет человека. Но вот подчинять воле свои эмоции — это уже не арифметика, а высшая математика овладения

собой не таким, каким ты есть и должен быть, а таким, каким ты вызываешь у самого себя лишь глубочайшее отвращение! И при этом ты неукоснительно обязан быть преисполненным чувства собственного достоинства, когда все вопит в тебе против тебя самого, потому что ты не только в чуждом и враждебном тебе обличье, но еще и должен вобрать в себя тебе враждебное, чтобы, попросту говоря, — не завалиться.

Так горячо вдруг заговорил о том деле, которым занимался, капитан Ивушкин и при этом решительно отклонил пылкую, настойчивую просьбу Вяткина разрешить ему отдать свою жизнь этого рода армейской работе.

— Боевой разведчик из вас, возможно, и получится, но, пожалуй, не больше. — Такое вынес окончательное решение тогда капитан Ивушкин.

Большим уважением у лейтенанта Бориса Вяткина пользовался ефрейтор Фомин — из всех в разведроту самый рослый, могучего телосложения и, когда нет боя, самый смирный и даже меланхоличный. В шутку его прозвали «монументом». Но во время выполнения задания Фомин обретал проворство ящерицы, действовал решительно, стремительно, смело. Когда его хвалили, говорил:

— А что? Не я к ним в дом залез, а они в мой. — Сомневался: — Зря фашиста зверем называют. Зверь — он зверствует от голода для пропитания, а если он сыт, никогда не тронет.

— Так кто ж они?

— Хуже. Скажи фашист — и точно.

Если спрашивали, почему напросился в разведроту, отвечал:

— Так ведь в обыкновенной пехоте не всегда шибко воюют, бывает, насидишься в окопе в обороне столько, что можно огород развести, а тут у нас что ни день — пожалуйста, вой от себя. — Хмурился: — Я на них злопамятный.

Не однажды он спасал жизнь Вяткину. Объяснял:

— По уставу обязан командира собой обеспечивать и, кроме всего, душа лежит. — Произносил мягко: — Ведь молодой, вся жизнь впереди. И опять же мамаша у него — материнская слеза самая горькая.

— Но ведь у вас тоже есть мать?

— Всю мою фамилию фашисты сожгли в погребке из огнемёта...

К пленным Фомин относился с полным равнодушием:

— А кто они мне? Так, существа. Без железа вроде на людей становятся похожи.

Перед уходом во вражеский тыл он копил пайки сахара, консервов, концентратов, хлеба, шел с тяжело навьюченным вещмешком. Пояснял:

— Это я гостинцы ребятишкам оголодавшим. — Обращался к Вяткину: — Спасибо вам, товарищ лейтенант, что вы меня к себе зачислили. Могу, значит, своей инициативой пользоваться. — Подчеркивал: — У меня ведь вся сумка из-под противогаза лимонками набита. Полезная вещь. Кинешь в кучу — все. Даже панику не успеют произвести.

Но что особенно ценил Вяткин у Фомина, так это его внушительный авторитет в роте.

— Ты не форси, что ты разведчик, не выпендривайся, — упрекал солдата Фомин. — В нашем деле, может, как ни в каком, первое — дисциплина, не лихость, а ум. Главный наш подвиг — вызнать. А если до драки дошло, значит, просчет получился. Тихо пришли, тихо ушли — вот наша служба.

— А как «языка» брать?

— Без шума. Вернулся, тогда, если хочешь, шуми, гордись, а на деле — чтобы беззвучно.

— А если накроют?

— Ну, тогда действуй из всех средств. Если, допустим, нас обнаружили, обязан вызвать эффект, будто он от роты или батальона. Чем больше их наваливается, тем, значит, сильнее у них паника происходит. А панику вызывать тоже полезно. Нервный солдат — ненадежный.

Вяткину Фомин заботливо говорил:

— Вы, товарищ лейтенант, как-нибудь поаккуратней себя в бою ведите. Вам еще жить и жить, человек вы хороший, после войны людям сильно пригодитесь. — Вздыхал: — Полагаю, после войны все мы по-дружески жить будем, как вот у нас в роте. Все из разных мест, все разные, а не то что последней закуркой делишься — свою жизнь за другого подставить готов. Кого ни заденет, а тебе больно...

Вот, оказывается, какой душевный человек этот ефрейтор Фомин, которого в бою, когда он залегал с ручным пулеметом, вполне можно было воспринимать не как огневую точку, а как надежный неодолимый опорный пункт.

Армейское умение читать карту — это особая способность силы воображения, исполненная такого прозрения, когда склеенные листы, испещренные условными обозначе-

ниями, вдруг превращаются в натуральное земное пространство и становятся доступными человеческому взору фигурально выражаясь, словно птице в ее медлительном и зорком парении. Если при этом лежит и метеосводка, то можно увидеть не обозначенное на карте: низкую облачность, пахнущую сыростью, черные топкие прогалины с тонкими ледяными блестками застывших водоемов, и даже ощутить озноб от мглистого пухлого тумана, осыпаясь то дождем, то снежной шелухой; расплзшиеся половодьем ветвистые русла рек, на лето обычно исчезающих от безводья; угарно пахнущие, спаленные противником, обугленные развалины сел; грунтовые дороги, полные жидкого глинистого непроходимого месива.

И если по существующей доктрине Война — это гигантское титаническое столкновение машин, техники, то пространство сейчас не только обуздало всю эту машинную технику, не только обессилило ее, но и пленило своей расквашенной вязкой заболоченной мякотью, как некогда доисторических животных-гигантов при резкой катастрофической перемене климата, и они погибали стадами, погружаясь в топь, копошась в ней могучими копытами, ступнями, равными ковшам многокубовых экскаваторов, с когтями, клыками, кряхтя и все больше обессилевая в безнадежной борьбе с черной, поглощающей их топью. И чем весомей, чем мощнее было гигантское первобытное животное, тем быстрее свершалась его гибель в этой земной топи.

То же самое происходило и с тяжелой боевой техникой на этой расхлябанной весенней талой почве.

И немецкое фашистское командование полагало, что советское командование благоразумно не решится начать широкую наступательную операцию по ликвидации окруженной группировки в условиях, абсолютно не соответствующих возможностям использования своих мощных боевых средств против их столь же мощных, но беспомощно увязших в губительно размякшей почве, подобной бескрайней заболоченной пустыне где-нибудь в дебрях Амазонки, только безлесной.

Это понимал и командарм, в чье соединение и была передана дивизия Волового.

Но перед командармом стояла задача: скорее покончить с блуждающим островом окруженной группировки противника, чтобы освободить свои войска и задействовать их для выполнения другой задачи, запланированной командованием фронта.

И чтобы помочь своим войскам с наименьшими потерями ликвидировать окруженную группировку, он принял решение, связанное с определенным риском: ослабить кольцо окружения на одном из участков и дать возможность нескольким подразделениям противника отчаянным рывком вырваться из окружения в направлении междуречья, где степные пространства от весеннего половодья и ранней оттепели особо сильно заболочены и стали непроходимыми для тяжелой техники, и противник вынужден будет бросить ее на плацдарм междуречья, где дивизия Волового, развернутая в засаду, заранее укрепившись на рубеже, сначала обескровит, а затем решающим ударом разгромит преднамеренно выпущенные из кольца, главным образом эсэсовские, подразделения. В окруженной группировке они выполняли карательные функции против тех, кто давно уже помышлял о капитуляции. Кроме того, свершив немало зверств против мирных жителей, эсэсовцы, страшась кары, сражались с иступленной яростью смертников.

Нет такого командира, который бы при подходящих обстоятельствах не выпрашивал у вышестоящего военачальника дополнительных стволов, сверхштатной боевой техники и различных средств усиления, снабжения, обеспечения боепитания и продуктов питания и всевозможного довольствия для солдатского бытоустройства.

Но эти же самые командиры неблагоприятны к тем своим подчиненным, кои склонны при получении боевого задания выпрашивать у них то же самое.

И хотя Воловой, обладая воинской дальновидностью, не мог не одобрить замысла командарма и даже испытал некоторое восхищение этим замыслом, выслушав его, он проявил крайнюю сдержанность. Долго мрачно разглядывал разостланные листы карты того плацдарма, на котором ему предстояло действовать. Создал на своем лице скорбное выражение, отчего углы губ печально обвисли, и произнес тихо и глухо, подавленно, как обреченный человек, будто бы вынужденный выполнить приказ — лишь выстоять в бою местного значения. Обратившись к командарму, сказал удрученно:

— Значит, будем действовать только штыком и прикладом согласно обстановке и уровню обеспечения.

Командарм сам был недавно командиром корпуса и понимал отлично, куда клонит Воловой, потому сказал не без досады:

— Вымогательством занимаетесь, товарищ комдив.

— Прошу хотя бы штатные средства, какие дивизии положены. — Воловой вздохнул тяжело: — И, конечно, по возможности усиление.

— Забыли, чем обходились в сорок первом? — сердито напомнил командарм. — А теперь забаловались, целый арсенал вам подавай.

— Так уже привыкли к большой технике, — притворно снаивничал Воловой, — разучиваться без нее как-то несподручно. Мы в гражданскую, — продолжал он, — у населения бычков, коровок заимствовали и в подобную ростепель на полозьях, по грязи доставляли на позиции боеприпасы, орудия. — И тут же поспешно добавил: — Но скотину обратно по-честному возвращали, хоть сами постной пищей какой месяц питались. Вот и прикажите начальнику тыла позаимствовать. А если, к примеру, на реактивные минометы нам расщедритесь, мы можем на себе — на лямках — «зисы» приволочь, ну и зепитки, они против танков, и если шрапнель — против пехоты вполне. Снаренные пулеметы тоже у пэвзошников нам бы... — опять вздохнул, — на бедность.

— Нехорошо такому, как вы, боевому генералу кланяться, — упрекнул командарм.

— Конечно, нехорошо, — согласился Воловой. — Но нашу дивизию понимать надо. Не сняли б ее с прежних позиций, мы бы не в оборону засели, как тут нам назначено, а рванули б по противнику на всю тактическую глубину. В сводку Информбюро попали бы, под салют Родины. А тут что: законаемся — и весь бой только местного значения. Разгром же окруженной группировки полностью — вам.

— Значит, задето ваше генеральское самолюбие.

— Если б мое, — уныло сказал Воловой, — а то солдатское! Они в наступление рвутся, а тут их в землю сажаем, в оборону. Не в чести у них теперь оборона.

— С таким настроением вряд ли вам следовало доверять эту задачу, — раздраженно заявил командарм.

★ — Настроение у нас правильное, — сердито произнес Воловой, — наступать. И при всех обстоятельствах, разрешите доложить, наступать будем.

— Ну вот и договорились, — с облегчением сказал командарм, поднялся и объявил задумчиво: — Василий Степанович, я еще когда курсантом был, знал вас по учебникам.

— По учебникам только учатся, а выучиваются в деле...

Получая боевой приказ у начальника штаба армии, Воловой уже напористо настаивал усилить его дивизию количеством стволов, боепитанием, подразделениями тылового обслуживания, медико-санитарной службой.

Ведь не случайно на фронтовых дорогах стоят столбы с обозначением, например, «хозяйства Чуркина». Командиры любых рангов, организаторы боя, сражения тоже обладают талантом и способностями хозяйственников — так зачастую «на гражданке» именуют уважительно директоров даже знаменитых заводов. Обеспечение войск всем необходимым всегда с лучшей стороны характеризует военачальника, хотя за выигранный бой или сражение положены правительственные награды, а за обеспеченность войск всем необходимым — в приказе благодарность, что далеко не равнозначно в смысле почета.

Но разве в слагаемые победы не входит тыловое обеспечение, и отторжимо ли оно при одержанной войсками победе?

Начальник штаба армии — человек с изможденным, пепельного цвета лицом, с опухшими веками, щурясь одним глазом от дымящейся папиросы в блеклых губах, кратко изложил общую обстановку и задачу, поставленную перед дивизией Волового.

И когда Воловой в конце напомнил об обещании командарма подкинуть стволов, начштаба с недовольством пробормотал:

— Ну, это как сложатся обстоятельства. — И, словно в утешение, нарочито бодро, но весьма неопределенно произнес: — Без боевых средств, необходимых по обстановке, не оставим.

Конечно, вначале Воловой предполагал худшее: его дивизию снимают с плацдарма только для укрепления внешнего кольца окружения противника, что, разжигая обиду, Воловой иронически именовал «исполнением карательной службы».

Но при всем этом он испытывал и тайное удовлетворение тем, что личный состав его дивизии, столь блистательно проявивший себя недавно в наступательном сражении, выполняя такой приказ, не понесет значительных потерь. За это время он проникся благодарной симпатией ко всем старшим и младшим командирам и политработникам. Он знал многих отличившихся в бою солдат, не раз беседовал с ними не только о том, как они действовали, но и вообще о жизни, какой она была и у него и у них до войны, и о том,

что только на войне по-настоящему осознаешь, какая она была хорошая, интересная и правильная.

Теперь же Воловой понимал, какая перед его дивизией поставлена высокоответственная, трудная задача, понимал и то, что от успешного осуществления ее зависит не только его фронтовая репутация, но и судьба командарма, принявшего смелое решение. Однако выполнение ее всецело зависело сейчас от дивизии Волового, от ее стойкости и решительности действий в обстановке, крайне невыгодной для развертывания частей на рубеже, не пригодном для сооружения сколько-нибудь надежных оборонительных укреплений на местности, с полным отсутствием коммуникаций для снабжения подразделений всем тем, что им положено, и для ведения длительного оборонительного боя.

Но еще когда Воловой разглядывал листы карты у командарма, он мысленно определил расстояние от окруженной группировки противника до того рубежа, на котором будет выставлена дивизия Волового, — выход на дорогу с твердым покрытием; здесь войска противника, вырвавшись из окружения, могут получить поддержку от мотомеханизированных соединений, брошенных им на выручку, беспомощных, однако, на заболоченном степном пространстве.

Словом, задача, поставленная перед дивизией Волового, хотя и считалась вспомогательной, но любой военачальник оценил бы ее как решающую, хотя все лавры, несомненно, достанутся войскам, окружившим группировку противника, и этим войскам столица отдаст победный салют.

Воловой прибыл на рубеж, занимаемый его дивизией, на пароконной тачанке, какой он в свое время пользовался в годы гражданской войны.

Никто солдат не информировал, какая перед ними поставлена задача. Но обвоевавшиеся солдаты и младшие командиры уже понимали по самым многообразным армейским приметам, что им предстоит.

И, к удивлению и радости Волового, окопы сооружались без брустверов, чтобы этим не выдать противнику оборонительные полосы. Накаты дотов, блиндажей, землянок были покрыты дерном, срезанным в тыловых пределах полосы обороны. Пристрелочные реперы были обозначены пересаженным кустарником. Щели для бронебойщиков вынесены за передний край, и к ним тянулись утопленные в грязь телефонные кабели, прикрепленные к чекам взрывателей гранат РГД, над которыми возлежало по несколько слоев

тяжелых дисков противотанковых мин, закопанных в землю и хорошо замаскированных пластами дерна со стерней. Старшина Буров доложил Воловому:

— Такой способ минирования произведен в связи с недостатком средств для установки минного поля, но таким манером каждая минная ловушка будет действовать прицельно по живой силе и технике. Экономно и наверняка. — Затем Буров, замирая по стойке «смирно», осведомился: — Разрешите обратиться, товарищ генерал?

— Ну! — сказал, благодушно и довольно улыбаясь, Воловой.

Буров, выпучив глаза, произнес одним духом:

— Танк — он, конечно, сила. Но без походных кухонь, без горячей пищи, натошак самообогрев в организме солдата не тот — зябнут. — И добавил: — Дал приказ из концентратов суп варить в ведрах. А как ложку до рта донесешь, ни жара, ни навара, ни вкуса. — И, беспокоясь, как бы подобная претензия не вызвала у генерала недовольства, Буров деловито сообщил: — Товарищ капитан Тютчев политбеседы проводил. На Северо-Западном воевал, там болота не как здесь, натуральные. Делился опытом. Гранату бросишь, а она утонет. Надо ее в руке держать и только после щелчка ударника бросать, тогда она рванет, как ей положено. Ну, еще как они из тальника мокростуны мастерили вроде щитов на обе ноги, и на них лямки, вроде как на лыжах, но любой трясине проходили.

— И это вы, что же, считаете политбеседой?

— Зачем! — встревожился за Тютчева старшина. — Он нам всем души сначала разворотил, но не своими словами, а попросил, чтобы бойцы домашние письма вслух всем почитали. — Произнес с воодушевлением: — Скажу вам прямо, товарищ генерал, по-честному. Был промеж нас солдатский разговор. Мол, прислали сюда нашу прославленную гвардейскую дивизию вроде как на затычку. Свои у них дивизии фашистов в клещах давят, за «котел» им вся слава, а мы — так, в сторожах, на всякий пожарный случай.

Воловой сурово нахмурился, но Буров поспешно заверил:

— А теперь, после писем из дому, у всех настроение — чтобы только, дай бог, они к нам сюда из окружения пришли. Такой у всех яростный энтузиазм — для самого ближнего боя вполне подходящий...

Тютчев, простуженный, продрогший, сидел в обширной землянке разведроты и согревал руки, простирая их к тис-

сеновской чугушной печке, с которой командир разведроты не собирався расставаться.

Солдаты беседовали меж собой.

— Вот комдив рассказывал, как они в атаку в прежние времена ходили: установят на тачанке граммофон, поставят пластинку с «Интернационалом» — и лавой на беляков в клинки. Красиво воевали — на конях, с музыкой, — мечтательно говорил Ленешкин.

— А вот когда мы в окружении сами бились, — сердито произнес Остапчук, — так они нам концерты передавали, чтобы мы с печальной музыки смиренными стали. Мы же от таких песен — в штыковую. Они-то в штыковую не ходят.

— Когда они пьяные — ходят в психическую, брызжут почем зря из автоматов.

— Я с ними много личных делов имел, — сказал Остапчук. — Когда за «языками» посылали. Понадались иногда вполне люди. Одного волок, а по мне гвоздили, ну и задело. Думаю, все. А на него, безоружного, рука не подымается. Поясняю рукой: мол, вали к своим обратно, пока я не передумал. Говорю по-ихнему: наф-наф нихт. Не уходит. И что ты скажешь: он меня, задетого, в сапоге кровь хлюпает, а к нам довел.

— Вероятно, в плен ему захотелось.

— Сдесертировал, значит, — осудил немца Ленешкин.

— Я сам потом интересовался у переводчика, почему он меня раненого не пришиб, — сказал Остапчук.

— И зря не пришиб!

— Вот ты как, — с укоризной произнес Остапчук. — А немец оказался не такой. Вежливый, все на допросе объяснил, зачем и почему в плен пошел. У него жена не тех кровей оказалась, какая у фашистов правильной считается, — в лагерь ее, а его на фронт, вот он и прицелился к нам перебежать.

— Ну, ясно, желает, чтобы мы, свою кровь проливая, его жену из лагеря освободили.

— Жену его фашисты в концлагере в печи сожгли, — со вздохом сказал Остапчук и вдруг, яростно обернувшись к Ленешкину, произнес: — А вот еще будешь так про этого моего твякать, я тебя этим прибором вразумлю, — и поднес к лицу отшатнувшегося Ленешкина костлявый увесистый кулак.

— Да это я просто так, для задира, — отводя руку Остапчука своей, не менее мощной, сказал Ленешкин, — ты

мои слова всерьез не бери, может, я сам этого фрица жалею. Но и за жену его они пам тоже ответят. Наш спрос с них серьезный по всем статьям.

Рыхлая, сивая, непроглядная, пахнувшая прелью и гнилью испарина тумана толсто застлала все степное пространство. Она была подобна гигантской вспученной, разбухшей плесени и сочплась всюду проникающей влагой.

Туман изъел остатки снежного покрова, и земля, пропитанная талой водой, стала хлябью, трясиной.

Первополосные траншеи в полный профиль полузатопило, и в выкопанных в стенах траншей нишах, ютятся, скорчившись, сидели солдаты дежурных подразделений. И только на буграх, превращенных в опорные пункты, но также изрытых окопами, капонирами, с прикрытыми плащ-палатками станковыми пулеметами, с замаскированными пучками веток кустарника стволами орудий и на обратных скатах — батареями минометов с закрытыми кирзовыми заглушками дулами и зачехленными гаубицами, было поприятней, чем в расквашенной и затопленной низине. КП и одновременно НП комдива Волового располагались на возвышенности одного из бугров, которые Воловой пастойчиво именовал курганами.

И не одну сокровенно сохраняемую коробку «Казбека» он раскурил с солдатами в траншеях, стоя там по колено в воде и при этом отдавая команду «вольно», чтобы они не покидали ниши, указывал им на возвышенности, где были расположены опорные пункты в системе оборонительных сооружений, и торжественно и многозначительно говорил:

— Смотрите, товарищи бойцы, и переживайте умом и сердцем. Это на первый взгляд просто бугры, а на самом деле по всей исторической правде собственноручно из боевых шлемоз насыпанные воинами курганы над теми, кто пал много веков тому назад, защищая Отчизну. Еще хочу отметить, земля эта, на которой мы сейчас имеем свои боевые позиции, эта земля народа — кормилица. Хлебная земля, живая земля. Видали, какой она к фашистам непроеходимостью обернулась? Затем, чтобы они тут, как мухи на липкой бумаге, завязли.

Солдаты в отсыревшем обмундировании, в облепленных грязью сапогах, ставших от этого подобными валенкам, зябко сжились и, соглашаясь с генеральскими суждениями, кивали.

Генерал осведомился:

— Жалобы или вопросы есть?

Один солдат — в ушанке и нахлобученной сверху нее каске, как объяснил, сильно надежной от дождя, осведомился:

— Товарищ генерал, а дозволено нам будет такие кучи над своими наворотить, кто, значит, заслужит себе за героизм?

Воловой смутился, но по своей генеральской привычке в любой обстановке быть бодрым и к тому же самому призывать других укоризненно заметил:

— Не о том думаешь, солдат. О победе соображать надо. Пока живой, ее и достигаешь винтовкой и гранатой, а как тебя уже нет — желательно, чтобы свои тебя тоже из касок земель закидали — из уважения, как вот этих, которых давно нет, а над ними горка, всем заметная. — И произнес мечтательно: — Летом, надо думать, все в траве зеленой...

По этому случаю генерал Воловой сделал строгое внушение Тютчеву:

— В траншеях вода, обмундирование на людях сырое, сапоги промокшие, зябнут, сидят в нишах, как сурки, а вы не находите для них душеподъемных слов. Фронтальная газета юмор печатает — «Новые похождения бравого солдата Швейка». На полезный смех нацеливает, а вы им лекцию. И про что, спрашивается? Вроде как про Илью Муромца! Что они вам, дети — сказки слушать?!

— Собственно, именно здесь происходили великие события древней Руси, запечатленные в летописи. Бойцы интересовались, ну, я и рассказал.

— Рассказали: «На этих самых местах Махно били, Петлюру, германские полки, которые сюда залезли за украинским салом». Нам своих теперешних подвигов хватает, чтобы людей воодушевлять, на предстоящий бой нацеливать. — Но вдруг смягчился, спросил: — И как они вас — слушали?

— Увлеченно, — сказал Тютчев, — с большим интересом.

Генерал помолчал, почесал свой раздвоенный старым ранением подбородок, произнес не совсем уверенно:

— Раз в грязи, в воде зазябнув, слушали, значит, вроде польза, от обстановки их мысли оттягивает.

Тютчев давно уже заметил, что и перед боем, и после боя люди избегают рассуждать о том, что они переживают или

пережили, и если говорили меж собой, то о чем-нибудь не касающемся того, что им предстоит.

То проявлялась как бы высокая сокровенная духовная деликатность, что ли. Вернее, переживаемое ими и пережитое было настолько глубоко личным, нечеловечески мучительным, тяжелым, что высказывать это по всей правде никто не считал себя вправе, чтобы и у другого не вызывать подобного тому, что пережил сам.

Поэтому у солдат существовало никем не писанное правило, ставшее обычаем, — защитно бодро, с лихой задиристостью и как бы с высокомерным превосходством, с ироническим насмешливым пренебрежением говорить о том, что предстоит свершить, и так же говорить потом о совершенном, как бы отрекаясь от того, что они испытали, пережили, выстрадали. И не поэтому ли разведчик Лепешкин, не однажды раненный, бравое о себе говорил:

— Я по своей доброте, по существу, фрицам спаситель, когда заживо в плен беру, сберегаю их для послевоенной жизни.

— Сберегаешь, — иронически замечал ему Брагин, — а как «языка» приводишь, сразу к санинструкторше бинтоваться, и как она против тебя шприц с противостолбнячной сывороткой нацелит, бледнееешь хуже, чем если на тебя фашист в упор автомат наставит. Выходит, первый. Не то задницу стесняешься ей свою показать, не то до смерти укола боишься.

— Пока я живой, смерти для меня нет, — усмехнулся Лепешкин.

— А вот как тебе пробойну фашисты в ногу соорудили, лежал без памяти.

— Это я по случаю пробойны в конечности перекур себе сделал. А как докурил до края, от обиды на них из автомата все-таки попрыскал. А вообще-то и на одной ноге жить можно, по все-таки уговорил их в санбате, чтобы мне ее при себе оставили.

— А я на лимонки алчный, — задумчиво сказал Выползков, пожилой солдат из нового пополнения, — сильно они вразумляют.

— Алчный, — насмешливо произнес Лепешкин, — держит ее в руке, словно сырое яйцо, бережется, как бы она не треснула, самому штаны не замарала.

— Вещь дорогая, в бою полезная, — в тон ему ответил Выползков, — зря швырять тоже ни к чему. Соображаешь, чтобы не на одного пришлась, а на всю их компанию.

— Без соображения действовать нам не положено. Я вот сначала покажу интеллигентно фрицу дырку в стволе автомата. Посмотрит он в нее и задумается. Потом, если послушается, идет вперед, я позади. Веду, значит, к себе в гости. Или вот, к примеру, Гришкин. Комплекция у него ерундовая, совсем малогабаритный солдат, а как назначили первым номером — рожка праздничная, перед своим вторым номером все равно как генерал высоко себя ставит. Но при всем том оглядываюсь на него, как он в бою, а он словно из винтовки — прицельно огонь ведет. Возвышает солдата повышение, ничего не скажешь, — сказал Сергей Брагин.

Вот так, не касаясь переживаемого и пережитого, солдаты безобидно заводили меж собой разговоры, словно только шутя, для отдыха. Но каждый из них, не высказывая самого сокровенного, знал, понимал, ценил, какие высшие душевные силы нужны им, чтобы совершать из боя в бой, из сражения в сражение то, что они совершали.

— Слушай, Остапчук, — живо осведомился Лепешкин, — если я в разведку с тобой попрошусь, ты меня возьмешь?

— Это зачем же я с тобой буду связываться, когда ты весь такой хлесткий?

— А я вот чего надумал. Возьмем, к примеру, двух, приведем, накормим, напоим, а потом по шеям обратно. Пусть своим фактически доложат, уговорят на хенде хох.

— Не, — сурово отказал Остапчук. — Для разведки ты неподходящий. Очень обидчивый. Меня вот один ножом пырнул. А я у него нож отобрал и даже за это пальцем не тронул, вел его на прицеле в целости. Фашист был натуральный — «эсэс».

— А вот у нас в Сталинграде немец-коммунист из МГУ противника увещевал. Еще до войны он к нам с Германии прибыл. В Испании в Интербригаде тоже, как мы сейчас, против фашистов сражался.

— Небось сильно награжденный?

— Не видал — он ходил в гимнастерке без знаков отличия.

— А я бы его к высшей награде представил, — решительно заявил Остапчук.

— Я сам думал из ФЗУ в Испанию податься, — мечтательно признался Лепешкин.

— За орденом?

— А ты меня все-таки так не обзывай. Кто не хотел против фашистов? Все хотели.

- Ну вот, дождался. Значит, воюй в полную мерку.
- Стараюсь.
- Дома у тебя как?
- Никак. Нет дома.
- А семейство?
- Мать, отец в целости.
- А жена?
- Мне удобно — не обзавелся.
- Чего удобно-то?
- Ну, в случае чего меньше горя.
- А я вот каждый раз иду в разведку и думаю: уже две похоронки дома получили, третью совсем нежелательно.
- А ты не напрашивайся.
- Ну, а с другой стороны — их нет, братьев, а я есть. Значит, должен втройне, что за павших причитается, с них брать.
- Солдат ты отважный, — одобрительно заявил Лепешкин.
- Да где там, — досадливо поморщился Остапчук. — Иду в бой и весь томлюсь, и выжить обязательно надо, и оберегаться совесть не позволяет — аж кишки сводит, а все-таки идешь. Какая же тут отвага? Надо — и все, — отвернулся, сплюнул. — Хоть не контуженный, а все в тебе ноет, пока не зайдешься, и тут действуешь, словно бессмертный.
- Это точно, — согласился Лепешкин и протянул свой кисет, уважительно думая, что вот у него самого не хватило бы духа высказать ту правду, которую высказал о себе Остапчук, считавшийся в подразделении самым хладнокровным бойцом.

Солдаты понимали: оборонительные сооружения здесь недолговременны, и безошибочно догадывались, какая перед дивизией поставлена задача и что преднамеренно выпущенные из окруженной группировки части противника с исступленной яростью наткнутся на засаду, с ходу нанесут удар всеми своими средствами и каждый из беглых окруженцев будет сражаться с отчаянием смертников, чтобы прорваться в скоротечном бою. И все-таки бойцы старательно благоустраивали, обживали свои позиции, траншеи, землянки, так, словно им предстояло тут находиться долгое время. На дне траншей выкопали глубокие водозаборные колодцы, прорыли канавы для спуска грун-

товых вод в овраг, и в окопах стало посуше. Сергей Брагин из досок от патронных ящичков соорудил щиты под опорные плиты минометов, чтобы при стрельбе на мягком грунте устранить их усадку.

В стенах траншей прорыли ступени, чтобы без задержки выбраться для атаки противника. С надежным накатом соорудили дот, который отвели под пункт сбора, куда следовало сносить раненых.

Специальные волокуши, наподобие жестяных корыт, предназначенных для того, чтобы вытаскивать в них с поля боя тяжелораненых, отдали подносчикам боеприпасов. А санинструкторам вручили свои личные непромокаемые плащ-палатки, которыми как мантиями можно было укрываться от дождя, сырости, но одновременно они могли быть использованы как волокуши, если на них тащить поверженного бойца. И даже плащ-палатки для этих целей были удобнее, чем корытообразные волокуши, потому что не каждому санинструктору под силу перенести через жестяной высокий борт тяжеловесного раненого.

И уже в одной из землянок слышалась музыка. Солдаты поочередно крутили пальцем диск трофейного патефона с лопнувшей пружиной, как они шутя говорили, ставшего теперь у них «совсем ручным».

Люди старательно обживали оборонительные полосы как бы под жилье себе и после изнурительных земляных работ по сооружению позиций по всем правилам наставлений силой воли исключили из своего сознания то, что сюда, возможно, в скором времени обрушится извержение огня и острые куски убойного, рваного, горячего металла будут метаться по всему пространству в едком чаду взрывающихся при своем падении разнокалиберных снарядов. И всех их объединяло высокоуважительное чувство того, что они, испытав и зная ужасное испытание боем, обладают силой воли и способностью как бы забыться в заботах об удобстве своего житейского солдатского быта, и каждый из них пытается со своей стороны внушить другому, что сейчас нет у них более серьезных забот, чем благоустройство траншейного бытия.

В блиндажах и землянках зажгли светильники из заполненных горючим стреляных снарядных гильз, сплюснутых на конце, где зажаты фитили из марли индивидуальных пакетов. В углубленных стенках, подобных каминам, тлели кизяки, а в земляных нишах, как на нарах, отдыхали, даже разувшись.

Склонившись к светильнику, кто-нибудь вслух читал дивизионную газету, где самой интересной считалась разная информация — не о боевых действиях, а о том, как работают, живут люди в далеком тылу, то есть о той жизни, ради которой они здесь не щадят своих жизней.

Так проходили одни сутки, другие, а противник себя не обнаруживал, и у личного состава дивизии рождалось обидчивое опасение, что, может, зря они проделали тяжелый марш по расквашенной степи, зря сооружали здесь систему обороны, тащили, впрягшись в тросы, машины с боеприпасами, орудия, несли на себе минометы, станковые пулеметы, противотанковые мины, снаряды. Изнуренные, измученные, они надеялись нанести противнику здесь внезапный сокрушительный удар, когда он напорется на подразделения, затаившиеся в засаде.

И хотя бой предстоял тяжелый и, несомненно, с большими потерями, это выжидание противника, тревога за то, что он может и не выйти сюда, томила людей, раздражала, вызывала недовольство.

А туман белой сырой мглой непроглядно застилал землю. У артиллеристов дальше орудийного ствола видимости не было. Степь — в слякоти, в студеной испарине и хляби, воияла тухлой прелью, гнилью, кислой грязью.

Сражаться в этом белом мраке было равносильно ночному бою с незримым противником, опознаваемым лишь по вспышкам из стволов орудий.

И вот в тусклых сумерках издали взметнулся угасающий в падении красный росчерк ракеты — сигнал об обнаружении приближающегося противника.

Воловой считал, что он достиг максимально возможного в создании плотности огня при ограниченных средствах применительно к условиям местности, и теперь исход боя зависел от подразделений, от способностей их командиров действовать самостоятельно и самостоятельно принимать решения, так как на своем НП генерал был лишен возможности видеть все поле боя, а руководить на основе только донесений, получаемых по телефонной связи, было не в его правилах.

На совещании командного состава и политработников Воловой огласил приказ о том, как действовать в данных условиях и с такой наличностью огневых средств.

Тяжелые и даже средние танки противника, выпу-

щенные преднамеренно из окружения для того, чтобы ослабить замкнутую в кольцо группировку, остались погрязшими в заболоченной степи, но бронетранспортеры на гусеничном ходу, с гробовидными стальными кузовами, вооруженные крупнокалиберными пулеметами, были мощным огневым маневренным средством для нанесения массированных ударов.

Многосильные тупорылые тягачи, предназначенные для орудий крупного калибра, волокля зенитные скорострельные пушки и на прицепах — минометы.

По количеству огневых средств противник превосходил противостоящую ему дивизию Волового. Прорвать ее оборонительные позиции означало для противника спасение. Поэтому от солдата до генерала в этом бою каждый из них должен был драться за себя, за свое существование.

И когда цепи автоматчиков с ходу пошли в рост, чтобы овладеть первой линией траншей, и залегли под огнем, следующая за ними цепь открыла огонь по своим. Они расстреливали залегших впереди, зная, что их ожидает участь первой цепи, если они тоже залягут под огнем. Они атакывали, как бы убегая от огня своих же в спину.

От орудийных залпов туман колыхался, а затем стал расползаться от бесконечных, слившихся воедино ударов взрывных волн, от лопающихся в стальные разящие клочья снарядов в желтом пламени разрывов.

И Воловой уже мог увидеть с НП, какие потери несет противник под фланговым косоприцельным многослойным огнем его батарей и пулеметного огня из дотов. Но вместе с тем он увидел, как вражеские цепи приблизились к первой линии наших траншей, и, чтоб избежать рукопашного боя с иступленным до полного отчаяния и озверения врагом, он дал указание уйти из первой линии траншей и занять последующие оборонительные полосы.

Считал, что сейчас невыгодно его солдатам вступать в ближний бой, поскольку вести бой можно пока и иными способами и средствами. И когда подразделения врага заняли траншеи и в полном изнеможении от пережитого стали собираться с силами для нового броска, Воловой отдал приказ минометным и гаубичным орудиям открыть массированный огонь по этим траншеям первой линии по заранее составленным для этой цели баллистическим расчетам.

И это извержение точных попаданий, разможживших бревна накатов и обрушивших стены траншей, словно от

гигантского оползня, остановило противника, еще не утратившего, однако, надежды при свершении нового броска прорвать оборону подразделений Волового.

Особо отличилась в этом бою рота капитана Ростовцева. Когда Воловой пришел в расположение роты и спросил, где командир, тотчас привстал сидевший на земле, бессильно опиравшийся о стенку окопа солдат и уныло доложил:

— Так, временно, вроде теперь — я, товарищ генерал!

И Воловой понял, какие большие потери понесла рота. Но с присущей ему выдержкой строго осведомился:

— Почему вроде? В бою ротой командовал! Значит, ротный командир! — И приказал: — Докладывайте, как полагается по форме.

— От роты осталось людей неповрежденных от силы взвод, а вместе с легкоранеными — полтора взвода.

Но солдаты, хотя вид у них был такой, какой бывает у людей, только что поднявшихся с койки после длительной тяжелой болезни, настойчиво называли себя ротой и просили дать боеприпасы, как и положено — на роту. И утверждали, что они свою позицию удержат.

Раненые, лежавшие на шинелях и накрытые шинелями, стеснительно обращаясь к Воловому, просили также, чтобы их дальше санбата не уносили, а то из госпиталя могут угнать в чужую часть, обыкновенную, не гвардейскую.

В горле Волового сжимался комок от этой человеческой стойкости и воинского достоинства, проявленного и высказываемого так просто. И не было на земле ничего такого, что могло бы сравниться с этой простотой.

Воловой машинально снял фуражку, склонил свою бритую, в белых рубцах голову и произнес сипло:

— Спасибо,— хотел сказать привычное «братцы», заппнул, судорожно глотнул,— за то, что вы такие...

С кургана, оборудованного в опорный пункт, степь выглядела, как дно опорожненного водохранилища. И по этому бескрайнему болотному днищу лейтенант Борис Вяткин посылал группы бойцов в глубокую разведку и не раз ходил с ними сам.

Развалины сожженных, безлюдных селений выглядели, будто после потопа. Мертвые были словно утопленники.

Эти следы фашистских расправ вызывали у солдат

ярость. Мокрые, озябшие, обессиленные длительным переходом по смолисто-вязкому чернозему, когда каждый ощущал себя как невыносимую тяжесть, которую он вынужден нести согбенный, погружаясь по колено в трясинную почву, но видел, что здесь совершили фашисты, — солдаты обретали силу в ненависти и, не высказываясь, жаждали здесь же, на этих местах, застигнуть передовое охранение фашистов, наверняка высланное эсэсовскими частями, выпущенными из окруженной группировки.

Вяткин хорошо понимал состояние своих людей, и именно этого их настроения он больше всего опасался. Столкнуться с противником — означало обнаружить дивизию, находившуюся в засаде. Поэтому он требовал продвигаться по пустынной степи с соблюдением всех способов и приемов скрытности. Выбрал путь не там, где была возвышенность и земля подсохла, а там, где низины, овраги, склоны. Солдаты не раз сваливались, соскальзывали в воду, на поверхности которой лежал не стаявший, рыхлый, как пена, снег.

И даже самые отважные, самые мужественные, самые стойкие его разведчики, у которых хватало самообладания высчитать, сколько патронов выстрелил в них, почти в упор, намеченный «язык», чтобы потом рывком кинуться, свалить, взять без существенных повреждений, — даже такие брели понуро, молчаливо, изможденные до предела.

А противника все не было.

В нескольких уничтоженных хуторах они обнаружили ютящихся в погребах жителей.

Но поскольку вид у разведчиков — мокрых, продрогших, облепленных грязью — был далек от армейского облика, им было просто выдать себя за партизан.

И с дальновидным замыслом лейтенант Вяткин кое-кому из таких жителей доверительно предложил оказывать содействие партизанам, но какое — он, мол, передаст в дальнейшем через связного. И эти люди с радостью делились с ними последним, что у них было. И хотя у разведчиков имелся НЗ, Вяткин не разрешил его обнаруживать, чтобы не выдать себя этим явно армейским пайком.

Совсем иной характер приобрела «работа» разведроты лейтенанта Вяткина, когда начались боевые действия фашистских частей против занявших оборону подразделений дивизии генерала Волового. И хотя эти боевые вылазки разведки за передний край противника были связаны

с потерями, разведчики ходили на это более охотно, чем на длительный, изнурительный поиск без права вступить в схватку с врагом.

С разрешения комдива лейтенант Вяткин после допроса захваченных в таких схватках пленных отпустил их обратно, разъяснив, что прорваться им нет надежды, и если их части не кашитулируют, то будут уничтожены так же, как окруженная группировка. Но фашисты демонстративно, спустя некоторое время, выгнали этих бывших пленных за бруствер своих окопов и расстреляли.

При допросе многие пленные сообщили лейтенанту Вяткину о том, что ждут себе в помощь танковые части, которые обещаны командованием, сосредоточившим кулак из всех подвижных сил, чтобы прорвать окружение, как только степь подсохнет.

Лейтенант Вяткин считал это маловероятным, но все-таки дал указание своим самым опытным разведчикам просочиться сквозь расположение противника, пройти тем дальним маршрутом, каким он с ними ходил, выйти на хутора, где они обнаружили в погребках жителей, и самым надежным из них раздать сигнальные ракетницы, с тем что если появятся танки, пусть дадут знать.

И это его опасение казалось Вяткину даже оскорбительным для тех дивизий, которые сражались с окруженной группировкой врага. И он не решался его высказать комдиву, но вместе с тем считал своим долгом разведчика принять такие предохранительные меры.

Разведчиков он предупредил:

— Дадите указание, чтобы танки засекали не визуальное, а откуда-нибудь из оврагов, ориентируясь по звуку двигателей.

Но вот вернулись с задания разведчики. Прошло еще несколько дней тяжелых боев с противником, безуспешно, с огромными потерями атаковавшим части генерала Волового. Пространство перед оборонительными укреплениями дивизии походило на разъятое кладбище.

На вершине кургана у стереотрубы поочередно несли службу наблюдателей за горизонтом разведчики Вяткина, но тусклое, сырое воздушное пространство оставалось пока не потревоженным световым сигналом.

И Вяткин совестливо поглядывал на дежурившего у стереотрубы, и с каждым новым днем и после новой ночи ему все больше становилось неловко за этот пост, но все-таки отменить его он не решался. Этим он как бы уличал себя в том, что на какое-то время усомнился в полном

успехе действий наших войск, взявших в окружение крупную группировку врага.

Командир разведроты Борис Вяткин был не только отважным офицером, но, что не менее важно, — изобретательным в способах пропикновения за линию фронта. И еще большее значение имело то, что он обладал способностью, казалось бы, по самым несущественным приметам обосновать и доказать намерение противника.

Так, например, однажды он установил не мнимую, а подлинную подготовку к наступлению противника, получив сведения о том, что в тылу врага разворачивается множество подразделений медицинской службы. И это тогда, когда на данном направлении не отмечалось ни пребывания, ни развертывания свежих пополнений, ни размещения новых мотомеханизированных частей и никаких других иных боевых средств усиления противника.

В то же время наши слухачи, наблюдатели с другого направления, докладывали о замеченной ими по ночам со стороны противника усиленной работе танковых двигателей и что днем немецкие саперы выходили на заминированную полосу с очевидным намерением освободить проходы для танков.

Но Борис Вяткин утверждал, что это не что иное, как демонстрация ложных намерений, настаивал на своей версии и оказался прав.

Он предпочитал выслеживать и брать в качестве «языков» не солдат и офицеров с передовой, а представителей разного рода тылового обслуживания, которые обычно обладали более обширными, разнообразными и новыми сведениями, чем те, кто находился на передовой в задействованных в боях подразделениях. Однажды его разведчики перехватили на шоссе «хорьх», в котором на заднем сиденье восседал человек в новенькой, опрысканной духами солдатской форме. Лицо его было напудрено, глаза и брови подведены, в ногах стояли дорогие кожаные чемоданы. По наизности наши солдаты приняли этого немца за переодетого генерала.

Но, допрашивая его, Вяткин выяснил, что это не солдат и не генерал, а известный немецкий актер, прибывший гастролить на фронт. В чемодане у него оказались женский парик, дамское белье, сильно декольтированное платье, пакеты чулок и несессер с косметическими принадлежностями, что являлось свидетельством его театрального реквизита. Он охотно сообщил ряд ценных сведений

И затем потребовал, чтобы его освободили, поскольку его никак нельзя считать военнопленным.

— Но вы занимались военной и политической пропагандой в войсках, — сказал Вяткин.

Актёр протестующе заявил:

— Я прибыл в войска по лично присущей мне некоторой слабости к сильным мужчинам, в тылу же у нас почти таких не осталось. И потом мой репертуар носил чисто развлекательный характер.

Лицо Вяткина брезгливо и презрительно помрачнело.

Актёр поспешно и встревоженно предложил:

— Я мог бы выступить по вашей громкоговорящей радиоустановке и призвать моих солдат сдаваться вам, чтобы они смогли присутствовать здесь на моих концертах. — Затем живо осведомился: — Если у вас есть аккордеонист, я могу выступить с куплетами по одобренному вами тексту. — Произнес с упреком: — Я вижу, господин лейтенант, что вы абсолютно не осведомлены о моей колоссальной популярности.

И хотя показания актёра были особо ценными по их подробной характеристике лиц высокого немецкого командования, лично ему известных, Вяткин ещё долгое время подвергался со стороны офицеров разведки шуткам, когда его спрашивали с озабоченным видом:

— Так кто же все-таки этот тип — блондинка или брюнетка?

...Противник продолжал атаковать дивизию, меняя тактику: то в первых эшелонах пехоты шли бронетранспортеры, то тягачи выволакивали орудия на передовую, и орудия били прицельно по дотам и пулеметным расчетам, расчищая путь идущим врассыпную оравам автоматчиков.

За эти дни погода изменилась: дул холодный ветер, степь смерзлась, подсыхала и блестела льдом, словно усыпанная битым стеклом. Над укрепленными позициями, занимаемыми подразделениями Волового, стояла едкая, прогорклая вонь угара от взрывов снарядов и от стреляных гильз орудий. Курганы, на которых находились опорные пункты обороны, были изрыты снарядами, бурьян, покрывавший их склоны, обгорел, и курганы стали черными. Туман опадал снежным крошевом, небо яснило...

И внезапно оно наполнилось гулом, словно в нем скатывалась лавина. Над частями противника волна за волной пошли наши бомбардировщики. Они освобождались от своих грузов. И земля в огне, как бы выворачиваясь наизнанку, подбрасывала бревна накатов, комья земли.

Затем пошли «ИЛы», стремительными лезвиями с визгом рассекавшие воздух на бреющем полете. Они штурмовали, вонзая в землю из мощных огневых средств хлещущий разящий ливень, они били реактивными снарядами с хвостатым пламенем...

Это возмездие обрушилось на врага с неба, еще полнотью не освободившегося от рыхлых, сырых, тусклых облаков.

И вот тогда обратился к генералу Воловому командир разведроты лейтенант Борис Вяткин:

— Товарищ генерал!.. Разрешите мне отправиться к противнику и разъяснить ему сложившуюся обстановку!

— Что именно? — спросил Воловой, не отрываясь от бинокля.

— Считаю: им самая пора — лапки кверху.

— Вы что же, себя парламентаром предлагаете?

— В качестве напоминающего, что есть такой сигнал: «Спасите наши души», могут его обозначить — белым флагом, — небрежно произнес Вяткин. И уже сдержанно пояснил: — Мой основной аргумент заключается в том, что противник находится в заблуждении, полагая, что он своими силами прорвал кольцо окруженной группировки. Именно это заблуждение внушает ему надежду пробиться через нашу оборону. Действия его безнадежны, потери возрастают, и ему надо четко разъяснить, что он преднамеренно выпущен из окружения с целью во время передвижения по заболоченной степи потерять тяжелую технику, что и произошло. И теперь, лишенный этой тяжелой техники, он бессилен. Поставленная нам командованием задача выйти в засаду — это для него капкан. Так что наиболее целесообразно — капитулировать. Убедительно?

— Так-то оно так, — задумчиво произнес Воловой, — но это означает, что противник, введенный нами в заблуждение, совершил грубую тактическую ошибку. И я сомневаюсь, чтобы их генерал решился это признать. Поэтому даже из-за одного генеральского престижа он распушится, голубчик.

Вяткин заявил беспечно:

— Как вы знаете, я отлично владею немецким языком. Надеюсь, это произведет на них должное впечатление и я получу возможность на карте пояснить с доказательной несомненностью всю их обреченность. — Улыбнулся. — В конце концов я могу рассчитывать на их даже чисто животный инстинкт — воспользоваться шансом сохранить в целости свои организмы.

Воловой нахмурился, потом сказал опасливо:

— Но только вы там, пожалуйста, без этого самого... без развязности. — И строго приказал: — Сообщите, как положено по форме. — Добавил со вздохом, уныло: — Парламентар все-таки есть парламентар.

Затем поспешно полез в карман, достал коробку «Казбека».

— Вот последняя, берите для престижа. — Прикоснулся ладонью к щеке Вяткина с нежностью и тут же сурово похвалил: — Побрились — молодец! Еще напутствие. Все-таки, если можно избежать устраивать им здесь побоище, по-человечески с нашей стороны это будет, правильно и гуманно...

Лейтенант Вяткин вышел на ничейную полосу в сопровождении ефрейтора Фомина. Фомин держал флажок в полусогнутой руке. Вытянуть ее он считал ниже своего достоинства. Вяткин заметил это.

Фомин принарядился для выполнения этой миссии: чистый подворотничок, гимнастерка туго затянута не брезентовым, а кожаным ремнем офицерского образца, сапоги блестят, лицо угрюмо-торжественно.

— Не боитесь? — спросил Вяткин.

— Без оружия солдат сирота, — усмехнулся Фомин, но тут же с гордостью заявил: — Как представителя себя не уроню, можете не сомневаться.

Самым томительным было, когда поднялись из окопа на открытое пространство. Они шли, как движущиеся мишени, и ощущали себя таковыми. Они пробирались между вспухших трунов фашистских солдат, не глядя, а лишь замечая их по дурному запаху, и эти труны, видимые и противнику, усугубляли опасность шествия под прицелами противника. Тонкая ледяная скорлупа на лужах хрустела под ногами. Казалось, еще мгновение — и этот стеклянный дребезг разразится гулом залпа. Здесь скорее привычна орудийная канонада, а не настороженная, вязкая тишина.

Фомин со статной выправкой шагал щеголевато, словно во главе строя. Лейтенант Вяткин нарочито небрежно шел не в ногу. Фуражка несколько набекрень. Он даже мальчишески пнул цилиндрическую коробку немецкого противогАЗа, чтобы преодолеть тягостную скованность.

В бою не бывало такого томительного, долгого ожидания смерти, какое он ощущал сейчас всем телом, всем сознанием чувствуя незащищенность, словно он был голый.

Вяткин отвернул рукав и посмотрел на часы. Этим деловитым жестом он хотел вырвать себя из охватившего его оцепенения, но так и не смог понять, который сейчас час. Да и какое это имело значение!

Вяткин вздернул подбородок и, решительно шагая, не глядя под ноги, мысленно стал повторять то, что он должен сказать, если, если... но об этом «если» он не стал больше думать. Пехота противника при приближении парламентаров не открыла огня. Выделенный конвой сопровождал их в штаб. Вяткин заметил на лицах некоторых немецких солдат потаенное любопытство и даже, — может, это и показалось — тень какой-то надежды.

Лейтенанта Вяткина одного пропустили в блиндаж, где размещался командный пункт.

Здесь находились старшие офицеры. Генерал беседовал с ними нарочито весело и увлеченно. Никто из офицеров, включая генерала, не обернулся при входе Вяткина — продолжали беседовать. Это избавило Вяткина от того, чтобы козырнуть, доложить о себе по форме. Он стоял в свободной позе, прислушиваясь к разговору, и по выражению его лица можно было догадаться, что он понимает, о чем идет разговор. Офицеры это заметили и перестали улыбаться.

Генерал небрежно, замедленно обернулся и произнес так, будто появление здесь советского офицера было ему глубоко безразлично:

— Ну? — И при этом сел на услужливо подставленный металлический стул. — Только кратко! — И отвернулся.

Вяткин с развязной полуулыбкой сказал:

— Очевидно, господин генерал, вы давно поняли, что ваши части преднамеренно выпущены нашим командованием из окружения. Выпущены с той целью, чтобы вы были вынуждены потерять свою тяжелую технику в труднопроходимых условиях на марше по заболоченной местности.

Произнес это Вяткин не то вкрадчиво, не то соболезнующе, затем, несколько повысив голос, принял должную в такой момент выправку, заявил четко, решительно:

— Наши войска поставлены в засаду. Порученная нам операция имеет кодовое название «Капкан». Вы в ловушке. Мы предлагаем вам капитулировать с целью избежания дальнейшего истребления ваших солдат и офицеров при выполнении поставленной перед ними безнадежной задачи. — Вяткин усмехнулся, добавил: — Все.

И словно для того, чтобы дать понять, что ему больше

говорить нечего, со скучающим взглядом стал оглядывать бункер, остановив свой взгляд на генеральской кровати с огромной периной.

Генерал молчал, презрительно щурясь, но лицо его постепенно стало покрываться красными пятнами, очевидно, нервной экземы, и его сухонькие пальцы закопошились в замшевой кобуре величиной с портмоне. Один из офицеров поспешно расстегнул висевшую на животе черную лакированную кобуру. Вынул парабеллум с удлинненным стволом. Вяткин ленивым движением руки отвел от себя ствол пистолета и произнес укоризненно: — Когда-то германские генералы кончали самоубийством, потеряв управление своими войсками, как вы, например, генерал, в данной ситуации, поскольку ваши решения диктовались нашим оперативным замыслом.

— Не здесь! — сипло приказал генерал. — Не здесь!.. — Лицо генерала стало сизым, рот запал, он хрипло дышал.

У Вяткина хватило силы, чтобы улыбнуться, презрительно пожать плечами и, кивнув на генерала, произнести:

— Собственно, вас следовало бы расстрелять... Как виновника уничтожения ваших солдат, — скосил глаза, — и вас тоже, господа офицеры...

...Генерал Воловой на своем НП сидел согбенно, зажав между колен ладони с набрякшими венами, и тревожно, тоскливо поглядывал на часы в тягостном ожидании, когда стрелки их приблизятся к оговоренному часу возвращения парламентаров из расположения противника.

Воловой понуро вспоминал те указания, которые давал ему командарм перед выходом его дивизии на указанный рубеж. «Не бойтесь обороны, главное — перемолоть побольше сил противника. Вам следует для этого отказаться от быстрых мощных ударов с решительной целью, — говорил командарм. — Разгромите вы противника или нет — все равно задачу будем считать вами выполненной, если вы удержите в оборонительных боях силы врага, будете длительное время его сковывать. Повторяю, от вас не требуется кратковременного выполнения запланированной нами и одобренной фронтом операции. Операция должна стать преднамеренно длительной, чтобы по возможности в течение нескольких недель перемалывать силы врага, пока наши войска не уничтожат или не вынудят к полной капитуляции окруженную крупную группировку. В этих условиях вы должны показать большое искусство в организации оборонительных действий своей дивизии. Если же противник после безуспешных атак с большими потерями

с его стороны пойдет на капитуляцию, принять ее на ваше усмотрение».

Конечно, дивизия могла еще длительное время вести оборонительные бои с измотанным противником. Несмотря на отсутствие возможности доставлять колесным транспортом боепитание по заболоченной степи, доставку его все-таки наладили на бычьих и конных санных упряжках. Кроме того, таким же путем были доставлены станковые пулеметы и ротные минометы, значительно превосходящие по своему количеству положенные дивизии по штату.

И с какой бы иступленностью цепь за цепью противник ни штурмовал оборонительные позиции мощным, плотным, многослойным огнем, его отбрасывали вспять, и все голое, изъязвленное взрывами мин и снарядов ничейное пространство источало зловоние от павших на ней.

Разведчики Вяткина за многие свои рейды в расположение противника собрали обширные и точные сведения о его силах, боевых средствах, о системе огня. Все это было занесено на карту, и Воловой вместе со своим начальником штаба увлеченно и вдохновенно прикидывал, как можно внезапно, всеми силами, решительными массированными атакующими действиями нанести полное поражение противнику, затем притиснуть разгромленные отступающие подразделения к излучине реки, покрытой льдом толщиной в оконное стекло, и утопить или в малом «котле» вынудить капитулировать.

Но то, почему противник безнадежно продолжал совершать судорожные броски на его оборону, Воловой тоже разгадал: за этим скрывался страх немецкого командования признать то, что они в западне. И это заставляло Волового тревожиться за судьбу парламентаров.

Он изучил повадки чванливых, высокомерных германских генералов, деловито подсчитывающих, сколько тысяч их солдат падет в бою, чтобы, исходя из этого, заранее дать приказ о соответственном сокращении количества продуктовых рационов. Чем больше солдат падет в бою, тем больше наград «за стойкость» перепадет таким генералам от фюрера.

Возможно, фашистский генерал выжидает, когда количество павших его солдат значительно превзойдет еще живых, и тогда он торжественно согласится на капитуляцию, чтобы когда-нибудь кто-нибудь из его соратников сказал: «Он воевал до последнего солдата». Свою репутацию фашистские генералы чтили больше, чем тысячи жизней своих солдат.

Но время возвращения парламентаров безнадежно истекло. Истощалась последняя надежда.

Воловой в расстегнутом кителе ходил по блиндажу от стенки к стенке. Он с яростной тоской думал о священном обычае: за убийство парламентаров — возмездие ураганным огнем, штурмом.

Воловой остановился, посмотрел на карту и мысленно представил, как будет атаковать врага всеми силами. Перевел взгляд на телефонные аппараты: стоило взять трубку, отдать команду — и...

Он знал, как в частях и подразделениях его дивизии весь личный состав давно томится от длительного ожидания, ждет от него приказа о наступлении.

Но «не бояться обороны — перемалывать противника в долговременной обороне» — был приказ командарма. Да, Воловой этим был лишен права мести, наказания за подлое убийство своих парламентаров. Переживать это было мучительно, ибо нет ничего более унижительного для военачальника, чем лишиться права на это. И как будут относиться к нему солдаты, узнав об убийстве парламентаров?

Подавленный, испытывая страдание, подобное тому, какое испытывает воин, лишенный права исполнения своего воинского долга, Воловой сел, ссутулясь, словно на него обрушилась невыносимая и не снимаемая теперь, пожизненная тяжесть. Подошел офицер связи и, впервые увидя генерала Волового в таком удрученном состоянии, не по должной форме доложил — шепотом, наклонясь к Воловому, к его побагровевшему уху:

— Товарищ генерал, наблюдатели сообщили: засекли в тылу противника две зеленые ракеты, посланные нашей глубокой разведкой, засланной в тылы противника.

Генерал вопросительно поднял лицо с набрякшими веками. Офицер связи произнес как бы виновато, извиняясь за сказанное им:

— По-общевойсковому этот сигнал означает — танки.

Воловой встал и, словно ошарашенный этой информацией, уже бодро и генеральски властно стал отдавать приказание по линии связи с огневыми позициями, чтобы выдвигали на передний край все орудия для стрельбы прямой наводкой с целью отражения атаки танков. Всем подготовиться для борьбы с танками!

Без шинели, в фуражке, в сопровождении связиста с катушкой телефонного кабеля за спиной, Воловой, не склоняясь, широким шагом шел по ходам сообщения к пе-

редовой, чтобы своим уверенным видом внушить солдатам бодрость.

Но теперь боль душевная, которая раздирала сердце генерала, заключалась в том, что появление здесь танков противника означает, очевидно, неудачу наших войск по завершению операции окружения группировки врага.

Конечно, если б здесь, рядом с генералом Воловым, находился сейчас лейтенант Вяткин, то тот бы виновато разъяснил ему, что, возможно, это и не фашистские танки, а свои, так как он дал указание обозначать ракетами появление танков вообще, а каких именно, своих или чужих, тут он не учел, будучи твердо убежденным, что дивизия и без помощи, своими силами справится с противником.

Генерала Волового вызвал на провод командарм и весело сообщил, что с окруженной группировкой покончено — капитулировала, поэтому он дал команду подкинуть Воловому танков, чтобы больше не засиживался в обороне. И еще он поздравил Волового с высокой правительственной наградой, к которой он был представлен в связи с ликвидацией окруженной группировки, а за бои в засаде — его личный состав отдельно.

Воловой, слушая, сопел в трубку, потом хрипло произнес:

— Докладываю: вверенная мне дивизия подготовлена к контратаке. Разрешите действовать?

— Отставить! Не разрешаю! — резко произнес командарм, потом пояснил: — Танки на подходе. Вышлите подразделение для сопровождения сдавшихся в плен. — Спросил: — Сколько их у вас там предполагается? Ну-ну, — не то упрекнул, не то похвалил командарм, — я думал, значительно больше.

С НП, вынесенного на передний край, а попросту в окопе без перекрытия, генерал Воловой, припав к стереотрубе, смотрел, как в развернутом строю сначала бесшумно приближались стальные глыбы танков, потом разразился гул, подобный морскому прибою, танки мчались... и вдруг стали: навстречу им неся «мерседес» с бронированным кузовом и огромным белым полотнищем, развевающимся на древке от фашистского знамени.

Командир танковой части явился на НП, поздравил Волового с победой и предложил принять капитуляцию у немецкого командования.

— А ну их к... — сказал Воловой, затем добавил: — Да ладно уж, еще войне конца нет.

Минули годы. Целина степная стала безбрежным хлебным полем, а на плацдарме, где находились опорные пункты обороны войск генерала Волового, поднялись не каменные величественные монументы, а опорные стальные мачты высоковольтной линии.

Монументы же, в том числе и в честь дивизии генерала Волового, были поставлены не здесь, а там, где завершились окружение и ликвидация крупной группировки противника, вошедшие в историю под названием населенного пункта, ничем доселе не знаменитого, но ставшего знаменитым как обозначение одного из важных победных сражений наших войск.

[1979]

СОДЕРЖАНИЕ

ПОВЕСТИ

Степан Буков	7
Полюшко-поле	210
Пустыня	261
Белая ночь	307
Лилась река	353
В дальнем плавании	372
Поле жизни	394
Там, где нет ни пыли, ни мух	421
Иван Ефимович	450
Так было	465

Кожевников В. М.

К58 **Собрание сочинений. В 9-ти т. Т. 4. Повести 1969—1979.— М.: Худож. лит., 1986.— 559 с.**

В том входят повести 1969—1979 годов: «Степан Буков», «Полюшко-поле», «Белая ночь», «Лилась река», «Поле жизни» и др.

К **4702010200-220**
028(01)-86 **подписное**

ББК 84Р7

Вадим Михайлович

КОЖЕВНИКОВ

Собрание сочинений

Том 4

Редактор Т. Х а л и л о в а

Художественный редактор Е. Е н е н к о

Технический редактор В. К у л а г и н а

Корректоры Т. С и д о р о в а, Н. З а м я т и н а

ИБ № 4198

Сдано в набор 10.09.85. Подписано в печать 05.05.86. А-10587. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага тип. № 1. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. Усл. печ. л. 29,4. Усл. кр.-отт. 29,4. Уч.-изд. л. 32,58. Тираж 100 000 экз. Изд. № III-1918. Заказ № 76. Цена 2 р. 40 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19.

Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли 197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15.

Scan Kreyder - 20.02.2018 - STERLITAMAK

